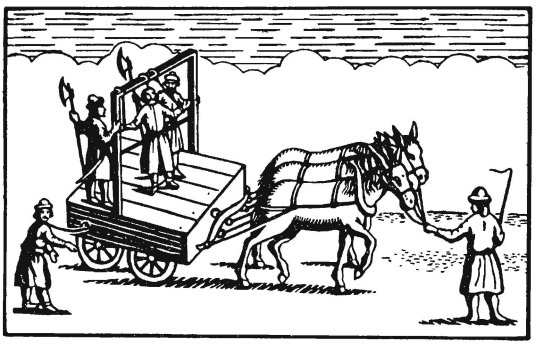
НИКОЛАЙ
Костомаров

Бунт Стеньки Разина

Бунт Стеньки Разина
НИКОЛАЙ Костомаров

АЙР

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ



ББК 63.3(0)51
К 72

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ, СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:
С.Е.Угловский, П.С.Ульяшов, В.Н.Фуфурин

Художник В.Бобров

К72 *Костомаров Н.И.* **Бунт Стеньки Разина.** *Исторические монографии и исследования.* /Серия "Актуальная история России"/. М.: "Чарли", 1994. — 640 с.

Кто был Стенька Разин — народный заступник или жестокий разбойник, вор, как говорили в старину? Откуда пошло название Русь? Чем отличается по своему, как нынче говорят, менталитету южнорусская и великорусская народности, в прошлом "составлявшие одно тело"? Как закладывалась у самых истоков федерация русских народов? Как и почему центр из Киева сместился к восточным русским землям? Совершал ли свой подвиг Иван Сусанин? Как русские еще до Петра пытались "прорубить окно в Европу"? Каковы истоки бесконечных междоусобий на российском пространстве, дающих знать о себе и сегодня? Скольких усилий стоило России преодоление векового враждебного окружения, угрожавшего ее существованию? В чем отличие западной церкви от восточной? Ответы на эти вопросы, а также размышления историка об исторических путях России и ее ближайших соседей, о славянском мире, о "свободе совести, мысли, слова и дела" помогут понять и такой, актуальный для нас сегодня, вывод историка: "...всегда почти бывало в истории, что свобода, достигши высшей степени развития, уничтожив всякие границы, губит себя, допуская такие стихии, которые, пользуясь слабыми сторонами общественного строя, берут верх над всем и потом господствуют уже насильно".

Эти работы выдающегося русского и украинского историка не переиздавались с дооктябрьского времени и воспроизводятся по санктпетербургскому изданию 1903-1906 г.г. В тексте отчасти сохранены орфография и пунктуация автора.

ISBN 5-86859-014-7

К $\frac{4306000000-378}{6С5/03/1-94}$ без объявл.

© Разработка серии, П.Ульяшов,1994
© Худож. оформл., "Чарли", 1994

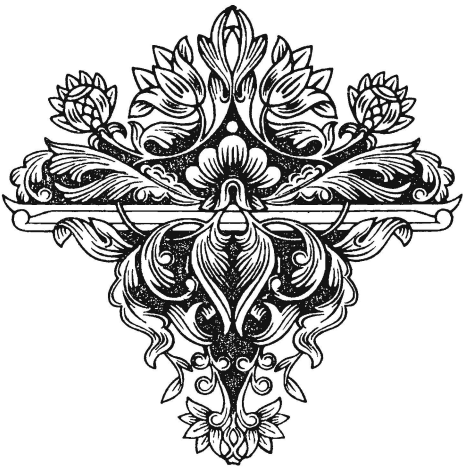
Все права на распространение книги принадлежат фирме "Чарли".
Контактный телефон: 233-08-07

Н.И.КОСТОМАРОВ

БУНТ СТЕНЬКИ РАЗИНА

Исторические
монографии и
исследования

Чарли
1994



МЫСЛИ О ФЕДЕРАТИВНОМ НАЧАЛЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Географическая местность страны и обстоятельства, под влиянием которых сложился быт Восточных Славян, произвели надолго, в истории русского народа, сочетание единства и целости земли с раздельностью частей ее и с своеобразностью жизни в каждой из этих частей. Коренной зачин русского государственного строя шел двумя путями: с одной стороны, к сложению всей Русской Земли в единодержавное тело, а с другой — к образованию в нем политических обществ, которые, сохраняя каждое свою самобытность, не теряли бы между собою связи и единства, выражаемого их совокупностью. Это начало федерации не представляет в истории нашей чего-то исключительно-свойственного славянскому племени; его встречаем мы как у древних, так и у новых народов, повсюду, где только живучесть нравственных сил человека не была подавлена насильственным сплочением, или где, вследствие неблагоприятных для поддержания единства оборотов судьбы, части не приняли характера совершенно отдельных друг от друга целых, и не разошлись на своем пути в разные стороны. Русская Земля была слишком велика для скорого образования из себя единодержавного тела; племена, населявшие ее, были слишком разновидны, чтоб скоро слиться в один народ; самое славянское племя, имевшее более залогов сделаться господствующим, первенствующим между

другими, было само разделено на второстепенные племена, заключавшие в себе залоги долгого существования в отдельности.

Еще в незапамятные времена, после пришествия Славян с Дуная, на всем русском материке жило два рода Славян: одни Славяне — старые, другие — пришлые; в языке, нравах и обычаях тех и других должны были заключаться такие отличия, которые препятствовали их скорому слитию. Сверх различий, какие необходимо должны были существовать между массою древнейших обитателей края и массою пришлых, каждая масса подразделялась на виды, которых прирожденные признаки, этнографические особенности, означались не одними только местами нового их поселения, но и укоренялись, и развивались в течение значительного времени привычками, преданиями и своеобразными приемами быта. Достаточно указать на описание Полян и Древлян в наших летописях: обе эти ветви принадлежали к одной массе новопришлых Славян и притом обитали по соседству друг с другом; но различие между ними доходило даже до вражды: "Поляне бо своих отец обычай имут кроток и тих, и стыдненье к снохам своим и к сестрам, к матерем и к родителем своим, к свекровем и к деверем велико стыденье имеху; брачныи обычаи имяху: не хожаше зять по невесту, но приводяху вечер, а завтра приношаху по ней что вдадуче. А Древляне живяху зверинским образом, живуще скотски: убиваху друг друга, ядяху вся нечисто, и брака у них не бываше, но умыкиваху у воды девиця" (Летоп., т.I, стр. 6). Радимичи и Вятичи производили себя от Ляхов: в этом предании, конечно, переходившем от поколения к поколению, лежит уже причина их отличия и зародыш отдельности; да сверх того каждый из этих двух народов имел собственные заветные предания, которые были чужды другим славяно-русским народам и им самим не давали смешиваться друг с другом. У Радимичей был свой родоначальник — Радим, у Вятичей — Вятко. Для других Русских Славян эти праотцы не были священными лицами, какими были для признававших себя их потомками. Как у Древлян, так и у Радимичей и Вятичей, летописец подметил старинные черты нравов. "И Радимичи, и Вятичи, и Север один обычай имяху: живяху в лесе, якоже всякий зверь, ядуще все нечисто, срамословье в них пред отьци и пред снохами; браци не бываху в них, но игрища межю селы. Схожахуся на игрища, на плясанье, и на вся бесовская игрища, и ту умыкаху жены собе, с нею же кто свещашеся; имяху же по две и по три жены. Аще кто умряше, творяху трызну над ним, и по сем творяху кладу велику, и взложахут и на кладу мертвеца и сожжаху, а посем собравше кости, вложаху в судину малу и поставяху на столпе на путех, еже

творят Вятичи и ныне. Си же творяху обычая Кривичи, прочии погании, не ведуще закона Божья, но творяще сами собе закон" *(там же)*. Кривичи, как показывает их название, уже тяготели к прусско-литовскому центру религиозного строя (Криве), и тем должны были сильно отличаться от других. Многочисленный народ Тиверцев и Улучей, живший поблизости к морю, имел, конечно, свои особенности: на это намекают слова нашей летописи, — что этот народ некогда звался от Греков *Великая Скуфь*, — этот именно, а не другие с ним вместе. "Седяху бо по Днестру оли до моря, суть гради их и до сего дне. Да то ся зваху от Грек Великая Скуфь" *(там же, 5)*.

Все различия между племенами ярко бросались в глаза современников и не исчезали ни после укоренения единого княжеского рода, ни после распространения христианства. Летописцы наши, жившие, разумеется, уже после принятия христианства, говорят, что все они *имяху обычаи свои и закон отец своих и преданья, каждо свой нрав*, и при этом жалуются, что некоторые, как например Вятичи, долго держались своих языческих привычек, противных христианству. В это время этнографические особенности казались еще резче между ними и теми, к которым христианская вера получила скорейший доступ. Ни география, ни история этих народов не способствовали исчезанию их народностей. Климат и качество почвы поддерживали местные особенности племен. Иных занятий, иного образа жизни требовали поля, обитаемые Полянами, плодоносные, и вместе открытые нападению иноплеменников, чем леса Древлян и болота Дреговичей. Иначе действовал на организм и наклонности человека теплый и здоровый климат Улучей, чем холодный и ровный климат Ростовской и Суздальской Земли, или сырой климат отечества Кривичей.

Пространства, на которых жили все эти племена, были слишком велики, а пути сообщения слишком длинны и затруднительны. Дремучие леса, непроходимые болота и широкие степи разделяли их друг от друга. Массы народцев мало знали одни других; каждый составлял себе понятия о соседях или неверные, или враждебные, и надолго сживался с такими понятиями. По-видимому, взаимная вражда Полян и Древлян принадлежит такому отдаленному веку, что всякое искание ее следов в наше время должно показаться бредом. А между тем, и до сих пор во взгляде украинца, потомка Полян (или преемника их по земле), на своего соседа полещука, потомка Древлян и наследника их имени, проглядывает тень враждебности. Полещук, для украинца, или колдун, способный на лихое дело, превращающий людей в волков, или глупец, осмеиваемый в затейливых анекдо-

тах. Еще рельефнее выдается в воображении того же украинца литвин (под этим именем разумеется народ не действительно литовский, а белорусский), т.е. потомок Кривичей и Дреговичей, обозначавшийся у него под общим именем литвина. Земля Литовская до сих пор для украинца земля чудес и чародейства, как Земля Кривская была страною волхвований при Всеславе полоцком. Так близкие народные оттенки получают некоторым образом вид различных народностей. Чем неразвитее масса народа, чем уже круг ее понятий и скуднее запас сведений, тем уже у нее понятие о своенародности, оно тем сосредоточеннее в самом тесном кругу признаков, и все, что сколько-нибудь не похоже на свое, кажется чуждым, иноземным, непривычным, неудобоприемлемым. Различия наречий, нередко даже одного выговора, достаточно, чтоб в каком-нибудь городке или округе составились насмешливые рассказы о соседях и передразниванья. Так и теперь соседи Псковичей и Новгородцев насмешливо передразнивают употребление *ц* вместо ч в их наречии, а у Одоевцев и Мценян ч вместо *ц*. Различие в одежде, постройке домов, мелочных особенностях домашнего быта достаточно, чтоб соседи дали соседям прозвище, и это одно уже поддерживает сознание отдельности. Так Ростовцев, например, называют вислоухими за то, что они носят шапки с длинными ушами, и лапшевиками за то, что они едят лапшу. Иногда даже особенности не народа, а местности дают жителям ее у соседей насмешливое и оскорбительное прозвище; например: Дмитровцев называют лягушками за то, что около их города множество лягушек. Вся южная часть Воронежской губернии населена малороссами, пришедшими в разные времена из разных краев Южной Руси. Предки одних пришли из Волыни, другие из Подоли, третьи из Северской стороны; разные наречия Южной Руси отпечатлелись в говоре и способе речи их потомков и одно село смотрит на другое как на особый от него народ. "Что город, то норов", говорит пословица. В народе оставляют воспоминание не те события, которые касаются внешней политической истории, а те (часто вовсе упускаемые историками), которые выказывают народные нравы: так, некогда благоприятный приют разбоев — Северский край и соседний ему — нынешняя Орловская губерния, оставили надолго о себе в народной памяти неприятное впечатление: Орловцев, Кромцев, Карачевцев прозывают ворами и сорви-головами. В нашей сельской жизни можно повсеместно встретить примеры, как село повторенными несколько раз преступлениями своих жителей навлекает на себя от соседей дурную славу; всех его жителей на-голо прозывают ворами, конокрадами, плутами и тому подобными названиями, и то же название идет из рода

в род. В древности подобные случаи не ограничивались только одним оскорбительным прозвищем, но разражались кровавыми столкновениями, которые раздували более и более вражду и укореняли между ними взгляды, мешавшие им соединиться.

Исторические обстоятельства не доставляли средств к слитию и изглажению племенных разностей. Влияния иноплеменных народов действовали на Славян разъединительным способом. Иноплеменники одни за другими нападали, покоряли себе Русских Славян, обыкновенно владели ими недолго и уступали в свою очередь власть над ними другим. Таким образом подчиняли Славян то Обры,то Болгаре, то Хазары, то Норманны. Но подпадали под чужую власть не все Славяне разом и не одним, для всех них, завоевателям. Так, перед пришествием Рюрика на севере властвовали одни пришельцы — Норманны, на юге другие — Хазары, а юго-западная часть оставалась, как видно, независимой, но не избежала столкновения с пришлыми племенами.

С незапамятных времен и до позднейших на юге Русского материка бродили кочевые опустошительные орды, сменяя одна другую, и если были иногда слабы для того, чтобы поработить Славян, то всегда препятствовали их соединению между собой. Впоследствии оказалось ясно, как Печенеги, Торки, Половцы, Ятвяги препятствовали на Руси развиться правильному гражданскому строю и образоваться прочным государственным связям. Та же судьба постигала Южный край и древле. Различные события в странах Русского мира возбуждали различные интересы и тяготения. Если бедствия препятствуют политическому и гражданскому успеху, то общее горе сближает людей и в отдельных личностях, и в массах. Нужно только, чтоб это горе охватывало одинаким образом как можно большую массу, настолько многочисленную и сильную, чтоб она могла противодействовать. Когда народности Русского материка подпали рабству Готфов, понятно, что появление в приволжских степях толпы Гуннов могло поднять всеми пластами порабощенные народы, но сил к устроению чего-либо прочного, своего, на место чуждого ига, недоставало Славянам или, по крайней мере, недоставало настолько, чтоб воспротивиться препятствующим обстоятельствам: для этого нужно было время и постепенный уклад понятий о гражданской самостоятельности. А Славянам не было времени передумать это. Держава Гуннская распалась от своей огромности и от разновидности народных частей, из которых она сложилась. Племена, ее составлявшие, потеряв племенную взаимную связь, стали тереть друг друга, и Восточные Славяне снова разбились на отрывочные части, и возник снова прежний образ раздельности, и ряд родовых междоусобий, и столкнове-

ния народов с чужеплеменниками без взаимной связи с единородцами. Для соединения племен нужна какая-нибудь внешняя сила, вызывающая противодействие; но тогда необходимо, чтоб эта внешняя сила могла овладеть многими, если не всеми, племенами, и налечь на такую массу народа, которая была бы в состоянии ниспровергнуть тяготеющее начало, чтобы таким образом эти племена могли иметь общую цель. Это, действительно, и случилось в IX веке, но только на одном северо-западе Русского материка и, следовательно, не настолько, чтоб дать всему Восточно-Славянскому миру скорый переход к единобытности.

В IX веке Славян на юге и в средней Руси покорили Хазары; северные страны покорили Норманны. Власть Хазар была слишком мягкой и не возбудила против себя энергичного движения, — Славяне не очень, как видно, дорожили этой иноплеменной опекой, когда так легко отдались Руссам, но и не тяготились ей до того, чтобы вооружиться и жертвовать жизнью. Когда Руссы двинулись для подчинения народностей, то, по известию летописца, не спрашивали у народов, которых встречали: свободны ли вы, или даете кому-нибудь дань? а просто: кому дань даете? Конечно, ни летописец, ни тот, у кого летописец почерпнул это известие, не слыхали, как Руссы спрашивали об этом Славян, но выраженный таким способом рассказ показывает, что в убеждении писавших летопись для этих славянских народцев в оное время было как-то немыслимо существовать, не давая дани. Подобные понятия можно встретить теперь у Черемисов или у Сибирских инородцев. Они знают, что дают дань русскому государю; сознают, что можно давать дань еще и другому такому же государю; но им покажется неудобовразумительно — не платить никому дани, потому что их сознание о своей народности или не достигло до представления об образовании из себя самостоятельного общества, или отвыкло от такого представления, если, быть может, оно и было у их прадедов. Так и Славяне Русские легко отдались пришельцам, потому что были под властью других чужеземцев. Напротив, труднее приходилось князьям Рюрикова дома справиться с Улучами, Тиверцами, Древлянами, не подпавшими, как видно, под Хазарскую державу. Не скоро можно было подчинить и Вятичей, хотя они и считались в числе данников хазарских, но живя не на проходной дороге, как Поляне, сохраняли более своебытности; самое подданство Хазарам для них было, вероятно, более номинальное. Новая власть, варяжская, была тягостнее хазарской: это доказывается упорным сопротивлением Радимичей и Вятичей против киевских князей, тогда как, по-видимому, эти народцы спокойно оставались под властью отдаленных Хазар.

Но эта новая власть, однако, не могла возбудить против себя единомышленного и плодотворного противодействия покоренных народов. Она была не до такой степени отяготительна, чтобы породить в народах сильное против себя ожесточение и заставить их соединить свои общие силы для освобождения. Русские князья ограничивались только сбором дани, так называемым *полюдьем*. Дань эта и способ ее собирания могли быть то легче, то обременительнее, смотря по личности князя или дружинных начальников, но не падали на народы тягостью постоянного управления, ведением чужих обычаев, вмешательством в их домашние дела. Обязанный платить дань, каждый народ не выходил из колеи обычаев дедовского быта. Он не был осужден постоянно иметь пред глазами княжеских слуг, и вообще власть князей действовала издали; они со своими дружинами появлялись, как гроза, ежегодно за данью, хватали что успевали, дни их посещения могли быть для народа недобрыми днями, но днями короткими; князьям нужно было объездить много пространства, останавливаться долго на одном месте было некогда. Уезжал князь — и народ оставался себе на произвол, не видал над собой отяготительного ярма, и скоро забывал нашедшую на него тучу до навого ее появления. Притом же пришельцы покоряли славянские племена посредством их же самих. Так, пока Олег дошел до Киева, то его ополчение увеличивалось на пути свежими силами из вновь подчиненных. Иноплеменных пришельцев было мало, и они слишком скоро расплылись в массе Полян. Когда князья утвердились в Киеве, им кстати пришлась вражда Полян с Древлянами, чтоб покорить последних. Конечно, то же было и при подчинении других племен; древнее предание о том, что восставал род на род, показывает, что между народами существовали искони частные взаимные неприязни и это оказалось полезным для княжеской власти.

Подчинение племен имело различный характер, смотря по тому, в каком отношении были подчиненные к Полянам, составлявшим ядро покоряющей силы. Так Олег обошелся человеколюбиво с Северянами, которые, как видно, будучи в ближайшем сродстве с Полянами, вероятно не дожили до такой вражды, какая была у последних с Древлянами и которых еще более, вероятно, сблизила общая зависимость от Хазаров. Летописец говорит, что Олег наложил на них дань легкую, а о Древлянах говорит, что киевский князь *примучил* их. С тех пор Древляне еще нуждались в укрощении, а на Северян не делалось нападений. Должно думать, и между Полянами и Северянами был уже такой взаимный народный взгляд, который мог со временем возбудить, при обстоятельствах, неприязненные отношения: это

действительно случилось, когда возникла борьба Ольговичей с Мономаховичами; но в древности, сколько можно догадываться, два народа не находились в старинной вражде: и прежде будучи соседями, знакомыми друг другу близко, они были соединены под властью Хазар, и теперь, под властью русских князей, соединение с Полянами было для Северян не новость, а потому и у них не было побуждения восставать против новой власти, если не было его у самых Полян, тем более, что и дань, наложенная на Северян, была легкая.

Таким образом подчинение на одном конце Тиверцев и Улучей, а на другом — Вятичей и Радимичей, которые сопротивлялись долее других народов, совершилось уже не так, как прежде, а принимало вид подчинения их не иноплеменным пришельцам, а Руси-Полянам, Киеву, и Поляне-Русь здесь являются уже господствующим, завоевательным племенем. И Радимичи с Вятичами на одной стороне, и Тиверцы с Улучами на другой не могли взаимно действовать против завоевательной силы, потому что были разделены слишком большим пространством, и сообщение между ними перехватывалось границами завоевательного народа Руси-Полян, да смежного с последними — Северян, и покоряемы были не в одно время, да конечно и мало знали друг друга, чтоб завязать между собой сношения.

Северные народы, по отношению к русским князьям, были в другом положении, чем южные и средние. Там по-видимому — избрание, добровольный призыв; здесь — завоевание посредством одного из народов, с которым слились пришельцы. Новгородцы (если только верить преданию, переданному летописью) остаются так же свободными, как и прежде, и при Святославе выбирают себе князя добровольно. Кривичи были разъединены от Южной Руси и жили отдельным миром; они не платили киевским князьям дани, следовательно,даже и при условиях большей близости, чем какая была на самом деле, они не имели бы надобности оказывать содействие Древлянам, Тиверцам, Радимичам и Вятичам, когда эти народцы отстаивали свою независимость. Среди самых подчиненных народов возникли интересы, отношения, связывавшие их дружелюбно с победителями. Победители приглашали их в свои ополчения, воевали с ними Хазар, потом Греков; они были участниками и добычи, и военной славы. В тот век было очень приманчиво такое занятие: много находилось охотников. Наконец, пришлые князья и их воинственные спутники скоро ославянились и потеряли, для подчиненных племен, характер чужеродства. После того перерождения уже невозможно было восстание славянских народов с характером противодействия иноземному игу. А соединение Славян,

при степени их тогдашней образованности, только и могло случиться против чужеземного ига, ибо только такого рода иго могло быть одинаково для всех тягостно. Такого ига уже не чувствовалось; для Вятича или Радимича тягость была уже не от иноплеменников, а от Руси-Полян и от личности князей. Для Улучей и Тиверцев, близких к Полянам по народности, восстание против последних уже имело бы характер внутреннего междоусобия. Впрочем, если бы власть сосредоточивалась долго и постоянно в Киеве и тяготела деспотически над всеми народами одинаково, то еще возможно было бы соединенное восстание нескольких народов; тогда Тиверцы, Дулебы, Радимичи, Вятичи, Древляне, при каких-нибудь благоприятных обстоятельствах, устроивших между ними сношение, могли бы еще содействовать друг другу против насилий от Полян; но было не так: при вековой власти Киева над народцами, в каждом из последних были свои князьки. Киев без нужды не стеснял их внутренней самобытности. Довольно было с него, если народы давали дань, и князьки их состояли под рукою *великого* киевского князя. Мало-по-малу эти частные князьки были вытеснены, упали в своем значении и достоинство их заняли князья из пришлого киевского дома. Во внутренней жизни народа от этого собственно ничто не переменилось; к князьям они привыкли и прежде, у Древлян, при Ольге, был какой-нибудь Мал, потом стал князем член Рюрикова дома. У Вятичей был свой князь Ходота; стал другой князь тоже из Рюрикова дома. Эти князья усвоили, конечно, и наречие края; они набирали себе дружину из уроженцев того же края, и перестали быть пришельцами для жителей страны, где княжили.

Сначала народы могли все-таки чувствовать нечто чужое над собой, когда приезжал из Киева князь или воевода собирать с них дань; но воззрение изменилось с тех пор, как у этих народов явились особые князья. Хотя они происходили из того же одного рода, который княжил в Киеве, но зато из Киева уже не приезжал к ним никто за данью. У Древлян и Дулебов был тогда свой князь, точно так же как у первых некогда какой-нибудь Мал; если он воевал с Киевом по своим родственным отношениям, то Древлянин, служивший в его ополчении, шел против Полян с чувством прежней неприязненности к своим соседям, или по крайней мере с остатками этого чувства. Если поставление у народов князей из единого рода, с одной стороны, способствовало обобщению самых народов, то с другой — поддерживало и особенные стихии каждого из них; чем более разветвлялись уделы, тем невообразимее казалось соединение против князей: народные побуждения переплелись с княжески-

ми. Значение князя совпало с народными убеждениями. Вместе с образованием стремлений, порожденных между князьями родовыми или семейными побуждениями, начали выплывать наружу слегка подавленные стремления народные. Собственно князья, в распределении своих волостей, не сообразовались строго с народностями, не думали, чтоб один или другой из их собратий владел тем или другим племенем. Когда Ярослав делит своим детям волости, то говорит: одному Киев, другому Чернигов, третьему Переяславль, четвертому Владимир, пятому Смоленск, а не говорит: этому Полян, другому Древлян, третьему Волынян, и так далее. Еще более: Всеволод получает Переяславль и вместе с ним Ростов, который не имеет с Переяславлем ни географического, ни этнографического сближения. Народные интересы сами собой стали пробиваться сквозь путаницу княжеских междоусобий, совершенно подчиняли своему направлению княжеские побуждения, и хотя сами изменяли свой характер, но зато и характеры княжеских отношений сообразовались с ними.

Прежняя местная самобытность обозначалась в том же, или приблизительно в том же, порядке; части начали проявлять свою самобытную жизнь одна за другой. Правда, несколько более мелких народностей объединились, зато докончились, определились и укрепились большие, слитые из меньших. Таким образом первая, выступившая самобытно наружу, была народность Славян Новгородских, — потом Кривичей. Новгородцы, призвавшие князей, как будто спровадили их от себя на юг и вскоре являются с началами независимости и отдельности. Не теряя связи ни с княжеским родом, ни с остальной Русью, под управлением лиц одного рода, Новгородцы стали выбирать себе князей из среды этого рода, по своему желанию, и таким образом начали свою самобытную историю. Явились и развивались у них интересы, им одним принадлежавшие, подчинялись чудские племена им исключительно, а не всей Русской Земле, развилось понятие о волости новгородской отдельно от прочих русских волостей, начали обозначаться более или менее видные границы. Выказывают свое самобытное существование и Кривичи, но это многочисленное племя не представляло вполне гармонии поземельного единства. Одна часть их, с первенством Полоцка, начинает жить своеобразной жизнью, под властью — сперва Рогволода, потом — потомков первого сына Владимирова; земля их, в свою очередь, дробилась на мелкие княжества; нередко эти части воевали между собой, но всегда сохраняли взаимное тяготение, как части одной группы по отношению к другим частям Руси. В другой части Кривской Земли, в Смо-

ленске с пригородами, образовалась другая половина, дробившаяся также на части, которые все вместе составляли одну группу, одну землю. Псковская народность составляла переход от кривской к новгородской; здесь племя Кривичей смешалось с племенем Ильменских Славян; вероятно, в незапамятной древности Славяне — пришельцы с Дуная, поселялись там между старожилами Кривичами и дали начаток смешанной переходной народности. Псковская Земля, со своими пригородами, сначала составляла часть Новгородской Земли, но народность ее имела свои отличия и, потому, залоги собственного самосуществования; она не примкнула к Земле Полоцкой, ибо уже отходила от чистой кривской народности, но держалась слабо в единстве с новгородской, стремилась к отдельной жизни и впоследствии достигла этого. До сих пор наречие псковское есть переход от белорусского к новгородскому; точно также смоленское есть переход от того же белорусского к среднему, великорусскому говору. Зачатки народных особенностей по наречиям, вероятно, существовали и в отдаленной древности на тех же местах, где теперь, хотя бы и не в тех видах. Неизвестно, когда Смоленская Кривская Земля сформировалась в удельном укладе, — с Мстислава ли Владимировича, с которого княжение Смоленское осталось навсегда у его детей, или прежде, потому что и посажение князей Вячеслава и Игоря, и присоединение к Переяславскому княжению суть явления случайные, скоропреходящие, и не показывают народной зависимости от другого края.

Народная жизнь шла своим путем, был ли так или иначе соединен или разделен край административно; прочность и влияние административных отношений, в то время слабо скользивших по народному быту, могли быть действительными тогда только, когда они сливались с народными побуждениями. Смоленские Кривичи, как и прежде, до пришествия Рюрика (что доказывается неучастием их с Новгородцами и другими Кривичами в призвании князей и в приступлении к этому северному союзу при Олеге), жили своей жизнью, отличной от других Кривичей. В XII веке, однако, Смоленск показывал более живой связи с остальной Русью, чем другие Кривичи и Новгород, где связь эта была слабее. Во всей остальной Руси обозначается своеобразное натуральное направление жизни с половины XII века; то есть, когда последовало ослабление связующей власти, и через то самое ощутительнее выступили наружу существовавшие и прежде народные начала. Но мы не в праве думать, что формы отдельных народностей тогда и возникли, когда являются на политической сцене и оказывают признаки самодеятельности по известным нам летописным сказаниям. В этот век

княжеские поделы и разграничения, через самое свое раздробление, стали в уровень с этнографическими поделами и подчинились народным началам, а потому последние и выказываются уже ощутительнее, но они самим делом существовали и прежде, ибо их следы слишком видны и раньше. Таким образом, хотя с половины XII века яснее выказывается самобытность Черниговской и Новгород-Северской Земель, однако эта самобытность виднеется уже и прежде, при большей крепости связующего уклада. Половину XII века можно считать только эпохой соединения княжеских побуждений с народными и обозначения форм, которые сами собой, свободно, должны были по этнографическим причинам явиться в частях Русского края, как только ослабнут препятствовавшие их явлению связи. Но то отнюдь не была эпоха порождения народных стихий, которые облекались в эти формы. Деление по княжениям, в этом случае, уступало натуральному делению по народам. Деление вместе с тем нашло предел своему бесконечному разветвлению; народности указали ему границы: деление продолжалось, но уже новые ветви держались связи между собой в таких кругах, какие указывали им народности. Таким образом, на Волыни было множество князей и, следовательно, княжений, как и в Белоруссии, или в Кривской Земле, но эти княжения были, по местности, непостоянны, изменяли свои пределы; то здесь, то там появлялся князь, но единица Волынской Земли, единица Кривской Земли оставались одни и те же, и все князья одной Земли между собой всегда в теснейшей связи: их княжения имели смысл одной группы владения, одного нераздельного, образованного внутренним единством округа. Понятие о Земле обнимало ту или другую Русскую народность в известном пространстве, по ее размещению на этом пространстве. Оно выразилось в жизни признанием первенства главного города тянувших к нему пригородов; оно связывалось цепью взаимного народного управления, независимо от княжеского. В том или другом пригороде появлялся один и другой князь, брал свои пошлины, набирал себе дружину и оборонял город и принадлежащую к нему территорию от неприятелей; но в земских делах пригороды тянули к городу, — как говорит летописец: *что старейшие здумают, на том пригороды станут.* К каждому пригороду тянула волость, состоявшая из сел, находившая себе оборону в силах города. Все города тянули к главному городу. Это составляло Землю. Это-то сознание Земли выражается в актах, словами: *Русская Земля, Полоцкая Земля, Ростовская Земля, Новгородская Земля.* В том же значении дается это название и чуждым соседним странам.

Таким образом, после показанных нами, отделенных уже за-

ранее, Славян Ильменских под видом Великого-Новагорода; — Кривичей, в видах Земель: Смоленской и Полоцкой со всей зависимой от понятия о Земле системой Белорусских княжений, и, наконец, переходной Псковской народности с территорией прилегавшей к озеру, — мы встречаем среднюю Великорусскую народность в двух отделах, составивших понятия о Землях: Землю Ростовско-Суздальскую и Землю Вятскую (Вятичей). Между народностями их должно было издревле существовать различие. В Ростовско-Суздальской Земле славянское население, вероятно, наплыло туда из Новгородской Земли, посунулось из Смоленской и Вятской и дополнилось переселенцами с юга, которые шли туда в толпах княжеских дружин, по разделении Русского мира на отдельные княжения. Эти славянские пришельцы смешались с туземцами Восточно-Финского племени, и из такой смеси образовался Великорусский народ. Самобытность этой Земли ясно обозначается в летописях с половины XII века. Земля Вятичей, разделяясь в этнографическом отношении на две ветви: Восточную или Рязанскую, и Западную, населявшую берега Оки с ее притоками, была соединена, по княжескому управлению, с Северской Землей, но потом, когда допущена была свобода народным элементам, она начала выделяться и приняла естественное очертание. Рязань стала центром, около которого группировались другие части.

На юго-запад от Земли Вятичей мы встречаем Землю Северскую, которая также разделялась по народностям на две половины: Черниговскую и Новгород-Северскую. До нашего времени этот народ остался со своими чертами, напоминающими древнее саморазделение его. Нужно только взглянуть пристальнее в народные черты уездов: Суражского, Мглинского, Стародубского и других Задесенских, до самого Чернигова: по наречию, по образу жизни, даже по физической структуре народ этот составляет средину между Южнорусским, Великорусским и Белорусским. Северия составляла, в удельный период, самобытное целое, но более имела тяготения к югу, чем к северу.

Обширная и разнообразная южнорусская народность в удельный период обособилась системой частей, образующих одну Землю. Древние Поляне образовали два княжения: Русское и Переяславское, но народность их была одна, и потому Переяславль с Киевом всегда составлял одно тело, одну связь, и самые князья, там сидевшие, подчинялись единству народности в своих стремлениях. Переяславские князья не могли принять направления, чтобы обособиться от Киева, как другие, княжившие среди народностей, более отдаленных от народности Русской, иначе — народности Полян. Другой вид южнорусской народности был

Древлянский — Полесье, народность Полещуков, существующая и теперь, но после древнего погрома от Полян не развившаяся до такой степени, чтоб начать свое самобытное существование в отдельности от прочих частей южной Руси. По близости к Полѣсью на запад означилась Волынская Земля со своими подразделениями и княжениями; Земля Улучей — Подол приняла образ самобытности в системе княжений бологовских князей, о которых, к сожалению, известно слишком мало, но и того достаточно, чтобы видеть, что в этом крае также было народное стремление к самобытным проявлениям жизни. Тиверцы на Днестре и Хорваты в Червоной Руси по границам к Карпатам, вероятно, близкие между собой ветви, явились в политическом образе частного княжения, подобно Земле Кривской, и эта Земля оказала очень явное стремление к большему, против многих других Земель, обособлению, хотя не теряла окончательной нравственной связи с Русским миром до самого выступления своего из него. Поляне, Улучи, Тиверцы, Хорваты, Волыняне были ветви очень близкие между собой, так что хотя Полян и Волынян помещают в числе пришедших с Дуная, а остальные являются древними обитателями, но вероятно Поляне и Волыняне прежде жили на Дунае, по близости к Улучам, которые также прилегали некогда к Дунаю. Напротив, Древляне и Дреговичи, пришедшие также с Дуная, были, вероятно, из мест более отдаленных от Улучей. И теперь, по наречию и образу жизни, Украинцы ближе к Подолянам и Волынцам, чем к Полещукам и Пинчукам. Хорваты и Тиверцы возвратились к началам прежней частной отдельности. Как только князья Рюрикова дома, сыновья князя Ростислава, сделались князьями в Галиче, тотчас же усвоили народное стремление к самобытности. Волынь и Подоль держались долее связи с Киевом и с Полесьем, но, после падения великокняжеского достоинства в Киеве, примкнули к Галичу и вошли в круговорот обстоятельств, касавшихся обоюдно этих стран. Затем, и Полесье, и наконец Русь более или менее показывали стремление примкнуть к новому центру, образовавшемуся в Галиче. Судьба южно-русских ветвей всегда была неразрывна, даже до последнего подчинения Галича Польше, а Волыни, Подоли и Руси — Литве. Оба эти государства спорили за единую власть над всей Южной Русью, сознавая ее народное единство; и наконец, в XVI веке, Южная Русь опять в совокупности своих этнографических особенностей вошла в соединение с Польшей, как единое тело, отлично от Белоруссии, Земли Кривской. Части ее: Украина (т.е. Русь с Подолью), Полесье, Волынь, Червоная Русь, при всяком народном действии, показывали взаимное тяготение и сознание своей внутренней связи и нераздельности.

Поэтому и Русь-Полян, и Полесье, и Волынь, и Подоль, и Русь Червоную, все части Южно-русской Земли, и южнорусской народности, с их частными особенностями, следует рассматривать, как единую Южно-русскую Землю, все исчисленные части которой, относительно общей своей связи, соединены еще теснее, чем в Великой Руси Вятичи, Рязань и Суздаль в отношении общей народной связи великорусского элемента.

Таким образом в первой половине нашей истории, в период удельно-вечевого уклада, народная стихия обще-русская является в совокупности шести главных народностей, именно: 1) Южнорусской, 2) Северской, 3) Великорусской, 4) Белорусской, 5) Псковской и 6) Новгородской.

Теперь следует нам указать на те начала, которые условливали между ними связь и служили поводом, что все они вместе носили и должны были носить название общей Русской Земли, принадлежали к одному общему составу, и сознавали эту связь, несмотря на обстоятельства склонившие к уничтожение этого сознания.

Эти начала:

1) Происхождение, быт и язык.

2) Единый княжеский род.

3) Христианская вера и единая Церковь.

Что происхождение пришлых Славян было между ними памятно и служило для них признаком единства, частью это достаточно видно из сказаний в начале наших летописей о прибытии Славян с Дуная. И теперь самое название "Дунай", между другими общими признаками, представляет что-то общее для Русских племен: в песнях великорусских и малорусских имя "Дунай" остается одним из немногих общих, для тех или других, заветных собственных имен. Без сомнения, в древние времена яснее, живее и общнее были воспоминания народов о приходе их предков с Дуная. Таким образом пришельцы сознавали единство общего своего происхождения. Полянин мог враждовать с соседом своим Древлянином, но помнил, что он одного с ним происхождения и пришел с одного места; вражда могла быть ожесточенной, но не могла потерять характера домашней; у врагов были одни и те же старые предания, которые их сближали, и указывали тем и другим на взаимное родство. Память об общих героях, прародителях, носилась над племенами дыханием поэзии. Как помнилось происхождение это — можно видеть из того, что Славяне Новгородские долго и долго имели тяготение к Киеву; это объясняется тем, что жители берегов Ильменя были ветвью Полян: их наречие до сих пор показывает близость к южнорусскому.

Вместе с преданиями о происхождении соединяла Славян и общность основ в их обычаях и нравах. Хотя каждое племя, — как передают нам древние летописцы, — и имело свои предания, свои обычаи, законы своих отцов, но в том, что принадлежало одному из племен в особенности, заключало в главных чертах много такого, что составляло сущность жизненных начал другого племени. И теперь народные песни, у всех Славян чрезвычайно разнообразные, имеют много общего и единого. В приеме и способе выражения встречается сходство в песнях народов, отдаленных друг от друга и по географическому положению, и по истории. Так и в песне "О Марке Кралевиче" встречается образ, что этот герой посажен в темницу, долго сидел и не знал ни зимы, ни лета; девицы шли мимо тюрьмы и бросили в тюрьму цветок, — по этому он узнал, что тогда было лето. Такой же образ мы находим в малорусской песне о "Левенченке". В сербских песнях рассказывается история "кровосмесителя"; та же история сохранилась в народных великорусских сказаниях и некогда своевольно применялась и к житиям разных святых; обломки ее видны и в песнях южнорусских. Можно найти много таких событий, которые воспоминаются в песнях разных Славянских народов одинаково, и, без сомнения, суть остатки древних мифологических преданий, общих более или менее всему племени. Например, описание, как девица извлекает из воды своего суженого; превращение замужней женщины в кукушку (в этом виде прилетает она к матери); приход мертвой матери к своему дитяти из гроба; превращение в дерево невестки, преследуемой злой свекровью; история похождений божества; предания о змеях и королевнах и о борьбе с ними богатырей. Таких признаков не исчислить в области славянской поэзии. Сравнивая песни обрядные и самые обряды, легко найти между ними сходство и в тоне, и в содержании. Много старых обычаев, обрядов, верований удерживается в сходном виде у Славянских народов, несмотря на то, что они не могли заимствовать их друг от друга. Например, купальский огонь и дерево Марены, погребение лета в виде чучела, святочные песни, хороводные пляски и игры — общие черты. Все это доказывает наглядным образом, что в древности Славянские племена в основах своей духовной жизни имели одинакие верования, обычаи и религиозные обряды.

Между прочим, особенно поразительно сходство религиозных обрядов, отправлявшихся некогда при храме Святовида у Прибалтийских Славян, с нашими домашними и гадальными обрядами, как например между гаданьем посредством Свантовитова коня и нашим таким же гаданьем посредством перевода коня через бревно, или между обрядами на празднике жатвы

при храме Свантовита и малороссийскими обрядами в сочельник. При недостаточности сведений о древней нашей местной мифологии может показаться, что у Славянских народов были такие божества и такие верования и обряды, которые были совершенно чужды другим соплеменникам; но в сущности не совсем так было: достаточно можно это видеть из сходства того, что делалось в Арконе и Ретре, с тем, что делается в Малороссии и Великороссии. Мифологические имена, теперь уже исчезнувшие у нас и известные только у древних Западных Славян, в самом деле входили и в круг наших верований, например Сварожич, божество Лужичан, по Дитмару, является мифологическим именем у нас, по нашим памятникам. Название Вилы, известное по сербским песням, в древности давалось и у нас фантастическим существам, как доказывает слово Христолюбца; так же точно открывается, что Берегини, богини чешские, были и нашими. Название Марены, о котором мы знаем из Забоя, Славоя и Людека, по Краледворской рукописи, да из польских летописцев, что это.— божество смерти и зимы, было и у нас, как показывает название дерева Марены. Прочитав в "Любушином Суде" описание, как Любуша сидела на троне, окруженная девами, державшими символические знаки, меч и праводатные доски, как при них стояли вода и огонь, - невольно представляется малороссийская свадьба, где жених с невестой сидят на посаде, а перед ними два символических лица держат: одно — меч, а другое — свечу. Умыканье у вод девиц сохранилось до позднейших времен у Черногорцев.

Еще знаменательнее этих остатков язычества, исчезавших вместе с христианством, общие Славянам начала общественного строя. Вечевое начало было родное всем Славянам Русским. Повсюду, как коренное учреждение народное, является *вече*, народное сборище. Самое выражение вече есть название общее всем Славянам Русским, как в Киеве и на Волыни, так и в Ростове и Новгороде; во всех углах и краях Руси употребляют одно и то же название самого драгоценного и важнейшего явления народной самобытности. В любви к свободе Славяне Русские хранили заветное чувство всего своего племени, и что говорят о свободолюбии Славян Прокопий, Маврикий и Лев Мудрый, то сохранялось долго у Русских Славян, несмотря на противодействующие обстоятельства. Вечевое устройство должно было действовать соединительно на Русский народ. Уже одно общее имя *веча* у всех Русско-Славянских народов к этому располагало. Собрания народные соединяли людей часто разнородных, особенно тогда, когда на собрание сходились из нескольких городов. Вообще не было нигде строгих правил, запрещавших тому или другому

участвовать в этих собраниях; мы, напротив, видим, что участвовали от мала до велика; перешедший из одного славянского города в другой видел такое же собрание, как и у себя, также без стесняющих правил, вольное, широкое, и входил в него легко. Везде существовало разделение на города и пригороды, зависевшие от городов; везде города были головами и центрами Земель. Все коренные обычаи, не только домашние и религиозные, но и общественные, по сходству начал своих, должны были поддерживать сознание единства племени Русско-Славянского.

Несмотря на различие русских наречий, между ними существовало всегда столько сходства, сколько нужно было, чтоб каждый народец, говоривший тем или другим русским наречием, видел в другом единоплеменном соседнем народце родственное себе по сравнению с другими народностями. Брожение и поселение между Славянами иноплеменников столько же помогали сохранению между ними сознания о племенном единстве, сколько мешали фактическому соединению народов. Каждое Славянское племя могло смотреть на другое, как на отличное от него во многом и не сознавать сродства своего с ним только до тех пор, пока не знакомилось с таким народом, который равным образом чужд обоим. Тогда из сравнения являлось понятие о близости и возможность создания единства. Мы имеем случай наблюдать это в наше время. Великорусс простолюдин не сознает родства своего с поляком, когда встречается с ним один на один, но сознание это сейчас пробуждается, как скоро случай приведет его сравнить поляка с немцем или татарином. Так в древности Полянин, встречаясь с Печенегом, должен был замечать, что с ним у него нет сходства в языке, а напротив, есть с Вятичем, и отсюда возникло сознание, что Вятич ему родной. Невозможно теперь показать, в каком отношении между собой находились народные наречия в древности по сравнению с настоящим их положением. В наше время, в кругу племен Финских Восточной России и Кавказа, близкие по соседству одноплеменные народности не понимают друг друга; это наводит на предположение, что в древности наши наречия были между собой отдаленнее, чем теперь. С другой стороны, напротив, письменные памятники показывают, что вообще у Славянских народов в языках были такие общие формы и слова, которые теперь составляют достояние только частных наречий. Что касается до связи между собственно руссо-славянскими наречиями, то все они имели еще те общие признаки, которые были им свойственны, как одной особой семье Славянского рода. При ознакомлении с другими Славянскими народами, например с Поляками или Болгарами, неизбежно выставлялось пред глаза сравнительно

большее сходство народов Русского материка между собой, чем каждого из них с прочими Славянами. В древности, как и теперь, существовали общие русским наречиям филологические признаки, которых не было, или которые иначе сложились у других Славян. Эти признаки сохранились в наших летописях сквозь церковно-книжную одежду, и указывают на существование особенностей, отличавших говор всех русских наречий от других славянских. Таковы, например: смягчение согласных, вставка гласных *о* и *е*, с переменой *а* в *о* там, где в других наречиях ставится две согласных: *нрав — норов*, *о* вместо *е*, в словах: *олень*, *один*, вместо *елень*, *един;* окончания на т с твердым или мягким полугласным звуком в третьем лице изъявительного наклонения; заменение глухих и носовых звуков чистыми, и проч. Таким образом, Славянин, какого бы то ни было Русского народца, видел в Славянине другой, своей же ветви, более родную для себя стихию, во-первых, по сравнению с не славянскими племенами, окружавшими Славян, а во-вторых, и по сравнению с иными славянскими ветвями. Поляк для Киевлянина должен был представляться более далеким, чем Славянин Новгородский.

Строй языка и говор много содействуют образованию понятия о близости или отдаленности народных особенностей: чем ближе говор, чем роднее язык в чужом человеке, тем больше склонности считать этого человека в народной общительности с собой. Естественно, что самые близкие, хоть несколько отличные по говору, ветви народа могли скорее слиться в одно тело, чем те, речь которых представляла затруднения к удобному взаимному пониманию; равным образом последние, более отдаленные, чем первые, могли быть ближе третьих, представляя условия для ближайшего и скорейшего соединения между собой, чем с этими третьими. Наконец, эти третьи, при всех отличиях, имели вместе с тем достаточный запас общих признаков, чтоб и о них составилось понятие, как о родных, — и так могла образоваться с ними связь, несколько уже слабейшая, чем со вторыми и третьими. Таким образом чувствовались различные степени свойства и вместе с тем различные степени единения. Киевлянин был ближе к Древлянину, чем к Кривичу и Вятичу; Галичанин ближе к Волынцу, чем к Киевлянину, ближе к Киевлянину, чем к Северянину, ближе к Северянину, чем к Ростовцу или Рязанцу; и на этом основании завязывается более тесная связь Галича с Волынью, чем с Киевом, чем с Черниговом, теснее с Черниговом, чем с Ростовом; но Ростовец, отдаленный по местоположению, был для Галичанина родственнее близкоживущего Болгарина или Поляка; Киевлянин чувствовал себя отдельным в отношении к Древлянам и Волынцам, но в равной степени, вместе с Древ-

лянами и Волынцами, чувствовал себя отдельным от Вятичей. Наконец, вместе с Вятичами, он чувствовал свое общее единство и отдельность от Поляка и Болгарина, и оттого между Киевлянами, Древлянами и Галичанами образовалась взаимная связь скорее и теснее, чем у каждого из них с Вятичами, но, с другой стороны, и положение Вятичей в отношении всех первых трех было таково, что известная близость их наречий не дозволила им совершенно разойтись. Точно так же и Вятич Рязанский чувствовал свою отдельность от Ростовца или Москвича, но в отношении Киевлянина он составлял с Ростовцем и Москвичем одну народность. С народностями совершается такая судьба, что большему или меньшему их сближению, от простого чувства народного сходства до положительных стремлений к слитию, способствует столкновение с таким единоплеменным народом, которого особенности равно одинаково близки и одинаково далеки и тем, и другим; как и соединению всего племени или племенной ветви, состоящей из многих народов, может способствовать столкновение с массой иноплеменников.

Нам возразят в этом случае, что мы признаем слишком глубокую древность за теми этнографическими особенностями, которые, может быть, возникли уже впоследствии. Утверждают, что настоящие наречия и оттенки русской речи явились уже после. Древность малорусского языка была не очень давно предметом ученого спора, нерешенного надлежащим образом: выходило то, что как скоро одна сторона находила в словах и оборотах чисто малорусский склад, противная отыскивала подобное в областных великорусских наречиях. Это оттого, что обращали внимание на сходные или несходные признаки по частям, а не в их совокупности. Не спорим, что образ, в каком является наречие и говор теперь, составился позже; но нам кажется, что на тех же местах существовали искони прародительские отличия: отчего именно в тех пределах является система удельных земель, в которых до сих пор мы видим размещение разных русских наречий? Отчего белорусским наречием говорят именно там, где были Кривичи, и вся страна, где говорят им теперь образовала *Землю Кривскую*, сознававшую свое единство и отличие от других? Неужели белорусское наречие образовалось, как некоторые думали, от смешения великорусского с польским? Отчего же в Юго-Западной Руси, которая также, даже еще крепче, была соединена с Польшей, не образовалось такой же смеси? Отчего ж эта смесь сохранилась в Смоленской губернии, которая если и была несколько времени под властью Польши, то слишком мало для того, чтоб усвоить *смесь* одинакую с Белоруссами, которые были в соединении с Польшей много

веков. Не спорим, что как в белорусском, так и в южнорусском наречиях есть влияние польского элемента, есть слова и обороты, вошедшие в них впоследствии, но так как основы народности и говоров различны, то, очевидно, и прежде в Белоруссии и Южной Руси существовали своеобразные свойства, при которых самое сближение с Польшей выразилось иначе и в том, и в другом крае. Вместо княжеств, в удельные времена образовались системы княжений и волостей более или менее согласно с тем разветвлением народностей, какое мы застаем впоследствии и теперь и какое, с другой стороны, указывается на первых страницах наших летописей. Эти системы волостей, или Земли, располагались согласно с нынешними этнографическими особенностями. Где были Кривичи, там ныне Белоруссы; там образовалась Земля, — система княжений и волостей, имевших взаимную связь, — и так вошла она во владения Литовские. Где виден переход от Белоруссов к Новгородцам и смешанное наречие, там образовалась Псковская земля; где были Русь-Поляне, там теперь Украинцы, там была система волостей *Русской* Земли; где Древляне, там Полещуки, где Дулебы и Волыняне, там Волынцы, — там была система волостей Волынской Земли; где Хорваты, там Червоно-Руссы, там Галицкая Земля; где были Улучи, там Подоляне; там были бологовские князья. На Волыни образовалась группа княжений и волостей, имевших одно тяготение с Галичем; и теперь мы видим на Волыни особый оттенок народности, очень близкий к червонорусскому; как Украина по-Днепровская несколько дальше и теперь от Червоной Руси в этнографическом отношении, чем Волынь, — так и в старину Галицкая Земля имела ближайшее взаимное тяготение с Волынью, чем с Русью Киевской. Но Украина по-Днепровская не имеет, однако, от Червоной Руси настолько отмены, чтобы между ними потерялась связь единонародности; так и в удельный уклад, несмотря на явления противодействующие к слитию Червоной Руси с Русью Киевской, эти Земли все-таки вращались в одной общей сфере. Все отмены южнорусской народности имели между собой столько сходных общих признаков, что с устранением в них мелочей представлялась одна народность, по сравнению с другими такими же группами, отличными от всех них вместе. И теперь мы видим, что все этнографические особенности совершенно сообразны с системой разветвления волостей удельного уклада, и все эти этнографические особенности составляют сумму одной народности — южнорусской. Так и княжения и волости в старину составляли один общий разряд, связанный взаимным тяготением.

Но тут могут нам возразить, что мы видим этнографическое тяготение там, где могло быть одно географическое отношение

соседних земель. В таком случае мы укажем на Новгород, который долго и постоянно склонялся к Южнорусской Земле, и только после внутренней борьбы, когда притом запустение Киева лишило его тяготеющей силы, начал тяготеть к Восточной Руси, но всегда с каким-то внутренним противодействием, с готовностью склониться в другую сторону, если бы представился случай. Вслушайтесь в наречие новгородское, и вы найдете в нем следы народности, более близкой к Южнорусской, чем к Московской, следы хотя явные и резкие, но все-таки одни следы прежнего наречия, ибо Новгород впоследствии не только подвергся тесному соединению с Московской народностью, но еще были употребляемы насильственные меры к перерождению туземной народности; однако, и следов достаточно, чтобы признать, что Великий-Новгород, в этнографическом отношении, составлял ветвь, несравненно ближайшую к южнорусской народности, чем к Великорусской и Кривской, и оттого-то между ним и Киевом является очевидное взаимное тяготение, хотя по местности он был самой отдаленной от Киева Землей. Признаки новгородского наречия почти те же, что и южно-русского: *и* вместо *е*, *и* и *ы* часто смешиваются, мягкое *о* вместо *е* — йому, його вместо ему, его; *у* вместо *в*, отбрасывание *и* в творительном падеже множественного числа (вместо *своима* — свома), перестановка слогов в том порядке, как и в южнорусском (например, *намастир*, вместо монастырь), сохранение *о*, измененного у Великоруссов и Белоруссов в *а*, отбрасывание *т* в 3 лице не только единственного, но и множественного числа глаголов; перемена *е* в *о* после шипящих, напр., жона вместо жена; усеченные окончания прилагательных женского рода, напр. высока, добра, и *ц* вместо *ч*, отличие, общее с карпатским. Разбирая эти признаки по частям, можно находить то и другое в разных областях России, но совокупность всего в одном наречии показывает такое поразительное сходство с южнорусским наречием, что малоросс, услыхав новгородское наречие, изумится, если не имел прежде понятия о их близости, и придет невольно к заключению, что народ, говорящий таким наречием, должен был некогда составлять одно с малороссом. В Земле Великорусской впоследствии совершалась перетасовка народных элементов; произошел процесс перерождения Финских народностей и примесь татар; происходили насильственные административные переселения; наконец, двигалось население само собой с севера на юг и на восток с промышленными целями; несмотря на все это, те системы, из которых образовался Великорусский край, имеют до сих пор различную физиономию: проезжайте по Владимирской губернии, по этому древнему княжеству Суздальскому — разве

не отличен там говор от говора рязанского и московского? Так же точно представляются, в этом отношении, отличными от Московского, Рязанского и Владимирского края древняя Земля Вятичей, край Орловский, Калужский, Курский, Воронежский. Нас могут упрекнуть в голословности, но мы думаем, что напоминаем нашим читателям вещи давно известные. У нас много писали об этнографии, довольно и занимались ей, да занятия наши были как-то односторонни: недоставало сравнительного изучения. Говорили о том что есть, не говорили чего нет у одних из того, что есть у других. С целью изучать историю народа по настоящим его этнографическим признакам, никто не брался систематически. Изучение истории народа должно начаться именно с этого. Надобно исследовать и привести в ясность все виды Русской народности, во всей совокупности их отличительных признаков. Надобно отыскать: чем выражается отличие одного края от другого, с ним соседнего, в наречии, говоре, образе жизни, постройках, одежде, пище, обычаях, привычках; надобно обозначить совокупности всех таких признаков, составляющих этнографические виды; показать их взаимные переходы и местные их грани, и с настоящим положением народностей сверять историческое течение прошедшей жизни народа. Только тогда и доберемся мы сколько-нибудь до ее уразумения. Очевидно, это не легкая работа. Она тем более трудна, что, при самом тщательном, добросовестном, подробнейшем этнографическом описании, останется еще то, что едва ли возможно описать каким бы то ни было пером — физиономию народа, подобно тому, как нельзя никоим образом описать живого человека так, чтоб можно было, по описанию, столько же знать его, как живши с ним.

Все это высказывается здесь для того, чтобы показать, что разнообразие наречий связывалось первостепенной и второстепенной близостью их, и эта близость, сознаваемая народом, способствовала поддержке в нем взаимности и сознания единства в разнообразии.

С принятием христианства явился в Руси один общий язык — книжный, и это была новая сильнейшая связь Русских народов, прочнейший залог их духовной неразрывности. Мы говорим — с принятием христианства, ибо если принять, что договоры Олега и Игоря писаны были тогда же, когда заключались, то, вероятно, их писали или переводили русские христиане, и если бы даже язычники, то они должны были пользоваться плодами, принесенными христианством. Книжный язык сделался орудием и распространения веры, и удержания государственной жизни, и передавал общие всем понятия и взгляды. Вместе с потребностью высшей жизни явилась и форма, в которой могла быть

достигнута эта потребность. Тогда во всех углах России, в какой бы то ни было ветви народной, в церквах раздался один язык; власть старалась передать свой голос одним и тем же языком; событие старины — случилось ли оно в Кривской Земле, или в Руси, или в Новгороде — записывалось тем же самым языком. Знакомство с правилами веры и нравственности происходило через посредство этого языка. Явились школы, и в этих школах учили на том же языке, не обращая внимания на то — из какого племени были учащиеся. Таким образом, везде и повсюду явилось одно орудие выражения высших потребностей жизни. Пока книжный язык существовал в своей чистоте, духовное единство не могло быть прервано, как оно не прервано в этом отношении не только между Русскими и Червонорусами, составлявшими некогда одно федеративное тело, но и между Сербами и Русскими, несмотря на то, что никогда не поддерживалось другими политическими условиями, подобно частям Русского народа. Австрийская политика очень благоразумно хочет в наше время уничтожить употребление церковно-славянского языка в школах Червоной Руси, под благовидным предлогом покровительства народной речи. Она из опыта предшествовавшей истории Славян знает, что этот язык был и есть сильнейший двигатель сродства племен и взаимного братства. *Язык* доставил нам единство. Но сам по себе язык не был достаточен для водворения единства политического. Он не мог даже вытеснить, истребить и заменить собой наречия, во-первых, потому, что до известной степени в некоторых отношениях был столько же чужд народной речи, как в других близок; по-вторых, что, будучи достоянием одних образованных того времени людей, касаясь известных только высших проявлений жизни, не только не заменял обыденной народной речи, но даже сам, в книжной сфере, подвергался наплыву последней, как это видно в летописях, которые, благодаря неполному уменью летописцев ладить с книжным языком, обличают нам живучесть народного слова при существовании книжного. Язык книжный сам по себе был достаточен только для того, чтобы части, достигавшие самобытности вследствие коренных народных особенностей и исторических обстоятельств, не теряли связи между собой; чтобы каждая часть имела у себя в равной степени то, что было священно и для другой части, — но он был недостаточен для того, чтобы все части могли перестать быть тем, чем до того времени были, и стать тем, чем ни одна из них не была.

Второе звено, соединившее части Русской Земли в эту первую половину русской истории, был княжеский род. Он способствовал единству даже своим разветвлением, своим многообразием.

Обыкновенно привыкли (издавна это ведется) жалеть об удельной системе, жаловаться на ее беспорядки, думать, что она замедляла прогресс русской жизни, приписывать ее неблагоразумию Ярослава, и если извинять его, то единственно грубостью и невежественностью века. Но Русский мир и не мог иначе быть единым. Именно только этим поддержалась связь его. Не Ярослав выдумал делить Россию детям, даже не Владимир. В договоре Олега говорится о светлых князьях, сущих под его рукой. При Владимире эти старые удельные князья заменены другими из одного рода. Это могло повести только к большему единству, а не к раздроблению. Удельный порядок вытекал из сущности положения, в каком находились народы, составившие впоследствии Русскую державу. Чтобы соединить рассеянные, разделенные одни от других племена, нужно было именно то, чтоб и у того, и другого народа были начальники, родственные между собой: тогда и народное сознание взаимного родства получало себе пищу. Искать ли источника этой народной связи посредством единого начальствующего рода в так называемом родовом быте Восточных Славян? Конечно, насколько общечеловеческие понятия о родстве оказывали влияние на сформирование у Славян понятий об общественной и государственной жизни. Связь народов посредством родства лиц, состоящих во главе их — представление слишком всеобщее, повсеместное: Людовик XIV думал же, что не существует более Пиренеев, когда посадил на испанский престол внука; и Наполеон хотел поддерживать связь подчиненных себе наций тем, что сажал на престолы Германии и Италии своих братьев и зятьев. И в средние века феодальное разнообразие находило для себя связь частей в родственных союзах. Только везде на Западе явление это не было до такой степени первостепенным, фундаментальным для всего механизма общественного строя, как у нас. У нас начало соединения частей, основа государственного быта возникла от призвания княжеского рода извне. Впрочем, и у нас форма единства Рюрикова рода не представляла единственно возможного, незаменимого ничем способа соединения частей: предел его был уже видим. С разветвлением княжеских ветвей, с неизбежной сообразностью такого рода разветвления с народными делениями, значение князей, как начальников Земли, стало упадать. Уже в XII веке видно, как народное начало всплыло наверх и взяло перевес над княжеским. Вместо того, чтоб князь наследовал, он избирался толпой; вместо того, чтоб быть единым начальником и предводителем, являлось по нескольку князей разом предводителями в одном и том же месте зараз, и в то же время должность их заменяется уже не князьями. Так, в 1180 г. в ополчении городов

Кривской Земли из двух городов — Витебска и Полоцка — начальствуют князья, а из других двух — не князья. В Галиче князья до такой степени потеряли свое древнее значение, что их судили и казнили смертью, как простых людей, а места их пытались занимать люди не княжеского рода. В Новгороде, оставшемся вне татарского завоевания, продолжались развиваться старые стихии, и в XIV-XV веках уже не стало необходимости держать князей, а отношения к великим князьям казались более лишним бременем, от которого только трудно было освободиться. В XIV веке явился новый род — Гедиминов, который начал оспаривать право быть орудием связи Русско-Славянских народов. Но тогда уже Русь склонялась к единодержавию. Если б даже удельный порядок, вследствие иноземных явлений, не был у нас заменен единодержавным, то все-таки он рано или поздно должен был уступить другому, более сообразному с дальнейшим ходом народной жизни, которая вырабатывала, хотя медленно, свои начала. Самое единство княжеского рода было формой выше той, какая существовала в виде народного управления — "кождо родом своим", т.е. своими начальниками, не имевшими между собой родственной связи. Если при воздействии чужеземном единство рода княжеского должно было уступить высшей форме — единодержавию московскому, то без этого воздействия оно бы уступило иной, новой форме единства, какую выработала бы сама из себя народная жизнь.

Более или менее князья размещались параллельно народностям, и, таким образом, их родовое единство между собой шло в параллели с сознанием единства народностей. Род дома Изяслава Владимировича постоянно княжил в Полоцке и разветвлялся в Земле, имевшей одно тяготение с Полоцком. Дом Святослава Ярославича, со всеми его разветвлениями, поместился в Северщине и образовал княжественную двойственность, сообразно двойственности Земель — собственно Черниговской и Новгород-Северской. Князь северский был ближе к черниговскому, чем к киевскому, и народность северская была ближе к черниговской, чем к киевской. Но князь северский не терял все-таки связи с рязанскими и суздальскими князьями: все-таки он считал последних происходящими из одного с ним рода, и только далее от него, чем были к нему черниговские. Так и народ в Северской области считал народ суздальский и рязанский далее от себя, чем черниговцев, но сознавал, что и суздальцы — Русские. Как князь говорил: "я не Угрин, я не Лях, мне часть в Русской земле", так каждый Русский говорил, что он не Лях,не Угрин, что ему часть в той широкой Земле, где Северянин, Русин-Полянин, Волынец, Суздалец сознают свое родство. Имея

дело с князьями, своими однородниками, князь в то же время имел дело и с целой Землей, как показывает, напр., такое выражение: *бяшет ему тяжа с Рюриком и с Давыдом и Смоленскою Землею* (1190 г. Ип. Спис., 450).

Князь мог не поладить со своим соседом и народ мог разделять с ним его неудовольствия; но также народ мог не поладить с другой ветвью общего Русского народа; и как у князей ссоры были усобицами, так и в народе брань одного края с другим была домашняя, а не внешняя война. Этим сознанием сродства объясняется, почему Новгородцы, воюя до неистовства с Суздальцами в начале XIII века, после того опять находились с ними в связи и принимали оттуда князей, и отчего те же Новгородцы, защищая свою независимость против покушений московского единовластия, в то же время никак не могли оторваться от Московской Земли и принять в отношении ее тот образ действий, как в отношении чужих, например, Немцев или Шведов. Если бы в России не возникло удельного порядка, если бы возможно было, чтобы Ярослав, соединив Русские страны под одну власть, передал все вместе одному из сыновей, то, без сомнения, Русская Земля скорее могла бы потерять единство, чем при разделении на уделы. Тогда должны были бы оставаться те старейшины-князья, которые существовали до прибытия Рюрикова дома, или — Земли управлялись бы наместниками киевского князя. В первом случае старейшины разных родов, не имея между собой кровного единства, старались бы каждый о совершенном обособлении своих Земель, находясь в отношении киевского князя, как покоренные, чувствовали бы над собой иго и старались бы освободиться от него. Естественно, тогда между всеми ними несравненно было бы менее связи, чем между князьями одного рода. Во втором случае сами народы чувствовали бы чуждое иго — власть одной Земли над своей, и смотрели бы на наместников, как на врагов и утеснителей. Географические условия и необходимость постоянного отбоя от неприятелей не дозволяли бы Киеву сосредоточить свои силы для насильственного удержания в своей власти такого множества народов, на таком огромном пространстве: последовало бы совершенное разложение. Даже если бы все народы сживались со своими наместниками и покорно повиновались им, то и тогда связи духовной было бы меньше, чем при существовании удельного порядка; ибо такие наместники не были бы так связаны между собой, как родственные князья. Указывают на горькие последствия княжеских споров и дележей. Но без сомнения, если бы не было уделов родовых, то усобицы между народами были бы неизбежнее, и были бы гораздо жесточе, губительнее, разрушительнее. Напро-

тив, княжеские усобицы способствовали поддержанию народного единства России посредством знакомства частей между собой. Без них сообщение между родственными племенами было бы реже; в таком большом числе посещающих далекие страны тогда не было бы. Вспомним, например, упорную войну суздальских князей с киевскими в половине XII века. Едва ли бы могло быть по какому-нибудь мирному поводу столько суздальцев в Киеве. Всякий, кто возвращался домой, рассказывал о далекой Земле, и из рода в род, в семейных преданиях укоренялась привычка считать народонаселение того и другого края близким к своему, — расширялся круг географического понятия о том, что такое составляет *свое* и *чужое*.

И вот, то, что с первого взгляда, кажется, наиболее препятствовало единству, на самом деле служило этому единству поддержкой. Выше мы коснулись воцарения Гедиминовичей. Когда в XIV веке княжеская рюриковская линия стала заменяться гедиминовой, связь между Западной и Восточной Русью ослабла. Москва и Литва часто смотрели на себя как на чужих друг другу, как на особенные государства. Народ и в Москве и в Литве оставался Русским, а между тем связи между ним гораздо было меньше, чем при князьях единого дома. Правда, очень часто возникала мысль о соединении; но замечательно, что эта мысль являлась только после войн, когда оба народа возобновляли старое знакомство, хотя и печальным образом. Оставаясь в покое, Москвич забывал, что Литвин-Белорусс — его кровный; у него это выходило из памяти при долгом нестолкновении с соседями-единоплеменниками.

В числе начал, поддерживавших единство Руси, следует поставить и то, что в то же время еще больше княжеских усобиц мешало ее единству — беспрестанные неприязненные отношения к иноплеменникам, снававшим или оседлым между Славяно-Русскими народами. Одна часть их была оседлая Финская, покоряемая Славяно-Руссами; а другая, напротив — кочующая, нападающая, в образе Половцев и их кочевой братии, разорявшая славянскую гражданственность, а в образе Татар — завоевательная и поработительная. И те и другие препятствовали порядку гражданственной стройности, а между тем против собственной воли помогали сознанию единства. Так, когда на Южную Русь нападали Половцы, несколько раз князья забывали свои несогласия и собирались как бы в крестовый поход против врагов веры и своей народности. В умах Русского народа образовалось понятие, что есть такие народы, которые — враги всем ветвям его, а чрез это понятие поддерживалось и понятие о взаимности и сродстве своих народных ветвей. Это понятие еще

более развилось во время татарского завоевания. Тогда повсюду, кто только принадлежал к Русскому народу, проникался то в большей, то в меньшей степени чувством враждебности к покорительному народу. Эта враждебность поддерживала, даже и впоследствии, древнюю связь Южной и Западной Руси с Восточной. Так, разом на Днепре и на Дону составилось воинственное общество козаков — с целью противостоять татарскому и турецкому покорительному началу, и нередко польские и русские государи, среди беспрерывных взаимных несогласий, приходили к мысли о союзе против общих врагов; во враждебных между собой государствах не раз являлась мысль о возможности прочного соединения западной и восточной половин Руси, в надежде, что таким образом общими силами можно удачнее и успешнее действовать против Татар и Турок. Враждебность к этим народам перешла преемственно из тех веков, когда славяно-русские народы боролись с тюркскими племенами, бродившими некогда по широкому материку России. Та же борьба, которую русская стихия выдерживала в IX и в X столетиях против Печенегов, явилась потом в XII в религиозной вражде против неверных Половцев, когда русские дружины ходили в их степи по призыву Мономаха и Игоря; она приняла, в XIV веке, значение освобождения от чуждого ига при Димитрии Донском, и руководила важнейшими явлениями внешней политической жизни до позднейших времен во вражде с мусульманским турецким Востоком. Есть в истории заветные племенные ненависти; они развиваются веками, то утихают, то разгораются от обстоятельств; то засыпают, то вновь пробуждаются; проходят через разные виды исторических перемен и дают направление народным силам и тон народным думам. К таким враждебным явлениям принадлежит борьба славянского племени с турецким или тюркским. Ее источник скрывается во мраке доисторических времен. Мы знаем только ее продолжение, и не видим начала, и для нас такие черты легко представляются коренным племенным свойством, как делаем мы со всем, чему не можем доискаться начала в тех сумрачных веках, откуда нет ничего положительно достоверного.

Есть еще признаки племенной враждебности к иному племени, также неприязненному к Славянам с незапамятных времен — к племени немецкому. Но эта враждебность, составляющая всю сущность истории Западных Славян, касалась легче наших, Восточных. Признаки ее можно видеть во враждебных отношениях Новагорода и Пскова к Ливонским рыцарям и Шведам, и равным образом в том воззрении, какое народ наш имел и до сих пор неизгладимо имеет на немецкое племя. Новгородцы и Пско-

вичи поддерживали языческих Эстов во вражде их с Крестоносцами и финляндскую Емь в борьбе со Шведами, против распространителей христианства, защищая свободу языческой совести от насильственного крещения. Во вражде этой участвовали вскользь и другие русские ветви. В ополчениях Великого Новагорода и Пскова отличались и Суздальцы, и Смольняне, и Полочане. Со своей стороны Немцы, поработив Прибалтийских Славян, готовились подвергнуть той же участи и северных Русских Славян, и в XIII веке уже успели покорить Псков, но были отражены Новгородцами, под предводительством Александра Невского. С тех пор Псковская Земля стала полем, где беспрестанно разыгрывалась и воспитывалась старая вражда Славян к Немцам, — вражда, которой первые зачатки также теряются в доисторическом сумраке. С Немцем в понятии всех Русских, без различия народных видов, соединялось представление о чем-то тяготеющем, высокомерном, посягающем на свободу нашу; Русский ставил его в противоположность к себе, независимо от того, был ли сам этот Русский — Суздалец, Смольнянин, Псковитянин, Новгородец и т.д.

Важнейшим звеном единства русских частей сделалась православная христианская вера, со времени ее введения и распространения по Руси. Не станем безусловно разделять мнения о чрезвычайной быстроте распространения веры между русско-славянскими народами, хотя не можем отрицать, что из множества народов, обратившихся к христианству в разные времена, мир русско-славянский принял Божественное Откровение с меньшим упорством, чем многие другие народы. Но то несомненно, что все исчисленные выше соединительные элементы были бы слабы и недостаточны для водворения единства народов русского мира, без содействия православной религии. Христианство дало отдельным частям народа такие элементы, которые для всех составляли высочайшую святыню и в то время были в равной степени общими для всех. Православная вера образовывала и утверждала высшую единую народность вместо частных. Православная вера распространяла единые нравственные понятия и ввела единые богослужебные обряды. Из христианства возникла потребность просвещения. Она удовлетворялась только посредством церкви. Кто только был, по тому времени, человек образованный, тот или принадлежал к церкви, или вращался в кругу понятий церковных.

Масса, инстинктивно всегда уважающая людей, стоящих выше ее по образованию, получила понятие о том, что выше ее по духовному смыслу и, следовательно достойно уважения; а это высшее не принадлежало уже ни к какой частной народности.

Оно было русское. Церковное богослужение воспитывало и в массе чувство единства. Новгородец в Суздале, Черниговец в Полоцке слышали в церкви тот же язык, как у себя дома, видели те же обряды, тот же церковный порядок, всех учили содержать одни и те же посты, читать те же молитвы, почитать одних и тех же святых, искать в одном для всех спасения и утешения; таким образом укоренялось в каждом понятие, что святыня его сердца — общая для всех ветвей Русского народа: и так он со всеми другими составляет единое тело.

Православная церковь ввела в нашу жизнь множество новых форм, обычаев, не только церковных, но и домашних, вошедших в частный быт равным образом во всех русских краях. Установились понятия о том, как при каком-нибудь известном обстоятельстве следует сесть или стать, есть и пить; образовались разные приличия и правила общежития, сообразных с достоинством православного человека и, следовательно, общие для всей Русской Земли. Возникали монастыри, появлялись мощи, чудотворные иконы, составились предания, которым верил и Ростовец, и Новгородец, и Киевлянин, и Северянин, насколько каждый был знаком с верой. Некоторые монастыри прославились скоро и заслужили всеобщее уважение; таков был самый ранний — Печерский. В разных местах одни за другими являлись общества отшельников, которые прославлялись подвигами и жизнью. Для народа становились более или менее одинаково святы угодники, почивающие где бы то ни было в России, и из разных мест ходили к ним на поклонение. Так образовывалось паломничество, которое, с одной стороны, увеличивало сообщение земель, с другой — поддерживало сознание единства общей святыни.

Наконец, вводились церковные законы, развивали в народе юридические понятия и распространяли во всех русских краях одинаковое воззрение на святость права. Христианская религия принудила изменить взгляд на многое, и то, что считалось прежде нравственным, стало безнравственным, как, например, понятие о мести у язычников; так точно христианская вера истребляла местную языческую святыню в разных краях и заменяла своей всеобщей для всех в одинаковой степени. Народ уже доживал до той эпохи, когда обычаи его должны были принять значение права; по крайней мере, так было в некоторых странах, например, у Полян. Доказательством служит "Русская Правда" — сборник обычаев и постановлений власти, уже записанных и принявших значение руководства для случаев, подобных тем, какие решаемы были прежде. Но с народным разнообразием Русь не скоро могла дойти до водворения общих законов или до соединения народных обычаев.

На широком пространстве русского материка было слишком много для каждого из народов своих условий развития гражданственности, которые никак не могли сходиться с существовавшими в других русских краях. Не было бы и необходимости, не взошло бы даже в голову составителю законов наблюдать какое-нибудь единство для всех частей; следовательно, если бы в разных краях Руси обычаи и стали превращаться в положительные писанные законы, то эти законы способствовали бы скорее разрозненности частей, вместо их соединения. Законы, отличавшие Землю от Земли в юридическом отношении, укоренялись бы и делались для своей Земли писанной святыней, — предания отцовской мудрости, без особенных переворотов и насилий, не скоро уступили бы место чему-нибудь более общему. "Кормчая", вошедшая вместе с христианством, напротив, заронила в русском мире идею законодательного единства и общности права.

В этом случае следует обратить внимание на корпорацию духовенства, связанного узами одного законоположения и получавшего везде одно и то же воспитание. Во всех духовных предметах и даже в значительной части мирских отношений, духовенство было изъято от всякого светского суда, зависело от своих епископов, епископ от митрополита, митрополит от патриарха; таким образом вся церковная администрация изображала одну цепь, протянутую по всей России, а крайнее звено ее находилось в Царьграде, за пределами Русской земли. Духовенство в большей части своих отношений к народу стояло выше местных обычаев и понятий, налегало на народ своей нравственной силой и, вместо народных старых правил, вводило новые, общие и равные для всех частей Русского мира. В древности духовенство пользовалось правами гораздо большими, чем впоследствии, судилось по греческим писанным законам, апостольским и соборным правилам. Таким образом, люди этого класса, имевшие право на всеобщее уважение, были вне мирских условий, проповедовали одно и то же, одному и тому же учили, указывали одну цель. Так образовалась идея Церкви, общества, не связанного с местностью, не прикованного к одной Земле, и с ней совокупно развивалась идея об общности всех Русских Земель, об единстве русского народа. Священник — был ли он Новгородец, Киевлянин, Суздалец, должен был жертвовать своими местными отношениями требованиям Церкви. Церковное законоположение не ограничивалось одним духовенством да духовными делами; оно подчиняло себе многие стороны житейские и имело право исключительно судить преступления против обязанностей семейного быта: в спорах о наследстве, в семейных распрях обра-

щались к духовному посредству, а духовенство произносило свои приговоры, по большей части, одинаково, как в Киеве, так и в Новгороде, и в Ростове; потому что везде у него пред глазами были греческие церковные законоположения. Остатки язычества, народные верования подлежали духовному суду, и под влиянием духовенства должны были уступать единым для всех краев христианским понятиям и верованиям. Суд святительский должен был совершаться одинаково по всей России. Духовенство, приучаясь смотреть на всю Россию, как на единое тело, научало и князей смотреть на нее так же. Так, в 1189 году, по поводу захвата Галича Уграми, митрополит говорил князьям Святославу и Рюрику: "се иноплеменники отъяли отчину вашу, и лепо вам потрудитися". Таким образом, он указывал князьям прежде всего — забыв на время свои споры, выручить Русскую Землю от нерусских, кому бы из князей ни досталось потом вырученное.

С церковным законоположением входили к нам, в виде прибавлений к "Номоканону", места из гражданских законов Византийской империи, так называемые "градские законы". Неизвестно, имели ли они когда-нибудь всеобщую обязательную силу, но нет сомнения, что, прилагаясь обыкновенно в виде дополнений к церковному законоположению, которое было обязательным, они пользовались уважением и, следовательно, должны были внедряться в русское правосудие. При недостатке собственного гражданского законодательства, суд и решения дел естественно должны были зависеть от ума и наклонностей судей. Получая вначале просвещение единственно из книг, переведенных с греческого, не иначе, как с понятиями, заимствованными из сферы церковной, эти судьи — были ли они князья или тиуны, или же выборные народом — необходимо должны были иногда обращаться к этим кодексам, где содержались готовые решения на случаи, которые могли встретиться, и на которые не было правил в русском обычном праве, или же когда решение их, по обычному древнему праву, противоречило христианству. Ничего не могло быть естественнее для князя или, вообще, для судьи, ставшего в тупик на суде, как обратиться к пособию этих уставов и заимствовать оттуда юридическую мудрость. Тем более это было уместно, когда градские законы составляли как бы дополнение к тому, что уже считалось святыней. Владимир Святой советовался с епископами об устроении земском; то же делал и Ярослав; а епископы эти были Греки, и, конечно, не могли дать совета иначе, как в духе "Номоканона", не только в церковной, но и в гражданской сфере. И впоследствии князья нередко в делах гражданского управления и суда обращались к

епископам, игуменам, священникам. Духовенство, составляя себе понятие о долге, сообразно своему воспитанию, неизбежно должно было давать советы, сходные с греческим законодательством. Вероятно, у каждого святителя был экземпляр "Кормчей", с ее добавлениями, и святитель оттуда мог черпать для вразумления судей, и во всех странах Русского мира святители одинаково руководили судебными решениями. Таким образом, в разных землях прививались к народу одинакие юридические понятия. Влияние духовенства в гражданском управлении и суде простиралось не на одних князей, но и на массы народные, на веча. В Новгороде во время полного развития его свободы власть и влияние архиепископа на суды были во всей силе. Владыки были представителями не одних церковных, но и политических интересов страны.

Наука духовенства был одна; гражданские, нравственные, юридические понятия были одни, как воспитанные на одной почве. Плоды влияния духовенства на собрания народные везде должны были являться одинакими последствиями для народной жизни, в Новгороде, и в Полоцке, и в Киеве, и повсюду.

"Кормчая Книга" с гражданскими законами расширила значительно кругозор наших понятий и внесла, конечно только для тех, которые стояли на челе народной образованности, новые взгляды. Она должна была приучить ум их возводить факты к юридическим понятиям. Некоторые понятия были вновь внесены, другие развиты. Нельзя не указать на то, что "Кормчая", под влиянием духовенства, при каждом случае содействовала образованию понятия о единовластии и о царственности правителей. По старым славянским понятиям, князья были выборные правители, зависевшие от народной воли, а ученье, принесенное из Византии, стало придавать им значение византийских государей. Помощь духовенства являлась повсюду, когда только совершалось движение в пользу единодержавия. Духовенство было на стороне права родового старейшинства князей и поддерживало его в противоречии с правом вольного народного призыва. Андрей утвердился во Владимире, и летописцы, духовные по званию, оправдывают его и преемников его в стремлении к верховной власти над всеми Русскими Землями. С благословения Церкви, в лице митрополитов, утвердилась Москва; с благословения Церкви Иоанн III уничтожил новгородскую свободу. Зародыш единовластия — в пришедших к нам еще в X и XI веке греческих понятиях и больше всего в "Кормчей", где еще в эти, далекие от господства единодержавия, времена читали наши предки, что "народы, которые не имеют властелина, а управляются сами собою — варвары!..."

Аристократические зачатки, которые были у Славян чрезвычайно слабы, развивались у нас от византийских понятий о противоположности благородного происхождения одних и низкого звания других. Вместе с книгами, законами, обрядами и единым воспитанием духовенства, к нам занесен из Византии апотеоз церемоний, формальности. Славяне были одно из племен, менее многих носившее в себе склонность к этому во время принятия христианства. Почти всегда, как только самобытные славянские силы сколько-нибудь развивались, являлось противное желание: обойти всякое правило, освободиться от всякой формальности, прямо браться за содержание без оболочки. Византийское влияние ввело к нам понятия о святости известного рода форм, обрядов, мелочных обычаев. Мы говорим здесь не о церковных обрядах, но о житейских, которые внедрились в жизнь наших верховных лиц и высших классов.

Несмотря на все изложенные здесь начала, способствовавшие поддержанию и развитию идеи единства Русской Земли, оне не были столь сильны, чтоб скоро довести народные силы до единодержавия и части — до полного слития.

Хотя род княжеский сознавал свое семейственное начало, однако уже потому, что он был род, условливал необходимость разделения, потому что каждый из членов рода имел право на волость, то есть на право управления Землей. Великое пространство препятствовало слитию наречий, а церковный язык, как ни соединял проявление умственного труда во всей России, как ни служил органом слова, вразумительным и священным для всех Русских, но уже потому, что был не народный, не мог сделаться житейским языком и вечно оставался только книжным. Наконец, и самая Церковь не в силах была, при всех своих элементах единства, привести к нему и народ без особенных других сильных, пособляющих толчков. Во-первых, Церковь уже по духу своему не предпринимает крутых мер: развивая в человеке то, что принадлежит проповедуемому учению, оставляет расти и его собственной природе. Если признаки язычества, как показывают "Вопросы Кирика", были еще ощутительные в XII веке, то, конечно, церковные правила и поучения не могли так скоро переделать всех понятий народа; не могли даже помешать образовываться в народе новым, родным понятиям мимо влияния и участия Церкви. Пока на первых порах высшее духовенство было из Греков, власть Церкви могла еще быть чем-то внешним, перерабатывающим народ и непринимающим ничего от него самого; но когда высшее духовенство, как и низшее, стало выбираться из своих, из Русских, тогда народные привычки пробивались через монашеские мантии, а русский народный ум проглядывал

из-под клобуков, под которыми головы обязаны были мыслить иначе, не по-русски, а по-византийски. Духовные стали входить в интересы своих земель, где были епископами, или же откуда сами происходили. Чувство любви к местной родине и понятия, усвоенные от родителей, оставались в них. Новгородские владыки нередко в своих делах должны были следовать правилам того уклада, среди которого жили и действовали, в ином духе, нежели московские. Духовенство низшее, происходя из народа, не получив, как должно думать, такого воспитания, которое бы его с малых лет отделяло от народа, наконец — женатое и, следовательно, связанное и родством и житейскими нуждами с народом, конечно, носило на себе столько признаков частной, особенной народности, сколько и всенивелирующего византизма.

И вот начала, соединяющие земли между собой, хотя и были достаточны для того, чтобы не допустить эти земли распасться и каждой начать жить совершенно независимо от других, но не настолько были сильны, чтобы заглушить всякое местное проявление и слить все части в одно целое. И природа, и обстоятельства исторические — все вело жизнь Русского народа к самобытности земель, с тем, чтобы между всеми землями образовалась и поддерживалась всякая связь. Так Русь стремилась к федерации, и федерация была формой, в которую она начинала облекаться. Татарское завоевание сделало крутой поворот в ее государственной жизни.

ДВЕ РУССКИЕ НАРОДНОСТИ

Без всякого сомнения, географическое положение было первым поводом различия народностей вообще. Чем народ стоит на более детской степени цивилизации, тем более и скорее географические условия способствуют сообщению ему своеобразного типа. Не имея твердых начал, народы легко изменяются, переходят с одного места на другое, потому что запас воспитания, полученного на прежних жилищах, слишком скуден, — и развиваясь на новоселье, они принимают и усваивают легко новые условия, какие сообщаются им характером местности и стечением обстоятельств. Борьба может быть тем незначительнее, чем менее в народе того, на что можно опереться. Но те, которые на прежней родине успели получить что-нибудь такое, что удовлетворяло их, сознавалось полезным или священным, те, и переменяя отечество, переносят в него старые зачатки, и они для них становятся точками опоры, когда условия нового отечества начнут побуждать их к самоизменению. Понятно, что англичанин, переселившийся близко к тропикам, долго будет сохранять свою цивилизацию, свои привычки и понятия, приобретенные воспитанием на своем северном острове. Напротив, если бы перевести толпу американских индейцев в Россию, то при общении с русскими они бы усвоили образ господствующей туземной народности; если же бы оставить их изолированными от сближения с северной образованностью, они в ближайших поколениях изме-

нились бы сообразно климату, почве и местности, и образовали бы сами из себя совершенно иную народность, в которой только слабыми чертами отзывалось бы то, что напоминало им отдаленную родину. В глубокой древности, во времена юности народов, переходы их из края в край порождали своеобразные типы и образовали народности.

Но народы не изменялись, и их народности не формировались от одних переходов и вообще от географических условий. Вместе с тем действовали жизненные исторические обстоятельства. Переходя с места на место, они не оставались изолированными, но находились в сношениях или в столкновениях с другими народами; от взаимного трения зависело их развитие и образование жизненных форм. Другие подвергались изменениям, не переменяя жительства, от наплыва или влияния соседей и пришельцев; наконец, такие или иные повороты их общественного быта отпечатлевались на народном существе и клали, на будущие времена, особые приметы, не сходные с прежними, и таким образом мало-по-малу народ, в течение времен, изменялся и становился уже не тот, чем был некогда. Все это составляет то, что можно одним словом назвать историческими обстоятельствами. Здесь большая или меньшая степень развитости цивилизации способствует скорейшему или медленному действию влияния изменяющих начал. Все здесь происходит по тому же закону, как и тогда, когда изменения производятся географическими условиями. Народ образованный крепче стоит за свое прежнее, упорнее хранит свои обычаи и память предков. Завоеванная Римом Греция покоряет потом Рим своей образованностью, тогда как завоеванная тем же Римом Галлия теряет свой язык и народность, уступая более образованным и сильным завоевателям. Встреча с народом слабейшим укрепляет народность сильнейшего, как встреча с сильнейшим ослабляет.

Образование народности может совершаться в разные эпохи человеческого развития, — только это образование идет легче в детстве, чем в зрелом возрасте жизни человечества. Изменение народности может возникнуть от противоположных причин: от потребности дальнейшей цивилизации и от оскудения прежней и падения ее, от свежей, живой молодости народа и от дряхлой старости его. С другой стороны, почти такое же упорство народности может истекать и от развития цивилизации, когда народ выработал в своей жизни много такого, что ведет его к дальнейшему духовному труду в той же сфере, когда у него в запасе много интересов для созидания из них новых явлений образованности, — и от недостатка внешних побуждений к дальнейшей обработке запасенных материалов образованности, когда народ

довольствуется установленным строем и не подвигается далее. Последнее мы видим на тех народах, которые приходят в столкновение с такими, у которых силы более, чем у них; тогда верхние слои этих народов усваивают себе народность чужую, народность господствующую над ними, а масса остается с прежней народностью, потому что подавленное состояние ее не дозволяет ни собраться побуждениям к развитию тех начал, какие у нее остались от прежнего времени, ни усваивать чуждую народность вслед за верхними слоями.

Литература есть душа народной жизни, — есть самосознание народности. Без литературы последняя — только страдательное явление, и потому, чем богаче, чем удовлетворительнее у народа литература, тем прочнее его народность, тем более ручательств, что он упорнее охранит себя против враждебных обстоятельств исторической жизни, тем самая сущность народности является осязательнее, яснее.

В чем же состоит эта сущность вообще? Выше мы сказали, что явления внешней жизни, составляющие сумму отличий одной народности от другой, суть только наружные признаки, посредством которых выражает себя то, что скрывается на дне души народной. Духовный состав, степень чувства, его приемы или склад ума, направление воли, взгляд на жизнь духовную и общественную, все, что образует нрав и характер народа, это — сокровенные внутренние причины, его особенности, сообщающие дыхание жизни и целостность его телу. Все, что входит в круг этого духовного народного состава, не высказывается поодиночке, отдельно одно от другого, но вместе, нераздельно, взаимно поддерживая одно другое, взаимно дополняя себя, и потому все вполне составляет единый стройный образ народности.

Приложим эти общие черты к нашему вопросу о различии наших русских народностей велико-русской и мало-русской, или южно-русской.

Начало этого отличия теряется в глубокой древности, как и вообще распадение славянского племени на отдельные народы. С тех пор, как о Славянах явились известия у греческих писателей, они уже были разделены и стали известны то под большими отделами, то в разнообразии малых ветвей, из которых многие не знаешь куда приютить. Так, по Прокопию, славянское племя представляется раздельным на две большие ветви: Антов и Славов; по Иорнанду — на три: Славов, Антов и Венедов. Без сомнения, каждая из больших ветвей дробилась на меньшие. Известия Прокопия и Маврикия о том, что Славяне вели между собой беспрестанные войны и жили рассеянными группами, указывают на существование дробления народных отделов; потому

что где вражда между группами народа, там неизбежно через то самое образуются этнографические особенности и отличия. У Константина Порфирородного исчисляются уже разные мелкие ветви Славян. У нашего первоначального летописца отдел собственно Русских Славян изображается раздробленным на несколько ветвей, каждая с отличиями от другой, со своими обычаями и нравами. Без сомнения, между одними из них более взаимного сродства, чем между другими, и, таким образом, несколько этнографических ветвей начали, в более обобщенном образе своих признаков, представлять одну народность, также как и все вместе русско-славянские народности одну общую, русскую, в отношении других славянских племен на юге. Но есть ли в древности следы существования южнорусской народности, было ли внешнее соединение славянских народов юго-западного пространства нынешней России в таком виде, чтоб они представляли одну этнографическую группу? Прямо об этом в летописи не говорится; в этом отношении счастливее белорусская народность, которая, под древним именем Кривичей, обозначается ясно на том пространстве, которое она занимала впоследствии и занимает в настоящее время со своим разделом на две половины: западную и восточную. На юге, в древности, упоминаются только народы, и нет для них общего сознательно-одинакого для всех названия. Но чего не договаривает летописец в своем этнографическом очерке, то дополняется самой историей и аналогией древнего этнографического разветвления с существующим в настоящее время. Самое наглядное доказательство глубокой древности южнорусской народности, как одного из типов славянского мира, слагающего в себе подразделительные признаки частностей, это — поразительное сходство южного наречия с новгородским, которого нельзя не заметить и теперь, по совершении многих переворотов, способствовавших к тому, чтобы стереть и изменить его. Нельзя это объяснить ни случайностью, ни присутствием многих рассеянных черт южнорусского наречия в великорусских областных наречиях; если один признак встречается в том или в другом месте и не может служить сам по себе доказательством древнего сродства одних предпочтительно пред другими, то собрание множества признаков, составляющих характер южного наречия в новгородском, несомненно указывает, что между древними Ильменскими Славянами и Южноруссами было гораздо большее сродство, чем между Южноруссами и другими славянскими племенами русского материка.

В древности это сродство было нагляднее и ощутительнее. Оно прорывается и в новгородских летописях, и в древних письменных памятниках. Это сродство не могло возникнуть иначе,

как только в глубокой древности, потому что эти отдаленные, перехваченные другими народностями, края не имели такого живого народного сообщения между собой, при котором бы могли перейти с одного на другое сходные этнографические признаки. Только в незапамятных доисторических временах скрывается его начало и источник. Оно указывает, что часть южно-русского племени, оторванная силой неизвестных нам теперь обстоятельств, удалилась на север и там водворилась со своим наречием и с зачатками своей общественной жизни, выработанными еще на прежней родине. Это сходство южного наречия с северным, по моему разумению, представляет самое несомненное доказательство древности и наречия и народности Южной Руси. Разумеется, было бы неосновательно воображать, что образ, в каком южнорусская народность с ее признаками была в древности, тот самый, в каком мы ее встречаем в последующие времена. Исторические обстоятельства не давали народу стоять на одном месте и сохранять неизменно одно положение, одну постать. Если мы, относясь к древности, говорим о южнорусской народности, то разумеем ее в том виде, который был первообразом настоящего, заключал в себе главные черты, составляющие неизменные признаки, сущность народного типа, общего для долгих времен, способного упорно выстоять и отстоять себя против всех напоров враждебно-разрушительных причин, а не те изменения, которые этот тип то усваивал в течение времени и перерабатывал под влиянием главных своих начал, то принимал случайно и терял, как временно наплывшее и несвойственное его природе.

Обращаясь к русской истории, можно проследить, как недосказанное летописцем в его этнографическом очерке о Южной Руси само собой высказало себя в цепи обстоятельств, образовавших историческую судьбу южнорусского народа. Если первоначальный этнограф, исчисляя своих Полян, Древлян, Улучей, Волынян, Хорватов, не дал им всем одного названия, отдельного от других Славян русского материка, то им его дала вскоре история. До сих пор не решила окончательно наука — это название Русь, так нам всем присущее, занесено ли с Балтийского побережья частью иноземцев, поселившихся среди одной ветви южнорусского племени, или, как полагают некоторые ученые, опираясь преимущественно на восточных известиях, было и прежде туземным прозванием на Русской Земле; но уже в XI веке название это распространилось на Волынь и на нынешнюю Галицию, тогда как, по-видимому, не переходило еще ни на северо-восток, ни к Кривичам, ни к Новгородцам. Уже ослепленный Василько, исповедуясь в своих намерениях присланному к нему Василию, говорит о плане мстить Ляхам за землю *Русскую*

и разумеет не Киев, но ту страну, которая впоследствии усвоила себе название Червоной Руси. В XII веке в земле Ростовско-Суздальской под Русью разумели вообще юго-запад нынешней России. В смысле более обширном название Руси иногда распространялось на земли, связанные с Русью, сперва политически подчиненные Руси или Киева, а потом, когда политическое первенство Киева упало, все-таки находившиеся в церковной зависимости от русского митрополита и видевшие в Руси столицу своей общей веры. Но в своем собственном смысле это название, в отличие от других славянских частей, было этнографическим названием южно-русского народа; мелкие подразделения, которые исчислил летописец в своем введении, исчезли или отошли на третий план, в тень, когда образовалось между ними соединение и выплыли наружу одни общие, единые для них признаки. Название Руси за нынешним южнорусским народом перешло и к иностранцам, и все стали называть Русью не всю совокупность славянских племен материка нынешней России, а собственно юго-запад России, населенный тем отделом славянского племени, за которым теперь усваивается название южнорусского или малороссийского. Это название так перешло к последующим временам. Когда толчок, данный вторичным вплывом Литовского племени в судьбу славянских народов всей западной части Русского материка, соединил их в одно политическое тело и сообщил им новое соединительное прозвище — Литва, это прозвище стало достоянием белорусского края и белорусской народности, а южнорусская осталась со своим древним привычным названием Руси.

В XV веке различались на материке нынешней России четыре отдела восточно-славянского мира: Новгород, Московское государство, Литва и Русь; в XVI и XVII, когда Новгород был стерт, — Московское государство, Литва и Русь. На востоке имя Руси принималось как принадлежность к одной общей славянской семье, разветвленной и раздробленной на части, на юго-западе это было имя ветви этой семьи. Суздалец, Москвич, Смолянин — были Русские по тем признакам, которые служили органами их соединительности вместе по происхождению, по вере, по книжному языку и соединенной с ним образованности; Киевлянин же, Волынец, Червонорус — были Русские по своей местности, по особенностям своего народного, общественного и домашнего быта, по нравам и обычаям; каждый был Русским в тех отношениях, в каких восточный Славянин был не Русский, но Тверитянин, Суздалец, Москвич. Так как слитие земель было дело общее, то древнее название, употребительное в старину для обозначения всей федерации, сделалось народным и для

восточной Руси, коль скоро общие начала поглотили развитие частных: с именем Руси для них издревле соединялось общее, сравнивающее, соединительное. Когда из разных земель составилось Московское Государство, это государство легко назвалось Русским, и народ, его составлявший, усвоил знакомое прежде ему название, и от признаков общих перенес его на более местные и частные признаки. Имя Русского сделалось и для севера, и для востока тем же, чем с давних лет оставалось, как исключительное достояние юго-западного народа. Тогда последний оставался как бы без названия; его местное частное имя, употреблявшееся другим народом только как общее, сделалось для другого тем, чем прежде было для первого. У южнорусского народа как будто было похищено его прозвище. Роль должна была перемениться в обратном виде. Так как в старину северо-восточная Русь называлась Русью только в общем значении, в своем же частном имела собственные наименования, так теперь южнорусский народ мог назваться Русским в общем смысле, но в частном, своенародном, должен был найти себе другое название. На западе, в Червоной Руси, где он стал в сопротивление с чуждыми народностями, естественно было удержать ему древнее название в частном значении, и так Галицкий Червонорусс остался Русским, Русином, ибо имел столкновение с Поляками, Немцами, Уграми; в его частной народности ярче всего высказывались черты, составлявшие признаки общей русской народности, являлась принадлежность его к общему русскому миру, черты такие, как вера, книжный богослужебный язык и история, напоминавшая ему о древней связи с общерусским миром. Все это предохраняло его от усилий чуженародных элементов, грозивших и грозящих стереть его.

Но там, где та же народность столкнулась с северной и восточно-русской, там название Русского, по отношению к частности, не имело смысла, ибо Южно-Руссу не предстояло охранять тех общих признаков своего бытия, которые не разнили, а соединяли его с народом, усвоившим имя русское. Тут название Русского необходимо должно было замениться таким, которое бы означало признаки различия от Восточной Руси, а не сходства с нею. Этих народных названий являлось много, и, правду сказать, ни одного не было вполне удовлетворительного, может быть, потому, что сознание своенародности не вполне выработалось. В XVII веке являлись названия: *Украина*, *Малороссия*, *Гетманщина*, — названия эти невольно сделались теперь архаизмами, ибо ни то, ни другое, ни третье не обнимало сферы всего народа, а означало только местные и временные явления его истории. Выдуманное в последнее время название *Южноруссов*

остается пока книжным, если не навсегда останется таким, потому что даже по своему сложному виду как то неусвоительно для обыденной народной речи, не слишком любящей сложные названия, на которых всегда почти лежит отпечаток задуманности, отчасти ученой вычурности. Мимоходом замечу, что из всех названий, какие были выдумываемы для южнорусского народа, чтоб отличить его от великорусского, более всех как-то приняло полное значение название *Хохла*, не по своей этимологии, а по привычке, с какой усвоили его Великоруссы. По крайней мере, сказавши *Хохол*, Великорусс разумеет под этим словом действительно народный тип. Хохол для Великорусса есть человек, говорящий известным наречием, имеющий известные приемы домашней жизни и нравов, своеобразную народную физиономию. Странно было бы думать о возможности принятия этого насмешливого прозвища народа за серьезное название народа, — все равно, как если бы англичанин прозвище Джон-Буля сделал серьезным именем своего племени. Но из всех существовавших прозвищ и названий это едва ли не более других усвоенное в смысле народной особенности. Не только Великоруссы называют Южноруссов Хохлами, но и сами последние нередко употребляют это название, не подозревая уже в нем ничего насмешливого, преимущественно в восточном крае пространства, заселенного Южноруссами. Неусваиваемость его всем южнорусским народом, не менее его насмешливого происхождения, еще не дозволяет искать в нем приличного названия для народа.

Но мы отклонились несколько от своей цели. Дело в том, что название Руси укрепилось издревле за южнорусским народом. Название не возникает без факта. Нельзя навязать народу ни с того, ни с сего какое-нибудь имя. Это могло приходить в голову только тем западно-европейским мудрецам, которые уверяли, что Екатерина II, Высочайшим повелением, даровала Московскому народу имя Русского и запретила ему употреблять древнее имя — Москвитяне. Вместе с названием развивалась и самобытная история жизни южно-русского народа. Известно, в какое неприятное положение поставляют нас старые наши летописцы, коль скоро мы захотим исследовать судьбу старой народной жизни: нас угощают досыта княжескими междоусобиями, известиями о построении церквей, со щепетильной точностью сообщают о днях, даже о часах кончины князей и епископов; но как постучишься к ним в двери сокровищницы народной жизни — тут они немы и глухи, и заброшены давно в море забвения ключи от этих заветных дверей. Слабые, неясные тени остались от далекого прошедшего. Но и этих теней пока достаточно, чтобы видеть, как рано Южная Русь пошла иным, своеобразным путем

возрастать отлично от севера. Одни и те же общие начала на юге устанавливались, утверждались, видоизменялись иным образом, чем на севере.

До половины XII века север, а еще более северовосток нам мало известны. Летописные сказания тех времен вращаются только на юге; новогородские летописи представляют как будто какое-то оглавление утраченного летописного повествования: так коротки и отрывочны местные известия, в них сохранившиеся, и, признаться, как-то странно слышать проповедываемые некоторыми почтенными исследователями и усвоенные учителями в школах глубокомысленные наблюдения над развитием новгородских общественных начал соразмерно переворотам и движениям удельного Русского мира, — когда на самом деле тут можно судить только о развитии новгородских летописей, а никак не новгородской жизни. Но о судьбе северо-восточного Русского мира, этой Суздальско-Ростовско-Муромско-Рязанской страны, в ранние времена нашей истории не осталось даже и такого оглавления, и это тем досаднее, когда знаешь, что именно тогда-то в этом крае и образовалось зерно великорусской народности, и тогда-то пустила она первые ростки того, что впоследствии сделалось рычагом соединения и всего русского мира, и залогом грядущего обновления всего славянского... Ея таинственное происхождение и детство облечено непроницаемым туманом. При невозможности рассеять его густые слои, остается или поддаться искушению и пуститься в бесконечные догадки и предположения, либо, как некогда делали, успокоиться на утишающей всякое умственное волнение мысли, что так угодно было Верховному Промыслу, и что причины — почему великорусская народность стала такой именно, какой явилась впоследствии, зависели от неисповедимой воли. И тот и другой способ мышления не удовлетворяет нашей потребности. Догадки и предположения не сделаются сами собой истинами, если не подтвердятся или очевидными фактами, или несомненной логической связью явлений. Мы не сомневаемся в Промысле; но верим при этом, что все, что ни случается в мире, управляется тем же Промыслом — как известное, так и неизвестное, — а опираясь в суждениях только на Промысел, не останется ничего для самого суждения. Дело истории — исследовать причины частных явлений, а не причину причин, недоступную человеческому уму. Единственно, что мы знаем о северо-востоке это то, что там было славянское народонаселение посреди Финнов и со значительным перевесом над последними; что край этот имел те же общие зачатки, какие были и в других землях русского мира; но не знаем ни подробностей, ни способа применения общих начал к частным условиям.

На юге, между тем, весь народ южно-русский в начале IX века ощутительно обозначается единством; несмотря на княжеские перегородки, он беспрестанно напоминает о своем единстве событиями своей истории; он усваивает одно имя Руси: у него одни общие побуждения, одни главные обстоятельства вращают его; его части стремятся друг к другу, — тогда как земли других ветвей общерусского славянского племени, например, Кривичи, обособляются своеобразными частями в общей связи. Новгород, обособленный со своей землей на севере, постоянно стремится к югу; он ближе к Киеву, чем к Полоцку или Смоленску. И это, конечно, происходит от ближайшей этнографической его связи с югом.

С половины XII века обозначается в истории характер Восточной Руси — Ростовско-Суздальско-Муромско-Рязанской земли. Явления ее самобытной жизни, по древней нашей летописи, начинаются с тех пор, как Андрей Юрьевич, в 1157 г., был избран особым князем всей Земли Ростовско-Суздальской. Тогда уже явно выказывается своеобразный дух, господствующий в общественном строе этого края и склад понятия общественной жизни, управлявший событиями, — отличие этих понятий от тех, которые давали смысл явлениям в Южной Руси и в Новгороде. Эпоха эта чрезвычайно важна и представляет драгоценный предмет для исследователя нашего прошедшего: тут открывается нарисованная, хотя не ясно, наподобие изображений в наших старых рукописях, картина детства великорусского народа. Тут можно видеть первые ростки тех свойств, которые составляли впоследствии источник его силы, доблестей и слабостей. Словно вы читаете детство великого человека и ловите, в его ребяческих движениях, начатки будущих подвигов.

Что отличает народ великорусский в его детстве от народа Южной Руси и других земель русских, это — стремление дать прочность и формальность единству своей земли. Андрея избирают единым во всей Земле, на все города. У него несколько братьев и два племянника; их изгоняют, дозволяют оставаться только двум: одному, который, по болезни, не может быть никаким деятельным членом Земли, и другому, который не показывает никаких властолюбивых наклонностей. Изгнание братьев не дело единого Андрея, но дело целой Земли. Летописец края говорит, что те же, которые поставили Андрея, те же изгнали меньших братьев. Это единство, к которому явно стремились понятия, не могло однако сразу утвердиться и обратиться в постоянный и привычный порядок; впоследствии Земля снова имела разом несколько князей; но зато один из них был великий князь, верховный всей Земли. Вместе с тем тогда уже является, хотя в зародыше, стремление подчинить своей Земле другие

Русские земли. Так Муромская и Рязанская земли уже были подручны со своими князьями князю Ростовско-Суздальскому. Это не были личные желания одних князей, — напротив: князья, принадлежа к роду, которого значение связано было с единством всей Русской федерации, сами заимствовали в Восточно-Русской местности это местное стремление. Из нескольких черт, сохраненных летописцем, при всей скупости последнего на заявление народных побуждений, видно, что князья в делах, обличавших, по-видимому, их личное властолюбие, действовали по внушению народной воли, и то, что приписывалось их самовластию, надобно будет приписать самовластным наклонностям тех, которые окружали князей. Когда Всеволод захотел отпустить пойманных князей: своего племянника и Глеба Рязанского, Владимирцы не допустили до этого и приговорили ослепить их. Когда тот же Всеволод идет на Новгород и осаждает Торжок, он расположен к миру и не хочет разорять волости, но дружина его требует этого: оскорбление князю она считает оскорблением себе. *"Мы не целовать их пришли"*, говорят Владимирцы иронически. Таким образом, стремление подчинить Новгород и вражда с Новгородом истекала не из княжеских, а из народных побуждений, и оттого-то Новгородцы, отбив Суздальцев от стен своего города, скоро сходились с Суздальскими князьями и, напротив, неистово мстили Суздальцам, продавая каждого Суздальца по две ногаты. Оттого с таким ожесточением, с такой надменностью ополчалась Суздальская земля против Новгородцев, вошедших туда победителями под знаменем Мстислава-Удалого. Несколько раз можно заметить, как во время нападений князей Восточно-Русской Земли на Новгород прорывалась народная гордость этой Земли, успевшая уже образовать предрассудок о превосходстве своего народа пред Новгородцами и о праве своего первенства над ними. Элементы образованности, воспитанные на Киевской почве под православными понятиями, перешли в Восточную Землю, и там приняли иного рода рост и явились в ином образе. Вместо Киева южного, явился на востоке другой Киев — Владимир: по всему видно, — существовала мысль создать его другим Киевом, перенести старый Киев на новое место. Там явилась патрональная церковь святой Богородицы Златоверхой и Золотые Ворота, явились названия киевских урочищ: Печерский город, река Лыбедь. Но нельзя было старого Киева оторвать от днепровских гор: те же отростки, под северо-восточным небом, на чужой почве, выросли иначе, иным деревом, другие плоды принесли.

Старые славянские понятия об общественном строе признавали за источник общей народной правды волю народа, приговор

веча, из кого бы то ни состоял этот народ, как бы ни собиралось это вече, смотря по условиям; эти условия то расширяли, то суживали круг участвующих в делах, то давали вечу значение всенародного собрания, то ограничивали его толпой случайных счастливцев в игре на общественном поле. При этом давно возникла и укоренилась в понятиях идея князя-правителя, третейского судьи, установителя порядка, охранителя от внешних и внутренних беспокойств; между вечевым и княжеским началами само собой должно было возникнуть противоречие; но это противоречие улегалось и примирялось признанием народной воли веча над правом князя... Князь был необходим, но князь избирался и мог быть изгнан, если не удовлетворял тем потребностям народа, для которых был нужен, или же злоупотреблял свою власть и значение. Принцип этот в XI, XII и XIII веках вырабатывается везде: и в Киеве, и в Новгороде, и в Полоцке, и в Ростове, и в Галиче. Его явление сообразовалось с различными историческими внутренними обстоятельствами и разными условиями, в какие поставлены были судьбой Русские Земли. Этот принцип принимал то более единовластительного, то более народоправного духа; в одних Землях князья выбирались постоянно из одной линии и, таким образом, водворение их как будто приближалось к наследственному праву, но не могло совершенно образоваться последнее, потому *только*, что не успело заглушиться выборное право, которое, по своему существу, умеряло непреложность обычая; в других — в Новгороде — при выборе князя народная воля не соблюдала вовсе никаких обычаев преемничества, кроме насущных текущих условий края.

В Киеве напрасно было бы искать какого-нибудь определенного права и порядка в преемничестве князей. Существовала, правда, в их условии неясная идея старейшинства, но народное право избрания стояло выше нее. Изяслав Ярославич был изгнан Киевлянами. Киевляне избрали Полоцкого князя, случайно сидевшего в Киевской тюрьме и уж ни по какому праву не ожидавшему такой чести. Изяслав только с помощью чужеземцев утвердился снова в Киеве. То был род чужеземного завоевания и впоследствии польские историки понимали эти события так, как будто гонимая Русь находилась в ленной зависимости от Польши. Через несколько времени, едва только Киевский князь избавил и себя, и Киевлян от пособников, как был снова изгнан. Князь Черниговский вступил на княжение Киевское. Изяслав опять должен был бежать. Хотя по этому поводу в летописи и не говорится об участии Киевлян, но само собой разумеется, что оно было: с одной стороны, не могли Киевляне любить князя, который приводил на них чужеземцев и отдавал

на казнь тех, кого подозревал в нерасположении и верховодстве над народом в минуту своего изгнания, с другой — и Святослав не мог бы водвориться в Киеве и свободно им править четыре года, если бы встретил оппозицию в народе. В дальнейшей истории несколько раз у летописца упоминается прямо, что князья водворялись по избранию и так же прогонялись; что вече считало за собой право судить их, прогонять и казнить установленные ими второстепенные власти, а иногда и их самих. Мономах был избран и, в то же время, постиг народный суд приближенных прежнего князя. Всеволод, желая передать княжение брату Игорю, не мог этого сделать иначе, как испросив согласие веча; то же вече низвергло Игоря и призвало Изяслава Мстиславича, и потом убило Игоря. Изяслав Давидович, Ростислав Мстиславич, Мстислав Изяславич, Роман Ростиславич, Святослав Всеволодович, Роман Мстиславич — обо всех этих князьях есть черты, показывающие, что они были избраны волей Киевлян. Мало-по-малу значение народа, руководящего делами, осталось за воинственной толпой дружин, шаек, составлявшихся из разных удальцов; они-то возводили и низвергали князей; князья были как бы орудием их, и — как всегда бывает в воинской державе — могли держаться только силой воли, уменьем, а не значением, какое занимали в своем роде.

Инородцы торкского племени — Черные Клобуки, Торки, Берендеи, — играли здесь деятельную роль наравне с туземцами, так что масса, управлявшая делами края, представляла пеструю воинственную смесь. Таков был образ быта Киевской Земли. Козачество уже в своем существе возникало в XII-XIII веке. В Червоной Руси князья тоже избирались и прогонялись. Князь до того был зависим от веча, что даже семейная его жизнь состояла под контролем Галичан. В Галицкой земле народная сила и значение сосредоточились в руках *бояр*, — лиц, которые силой обстоятельств выступали из массы и овладевали делами края. Здесь уже прорывались начала того панства, которое, под польским владычеством, охватило страну и, противопоставив себя массе народа, вызвало наконец ее в лице козаков. Читая историю Южной Руси XII и XIII века, можно видеть юношеский возраст того общественного строя, который является в возмужалом виде через несколько столетий. Развитие личного произвола, свобода, неопределительность форм были отличительными чертами южнорусского общества в древние периоды, и так оно явилось впоследствии. С этим вместе соединялось непостоянство, недостаток ясной цели, порывчатость движения, стремление к созданию и какое-то разложение недосозданного, все, что неминуемо вытекало из перевеса личности над общинностью. Юж-

ная Русь отнюдь не теряла чувства своего народного единства, но не думала его поддерживать: напротив, сам народ, по-видимому, шел к разложению и все-таки не мог разложиться. В Южной Руси не видно ни малейшего стремления к подчинению чужих, к ассимилированию инородцев, поселившихся между ее коренными жителями; в ней происходили споры и драки более за оскорбленную честь или за временную добычу, а не с целью утвердить прочное вековое господство. В начале, когда в Киеве утвердились варяжские князья с разноплеменной дружиной, Поляне получили толчок к деятельности и стали как бы завоевателями народов: является идея присоединения земель, потребность центра, к которому бы эти земли тянули; но и тогда не видно ни малейших попыток плотно прикрепить эти земли. Киев никак не годился быть столицей централизованного государства; он не искал этого; он даже не мог удержать первенства над федерацией, потому что не сумел организовать ее. В натуре южнорусской не было ничего насилующего, нивелирующего, не было политики, не было холодной рассчитанности, твердости на пути к предназначенной цели.

То же самое является на отдаленном севере, в Новгороде; суровое небо мало изменило там главные основы южного характера, и только неблагодарность природы развила более промышленного духа, но не образовала характера расчета и купеческой политики. Торговая деятельность соединилась там с той же удалью, с той же неопределенностью цели и нетвердостью способов к ее достижению, как и воинственное удальство южных шаек. Новгород был всегда родной брат юга. Политики у него не было; он не думал утвердить за собой своих обширных владений, сплотить разнородные племена, которые их населяли, и ввести прочную связь и подчиненность частей, установить соотношение слоев народа; строй его правления был всегда под влиянием неожиданных побуждений личной свободы. Обстоятельства давали ему чрезмерно важное торговое значение; но он не изыскивал средств обращать в свою пользу эти условия и упрочить выгоды торговли для автономии своего политического тела; оттого он в торговом отношении совершенно попал в распоряжение иностранцев. В Новгороде, как и на юге, было много порывчатого удальства, широкой отваги, поэтического увлечения, но мало политической предприимчивости, еще менее выдержки. Часто горячо готовился он стоять за свои права, за свою свободу, но не умел соединить побуждений, стремившихся, по-видимому, к одной цели, но тотчас же расходившихся в приложении; потому-то он всегда уступал политике, отплачивался продуктами своей торговой деятельности и своих владений от покушений

Московских князей даже и тогда, когда, казалось, мог бы с ними сладить: он не предпринимал прочных мер к поддержке своего быта, которым дорожил; не шел вперед, но и не стоял болотной водой, а вращался, кружился на одном месте. Пред глазами у него была цель, но неопределенная, и не сыскал он прямого пути к ней. Он сознавал единство свое с Русской Землей, но не мог сделаться орудием ее общего единства; он хотел, в то же время, удержать в этом единстве свою отдельность и не удержал ее. Новгород — как и Южная Русь — держался за федеративный строй даже тогда, когда противная буря уже сломила его недостроенное здание.

Точно так и Южная Русь сохраняла, в течение веков, древние понятия; перешли они в кровь и плоть последней, бессознательно для самого народа: и Южная Русь, облекшись в форму козачества, — форму, зародившуюся собственно в древности, — искала той федерации в соединении с Московщиною, где уже давно не стало этих федеративных начал.

Выше я заметил мимоходом, что козачество началось в XII-XIII веке. К сожалению, история Южной — Киевской — Руси как будто проваливается после Татар. Народная жизнь XIV и XV веков нам мало известна; но элементы, составлявшие начало того, что явилось в XVI веке ощутительно, в форме козачества, не угасали, а развивались. Литовское владычество сплотило разрозненные части, составило что-то целое, единое. Но скоро жизнь пошла по-прежнему. Князьки не Рюрикова, но уже нового, Гедиминова дома, обрусев скоро, как и прежние, стали, как эти прежние, играть своей судьбой. До какой степени было здесь участие народа, — за скудостью источников нельзя определительно сказать; несомненно, что в сущности было что-то прежнее; те же дружины, те же воинственные толпы помогали князьям, возводили их, вооружали одних против других. Соединение с Польшей собрало живучие элементы Руси и дало им другое направление: из неоседлых правителей, предводителей шаек, оно сделало поземельных владетелей; является направление заменить правом личные побуждения; польская национальность, обладая большим культурным развитием, чем русская, получила первенство над последней, захватила в себя ее высшие классы, оторвала их от прямой народности, разорвала связь их с остальным народом и сообщила им самые благоприятные условия для порабощения этого народа. Народ, до того времени вращавшийся в омуте всеобщего произвола, то порабощенный сильными, то, в свою очередь, сбрасывающий этих сильных для того, чтоб возвести других, теперь подчиняется и порабощается правильно, то есть, выражается до некоторой степени закон-

ность, справедливость такого порабощения. Но тут старорусские элементы, развитые до известной степени еще в XII веке и долго крывшиеся в народе, выступают блестящим метеором в форме козачества. Но это козачество, как возрождение старого, невольно носит в себе уже зародыш разрушения. Оно вращается с такими идеями, которые уже не находили пищи в современном ходе исторических судеб. Козачество в XVI и XVII и удельность в XII и XIII веках гораздо более сходны между собой, чем сколько можно предположить: если черты сходства внешнего слабы в сравнении с чертами внешнего несходства, зато существенно внутреннее сходство. Козачество тоже разнородного типа, как древние киевские дружины, также в нем есть примесь тюркского элемента, также в нем господствует личный произвол, то же стремление к данной цели, само себя парализующее и уничтожающее, — та же неопределительность, то же непостоянство, то же возведение и низложение предводителей, те же драки во имя их. Конечно, важным покажется то, что в древности обращалось внимание на род предводителей, и происхождение служило правом, а в козачестве, напротив, предводители избирались из равных. Но скоро уже козачество доходило до прежнего удельного порядка и, конечно, дошло бы, если бы случайные обстоятельства, часто мимо всяких предполагавшихся законов, поворачивающие ход жизненного течения, не помешали этому. Когда Хмельницкий успел заслужить славу и честь у козацкой братии, она возводила в предводители его сына, вовсе не способного по личным качествам. Выборы гетмана долго вращались около лиц, соединенных родством с Хмельницким, и только прекращение его рода было поводом, что родовое княжеское начало древней удельности не воскресло снова, хотя бы и в других формах.

На востоке, напротив, личная свобода суживалась и, наконец, уничтожалась. Вечевое начало некогда и там существовало и проявлялось. Избрание князей также было господствующим способом установления власти; но там понятие об общественном порядке дало себе прочный залог твердости, а на помощь подоспели православные идеи. В этом деле как нельзя более высказывается различие племен. Православие было у нас едино и пришло к нам через одних лиц, из одного источника; класс духовный составлял одну корпорацию, независимую от местных особенностей политического порядка: Церковь уравнивала различия; и если что, то именно истекавшее из церковной сферы должно было приниматься одинаково во всем русском мире. Не то, однако, вышло на деле. Православие принесло к нам идею монархизма, освящение власти свыше, окружило понятие о ней лучами верховного мироправления; православие указало, что в

нашем земном жизненном течении есть Промысл, руководящий нашими поступками, указывающий нам будущность за гробом; породило мысль, что события совершаются около нас то с благословения Божия, то навлекают на нас грев Божий; православие заставило обращаться к Богу при начале предприятия и приписывать успех Божию изволению. Таким образом, не только в непонятных, необыкновенных событиях, но и в обычных, совершающихся в круге общественной деятельности, можно было видеть чудо. Все это внесено было повсюду, повсюду принялось до известной степени, применилось к историческому ходу, но нигде не победило до такой степени противоположных старых понятий, нигде не выразилось с такой приложимостью к практической жизни, как в Восточной Руси. При своей всеобщности православие давало однако несколько простора и местным интересам: оно допускало местную святыню, которая не переставала быть всеобщей, но оказывала свое покровительство особенно одной местности. Так во всех землях русских возникли патрональные храмы; в Киеве — Десятинная Богородица и София; в Новгороде и Полоцке — святая София; в Чернигове и Твери — святой Спас, и так далее; везде верили в благословение на весь край, исходящее из такого главного храма. Андрей во Владимире построил церковь святой Богородицы златоверхую, поместив там чудотворную икону, похищенную им из Вышгорода. Нигде до такой степени святыня патронального храма не являлась с плодотворным чудодействующим значением, как там. В летописи Суздальской Земли каждая победа, каждый успех, чуть не каждое сколько-нибудь замечательное событие, случавшееся в крае, называется чудом этой Богородицы (сотвори чудо святая Богородица Владимирская).

Идея высшего управления событиями доходит до освящения успеха самого по себе. Предприятие удается, следовательно — оно благословляется Богом, следовательно — оно хорошо. Возникает спор между старыми городами Ростовско-Суздальской Земли и новым - Владимиром. Владимир успел в споре; он берет перевес: это — чудо Пресвятой Богородицы. Замечательно место в летописи, когда после признания, что Ростовцы и Суздальцы, как старшие, действительно поступали по праву *(хотяще свою правду поставити)*, после того, как дело этих городов подводится под обычай всех земель русских, летописец говорит, что, противясь Владимиру, они не хотели правды Божией *(не хотяху сотворити правды Божия)* и противились Богородице. Те города хотели поставить своих избранных землей князей, а Владимир поставил против них Михаила, и летописец говорит, что *сего же Михаила избра святая Богородица*. Таким образом

Владимир требует себе первенства в Земле на том основании, что в нем находилась святыня, которая творила чудеса и руководила успехом. Володимирцы — рассуждает тот же летописец — прославлены Богом по всей Земле, за их правду Бог им помогает; при этом летописец объявляет, почему Володимирцы так счастливы: *его же бо человек просит у Бога всем сердцем, то Бог его не лишит*. Таким образом, вместо права общественного, вместо обычая, освященного временем, является право предприятия с молитвой и Божия соизволения на успех предприятия. С виду покажется, что здесь крайний мистицизм и отклонение от практической деятельности, но это только кажется: в самой сущности здесь полнейшая практичность, здесь открывается путь к устранению всякого страха пред тем, что колеблет волю, здесь полный простор воли; здесь и надежда на свою силу, здесь уменье пользоваться обстоятельствами. Владимир, в противность старым обычаям, древнему порядку Земли, делается верховным городом, потому что Богородица покровительствует ему, а ее покровительство видно из того, что он успевает.Он пользуется обстоятельствами, тогда как его противники держатся боярством, избранным высшим классом; Владимир поднимает знамя массы, народа, слабых против сильных; князья, избранные им, являются защитниками в пользу слабых. О Всеволоде Юрьевиче летописец говорит: "судя суд истинен и нелицемерен, не обинуяся лице сильных своих бояр, обидящих менших и работящих сироты и насилье творящих". Вместе с тем, право избрания, вечевое начало принимает самый широкий размер и тем подрывает и уничтожает самое себя. Князя Всеволода Юрьевича избирают Владимирцы на вече, пред своими Золотыми воротами, не одного, но и детей его. Таким образом, вечевое право считает возможным простирать свои приговоры не только на живых, нс и на потомство, устанавливать твердый, прочный порядок на долгое время, если не навсегда, до первого ума, который возможет найти иной поворот по новому пути и повести к своей новой цели, возводя по-прежнему в апотеоз успех предприятия, освящая его благословением Божиим.

Наконец, самое возвышение нового города Владимира здесь имеет свой собственный смысл и отпечатлевается характером великороссийским. Известно, как ученые придавали у нас значение новым городам именно потому, что они новые. По нашему мнению, новость городов, сама по себе, еще ничего не значит. Возвышение новых городов не могло родить новых понятий, выработать нового порядка более того, сколько бы все это могло произойти и в старых. Новые города населялись из старых, следовательно, новопоселенцы невольно приносили с собой те поня-

тия, те воззрения, какие образовались у них в прежнем месте жительства. Это в особенности должно было произойти в России, где новые города не теряли связи со старыми. Если новый город хочет быть независимым, освободиться от власти старого города, то все-таки он по одному этому будет искать сделаться тем, чем старый, не более. Для того, чтобы новый город зародил и воспитал в себе новый порядок, нужно, чтоб или переселенцы из старого, положившие основание новому, вышли из прежнего вследствие каких-нибудь таких движений, которые были противны массе старого города, или чтоб они на новоселье отрезаны были от соприкосновения со старым порядком и поставлены в условия, способствующие развитию нового. Переселенцы, как бы далеко они ни отбились от прежних жилищ, удерживают старый быт и старые коренные понятия сколько возможно, насколько не стирают их новые условия; изменяют их только вследствие неизбежности, при совершенной несовместности их с новосельем, и притом изменяют нескоро: всегда с усилиями что-нибудь оставить из старого. Малороссияне двигались в своей колонизации на восток, дошли уже за Волгу и все-таки они в сущности те же Малороссияне, что в Киевской губернии, и если получили что-нибудь особенное в слове и понятиях и в своей физиогномии, то что произошло от условий, с которыми судьба судила им сжиться на новом месте, а не потому единственно, что они переселенцы.

То же надобно сказать о Сибирских Русских переселенцах: они все Русские, и отличия их зависят от тех неизбежных причин, которые понуждают их несколько измениться, применяя условия климата, почвы, произведений и соседства в свою пользу. Новые города в древней России, возникая на расстоянии каких-нибудь десятков верст от старых, как Владимир от Суздаля и Ростова, не могли, по-видимому, иметь даже важных географических условий для развития в себе чего-нибудь совершенно нового. Даже и тогда, когда новый город отстоял от старого на сотни верст, главные, однакож, признаки географии уславливали их сходство. Нам кажется, ученые не напрасно ищут нового элемента, но его следует искать не в новых городах, а в новых людях. Вся суть в том, что на северовостоке России слагалась новая славянорусская народность, со своеобразным характером, с отличными условиями и приемами жизни. Ее начало теряется в прежних временах, о которых у нас нет известий; в XII веке она выказывает свое существование некоторыми выпуклыми чертами. Мы не в силах проследить как они составлялись и как вырабатывались до тех пор, пока не приняли того типа, который является нам вполне в позднейшие времена. Знаем только, что

в этих краях жили инородцы финско-тюркского племени; в их земли вторгнулись Славяне и селились там. Вторжение это в значительной степени должно падать на долю Кривичей, так как великорусское наречие представляет относительно большую близость с белорусским. Затем нам исторически известно, что туда переселялись люди из Южной Руси. Мы не знаем, какое отношение к составлению этой народности имели Вятичи, — племя, о котором нет возможности делать почти никаких заключений и по последующим чертам, но несомненно впоследствии, когда великорусская территория дошла до пределов этого племени и, наконец, захватила его в свои пределы, элементы, составлявшие достояние народности Вятичей, вошли в состав великорусской народности.

Славяне, подвигавшиеся сюда с разных сторон, должны были образовать смесь уже потому, что приходили из разных ветвей русского народа, и эта смесь непременно получить должна была своеобразные черты. Но в каком отношении были эти пришельцы и их потомки к туземным инородцам? Вот важнейший вопрос, на который мы отвечать не в состоянии, если не захотим блуждать в области вероятий, догадок и предположений: известно, что Поляки, а за ними и западно-европейские ученые, составили теорию, которая признает в великорусском народе такую большую примесь, что называет этот народ принадлежащим к туранской расе, смешавшимся несколько со славянской. Так как люди, проводившие эту теорию, совершенно не были подготовлены для обсуждения такого важного предмета, поэтому и теория их не имеет никакого научного достоинства. Нам остается пожалеть, что этот вопрос — один из важнейших в русской истории - не был в надлежащей степени ученым образом рассмотрен и обследован. Он может быть до некоторой степени уяснен, если не решен, только при помощи глубоких филологических и этнографических знаний, как в области инородцев, так и русской народности. В настоящее время мы скажем только следующее: не зная, как происходила борьба внедрившихся в северовосточный край России Славян с туземцами, не зная, в какой степени происходило поглощение народности последних народностью первых, мы все-таки убеждены, что отношения Славян к инородцам непременно должны были содействовать образованию особого народного типа, хотя бы, как мы и видим, славянский элемент одержал полнейшее господство над инородческим. Точно так же и особые этнографические и климатические условия должны были содействовать этому.

В XII веке и в начале XIII Владимир в исторической жизни является нам зерном будущей Великой Руси, — в коем, хотя в

слабом виде, заметны уже те начала, которые развили целость русского мира, давали силу и прочность образовавшемуся при иных условиях единодержавному государству. Мы замечаем здесь стремление к сплочению частей, к установке прочной власти, к подчинению, если не к присоединению других русских земель, стремление к расширению территории насчет инородцев и к прочному утверждению в них посредством заведения городов, народную гордость под знаменем религии, успех, освящаемый идеей Божия соизволения, опору на массу, вместо дружины, как это высказалось в борьбе Владимира с Ростовом, покорность избранной власти — все это представляется в образе молодого побега, который вырос огромным деревом под влиянием последующих обстоятельств, давших сообразный способ его возрастанию. Татарское завоевание дало новую стихию политическому составу Руси. При всех своеобразных чертах, замечаемых в северовосточной Руси, мы не видим там в дотатарское время никаких зачатков монархизма: влияние старых вечевых начал свободы господствовало там не меньше, как и в других краях русско-славянского мира; но мы усматриваем такие черты народного характера, которые показывают способность к развитию восприимчивости того политического строя, который образовался после татарского завоевания.

Монголы не насиловали народного самоуправления систематически и сознательно. Политическая их образованность не достигла стремления к сплочению масс и централизации покоренных частей. Победа знаменовалась для них двумя способами: всеобщим разорением и собиранием дани. И то, и другое потерпела Россия. Но для собирания дани необходимо было одно доверенное лицо на всю Русь, один приказчик хана: это единое лицо, этот приказчик подготовлен был русской историей заранее в особе великого князя, главы князей и, следовательно, управления землями. И вот, глава князей стал доверенным лицом нового господина. Право старейшинства и происхождения и право избрания, равным образом, должны были подчиниться другому праву — воле государя всех земель, государя законного, ибо завоевание есть фактический закон выше всяких прав, не подлежащий рассуждению. Но ничего не было естественнее, как возникнуть этому ханскому приказчику в той земле, где существовали готовые семена, которые оставалось только поливать, чтобы они созрели.

Знамя успеха под покровительством благословения Божия поднято в Москве, на другом новоселье, так же точно, тем же порядком, как оно прежде было поднято во Владимире. Пригород опять перевысил старый город и опять помогает здесь Цер-

ковь, как помогала она во Владимире. Над Москвой почиет благословение Церкви: туда переезжает митрополит Петр; святой муж своими руками приготовляет себе там могилу, долженствующую стать исторической святыней местности; строится другой храм Богородицы, и вместо права, освященного стариной, вместо народного сознания, парализованного теперь произволом завоевания, берет верх и торжествует идея Божия соизволения к успеху. Здесь не место разрешать важный вопрос: какие именно условия способствовали возвышению Москвы пред Владимиром; этот вопрос относится уже специально к истории Великороссии, а у нас идет дело единственно только о противоположности общих начал в народностях. Заметим, однако, что Москва, точно как древний Рим, имела сбродное население и долго поддерживалась новыми приливами жителей с разных концов русского мира. В особенности это можно заметить о высшем слое народа, — боярах и в то время многочисленной дружине. Они получали от великих князей земли в Московской Земле; следовательно, та же смесь населения касалась не только города, но и земли, которая тянула к нему непосредственно. При такой смеси различные старые начала, принесенные переселенцами из прежних мест жительства, сталкиваясь между собой на новоселье, естественно должны были произвести что-то новое, своеобразное, не похожее в особенности ни на что, из чего оно составилось. Новгородец, Суздалец, Полочанин, Киевлянин, Волынец приходили в Москву, каждый со своими понятиями, с преданиями своей местной родины, сообщали их друг другу; но это уже переставало быть тем, чем было у первого и второго, и у третьего, а стало тем, чем не было оно у каждого из них в отдельности. Такое смешанное население всегда скорее показывает склонность к расширению своей территории, к приобретательности на чужой счет, к поглощению соседей, к хитрой политике, к завоеванию, и, положив зародыш у себя в тесной сфере, дает ему возрасти в более широкой, — той сфере деятельности, которая возникает впоследствии от расширения пределов. Так Рим, бывши сначала сбродным местом беглецов из всех краев разностихийной Италии, воспитал в себе самобытное, хотя составленное из многого, но не похожее в сущности на то или другое из этого многого, политическое тело с характером стремления — расширяться более и более, покорять чужое, поглощать в себя разнородное, порабощать то силой оружия, то силой коварства. Рим стал насильственно главой Италии и впоследствии всю Италию сделал Римом. Москва относительно России имеет много аналогии с Римом по отношению последнего к Италии. Разительным сходством представляется вернейшее средство, употребляемое оди-

наково и Римом, и Москвой для соединения первым — Италии, второй — России в единое тело: это переселение жителей городов и даже целых волостей и размещение на покоренных землях военного сословия, долженствующего служить орудием ассимилирования местных народностей и сплочения частей воедино. Такую политику показала резко Москва при Иване III и Василии, его сыне, когда из Новагорода и его волости — из Пскова, из Вятки, из Рязани выводились жители и разводились по разным другим русским землям, а из других переводимы были служилые люди и получали земли, оставшиеся после тех, которые подверглись экспроприации. Москва возникла из смешения русско-славянских народностей, и в эпоху своего возрастания поддерживала свое дело таким же народосмешением. Вероятно, подобной смеси населения одолжен был некогда Владимир и своим появлением, и особенным направлением, хотя по скудости источников о Владимире мы ограничиваемся одним предположением того, что о Москве можно сказать с большим правом исторической достоверности. Их направление было сходно. Москва ли взяла верх, или другой город — это отчасти совершилось по одному и тому же принципу. Как некогда Владимир стремился подчинять Муромскую и Рязанскую земли и первенствовать над другими землями Руси, так теперь Москва, по тому же пути, но совершенно при других условиях, подчиняет себе земли и княжества, и не только подчиняет, но уже поглощает их. Владимиру невозможно было достигнуть до того, до чего достигла Москва; тогда еще живучи были вечевые и федеративные начала: теперь под влиянием завоевания и развития в народном духе уничтожающих их противоположных начал, первые задушены страхом вознесенной власти, вторые ослабели вслед за первыми. Князья все более и более переставали зависеть от избрания и не стали, вследствие этого, переходить с места на место; утверждались на одних местах, начали смотреть на себя как на владетелей, не как на правителей, стали прикрепляться, так сказать, к земле, и тем самым содействовать прикреплению народа к земле. Москва, порабощая и подчиняя других, тем самым возрождала идею общего отечества, только уже в другой форме, не в прежней федеративной, а единодержавной. Так составилась монархия Московская; так из нее образовалось государственное русское тело. Ее гражданственная стихия есть общность, поглощение личности, так как в южнорусском элементе, как на юге, так и в Новгороде, принцип личности постоянно показывал свою живучесть.

С церковью случилось в великорусском мире обратное тому, что было в южнорусском. В южнорусском хотя она имела нрав-

ственное могущество, но не довела своей силы до того, чтоб бездоказательно освящать успех фактом; на востоке она необходимо, в лице своих представителей — духовных сановников, должна была сделаться органом верховного конечного суда, ибо до того, чтоб дело приняло характер Божия соизволения, необходимо было признание его таким от тех, кто обладал правом решать это. Поэтому церковные власти на востоке стояли несравненно выше над массой и имели гораздо более возможности действовать самовластно. Уже в XII веке, именно во время детства Великороссии, встречаем там епископа Феодора, который, добиваясь признания независимости своей епархии, делал разные варварства и насилия. (Много бо пострадаша человеци от него в держаньи его, и сел изнебывши и оружья и конь; друзии же и работ добыша, заточенья же и грабленья токмо простцем, но и мнихом, игуменом и ереем; безжалостив сый мучитель, другым человеком головы порезывал и бороды, иным же очи выжигая и язык урезяя, а иныя распиная на стене и мучи немилостивне, хотя исхитити от всех именье; именья бо бе несыт якы ад). К сожалению, для нас остается неизвестным, какими средствами и при каких условиях достиг епископ возможности так поступать; но, без сомнения, он опирался здесь на светскую власть Андрея Боголюбского, который, для освящения своих предприятий нуждался в особом независимом верховном сановнике церковном Владимирской земли, отдельно от киевской митрополии, и сильно домогался, чтоб патриарх учредил независимого епископа. Светская власть опиралась на духовную, духовная — на светскую. В то время невозможно было юным началам, еще не окрепшим, часто не уступать старым, не потерявшим еще своей живучести, и потому Феодор расплатился в Киеве за свою городыню, как выдавший его головой князь, чрез несколько лет, тоже расплатился в Боголюбове. Ростов был в глазах Андрея и Феодора ниже Владимира, ибо Андрей делает епископа независимым от Ростова. Патриарх на это не согласился, но посвятил Феодора во епископы Ростову, предоставя ему жить во Владимире. Вероятно, злодеяния, которые допускал себе Феодор, были вызваны оппозицией, встреченной им в Ростове против своих намерений возвыситься во Владимире и в церковном отношении, как он возвысился над Ростовом в мирском. Но, исполняя сначала волю Андрея, Феодор, видно, уже слишком хотел показать, как важна власть епископа для самого князя. Андрей предал его на погибель.

Светская власть князя, освящаемая духовной, не допускает, однако, последней подчинить себя, и коль скоро последняя вступает в борьбу, дает ей удар. Так совершалось и впоследствии в

течение всей истории Великороссии. Духовенство поддерживало князей в их стремлении к единовластию; князья также ласкали духовенство и содействовали ему сильно; но при каждом случае, когда духовная власть переставала идти рука об руку с единодержавной светской, последняя сейчас давала почувствовать духовной власти, что светская необходима. Это взаимное противовесие вело так успешно к делу. Власть светская, подчинившись духовной, допустивши теократический принцип, не могла бы идти прямым путем, не могла бы приобретать освящения своим предприятиям; тогда родились бы сами собой права, которые бы ее связывали. Но коль скоро духовная пользовалась могуществом, которое, однако, всегда могла от нее отнять светская, тогда, для поддержания себя духовная должна была идти рядом со светской и вести ее к той цели, какую избирает последняя. Поэтому, в истории Великороссии мы видим неоднократные примеры, как первопрестольники церкви потворствовали светским монархам и освящали их дела, даже совершенно противные уставам церкви. Так митрополит Даниил одобрил развод Василия с Соломонией и заключение бедной великой княгини; а Иоанну IV разрешило духовенство четвертый брак, которым церковь издавна гнушалась. С другой стороны, видим примеры, как оппозиция духовной власти против государей была неудачна. Митрополит Филипп заплатил жизнью за обличение душегубств и кощунств того же Иоанна Грозного; а царь Алексей Михайлович не затруднился пожертвовать любимцем Никоном, когда тот поднял слишком независимо голову, защищая самобытность и достоинство правителя церкви. Зато при обоюдном согласии властей, когда как светская не требовала от духовной признания явно противного церкви, так духовная не думала стать выше светской, церковь фактически обладала всей жизнью — и политической, и общественной, и власть была могущественна потому, что принимала посвящение от церкви. Так-то философия великорусская, сознав необходимость общественного единства и практического пожертвования личностью как условием всякого общего дела, доверила волю народа воле своих избранных, предоставила освящение успеха высшему выражению мудрости, и так дошла она в свое время до формулы: Бог да царь во всем! — формулы, знаменующей крайнее торжество господства общности над личностью.

В тот отдаленный от нас период, который мы назвали детством Великороссии, в религиозности великорусской является свойство, составляющее ее отличительную черту и впоследствии в противоречии с тем складом, какой религиозность приобрела в южнорусской стихии. Это — обращение к обрядам, к форму-

лам, сосредоточенность во внешности. Таким образом, на северо-востоке поднимается толк о том, можно ли есть в праздники мясо и молочное. Это — толк, принадлежащий к разряду множества расколов, существующих и в наше время и опирающихся только на внешности.

На юге, в древности, мы встречаем два не вполне известные нам уклонения от православия, но не в том духе, именно — Адриана и Димитрия; они касались существенных уставов Церкви, и мнения их относились к кругу ересей, то есть таких несправедливых мнений, которые, во всяком случае, возникали от умственной работы над духовными вопросами; в этом отношении южнорусское племя и впоследствии не отличалось спорами о внешности, которыми так богат север. Известно, что в течение веков, как теперь, у малороссиян расколов и споров об обрядах не было. На севере в Новгороде и Пскове, состязательство о внешности хотя коснулось умственного движения в духовных вопросах в известном толке о *сугубом аллилуе* и в Новгородском споре о том, как следует произносить: *Господи помилуй*, или: *о Господи помилуй*, — но едва ли такие толки в древности действительно занимали умы на севере, — ибо обстоятельства спора об аллилуя, известные из жития Ефросина, еще подвержены сомнению, так что многие считают это сочинение, дошедшее до нас не в современных списках, составленным или, по крайней мере, переделанным раскольниками, старавшимися придать всевозможнейшую важность этому вопросу, который, как известно, был один из главных, возбуждавших старообрядчество к отпадению от господствующего тела русской церкви. Притом же в самой повести о Ефросине изображается, что Псков держался *трегубой*, а не *сугубой аллилуя*.

Распространеннее и знаменательнее было другое еретическое умственное брожение на севере, проявившееся первый раз в Стригольниках, в продолжение века тлевшее в умах и потом разразившееся смесью различных толков, сгруппированных Иосифом Волоцким в его "Просветителе" о жидовствующей ереси. Это брожение, чисто новгородского пошиба, перешло потом во всю Русь и долго подымалось в различных формах оппозицией против авторитета мнений. Мы не скажем, однако, что такое реформационное управление имело большой успех в Новгородском и Псковском мире; оно только показывает, что племя южнорусское в своих уклонениях от цели следовало иному пути, чем великорусское. В Южной Руси после мимоходных явлений в XI и XII веке не встречается попыток к оппозиции против авторитета церковной науки, и только в XVI веке стало было кружить арианство, когда Симон Будный распустил свой

катехизис на южнорусском языке, и, по свидетельству униатов, некоторые священники, по невежеству, не подозревая в нем ереси, еще и похваливали его. В массе народа это явление не имело успеха.

Единственное уклонение от православия, увлекавшее до известной степени народ, была уния с римско-католической церковью; но известно, что она вводима была интригами и насилием, при благоприятствующей помощи привлеченного к католичеству дворянства; она в народе нашла против себя упорную и кровавую оппозицию. Белорусское племя, вообще более кроткой и податливой натуры, сильнее подчинялось гнетущим обстоятельствам и более показало наклонность, если не принять унию добровольно, то, по крайней мере, допустить ее, когда нельзя было не допустить ее иначе, как энергическим противодействием. Но в Южной Руси было не то. Там народ, чувствуя насилие совести, поднялся огромным пластом на защиту своей старины и свободы убеждения, и в последнее время, даже приняв унию, гораздо охотнее от нее отстал, чем белоруссы. Так южнорусское племя, не давая духовенству права безусловного освящения факта, в самой сущности пребыло вернее самой церкви, чем великорусское, обнимая более ее дух, чем форму. В настоящее время раскол, из-за формы, обрядности, буквы, немыслим в южнорусском народе: с этим всяк согласится, кто сколько-нибудь знает этот народ, присмотрелся к его жизни и прислушался к его коренным понятиям.

Мы видели, как еще в своем детстве великорусская стихия, централизируясь во Владимире, а потом в эпоху юности — в Москве, показывала направление к подчинению, а потом и поглощению самобытности частей. В религиозно-умственной сфере отразилось то же. Образовалась нетерпимость к чужим верам, презрение к чужим народностям, высокомерное мнение о себе. Все иностранцы, посещавшие Московщину в XV, XVI, XVII столетиях, одногласно говорят, что Москвитяне презирают чужие веры и народности; сами цари, которые в этом отношении стояли впереди массы, омывали свои руки после прикосновения иноземных послов христианских вероисповеданий. Немцы, допущенные жить в Москве, подвергались презрению от Русских; духовенство вопияло против общения с ними; патриарх, неосторожно благословивши их, требовал, чтоб они отличались порезче от православных наружным видом, чтоб вперед не получить нечаянно благословения. Латинская и лютерская, армянская и другая всякая вера, чуть только отличные от православной, считались у великоруссов проклятыми. Московские Русские считали себя единственным избранным народом в вере, и даже не

вполне были расположены к единоверным народам — к грекам и малороссиянам: чуть только что-нибудь было несходно с их народностью, то заслуживало презрения, считалось ересью; на все не свое они смотрели свысока.

Образованию такого взгляда неизбежно способствовало татарское порабощение. Долгое унижение под властью чужеверцев и иноплеменников выражалось теперь высокомерием и унижением других. Освобожденный раб способнее всего отличаться надменностью. Это-то и вынудило то увлечение иноземщиной, которое со времен Петра является в виде реформы. Крайность, естественно, вызывает противную крайность.

В южнорусском племени этого не было. Издавна Киев, потом Владимир-Волынский были сборным пунктом местопребывания иноземцев разных вер и племен. Южноруссы с незапамятных времен привыкли слышать у себя чуждую речь и не дичиться людей с другим обличьем и с другими наклонностями. Уже в X веке, и вероятно древнее, из Южной Руси ходили в Грецию: одни занимались промыслами в чужой земле, другие служили в войске чужих государей. После принятия крещения, перенесенная в Южную Русь юная христианская цивилизация привлекала туда еще боле чужеземной стихии из разных концов. Южноруссы, получив новую веру от Греков, не усвоили образовавшейся в Греции неприязни к западной церкви; архипастыри, будучи сами чужими, старались пересадить ее на девственную почву, но не слишком успевали: в воображении южнорусском католик не принимал враждебного образа. Особы княжеского рода сочетались браком с особами владетельных домов католического исповедания; то же, вероятно, делалось и в народе. В городах южнорусских Греки, Армяне, Жиды, Немцы, Поляки, Угры находили вольный приют, ладили с туземцами: Поляки, забравшись в Киевскую землю в качестве пособников князя Изяслава, пленились веселостью жизни в чужой земле. Этот дух терпимости, отсутствие национального высокомерия, перешел впоследствии в характер козачества и оставался в народе до сих пор. В козацкое общество мог приходить всякий: не спрашивали: кто он, какой веры, какой нации. Когда Поляки роптали, что козаки принимают к себе разных бродяг и в том числе еретиков, убегавших от преследований духовного суда, козаки отвечали, что у них издавна так ведется, что каждый свободно может прийти и уйти. Неприязненные поступки над католической святыней, во время козацкого восстания, происходили не от ненависти к католичеству, а с досады за насилие совести и за принуждение. Походы против Турок и Крымцев, с одной стороны, имели побудительными причинами не слепой фанатизм про-

тив *неверных*, но мщение за их набеги и за плен русских жителей, а с другой — ими водил дух удальства и страсть к добыче, которая необходимо развивается во всяком воинственном обществе, в каком бы племени в какой бы земле оно ни организовалось. Память о кровавых временах вражды с Поляками не изгладилась у народа до сих пор, но вражды собственно к римско-католической вере, безотносительно к польской народности, у него нет. Южнорусс не мстителен, хотя злопамятен ради осторожности. Ни католический костел, ни жидовская синагога не представляются ему погаными местами; он не побрезгует есть и пить, войти в дружбу не только с католиком или протестантом, но и с евреем, и с татарином. Но неприязнь вспыхивает у него еще сильнее, чем у великорусса, если только южнорусс заметит, что иноверец или иноземец начинает оскорблять его собственную святыню. Коль скоро предоставляется другим свобода и оказывается другим уважение, то естественно требовать и для себя такой же свободы и взаимного уважения.

В Новгороде мы видим тот же самый дух терпимости. Иноверцы пользовались правом безопасного жительства и богослужения; разницы в отношении иноверных христиан полагалось так мало, что в Кириковых вопросах указывается на такое явление, что матери носили детей своих крестить, вместо православного, к римско-католическому (варяжскому) священнику. Построение варяжской церкви в Новгороде произвело в грядущих поколениях духовенства легенду, в которой показывается, как естественное старание некоторых духовных фанатиков вооружить православных туземцев против иноверцев было безуспешно. Множество инородцев-язычников в Новгородской волости не было обращаемо насильственно к христианству. Новгородцы были до того не энергическими распространителями веры, что в Водской земле еще в XVI веке было язычество. Вера расходилась между Водью не скоро, — зато мирным путем. Принцип веротерпимости соблазнял сильно западное христианство, когда Новгород, подавая помощь чудским народам против Немцев и Шведов, хотевших насилием обратить их к истинной вере, вступал в неприязненные отношения к Ордену и Швеции. Папы в своих буллах укоряли Новгородцев во вражде к христианству, в защите язычества и возбуждали против них крестовый поход. Немцы и Шведы, с которыми приходилось Новгороду и Пскову воевать, были в глазах последних политические, а не религиозные враги; вражда доходила несколько до религиозного характера только тогда, когда с противной стороны оказывалось прямое посягательство на святыню православной веры; то же самое, что видим и в Южной Руси. Нехристиане не подвергались

также в Новгороде ненависти; доказательство, что Евреи, которые не смели появиться в Великой Руси, в Новгороде до того могли находить приют, что даже в силах были завести еретическую секту и совращать в нее туземцев. Когда, с одной стороны, папы и западные духовные обвиняли Великий Новгород в пособии язычникам против христианства, с другой православным сановникам не нравилась излишняя веротерпимость Новгородцев, духовные негодовали на них за общение с Латинами и усвоение чужих обычаев: они хотели поддерживать в народе мысль о поганстве всех неправославных, и с этой целью приказывали предавать церковному освящению съестные припасы, полученные из-за границы, прежде их употребления в пищу.

Из этого короткого исторического обзора различия, возникшего в отдаленные от нас времена между двумя русскими народностями, можно заключить, что племя южнорусское имело отличительным своим характером перевес личной свободы, великорусское — перевес общности. По коренному понятию первых, связь людей основывается на взаимном согласии, и может распадаться по их несогласию; вторые стремились установить необходимость и неразрывность раз установленной связи и самую причину установления отнести к Божией воле, а, следовательно, изъять от человеческой критики. В одинаких стихиях общественной жизни первые усваивали дух, вторые стремились дать ему тело; в политической сфере первые способны были создавать внутри себя добровольные товарищества, связанные настолько, насколько к тому побуждала насущная необходимость, и прочные настолько, насколько существование их не мешало неизменному праву личной свободы; вторые стремились образовать прочное общинное тело на вековых началах, проникнутое единым духом. Первое вело к федерации, но не сумело вполне образовать ее; второе повело к единовластию и крепкому государству: довело до первого, создало второе. Первое оказалось много раз неспособным к единодержавной государственной жизни. В древности оно было господствующим на русском материке, и когда пришла неизбежная пора или погибнуть, или сплотиться, должно было невольно сойти со сцены и уступить первенство другому. В великорусском элементе есть что-то громадное, созидательное, дух стройности, сознание единства, господство практического рассудка, умеющего выстоять трудные обстоятельства, уловить время, когда следует действовать, и воспользоваться им насколько нужно. Этого не показало наше южнорусское племя. Его свободная стихия приводила либо к разложению общественных связей, либо к водовороту побуждений, вращавших беличьим колесом народную историческую

жизнь. Такими показало нам эти две русские народности наше прошедшее.

В своем стремлении к созданию прочного, ощущаемого, осязательного тела для признанной раз идеи, великорусское племя показывало всегда и теперь показывает наклонность к материальному и уступает южнорусскому в духовной стороне жизни, в поэзии, которая в последнем развилась несравненно шире, живее и полнее. Прислушайтесь к голосу песен, присмотритесь к образам, сотворенным воображением того и другого племени, к созданным тем и другим народным произведениям слова. Я не скажу, чтобы великорусские песни лишены были поэзии; в них высоко-поэтической является именно сила воли, сфера деятельности, именно то, что так необходимо для совершения задачи, для какой определил себя этот народ в историческом течении политической жизни. Лучшие великорусские песни те, где изображаются моменты души, собирающей свои силы, или где представляется торжество ее или неудачи, не ломающие, однако, внутреннего могущества. Оттого так всем нравятся песни разбойничьи: разбойник — герой, идущий бороться и с обстоятельствами, и с общественным порядком. Разрушение — его стихия, но разрушение неизбежно предполагает воссоздание. Последнее высказывается уже и в составлении разбойнических шаек, которые представляют некоторого рода общественное тело. И потому да не покажется странным, если мы будем усматривать в разбойнических песнях ту же стихию общинности, то же стремление к воплощению государственного тела, какое находим во всем проявлении исторической жизни великорусского племени. Великорусский народ, практический, материальный по преимуществу, восходит до поэзии только тогда, когда выходит из сферы текущей жизни, над которой работает, работает, не восторгаясь, не увлекаясь, примериваясь более к подробностям, к частностям, и оттого упуская из виду образный идеал, составляющий сущность опоэтизированья всякого дела и предмета. Оттого поэзия великорусская так часто стремится в область необъятного, выходящего из границ природной возможности, также часто ниспадает до простой забавы и развлечения. Историческое воспоминание сейчас обращается в эпос и превращается в сказку; тогда как, напротив, в песнях южно-русского племени оно более удерживает действительности и часто не нуждается в возведении этой действительности до эпоса для того, чтобы блистать силой роскошной поэзии. В великорусских песнях есть тоска, раздумье, но нет почти той мечтательности, которая так поэтически пленяет нас в южнорусских песнях, уносит душу в область воображения и согревает сердце неземным, нездешним огнем. Участие

природы слабо в великорусских песнях, а в южнорусских чрезвычайно сильно: южнорусская поэзия нераздельна от природы, она оживляет ее, делает ее участницей радости и горя человеческой души; травы, деревья, птицы, животные, небесные светила, утро и вечер, весна и снег — все дышит, мыслит, чувствует вместе с человеком, все откликается к нему чарующим голосом то участия, то надежды, то приговора. Любовное чувство, обыкновенно душа всякой народной поэзии, в великорусских песнях редко возвышается над материальностью: напротив, в южнорусских оно достигает высочайшего одухотворения, чистоты, высоты побуждения и грации образов. Даже материальная сторона любви в шуточных песнях изображается с той анакреонтической грацией, которая скрадывает тривиальность и самую чувственность одухотворяет, облагораживает. Женщина в великорусских песнях редко возвышается до своего человеческого идеала: редко ее красота возносится над материей; редко влюбленное чувство может в ней ценить чего-нибудь за пределом телесной формы; редко выказывается доблесть и достоинство женской души. Южнорусская женщина в поэзии своего народа, напротив, до того духовно прекрасна, что и в самом своем падении высказывает поэтически свою чистую натуру и стыдится своего унижения. В песнях игривых, шуточных, резко выражается противоположность натуры того и другого племени. В южнорусских песнях этого рода вырабатывается прелесть слова и выражения, доходит до истинной художественности: отдыхающая человеческая природа не довольствуется простой забавой, но сознает потребность дать ей изящную форму, не только развлекающую, но и возвышающую душу; веселье хочет обнять ее стихиями прекрасного, освятить мыслью. Напротив, великорусские песни такого разряда показывают не более, как стремление уставшего от прозаической деятельности труда забыться на минуту как-нибудь, не ломая головы, не трогая сердца и воображения; песня эта существует не для себя самой, а для боковой декорации другого, чисто материального удовольствия, и потому часто доходит до цинизма.

В жизни великорусской, и общественной и домашней, видно более или менее отсутствие того, что составляет поэзию южнорусской жизни, как и обратно — в последней мало того, что составляет сущность, силу и достоинство первой. Великорусс мало любит природу; у поселянина вы очень редко можете встретить в огороде цветы, которые найдутся почти при каждом дворе у южнорусского землевладельца. Этого мало. Великорусс питает какую-то вражду к произрастаниям. Я знаю примеры, что хозяева рубили деревья возле домов безобразно построенных,

думая, что деревья мешают красоте вида. В казенных селах, когда начальство начало побуждать разводить около домов ветлы, чрезвычайно трудно было заставить поливать и холить их и предохранять от истребления. Когда в двадцатых годах нынешнего столетия, по распоряжению правительства, сажали деревья по дорогам, это показалось до такой степени народу обременительной повинностью, что до сих пор жалобы и негодования отразились в народных песнях, сложенных до чрезвычайности тривиально. В Великороссии много садов, но все почти плодовые, заводятся с коммерческой целью; редко дают в них место лесным деревьям, как бесполезным для материальной жизни. Редко можно встретить великорусса, который бы сознавал и чувствовал прелесть местоположения, предался бы созерцанию небесного свода, списался безотчетно глазами в зеркало озера, освещенного солнцем или луной, или в голубую даль лесов, заслушался бы хора весенних птиц. Ко всему этому почти всегда чужд великорусский человек, погруженный в обыденные расчеты, в мелкий омут материальных потребностей. Даже в образованном классе, сколько нам случалось подметить, остается та же холодность к красоте природы, прикрытая, иногда очень неудачно и смешно, подражанием западной иноземщине, где, как известно — одним по опыту, другим — по слуху, хороший тон требует показывать любовь и сочувствие к природе.

При скудости воображения, у великоруссов чрезвычайно мало суеверий, хотя зато чрезвычайно много предрассудков, и они держатся их упорно. Южноруссы, напротив, с первого раза представятся в высшей степени суеверным народом; в особенности на западе Южнорусской Земли это сказывается очень разительно (может быть, по удаленности от великорусского влияния). Чуть не в каждом селе существуют поэтические рассказы о явлениях мертвых с того света в самых разнообразных видах, от трогательного рассказа о явлении мертвой матери, обмывающей своих малюток, до страшного образа вампиров, распинающихся в полночь на могильных крестах и вопиющих диким голосом: *мяса хочу!* — С насыпями, рассеянными в таком изобилии по богатой исторической жизнью стране, соединяются предания о давно протекших временах туманной старины, и в этих преданиях проглядывают сквозь пестроцветистую сеть лучей народного вымысла следы невошедшей в писанные летописи древности. Волшебство со своими причудливыми приемами, мир духов в самых разнообразных образах и страхах, подымающих на голове волосы и возбуждающих смех до икоты... все это облекается в стройные рассказы, в изящные картины. Народ иногда сам плохо верит в действительность того, что рассказывает,

но не расстанется с этим рассказом, доколе в нем не погаснет чувство красоты, или пока старое не найдет обновления своего поэтического содержания в новых формах.

Совсем не то в Великороссии. Там, как мы сказали, одни предрассудки; великорусс верит в чертей, домовых, ведьм, потому что получил эту веру от предков; верит потому, что не сомневается в их действительности, верит так, как бы верил в существование электричества или воздушного давления; верит, потому что вера нужна для объяснения непонятных явлений, а не для удовлетворения стремления возвыситься от плоской юдоли материальной жизни в сферу свободного творчества. Вообще фантастических рассказов у него мало. Черти, домовые очень материальны; сфера загробной жизни, духовный мир, мало занимает великорусса, и почти нет историй о явлениях души после смерти; если же она встречается, то заимствованная из книг и новых, и старых, и скорее в церковной обработке, а не в народной. Зато по духу терпимости великорусс гораздо упорнее в своих предрассудках. Я был свидетелем случая очень характеристического, когда одного господина обвиняли в безбожии и богохульстве за то, что он отозвался с пренебрежением о вере в существование чертей.

В кругу грамотных людей, только что вступающих в книжную сферу, можно наблюдать, какие книги особенно занимают великорусса и на что именно он обращает внимание в этих книгах. Сколько мне удалось заметить — или серьезные книги, но только такие, которые прямо относятся к занятию читателя, и даже только то из них, что может быть применено к ближайшему употреблению, или же легкое, забавное, служащее минутному развлечению без созерцания построения, без сознания идеи: поэты читаются или с целью развлечения (и в этом случае нравится в них то, что может слегка пробегать по чувствам своим разнообразием или необыкновенностью положения), или же для того, чтоб показать, что читатель образован настолько, чтоб понимать то, что считается хорошим. Часто можно встречать лица, которые даже восторгаются красотами поэзии, но в самом деле, если хорошенько осязать их душу, то увидишь, что играет не истинное чувство, а только аффектация. Аффектация — признак отсутствия истинного понимания поэзии. Аффектация — в нашем образованном обществе — черта чересчур обычная; оттого-то, кажется, у нас и заметно сочувствие к французам преимущественно перед другими народами, потому что это народ, заявивший себя мало поэтическим, народ, у которого литература и искусство и отчасти даже наука — на эффектах.

Если у великоруссов был истинно великий, гениальный, са-

мобытный поэт, то это Пушкин. В своем бессмертном, великом Евгении Онегине он выразил одну только половину великорусской народности так называемого образованного и светского круга. Удачные описатели нравов и быта были, но это не творцы-поэты, которые бы заговорили языком всей массы, сказали бы то и так, за что с чувством схватилась бы масса, как бы невольно должен был сказать каждый из этой массы, и сказать голосом поэзии, а не прозы. Но, повторим, мы далеки от того, чтобы отрицать в великорусском народе поэтический элемент, напротив, быть может, он выше и глубже южнорусского; он обращен не на сферу воображения и чувства, он хранится для сферы воли и светлой думы. Песни великорусские не нравятся долго; надобно изучать их, проникнуться духом, чтоб уразуметь ту оригинальнейшую поэзию, которая потому-то и недоступна сразу, что ожидает еще великих творцов, которые облекли бы ее в художественные создания.

В сфере религиозности мы уже показали резкое отличие южнорусской народности от великорусской в совершенном непричастии первой к расколам и отпадениям от церкви из-за обрядов и формул. Любопытно разрешить вопрос, откуда в Великороссии возникло это оригинальное настроение, это стремление спорить за букву, придавать догматическую важность тому, что составляет часто не более, как грамматический вопрос или дело обрядословия? Кажется, что это происходит от того же практического материального характера, которым вообще отличается сущность великорусской натуры. В самом деле, наблюдая над великорусским народом во всех слоях общества, мы встретим нередко людей истинно христианской нравственности, которых религиозность обращена к практическому осуществлению христианского добра, но в них мало внутреннего благочестия, пиетизма; мы встречаем ханжей, изуверов, строгих исполнителей внешних правил и обрядов, но также без внутреннего благочестия, большей частью хладнокровных к делу религии, исполняющих внешнюю ее сторону по привычке, мало отдающих себе отчета, почему это делается, и наконец в высшем так называемом образованном классе, лиц мало верующих, или совсем неверующих, не вследствие какого-нибудь мысленного труда и борения, а по увлечению, потому что им кажется неверие признаком просвещения. Истинно благочестивые натуры составляют исключение и благочестие, духовная созерцательность у них — признак не народности, не общего натуре народной, а их собственной индивидуальной особенности. Между южноруссами мы встретим совсем обратное в характере. У этого народа много именно того, чего недостает у великоруссов: у них сильно чувство все-

присутствия Божия, душевное умиление, внутреннее обращение к Богу, тайное размышление о Промысле, над собой, сердечное влечение к духовному, неизвестному, таинственному и отрадному миру. Южноруссы исполняют обряды, уважают формулы, но не подвергают их критике: в голову не войдет никак, нужно ли два или три раза петь аллилуйя, теми или другими пальцами следует делать крестное знамение; и если бы возник подобный вопрос, то для разрешения его достаточно объяснения священника, что так постановила Церковь. Если бы понадобились какие-нибудь изменения в наружных сторонах богослужения или переводе книг св. писания, южноруссы никогда не восстали бы против этого, им бы не взошла мысль подозревать какого-нибудь искажения святыни. Они понимают, что внешность устанавливается Церковью, изображаемой видимо в ее руководящих членах, и что эти члены постановят, не извращая сущности, миряне беспрекословно этому должны следовать; ибо коль скоро та или другая внешность выражает одну и ту же сущность, та самая внешность не представляет и такой важности, чтоб можно сделать ее предметом спора. Нам случалось говорить с религиозными людьми и той, и другой народности; великорусс проявляет свою набожность в словоизлитиях над толкованием внешности, буквы, принимает в этом важное участие; если он строго православный, то православие его состоит преимущественно во внешней стороне; южнорусс станет изливать свое религиозно-нравственное чувство, редко начнет толковать о богослужении, об обрядах, праздниках, а скажет свое благочестивое впечатление, производимое на него богослужением, торжественностью обряда, высоким значением праздника и т.д. Зато у южноруссов и образованный класс не так легко поколебать в вере, как великоруссов; неверие внедряется в душе только вследствие долгой, глубокой борьбы; напротив, мы видели великорусских юношей, воспитанных, как видно, с детства в строгой набожности, в исполнении предписанных церковных правил; но они при первом легком нападении, а нередко вследствие нескольких остроумных выражений, покидают знамя религии, забывают внушения детства и без борьбы, без постепенности переходят к крайнему безверию и материализму. Народ южнорусский — глубоко религиозный народ, в самом обширном смысле этого слова; так или иначе поставили его обстоятельства, то или другое воспитание было бы им усвоено, до тех пор, пока будет существовать сумма главных признаков, составляющих его народность, он сохранит в себе начало религии: это неизбежно при том поэтическом настроении, которым отличается его духовный склад.

В общественных понятиях история напечатлела на двух на-

ших народностях свои следы и установила в них понятия совершенно противоположные. Стремление к тесному слитию частей, уничтожение личных побуждений под властью общих, ненарушимая законность общей воли, выраженная как бы смыслом тяжелой судьбы, совпадают в великорусском народе с единством семейного быта и с поглощением личной свободы идеей *мира*, выразились в народном быте неделимостью семей, общинной собственностью, тяглом посадов и сел в старину, где невинный отвечал за виновного, трудолюбивый работал за ленивого. Как глубоко лежит это в душе великорусса, показывает то, что по поводу устройства крестьян в наше время заговорили в пользу этого великоруссы с разных точек зрения, под влиянием и запоздалого московского славянофильства, и новомодного французского социализма. Для южнорусса нет ничего тяжелее и противнее такого порядка, и семьи южнорусские делятся и дробятся, как только у членов их является сознание о потребности самобытной жизни. Опека родителей над взрослыми детьми кажется для южнорусса несносным деспотизмом. Претензия старших братьев над меньшими, как дядей над племянниками, возбуждает неистовую вражду между ними. Кровная связь и родство у южноруссов мало располагают людей к согласию и взаимной любви; напротив, очень часто люди кроткие, приветливые, мирные и уживчивые находятся в непримиримой вражде со своими кровными. Ссоры между родными — явление самое обыкновенное и в низшем и в высшем классе. Напротив, у великоруссов кровная связь заставляет человека нередко быть к другому дружелюбнее, снисходительнее, даже когда он вообще не отличается этими качествами в отношении к чужим. В Южной Руси, чтоб сохранить любовь и согласие между близкими родственниками, надобно им разойтись и как можно менее иметь общего. Взаимный долг, основанный не на свободном соглашении, а на роковой необходимости, тягостен для южнорусса, тогда как великорусса он более всего успокаивает и умиряет его личные побуждения. Великорусс из покорности долгу готов принудить себя любить своих ближних по крови, хотя бы они ему не по душе, снисходить к ним, потому что они ему сродни, чего бы он не сделал по убеждению; он готов для них на личное пожертвование, сознавая, что они того не стоят, но что они все-таки *своя кровь*. Южнорусс, напротив, готов, кажется, разлюбить ближнего за то, что он его кровный, менее снисходителен к его слабостям, чем к чужому, и вообще родство ведет его не к утверждению доброго расположения, а скорее к его ослаблению. Некоторые великоруссы, приобревшие себе в Южной Руси имения, затевали иногда вводить в малорусские семьи великорус-

скую плотность и неделимость, и плодом этого были отвратительные сцены: не только родные братья готовы были поминутно завести драку, но сыновья вытаскивали отцов своих за волосы через пороги дома. Чем более принцип семейной власти и прочной кровной связи внедряется в жизнь, тем превратнее она на нее действует. Южнорусс тогда почтительный сын, когда родители оставляют ему полную свободу и сами, на старости лет, подчиняются его воле; тогда добрый брат, когда с братом живет, как сосед, как товарищ, не имея ничего общего, нераздельного. Правило: *каждому свое*, соблюдается в семействах; не только взрослые члены семьи не надевают одежды другого, даже у детей у каждого свое; у великоруссов в крестьянском быту часто две сестры не знают, кому из них принадлежит тот или другой тулуп, а об отдельной принадлежности у детей не бывает и помина.

Обязательная общинность земская и ответственность личности миру для южнорусса есть в высшей степени несноснейшее рабство и несправедливость. Не сметь назвать ничего своим, быть батраком какого-то отвлеченного понятия о *мире*, отвечать за другого без собственного желания — ко всему этого не расположила народ южнорусский его прошедшая жизнь. *Громада*, по южнорусскому понятию, совсем не то, что мир по великорусскому. Громада есть добровольная сходка людей; кто хочет — в ней участвует, кто не хочет — выходит; так как в Запорожье кто хотел — приходил, кто хотел — выходил оттуда добровольно. По народному понятию, каждый член громады есть сам по себе независимая личность, самобытный собственник; обязанность его к громаде только в сфере тех отношений, которые устанавливают связь между ее членами для взаимной безопасности и выгоде каждого, — тогда как, по великорусскому понятию, мир есть как бы отвлеченное выражение общей воли, поглощающей личную самобытность каждого. Главное различие здесь, конечно, проистекает от поземельной общинности. Коль скоро член мира не может назвать своей собственностью участок земли, который он обрабатывает, он уже не свободный человек. Мирское устройство великорусское есть стеснение, и потому форма последнего, введенная властью, приняла в себя дух и смысл, господствующий в Великоруссии; корень его лежал уже в глубине народной жизни: оно истекло нравственно из того же стремления к тесному сплочению, к единству общественному и государственному, которое составляет, как мы показали, отличительный признак великорусского характера. Частная поземельная собственность выводится таким легальным путем из великорусской общественной философии. Все общество отдает свою судьбу олицетворению своей власти, тому лицу, которое поставляет над обществом

Бог, и, следовательно, все обязано ему повиновением. Таким образом, все принадлежит ему безусловно, как наместнику Божию; отсюда понятие, что все — Божье да царское. И пред царем, как и пред Богом, все равны. Но как Бог одного возвышает, награждает, а другого карает, унижает, так поступает и царь, исполняющий на земле Божественную волю. Это выражается прекрасно пословицей: "воля Божья, суд царев". Отсюда народ безропотно сносил даже и то, что, казалось, превосходило меры человеческого терпения, как, например, душегубства Иоанна Грозного. Царь делал несправедливо, жестоко, но тем не менее он был орудием Божьей воли. Противиться царю, хотя бы и неправедному, значит — противиться Богу: и грешно, и неполезно, потому что Бог пошлет еще худшие беды. Имея безусловную власть над обществом, царь есть *государь*, — то есть полный владетель-собственник всего государства. Слово *государь* именно означало собственника, имеющего право безусловно, по своему усмотрению, распоряжаться всем, что есть в его государстве, как своими вещами. Оттого-то древние новгородцы, воспитавшие себя под иными началами, различные притом от великоруссов по народности, так взволновались, когда Иван III задумал изменить древний титул *господина* на титул *государя*. Понятие господина выражало лицо, облеченное властью и уважением; господ могло быть много: и владыко был господин, и посадник — господин; но государь был лицо, о власти которого не могло быть и рассуждения: он был един, как един собственник вещи; Иван домогался быть государем в Новгороде, хотел заменить собой Великий Новгород, который был до того времени государем; так же точно, как в Великороссии великий князь заменил общественную волю всей нации. Будучи самодержавным творцом общественных условий, государь делал все и, между прочим, жаловал за службу себе землями. Таким образом, земля принадлежала, по первоначальному понятию, миру, т.е. всему обществу; по передаче этого права — лицу государя, давалась от последнего в пользование отдельным лицам, которых угодно было государю возвысить и наделить. Мы говорим *пользование*, потому что в точном значении *собственников* не было. То, что давалось от царя, всегда могло быть отнято и отдано другому, что беспрестанно и случалось.

Как скоро образовалось отношение рабочих к такому землевладельцу, то землевладелец, естественным порядком, получил значение олицетворенного мира, так же как царь в значении олицетворенной нации. Крепостной человек соединял свою судьбу с достоинством господина: воля барина стала для него заменять собственную волю, точно так же, как там, где не было барина,

эту собственную личную волю поглощал мир. У помещичьих крестьян земля принадлежит барину, который дает ее лицам, земледельцам, по своему усмотрению; так и у казенных крестьян: земля отдана миру в пользование, а мир по своему усмотрению дает ее отдельным лицам в пользование.

В Южной Руси, которой историческая жизнь текла иначе, не составилось такого понятия о мире. Там прежние древние удельно-вечевые понятия продолжали развиваться и встретились с польскими, которые в основе своей имели много общего с первыми, и если изменились, то вследствие западно-европейских понятий. Древнее право личной свободы не было поглощено перевесом общественного могущества, и понятие об общей поземельной собственности не выработалось. Польские идеи произвели в старорусских только тот переворот, что регулировали последние. Каждый земледелец был независимым собственником своего достояния; польское влияние только обезопасило его от произвола народной воли, и прежде выражавшегося самодействием общества, в смысле соединения свободных личностей, и облекло его владение de facto правом. Таким образом, оно возвысило богатых и влиятельных, образовало высший класс, а массу бедного народа повергло в порабощение. Но там магнат владелец не представлял собой выражения царской, а через нее и барской воли: он владел *по праву*; в переводе на более простой язык — право это выражало силу, торжество обстоятельств и давность происхождения. Там крестьянин не мог дать своему господину никакого значения священной воли, потому что он отвлеченного права не понимал, потому что сам им пользовался, а олицетворения он не видал, потому что его господин был свободный человек. Естественно, и раб при первой возможности желал сделаться свободным; тогда как в Великороссии он не мог этого желать, потому что находил своего господина зависящим от другой, высшей воли, так же, как он сам зависел от него. У южноруссов редко были случаи, чтоб крепостной был искренно расположен к своему господину, чтоб так был связан с ним бескорыстной, будто сыновней любовью, как это нередко мы видели в мире отношений господ к крестьянам и слугам в Великороссии. У великороссиян встречаются примеры трогательной привязанности такого рода. Крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душой и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда честолюбивый барин его получает почет. Нам случалось видеть господских слуг, которым поверялось заведовать каким-нибудь интересом. Сами доверенные были естественные плуты и надували всякого в пользу своего барина, но в отноше-

нии последнего были аристидовски честны и прямодушны. Напротив, малороссы оправдывают пословицу: волка сколько ни корми, все в лес смотрит. Если крепостной слуга не обманет господина, то потому, что никого не обманывает; но если уж искусился на обман, то обманет прежде всего барина. Как часто случалось слышать жалобы на малороссиян от тех владельцев, которые, будучи великоруссами по происхождению, приобрели себе населенные имения в южнорусском крае. Напрасно добрым обращением и справедливостью старались они привязать к себе подданных; барские работы исполнялись всегда без желания, и оттого-то между высшим классом у нас распространилось убеждение, что малороссияне — народ ленивый. Нет у них ни искренности, ни привязанности. Страх действует на них успешнее, и потому добрые господа делались суровыми. Обыкновенно старались окружить свою особу великоруссами, а с малороссийскими крестьянами находились в далеких отношениях, как бы к чуждому народу. То же самое и еще хуже для малорусса — мир в великорусском смысле этого слова. Что касается до укора, делаемого обыкновенно малороссиянам в лени, то они делаются такими под условиями чуждых им общественных начал крепостного или мирского права: последнее выражается для малороссиян (которые не скованы узами общинной собственности) связью различных условий, ограничивающих их свободное распоряжение собой и своим достоянием, приближающихся к мирскому устройству. Вообще же упрек в лености несправедлив; даже можно заметить, что малорусс по своей природе трудолюбивее великорусса и всегда таким показывает себя, коль скоро находит свободный исход своей деятельности.

Совсем другое отношение южнорусской народности к польской. Если южнорусский народ дальше от польского, чем от великорусского, по составу языка, зато ближе к нему по народным свойствам и основам народного характера. Такой или подобной противоположности, какую мы заметили между великоруссами и южноруссами, не существует между поляками и южноруссами ни во внутренней, ни во внешней стороне быта; напротив, если бы пришлось находить коренные признаки различия поляков от великоруссов, то во многом пришлось бы повторить то же, что сказано о южноруссах. Но зато при такой близости есть бездна, разделяющая эти два народа и при том - бездна, через которую построить мост не видно возможности. Поляки и южноруссы — это как бы две близкие ветви, развившиеся совершенно противно: одни воспитали в себе и утвердили начала панства, другие — мужицтва, или, выражаясь словами общепринятыми, один народ — глубоко аристократический, другой — глубоко демокра-

тический. Но эти термины не вполне походят под условия нашей истории и нашего быта; ибо как польская аристократия слишком демократическая, так, наоборот, аристократична южнорусская демократия. Там панство ищет уравнения в своем сословии; здесь народ, равный по праву и положению, выпускает из своей массы обособляющиеся личности, и потом стремится поглотить их в своей массе. В польской аристократии не могло никак приняться феодальное устройство; шляхетство не допускало, чтоб из его сословия одни были по правам выше других. Со своей стороны, южнорусский народ, устанавливая свое общество на началах полнейшего равенства, не мог удержать его и утвердить так, чтоб не выступали лица и семьи, стремившиеся сделаться родами с правом преимущества и власти над массой народа. В свою очередь, масса восставала против них то глухим негодованием, то открытым противодействием. Вглядитесь в историю Новгорода — на севере, и в историю Гетманщины — на юге. Демократический принцип народного равенства служит подкладкой; но на ней беспрестанно приподнимаются из народа высшие слои, и масса волнуется и принуждает их уложиться снова. Там несколько раз толпа черни, под возбудительные звуки вечевого колокола, разоряет и сожигает дотла Прусскую улицу — гнездо боярское; тут несколько раз *черная* или *чернецкая рада* истребляет *значных кармазинников;* и не исчезает однако Прусская улица в Великом Новгороде, не переводятся *значные* в Украине обеих сторон Днепра. И там и здесь эта борьба губит общественное здание и отдает его в добычу более спокойной, яснее сознающей необходимость прочной общины, народности.

Замечательно, как народ долго и везде сохраняет заветные привычки и свойства своих прародителей: в Черноморье, на Запорожском новоселье, по разрушении Сечи, совершалось то же, что некогда в Малороссии. Из общин, составлявших курени, выделялись личности, заводившие себе особые хутора. В южнорусском сельском быту совершается почти подобное в своей сфере. Зажиточные семьи возвышаются над массой и ищут над ней преимущества, и зато масса их ненавидит; но у массы нет понятия, чтоб человек лишался самодеятельности, нет начал поглощения личности общинностью. Каждый ненавидит богача, знатного, не потому, чтоб он имел в голове какую-нибудь утопию о равенстве, а, завидуя ему, досадует, почему он сам не таков.

Судьба южнорусского племени устроилась так, что те, которые выдвигались из массы, обыкновенно теряли и народность; в старину они делались поляками, теперь делаются великороссиянами: народность южнорусская постоянно была и теперь остается достоянием простой массы. Если же судьба оставит

выдвинувшихся в сфере прадедовской народности, то она как-то их поглощает снова в массу и лишает приобретенных преимуществ.

С польской народностью совершалось обратное: там личности, выдвинувшиеся из массы, если они были поляки, не меняют своей народности, не идут назад,но образуют твердое сословие. История связала поляков с южноруссами так, что значительная часть польской шляхты есть не что иное, как переродившиеся южноруссы, именно те, которые, силой счастливых для них обстоятельств, выдвинулись из массы. Оттого и образовалось в отношении этих народностей такое понятие, что польская есть панская, господская, а южнорусская — холопская, мужицкая. Понятие это остается и до сих пор, и проявляется в попытках поляков на так называемое сближение их с южноруссами. Поляки, толкующие о братстве, о равенстве, в отношении южноруссов высказывают себя панами. Под различными способами выражения они говорят им: будьте поляками; мы хотим вас, мужиков, сделать панами. И те, в либеральные и честные намерения которых мы верим, говорят в сущности то же: если не идет дело о господстве и подавлении народа материально, то неоспоримо и явно их желание подавить и уничтожить южноруссов духовно, сделать их поляками, лишить своего их языка, своего склада понятий, всей своей народности, заключив ее в польскую, что так ясно проявляется в Галиции.

ЧЕРТЫ НАРОДНОЙ ЮЖНОРУССКОЙ ИСТОРИИ

I

ЮЖНОРУССКАЯ ЗЕМЛЯ. ПОЛЯНЕ-РУСЬ. ДРЕВЛЯНЕ (ПОЛЕСЬЕ). ВОЛЫНЬ. ПОДОЛЬ. ЧЕРВОНАЯ РУСЬ.

Древнейшие известия о народах, занимавших Южнорусскую землю, очень скудны; впрочем, не без основания: руководствуясь как географическими, так и этнографическими чертами, следует отнести к южнорусской истории древние известия об антах, по крайней мере к юго-западной отрасли этого народа. По известию нашего летописца, улучи, бужане и тиверцы имели много городов по Бугу и Днестру вплоть до устья Дуная и до моря; они назывались у греков *Великая Скифь*. Летописец наш понимал так, что под этим народом должно разуметь народ, известный грекам; и действительно, мы встречаем у греческих писателей антов — народ славянского происхождения, на тех же самых местах. Невозможно, чтоб под именем антов разумелись только днестрянские жители; без всякого сомнения, этому имени придавали пространнейшее географическое значение. По толкованию ученых, *ант* есть прозвание старонемецкое (Szafarik, 402) и значит — *великан*; это наводит нас на предположение, что слово "ант" должно быть то же название, что и *Великая Скифь*

нашего летописца. Невольно мы встречаем соотношение с южнорусским преданием о том, что в Украине в древности жили люди исполинского роста — *велетни*, т. е. великаны, ходившие с целой сосной в руке, опираясь на нее, как на палку. Это высокорослое племя оставило свои следы в тех земляных валах и *могилах* (курганах), которыми усыпана Южная Русь. За свои грехи и за вражду между собою они были потоплены; после них явились другие великаны, — погибли тоже в свою очередь, и с тех пор род человеческий начал мельчать. Предание о великанах теперь уже сбилось с пути и, кажется, в нем надобно искать два предания: в одном народ признает великанов предками своими, воображает, что прежде род человеческий был рослее и массивнее, а впоследствии измельчал; а в другом признает великанов враждебными предкам народа, к которому принадлежат рассказчики, и даже нередко самих этих великанов считает более фантастическими чудовищами, чем людьми. Эти великаны имеют соотношение со змеями, такое значительное место занимающими в наших сказках, и, как видно, то же, что в летописных преданиях древние обры (чешск. Obr, польск. Olbrzym — великан), враги и мучители славянского племени.

Слово *велетни* и предания о древних исполинах указывают на сходство, а может быть и единство их со словом *велыняне*, которым, по словам нашей летописи, заменились народные названия бужан и дулебов. У летописца нашего говорится в одном месте "бужане", после же "велыняне", а в другом месте, ниже первого, — "дулебы сидяху по Бугу, где ныне велыняне". Или дулебы славянская ве́твь, впоследствии замещенная другою, или же одно название, древнее, одного и того же народа, заменилось другим — велыняне.

Следы названия дулебов остались до сих пор в некоторых местностях по Горыни. Так на реке Турии есть деревня Дулебы, между Никополем и Гущею (в Ровенском уезде); три деревни под этим именем в Восточной Галиции, на реке Стрипе и в губернии Подольской; сверх того, созвучные названия попадаются и в других местах Руси, даже не южной; например — Дулебчина в Гродненской губернии. Это распространение имени дулебов по пространству русского мира указывает, что оно некогда имело значение шире и не ограничивалось одним только краем на Волыни.

Слово велыняне, кажется, имеет тождество с *велынянами* (Масуди), которые были некогда сильным народом, имели своего князя Мажека. Это указывает как бы на то, что в древности народы южнорусские составляли одно тело, в известной степени сильное, которое приняло название велынян, т. е. великого на-

рода. *Велинний* значит то же, что *великий*, то же, что *ант*. А как под именем антов разумели не какой-нибудь частный этнографический признак, но большой отдел славянского племени, то, вероятно, и под велынянами разумеется не один какой-либо народ, а союз южнорусских народцев. Итак, название антов и велынян и предания о *велетнях* состоят между собою в связи и указывают на древнее единство и взаимную связь народов Южной Руси.

Западная часть этого народа, уже близ самых гор Карпатских, носила название *хорватов*. Правдоподобно производят это имя от hrb — *холм*, и в таком случае хорваты будут то же, что горали или гуцулы — жители Карпатских гор и их подножия. Назывались ли хорватами жители Восточной Галиции к границам нынешней России? Едва ли. По Днестру, как говорят, жили улучи и тиверцы; следовательно, жители берегов этой реки не назывались хорватами.

Хорваты, конечно, были близки к тиверцам и улучам; и теперь потомки хорватов, как потомки последних, — южноруссы по языку, с незначительными местными отменами.

Давнее знакомство с греками, вероятно, способствовало цивилизации южнорусского народа, и, конечно, она бы стояла на значительной степени, если бы, притом, не препятствовали ее развитию беспрестанные находы с Востока диких орд, причинявших ему разорение. Он был народ земледельческий, — об этом свидетельствуют греки в описании антов; да и из наших летописцев это видно, как показывает самое предание о том, что обры запрягали дулебов в плуги. Обряд, отправляемый отцом семейства в сочельник, по своему сходству с обрядом Свантовитова богослужения в Арконе, указывает на свою древность и своим характером свидетельствует о древности земледелия у южнорусских славян.

Множество городов у днестрянских жителей, улучей, показывает, с одной стороны — небезопасность края, где жители подвергались неприятельским набегам и должны были укрываться в укрепленных городах, с другой — известное развитие оседлости и цивилизации, ибо, несмотря на опасности, они, вместо того, чтобы, подобно номадам, уйти прочь, предпочитали лучше оставаться в опасном крае и изыскивать средства для своего ограждения. Устройство городов указывает вместе с тем на существование в стране администрации; потому что где были города, там, конечно, к городам принадлежали округи: так везде было у славян. Сильным и энергичным народом в те времена, кажется, они не были, потому что их покоряли чужеземцы, как и удалось Олегу.

Степень образованности южнорусских народцев издревле была различна. Так, по известиям нашего летописца, поляне изображаются цивилизованнее древлян. Поляне знают брак: у древлян, как и у других первобытных народов, удерживалось *умыканье* девиц. Как ни подозрительно могло бы казаться предпочтение, оказываемое в отношении нравственного образования полянам пред древлянами летописью, но действительно поляне имели более залога образованности, чем древляне: первые обитали близ большой реки и, следовательно, могли завести удобнее знакомство с образованною Грецией и с берегами Тавриды, где еще сохранялись остатки древней образованности; поход Кия под Цареград, переселения Кия на Дунай и обратно — все это предания, в которых несомненно одно: давнее знакомство полян с Грецией.

Договоры Олега и Игоря достаточно показывают древность сношений полян-руси с Югом. Все, что говорится в этих договорах о Руси, должно относиться не только к чужеземной Руси, пришедшей в киевскую сторону, но и к туземцам Руси — полянам; ибо в договоре Олега говорится о *возобновлении* бывшей между христианами и Русью любви. Эта бывшая любовь, конечно, существовала между славянскими племенами и греками и не только у полян, но отчасти и у других славянских народов, которые чрез посредство полян имели сношения с греками. Видно, что они строили лодки и плавали по Днепру, ходили на море не для разбоев, а для мирных сношений: одни ловили рыбу на Белобережье, то есть у устья Дуная; другие с тою же целью плавали к берегам Тавриды. Некоторые ходили в Цареград на работы и проживали на службе в императорском войске. Очевидно, что эти известия в договоре относились не к одним пришельцам Руси, но и к тем, которые с ними смешались. В Цареграде жили русские торговцы, и, вероятно, торг, который они вели с греками, был выгоден для последних, когда гости получали от императора месячину. Договоры Олега и Игоря говорят много об ограждении как русских, так и греков в их взаимных сношениях от порабощения личностей. Отсюда кажется достоверным, что самые войны Олега и Игоря возникали вследствие споров между полянами в Киеве и Византии, и одним из предметов этих споров было то, что торговцы и промышленники попадались в рабство: и тот и другой договор стараются прекратить торговлю людьми и обязуют с обеих сторон отпускать и выкупать из плена как русских, так и греков в их взаимных делах. Существование гостей у полян показывает, с одной стороны, значительное развитие экономического быта, а с другой — неравенство в распределении состояния. Уже тогда суще-

ствовали *челядники*. Неизвестно, в каком отношении они были к другим сословиям — наемные или рабы, и на каких началах? У русских были продажные рабы в X столетии: это видно из Святославовых слов, что *из Руси идет шкура, воск и челядь*. Таким образом, в числе вывозных русских товаров в Грецию были невольники. Но в договорах Олега и Игоря хотя говорится о *беглом челядине*, но в то же время дух договоров клонится к пресечению порабощения личностей, так что под *челядином* можно, по-видимому, разуметь служителя, убежавшего от договора с господином; ибо выражение *поработить* равносильно — *убить: аще обрящют Русь кубару греческую ввержену на коем любо месте, да не преобидят ея; аще ли возмет от нея кто что, ли человека поработить, или убьеть, — да будет повинен закону руску и греческу*.

Отправляя в Грецию шкуры, мед и воск, поляне получали оттуда паволоки — материи, бывшие тогда в употреблении, и одежды предметы эти были признаком богатства и зажиточности. Другие товары, приходившие из Греции, были: вино, овощи и металлы. Поляне знали употребление металлов и монеты. Из Греции они получали золотые номизмы, с Дуная (из угров) серебро. В договорах Олега и Игоря ценность означается *греческими златницами*. Все это показывает достаточную зажиточность, по крайней мере между некоторыми, и знакомство с цивилизацией.

Сношения с Грецией распространили между полянами христианство. Едва ли можно предположить, чтоб только с половины IX века, то есть с Аскольда и Дира, проникло христианство в Киев; легенда об апостоле Андрее есть не что иное, как апотеоз памяти о древнем христианстве в той стране. Не может быть, чтобы христианская вера не проникала туда издавна путем торговли и путем проповеди. С половины IX века мы узнаем уже об открытом крещении Руси от многих византийских летописцев. Патриарх Фотий в окружной грамоте оповестил отрадное и счастливое для всей христианской церкви событие — обращение руссов. С тех пор христианская вера расцветала в Киеве и расширялась. В договоре Игоря мы встречаем и церкви — церковь Ильи, которая была соборная; из этого видно, что были еще и не соборные. Летописец, назвав эту соборную церковь, заметил, что и многие варяги были крещены. Видно, христианство было настолько распространено, что могло привлечь к себе скоро пришельцев: если б число христиан было незначительно, то христианство едва ли могло бы иметь такое влияние на них, будучи религией только немногих. Христианству можно было научиться в Киеве: так научилась ему и сделалась христианкою мать Свя-

тослава. Язычество, хладнокровно смотревшее на то, что новая вера более и более распространялась, только при Владимире оказало деятельную оппозицию. Владимир поставил на холме богов, собравши каких мог — и славянских, и литовских. Он, кажется, облекал прежнее язычество в более определительные формы. Под 983 годом летописец рассказывает о человеческой жертве, устроенной Владимиром: кажется, этот поступок был не жертвоприносительным, но выражением мщения, ибо для жертвы был избран христианин; точно так и впоследствии литовцы вообще отличались нетерпимостью к христианству, всегда ссорились с новою верою и приносили в жертву своим богам из христиан, например, пленников немецких. Так как вера христианская стала уже сильно распространяться, Владимир принял сторону язычества, но тогда, конечно, возникла оппозиция со стороны христианства. Владимир отличался деспотическими наклонностями. Может быть, этому способствовало влияние хазаров. Недаром в речи своей на память Владимира оратор назвал его "хаганом". Как скоро хазарское слово "каган" вошло в Русь, то, конечно, вошли до известной степени и восточные понятия. Может быть, хазарским нравам следует приписать и это сладострастие Владимира, толпу жен и наложниц. Он начал преследование на христиан, и жертвоприношение варяга было одним из проявлений такого преследования. Под 988 годом рассказывается у летописца, что вдруг являются в Киеве разных вер учители: они все хотели обратить в свою веру князя и народ. Что значит такое внезапное явление? Отчего они узнали, что в Киеве может быть перемена веры? Что заставило Владимира искать веры, когда он перед тем был таким ревностным язычником, и притом, как кажется, утвердителем языческой религии? И вдруг этот князь изменяет ей! Вероятно, оппозиция язычеству со стороны христианства взяла в Киеве верх, — князь должен был уступить, и сам князь, верно, увлекаясь большинством, начал сомневаться в божественности своих болванов. Подобное стечение вероучителей в одно время могло быть тогда только, когда к этому располагали внутренние обстоятельства страны, куда сошлись эти вероучители. Почти несомненно, что принятие крещения Владимиром было не без того, что к этому его располагало существование сильной партии между киевлянами, исповедовавшей христианство и притом христианство православного закона — восточного. По известию летописца, когда он собрал бояр своих и городских старцев и начал с ними советоваться, какую ему веру выбирать из нескольких предлагаемых, тогда большинство признало, что лучше избрать греческую, и указывало на пример Ольги, называемой ими мудрейшею всех человеков. Конечно,

если уже образовалось понятие о превосходстве греческой веры пред другими, то это показывает знакомство с нею и, следовательно, большее в сравнении с другими ее распространение. Многочисленностью православных христиан в Киеве до крещения Владимира объясняется и та покорность толпы, с которою киевляне стремились креститься по приказанию киевского князя. Вероятно, многие из некрещенных уже были расположены к христианству по научению своих близких и сами не смели креститься, а были очень довольны, когда князь уступил общему духу. Совсем иное произошло в Новгороде, куда христианство проникло не так удачно и не так давно, как в Киеве; там Добрыня должен был употреблять оружие и огонь, чтобы приводить новгородцев на путь истины и спасения.

Без сомнения, сравнительное пред соседями превосходство образованности Киева и полян еще в язычестве содействовало тому, что этот народец соделался после крещения центром, связующим остальные племена славян. Иными являются древляне, их соседи. Здесь опять приходится то же сказать, что сказано уже по поводу полян. Описание древлян в черных красках, как, напротив, противников их — полян в светлых, показывает, что летописец не был изъят от народной нелюбви к древлянам, как не был изъят от привязанности к полянам. Но если мы сознаем, что и географические условия, и обстоятельства располагали полян к получению и развитию в себе большей образованности, то, с другой стороны, древлянам подобные условия препятствовали к ее достижению. Древляне жили в непроходимых дремучих лесах, а лесная жизнь, известно, способствует к одичанию: земля их была менее плодородна, скуднее были пути сообщения, которые бы знакомили их с образованным миром. Из рассказов, которые летопись помещает по поводу прибытия послов Мала к Ольге, видно, что о них ходили такие же анекдоты, обличающие их глупость, какие и теперь ходят о полещуках, потомках старинных древлян. Так, древлянские послы некстати говорят: "мы не идем и не едем на лошадях, а несите нас в ладьях"; и когда их несли в ладье, — о них говорит летописец, — что они *в перегбех в великих сустугех гордящеся*. Ольга заманила их в западню. Цель рассказа показать глупость и несмышленость древлян, так как они не могли предвидеть своей беды. В том веке, когда еще были слабы узы обществ, сила и хитрость брали верх, и ум измерялся именно тем, чтоб не попасть в обман. Повесть не ставит в упрек Ольге ее вероломных поступков, но выставляет глупым народ, который легко было надуть. Древляне не были знакомы с духом мести и потому так доверились; это показывает, что у славян вообще она была мало развита: иначе,

если бы даже предположить, что у полян существовала святость мщения, а у древлян ее не было, то все-таки последние не доверились бы своим врагам; но еще не зная пришельцев с балтийского поморья, они думали, что можно и с ними поссориться, и потом помириться безопасно. Ольга пользуется новостью обычая, а уважительный тон повести об Ольге показывает, что славяне стали сами заимствовать этот обычай: впоследствии он как будто пропадает, ибо даже в драках наших позднейших князей замечается, как он смягчался и исчезал, — несомненно, что, кроме христианства, на ослабление его действовал также перевес славянского элемента перед пришлым. Избиение древлян на тризне, устроенной Ольгой в честь Игоря, и самое затейливое мщение княгини посредством воробьев и голубей — все это показывает, что древлян почитали глуповатыми и простаками.

Из всех известий, переданных нам летописцем, видно, что у этого народа сохранились первобытные обычаи, которые у полян уже изменились под влиянием несколько высших понятий. У древлян было не нравившееся летописцу умыкание девиц у воды — столь общее почти всем первобытным народам. Им известно было земледелие. Ольга склонила коростенян ей поддаться, выражается о других древлянах, что они *делают нивы своя и землю свою*: они занимались скотоводством и овцеводством, они употребляют сравнение Игоря с волком, когда этот зверь ворвется между овец; как у лесного народа, у них было в изобилии звероловство и пчеловодство, ибо давали дань шкурами и медом. Они были, как кажется, разделены на мелкие области, ибо говорят: *наши князи*. За одного из них, может быть, главного, Мала, приглашали идти замуж Ольгу — несчастное сватовство, кончившееся порабощением древлян.

Живя в лесных деревнях, древляне строили города, которые, по общему славянскому обычаю, имели значение господствующих местностей. Вместе с тем города были местом большей культуры, состоящей в земледелии; города древлянские не были тем, чем впоследствии обозначалось это название, вблизи них, жители занимались земледелием. В деревнях занимались более звероловством. Все города с землями составляли одну союзную землю, и существовало сознание о ее единстве; потому что когда Ольга покоряла древлян, то обходила с сыном Святославом *всю* Древлянскую землю.

По покорении Древлянской земли Ольга установила в ней ловища, места для ловли и сноса звериных шкур, которые составляли дань. Древляне должны были ловить зверей и доставлять шкуры в Киев и Новгород. Покорение древлян было не только подданством, но порабощением: Ольга оставила только

прок их для платежа тяжкой дани, а других отдала в работу своим мужам. Соображая богатства Русской земли, шедшие, по словам Святослава, в Грецию, видно, что дань, наложенная на древлян, была выгодна для Киева по торговле с Грецией. Плоды трудов древлян переходили в Киев в руки князей и бояр и, отправляясь в Византию, променивались там на произведения Юга и, конечно, сами древляне не имели никакой выгоды: порабощенные, они должны были работать для господ.

Покорение древлян способствовало к формированию и усилению высшего класса, оседлости пришельцев и смешению народностей. Если бы принимать произвольно созданную нашими историками-исследователями теорию родового быта с патриархами-родоначальниками; если бы родовая связь поглощала семейную, тогда надобно было бы принять издревле-строгое аристократическое начало, возвышение нескольких родов, унижение и порабощение других. Но изучая историю славянских народов и в особенности русского, замечая следы старого быта в памятниках, не видно, да и предположить нельзя, чтобы на родовых основаниях семьи находились под какой-нибудь зависимостью от известных лиц-родоначальников; а поэтому невозможно было образоваться родовому рабству, т.е. такому рабству, когда прежняя власть отеческая, по мере родственной отдаленности тех, которые должны были находиться к ней, так сказать, в сыновнем отношении, перешла во власть господскую. Семьи делились, и каждая семья, если бы и сознавала связь с другою, то не была зависима одна от другой.

Покорение древлян если не вносило в жизнь южнорусских славян рабство вновь, то усиливало его, распространяло, упрочивало те начатки его, которые существовали исстари, ибо целый народ объявлен был в рабстве. И это возвысило высший класс. Появлялись бояре, сильные, подобные князьям, имевшие свои дружины в Киеве, о которых осталась память даже в песнях (например, Иван Годинович, Чурило Пленкович). По происхождению своему эти бояре, как они назывались, были, во-первых, варяги-пришельцы и, во-вторых, — руссы-поляне, с массою которых совершилось порабощение древлянского народа. Поляне, и прежде ставшие уже в уровень с пришельцами, скоро усвоившими их народность, теперь еще более сливались; они пользовались равенством господских прав над покоренным народом: и пришлец и полянин-русин равным образом были господа, высший класс в отношении древлян. Часть порабощенного народа переведена была в землю полян — Русскую, другая осталась на месте, и руссы-поляне делались владельцами в земле древлян. Иначе не могло быть: надобно же было держать в покорности

порабощенный народ. Слово *становища*, которое упоминается в летописи рядом со словом *ловища*, указывает на учреждение новых жилых мест, назначенных быть административными пунктами. Они именно могли быть поверены только руссам или полянам, но никак не древлянам. О становищах говорится, что то были ее (Ольги) становища; следовательно, здесь идет речь о такой части покоренной земли, которая досталась собственно на долю княгини и ее семейства. Если принять во внимание, что в то время другим отданы были в рабство древляне, то открывается, что в Древлянской земле явилось два рода господ; одни — владельцы тех, которых отдали в рабство, другие — в качестве должностных лиц, находившиеся на становищах. Ольга установила *уставы и уроки*, следовательно, определенные обязанности. Последнее слово *(уроки)* указывает на обязательные работы надзирать над уроками и собирать дань по уставам должны были конечно те, которые поставлены были на становищах. Здесь история наша невольно, по сходству обстоятельств, совпадает с западною, где господствовала земельная раздача. Часть страны оставляет Ольга для себя в дань, другую раздает мужам своим — дружине. Но остается неизвестным, какая часть Древлянской земли была таким образом порабощена. Нельзя думать, чтобы один Искоростень; ибо хотя Ольга и говорит искоростенянам: "все ваши городы предались мне и решились платить дань и обделывать свои нивы и земли, а вы хотите умереть от голода, не повинуясь и не хотя платить дань", — но здесь Ольга обманывает древлян, сообразно своему обычаю; это видно из того, что летописец прежде этого заметил, что древляне побежали и затворились в своих городах, — следовательно, не сдались, как уверяла Ольга. Хотя после завоевания Искоростеня вся земля Древлянская была подчинена, и Ольга уставила в ней уроки, становища и ловища, но, вероятно, не все подверглись такой горькой судьбе, как Искоростень: последний осужден был подвергнуться особому мщению. Таким образом, вероятно, большей степени порабощения подвергся Искоростень, чем другие; конечно те, которые добровольно сдавались, пользовались большею льготою, чем те, которые оказывали упорство. Но, как видно, Ольга повсеместно в Древлянской земле расставила своих мужей.

Такое отношение двух соседних народов должно было развить в обоих разные взгляды и характеры. Поляне — народ победительный. Древляне — покоренный; первые — господа, вторые — рабы, и, конечно, из этого должны были произойти разные проявления общественного и домашнего быта, разное течение истории. Киев делался центром управления народов не только близких, но и более далеких. Покорение древлян, пока-

завшее силу Русской земли, еще более должно было утвердить мысль о первенстве ее над другими народами. Но так как ни обстоятельства не способствовали утверждению централизации, ни понятия о ней не развивались, то вместе с другими землями и древляне скоро начали жить самобытною жизнью уже в удельном порядке; это началось тогда, когда Святослав дал одному из сыновей своих, Олегу, в удел Древлянскую, или Деревскую землю. Центром всей Древлянской земли стал тогда Овруч. Граница Древлянской земли протягивалась по соседству к Киеву; ибо выехавши из Киева на охоту, можно было охотиться на Древлянской земле. Кто знает, не проявилось ли восстание побежденных во вражде двух братьев и что побежденные настроили Олега убить Свенельдова сына? Это было в 975 г., через 5 лет после воцарения Олега в Древлянской земле и через 20 лет после покорения Древлянской земли. Когда Олег вышел против Ярополка, то у него был полк, а не дружина; следовательно (как выходит постоянно по смыслу слова полк) были ополченные жители края, собранные на битву. Здесь снова древляне воинственною силою ополчаются на полян, хотя и под измененными условиями. Но когда Олег был убит, Ярополк, переняв волость своего брата, не видел сопротивления. В продолжение тридцати лет расселившиеся по Древлянской земле русины успели пустить в народе идею, что над ними имеет право владеть княжеский род; а потому оппозиция, если б и была, то происходила бы уже под влиянием этого нового, умеряющего начала.

К сожалению, мы не знаем отношений полян к другим южнорусским народам: дулебам, улучам, тиверцам, хорватам. Еще в конце IX века с улучами и тиверцами Олег не мог скоро справиться, и под годами 884-885 сказано, что Олег имел с ними рать. Во время похода в Цареград (904-907) эти народы, а равно и хорваты, участвуют в его ополчении против греков. Из этих известий заключили, что тогда, значит, народы эти были уже покорены Олегом, может быть, до некоторой степени. Но так как Олег взял их в свое войско, то едва ли это было бы возможно, если бы покорение их сопровождалось таким же порабощением, как древлян Ольгою, ибо в тот век участие в войне было принадлежностью свободных. В договоре Олега говорится, что этот договор с греками заключен от "имени его, великого князя и светлых князей сущих под его рукою". Вероятно, после войны с улучами и тиверцами Олег как-нибудь должен был помириться, и они стали от него в зависимости на выгодных для себя условиях. Что касается до хорватов, то они первый раз были подчинены и отняты у поляков только при Владимире.

Прилив пришлого народонаселения сообщил новый оттенок

характеру полян и развил в них воинственный элемент. Это поддерживалось походами против греков. Мы не знаем поводов, руководивших руссами в этих набегах; но это не были просто одни разбойничьи набеги, потому что в договорах виден народ торговый, и греки дорожили сношениями с ним. Скорее всего надобно предположить, что повествователь — по обычаю летописцев — умалчивает о причинах: не выставляет пружин, руководивших походами русских, исключая Святославова похода; а эти причины, вероятно, заключались в столкновениях с греками, преимущественно по торговле. Поляне долго, кажется, не могли показывать своей самостоятельности и должны были уступать грекам; но когда явились к ним воинственные мореходцы, когда сошлись они с полянами, которые также были плавателями, но только мирными, тогда последним сообщился дух отваги и охота мести за те поступки, которые они считали несправедливыми со стороны греков. Походы в Грецию способствовали к утверждению власти князей и соединению народов. То была приманка для удалых того века — собираться под знамена вещего князя, идти в далекую сторону и воротиться оттуда с добычею, привести паволок и золота; хвастаться пред теми, кто оставался дома, передавать добычу детям на память отцовской славы. Предводители народцев легче становились подчиненными киевскому князю, когда он их обогащал. Это, соединяя народы, мало-помалу подклоняло их под власть единого рода и приготовляло к новому порядку, когда в разных частях русского мира должны были явиться князья, хотя особые, но связанные между собой и родом, и единством страны.

По понятиям того времени, успех служил залогом покорности, ибо успех приписывался влиянию таинственной силы. Так, Олега прозвали *вещим*, ведуном. А как скоро он был вещий для народа, то и покорность ему утверждалась. Слава побед располагала к дальнейшим предприятиям. Сильнее всего развился дух удальства и предприимчивости при Святославе, когда удача следовала за удачей. Удалые толпы ходили с ним на степи, победили хазар, которым их предки некогда платили дань. Это должно было сильно возвысить народное чувство, еще более прикреплять народы к Киеву и внушать к нему уважение; ибо из Киева исходили такие славные подвиги. Толпы охотников отправились со Святославом в Переяславль: удачи далее и далее заводили дух воинственности. Завоевание Болгарии, по современным понятиям, не было чем-либо отличным от покорения древлян и тиверцев или присоединения их к Киеву. Болгары — самая близкая к русским славянам народность: тогда еще языки их и нравы не так различались, как после; между ними так было

много общего, что киевляне именно шли туда не с мыслью о завоевании чужого, а руководясь побуждением близости соединения славянских народов, долженствующих войти в закладку новой державы. Пределы этой державы расширялись по мере того как народный взор встречал сходственное с своею народностью. О болгарах могла явиться также мысль, что они должны войти в русский мир. Можно с этим вместе проникнуть, каким образом у Святослава и у товарищей его возникла идея поселиться в Переяславле-Дунайском. Конечно, с первого взгляда показывается здесь как бы недостаток оседлости. Нет, — поляне были оседлы, они занимались земледелием: скитались только те, которые занимались торговлею; но договор показывает, что последние, живучи в Константинополе, не утрачивали связи с родиною; так, когда умирал гость в греческой земле, то имущество его следовало перенесть в Русь к милым сродникам. Из этого же договора видно, что русские торговцы только временно посещали Цареград и Грецию и возвращались всегда домой. Это не могло развить у полян охоты переменять навсегда место жительства. Дух должен был изменяться от стечения молодцов из разных славянорусских народцев в дружины князей. Князья своими походами привлекали их с разных сторон славянорусского мира, составляли из них подвижное население кочующих молодцов, наездников и пиратов, готовых жить везде, не жалея о родине: отечеством их делалось море или степь, — то были запорожцы своего века; вот этих-то удалых и увел Святослав в Болгарию. Явились печенеги. В 968 году они осадили Киев. Летописец указывает, что в то время некому было охранять города без Святослава. Является воевода с другой стороны Днепра, следовательно, не киевский. Оборонять Киев в Киеве было некому. Такие события должны были неизбежно внушать руссам необходимость не пускаться более в далекие походы и не лишать своей земли вооруженной силы. Поэзия геройской отваги начала находить себе поле на родной земле, а не на чуждом Юге и не на море. Предания о печенегах, записанные в летописях, расцвечены колоритом героического эпоса, как это видно из сказки о кожевнике, — сказки, до сих пор существующей в народных преданиях. Но такой дух господствовал не долговечно. Поляне увлеклись только на время присутствием между ними чужого народа. Проявившийся при Олеге, Игоре и Святославе завоевательный элемент в характере народа скоро ослабел, потому что он явился временно, вследствие толчка, данного пришельцами. Конечно, к обузданию этой завоевательности помогало и принятие христианства, но несомненно и племенное влияние; ибо собственно одно христианство если б и оградило Византию от

нападения руссов, то обратило бы воинственность последних в другую сторону. Но христианство даже не прервало сразу и вошедшей прежде в привычку враждебности к Греции; ибо при Ярославе, уже по принятии христианства, сын великого князя с Вышатою сделал морской поход а Византию. То были уже последние отголоски прежнего, угасавшего теперь, героизма. Воинственность народа стала обращаться не к завоеваниям, а только к охранению пределов своей страны. Этому изменению содействовали непереставшие набеги тюркского племени. Половцы сменили печенегов, отрезали у русских море, рассеялись по степям и остановили распространение славянства на юг и восток по степям. Окруженные кочующими инородцами, русские уже не могли думать о завоеваниях. Немало располагали к изменению воинственности киевлян и междоусобия, возникшие между их князьями. Как народ молодой, славяне легко могли увлечься сообщенным им от чужих воинственным духом, и героизм завоевания блеснул у них на короткое время; но южнорусский народ уже прежде познакомился со спокойною жизнью и получил наклонность к ее удобствам. Как бы ни были преувеличены рассказы о богатствах Киева, о множестве церквей, о восьми торговых площадях, — у Дитмара, — все это имеет свое историческое основание. Что Киев был действительно богат, это показывает то, что здесь было издавна важнейшее торговое место для Севера с Византией. Разумеется, олеговы и игоревы грабежи еще более обогащали его; собираемые с покорных народов дани способствовали стечению богатств к киевлянам. Славянские народы, подвластные Киеву, платили определенную дань, которая шла князю, но князь делился ею с боярами и дружиною; таким образом, эта дань обогащала и Киев. Мы знаем из нашей летописи, что один Новгород платил ежегодно две тысячи гривен в Киев, а тысячу гривен гридням, содержа гарнизон при князе. Пред концом жизни Владимира сын его Ярослав вздумал было не отдавать отцу этой дани, и отец хотел на него идти войною, разбить его, но от огорчения умер. У киевлян в то время невольно образовался несколько высокомерный взгляд на другие русские народы. Так, во время борьбы Святополка с Ярославом, когда Святополков воевода увидел против себя новгородцев, то назвал их презрительно "хоромниками и плотниками" и говорил, что заставит их рубить им (киевлянам) хоромы! Но то было выражение не воинственного завоевания, а скорее зазнавшегося господства, привыкшего к хорошей жизни на счет других.

В характере киевлян было что-то мягкое, роскошное, сибаритское. Не далее как через двадцать лет после крещения Бо-

леслав, пришедши на помощь Святополку, и сам потерял свою царственно-победительную крепость, и войско свое развратил и обессилил. Киевские женщины славились сладострастием. Богатство, роскошь и веселая жизнь приманивали всякого, кто только мог поселиться между киевлянами. Через полвека после приключения с Болеславом Храбрым точно то же сделалось с внуком его, Болеславом Смелым: тут поляки забыли и своих жен в Польше, и свои дворы, и хозяйства. Как известия наших летописцев о пирах владимировых, так и песни старого времени, сохранившиеся у великоруссов, подтверждают репутацию сибаритства, которую приобрел себе Киев на Западе. Волокитство считалось удальством — волокиты хвастали своими подвигами и поставляли в них достоинство, как в героических наездах. Вот, например, на пиру Красного Солнышка Владимира один богатырь расхвастался и говорит, что гулял молодец из земли в землю, загулял к королю:

Король меня любил-жаловал,
Да и королева вить молодца такоже,
А Настасья королевична у души держит!

Отцы берегли от них своих дочерей, по выражению песен, за тридевятью замками, за тридевятью ключами, чтоб и ветер не завеял, и солнце не запекло!

О кокетстве киевских женщин упоминает и Даниил Заточник говоря: *некогда же видех жену злообразну, приничющю зерцалу и мажущюся румянцем.* Кажется, что влияние княжеского двора, гридницы, поддерживало это сибаритство и развращение женщин, — как говорится, например, в песне о Марине:

Водилася с дитятами княжескими.

На киевских женщин в преданиях, сохраненных в песнях, легла память легкомысленности, развращения и вместе с тем колдовства. Киевская кокетка привораживает к себе любовников и меняет их по произволу. Такова Марина Игнатьевна в песне о Добрыне Никитиче. Она собирает к себе и девиц, и жен, сводит их с молодцами и сама водится с детьми со княжескими и со змеем Горынчищем — олицетворением силы, враждебной русскому элементу, чужеземной, указывающей на пребывание в Киеве разнородных племен. Она привораживает богатырей к себе:

Разжигает дрова палещатым огнем;
И сама она дровам приговаривает:

"Сколь жарко дрова разгораются
Со теми следы молодецкими,
Разгоралось бы сердце молодецкое
Как у молодца, у Добрынюшки Никитича".

Вместе с тем она умеет перевертывать людей в зверей:

А я-де обернула девять молодцов,
Сильных, могучих богатырей гнедыми турами,
А и ныне-де отпустила десятого молодца
Добрыню Никитьевича:
Он всем отаман — златы рога!

Другая такая же кокетка грозит оборотить ее в суку:

А и хошь, я и тебя сукой оберну.

И сама чародейка умеет принимать образы:

А и женское дело перелестное,
Перелестное, перенадчивое:
Обернулася Марина косаточкой.

Отсюда, конечно, укоренилось в народе прозвище: киевская ведьма. Кокетство соединилось с чародейством и волшебством, потому что если женщины привлекали к себе мужчин, то это приписывалось волшебству.

Типы добрых жен редки: в пример можно указать на Василису Микулишну Денисову, которая лучше решилась умертвить себя, чем изменить мужу; на жену Ставра-боярина, которая хитрым образом изводит своего супруга из тюрьмы; но зато сама княгиня, жена князя Владимира, изображается совсем не нравственно и о княжеских женах осталось в народе то же воззрение, как и вообще о женщинах. Жена Владимира Красна Солнышка любезничает со змеем Тугариным.

Мужской тип волокитства и вместе изнеженности является типически в Чуриле Пленковиче. Это щеголь, кружитель женских голов, старорусский Дон Жуан или Ловлас. Он так занимается собою, что когда едет по двору своему, то перед ним несут подсолнечник, чтоб не запекло солнце бела лица его. Владимир князь ни на что более не мог употребить его при своем дворе, как только на то, чтобы созывать гостей на пир. Пир длится во всю ночь, а когда богатыри разъезжаются по домам,

В тот день выпадало снегу белого,
И нашли они свежий след.
Сами они дивуются:

Либо зайка скакал, либо бел горностай.
А ины тут усмехаются, —

говорят:

Знать это не зайка скакал, не бел горностай,
Это шел Чурило Пленкович
К старому Берл ите Васильевичу,
К его молодой кене, Катерине прекрасной!

Сладострастие Владимира-язычника, столько наложниц, живших в его загородном дворце, — все это гармонирует как нельзя более с распущенностью нравов в то время вообще. Пир был душою общественной жизни. Замечательно, что когда Владимир крестился и, естественно, поэтому получил наклонность к мягкости нрава, то, по неизменному народному понятию, показывал эту мягкость, эт кротость и любовь христианскую — в пирах, которые задавал народу. Пиры устраивались после всякого отрадного народного события, особенно после побед, как и значится подобный пир после победы на день Преображения господня над печенегам и, когда построена была церковь в Василеве. Освящение был ознаменовано праздником. На всякую неделю князь устраивал пир в гридницах на дворе. На пирах этих ели скотское мясо, дичь, рыбу и овощи, а пили вино, мед, который меряли пр варами (варя 300 провар меду). Мед был национальным напи ком. На пир созывались не только киевляне, но и из других городов. В гридницу допускались пировать бояре, гридни, сотск ие, десятские; народ — люди простые и убогие обедали на дворе; сверх того по городу возили пищу (хлеб, мясо, рыбу, овощи) и раздавали тем, которые не могли по нездоровью прийти на княжеский двор.

Эти пиры происходили в то же время не только в Киеве, но и в других городах; поэтому в пригородах киевских князь держал запасы напитков, так называемые *медуши*.

Как такие пиры были привлекательны, видно из того, что память о них прошла в далекие века, пирующий князь сделался идолом русского довольства жизни, и Владимир Красно Солнышко стал синонимом доброго и веселого князя вообще. В песнях он показывается не просветителем Русской земли, а идеалом роскошного господина; поэтому он остается столько же языческим, как и христианским князем: одно, что дает ему несколько христианский колорит, это то, что он угощает и нищих, и калек. По старому русскому понятию пир не должен был обходиться без угощения нищих и калек. Вообще в русских сказках добрый князь, царь или король, когда учреждает пир, то непременно

приглашает их. Даже если князь чем-нибудь затрудняется, что-нибудь хочет получить от судьбы, то пир на весь мир и угощение бедняков есть средство к приобретению удачи. Памятью древнего сознания богатства и довольства Киева и его земли остается в летописи рассказ о том молодце белогородце, который обманул печенега (а печенег так же был глуповат, как и древлянин, в глазах руссов киевских). Подводя его к колодцу, где была поставлена кадь с киселем, русский уверил печенега, что сама земля производит кисель. Здесь невольно вспоминаются кисельные берега, медовые и молочные реки. Такой же смысл роскоши и богатства страны представляет рассказ летописца о том, как дружина сказала Владимиру: *зло нашим головам, да нам есть деревянными ложицами, а не серебряными.* Киевский князь приказал исковать серебряные ложки для дружины, и говорил: "я серебром и золотом не найду дружины, а дружиною найду серебро и золото, как отец мой и дед доискался дружиною золота и серебра!"

Это довольство привлекало в Киев и в Русскую землю с разных сторон жителей. Население Киева и Русской земли не было однородное: тут были и греки, и варяги, шведы и датчане, и поляки, и печенеги, и немцы, и жиды, и болгаре. Эта пестрота народонаселения объясняет и предания о предложениях Владимиру принять ту или иную веру; если здесь можно искать исторической истины, то предлагавшие Владимиру веру были скорее жители Киева, чем иноземные апостолы. При Владимире, после его крещения, при Святополке и при Ярославе Киев быстро развивался и процветал. При веселой жизни и распущенности нравов киевляне не имели ничего строгого, подавляющего; оттого в Киев и Русскую землю сбегались — по известиям Дитмара — разного рода беглые рабы, тут они находили себе приют и пропитание. Вероятно, тут же себе находили люди рабочие хорошие заработки; охота строить здания, украшать дома призывала туда рабочих. В Киевской земле, менее чем где-нибудь, мог сохраниться чистый тип одной народности, когда люди всякого звания и ремесла скоплялись там отовсюду. Даже те, которые составляли княжескую дружину, — класс возвышавшийся над массою по значению и силе, — были не киевляне по происхождению, а пришельцы. Это показывается в былинах старого времени Владимирова цикла. Богатыри приезжают служить Владимиру — кто из Мурома, кто из Ростова, кто из Царегорода, или с берегов Дуная, из чуждых далеких стран. Все это дает повод воображать себе старый Киев в роде тех городов, где наплыв разнородных типов дает жителям вообще физиономию смеси. Даже и Киевская земля была населена такою же смесью. При Владимире на левой стороне Днепра население увеличилось не

посредством природного размножения народа и не подвижением его с правой стороны Днепра, а переселением из разных, более или менее отдаленных, стран русской системы. *И нача* — говорит наш летописец (под 988 г.) — *ставити городы по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне, и нача нарубати мужи лучшие от Словен*, и от Кривичь, и от Чюди, и от Вятичь, и от сих насели грады. В 990 г. он населил Белгород так же точно: "наруби в не от инех городов и много людий сведе в онь". И здесь заселился город таким же сводным народонаселением из разных стран и городов. (Что значит *наруби?* Вероятно, при своде народа ддя населения новых мест употреблялся какой-нибудь обычай делать *зарубки*, или заметки по жеребью). Таким образом, переселение в Русскую землю совершилось из Белоруссии, из Средней России, из Новгородской земли и, наконец, из Чуди. Нельзя думать, чтобы это было первое заселение левой стороны, ибо мы знаем, что там жили уже народы, и притом летописец влагает в уста Владимиру слова: "се мал город около Киева", т. е. мало городов, и поэтому он призвал и переселил лучших людей из чужих народов — не земледельцев, не смердов, но способных к оружию. Это должно было способствовать образованию в некотором смысле высшего сословия, потому что в тот век люди, посвященные военным занятиям и обороне края, должны были пользоваться уважением и преимуществами пред простым народом; а военные — мужи города — были люди разного происхождения и, следовательно, составляли сами по себе общество отдельное от массы народа и не связанное с ним этнографическим единством и местными преданиями.

При свободе и распущенности, при стечении разнохарактерного народа из близких и далеких стран неудивительно, что от этого древнего периода нашей истории сохранились черты, показывающие тогда дурное состояние нравственности. В Киеве и в Русской земле происходили убийства и бесчинства. Летописец говорит: *умножишася разбоеве*: слово *разбоеве*, как видно из "Русской правды", нельзя принимать в нашем смысле этого слова; оно выражало тогда ссоры, поединки и драки. Как вообще в торговом городе, где любят богатства, где комфорт своего рода предпочитается всему, — в Киеве человек делался продажным. Эта продажность очень высказывается и тем, что епископы и старцы сказали о казни убийц: "у нас войны часто, а когда виру брать, то будет на оружие и лошадей" (рать много; оже вира, то на оружьи и на коних буде). У князей Святополка и Ярослава являются черты, воспитанные на киевской почве: и дикость язычества, и развращение столицы. Святополк был пьяница и сибарит, гуляка и наглый злодей. "Люте бо граду тому, в немже

князь ун, любяй пиры, вино пити с гусльми и младыми светники". Святополк любил пожить, повеселиться и не останавливался ни перед каким злодеянием. Ему мешали братья. Зачем с ними делиться, когда можно взять одному? Едва ли здесь, как некоторые толковали, руководила им месть за отца, Ярополка, и ни в каком случае не подвигало его сознательное стремление к единовластию с видами политическими: то были порывы необузданного пьяницы, развращенного гуляки, и легко было ему найти исполнителей в массе разноплеменного и развращенного края. Имена их указывают на иноземное происхождение. Имя Еловит — как будто сербское; имя Лешко показывает, что отец его был лях родом. И с другой стороны, у Бориса был отрок угрин. Совершивши злодеяния, Святополк должен был обезопасить себя от киевлян. В самом деле, как же они признают князем братоубийцу? Но киевлян легко было привести к признанию княжеского достоинства за злодеем. "Созвав люди, нача даяти овем корзна (одежды), а другым кунами, и раздая множество". Кто были эти люди — передовые ли в городе — бояре, или простой народ? И то и другое возможно, а неясность поставляет нас в недоумение относительно этого важного обстоятельства. От кого бы ни зависела судьба Киева, а с ним и целой Руси в то время: от избранных ли классов или от народа, — в том и в другом случае легко можно было торжествовать неправде и прикрыться продажности. Действительно, Святополк даже мог одарить целый Киев. Все вознаградилось бы, как скоро он начнет собирать дань с подвластных народов и областей. Вот здесь открывается народная местная черта. Еще народ киевский не впал в рабскую покорность, но мог подпасть под всякую неправую власть посредством приманки его материальными выгодами. С другой стороны, Ярослав, прославленный летописцем столько же, сколько был проклинаем Святополк, по нравственным своим понятиям недалеко был выше Святополка: хитрый, жестокий, он вполне обрисовывается в поступке своем с новгородцами, которых за избиение чужеземцев-варягов, созвавши тайно к себе, перебил. Другой не менее возмутительный поступок этого князя был с родным братом Судиславом.

Чувственность, порывы наслаждаться жизнью, производя развращение нравов, не убивали, однако, в народе воинственного элемента — не доводили его до той изнеженности, при которой народ делается неспособным ни к общему предприятию, ни к общему самосохранению. Столкновения с иноплеменниками, как выше мы сказали, не давали уснуть его молодым силам. В песнях великорусских о киевском периоде, где хотя последующие века положили сильно свой колорит, но где, тем не менее, нельзя не

видеть следов глубоко древних: в характере тогдашних богатырей вместе с чувственностью показывается и удаль, и богатырство. На самых пирах отправлялись разные пробы удальства; борьба, стрелянье из лука в цель:

Будет день в половину дня,
Будет стол в полустоле,
Богатыри прирасхвастались молодецкой удалью.
Алешенька Попович, что бороться горазд,
А Добрыня Никитич — горазде его,
А Дунай сын Иванович из лука стрелять,
По той было месточке стрелять в золот перстень,
Что во ту было ставочку муравлену.

Даже женщины показывают удальство. Такова жена Дуная, погибшая нечаянно от любившего ее мужа, который хуже ее стрелял в цель; такова жена Ставра-боярина, героиня, освободившая своего супруга от тюрьмы. Обе они не киевлянки. Но в Киев вместе с крещением и развращением приходили и свежие нравственные стихии жизни. Разгульная, веселая жизнь киевлян смущалась беспрестанными набегами печенегов. Битвы с ними носят на себе поэтический характер. К нам перешли чрез летопись два рассказа, очень поэтические, о битве на месте нынешнего Переяслава и о хитрости в Белгороде. Как народны были эти рассказы и вместе с тем как народны и значительны были тогдашние войны с печенегами, достаточно видно из того, что рассказ о богатыре, победившем печенегов, до сих пор жив в памяти народной. В древние годы — рассказывает предание — явился под Киевом змей и, победив киевлян, наложил на них дань — по юноше и по девице. Давали горожане; пришла очередь и князю (заметим мимоходом, что это уравнение прав князя с простыми смертными есть, в существующей теперь песне, остаток древнего взгляда, когда действительно о князе, хотя бы сильном и самовластном по обстоятельствам, не имели такого понятия, как о государе). Князь дал змею дочь свою. Змей полюбил ее страстно. Однажды киевская княжна приласкалась к нему и говорит: "А що, змиюню, чи е такий на свити, щоб тебе подужав?" Змей отвечал: "есть, недалеко от Киева, Кожемяка Кирило; как затопит печь, так дым стелется под облака; а как выедет на Днепр мочить кожи, то несет их не по одной, а разом двенадцать штук; как они напитаются водою, то так отяжелеют, что я, пробуя, цеплялся за них, думал вытянуть, ан нет! а он как потянул, так и меня чуть с ними не вытащил".

Был у княжны голубок, с которым она пришла к змею. Она написала записочку и привязала к голубку; в записочке она дала знать отцу: "есть в Киеве человек Кирило Кожемяка; просите

его через старых людей, не побьется ли он со змеем и меня бедную не вызволит ли?"

Когда голубок спустился на землю в княжеском подворье, княжеские дети играли по двору и, увидевши голубка, закричали: "татусю, татусю! голубок од сестрички прилетив!" Поймали голубка. Прочитав записку, князь созвал старцев и допросился от них о силаче. Послали стариков к Кирилу Кожемяке. Отворив двери его хаты, они застали его сидящего за работою к ним спиною: он мял кожи. Старцы кашлянули, как обыкновенно делают малороссияне, желая дать знать о своем присутствии. Кожемяка вздрогнул, испугавшись внезапности, и разорвал двенадцать шкур, которые держал в руках, — и чрезвычайно рассердился на гостей, обеспокоивших его и наделавших ему убытку. Никак не могли упросить его. Князь послал к нему молодших (дружину) — и те не упросили рассерженного богатыря. Наконец, послал к нему детей: те упросили его. Он явился к князю, потребовал двенадцать бочек смолы и двенадцать возов конопляных *повисом*, намазал повисма смолою, обмотался ими, взял в руки десятипудовую булаву и пошел к змею. Змей, увидя его, спрашивает: "що, Кирило, прийшов до мене: битися, чи миритися? — Де вже там миритися! — отвечал богатырь — прийшов з тобою битися". Змей вырывал с Кожемяки зубами коноплю; Кожемяка бил булавою змея в голову. И когда змей, разъярившись, не мог вытерпеть и бегал пить днепровскую воду, чтоб сколько-нибудь прийти в свежие силы, Кожемяка успевал снова обматывать коноплями места, вырванные змеиными зубами; и снова начинался бой. Кожемяка бил булавою в голову змея, и расходился по окрестностям такой стук, какой бывает от множества работающих кузниц. В Киеве между тем звонили в колокола, служили молебны, а народ стоял на горах с поднятыми к небу руками и испрашивал божьей помощи своему богатырю. Наконец змей пал. Кирило сжег мертвое чудовище и пустил на четыре стороны света его пепел, — и сделал нехорошо: из этого пепла расплодилась всякая дрянь на свете: комары, мухи, мошки. Но это испытали люди после, а в тот день, когда Кирило привел к князю освобожденную дочь его, в Киеве была радость неимоверная.

Эта народная повесть по своей основе есть остаток древнего языческого эпоса. Связь ее с историей того богатыря, о котором говорится в летописи, не подлежит сомнению. Черты: его гнев, его упрямство, его занятие — все представляет сходство с рассказом нашего летописца. До сих пор под Киевом существует *байрак* с хатами, висящими на двух обрывистых горах. Это место называется Кожемяки, и народ связывает это название с именем Кирила Кожемяки.

Одною из разительнейших черт древнего времени было *побратимство*, или *названое братство*. Это был союз двух, трех и более посторонних, не родных между собою лиц, обязавшихся друг другу помогать, друг за друга сражаться, друг друга избавлять, вызволять от опасностей, друг за друга жертвовать жизнью и хранить приязнь и братство дружбы ненарушимо. Этот обычай очень древен. Его следы встречаются у скифов. Г. Новосельский в своем сочинении "Lud Ukrainski" очень кстати представил на вид рассказ из диалогов Лукиана о трех скифах, заключивших между собой союз дружбы. Греков изумлял тогда этот обычай у варваров. Какое отношение имеют к нам древние скифы, до этого нет дела при определении значения нашего побратимства, или названого братства; довольно только, что оно существовало издавна на нашей почве. Сходные обстоятельства производят сходные следствия. "У вас, греков, — говорил им скиф, — нет истинной дружбы: но у нас, где без войны не обойдешься, где надобно или нападать, или ждать нападения, или оборонять свои поля, или грабить чужие, — дружба необходима; нужно иметь друзей, которые бы на всякую беду отважились". В подобном же положении была тогда Южная Русь. Богатыри, которых имена блестят таким эпическим сиянием, не миф. Владимир часто должен был посылать удалых высматривать, нет ли печенегов, а последующие князья — половцев, другие должны были ездить к князьям или от князей, или помогать им от себя для сбора даней: и там и здесь им было небезопасно: надобно было приобретать друзей. Свято чтилось это название братства, или побратимства: измена брата чувствительнее казалась всякого лишения. В былине о Василисе Даниловой, когда, угождая необузданному произволу сладострастного князя, пошел на ее мужа, Данила Денисьевича, названый брат Добрыня Никитич, Данило заплакал горькими слезами:

И где это слыхано, где видано:
Брат на брата с боем идет?

И Данило не пережил такого ужаса:

Берет Данило свое востро копье,
Тупым концем втыкает во сыру землю,
А на вострый конец сам упал.

Это-то уважение к святыне дружбы произвело болгарское сочинение и распространило его у нас — легенду о братстве, где Иисус Христос устанавливает братство.

Вот начало того братства, которое так сродно южнорусскому

народу и составляет некоторую характеристическую черту позднейшей его истории.

Вместе с богатырским побратимством, или названым братством является подобное же в монастырях — братство духовное. Названые братства Алексея Поповича, Ильи Муромца отозвались впоследствии в Запорожской Сечи, а духовное братство первых монастырей приготовило церковные братства XVII века, отстоявшие религию греческую от западного насилия.

Побратимство никогда не прекращалось на Украине, как и в дунайских славянских землях. Главный и древнейший символический знак этого нравственного обычая есть обмен драгоценных вещей или взаимный дар. Теперь существует этот обычай не только между мужчинами (или лучше — не столько между мужчинами, сколько между женщинами), но и женщинами — *посестримство*. Оно состоит в обмене крестов. Такой же обряд побратимства виден и в разговоре воеводы Претича с печенежским князем в 962 году: *рече же князь печенежский к Претичу: буди ми друг. Он же рече: тако створю. И подаста руку межю собою, а выдаст печенежский князь Претичю: конь, саблю, стрелы; он же даст ему: щит, меч.*

Во время борьбы Святополка с Ярославом Киев первый раз попадается в руки чужеземцев. Болеславу так понравилось в Киеве, как некогда Святославу в Переяславце. Народ южнорусский был в таком же отношении к польскому, как болгарский к русскому. Как русские при Святославе могли принять Болгарию за продолжение Руси, так и Болеслав — Русь за продолжение Польши. Русские не противились, когда Болеслав поставил на покорм по городам свои дружины, а сам засел в Киеве. Но потом, когда чужеземное посещение им надоело, приняты были средства нерыцарские, именно такие, какие были вполне согласны с характером населения. Святополк, князь Киева, руководил народом: поляков избивали тайно. Поляки бежали. Ярослав сделался князем киевским и правил, окруженный чуждою силою. Роль одних чужеземцев, поляков, сменилась ролью других, варягов — шведов. Это было время, когда скандинавы, просветившись христианством, начали показывать энергическую деятельность в новой сфере; охота странствовать по свету для разбоев заменилась несколько более законным способом — стали наниматься в военную службу греческих императоров. Явились собственно так называемые варенги, или варяги; они во множестве проходили через Русь по Днепру. Киев был их временным пристанищем. Тогда князья нашли удобным приглашать их, и вот они, так же, как и в Греции, у нас являются с тем же значением наемного сословия. Связь с норманнами уже

была очень значительна при Владимире, как показывает сага Олафа Тригвасона. Князь Ярослав, еще живучи в Новгороде, женился на Ингегерде дочери, короля Свенона. По поводу этого брака много норманнов приходило к нам. По связям с Швецией Ярослав воспитывал у себя Олафова сына, Магнуса, и отдал дочь свою за Гаральда Гардраде норвежского короля. Около княгинь были одноземцы. По брачному договору с Ингегердой Ладога была уступлена ярлу Рагвальду. С помощью варягов удержался князь на столе киевском. Но, как видно, варяги вскоре надоели ему, и Ярослав, видя, что уже уселся крепко, выпроводил их в Грецию. Тем кончилось кратковременное норманнское влияние, продолжавшееся, однако, лет около 70-ти.

Нам неизвестны подробности управления Киева и других городов Южнорусского края настолько, чтобы судить отношение его к народному быту. Мы, однако, видим из некоторых мест, что народ разделялся на сотни и десятки; были сотские и десятские, вероятно, выборные; по городам вместо князя были княжеские посадники (наместники) и старцы — старейшины из туземных жителей. Близкие князю лица носили общее название *дружины*; это было вместе и военное сословие, и стража княжеская, и советники его. Владимир, по известию летописца, советовался с дружиною "о строи землянем, и о ротах и уставе земскем". Слово бояре употребляется в других местах в смысле первенствующих лиц, не принадлежавших к составу дружины. Бояре, как кажется, были старейшины земли, или народа. Коль скоро был народ, была и земля, с землею соединялось понятие о боярах. Так различаются бояре по городам, бывшим центрами земли или ее отделов, например, бояре вышгородские, бояре белогородские: это были лица, которых значение соединялось с местностью, по какой они назывались. Что бояре отличались от мужей княжеских, это указывается в житии св. Владимира, где говорится, что св. князь ставил трапезу *себе и боярам своим и всем мужам своим*. Часть дружины, окружавшей князя, составляла то, что называлось *гриди* (лит. greitis — приспешники, служители). В важных делах князь не начинал сам собою ничего, а советовался с боярами и дружиною и старцами людскими. Под последними разумелись выборные народом должностные лица. Как их выбирали и какой объем был их власти и обязанности, теперь напрасно хотели бы мы разъяснить. Со времени победы над хазарами, с одной стороны, а потом со знакомством с Грецией на князе, предводителе дружины, отчасти ложится отпечаток восточного влияния. Мы уже указывали, что в древней речи Владимир называется хаганом. Замечаемое нами влияние восточно-хазарского элемента могло бы в то время, совокупно с

византийским, водворить, утвердить и укрепить единовластие и значение царственности княжеского достоинства, если бы развитие удельности не помешало этому тотчас же. Невозможно определить, что брало перевес — восточный элемент или свобода; и то и другое было в зародыше, как и удельность, и единодержавие. Возвышение человека за услуги могло быть по воле князя. Так богатыря, который победил печенежского исполина на месте, на котором построен был Переяславль, Владимир сотворил великим мужем. Следовательно, существовало понятие о наречении на высшее достоинство, о пожаловании. Даже существовали внешние украшения, означающие отличия. Так, на Георгии Угрине, отроке Бориса, была гривна златая, повешенная князем ему на шею в знак особого расположения.

Недостаточность источников не дает нам права представить, до какой степени власть князя поглощала личную деятельность народа и общественную. Не было институций — ни подпиравших княжескую власть, ни указывающих ей пределы. Несомненно то, что, с одной стороны, князь не утвердил еще в себе понятия о царственности и о недоступности своей особы для прочих смертных; с другой — народ не развил в себе идеи свободы в отношении с властью. Князь Владимир советовался с боярами и старцами людскими, призывал также к себе сотских и десятских народа. Ни в это время, ни после не видим мы ничего, что ставило бы князя на неприступную высоту величия. Владимир пировал со своими богатырями, как с равными, или по крайней мере не так, как с рабами. Но бояре и дружина не имели, кажется, ничего строго родового; потому что по смерти Владимира — по известию летописца — плакали по нем два рода людей: *боляре и убогии*. Разделяя таким образом народ, летописец хотел выразить словом боляре — люди с достатком, в противоположность беднякам — убогим. Вместе с тем в том же месте поясняется слово боляре выражением: *плакашася боляре, акы заступника их земли, убозии, акы заступника и кормителя*. Итак, бояре были владетели земли, ибо земля представляется их достоянием; охраняя землю, князь охранял бояр. "В Русской правде" также имя боярин употребляется в смысле владетеля земли. Натурально, что те, которые владели землями, имели и голос и составляли вместе с князем власть; дружина же состояла из тех, которые охраняли князя и города, подвергавшиеся беспрерывным опустошениям.

Вообще, однако, древний дух южнорусского народа предпочитает уравнительное начало общественных условий, как это показывают древние сказки, на которых лежит отпечаток глубочайшей старины. Хотя в них являются князья, короли и

королевичи, зато сказка всегда хочет представить своего богатыря из незначительного происхождения, или если даже сына королевского, то дает ему значение почему-нибудь унизительное перед другими, чтобы после выставить напоказ ту мысль, что вот тот, который сначала был меньшим всех по людскому понятию, стоит уважения; на кого меньше возлагали надежды, тот вышел и дельнее, и полезнее всех. Много есть сказок, где играет роль мужицкий сын, и притом сын мужика бедного, а в одной, фантастической, сын собаки (сучич) берет верх над сыном королевским и спасает его от всяких бед.

В то время, когда в Киеве образовалось такое, по-видимому, растленное общество, явилась нравственная оппозиция этому развращению в Печерском монастыре. С самого появления христианства новый духовный элемент должен был ратовать против языческого образа понятий и всего течения жизни под языческими привычками. Вместо эгоистической преданности своим чувственным пожеланиям являются примеры любви к ближнему, помощи страждущему. Духовенство является с одним оружием слова — становится на челе народа, живущего материальною силою. Уважение новокрещенного Владимира к епископам указывает на первую готовность подчинять языческую гордыню и необузданность христианскому смирению. Князь построил Десятинную церковь — со всех его доходов назначена 10-я часть на эту церковь; из жития св. Владимира, писанного близким к нему по времени лицом, видно, что это назначалось для содержания *духовенства и помощи сиротам и вдовам* (Христ. Чт. 1849 г.11, 307).

Вместо уважения к силе и презрения к слабости (это столь естественно в первобытные времена цивилизации) является противное тому — уважение к нищете и даже обоготворение страдания. Вера христианская указывает другую цель жизни, открывает надежду на загробные блага; вся здешняя жизнь не имеет цены сама для себя. Страдания, терпение за правду ведут к достижению царствия божия. Кто страдает, тот получает награду за свое страдание по смерти. От этой идеи возникла другая: не только не должно убегать от страдания — следует искать его. Это идея, новая для русских, вошедши к нам с православием, как вообще всякое новое направление, приобрела себе тотчас же горячих последователей. Образовался такой взгляд на новую веру, что сущность ее состоит в посте, удручениях плоти и самопроизвольном страдании. Увлеченные этим убеждением искали страдания. Симон, епископ владимирский, питомец Печерского монастыря, в своем послании выразился: *вопрошаю же тя: чим хощеши спастися? аще и постник еси или трезвитель о всем, и нищ, и без сна пребывая: а досаждения не терпя,*

не узриши спасения. Под влиянием этого, внесенного к нам извне, убеждения о необходимости страдания и терпения для угождения богу образовалось у нас, скоро после принятия христианства, аскетическое направление: монастырское затворничество, изнурение себя голодом, бессонницею, трудами и беспрестанным обращением мысли и чувства к духовному миру. Направление это, конечно, принесли к нам греки, монахи и паломники, которые, тотчас же после крещения Руси, странствовали по городам и селам Русской земли. Это видно из жития Феодосиева. Настроенный уже к чудесному, к которому имел наклонность по своей натуре, Феодосий встретился со старцами *и любезне целова их и вопроси их: откуда суть и камо грядут? Онем же рекшим, яко от святых мест есма...* Вот, видно, вскоре после принятия христианства у нас странствовали восточные паломники между народом, и они-то своими рассказами, своим учением, своими образами блаженства будущей жизни бросили семя аскетического направления в России. Вместе с тем начали распространяться книги, переведенные с греческого, — жития святых, где аскетическая жизнь выставлялась как образец.

Говоря в обширном смысле, православное учение о страдании и терпении за правду и веру может быть очень разнообразно и способно избрать тот, другой и третий исход, смотря по настроению и характеру народного быта. Идея терпения может различно проявляться. У нас, по-видимому, сначала это аскетическое правление стало проявляться в паломничестве, или странничестве, потому что Антоний первый из подвигоположников отправился на Афонскую гору; Феодосий также устремился было к святым местам. Но скоро это направление изменилось и обратилось к отечеству. Центром подвижничества сделался Киев. Странным может показаться некоторым то обстоятельство, что люди, искавшие уединения, избрали место близ многолюдного и, как мы уже показали, сластолюбивого города, а не где-нибудь вдалеке от центров гражданственности и торговли. Но вместе с желанием спастись в уединении самому аскетами руководило еще желание и других увлечь к такому же добровольному терпению, а Киев был из всех городов более христианский в то время, следовательно, какого бы рода ни была христианская проповедь, нигде столько не могла иметь успеха и найти себе последователей. Пример Феодосия, от которого осталось несколько проповедей, показывает, что эти аскеты были не только труженики, но и проповедники, учители, пропагаторы монастырского жития.

Вместе с религиозными преданиями Востока зашли к нам повести о богоугодивших фиваидских отцах, которые жили не в домах, а в пещерах, и сами себе их искапывали. В древности,

как известно, кроме аскетического настроения, к этому побуждали и гонения на христианство, и необходимость прятаться от преследователей и врагов. Это нравилось у нас, и сохранилось даже до позднейших времен. Многие, желая угодить богу, копали пещеры. Первый, начинавший копать пещеру, был Иларион, священник, бывший в Берестове, которого Ярослав после сделал киевским митрополитом. Богоугождение в копании пещер заключалось в том, что человек томил себя произвольным трудом с мыслью — приносить себя самого в жертву. Явился Антоний. Житие, внесенное и в летопись, не говорит о том, как вошла к нему идея идти на Афонскую гору и кто был его наставником. Вероятно, любечский юноша, будущий начальник монашеского жития в России, получил первые семена этого аскетизма от каких-нибудь греков, как и Феодосий, о котором говорится, что он встретил старцев из Святой земли и пожелал с ними идти на Восток. Неизвестность, каким образом вошла Антонию мысль идти на Святую гору и с кем он дошел туда — для нас большая потеря. Несомненно то, однако, что полное развитие аскетизма в нем совершилось уже на Святой горе; потому что и житие его (в нашей летописи) говорит, что он, обходив афонские монастыри, получил желание принять иноческий образ; тогда греческие монахи отправили его в Русь и сделали из него проповедника аскетического благочестия. Ему предсказали, что от него *черньцы мнози быти имуть*. Антоний, следовательно, возвращался в отечество с сознанием своего призвания и с убеждением, что ему суждено основать в России монашеское житие. Он явился в Киев, а не куда-нибудь, — в Киев, потому что там уже были и монастыри, заведенные прозелитами тотчас же после крещения. Но, как видно, эти монастыри были не таковы, как святогорские. и житье в них не было то, какого образ составился в созерцательной голове Антония. Антоний поселился в пещере, ископанной Илларионом; получивши митрополичий сан, последний оставил ее; Антоний полюбил это место и начал там жить, изнуряя себя воздержанием, вкушая только хлеб и воду, и то через день. Скоро, однако, слава его разнеслась по Киеву: христиане, зная из поучений своих священников, что древние святые проживали в пещерах и тем угождали богу, приходили к Антонию, приносили ему все потребное и удивлялись его подвигам. Так, это была первая школа, не только словом, но делом и примером распространившая и утвердившая в народе то неизменное до сих пор понятие, что сущность христианского спасения достигается самопроизвольными трудами, изнурением и всевозможнейшим терпением и страданиями. Антоний не был одним из таких лиц, которые способны энергическою практиче-

скою деятельностью основать, укрепить и поддержать создаваемое здание. Это была натура, как видно, кроткая, мягкая. Биограф его, не обинуясь, говорит, что он был *прост умом*. Когда к нему сошлось несколько братии, то он устроил им церковь, назначил игумена, а сам удалился в пещеру, где пробыл сорок лет. Летописное житие говорит, что он не выходил оттуда никогда; в житии св. Феодосия говорится, что он вышел к его матери.

Напротив, другой святой муж, Феодосий, последовавший за Антонием, был совсем другого характера. Это был человек столько же сурового аскетизма, сколько и практической деятельности. Это был человек, для которого недостаточно было думать о собственном спасении: он чувствовал в себе силы действовать на ближних — человек, желавший спасти и других; это был муж, дающий инициативу, руководящий духом времени. В терпении он не уступал Антонию. "По ночам, — говорит жизнеописатель его, — святой Феодосий выходил над пещеру, обнажал свое тело до пояса и в таком положении прял волну, отдавая тело свое на съедение комарам и мошкам, и в то же время пел псалтырь"; но этот человек не довольствовался самозаключением в пещере. Он создал монастырь, устроил общину воздержания и самопроизвольного терпения и истязания. В нем является качество законоположника, зодчего; потому-то он прежде всего выписал из Греции Студийский устав, послав в Константинополь одного из благочестивых братий. Когда принесли этот устав, устроитель приказывал читать его пред братией, ввел строгий порядок, наблюдавшийся во всех видах повседневной жизни. "Прежде чем построен был монастырь, братия жила под землею в тесных пещерах, по подобию фиваидских отцев, и сильно скорбела, — говорит их жизнеописатель, — от тесноты места". Понятно, что для русской натуры, любящей простор, показывающей эту наклонность повсеместно, не могло быть ничего хуже тесноты. Братья ели хлеб и воду, *в субботу же и в неделю сочива вкушаху; многажды и в те два дни, не обретающуся сочиву, зелия сварившe, и то ядяху едино.* Постоянный труд считался необходимостью; отшельник должен был питаться непременно от своих трудов: *аще же руками своими делаху — ово ли копытця плетуще и клобуки и иная ручная дела строюще, и тако, носяще в град, продаваху, и тем жито купляху и се разделяху, да кождо в нощи свою часть измельше, на устроение хлебом; таже потом начаток пению утреннему столяху, и тако паки делаху ручное сове дело; другойци же в ограде копаху зеленнаго ради растения — дондеже бываше утреннему славословию, и того часа вкупе сшедшеся в церкви, пения часов тво-*

ряху, и тако святую литургию свершивше и тако вкусивши мало хлеба, и паки дело свое кождо имеяше, и тако по вся дни трудящеся. Когда, наконец, состроен был Печерский монастырь и Феодосий был его начальником, он старался умножить монахов, принимал всякого, но держал их в подчинении и постоянно наблюдал, чтобы братия не облегчала себе подвигов спасения. Уже тогда братия жила в кельях; каждую ночь Феодосий обходил кельи и смотрел, кто что делает; не входя в кельи, он нередко подслушивал у дверей, и если слышал, что в келье монахи разговаривают между собою, то ударял палкою в дверь и уходил, а на другой день призывал и делал обличения. По его правилу монахи должны были избегать разговоров друг с другом по вечерни; но отслушав вечерню и павечерницу, каждый должен был отходить в свою келью и там молиться. Ни у кого не должно быть ничего собственного — иначе св. Феодосий бросал все в огонь, что ни находил в келье монаха. Строгое послушание предписывалось без изъятия всем и для всякого случая. К какому бы благому делу ни приступал монах, он должен был испросить разрешения и благословения игумена, а без того и хорошее дело считалось нехорошим. Феодосий, предписывая строгость для других, не только не делал для себя изъятий, но налагал на себя еще более томительные тяжести, чем на подчиненных. Он сам нередко носил воду, рубил дрова, топил печь, ходил в самой дурной, разодранной одежде. Феодосий любил сочинять поучения и говорил их монахам.

Трудясь для монастыря, он не оставлял своими поучениями и мира, не вполне, как Антоний, был чужд мирских дел. К нему часто приходил князь Изяслав Ярославич; и бояры с ним советовались о жизни; он давал душеспасительные советы, исповедовал во грехах, разрешал и налагал епитимьи. Замечательно, что в поучении его князю о посте он гораздо снисходительнее к светским в отношении поста, чем можно было ожидать от такого старого аскета. Но зато — главное — он требует подчинения духовенству, власти духовной. Вот чем отличается дух его послания. Несмотря на то что пост для него высшее проявление христианства, он даже и поститься не дозволяет, если иерей не прикажет. Не думай и будь покорен власти духовной — вот сущность его аскетического учения; послушание без размышления есть долг. Вратарь у Печерского монастыря не пустил даже князя Изяслава, когда не приказал никого пускать игумен. Жизнеописатель Феодосия рассказывает, что в детстве над ним господствовала мать: он убежал от нее в монастырь и, может быть, что эта суровость родительской власти оставила влияние на тот строгий порядок, какой ввел он в монастырь и какой посредст-

венно переходил и в мир, с благочестивыми понятиями. Например, вменено в вину келарю то, что в противность Феодосию игумену он предложил пожертвованные хлебы братии за трапезою не в тот день, когда приказал игумен, а на другой. Этого мало: самые хлебы уже через то сочтены осквернеными, и св. муж приказал их пометать в огонь, *яко вражую часть*.

Вместе с этим духом безусловной покорности Феодосий предостерегал братию от общения с иноверцами вообще. Жизнеописатель Феодосия говорит: он нередко выходил тайно из кельи и монастыря к жидам и ругал их в глаза отметниками и беззаконниками, желая, чтобы они его убили и чтобы таким образом сподобиться пострадать за христианскую веру.

В пище проповедовалось иметь воздержание и неприхотливость, крайнюю умеренность. Но святые поставляли в том подвиг, чтобы есть дурное и невкусное. Таким образом один из них, Прохор, прозываемый Лебедником, во время голода осудил себя есть хлеб из лебеды; такой хлеб был горек и противен, но бог сотворил его вкусным.

Церковь заботилась об аскетическом совершенстве человека, смотря по силам, — начиная от сурового воздержания печерских затворников до легкого соблюдения постов мирянами. Лишать себя того, что нравится, — вот в этом состояла заслуга; на этом основывается такое уважение к посту, которое привилось в русском народе тотчас после знакомства с христианством. И первые религиозные споры наши были о посте, потому что еще Изяслав Ярославич спрашивал Феодосия о том, можно ли есть мясо в господские праздники. Феодосий не только разрешил ему, но считал противозаконным пост в большие праздники: так снисходительно смотрел он на мирян, когда в то же время требовал такого сурового воздержания от монахов.

Вместе с воздержанием соединилось уважение к труду; иногда труд этот предпринимался без определенной цели; или, лучше сказать, цель его была в самом себе; трудиться было спасительно, ибо это богу угодно, хотя бы не имелось в виду никакой пользы. Так трудились мужи святые по кельям; но большею частью труд, по понятиям, развивавшимся в Печерском монастыре, был соединен с уничижением и смирением. Так, например, игумен Феодосий носил братии дрова в избу, и это ставилось ему в заслугу, потому что он был начальное лицо, и притом ему собственно по его сану не должно было бы трудиться. Ставили в большую заслугу то, что князь Никола Святоша служил в монастырской поварне, потом был вратарем, — именно это ставили ему в заслугу, потому что он был князь. Пример уважения к девству представляет повесть о Моисее Угрине, сло-

женная, очевидно, такими, которые, живя в монастыре, не знали мира и воображали его себе таким, каким он мог казаться только тем, кто разошелся с его треволнениями. Моисей был взят Болеславом в плен (брат его был слугою Бориса и с ним вместе был убит). Какая-то знатная полька хотела сочетаться с ним браком — он упорствовал; она жаловалась королю, и король хотел его заставить, но святой муж вместо того сделался евнухом.

Печерский монастырь сообщил нашему религиозному убеждению неприязнь ко всему веселому, ко всему, что может сообщить прелесть земной жизни. Вместе с пирами преследовалось всякое смехотворство, всякое, даже невинное увеселение. Феодосий, заставши князя Святослава пирующим с боярами и гусларами, со слезами представлял ему, что такого веселия не будет на том свете.

На слезы и грусть смотрели как на нечто священное. Один из святых, Феофил (в житии Марка Печерника), выплакал глаза: ожидая много лет часа кончины, предсказанной ему Марком, он мучился беспрестанным ожиданием смерти, и когда умирал, то ангел показал ему сосуд с благовонным миром, в которое превратились его слезы; их было так много, что из превратившихся в миро было менее случайно упавших на землю и оставшихся на платке, чем тех, которые святой, плача, имел терпение собирать в сосуд, который подставлял всегда, как собирался плакать. Об одном из затворников говорится: *оттоле разумеша вси, яко угоди Господеви: никогда же бо изыйде в виде солнце, и 12 лет и плача не преста день и нощь; ядяше бо мало хлеба и воды, по скуду пияше и то через день.*

Страдания, болезни принимались также за благополучие. Пимен многострадальный терпел ужасные болезни и сознавал, что если бы он захотел, то бог бы его помиловал, но он сам не хочет, и лежа в смрадной болезни, других исцелял: "зде убо скорби и туга и недуг вмале, а там радость и веселие идеже несть болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная; того бо ради, брате, сие терплю; Бог же, иже тебе мною исцеливый от недуга твоего, той может и мене вставити от одра сего и немощь мою исцелити, но не хощу: претерпевый же до конца, той спасен будет" и так далее.

Сколько можно заключить, самое правило: делать добро ближним и не делать им зла, связывалось с тем понятием, что в сердце лежат побуждения делать зло, а добро делать трудно. Вообще, труд и лишения — вот что ставилось на первом плане в деле спасения. Сделать доброе дело важно было не для того, кто получает, а для того, кто делает и дает; потому что давать и делать добро, по понятию тогдашнему, было неприятно и по-

тому спасительно. Поэтому русское нравственное вероучение и не старалось о том, чтобы всем было хорошо здесь, чтобы в обществе каждый мог наслаждаться жизнью, это было не в его цели; потому что неприятности, страдания ведут в царствие небесное, и, следовательно, все благодеяние, какое могла оказать церковь, относиться могло только к лицам в отдельности, а не к целому обществу.

Богатство считалось уже само по себе корнем зла. Желающий спастись лучше ничего не мог сделать, как раздать нищим свое состояние и идти в монастырь в произвольную нищету. Св. Федор, по указанию беса отыскавший сокровище в земле, зарыл его в землю снова и молил бога забыть о том месте, где он погреб его. При раздаче имущества нищим целью не было обогатить своих ближних; одна была цель — достичь самому царствия божия. Замечательно, что святому, пожалевшему о растрате имения, другой святой предложил, что он возвратит ему все, но с тем, что милостыня от бога ему вменится.

Эта философия, отвергающая земное стяжание, облеклась в сказание об Иоанне и Сергии в "Патерике": Иоанн и Сергий заключили между собою *духовное братство* (древнее побратимство, осененное теперь церковным освящением), и Иоанн оставил сыну своему, Захару, наследство, которое поручил названому брату; названый брат счел лучше самому воспользоваться чужим достоянием и не отдал Захару, когда он требовал, отцовского достояния, не отдал даже и тогда, когда Захар просил не более половины, даже трети. Тогда Захар призвал его к клятве пред иконою Богородицы в Печерском монастыре. Обманщик не мог приблизиться к иконе и принужден был сознаться в своей вине. Лучшего конца повесть не представляет нам кроме того, что Захар все злато и серебро свое пожертвовал на монастырь; и он и его обиратель постриглись в монастыре.

Нищета считалась первою принадлежностью монашеского быта. Однако усердие дателей не было отвергаемо, и вскоре монастырь стал богат. Жертвовать на монастырь было такое же доброе дело, как и дарить нищим и кормить их. Печерский монастырь наделили богатыми, по тому времени, вкладами звонкого металла, разных драгоценных вещей, записывали в его вечное владение недвижимые имения, села. *И приношаху ему* (князья и бояре) *от имений своих на утешение братии и на устроение монастыря, друзии же села вдающе на церковную потребу.*

Монастыри созидались двумя способами: 1) строили их князья и знатные богатые люди по душе или по данному обету, во время испрошения какой-нибудь особенной божией помощи;

2) основывались они и так, как основывался Печерский: собирались добровольные любители аскетического жития.

Основание Печерской церкви "Патерик" приписывает варягу Шимону, — вероятно, шведу родом; это был сын Африкана, брат Якуна Слепого, того самого, который помогал Ярославу в сражении против Мстислава Владимировича на Лиственской битве и отбежал золотой *луды*. По смерти Африкана братья его выгнали из отечества Шимона, как это обыкновенно случалось в скандинавском мире. Он убежал к Ярославу в Гардарик. После службы Ярославу Якун возвратился на родину и там участвовал в несправедливостях к племяннику. Впоследствии Шимон рассказывал о себе следующее: "Был у моего отца, Африкана, крест с изображением Христа вапною (известью), очень велик, в десять локтей, *якоже Латины имуть*". На этом изображении был золотой пояс в 8 гривен золота и золотой венец на главе. Когда Шимону приходилось убегать из родины, он захватил с собою этот пояс и венец. Тогда *ему глас бысть: никакоже сего не возложи на главу свою, неси сия на уготованное место, где строится церковь Матери Моея и отдай в руце преподобного Феодосия, он же повесит над жертвенником*. После этого видения, когда он плыл по морю в Гардарик, сделалась буря; Шимон испугался и подумал, что это наказывает его бог за то, что он взял украшения от Христова образа, — начал он в этом каяться, и тогда увидел на воздухе изображение церкви и услышал голос, объясняющий, что это за церковь: "это церковь, которая хощет создатися от преподобных во имя Божией Матери, — в ней и ты будешь положен; размерь поясом 20 локтей в вышину, 30 в длину и 30 в ширину". Несмотря на то Шимон, приехавши в Киев, долго, как кажется, не думал строить церкви: впоследствии объяснял он, что не знал и места, на котором указано от бога быть этой церкви. Шимон прибыл в Киев еще при Ярославе и служил у сына его, Всеволода; когда же, по смерти князя Ярослава, появились впервые половцы, Шимон отправился против них с русским ополчением и обратился вместе с князьями Изяславом, Святославом и Всеволодом к преподобному Антонию. Боговдохновенный странец предрек им всем несчастие. Шимон в простоте сердца пал к ногам преподобного и молил сохранить его от вражеского меча. Преподобный отвечал ему: "О, чадо! многие падут от меча и убегут от супостат, будут попираемы и уязвляемы, будут тонуть в воде; ты же останешься спасен, ибо тебе суждено лежать в Печерской церкви, которая создастся твоим попечением." Несчастно для русских было поражение на Альте; Шимон был ранен и лежал на поле, среди трупов и умирающих, и вдруг в воздухе увидел то же изобра-

жение церкви, которое некогда представилось ему над балтийскими волнами. Тогда он вспомнил, что с ним было прежде, начал молиться о спасении. Он потом выздоровел. Тогда пришел он к Антонию, отдал ему пояс для размерения церкви и венец, который следовало повесить над жертвенником. Он явился к Феодосию и просил благословить себя не только в жизни, но и по смерти. Феодосий отвечал, что сам еще не знает, будет ли угоден богу своими молитвами по смерти; но Шимон представлял, что ему был от образа глас, который свидетельствовал о святости Феодосия и о том, что ему суждено основать церковь; затем Шимон просил молиться о себе и своем сыне Георгии. Феодосий изъявил желание молиться за него и за его семейство, наравне как и за всех христиан; Шимон этим был недоволен: он требовал, чтобы Феодосий дал ему свое благословение на письме. Феодосий согласился и дал ему молитву. По этому примеру на Руси начали при погребении влагать в руки мертвых рукописание. Шимон, готовясь строить храм, хотел прежде всего взять для себя еще выгоднейшие условия: он потребовал от святого мужа отпущения грехов своих родителей. Феодосий, воздвигнув руки, сказал: "да благословит тя Господь от Сиона и до последних рода твоего!" Шимон принял православную веру и наречен Симоном. О роде Симона "Печерский патерик" присовокупляет, что сын его Георгий был отправлен Мономахом с сыном его Юрием в Суздальскую землю и потом был там поставлен управлять всею Суздальскою землею.

Повесть эта многозначительна в истории русской жизни. Это был у нас первообраз множества подобных событий, когда, вследствие укоренившегося верования о спасении души посредством постройки монастырей, богатые люди благодетельствовали монастырям, давали им села, доходы и, таким образом, способствовали развитию монастырской жизни.

Вслед за повестью о Шимоне тогда же образовались старинные сказания о пришествии церковных мастеров из Греции и об основании Печерской церкви. Придавая еще более в глазах народа святости Печерской обители, повесть приводит из Греции мастеровых людей, которые получают от пресвятой Богородицы указание идти в Русь и строить церковь. Ангелы являлись в виде *благообразных скопцев* — звать их к Богородице во Влахерне. Образ ангелов в виде скопцев не редкость в византийской легендарной литературе. Аскетизм и самоистязание достигают до умерщвления плоти и способствуют девственному житию. То же сказание говорит, что икона, которая впоследствии сделалась в Печерском монастыре местною, была принесена прибывшими греческими мастерами, — она была им вручена самою Богоро-

дицею и есть произведение не земного, а небесного, сверхъестественного искусства. Вот начало благоговейного почитания явленных икон, столь распространенного впоследствии в религиозной сфере русской жизни. Эта вера в явленные иконы принесена была к нам с Востока прежде всего в Печерский монастырь, на киевскую почву, точно как и многие другие верования.

Отыскали место для будущей церкви, и ее заложение сопровождалось чудесами, подобными восточным чудесам Ветхого Завета и сходным с ними позднейшим церковным преданиям Востока. Подобно Гедеону и Илии святой Феодосий, желая узнать, какое именно место приятно богу для воздвижения церкви, молился, чтобы везде была роса, а на том месте, где следует быть церкви, не было росы, а на другую ночь просил обратно, чтобы именно там была роса, когда повсюду не было росы. Все совершалось по его желанию. На том месте, где высшее знамение указало быть церкви, росли кустарники: они истреблены огнем, низведенным с неба силою молитвы св. Феодосия. Когда нужно было копать ров для закладки храма, эту работу предпринял первый князь Святослав, и богатые люди жертвовали вклады на создание святыни, с тем чтобы по смерти быть погребенными на этом благословенном месте.

Уже повести о варяге Симоне и о греческих мастерах придают особое значение погребению в Печерской церкви. В "Слове", составляющем часть "Патерика" и называющемся *Слово, еже когда основана бысть церковь Печерская*, говорится: *блажен и преблажен сподобившийся положен быти; блажен и преблажен сподобившийся в той написан быти, яко оставление приимет грехов.* Преподобный Феодосий говорит: *всяк положенный зде помилован будет.* Вот какое важное значение получила тогда Печерская церковь и Печерская обитель! Не удивительно, что эта обитель скоро процвела. До построения церкви Феодосий говорит пришедшему к нему варягу Симону: а веси, чадо, убожество наше, иже иногда многажды и хлеба не обретается в дневную пищу. Но вскоре после того, когда Феодосий, по откровению божию, готовился отойти от мира сего и собирал братию, то уже многая братия жила в разных монастырских селах. Князья и княгини давали и записывали в монастыри богатые вклады, имения. Так, князь Ярополк Изяславич дал в монастырь Небльскую волость, Деревскую, Лучскую и около Киева; зять его Глеб Всеславич — 60 гривен золота и 50 серебра, а по его смерти назначил 600 гривен серебра и 50 гривен золота и по смерти села с челядью (Ип. Сп. Лет. 82). Монастырь Печерский сделался даже хранилищем чужих сокровищ. В тот век достояние не было слишком обеспечено от произвола, и потому многие

отдавали туда на сохранение и серебро, и золото — этот обычай распространился на все монастыри.

Преподобный Феодосий оградил свое творение от притеснений в будущие времена со стороны князей и духовных сановников. Предание, записанное в "Патерике", сообщает, что пред смертию он видел князя Святослава и молил его, чтобы церковь Печерская была освобождена от власти и князей, и владыки; ибо не люди, а сама Богородица ее создала. Так надолго обитель пребывала независимым обществом. Мудрый Феодосий сам установил твердую нравственную связь между всеми принадлежащими к обители. Он предвидел, что обитель сделается рассадником игуменов и владык в России. Конечно, уже и прежде, вероятно, она начала иметь свое важное значение; поэтому он сказал, что если кто из братий будет призван на какое-нибудь начальническое место в России, то выходить из обители может только с позволения старших и всегда должен искать успокоиться в Печерской обители: только за таких обещается св. Феодосий молиться перед богом. Понятно, как после такого завещания впоследствии печерские иноки, где бы они ни были, не теряли связи с монастырем, как показывает письмо Симона, епископа владимирского. Напутствуемый мысленным благословением великого основателя обители, такой питомец Печерской обители — будет ли он в Ростове, во Владимире, в Новгороде, в Полоцке — всегда обращался сердцем к Киеву, к заветной обители, как к обетованной земле спасения, и хранил те предания, те верования и правила, которые получил в этом монастыре, и сообщал их повсюду, куда простиралось его влияние.

Печерский монастырь указал русской религиозности и то направление, которое в делах общественных обращало действие христианского нравоучения со всеми наставлениями единственно к совершившемуся факту, а не касалось самого общественного порядка. Преподобные святые печерские развили это начало. Антоний был благорасположен и к Изяславу, и ко Всеславу, и за последнего был первым изгнан. Феодосий жил в согласии и осыпал благословениями Изяслава, а потом изгнавшего его брата, Святослава. Он менее укорял его за изгнание Изяслава, за похищение киевского стола, чем за то, что застал Святослава в пирушке с гуслярами, и восхвалял его, когда князь удалял веселые сцены от преподобного мужа, как скоро преподобный приходил к князю. Однажды пришла к Феодосию убогая вдовица жаловаться на судью, который ее обобрал и решил неправо ее дело. Феодосий упросил судью возвратить ей неправильно взятое. Но Феодосий не считал своим делом стараться, чтобы таких судей не было. Он заступался — говорит его житие — за утес-

ненных перед князем и судьями, и это ставится в заслугу его милосердию; но с точки зрения Феодосия не было потребности изменения того порядка, от которого зависели утеснения, облегчаемые его заступничеством. Точно такое направление получило и после него влияние церковных мужей на общественную жизнь. Благочестие с радостью оказывало пособие страждущим, гонимым, но мало вопияло против тех, которые были виновниками несчастий, поражавших тех, кто искал утешения в религии: оно не заглядывало внутрь земных побуждений. Покорность настоящему, отсутствие мысли об общественном движении было основою нравственного понятия, выработанного на религиозной почве. Пусть каждый только о себе заботится, о своем спасении помышляет — это было правило нравственное; таким образом, даже слово Христово о неосуждении брата своего применялось более к собственному самоуничижению, чем к сохранению чести другого. Зачем тебе рассуждать и умствовать, — помни, что ты хуже всех человек, должен Христа ради смиряться!.. Всем следует угождать, всех хвалить, всем покорствовать; только тогда и можно спастись. Самостоятельным следует быть тогда только, когда дело идет о посте и о соблюдении церковных обрядов: тут должно отвращаться от житейских довольствий, следует быть упорным и не склоняться ни перед какою властию; но во всем прочем не следует быть строптивым.

До какой степени простиралась важность покорности начальству и считалась первейшею добродетелью, видно из того, что в одной из повестей умерший, воскреснув, не мог сказать братии в монастыре большей истины, какую мог вынести из будущей жизни, как только то, что следует быть покорным игумену. Замечательно, что даже самый суровый аскетизм и плотеистязания не помогут, если монах не будет отличаться безмолвным послушанием.

Война со всеми ее ужасами мало смущала благочестие. Развитое на почве Печерского монастыря, оно заботилось о том, чтобы давление войны проходило мимо него и не лишало обители законного ее достояния. Вот, например, Григорий, Симонов сын, бывший в Суздале, сознается что когда он с Юрием Долгоруким и при помощи половцев воевал против Изяслава Мстиславича, то напал он с половцами на какой-то город, — но это было село монастырское, которое показалось градом, чтобы не даться половцам на разграбление; потому что враги, видя его твердыни, не решились отваживаться на приступ. Таким образом, по понятиям времени, не считалось предосудительным воевать, брать села и города и разорять их, но следовало щадить монастырские имущества.

Главные признаки аскетического настроения: покорность, воздержание и предписанный правилом страх мысли, страх земных удовольствий и внутренняя борьба со злым духовным существом. После принятия христианства в Печерском монастыре настала война с бесами. Бес — мрачное, злое существо... Как скоро святой муж обречет себя на сугубое воздержание, запрется в тесной келье или пещере, начнет день и ночь изнурять плоть свою поклонами, язык — безмолвием, а ум — беганьем греховных помыслов, тотчас являются к нему искусители, отвлекают его от богомыслия и силятся сделать с ним какую-нибудь пакость! Святой муж должен не поддаваться и мужественно бороться с ними. Сначала действуют духи невидимо, а потом являются и телесному зрению. Они принимают образ, похожий на обезьяну, в шерсти, с когтями, с хвостом, да вдобавок, чего нет у обезьяны — с рогами и крыльями; но иногда являются вполне в человеческом виде, только чаще всего в виде человека неправославного. Однажды святой, одаренный прозорливостью, увидел беса в образе ляха, он сыпал цветами на братию во время заутрени: на кого цветок упадет и прилипает, тот брат расслабевал, уходил из церкви и ложился спать; но были такие строгие подвижники, что цветки не прилипали к ним. Здесь цветок — символ грешного удовольствия. Когда брат уходил из монастыря, тут-то и было бесам раздолье. Один святой увидел однажды беса, ехавшего верхом на свинье, лукавый дух величался и посмеивался над монахом, который успел ускользнуть за монастырскую ограду. Обыкновенно бесы старались отвлечь к чему-нибудь внимание подвижника и мешать ему, когда он погружался в безмолвие и творил над собою истязания; чем сильнее старался угодник преодолеть лукавого, тем больше лукавый старался его искусить. Пример искушения — в истории затворника Исакия, которого бесы довели до того, что заставили его проплясать, а потом привели в совершенное истощение, так что нужны были годы, чтобы святой мог поправиться. Торопецкий купец по происхождению, по прозвищу Чернь, он вступил в монастырь, раздал все свое имение на монастырь и нищим и был принят; потом *облечебося во власяницу и повеле купить себе козел и одра мехом козел и овлече на власяницю и осше около его; затворится в печере в единой улици и в кельици мале, яко четыре лакот и ту моляше Бога со слезами; бе же ядь его проскура едина и то чрез день.* После многих неудачных попыток бесы явились ему в виде ангелов, и Исакий по простоте поклонился им; тогда один из бесов сказал: *возмете сопели и бубны и гусли, и ударяйте, ат ны Исакий спляшет. И удариша в сопели и в бубны и в гусли и начаша им играти и утомивше его и*

оставиша и оле жива, и отыдоша, поругашеся ему. Иоанна многострадального бесы мучили похотью; святой муж истязал себя сначала тесным заключением, голодом и молчанием, носил на теле железные вериги, а потом на время поста зарывал себя в землю, оставляя наружу только руки и голову. Бесы пугали его то огнем снизу, то ему представлялось, будто он весь горит, то являлся змей и грозил его поглотить. Иоанн выстоял всякие искушения. Святой особенно подвергался искушению в затворе и должен был помнить, что при появлении к нему кого бы то ни было следует заставить приходящего прочитать молитву Иисусову, и если бы кто не захотел этого сделать, то явная улика, что он — бес (не даждь ему беседовати с тобою и прежде, даже молитву сотворить, тогда разумеши яко бес есть). Одному подвижнику бес явился в образе друга и сподвижника, помог ему отыскать золото и вел было его к тому, что тот собирался убежать из монастыря, но, к счастью, обман открылся скоро, и святой отец (Феодор) лучше рассчитался с бесом, чем Исакий. Когда нужно было изгнать от себя лукавые помышления, приходящие в праздности, подвижник осудил себя на тяжелые работы — сначала молоть муку на ручной мельнице с ручным жерновом; другой раз, когда сгорела Печерская церковь — таскать лес с берега Днепра на гору. Бес вздумал было искусить его, и когда святой отдыхал однажды от своей мукомольной работы, бес стал молоть, но святой своими заклинательными молитвами принудил его в самом деле трудиться и продолжать работу на жернове, а сам в это время молился. Потом, когда святой таскал на гору лес, тогда собралось уже много бесов — товарищей проказника, творившего пакости над святым: они бросили с горы наношенное дерево. Тогда святой силою своих молитв принудил бесов перетаскать в одну ночь на гору все дерево, сколько его ни было изготовлено под горою. Бесы решились отомстить за такое унижение, которое было тем для них чувствительнее, что они не могли забыть, как люди некогда чествовали их под именами идолов. Сначала бесы научили извозчиков, которые подрядились в монастырь возить лес, требовать платы за перевозку того дерева, которого они не возили и которое вместо них возили сами бесы. Когда дело дошло до суда, то судья, выслушавши простосердечные оправдания святого, сказал ему, что бесы помогут ему и заплатить, как помогли свезти. Неизвестно, какие последствия имела эта тяжба, но бес явился в образе старца Василия ко княжескому советнику, боярину Святополка и сына его Мстислава, жадному и злому, какими были князья его, и доносил, что Феодор отыскал сокровище в варяжской пещере и не являет князьям. За это потребовали

Феодора и стали мучить, так как он отговаривался, говоря, что забыл, где снова зарыл клад. Потом послали за Василием, не выходившим уже 15 лет из пещеры: Василий, разумеется, не зная, что происходило под его именем, привел в недоумение и досаду князя Мстислава своими неясными ответами, и тот, думая, что он запирается, тогда как сам же прежде ему доносил, застрелил его стрелою. Василий, умирая, предрек Мстиславу лютую смерть, и она сбылась в битве с Давыдом Игоревичем.

При умственной покорности знание не считалось достоинством. В повестях Печерского монастыря знание и земная мудрость являются даром бесов. Так, о преподобном Никите рассказывают, что к нему явился бес и научил его понимать одни только книги Ветхого Завета, так что он мог пророчествовать. По составившемуся некогда юному понятию о знании, вместе с ним соединялось верование в пророчество; знать, быть мудрым, значило также — делать чудеса, говорить то, чего другой не скажет, одним словом, делать то, чего другой никто не может сделать и для чего нельзя придумать обыкновенных способов. Но когда святые отцы, сошедшись около Никиты, прогнали бесов, Никита стал прежним невеждою и сподобился впоследствии низводить дождь с неба на земные произрастения. О Лаврентии-затворнике рассказывается, что когда он пошел в затвор, получил благодать целить беснующихся, и к нему приводили больных, бесы научили его по-гречески, изощрили его способности; но когда другой святой молитвами исцелил его от бесовского искушения, Лаврентий забыл все свои знания.

Печерский монастырь не благоволил к иноверцам. Так, в житии св. Агапита, безмездного врача, рассказывается, что когда к нему пришел врач армянин, то несмотря на свое смирение, как скоро он узнал, что это *армянин*, то воскликнул: *почто смел еси внити и осквернити келию мою и держати за грешную мою руку? Изыди от мене, неверне и нечестиве!* В ответе св. Феодосия Изяславу Ярославичу на вопросы о варяжской вере святой муж порицал варяжскую веру: там не только обвиняют последователей западного христианства в ядении кошек, псов и удавленины, но говорят и о крайних непристойностях при брачном обряде. В поучении и ответе советуется не давать католикам есть и пить из сосуда своего, и если придется дать по крайней нужде, то непременно вымыть сосуд; приказывается не только не принимать чужеверного к себе, но проклинать всякое чужеверье.

Так как раздаяние богатств нищим не имело в себе цели, а само по себе составляло цель, так точно и труд предпринимался и считался полезным не по плодам его, а сам по себе, в своем процессе.

Видно, что в Южной Руси оставались языческие обычаи, долго еще смотрели русские на жизнь сквозь языческое покрывало и даже в христианские обычаи и обряды вносили языческое содержание. Вот, например, Феодосий воспрещал, что в его время многие ставили на кутью яйца, приставляли к кутье воду, ставили обеды по умершим и носили в церковь съестное, одним словом — отправляли тризны, ибо у язычников погребение сопровождалось пьянством. Святой, соболезнуя, вопиял против соблазнительного целования мужчин с женщинами на пирах. От этого христианство противодействовало языческой чувственности строгою стороною своей духовной чистоты, а аскетическое учение делалось единой нравственною философиею для всего христианства вообще.

Самая мирская жизнь не имела, с церковной точки зрения, другого идеала, кроме аскетизма. Это было тем естественнее, что вот, например, в "Слове отца к сыну" (последний, очевидно, не готовился в монастырь, но намеревался жить в мире семейно) отец, представляя ему пример добродетели подвижников, *иже мало света сего причащахуся*, говорит: *изволи себе тех житье и тех правый путь приими, тех нравы и ты, чадо мое, взыщи со всею силою и со всею крепостью.* В том же "Слове" отец заповедает сыну давать десятую часть от своего имения господу (т. е. в монастыри и духовенству). Таким образом, видно, что понятие о десятине переходило из княжеского быта в частный, домашний.

Понятно, что при направлении заботиться каждому лишь о собственном спасении не удержалось вполне согласие, мир и братство в Печерском монастыре, и уже в ранние времена встречаются следы взаимной зависти, вражды и обманов между братиею. Так, в житии Алимпия иконописца рассказывается, что монахи брали деньги с одного богатого господина, заказывавшего Алимпию икону, но в самом деле не давали об этом знать Алимпию, а боярину говорили, что Алимпий просит втрое.

Несмотря на аскетическое направление, в церквах читались, однако, поучения, переведенные с греческого, где аскетизм представляется недостаточным без добрых чувств, любви: *аще ли кто от хлеба ся удержить, а гнев имать, и таковый подобен есть зверю: тъ бо не есть хлеб: аще же от пития и от рыбы кто удержится и на голе земле легаеть, а злобу имея и неправду дея, хвалится убо: пущи есть и скота.*

Добродетелью были: пост, грусть; смех и веселие — грех. Один подвижник, по имени Памва, дал обет никогда не смеяться. Бесы употребляли всевозможнейшие уловки, чтобы рассмешить святого — долго все было напрасно: наконец, бесы привязали

маленькое перышко к огромному бревну и потащили мимо подвижника с криком: "алай, алай!" Памва улыбнулся, и бесы восплескали и запрыгали от радости, восклицая: "Авва, Памва засмеяся! Авва, Памва засмеяся, засмеяся!" — "Я засмеялся немощи вашей, — сказал им святой, — что вы, и то только с трудом, можете это бревно сдвинуть". В одной древней нравоучительной беседе говорится: "смех не созидает, не хранит, но погубляет и созидания разрушает, смех Духа Святого печалит, не пользует и тело растлевает; смех добродетели прогонит, не имать бо памяти смертныя, ни поучение мукам. Отъими, Господи, от мене смех и даруи плач и рыдание, егоже присно ищеши от мене" (Имп. Публ. Библ., Погод. Сб. №. 1297, стр. 91).

С женщиною не следовало даже говорить — женщина была существо, располагающее к согрешению: "Не достоит мниху ясти с женою или пити, или что промышляти с женами или инак како разум имети с ними; прелюбодейство есть, велико прелюбодейство женское сужитство. Еда камень еси? человек еси, общему естеству подлежа и в падении; огнь имаши в лоне — не изгориши ли? Како имать слово: положи свещу на сено, тогда возможеши рещи, яко не горит сено? Аще не отмещешися, яко горит сено, не мне глаголи, но неведущему тайных".

Убегая от женских очей, следует избегать и помышлений о женщинах. "Всяк бо возревый на жену согрешает". Надобно иметь постоянно бледное лицо и дурныя одежды: *блед и щуби вид и рызы худы подобает иметь* (Пог. Сб. №. 1288, стр. 226).

Монашеское самоистязание, уединение от всего, что составляет материальную прелесть на земле, открывало идею торжества духовного начала над грубою силою. Вместо богатыря, с оружием странствующего по чужеземным странам, ищущего опасностей, побеждающего их, получающего в награду богатства и т. п. являются богатыри духа — странствующие в таинственной области видений, вступающие в борьбу с духами; они побеждают их, отваживаются на всякие лишения добровольно, и за все терпение получили награду высшую — награду на небе. Так как богатырь не сидит на месте — богатырь ищет приключений, то в сфере духовного подвижничества явились странствующие рыцари-паломники, скитавшиеся по святым местам и с Севера отправлявшиеся в Палестину. Они-то и назывались в древних песнях *каликами перехожими*. Похождения в Иерусалим, как видно, были значительно в ходу на Руси, в Цареград, на Афон и вообще на Восток по водворении христианской веры, особенно по завоевании Святой земли крестоносцами. В похождении Даниила Паломника говорится, что в его время были *мнози, доходившие до Иерусалима*. Это было до такой степени

обычно, что иные старались ходить, видно, как можно скорее (*тщащеся вборзе*) и навлекали за то нарекания от истинно благочестивых; Даниил замечает, что *се то путь вборзе нельзя ходити*, и ускоряет их в том, что они *много добра не видевши* возвращались; но путешествие было предметом общественных разговоров, и бывший в Иерусалиме пользовался уважением: он мог быть везде принят с честию, и потому они — по словам Даниила — *вознесешся умом, яко нечто добра сотворивши, погубляют мзду труда своего.*

Идея торжества ума над материальною силою в народной умственной жизни проложила себе не одну религиозную тропинку. Заявлением ее потребности могут служить и такие сказания, где или дурачок, или ребенок, признаваемый слабым и глупым, торжествует над сильными. Таких сказаний чрезвычайно много. Большая часть наших сказок имеют эту основную идею. Мы укажем на замечательную повесть о киевском купце Димитрии и сыне его Борзомысле, семилетнем мудреце. Хотя (некоторые видят в ней иноземную основу) она дошла до нас сравнительно в более поздних списках, но уже одно то, что герой этой сказки киевлянин и богатый купец, странствующий по далеким странам на своих кораблях, показывает, что она перешла в позднейшие списки от тех времен, когда Киев был богат, многолюден и составлял центр образованности. Действие происходит на Юге; купец богатый с кораблями выезжает из Киева, странствует по отдаленным чужестранным землям. Проплававши тридцать дней по морю, купец пристал к берегу и увидел приморский город, близ которого стояло в гавани бесчисленное множество кораблей. "Удивися Димитрий Киевский купец и рече: что сии корабли бесчисленно много стояша? мне зело земля блага есть и купцы в нем и много торгуют зде. Сниде с корабля купец Димитрий и поиде под град, и сретоша его гражане и вопрошаху его: от коея страны и коея земли? Он же сказася им: аз есмь от Русския земли и верую во Отца и Сына и Святаго Духа. И рекоша ему гражане: брате купец! единыя есть веры с нами Русская земля, — точию за наше согрешение послал нам Бог царя законопреступника и отступника от Бога, еллинския веры, и теснит ны, хотя привести к своей вере; мы же, не могуще терпети бед тех, неволею пожрохом идолом, видехом себе в великих нуждах: всегда боярами мучаще нас; овогда силою привожаше нас ко своим идолам, овогда заповеданием нам не веляше хлебов на торг пещи и гладом морит нас для своей веры; се видиши, купче, в пристанищи сем 300 кораблей стояще, купцы же со всех стран прихождаху к сему граду, и приходяще к царю з дары, хотяще торговати в его царству; царь же дары от них

приемлет и повелевает им три загадки отгадывать свои, а все то приводяще к своей вере; они же не могуще отгадать загадки, царь же глаголаше к ним: уже все загадок моих не отгадаете и вы пребывайте в моей вере, пожрите идолам; купцы же не хотяще того сотворити и того ради в темницу посажены бывши, терпяще всякую нужду и глад и тяготу, и скорбь, имени ради Христова, и заповедывает царь, не велит хлебы пещи три годы, дабы они гладом померли".

Услышав об этом, купец Димитрий хотел было тотчас отплыть и повернул на свой корабль, но когда пришел к нему, то увидел, что там уже стояла стража. Нечего было делать — надобно было явиться к царю. Царя звали Несмеян Гордеевич. Донесли царю, что пришел купчишко из Русской земли, принес дары и просит позволения торговать в его царстве. Царь ласково пригласил Димитрия обедать; а после обеда спросил: *купче! которыя ты веры?* Купец отвечал, что верует во имя Отца и Сына и Святаго Духа. — "А я чаял, — сказал царь, — что у нас вера общая; ты же сказываешься не нашей, а русской веры. Я же хотел было тебе позволить торговать и отпустить в твою землю; но теперь отгадай, купче, три загадки, что аз тебе загадаю; аще ли отгадаешь, и аз тебе велю торговати в своем царстве всяким товаром, и с дарами и с проводниками отпущу тя в свою землю; аще ли не отгадаешь ни единой загадки и в вере моей не пребудешь, ведомо ж буди тебе, купче, велю тя смерти предати, а товары твои взяты будут в мою царскую казну".

Купец испросил у царя срока на три дня и, пришедши на свой корабль, плакал, видя себе неминуемую смерть. Семилетний сын его играл на корабле и ездил верхом на палочке: "на деревце сидяще, рукою за древцы конец держаще, а другою рукою плеткою побиваше, и ездяще, аки на коне скакаше". Увидя плач отца, ребенок стал его спрашивать; отец сначала не стал было и рассказывать ему, но когда сын умно ему обещал помочь в напасти, отец рассказал. Сын сказал, что он за него отгадает: "А ты, отче, не скорби и не тужи, яждь, пей, веселися и молися Богу, — вся печали возлагай на Бога". Сын продолжал играть на корабле. На четвертый день позвали их к царю. Мальчик объявил, что он отгадает загадки за отца и потребовал пить. Царь налил золотую чашу с медом и подал ее дитяти; отрок дал отцу, и когда отец хотел возвратить чашу, отрок сказал: *отче! не отдавай чаши, — закрой в недра своя!* Царь дал другую, и с тою сделалось то же: также царь требовал возврата чаши; отрок сказал: *данное царево вспять не возвращается.* Загадка царева была такова: "много ли того, или мало, от востока до запада?". — "День и ночь, весь круг небесный единым

днем и единою нощию едино солнце прейдет от севера до юга; то твоей загадке мой ответ". — Царь удивился, дал третью чашу купцу, и купец спрятал ее в пазуху. Другая загадка отсрочена на другой день.

На другой день собрались "ипаты, и тираны, и стратилаты, и воеводы, и князи, и бояры, и все людие, малые и великие, и все граждане на предивное чудо отрока, якоже всем гражданам не вместитися в цареве дворе". Царь спросил: "что десятая часть из моря днем убывает, а нощию прибывает?" Ответ был: "то есть, царю, что десятая часть воды солнце выедает; нощию же прибывает, зане же сонцу зашедшу и не сушащу, — то тебе, государь, моя отгадка".

Удивился царь и потребовал третьей отгадки; отрок попросил сроку на три дня, но с тем чтобы созваны были все граждане, от мала до велика: пусть при этом им объявится, что *им добро будет во веки*. Это сделано. Люди собрались по приказу царя. Отрок потребовал, чтобы царь сошел со своего престола, дал ему одеяние царское и жезл, и что он тогда отгадает загадку. Царь отдал ему свои регалии и в том числе меч. Тогда отрок, зная, что в толпе есть христиане, не любящие неверного царя, закричал: хотите ли веровать во Святую Троицу?.. Все отвечали утвердительно. Отрок срубил мечом голову царю, сказавши: *вот тебе моя третья отгадка!*

На следующий затем вопрос отрока: кого они хотят поставить себе царем? — все единодушно вручили ему власть как своему избавителю. Послали за патриархом, который был в заключении. Он был встречен торжественно и отслужил литургию. "Постави патриарх над главою отрока рог злат с маслом над ним и благослови его патриарх на царство; людие же вси кликнуша от мала до велика единогласно: много лет тебе, государю нашему, Борзомыслу Димитриевичу на царство! И возрадовавшася ему вси людие великою радостию; царь же сотвори в тот день пировище великое". Потом оказалось, что у оставшейся прежней царицы была дочь восьми лет; Борзомысл сочетался с нею браком, окрестивши ее наперед и обвенчавшись чрез сорок дней после ее крещения (сороковицей). На сказке этой легло понятие о страдательном положении женщины. Когда Борзомысл призывает царицу и узнает, что у ней есть дочь, не спрашивает ее — желает ли она отдать за него дочь; не спрашивает и невесты, а просто приказывает ее крестить и потом берет в жену, и только по просьбе матери дает ей сроку на семь дней. Семилетний царь приказал привести всех заключенных купцов, "и удивися царь, на них смотря; бысть лице их аки земля, а власы их отросли до пояса, и ризы их изодрашася, лежаша от

гаду и тесноты, а голосы их аки пчелиные". Царь "учреди им праздник" и, возвративши им имения, отпустил каждого в свою землю. По воле царя отец поехал домой и привез свою жену — мать царя. Они жили вместе, и царь Борзомысл похоронил старого родителя своего, Димитрия, купца киевского.

Ткань этой повести показывает древнее ее происхождение. Победа посредством загадок есть видоизменение той первообразной канвы, по которой составились разнообразные редакции сказания о вещей мудрой девице, происходящей из простого звания и посредством отгадывания мудреных загадок выходящей замуж за знатного мужа, — сказание, которое в южнорусской народной словесности выразилось повестью про *дивку семилитку*. Замечательно, что сын Димитрия также семи лет от роду. Ничтожное дитя оказывается не только сильнее взрослых и славных, но изменяет судьбу целого края своею смышленостью. Народ как будто себя тут выражает: он ничтожен и юн, но в нем такие силы, которые могут победить могущество силы и обмана. Он сознает, что умственная сила выше всякой ручной; нужно только ума — и все преодолеть, все победить можно. Ум этот выражается, как и должно быть у молодого народа, вступающего в жизнь, не теориею, не логичною последовательностию понятий и процессом размышлений, а быстротою, сметливостью, находчивостью вовремя. Отгадка мудреной загадки — форма, в которой высказывается ум. Нельзя при этом не обратить внимания на различное значение двух загадок, предложенных царем; одна из них основывается на мудреном выражении того, что само в себе просто. Очевидно, здесь как бы насмешка над затейливостью выражения, которое только для простака — мудрость, а сама по себе вещь обыкновенная, и умная голова отгадывает ее без всякого затруднения. Другая загадка — предмет знания. Мальчик не только отгадывает то, что кроется под таинственностью вопроса, но показывает знание естественного феномена; таким образом народ сознает, что знание природы есть также достоинство мудрого человека. Отрок обманул царя — понятие народное таково, что обмануть злого не составляет ничего нравственно неодобрительного, напротив, служит также доказательством ума и способностей. Он убил царя — но убил справедливо, спросив прежде народ, и потому потребовал, чтобы все сошлись от мала до велика; он поступил именно потому справедливо, что воля всего народа считается мерилом справедливости. Народ был склонен к христианству и даже исповедовал христианство; власть имела другое убеждение и насиловала к нему народ. Здесь сознание, что народная воля может проявиться тогда только, когда ей придется дать ответ

на вопрос, и тот есть истинный мудрец, кто найдет возможность задать ей вопрос. Власть неправедного царя потому и держалась, что народ не имел случая выразить свою волю ответом. Воплощенная юная мудрость дает перевес народной воле: новый царь избирается по воле народа. Детский образ мудрости посрамил тех, которые являлись в обычном для мудрости виде — в виде стариков и сильных властию; юное поколение, несмотря на то, что играя скачет верхом на палочке, носит в себе зародыши того, к чему становятся неспособными взрослые...

II

КИЕВСКАЯ РУСЬ ОТ ЯРОСЛАВА ДО ЗАВОЕВАНИЯ ТАТАРАМИ КИЕВА

Назначение Ярославом особых князей в землях русских удельного мира провело в жизни южнорусского народа новый вид отдельности и самобытности. Прежде другие земли русские были под верховною властью киевского князя, — хотя и управлялись и жили сами собою, но составляли его область, отчину. Теперь, с появлением уделов, с одной стороны, уменьшилось значение старейшинства Киевской земли в ряду других; с другой — связь между землями не только не прервалась, но утвердилась крепче, по мере расселения одного княжеского рода в разных русских областях. Уменьшилось значение Киева в смысле старейшего потому, что в других землях старейшие князья уже были не данники киевского, но и сами делались старейшими над младшими в своей земле, а младшие признавали ближайшее старшинство над собою в князьях не киевских, но главных своей земли; связь земель усиливалась, потому что правители их происходили от одного рода, все помнили свое происхождение и должны были составлять единую семью; а вместе с тем и русские земли смотрели на себя как на часть одной общей державы. После смерти Ярослава мы видим такого рода строй: собственно коренное понятие о власти князя над народом сохраняло в Русской земле свой древний характер; но его основные черты подвергались изменениям в приложении к жизни, по мере сходившихся обстоятельств. Народное сознание о князе признавало его необходимым для поддержки порядка и для предводительства военною силою против врагов. Сделалось обычаем то, что княжеское достоинство было преимущественно в Рюриковом роде; установилось понятие о том, что киевский князь должен быть из этого рода, но еще не образовалось понятие о праве наследования между князьями. Воля живого народа, как и во всем, стояла выше всякого права и даже обычая.

Во второй половине XI века появились новые чужеземные враги, с которыми долго приходилось меряться силами Киеву и земле Русской, — половцы. По нашим летописям, впервые пришли они на Русскую землю воевать в 1061 году, и первое дело с ними было под Переяславлем (город этот стоял на страже Русской земли); это дело разыгралось неудачно. Должно быть, это событие навело на народ большой страх, ожидание худых времен. Это видно из летописного рассказа о знамениях, тревоживших тогда воображение; видно, что первая неудача или удача считалась предзнаменовательною, как вообще у восточных народов. Тогда во всяком феномене, сколько-нибудь выходившем из обычной чреды явлений, видели предвестие. Старые языческие суеверия невольно поддерживались и укреплялись в этом отношении монахами и духовными; в византийских книгах, расходившихся тогда по Руси в славянских переводах, они находили оправдание верованию, что действительно необыкновенные явления служат предвестиями бедствий. В 1066 году явилась на западе "звезда космата"; в ее лучах находили что-то кровецветное; в продолжение семи дней она пугала киевлян после солнечного заката на западном небе: *проявляющи кровопролитье* — говорили тогда. Потом из реки Сетомли рыбаки вытащили неводом какое-то дитя-урода, вероятно, брошенное матерью от страха, и мать ему не нашлась и не смела себя показать, когда нашли урода в реке. С ним не придумали ничего другого сделать, как, посмотревши до вечера, бросить опять в воду. Наконец, сделалось солнечное затмение. "Это ведьмы съедают солнце", — говорили тогда по языческим понятиям. Как это верование было древним и укорененным, видно из того, что и до сих пор существует такое же суеверие в народе; думают, что чаровницы имеют силу управлять естественными явлениями и, уменьшивши в объеме небесные светила, скрывать их на время.

Действительно, общее предчувствие оправдалось. Этот набег половцев был только началом других беспрерывных набегов того же народа. Этого одного бедствия было мало: между князьями Русской земли начались распри и междоусобия. При недостатке сознания святости гражданских отношений, в понятиях времени, недоразумения в принципе власти целого рода над целою землею вызвали наружу необузданность личных побуждений. Редко князья останавливались пред средствами: эгоизм брал верх. Князья приглашали тех же самых половцев, которые опустошали Русскую землю, для проведения своих видов. Нравственный принцип боролся с личным увлечением. С одной стороны, понятие о цельности Русской державы, сознание народного единства, чувство долга, проповедуемого церковью, обращало князей и их

дружинников к желанию мира, единства, к согласному действию против общих врагов; с другой — неуменье уладиться между собою и управлять страстями, свойственное юному народу, увлекало их к расторжению связей, которые они сами же признавали священными. Народные побуждения шли по той же колее, как и княжеские. Князья не могли найти в народе согласного противодействия своим эгоистическим стремлениям, потому что в народе, точно так же, как и в князьях, не доэрело сознание средств к поддержанию единства, более чувствуемого, чем разумеемого. Княжеские междоусобия сплетались с неприязненными побуждениями земель между собою, и князь легко мог составить ополчение из народа и вести его на своих родственников в другую русскую землю, потому что в тех, кого он соберет под своим *стягом*, ощущались также своего рода неприязненные побуждения против тех, которые ополчались за противного князя. Как бы ни своеволен был князь в своих намерениях, он всегда мог найти в народе толпу удальцов, готовых его поддерживать; всегда отыскивались люди, годные составить воинственную толпу, живущую на службе у князя и работающую его личным видам. Эти толпы были то, что называлось дружинами; князья водили эти дружины с собою и доставляли им средства к жизни, а дружины готовы были драться с другими, себе подобными, дружинами, держащими сторону другого князя, чтобы удовлетворить честолюбию, алчности и вообще притязаниям своего князя. Такой род жизни поддерживался возникавшим из него же чувством воинской славы и удали. Князь, считая себя обиженным, защищал свою славу, и дружина его поставляла себе честь в том, что успевала проводить его дело и получала за то награду; так русские сражались между собою, "ищучи себе чти, а князю славы".

Храбрость, быстрота, ловкость, неутомимость считались добродетелью. Молодец стыдился сидячей жизни. Стоит прочитать Мономахово поучение, чтобы видеть, какая деятельность составляла тогда характер того, кто хотел доброй славы и чести; следовало находиться беспрерывно в дороге, в трудах, опасностях, в борьбе. Самое мирное время посвящалось таким занятиям, как охота — подобие войны, где предстояли молодцу и труды, и лишения, и опасности. Удальцы, составлявшие дружины, часто сами же поднимали князей своих друг на друга, иногда ссорили их, переходили от одного к другому и побуждали последнего к вражде против первого. Оттого нередко летописцы извиняют князя в его несправедливых поступках, приписывая их наущению дружины. Дружинники толпились в городах, и потому городское население вообще возвышалось, составляло деятельную массу; народ сельский играл роль страдательную. Древние начала са-

мобытности должны были более и более увядать от долгой невозможности себя высказать и от необходимости подлегать гнетущей силе. Не могла развиться оппозиция против такого порядка в принципе народного самоуправления; потому что Южная Русь окружена была чужеземцами, которых всегда могли князья привести в случае противодействия. Это и сделалось при Изяславе: в 1067 году половцы напали на восточные пределы Русской земли. Изяслав отправился против них и был разбит. Половцы рассеялись по окрестностям и начали грабежи и разорение. Киевляне, собравшись на вече, требовали у князя дружины и коней. Изяслав не дал им. Из этого известия видно, что уже прежде существовала партия, опасная для княжеской власти. Имея вооруженную дружину, князь боялся, чтобы другие носили оружие, чтобы не допустить до восстания. Верно, это велось уже издавна; таким образом открывается, что князья в то время не всегда находились в совершенно согласном отношении к народу. Видно, что прежде не без усилий обходилось удержание народа в подчиненности, ибо Изяслав не дал оружия народу даже и тогда, когда явная опасность угрожала со стороны чужеземцев, а это могло быть только при таком условии, когда прежде того княжескою властью была испытана опасность позволить народу принимать воинственный характер. Народная злоба обратилась на воеводу Коснячка, предводителя княжеского войска; он спрятался. Тогда киевляне вспомнили, что в погребе сидит пленный полоцкий князь Всеслав, взятый на сражении. Они бросились освобождать его и возвели его на княжеское достоинство. В порыве недовольства властью Изяслава все-таки киевляне не могли обойтись без князя: уже утвердилось и усвоилось понятие, что князь необходим как предводитель, и никто заменить его не может. Достаточно было уважения к лицу как к князю, чей бы он ни был; бунт киевлян был опасен князю, и его приверженцы из дружины, сидевшие с Изяславом в тереме, предложили убить Всеслава. Это предложение показывает ту же неразборчивость в средствах и слабость нравственного чувства, как и в советниках Святополка Окаянного. Видно, они понимали, что как скоро Всеслава не будет, то бунт усмирится: без князя киевляне не могут ни на что решиться. Дружина не успела исполнить намерения; киевляне освободили Всеслава. Изяслав не в силах был бороться с народом, не имея достаточной у себя партии в Руси. Действительно, изгнанный, бежавший, он не мог возбудить в своих сочувствия и бежал к ляхам, к чужим. Его имущество было разграблено; так следовало по понятиям того времени: кто виноват и осужден, того имение бралось "на поток". Через семь месяцев явился изгнанный князь с чужепле-

менною силою. Всеслав оробел и бежал. Киевляне, оставшись без князя, отвыкши от мысли, чтобы мог кто-нибудь в Русской земле, кроме природного князя, предводительствовать войском, потеряли дух. Им угрожало чужеплеменное панство; они послали к Святославу и Всеволоду, просили их примирить с Изяславом, иначе они зажгут город и уйдут в Грецию. Это, вероятно, сказали не все киевляне, не целый народ, но известная партия: невозможно предположить, чтобы в большом городе, каков был Киев, все единомысленно решились на такое переселение. Призванные князья помирили киевлян с Изяславом на том условии, что Изяслав придет "в мале дружине" и не будет вводить с собою ляхов. Но Изяслав послал вперед сына своего Мстислава с отрядом ляхов; этот княжич убил до 70 человек, которых считал виновными (они-то, верно, прежде освободили Всеслава), других ослепил, и многие — по сказанию летописца — пострадали невинно.

Тогда русские в селах, в окрестностях Киева, втайне оказывали мщение над ляхами, которых Изяслав распустил "на покорм": они тайно избивали их и тем принудили возвратиться домой. Другие не так были ожесточены против иноземцев, — по крайней мере ляхам было в самом городе очень весело. Развращение нравов было довольно велико, и всякое насильственное дело могло найти себе опору и подкрепление.

С 1068 по 1073 год пробыл Изяслав в Киеве, сначала под прикрытием ляхов; нелюбовь к нему киевлян не могла охладеть после варварских поступков сына. Впрочем, что касается до него лично, то его не считали виноватым: он был *простоумным*. Этим неуважением к князю воспользовался князь Святослав черниговский, и Изяслав должен был бежать в другой раз. Четыре года он странствовал по Европе. В Майнце он просил защиты у императора, которого признавал верховным главою государей; сын его потом в Риме ходатайствовал пред папою о возвращении отцу его права. Между Русью и Западною Европою в те времена еще не существовало той стены, которая возникла позже; Русь и Западная Европа принадлежали еще к одной политической семье; сношения были частые и близкие. Когда император по просьбе изгнанного киевского князя послал к Святославу посольство, то для того избрано было лицо, которое оказалось шурином Святослава (Святослав женат был на принцессе Оде; брат ее, посол в Киеве, назывался Бурхард и был тревский духовный сановник). Это известие о родстве Святослава с немецкою княжною особенно замечательно тем, что оно упоминается при случае, а не как факт, на который обращено было бы внимание по его редкости. Этот факт совершенно остался бы нам

неизвестным, если б не пришлось кстати, по другому, не касавшемуся его самого, поводу, упомянуть о нем, и, конечно, много подобных проскользнуло у летописцев, потому что не было повода упоминать о них.

По смерти Святослава Всеволод переяславский, овладевший Киевом, не мог сладить с Изяславом и не решался вступить с ним в борьбу. Он ожидал неприязненности со стороны племянников. Всеволод уступил Киев Изяславу и получил себе Чернигов — прежний удел Святослава. Но тогда явился с половцами Олег добывать землю, принадлежавшую его отцу. Изяслав был убит. Летописец говорит, что киевляне очень плакали по нем. Как кажется, не было причины сожалеть о нем из любви, и летописец был принужден пояснить, что Изяслав был человек добрый, а злодеяния, совершенные над киевлянами, принадлежат не ему, но его сыну. Для нас важно то, что этот плач по князе, который был или не был лично виноват в варварствах сына, но все-таки, как видно, потакал им (ибо того же сына сделал князем в Полоцке, и притом сам ничего доброго не сделал для киевлян), — этот плач есть та черта добродушного уважения к властителям, которое мы нередко встречаем во все периоды истории славянских народов. Это — отсутствие злопамятности, но вместе с тем и силы народной памяти. Можно легко поднять на ноги славянскую массу, но жар ее скоро остывает; власть, наделавшая народу множество огорчений, легко примиряется с ним, как скоро погладит его по голове. Мы увидим — так же покажется это племенное свойство и в истории Новгорода.

В первые годы после Ярослава совершилось изменение в юридическом быте Руси, как это видно из "Русской правды"; тогда князья Изяслав, Всеволод и Святослав с мужами своими Коснячком, Перенегом и Никифором, сошедшись, *отложили убиение за голову*, то есть месть, существовавшую до того времени, но положили выкупаться кунами (но кунами ея выкупати), а прочее все оставили по-прежнему: *яко же Ярослав судил, такоже и сынове его уставиша.*

Но так как мы не знаем точно и достоверно, что именно в "Русской правде" принадлежит времени Ярослава, а что позднейшему, то не можем потому и определить, какие из находящихся там статей были Ярославовы, и какие явились позже, при Изяславе и братьях его, исключая вышеприведенного отложения мести, о чем прямо говорится. Заметим, что платеж виры за убийство не должно рассматривать так, как будто бы за преступление отвечали только платою. Напротив, самая вира относилась только к известным случаям. Например: "будет ли стоял на разбое без всякия свады, то за разбойника люди не платят,

и выдадут его самого всего и с женою и с детьми на поток и разграбление". Вира собственно была не наказание, а только доход князю за уголовные преступления. Вирою отделывался убийца тогда только, когда убийство происходило по ссоре или в пиру; если же убьет *в свадѣ или в пиру явлено, то тако ему платити по вервине, еже ся прикладывают вирою.* Такое убийство падало вместе на всю общину, или вервь (вервь — от веревки, какою, должно думать, обводились земли); потому, вероятно, что при ссоре были свидетели, которые могли остановить убийство. Убийца платил только часть всей виры; вервь и тогда должна платить, "когда муж убьет мужа в разбои, но не ищут имени", следовательно, когда нет преследователя убийцы, равным образом вервь платила и тогда, когда находила на своей земле тело убитого, а убийцы не оказывалось, что называлось *дикою вирою, но когда убийцу преследовали, тогда — иное дело: а головничество* самому головнику. Тут уже понятие об убийстве принимает значение преступления. Вообще статьи "Русской правды", сложенные в то время, не должно рассматривать как кодекс законоположения, а только как правила собирания княжеских доходов. Самый суд производился на основании старых славянских обычаев.

Обстоятельства, сопровождавшие историю Изяслава Ярославича, показывают достаточно несостоятельность Киева для будущего, невозможность в Руси развиться народному самобытному строю. Русь была окружена чужеземцами, готовыми вмешиваться в ее дела. С востока, как тучи одна другой мрачнее, выходили полчища степных кочующих народов Азии, жадных к грабежу и истреблению: они бросались на запад, толкая и истребляя один другого, и все ударялись об Русь. Племя за племенем выступало; заднее всегда почти было грознее, многочисленнее и страшнее для Южной Руси, чем переднее. В X и XI веках некрепкая юношеская цивилизация русская терпела от печенегов: эти враги еще не так были страшны, как другие, половцы, которые явились им на смену. В борьбе с печенегами перевес остался на стороне русских; это ободряло последних и поддерживало в них удалой дух, деятельность которого могла бы ослабнуть при совершенном спокойствии. Одноплеменники и близкие сродники печенегов, торки и берендеи, еще менее представляли из себя громящую силу. Если почему-нибудь они могли быть опасны для Руси, то разве потому, что, поселившись на берегу Роси и смешавшись с русскими, они вносили в жизнь последних новый, дикий элемент и задерживали развитие цивилизации. Могучими явились лицом к лицу с русскими половцы — народ многочисленный, разветвленный на орды, кочевой, не привязанный к

месту жительства и потому готовый нападать большими массами, не знавший земледелия и потому жадный к грабежу и разорению чужого. С ними русским справиться было труднее, чем с печенегами. Князья, как это показал Олег, не стесняли своей совести, когда представлялся случай вмешивать их в дела Руси для своих личных целей. С другой стороны, поляки начали вступать в русский мир. Святополк проложил полякам дорогу в Киев; по его следам пошел Изяслав, изгнанный киевлянами. Возникла у поляков мысль, что Южная Русь есть их подначальная земля; князья наделали им слишком щедрых обещаний. За поляками выступили на сцену угры. Князья породнились с угорскими королями, и последние стали присылать помощи своим родственникам и вместе с тем думать и о подчинении себе русских земель, пользуясь тем, что Русь сама, так сказать, идет в чужие руки.

При таком стечении обстоятельств, противных развитию народной самодеятельности, старинная славянская свобода подавленная князьями и дружинами, пыталась прорваться на свет и не вполне успела. Изяслава изгнало вече, избрало другого князя; вече делалось решителем судьбы края, но ненадолго. Явилась чуженародная сила в помощь изгнанному князю: вече должно было умолкнуть. Святослав изгнал брата и овладел Киевскою землею, вероятно, с согласия киевлян, которые не могли же так скоро забыть поступка Изяслава и, верно, теперь воспользовались случаем отомстить ему снова, когда представилась возможность, когда нашелся князь, на которого они могли опереться. Но этого князя не стало: Изяслав шел опять с чужеземною ратью. По польским известиям Болеслав и на этот раз сам был в Киеве, и этот-то раз последовало знаменитое развращение нравов, стоившее польскому князю короны. Известие справедливое и не противоречащее собственным нашим летописям: в последних нет ничего о вторичном пришествии Болеслава, но не видно из них также, чтобы он не входил в Киев. Зная, как переставлялись, переображались наши летописи, легко можно предположить, что известие о вторичном пребывании в Киеве ускользнуло из наших летописей. Впоследствии Изяслав должен был уступить Польше червенские города за помощь, ему оказанную, и только этой ценою удержался на своем *столе*. Очевидно, когда у князей была возможность призвать против народа чужеземную помощь, трудно было народу отстоять свои права против княжеского произвола и поставить выше княжеского произвола свою общественную волю.

С другой стороны, однако, невозможно было развиться и укрепиться прочному властительному деспотизму. Князей было

немало. Из них находились охотники засесть в Киеве, как и в другом городе; один другого выгоняли, и сами были выгоняемы. Прочного права преемничества не было. Так называемая удельная система, сколько ее ни старались уяснить, определить, до сих пор не выяснилась для нас. Мы придавали слишком много значения еще, так сказать, рудиментарным правилам о столонаследии в XI веке, но они у самих князей были тогда еще не определены, не выработаны, а народ, по всему видно, вовсе их не сознавал; народ знал одно собственное право — право выбора, и признавал один род, из которого, по своему усмотрению, считал лица достойными к этому выбору, но выборное право беспрестанно задушалось правом силы и оружия.

Случаи, повторяемые один за другим в том же роде, становились на некоторое время обычаями, но они, однако, в свою очередь уступали случаям иного рода. Единственное право князя княжить в Киеве было все-таки избрание народа; но как против народной воли можно было найти противодействие в свою пользу, как это показал два раза Изяслав, то народная воля заменилась волею то воинственной толпы, которая пристанет к князю и примет его сторону, то — в случае слабости такой толпы — волею половцев, поляков, угров или русских других земель — одним словом — правом силы. Та масса, которая составляла народ действующий, народ в смысле гражданском, политическом, была воинственная толпа из людей всякого рода, всякого состояния, силою случая вырвавшаяся наверх и управлявшая делами края и его судьбою.

Как ни скудны вообще летописи в изложении народной судьбы, но достаточно видеть, что по смерти Ярослава, до татар, Южная Русь беспрестанно наполнялась чуждым народонаселением. Киевские бояре и дружинники князей не составляли преемственных туземных сословий: новые пришельцы беспрестанно являлись, одни приходили, а другие уходили, переходили от одного князя к другому — сегодня в Чернигове, завтра в Киеве, потом в Галиче и так далее. От этого, занимая видное место при князьях, они мало были связаны с народом нравственными узами и думали о своих личных выгодах на счет народа. Жалобы на такие злоупотребления прорываются вчастую. Новопришельцы, подделываясь к князьям, получали от них должности и называемы были, в отличие от старых, уже обжившихся, — *молодшими*, или *уными*. Всеволода укоряют за то, что он слушал *уных*. При всякой войне, более или менее удачной, князья возвращались с полоном; пленников селили в земле Южнорусской. Эти пленники были и русские, и инородцы. Вот, например, в знаменитые походы против половцев в 1103 и 1111 годах князья возвраща-

лись с полоном, и тогда половецкие пленники умножали народонаселение Русской земли. В 1116 году народонаселение Южной Руси увеличилось из разных концов сторонним приливом. Володимир воевал с кривичским князем Глебом. Сын его Ярополк с двоюродным братом своим Давыдом Святославичем взяли Дрютеск; жители его, приведенные в Южную Русь пленниками, поселены в новопостроенном городе Жельни. В тот же год князья по приказанию Мономаха ходили на Дон и пленили три города. Жители их, вероятно половецкого или вообще тюркского племени, сделались военнопленниками и поселены в Южной Руси. Тогда же Ярополк взял в плен себе жену, дочь ясского князя; без сомнения, одну ее взял он, но и других с нею, и вот часть ясского племени вошла в состав русского народа. В 1128 году Мстислав воевал Белорусскую землю, и тогда князья привели значительную часть пленников: *изворотишась со многим полоном* (Ипат. Л., 11). С другой стороны, когда Мстислав в 1130 году заточил кривичских князей в Грецию, то по их городам понасадил своих мужей, следовательно, сделался прилив населения из Южной Руси в Кривичскую землю. Владимир Мономах в 1116 г. посадил посадников на Дунае — любопытный этот факт остается темным; без сомнения, отправился посадник в далекую страну не один: с ним отправлено было известное население, долженствовавшее поддерживать киевскую власть в этой стране. Таким образом, когда Южная Русь наполнялась инородным населением, южноруссы поселялись в других странах Руси и, вероятно, ослабляли свой элемент в отечестве.

С конца XI века торки, берендеи и печенеги начали входить в русскую жизнь и составили часть южнорусского народонаселения. В 1054 и 1060 годах они являются во враждебном отношении к русским. Под последним из годов говорится об их изгнании, но через 20 лет видно, что они жили около Переяславля; позже являются они на правой стороне в городе, называемом их именем Торческ, стоявший на устье Роси. Новый прилив этого поселения в Русь совершился при Владимире Мономахе в 1116 году, когда жившие на Дону соплеменники прежде пришедших в Русь были разбиты и изгнаны половцами. Торки вместе с печенегами явились тогда в Русь. С тех пор эти народы, разделенные на три отрасли — торки, берендеи и печенеги, — составляли народонаселение берегов Роси (Поросье) и участвовали в междоусобиях князей. Имя черные клобуки было для всех общее и давалось им русскими по внешнему признаку (Изсл. Пог. У,194). Кроме этих трех отраслей встречаются другие названия, как, например, коуи, каепичи, турпеи и другие; иные назывались по родоначальникам, например, Бастеева чадь;

о других, как о каепичах и о коуях, можно заключать отчасти то же. Часть их обитала на левой стороне, около Переяславля, в Черниговской области, под разными племенными и местными именами. Нельзя думать, чтоб они были совершенно кочевой народ: когда они установились в Южной Руси, то кроме городов, служивших им приютами, они жили и деревнями, следовательно, должны были заниматься обработкою земли. Так, в 1128 году, когда разнесся слух, что половцы, заклятые враги торков, бросились на них, велено загонять их в Баруч и другие города на левой стороне Днепра. Народ полукочевой и воинственный, они составляли войско князей, и не имея прочной симпатии в краю, переходили то к той, то к другой стороне. В половине XII века, когда наступал разгар междоусобий, они тогда решали судьбу края. Их важное значение видимо особенно во время распрь Изяслава Мстиславича с Юрием. Так, при самом водворении Изяслава и перевесе его над Ольговичами в 1149 году их голос решает избрание Изяслава (ты наш князь, а Ольговича не хотим). Как важны были они для Изяслава Мстиславича, видно из следующего места: в 1150 году говорится: *аще уже в Черныа Клобукы въедем, а с ними ся скупим, то надеемся на Бога, то не боимся Гюргия, ни Володимера.* Князья искали возможности привлечь их на свою сторону, надеясь торжествовать. Под 1154 годом говорится, что об Изяславе плакали кияне и черные клобуки: здесь упоминание о черных клобуках показывает, что они играли важную роль в истории края. Они пользовались уважением по своей воинственности. Изяслав Мстиславич, посылая к угорскому королю и обнадеживая его в том, что сам он силен, дает знать, что его стороны держатся черные клобуки. В 1161 году князь Ростислав посылает к Святославу просить прислать своего сына в Киев, чтоб этот сын узнал людей *лучших* торков и берендеев. В 1159 году измена их Изяславу Давидовичу и переход на сторону князя Мстислава Изяславича решили судьбу княжения. Изяслав, видя себя оставленным берендеями и торками, должен был отказаться от искушения княжить в Киеве. Точно так же в 1172 году Мстислав и союзные ему князья должны были уступить силе Андрея Боголюбского, когда увидали, что *Черный Клобук под ними льстит*, то есть не держатся прямо их стороны. В 1192 году Святослав должен был воротиться из-за Днепра из предпринятого похода против половцев, потому что *Чернии Клобуци не восхотеша ехати на Днепр.* Их было значительное число (иначе они бы не имели такого важного значения) уже потому, что упоминается о многих городах, им принадлежащих. В 1156 году берендеи, имея у себя города по Роси, просили у князя Мстислава Изяславича еще по городу за

то, чтобы оставить сторону Изяслава Давидовича. В 1177 году упоминается о шести городах их, взятых половцами. Ведя сначала жизнь кочевую, они мало-помалу приучались к оседлости; получая от князей, в награду за помощь, города, служившие им для убежищ, куда они помещали свои семейства и пожитки, вместе с тем они получали и земли, к этим городам принадлежавшие. О многочисленности их можно тоже судить по величине отрядов, которые они могли выставлять. В 1172 году Глеб посылал для подъезда отряд в 1500 человек. Несколько раз упоминается о больших отрядах их, отправленных в поход, например, в походах против половцев. В 1183 году Святослав киевский *отряди молождшее князе перед своими полки... и Мстислав Володимирович и Берендее все с ним, было 2100.* В 1185 году *уведевше Кончака*, бежавша, послата по Кунтувдея, в 6000.

Кажется, будет справедливо в этом чужом племени, поселившемся среди русского населения и слившемся с ним впоследствии, искать предвестников казацкого общества. В XII веке в южнорусском Киевском крае воинская толпа, решавшая судьбу князей и края, состояла уже не из одних русских (славян), но и из инородцев, вошедших в русскую жизнь. Князь совершенно зависел от расположения к нему дружин и полка сбродной военной толпы; оттого князь должен был делиться с дружиною и своими выгодами, и оттого в числе похвал, расточаемых князьям, постоянно приводится и то качество, что добрый князь не собирал себе имения, но раздавал дружине: *бе бо любя дружину и злата не собирашеть, имения не щадяшеть, но даяшеть дружине* (Л. 139). Когда Киевом овладевали князья, прежде установившиеся в других землях, то привозили с собою из тех земель и мужей своих, которым и раздавали должности; эти мужи смотрели на новое свое назначение как на средство к личным выгодам и приобретали ненависть народа, поддерживаемую и теми знатными туземцами, которые по причине появления новых гостей лишались сами того, что давалось пришельцам. Как скоро князь умирал или был изгоняем, его мужи подвергались народной злобе: их грабили, а иногда и убивали. Так было при Святополке Изяславиче. Так со Всеволодом Ольговичем явились его приверженцы, вероятно из Чернигова, и когда Ольговичи должны были, в лице Игоря, уступить Изяславу Мстиславичу, киевляне ограбили и мужей Игоря. То же делали с суздальцами после смерти Юрия Долгорукого.

Все эти случаи показывают, как подвижно было население Киева и земли его. Мужи — бояре и дружина, располагавшие судьбою края, то появлялись, то исчезали, то возвышались, то

падали; в Руси не могло образоваться ни прочной княжеской власти, ни родовой аристократии, ни еще менее — народоправления.

Несмотря на такой порядок, не благоприятствовавший гражданственности, начала образованной жизни в материальном и духовном отношении, развиваемые христианством, не давали народу впасть в кочевую дикость. Сношения с Византией и Западом и давние торговые связи продолжали поддерживать стремление к гражданственности. Христианство распространило в народе понятие о духовной жизни и знакомило народ с книжным учением. В удельный период, до татар, в Южной Руси переводились и читались византийские книги, большею частью религиозного содержания; были и свои оригинальные писатели, не только духовные, но и светские, как это показывает песнь Игорева. Так образовалось в Южной Руси слияние гражданственности и духовного просвещения с дикостью и кочеваньем, начал свободы общественной с деспотическим произволом. Князья выбирались и признавались народным голосом, но народное значение сосредоточилось только в случайной толпе удальцов; утеснения и противонародные поступки власти наказывались судом массы, но масса эта была неправильно организована; отсутствие сословности, родовой аристократии, привилегии сословий, вместе с тем произвол случайно сильного и унижение слабого и незначительного — во всех этих чертах народной жизни виден зародыш будущего казачества.

В конце XI века Южнорусская земля обозначается уже по отделам своей народности: в Чернигове образовалась своебытная земля, в Волыни также, и в Червоной Руси. Судьба народа в этих отделах Южной Руси ускользает из истории, ибо летописи гораздо более заняты Киевом, а по отношению к другим областям говорят только о князьях. На Волыни центром сделался Владимир. Князь Ярополк Изяславич, посаженный Всеволодом, был изгнан сыновьями Ростислава, внука Ярославова; а потом выгнал Ростиславичей великий князь Всеволод и посадил там сына своего Владимира. Ярополк привел поляков, чтоб возвратить свое прежнее владение. Владимир уступил Владимир с Волынью Давиду и удержал Луцк, которого жители сами сдались; но потом Ярополк изгнал с помощью поляков Давида Игоревича и помирился с Владимиром Всеволодовичем; но, продолжая воевать с Ростиславичами, в 1086 году был убит под Звенигородом.

Во всех этих сказаниях участия народа не видно; ясно только, что судьба этого края не имела ничего прочного и власть над ней не определена и находилась в распоряжении случайно силь-

нейшего. Князья, с помощью ляхов-соседей, могли утверждаться, не спрашиваясь жителей. Но постоянное стремление утвердиться в известном городе показывает, что существовало в народе понятие о старейшинстве некоторых городов в своей земле. Эти города были Владимир и Луцк. В 1089 году явилось самобытное княжение Святополка в земле дреговичей, в Турове.

Время, когда Киев и вся Русская земля состояла под управлением князя Всеволода, летописцем-современником обозначено особенно ярко: его набожность, уважение к монахам и священникам и христианское благочестие приобрели ему похвалы (любя правду, набдя убогыя, воздая честь епископам и пресвуторам, излиха же любяше черноризци, подая ниже требованье их, беже и сам в здержася от пьянства и от похоти). Но управление его рисуется тем же летописцем не в привлекательном виде: *нача любити смысл уных, совет створя я ними; си же начаша заводити и негодовати дружины своея первыя и людем не доходити княжея правды, начаша тиуны грабити, людей продавати, сему неведущу в болезнех своих*

Здесь под уными разумеются новопришлые, люди недавно возвысившиеся и не связанные родовыми отношениями старины с народом: они, естественно, более думали о собственной выгоде, чем о правде. К умножению народного неблагополучия явились болезни — люди умирали различными недугами; осень и зима 1092 года были до того обильны смертностью, что в течение времени от заговенья на пост перед рождеством Христовым до мясопуста продано в Киеве 7000 гробов. Половцы делали набеги на села и города Южной Руси, преимущественно на левой стороне Днепра, но иногда прорывались на правую. Народ пугали разные явления, считаемые предзнаменательными, как, например, рассказывали, что когда Всеволод был на охоте за Вышгородом, то упал с неба *превеликий змий*; было землетрясение; думали видеть указание чего-то страшного для будущего в круге, явившемся посреди неба; от засухи земля казалась сгоревшею, воспламенялись боры и болота от неизвестных причин. Отовсюду приносились в Киев рассказы о разных чудесах и знамениях; но ничто до такой степени не казалось странным и непостижимым, как вести, приносимые из земли кривичей, из Полоцка: говорили, что там бесы разъезжают по улицам на конях, и кто только выйдет на улицу, того сейчас поразят, и тот умрет; начали и днем являться они на конях — только никто их не видел, — говорит летописец, — но *конь их видети копыта* (суеверие литовское: в литовской демонологии духи в виде всадников — обыкновенное страшное явление).

Ожидаемые народом бедствия разразились действительно

только при Святополке Изяславиче, сделавшемся князем киевским. Пришедши из Турова, он раздавал должности тем, которые сопровождали его оттуда. Они держали с ним совет; к киевлянам не было доверия. Половцы отправили послов к Святополку просить мира. Одни советовали примириться, но пришедшие с Святополком туровцы, соперники партии киевлян, настаивали на войне. Святополк пригласил Владимира Всеволодовича из Чернигова; отправились воевать, но в войске их не было согласия. Дружина каждого князя расположилась по-своему наперекор другим. Князья были разбиты у Триполья, и половцы страшным полчищем рассеялись по Русской земле, грабили, брали в плен. Так был взят город Торчский, населенный торками; его сожгли и повели жителей в плен: то был обычай половцев. "Тогда много страдали христиане (много роду хрестьанска стражюще), — говорит летописец: *печальни мучими, зимою оцепляеми, в алчи и в жажи и в беде, опустневше лици, почерневше телесы, незнаемою страною, языком испаленым, нази ходяще и боси, ноги имуще сбодены тернием, со слезами отвещаваху друг ко другу, глаголюще: аз бех сего города; а другиа: аз сея веси; тако съупрашаются со слезами, род свой поведающе и вздышюще, очи возводяще на небо к Вышнему*" (Лавр. Сп., 96). Вдобавок ко всеобщему горю в 1094 г. явилась саранча (прузи) и поела весь хлеб на корню. Сверх того сын Святослава, Олег, сдружился с половцами и при помощи их выгнал Владимира Всеволодовича из Чернигова, где княжил некогда отец Олега.

Тогда явился один энергический человек среди всеобщего разложения: Владимир Всеволодович, прежде княживший в Чернигове, а по изгнании оттуда Олегом — в Переяславле. Он умел, по крайней мере, дать отпор половцам, подвинул на ополчение и разбил врагов и тем поколебал их уверенность в своем превосходстве. Владимир был единственный человек в удельном периоде, задумавший установить прочную связь между княжествами. В 1094 году Олег из Тмутаракани с толпою половцев явился в Северской земле и выгнал Владимира, который перешел в Переяславль. Отсюда возникла между ними вражда. Когда Владимир старался подвинуть все силы русского мира для противодействия половцам, Олег мешал этой цели и держался с половцами, так как они ему доставили Чернигов. В Переяславле убили двух половецких князей, пришедших туда для заключения союза. Владимир не хотел было решаться на такое предательское дело, но дружина Ратибора, киевского тысячского, приговорила убить их, ибо они несколько раз преступали клятву. Дружина киевского тысячского, быть может, здесь имела значение веча киевского, и Владимир должен был ее послу-

шать. От Олега требовали выдачи одного из княжичей половецких, но он отказал. Тогда Владимир приглашал Олега вместе с князьями собраться в Киев и там положить ряд пред епископами и игуменами, и мужами и людьми градскими, как оборонять землю Русскую от поганых. Это было нечто вроде сейма всех земель, ибо мужи должны были находиться из других княжений и люди градские, вероятно, были не одни киевляне. Олег отвечал, что ему непристойно отдавать себя на суд епископам, игуменам и смердам. Неизвестно, в каком смысле сказал он последнее слово: назвал ли он презрительно смердами мужей, дружинников и людей градских или в самом деле там должны были быть и смерды. После этого вспыхнула война и разыгрывалась в Ростовской области, захваченной Олегом. Между тем половцы ворвались в Киев, ограбили и зажгли предместье и Печерский монастырь. В 1097 году война кончилась тем, что Олег должен был смириться. Назначенный съезд в Любече постановил, чтобы все князья довольствовались своими отчинами. Это постановление не было общим правилом навсегда: чтоб всякий князь, коль скоро он князь, непременно владел волостью; оно относилось только к существовавшим тогда княжеским отношениям. Главная цель этого съезда была — ополчение против половцев и взаимное действие против них; уклад княжеских владений был только средством к удобнейшему ведению войны с внешними врагами, а не целью (и сняшася Любячи на устроенье мира и глаголаша к себе рекуще: почто губим русскую землю, сами на ся котору деюще? а половцы землю нашу несут розно, и ради суть, оже межю нами рати? Да поне отселе имемся во едино сердце и блюдем русские земли, кождо да держит отчинну свою (Лавр. Сп., стр. 109); и притом не все князья получили волости: дети Святополка и Владимира не получили; о полоцких и вообще кривских князьях и о Новгороде нет помину. Вслед за тем Святополк и Давид Игоревич, князь Владимира-Волынского, привлекли к Киеву червонорусского князя, Василька, предательски взяли его, и он был ослеплен Давидом. Владимир поднял войну за такое беззаконие и подошел к Киеву. Киевляне могли испытать на себе наказание, ибо когда Святополк взял Василька, то спрашивал об этом киевское вече, и киевляне предоставляли своему великому князю на волю, как поступить с задержанным князем. Поэтому Владимир, идя карать за злодеяние, имел право мстить киевлянам. Действительно, в Киеве были люди, которые в угодность своему князю советовали ему поступить предательски с Васильком. Святополк хотел бежать. Киевляне его остановили, отправили к Владимиру посольство и помирили князей, с тем чтобы они отправились наказывать Да-

вида. Выгнали Давида, и Святополк посадил детей своих на его место. Вслед за тем Святополк хотел отнять Червоную Русь у Ростиславичей. Тогда Волынь сделалась сценою войны, без сомнения разорительной для жителей. Вмешались в дело угры, которых призвал Святополк, вмешались половцы, призванные Давидом. Половцы одолели. Но волынцы стали против Давида и передавались киевскому князю. Наконец, при посредстве Владимира, эта усобица прекратилась тем, что Давиду дан Дорогобуж, — оставили его таким образом без наказания за злодеяние над Васильком и только предали смерти мужей — его советников.

После прекращения распрей Владимир Всеволодович, сделавшийся главным двигателем событий, душою века, соединил князей и дружины их в поход против половцев в 1103 и в 1110 годах. Оба похода были очень удачны. Не ограничивались только охранением пределов Русской земли от набегов, а сговорились войти в степь, где половцы кочевали на востоке от русских пределов, между Ворсклою и Доном, хотели навести на них страх и охладить надолго, если не навсегда, отвагу, с какой они нападали на Русь. Ополчение состояло не только из княжеских дружин, но и из простого народа, смердов, взятых с "рольи": дело было народное. Когда дружинники возражали на совете, что не следует отрывать весною смердов от рольи, Владимир отвечал им: "удивительно, как это жалеете смердов и лошадей их, а того не помышляете, что половчин наедет весною, отнимет у смерда коня, и самого с женою и детьми повлечет в неволю, и гумно зажжет". Чтоб придать этому ополчению религиозное значение, Владимир пригласил священников с образами: они шествовали пред полком и пели кондаки честному кресту и канон пресвятой Богородице. Это имело нравственное влияние: русские одержали победу над половцами; город половецкий Шарукань сдался, а город Сугров сожжен. На реке Сальнице половцы претерпели сильное поражение. Рассказывали, что русским князьям помогали ангелы и срубливали неверным головы невидимо! Когда привели в Киев пленников, то они говорили: "как можем мы с вами биться, когда другие ездят поверху вас в светлом оружии, страшные, и вам помогают!" Говорили, что самый поход против половцев внушен был свыше: Владимир ночью видел при Радосыне видение в Печерском монастыре — огненный столп, стоявший на трапезнице; он переступил над церковь и потом полетел по воздуху за Днепр, по направлению к Городцу: этим указывался воинственный путь русским против врагов креста Христова. Этот поход произвел сильное впечатление на народное чувство. Его-то, как видно, воспел вещий Боян; его слава — говорит летописец — разнеслась по странам дальним, "ко греком и угром, и

лехом и чехом, дондеже и до Рима пройде!" Рим представлялся в народном воображении пределом известного, особенно славным и почтенным местом, далее которого почти не восходили географические знания. Уважение к Риму поддерживалось в народе жившими в Киеве в значительном числе католиками.

Блестящие подвиги против половцев, энергическая защита Русской земли, сочувствие к народу, неутомимая деятельность и быстрота, которая проявляется в характере Владимира, рисующемся в его поучении детям, попытка установить что-то новое, общее для Русской земли — все обличает в Мономахе человека выше остальных, и неудивительно, что народ любил его и долгое время сохранил его память. Вражду его с Олегом и междоусобия по поводу ее нам теперь трудно оценить. Некогда был в нашей литературе спор по этому предмету. Но такой спор основывался единственно на соображении прав родовых между князьями, которые вообще были неопределенны и остаются до сих пор темными. Народ не всегда соображался с ними; еще тогда не угасла самодеятельность народной жизни, а потому выше прав родовых стояло право призвания. Если Ярослав и поделил уделы между сыновьями, то этим еще он не установил какого-нибудь твердого порядка для дележа потомкам, чтобы каждый князь по какому-нибудь родовому праву необходимо должен был получить такую или другую землю. Нельзя признавать исключительного права Олега на Чернигов, когда отец его хотя и получил от Ярослава Чернигов, но после того, овладев Киевом, изгнал оттуда Изяслава и сделался сам киевским, а не черниговским, князем; столько же права имел на Чернигов и Всеволод, бывший после Святослава, а потом Мономах, княживший в Чернигове после Всеволода (Лавр. Св., стр. 85-87). Ученые наши искали порядка и системы в преемничестве удельных князей, но вопрос проще объясняется — участием народа, иногда изображаемого шайкою дружины, иногда кружком богатых, иногда случайною толпою всякого рода удальцов; пользуясь случайною силою, они признавали, чтоб был князем тот-то, а не другой — вот и право! При такого рода праве, конечно, претенденты достигали своих целей тем, что подбирали себе толпу приверженцев и старались посредством этой толпы получить власть: сила и удача решали вопрос. Преемничество по праву было еще, так сказать, в зародыше; образовалось сознание, что княжеский род должен править Русскою землею, но в каком порядке — это еще не установилось и не обозначилось. Самая ближайшая форма, входившая в сознание, была, конечно, преемничество сыновей по отцу: правил отец — правил сын; возникло понятное выражение *"седе на столе отца и деда своего..."* Но так как было много

таких, которых отцы и деды сидели на столах, то выбрать из них и уладить их между собою предоставлялось воле народа, которая не могла, как мы уже выразились, быть чем другим, как только волею случайной толпы. Мономах первый бросил мысль о более ощутительном, правильном способе ее проявления; но, как видно, и он сам неясно еще представлял образ, в каком этот способ должен был проявиться.

Правление Святополка было во всех отношениях тягостно для народа: кроме беспрестанных поражений от половцев, народ терпел от корыстолюбия князя и его подначальных должностных лиц. Сначала он окружил себя пришедшими с ним туровцами, которые были чужды киевлянам и думали о своей выгоде; в чужом городе они привязаны были к одному князю, а не к земле; когда князь обжился в Киеве, около него группировались и киевляне; делаясь боярами, то есть людьми знатными и богатыми. Как пришельцы, так и бояре-киевляне налегали тягостию на народ; извлекая из него выгоды и себе, и князю, — отдали торговлю в руки жидов. Какой необузданный произвол допускал себе князь, его дети и бояре — видно из рассказа о печерском иноке, которого истязали по доносу, будто бы он нашел сокровище. Народ должен был поневоле терпеть и в противном случае бояться худшего. Половцы терзали страну; если бы князя прогнали, то он ушел бы, конечно, к половцам: на дочери хана половецкого он был женат; и тогда было бы еще хуже; те, которые решились бы надеяться на иного князя, сами подверглись бы гибели, и край подвергся бы пущему разорению, как это уже было тогда, как прогнали отца Святополкова.

Но когда умер Святополк, негодование, при его жизни таившееся, вспыхнуло. Жадный и жестокий князь успел составить партию. Это были бояре и дружина, жившие под крылом его на счет народа. Иудеи — торгаши и ростовщики, а также и между духовными и монахами были сторонники его: он строил церкви, основывал монастыри, построил один из важнейших монастырей — Михаила, названный потом Златоверхим. Тогда, по духу времени, растолковано и затмение, бывшее за месяц до его смерти предзнаменованием великого несчастия — кончины князя: говорили, что это знамение не на добро. На погребении его плакали бояре и дружина; было чего им плакать, когда они лишались своего благодетеля и покровителя, и видели мрачные лица народа, чувствовавшего, что пришла пора расплаты. Вдова князя думала умилостивить господа бога о душе грешного супруга, раздавая милостыню монастырям, попам и убогим. Была до такой степени эта милость щедра и обильна, *яко дивитися всем человеком, яко такои милости никтоже может створити.* В

порыве благочестия княгиня хотела зле собранное добре расточить, облегчая между прочим и судьбу тех нищих, которые повергнуты были в нищету корыстолюбием правителя, которому на награбленные у них деньги вдова думала купить спасение души. На другой день, 17 апреля 1113 года, собрались киевляне на вече и приговорили звать Владимира на княжение. Желание иметь его князем оправдывалось и тем, что он имел родовое право на стол отец и деден, ибо его отец был князем киевским. Но Святополк имел сына, и его сын мог также прийти на стол отец и деден. Таким образом, здесь наследственное достоинство служило только освящением народному праву, и последнее употребляло его различно. Владимир сначала отказывался. Тут, кажется, была та причина, что Владимир хотел уклониться от суда над теми, которые были обречены уже на кару народом: как князь, он должен был судить их; он расчел, что он или наживет тогда себе врагов, или не угодит народу, если станет охранять тех, которых народ невзлюбил, и лучше предоставил народу расправиться с нелюбыми себе по своему желанию прежде чем он, Владимир, прибудет. По русскому обычаю те, которые были виновны против народа, отдавались на поток, то есть на разграбление: таким образом ограбили жидов, ограбили двор Путяты тысячского и сотских. Тут, чтоб предотвратить дальнейшие сцены народной мести, некоторые киевляне послали снова просить Владимира прибыть поскорее, потому что иначе — писали к нему простодушно — *пойдут на ятров твою и на бояр и на монастыре, и будеши ответ имел, княже, — оже ти монастыре разграбят.*

Христианство, как мы говорили уже, в числе коренных понятий гражданских вносило к нам неприкосновенность монастырей, неподлегание их светскому суду. Хотя народ и ощущал страх пред святостию обителей, но не до такой степени, чтоб этот страх мог остановить разгар народного суда. Святополк грабил народ и раздавал монастырям. Ограбили жидов, ограбили тысячского и сотских — это значит воротили то, что несправедливо было захвачено; надобно было и монастыри грабить: и у них было неправедно собранное имение. Но духовные говорили, что всякое посягновение на святые обители повлечет божие наказание над народом и всею страною. Людям рассудительным следовало предохранить монастыри и спасать тем самым страну и народ от божия гнева за святые обители, если б они пострадали. Так в то время слагались понятия.

Когда Мономах вступил в Киев, это был день искренней радости. Народное восстание улеглось. Любимый народом князь собрал киевлян, составлен был охранительный для народа закон

о *резах*: постановлено было, что ростовщик может брать только три раза проценты, а когда уже возьмет столько, сколько стоит самый капитал, то не может брать более процентов.

Володимир Всеволодович по Святополце созва дружину свою на Берестовом, Ратибора Киевского тысячского, Прокопию Белогородского тысячского, Станислава Переяславского тысячского, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдиновича Ольгова мужа, и уставили до третьего реза, оже емлет в треть куны: аже кто возмет два реза, то взяти ему исто, паки ли возмет три резы, то иста ему не взяти. Позволительный процент был 10 кун на гривну. В этом деле заинтересованы были жители Переяслава и Чернигова, ибо из Переяслава был тысячский *и от Ольга*, следовательно, из Чернигова. Это понятно, ибо Чернигов должен был находиться в непосредственном коммерческом отношении с Киевом и, следовательно, там должны были отзываться плоды сильной лихвы. Должно думать, что этому же времени принадлежит составление и других статей, следующих за этой в "Русской правде", именно о купцах, о долгах и закупах.

Стечение обстоятельств усложняло вопросы. Частые войны и нашествие половцев разоряли капиталы; являлись неоплатные должники, являлись под видом неоплатных должников и плуты. Откуда процентщина развилась в Киеве, поясняет следующая за тем статья: *Аже который купец кде любо шед с чужими кунами истопиться, любо рать возмет или огнь, то ненасилити ему: ни предати его.* Таким образом, открывается, что когда одни рисковали, подвергали опасностям дом, жизнь и имение, другие давали им деньги на проценты. У кого были деньги, те не отваживались ими рисковать и предпочитали брать проценты, оставаясь в Киеве; находились предприимчивые, которые занимали деньги у других и подвергали себя труду и риску, конечно, надеясь приобрести себе значительные выгоды; другие же служили вроде комиссионеров у купцов, брали у них товар и, не платя за него денег, торговали им, а выплачивали после. Проценты более и более возвышались; пускать деньги в торговый оборот капиталистам становилось более и более опасно; бравшие у них взаймы деньги подвергались несчастиям и потерям, не получали выгод, а проценты считались за ними и нарастали; возвышались вместе с тем и цены на товары, и народ терпел от дороговизны. При множестве неоплатных должников юридические понятия должны были спутаться, возникали частые обманы. И вот, при Владимире, разрешили этот вопрос. Положили различие между тем купцом, который действительно потеряет от рати или от непредвиденных бедствий, как-то: от воды или от огня, и между тем, который *пропиется оли пробиется и в*

безумии чюжь товар испортит. В слове *"пропиется"* встречаем обычное качество руского народа, а в слове "пробиется" оказывается, по-видимому, то обстоятельство, что пьяницы-гуляки затевали ссоры, драки и потом принуждаемы были платить виры и продажи. Тут нельзя было отговариваться чужим имуществом: требовали сейчас же виры и брали у виновного что ни находили. До этого времени, видно, смотрели прямо: кто задолжал, тот заплати тем, что есть; но частые несчастия должны были изменить взгляд. И вот установили, чтобы при несостоятельности купца принимать во внимание, от какой причины он несостоятелен: в случае уважительных причин он, однако, не избавлялся, при всем том, от платежа процентов по условию. Вместе с этим некоторые брали капитал по частям у разных лиц, и нередко князья участвовали в доле и отдавали свои капиталы в торговлю: это было нечто вроде компании, которая препоручала одному торговую деятельность за всех. Так представляется дело. В случае несостоятельности торговца, набравшего у других капиталы, суд над ним производился публичный: его вели на торг или продавали имущество его. До Владимира Мономаха было в обычае, что те, которые прежде других давали банкроту свой капитал, имели право на преимущественный пред другими возврат своего достояния; но теперь постановили, что уже не первый по времени имеет преимущество, а во-первых — гость, во-вторых — князь. Вот в этом изменении можно заметить, как прежние понятия равенства личных прав уступают составлявшемуся понятию о первенстве. Личность князя начала выступать уже в том образе, в каком впоследствии явился у нас казенный интерес, хотя еще княжеское достоинство не успело стать на царственную ногу. Есть еще лицо, имевшее в этом случае первенство пред самим князем: это гость, *из иного города или чужеземец*; он дает товары не зная, что покупатель уже задолжал многим. Это, конечно, установлено как в тех видах, чтоб не отогнать, но привлекать в Киев иноземных торговцев, так и по чувству справедливости, ибо, действительно, тот, кто приезжал в Киев из других стран, мог не знать обстоятельств того, кому доверял. В статье, касающейся этого предмета, кажется, следует понимать дело так, что гость имеет преимущество пред самим князем (см. текст "Русской правды" Калачова, стр. 32). Вместе с развитием вопросов о долговом обязательстве возникли вопросы о наемных людях, закупах, которых решение в "Русской правде", очевидно, принадлежит временам Владимира Мономаха. Набеги половцев, дороговизна, процентщина, корыстолюбие князей и их чиновников — все способствовало тому, чтобы масса нищала, а немногие частные люди обогащались. Обедневшие не

в силах были прокормить себя по причине дороговизны; разоренные от половцев, оплакивая томящихся в плену домашних, шли в наемники к богатым. Но тут, как следовало, должны были возникнуть недоразумения. Вероятно, много было взаимных жалоб, и они-то привели к составлению статей и законоположению для охранения тех и других. Видно, что, с одной стороны, эти закупы, взяв деньги от господина, давали иногда тягу; а с другой стороны, господа взваливали на них разные траты по хозяйству и на этом основании утесняли. Закон позволяет закупу идти жаловаться на господина к князю или к судьям, определяет возрастающую, по степени важности, за обиды и утеснения закупа пеню в его пользу от господина, охраняет его от притязания господина в случае пропажи какой-нибудь вещи, когда в самом деле закуп не виноват; но, с другой стороны, предоставляет его телесному наказанию по воле господина, если закуп действительно виноват: *оже господин бьет закупа про дело его — без вины есть*, и в случае побега угрожает ему полным рабством: *оже закуп бежит от господина — то обель*. Кроме закупов, служивших в дворах у господ, были закупы ролейные, поселенные на землях и обязанные работою владельцу; иные получали плуги и бороны от владельцев — это также показывает обеднение народа, ибо, как видно из "Русской правды", не было ни в праве, ни в обычае, чтобы такой закуп или полевой работник непременно получал орудия от владельцев.

Из этого видно, что тогда землевладельцы, обедневши, лишенные всяких средств к свободному труду, принуждены были наниматься в работники, и такие работники и закупы попадали в чрезмерный произвол владельцев. Владельцы посылали их на работы и придирались к тому, что они не берегут орудий; обвиняли их, когда у них случались покражи, и клали им это в счет платы; таким образом, бедняки находились в неисходном положении — вынужденные быть всегдашними рабами, зависящими от произвола сильных; наконец, владельцы даже продавали их в рабство, пользуясь своей силой. Все это при Владимире Мономахе предотвращается. К этому периоду нашего законодательства должны, как кажется, относиться и многие постановления, определяющие положения рабов (холопов); потому что во всех списках статьи, определяющие значение холопов, поставлены после статей, определенных Владимиром: очевидно, что так как многие, пользуясь бедностью народа, обращали в рабство служивших у них закупов или свободных людей, то и возникла необходимость определить: что такое холопство, кто должен был считаться вольным. Конечно, по юридическому понятию, известный взгляд существовал и до того времени; теперь он вошел в законодатель-

ство с прежних обычаев. Холоп обельное признано трех родов: первый вид был покупка, — иногда продавался человек сам в холопы добровольно: в таком случае согласие покупаемого объявлялось пред свидетелями — *послухы поставит*; другой покупал рабов у господ, но непременно при свидетелях и давал задаток, хотя малый (ногату), в присутствии самого получаемого холопа. Второй род холопства сообщался принятием женщины рабского происхождения в супружество без всякого условия — факт замечательный, показывающий, что были случаи, когда женщины избегали рабства выходом в замужество; без сомнения, это были частые случаи и потому-то оказалось нужным установить правило. Наконец третий род холопства — свободный человек без всякого договора сделает должностным лицом у частного человека: *тивунство без ряду, или привяжет ключ к собе без ряду*... Таким образом, служба сама по себе уподобилась рабству: иначе непременно нужно было условие; это, вероятно, произошло оттого, что, во-первых, многие холопы избегали рабства, как скоро брали на себя должность; во-вторых, что свободные люди, приняв должность, позволяли себе разные беспорядки и обманы, и, за неимением условий, господа не могли искать на них управы. Отношения усложнялись и требовали условий и договоров. Только исчисленные здесь люди могли быть холопами, прочие — не холопы в даче не холоп (т. е. если дали ему в долг), ни по хлебе роботят (если и за хлеб работает), ни по придатьце (?); но всякий, кто взял в долг, может отработать то, что получил, и отойти. Замечательно, что по всем статьям "Русской правды" не делаются более холопами военнопленные, — об этом уже нет речи.

Бегство холопов было обыкновенным явлением, как и в последующие времена, а потому и в этот период возникли также постановления относительно их поимки. Беглые холопы обыкновенно находили себе убежище у других господ, которым служили, будучи обязаны им приютом, а когда эти новые господа начинали с ними обращаться строго, — убегали от них и искали иных. Для предотвращения этого постановлено: тот платил, кто, зная беглого холопа, даст ему хлеб или укажет путь, и напротив, — устанавливалась плата в награду за поимку и задержание беглого холопа. Были случаи, когда господа доверяли своим холопам разные дела и посылали их торговать. Таким образом, холоп был тесно, юридически, связан с господином и был членом его дома, так что за него господин отвечал. В случае, если бы холоп занял денег и заимодавец знал, что занимает холоп, то он давал не холопу, а господину, и господин обязан был или заплатить то, что взял холоп, или лишиться холопа; точно такое же пра-

вило наблюдалось и тогда, когда холоп был пойман в воровстве: господин отдает холопа тому, у кого он украл, или выкупает его, платя цену украденного.

Холоп был поставлен ниже всякого свободного. Но положение его в это время по правам состояния, кажется, было выше, чем при Ярославе. Прежде за побои, нанесенные холопом свободному человеку, следовало убить холопа, а при детях Ярослава положено только брать куны; холоп вообще лишен был права быть свидетелем, но, в крайней необходимости, можно было ссылаться на такого холопа, который занимал у своего господина должность...

Во времена Владимира и сына его Мстислава (1113-1125 гг.) мало представляется живых сторон народной жизни в Южной Руси; по крайней мере, в наших летописях они как бы скрадываются под иными событиями. Вообще, вероятно, народ, несколько успокоенный рукою Мономаха, менее испытывал страданий и внешних и внутренних. Впрочем, в 1124 году было бездождие, которое, естественно, должно было повлечь скудость; был и сильный пожар в Киеве. В эти два княжения совершалось заселение Южной Руси переселенцами.

Нам неизвестны обстоятельства вступления на великокняжеский стол сыновей Мономаха, одного за другим, но здесь не руководило право наследства после отца. По смерти Мстислава сделался князем не сын его, а брат — верно по желанию киевлян; но тут в Южной Руси начались сумятицы, имевшие печальное влияние на судьбу народа. Начал дело черниговский князь Всеволод. Дикий, необузданный, он еще прежде, в Чернигове, напал на своего дядю Ярослава, дружину его истребил и выгнал его. Мстислав, хотевший помочь изгнанному Ярославу и наказать Всеволода, оставил это намерение по просьбе андреевского игумена Григория, уважаемого по своей святой жизни: он убедил его не поднимать войны. Конечно, у Всеволода черниговского была сильная партия в Черниговской земле, когда надобно было опасаться войны. Мстислав жалел потом, что послушал игумена.

С преемником Мстислава, Ярополком, который, как кажется, был человек слабый, Всеволод вступил в борьбу. Поводом было то, что брат Ярополка, ростовско-суздальский князь, требовал себе Переяславль и отдавал Ярополку Ростов и Суздаль. Эта борьба князей причинила народу разорения. Сначала Ярополк с киевлянами пленил около Чернигова села и загнал людей в Русскую землю. Потом, в отместку, Всеволод, видя, что приходится ему бороться не с одним русским князем, но и с другими детьми Мономаха, призвал половцев. Вопрос так запутался, что

дети Мстислава, племянники Ярополка, недовольные дядей, пристали к Всеволоду. Половцы напали на Переяславскую страну, избивали людей по пути, жгли селения, дошли до Киева, — в виду Киева на левой стороне зажгли городок, хватали людей в плен, других убивали; люди бросались спасаться на другой берег и не успевали, потому что тогда таял лед на Днепре. На другой, 1136, год опять Всеволод с братией своею осадил Переяславль, вступил в битву на реке Супое, потом подходил к Киеву. Эти походы сопровождались разорением селений и пленом людей. Князья мирились и опять начинали междоусобие. Ярополк вошел с войском киевским в Черниговскую область и начал опустошать ее. Но в 1139 году черниговцы потребовали, чтобы Всеволод помирился и не бежал к половцам. Своих сил ему было недостаточно — Всеволод должен был примириться. Этот факт показывал, как междоусобия вообще поддерживались охотниками и истекали столько же из нравов народа, сколько и князей. Народ мог бы прекратить их, если бы в то же время, когда князья воевали между собою, не возбуждались и народные страсти, и удаль не тянула бы охотников на бранное поле.

Как только умер Ярополк и вошел в Киев брат его, Вячеслав, то Всеволод опять очутился под Киевом и начал зажигать дворы перед городом в Копыревом конце. Такими-то средствами он заставил себя признать князем. Вячеслав добровольно уступил. Киевляне признали Всеволода...

Новый князь привел с собою своих черниговцев и раздал им должности и городское управление. Сила его, очевидно, заключалась в черниговцах, которым льстило то, что они со своим князем делались решителями судьбы русского мира. Опираясь на эту силу, он деспотически требовал перемещения князей с места на место. Когда в 1146 году почувствовал он близость смерти, то хотел утвердить вместо себя Игоря. Он начал просить киевлян призвать его своим князем. Киевляне не терпели ни Всеволода, ни его рода, но притворились, что желают иметь его брата. Собралось вече под Угорским; целовали крест Игорю. Чтобы власть его была тверже, ему целовали особо крест вышгородцы. Вышгород, как кажется, тогда только получил значение свободного города, а прежде был пригородом Киева, и князь киевский само собою был и вышгородским; теперь напротив, Вышгород также присягает особо. Это показывает, что Вышгород достиг большей самобытности. Пока Всеволод был жив, киевляне хитрили и должны были прибегать к обыкновенной рабской уловке — притворству; но когда Всеволод умер, тотчас же собрали вече и потребовали на него Игоря. Игорь послал брата Святослава. Киевляне выговорили ему, что у них тиуны

княжеские, что собирают княжеские доходы люди корыстолюбивые и дурные. *Ратша ны погуби Киев, а Тудор — Вышгород*, говорили они; теперь целуй крест, князь Святослав, с братом своим: кому будет обида, то ты оправляй. Святослав сошел с коня и поцеловал крест в том, что будут у них тиуны выборные по их воле. Тогда киевляне подняли на поток и Ратшу, и Тудора, и ограбили Всеволодовых мечников. Игорь послал было утишать восстание; киевляне зато пригласили вместо Игоря князем к себе сына Мстислава Мономаховича, Изяслава, бывшего тогда в Переяславле. Этого князя избрали не только киевляне и вышгородцы, но из других городов — из Белгорода и Василева, от всего Поросья и от черных клобуков было к нему призвание сделаться князем Киева и Русской земли. Здесь, сколько известно, встречаем в первый раз избрание князя всей Русской землей (землей полян) правой стороны Днепра. Видно, народ почувствовал, что может распоряжаться своею судьбою вопреки внешней силе, столь долго его подавлявшей. Пока Изяслав не подступил к Киеву, киевляне держали свое избрание в тайне от Игоря: доказательство, что у Игоря кроме киевлян была тогда чуждая черниговская дружина: как Всеволод держался приходом черниговцев в Киев, так и Игорь еще не решался довериться киевлянам вполне: ладил с ними и уступал им, но в то же время держался за чужую киевлянам силу. Эта-то нерешительность и погубила его дело. Киевляне уговорились изменить Игорю тогда, когда уже Изяслав вступил в сражение. Так и сделалось. Полки Игоря и его брата были разбиты. Сам Игорь схвачен в болоте и посажен в поруб, в подземную тюрьму. Такого понятия не было, чтобы князь, по важности своего происхождения, был изъят от грубого обращения: и с князьями в подобном случае обращались как с простыми. Порубы были так неудобны и так дурно было сидеть там, что Игорь заболел и захотел в монахи. Между тем брат Игоря, Святослав черниговский, пытался освободить брата из неволи. Открылась война в Северской области — война довольно разорительная для жителей, особенно в Новгороде-Северском. Враги больше, однако, разоряли села князей, с которыми воевали, сожигали гумна и стоги, забирали стада, составлявшие хозяйственное богатство, побрали в погребах мед в *бретьяницах*, железо и медь. *Церкви княжеские считались тоже достоянием князей*, — их грабили; а рабов княжеских делили, как скот. У Святослава взяли таким образом до 700 рабов. Между тем князья, двоюродные братья Святослава и Игоря, державшиеся стороны Изяслава Мстиславича, в надежде приобресть себе всю Черниговскую волость потом изменили ему. Киевляне, любя своего князя, как только услышали

об этом, бросились с неистовством в монастырь, где был Игорь, выволокли его на вече и убили варварским образом: полуживого его тащили через торг ужем за ноги. Так как он был уже монах, то духовенство стало смотреть на это дело как на нарушение духовной неприкосновенности, и распространился слух, что над телом убитого зажигались свечи: впоследствии его причислили к святым.

Киевляне так глубоко уважали память Мономаха, что, несмотря на привязанность к избранному ими князю, не энергически воевали против дяди его, Юрия Долгорукого, князя суздальского, когда тот, соединившись с Ольговичем, стал добывать Киев себе. Киев несколько раз переходил то к Изяславу, то к Юрию. Изяслав бегал на Волынь и опять возвращался в Киев. Так продолжалось до 1154 года. В этой сумятице рушился порядок управления в Руси. Черные клобуки, торки, берендеи, инородные поселенцы своим участием решают судьбу края; с одной стороны угры, с другой поляки, с третьей половцы, приглашаемые претендентами, также вмешиваются в дела Руси; право сильного решает дело. Замечательно, когда после смерти Изяслава Мстиславича началась такая сумятица, что на княжении в Киеве не было никакого князя, то киевляне избрали первого, кто им попался из рода Ольговичей, Изяслава Давидовича, потому что совершенно без князя оставаться казалось им невозможным. *Поеди Киеву, ать не возмут нас Половцы: ты еси наш князь, поеди к нам.* Но когда Юрий пошел на Киев, то Изяслав должен был уйти, и киевляне с радостию принимали Юрия. По смерти Юрия, случившейся через два года (в 1158 году), происходили такие же сцены, как и по смерти Святополка и Всеволода Ольговича. Юрий, подобно прежним князьям, привел с собою суздальцев и раздал им города и села; по смерти его всех побили киевляне, имения их пограбили; ограбили и двор Юрия, названный им раем. Уважая долго Юрия как сына любимого ими Мстислава, киевляне не в силах были сдержать своего нерасположения к суздальцам. С тех пор князья являлись в Киев по воле воинственных шаек, без наблюдения какого-либо права. Сначала Изяслав черниговский, потом Ростислав смоленский, брат Изяслава Мстиславича, потом сын Изяслава Мстиславича, Мстислав Изяславич; последний, сидевший на Волыни, был призван киевлянами от себя, а черными клобуками от себя, и должен был делать *ряд* (условие) с теми и другими.

До 1168 года в жизни народной не видно ничего выдающегося. Южная Русь подвергалась мелким однообразным междоусобиям. В 1159 году пострадал Чернигов: окрестности его были выжжены половцами, приведенными в край князем Изяславом

Давидовичем против Ольговичей. Достойно, однако, замечания, что князья, употребляя половецкие орды в своих взаимных усобицах, считали долгом оборонять от них торговые пути. Из этих путей один назывался путем *гречников*, или греческим, а другой *залозным*. Первый назван так потому, что по нем привозили из Греции товары и увозили в Грецию русские. Опасное место для гречников были пороги, не только по причине затруднительного плавания, но и по причине грабежей от половцев в этих местах. Князья должны были ходить туда с войском на защиту торговцев. В 1167 году несколько князей со своими ополчениями должны были держать караул у Канева, пока пройдут гречники и залозники. Это торговое путешествие совершалось около известного времени в году. В 1169 году князья снова должны были защищать торговые пути; при этом в числе путей, обеспокоиваемых половцами, упоминается и *соляной* путь.

Войны с половцами шли удачно, но в 1169 году Киев испытал такое разорение, какого давно не помнил: князь Андрей суздальский, закладывая могущество Восточной Руси, послал в Киев войска с одиннадцатью князьями. Дело решено было берендеями: они изменили киевскому князю Мстиславу и передались на сторону Андрея. 8-го марта Киев был взят, и два дня его грабили. Вот как описывает это бедствие летописец: *взят же бысть град Киев месяца марта 8, в второе недели поста в среду, и грабиша за два дни весь град, Подолье* Гору, *и монастыри и Софью и Десятинную Богородицю, и не бысть помилования никому же ниоткудуже, церквам горящим, крестьяном убиваемым, другым вяжемым; жены ведоми быша в плен, разлучаеми нужею ри мужей своих; младенци рыбаху, зряще материй своих. И взяша именья множество, и церкви обнажиша иконами и книгами и ризами и колоколы изнесоша вси, Смоляне, Суждальци и Черниговци, и Олегова дружина, и вся святыня взята бысть; зажжен бысть и монастырь Печерский святыя Богородицы от поганых, но Бог молитвами святыя Богородицы сблюде и от таковыя нужа. И бысть в Киеве на всих человецех стенание и туга и скорбь неутешимая и слезы непрестанныя . Се же все сдеяшася грех ради наших* (Ип. Сп.,100). С тех пор судьба Киева еще более, чем прежде, зависела от сильнейшего. Андрей думал было назначить туда подручного себе князя и сохранять верховное управление над Русскою землею, пребывая сам во Владимире, но тут стали против него сыновья Ростислава, смоленского князя, брата Изяслава Мстиславича. Один из них, Мстислав Ростиславич, с киевлянами, энергически сопротивлялся и храбро отбил ополчение Андрея от Вышгорода. Владимирскому князю не удалось приковать Киева и Южнорусской земли к новому

центру русской федерации. Но и князья в Южной Руси уже яснее сознавали, что ни за кем из них нет родового права на древнюю столицу: каждый старался только, чтобы захват Киева мог служить благоприятным обстоятельством для его выгод. Таким образом, когда Ярослав, луцкий князь захватил Киев в 1174 году, то Святослав черниговский говорил ему, что он не разбирает — право или неправо он сел; но что все они, князья, одного деда внуки, и потому ему надобно дать что-нибудь из (Киевской) Русской земли.

После Ярослава захватил Киев Роман Ростиславич. Он опирался на "соизволение" Андрея Боголюбского, который начал тогда брать верх над князьями; но когда Андрей умер, то черниговский князь Святослав принудил его удалиться и сам сделался князем в Киеве. Участие народа не изображается при этих переменах, оно было и выражалось тем, что при каждой смене князей удалые воинственные шайки держали сторону того или другого князя, переходили от одного к другому, боролись между собою, грабили и убивали друг друга, возводили своих князей, ссорили их между собою и разоряли край, не успевавший поправиться после каждого переворота. В случае несогласия князя с толпою, которая возводила его на княжение, он решительно проигрывал. "Князь, ты задумал это сам собою. Не езди, мы ничего не знаем", — сказали Владимиру Мстиславичу его бояре; и черные клобуки также стали отступать, когда увидели, что дружина не пошла за намерением князя, и он оставил свое покушение. Массы черных клобуков, торков, берендеев способствовали разложению соединительных стихий: недостаток сознания об отечестве в этих чужеплеменниках приводил их к тому, что у них не было даже на короткое время определенного стремления; защищая князя, давая ему *роту*, они легко отступали от него в минуту опасности и переходили к другому. Оттого так часто говорится о том, что черные клобуки, составляя ополчение князя, льстили под ним. Князья с их партиями перестали даже думать о прочном утверждении; по опыту и по бесчисленным примерам они уже привыкли к непостоянству судьбы своей и были довольны, когда успевали схватить то, что попадалось им в руки на короткое время. Так, например, в 1174 году Святослав Ольгович напал на Ярослава Изяславича в Киеве, — тот бежал; Святослав ограбил его приверженцев, а дружину его захватил с собою в плен и ушел. Ярослав прибыл в Киев, собрал вече из киевлян и говорил им: *теперь помышляйте, чем мне выкупить княгиню и дружину*. И пред ним отвечать своим достоянием должны были киевляне, уже прежде ограбленные Святославом (*стоит Киев пограблен Ольговичи*). Ярослав обложил

всех: и духовных, и светских, и иностранцев, живших в Киеве: *"попрода весь Киев, игумены и попы, и черньце и Латину и госте, и затвори все Кыяне"* (Ип. Сп., 111). Это насилие он мог сделать лишь вместе с пришлыми волынцами из Луцка, ибо пред тем, когда Святослав напал именно на Киев, тот же самый князь Ярослав не смел *затворитися один* и бросился в Луцк; следовательно, как скоро он теперь имел возможность так поступить с киевлянами, то значит — привел с собой силы из Луцка. Вслед за тем Святослав умирился с Ярославом: в потере остался один киевский народ, дважды ограбленный тем и другим из ссорившихся князей. Этот случай может дать понятие о том, как действовали на народ княжеские междоусобия. Всего более должен был страдать сельский народ, который, конечно, играл здесь совершенно страдательную роль. Рассорился Святослав с Олегом, северским князем — и *пожже волость его и много зла сотвори*. Как только князь заратится с князем, около обоих князей-соперников удальцы собираются и отомщают за князей своих — на сельском народе, и земледелец не перестает пить горькую чашу и передает ее детям и внукам как завет печальной судьбы своей. Певец Игоря так изображает эту судьбу народа: *в княжих крамолах веци человеком скратишась. Тогда о Русстей земли редко ратаеве кикахуть, но часто враны граяхуть, трупие себе деляче, а галици свою речь говоряхуть, хотят полетети на уедие.* О бедствиях, какие претерпевал народ во время междоусобий, когда князья брали города приступом, можно судить из Киевской летописи по резкому описанию, какое делает взятый в плен половцами и потом возвратившийся Игорь северский: *аз не пощадех хрестьян, но взяв на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подъяша безвиньнии хрестьяни, отлучаеми отец от рождений своих, брат от брата, друг от друга своего, жены от подружий своих, и дщери от материй своих и подруга от подругы своея; и все смятено пленом и скорбью, тогда бывшею, живии мертвым завидят, а мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнем от жизни сея искушение приемше; старце поревахуться, уноты же лютыя и немилостивныя раны подъяша и проч. (П. С. Л., т. II, 131).*

Когда Святослав черниговский при помощи других князей Северской земли отнимал Киев у Ростиславичей, князья помирились так, как не бывало еще: Святослав сделался князем киевским, а Рюрик княжил над всею землею Русскою. На одной стороне были половцы; со стороны противной — черные клобуки. Так-то иноплеменники, вмешиваясь в драки русских князей, внедрялись в жизнь русскую. Тесное сближение с русскими половцев было для них благоприятно: в то время возникла уже

торговля с Русью, и гости (купцы) ходили известными, определенными дорогами из Половецкой земли в Русскую и обратно. Но как скоро Святослав примирился с Ростиславичами и сел в Киеве, — Русь ополчилась против половцев как против чужеземных врагов; отношения к ним приняли вид борьбы с иноплеменным народом и врагами. В это время как будто бы оживилась Русь, как будто бы расцвело сознание, что половцы обессилили Русь, задерживают ее торговлю и прекращают земледелие. Князья стали делать съезды, как во времена Мономаха, под председательством киевского князя. Так, в 1183 году князь киевский Святослав созывал против половцев князей Черниговской и Северской земли, князей русских, волынских, червонорусских, одним словом, князей Южнорусской земли. В этом событии явно обозначается взаимное тяготение князей южнорусских земель особо от других, совершенно сообразно народному разветвлению. *И совкупишася к нима: Святославича Мстислав и Глеб и Володимер Глебович из Переяславля, Всеволод Ярославич из Лучьска с братом Мстиславом, Романович Мстислав, Изяслав Давидович и Городенский Мстислав, Ярослава князь Пинский с братом Глебом, из Галича от Ярослава помоч, а своя братья* (черниговские) *не идоша, рекуще: далече ны есть ити вниз Днепра, не можем своее земле пусте оставити, но же поидеши на Переяславль, то скупимся с тобою на Суле* (Ип. Сп.,127). Конечно, в этом предприятии участвовали и дружины, без которых князья не предпринимали ничего. Тут были русские, и полесчане, и галичане. Черные клобуки имели в этом союзном ополчении свое участие как часть русской корпорации, как отдельная земля, так как древняя их племенная вражда к половцам, которой начальный исход для нас неизвестен, соединяла их с русскими. Однако это событие не может считаться доказательством, чтоб понятие о целости и единичности Южнорусской страны утвердилось до сознания, что все ее части постоянно необходимо должны действовать сообща; потому что вскоре, в последующих походах против половцев, участвуют только русь-поляне да Полесье. Походы князей в 1183, 1184, 1187, 1190 совершались удачно для русских. Поход в 1183 году был предпринят в охрану Русской земли на востоке. Русские ходили на берега Мерлы; в других годах войны с половцами происходили на берегах Днепра и имели вид обороны торговых путей. Во всех этих взаимных стычках русские брали стада и пленников — следовательно, эти войны должны были прибавлять турецкого элемента в Русской земле.

Несчастен был поход Игоря северского и с ним всех князей Северской земли; с князьями своими были куряне, трубчане

(часть вятичей), путивляне, рыльсчане и черниговские коуи — тюркское население, подобно тому, каким были черные клобуки в Русской земле. Это ополчение, зашедши далеко в малоизвестную степь между Осколом и Доном, на берегу реки Каялы было разбито и князья взяты в плен. Тогда ободренные половцы напали на восточные страны Русской земли, принадлежавшие Переяславлю, и начали опустошения. Тогда взят был, между прочим, город Рымов; часть жителей избавилась от плена, успев уйти по болоту, а прочие, оставшиеся в городе, достались в неволю. В этот поход половцы набрали много пленников и, следовательно, сделали большое изменение в народонаселении восточной половины Русской — Полянской земли. Другое ополчение разоряло берега Сейма. Должно быть, эти нападения были очень тяжелы для народа, как это показывают слова "Песни об Игоре": *Уже бо, братие, не веселая година встала, уже пустыни силу прикрылы. Встала обида в силах Дажьбожа внука, вступил девою на землю трояню, всплескала лебедиными крылы на синем море, у Дону плещучи, убуди жирныя времена... Кликну Карна и Жля, поскочи по Рускей земли, смагу мычучи в пламяне розе; жены Руския всплакашась, рекучи: уже нам своих милых чад ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очами сглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати. А встона бо братие, Киев тугою, а Чернигов напастьми: тоска разлияся по Русской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыя.* Но Игорь воспользовался тем, что половцы напились кумыса и стали пьяны, и при содействии одного половчанина, Овлура, убежал из плена.

На князей южного края и вместе с ними на политическую судьбу народа влияние суздальско-владимирского князя Всеволода усиливалось. В 1195 г. он потребовал у Рюрика, русского князя, несколько городов, тот должен был исполнить его требование, изменив данное прежде слово зятю своему, Роману. Замечателен тот факт, что митрополит, которого Рюрик спрашивал о совете, дал свой голос в пользу Всеволода: это важно с той стороны, что церковь в лице своего главного представителя начала давать свою санкцию стремлениям к старейшинству владимирского князя еще при самом зародыше тех политических начал, которым пришлось впоследствии развиться на русском востоке и довести русский мир до единодержавия. Тогда много строили церквей, ласкали духовенство во Владимирской земле; зато и духовенство на князей этой земли возлагало благословение на старейшинство с царскими, заимствованными из Византии, признаками личного единовластия. Духовные, как люди с большим горизонтом понятий, не могли в единстве не видеть единственного пути ко благу

отечества, и самый идеал этого блага для них мог представляться не иначе, как в том образе, с каким они могли познакомиться чрез византийское образование. Киев не в силах был сопротивляться и отстаивать свое прежнее первенство. В Киеве слишком закоренели и слишком срослись с ним старославянские начала, уже в то время сильно искаженные, изуродованные влиянием азиатских и тем более неспособные к порядку, какой являлся передовым людям под влиянием византийского воспитания. От разнородности населения, от непостоянства общественного строя, от беспрестанных разорений и, следовательно, от ненадежности гражданской жизни в Южной Руси, видимо, происходило разложение; из прежних элементов могли сложиться какие-то новые формы, но они еще не составились; не стало старого, годного для поддержки, но и не образовалось еще нового: от этого Киевскую Русь нетрудно было сильному подчинить и действовать на нее по произволу. Только на западе организовалось что-то новое — в образе Галицкой и Волынской земли, и только там на новую силу могло наткнуться единодержавное стремление восточнорусских князей.

Всеволод делал попытки для удержания своего влияния на юге. В 1195 году он обновил отцовский город Городец-на-Востре и послал туда своих тивунов. В 1200 году он посадил сына своего Ярослава в русском Переяславле. С другой стороны, Роман, соединивши Галицкую и Волынскую земли под одним правлением, стремился к власти над всею Южною Русью. Таким образом, положение Русской земли поставлено было между двух огней: князь Рюрик Ростиславич после смерти Святослава Ольговича по воле Всеволода сделался князем города Киева, будучи до тех пор князем одной Киевской земли, и таким образом город Киев по управлению опять стал главою Русской земли: уже не было отдельных князей Киева и земли его. В то же время готовность одних склонить Южную Русь под верховное первенство Ростовско-Суздальской земли не могла обойтись без внутреннего сопротивления со стороны других. Свежие признаки вражды, воспоминания о Юрии и Андрее не могли изгладиться скоро. Ольговичи должны были стоять не только за себя, но и за всю Северскую землю. Все князья этой земли, обыкновенно несогласные между собою, действуют сообща против силы, которая идет не против лица каждого из них, но против них всех. Всеволоду помогают смольняне и рязанцы. Рюрик, посаженный Всеволодом, чувствует, что ему необходимо и сближение с Ольговичами. Тогда другая сторона, ему противная, — сторона западного края Южной Руси, в лице Романа с толпами галицкими и волынскими, сближается со Всеволодом, потому что он пока еще не был опа-

сен. Роману хотелось утвердиться в Южной Руси. В Южной Руси пробуждается как будто сознание единства Южной Руси; Русская (Киевская) земля пристает к Роману; к нему пристают черные клобуки; из всех городов русских приехали к нему люди, признают его, *а что городов русских, и из тех людье ехаша к Романови* (Лавр. Л., 170). Народ южнорусский искал уже лица, около которого хотел сгруппироваться в единстве своей национальности. Роман подступает к Киеву; киевляне изменяют Рюрику — признают Романа князем, отворяют ему Подол. Рюрик с Ольговичами заперлись было на Горе, но должны были уступить. Рюрик уехал во Вручий в Полесье; Ольговичи обратились в свой Чернигов. Но Роман уступил Всеволоду и по согласию с ним (ибо в летописи говорится, что великий князь Всеволод и Роман) посадил в Киеве Ингваря.

Была ли эта уступка Всеволоду, сильному союзнику, уступкою только до поры до времени, — во всяком случае, кажется, Роман думал о соединении Южной Руси под одною самобытною властию и, действительно, был уже настоящим владетелем ее. Он отправился на половцев и освободил множество христианских душ, и была радость по земле Русской. Его дело казалось делом народным. Радость была, однако, недолга. Явилось знамение: в пятом часу ночи стало небо чермно, и по земле, по хоромам, показывалась кровь, будто свежая, недавно пролитая. Это было обыкновенное поверье, предзнаменовавшее явление общего бедствия. И действительно, 2 января 1204 года Рюрик явился с половцами в Киев, и *створися велико зло в русской земле, якого же зла не было от крещенья над Киевом: напасти были и взятья, не якоже ныне зло се сстася: не токмо одино Подолье взяша и пожгоша, ино гору взяша, и митрополью Святую Софию разграбиша и Десятинную святую Богородицю разграбиша и монастыри все, и иконы одраша, а иные поимаша, и кресты честныя и ссуды священныя и книгы и порты блаженых первых князьи, еже бяху повешали в церквах святых на память собе... Черньци и черници старыя изсекоша и попы старыя и слепыя и хромыя и сухия и трудоватыя — та вся изсекоша; а что черньцев а черниць инех и попов и попадий и Кианы и дщери их и сыны их, — то все ведоша иноплеменници в вежи к собе...* (Л. Лет. 176). Так несчастный Киев поплатился последний раз за свое древнее право быть распорядителем судьбы своей. Рюрик сел в разоренном городе, признав власть Всеволода. В 1208 году он воевал против половцев, своих прежних союзников, которые помогли ему разорить Киев и овладеть им. Война была удачна: зима была сурова, и половцы погибали, а русские набрали много пленников; но во время похода, в Триполье, Роман

внезапно схватил Рюрика и постриг его в монахи. Опять Южная Русь стала под его властию. Однако в тот же год летом неутомимый, деятельный князь Роман очутился уже на границах Польши и воевал с Казимиром: тут в битве он пал. Рюрик, узнав об этом, *сверже чернически порты и седе в Киеве*. Этот поступок не всем мог показаться дозволительным; благочестивое понятие всегда признавало, что, по уважению к этому званию, каким бы образом и по каким бы то обстоятельствам оно ни было принято, выхода из него нет. Жена Рюрика не только не решилась расстричься, но еще постриглась в схиму, чтоб избежать искушения.

С тех пор в Русской земле несколько лет было беспорядочное брожение — схватки князей, которые брали друг у друга города, выгоняли один другого из владений. Враждебною стороною Рюрика были Ольговичи, князья Северской земли, которые стремились захватить Южнорусскую землю в систему своего рода. На челе их стоял Всеволод черниговский. Народное участие несомненно в этой борьбе: как та, так и другая сторона воевала с собственными силами; дреговичи, обособленные от Киева по управлению под властию туровских и полоцких князей, участвовали в этой борьбе, держась стороны Ольговичей; Полесье стояло за Рюрика, который после неудач в Киевской земле бегал во Вручий и оттуда возвращался с силами, следовательно, имел вспоможение в народе полесском. Как та, так и другая сторона в своих походах опустошала сельские жилища и мстила тем жителям, которые приставали к противникам. Летописец в этом месте, очевидно, благосклоннее к Рюрику, чем к Ольговичам, и говорит о Всеволоде, что он *много зла сотвори земле русской*. Наконец, спор этот кончился при посредстве митрополита и суздальского князя Всеволода тем, что Рюрик сел в Чернигове, а Всеволод в Киеве. Вот разительный пример того, что наследственный принцип, относительно владения землями в одном роде, еще был не крепок. Хотя преемники Святослава княжили в Чернигове более ста лет, но все еще не казалось неестественным, если вместо них сядет там князь другой ветви. Наследственный обычай не мог восторжествовать над сознанием единства Русской земли и вместе с тем над сознанием права и власти целого рода, а не ветвей его; очевидно, что князья все еще были правители, а не властители; господствовала идея, что имеет право на управление русским материком целый род, но не было строго определено, чтобы каждая личность из этого рода имела право владеть известною частью такого-то, а не другого пространства на основании своего ближайшего происхождения. Во всей Южнорусской земле не было уже единства родов, а

несколько ветвей княжили почти без последовательного права; князья возводились одною игрою обстоятельств или опирались на расположение воинственных шаек; тогда появлялись новые князья в разных городах, где их прежде не было; таким образом случайно упоминаются князь каневский Святослав, князь шумский Святополк. Переяслав находился под управлением сына Всеволода суздальского, который, таким образом, протягивал руку на Южную Русь и поддерживал свое старейшинство над князьями. Но этот край, сопредельный со степями, более всех страдал от набегов половцев; половцы разоряли села, так что жители не успевали строиться, а князья со своими дружинами плохо могли оборонять их. Народонаселение края редело более и более, а, с другой стороны, русская стихия во множестве пленников переходила в степи половецкие. В 1212 году князья смоленские по неприязни выгнали Всеволода и посадили в Киеве бывшего смоленского князя, Мстислава Романовича. Права тут не было никакого, ибо там перед тем думали было посадить князем Ингваря луцкого, а потом удалили его и избрали Мстислава. Всеволод должен был удалиться в Чернигов, где уже не было на свете Рюрика, и там скоро умер.

В 1224 году появились впервые татары. Видно, что весть о страшном явлении сильно поразила народный дух. *По грехом нашим приидоша языцы незнаеми* (выражается летописец). Эта неизвестность дышит чем-то зловещим, страшным. Весть о них принесли половцы. Страшное поражение понесли они от неведомого народа. Летописец не удержался, чтобы не припомнить при этом неприязни, которые не могли не таиться в русской душе: *много бо ти Половцы зла сотвориша русской земле. Бог же отмщение створи над безбожными Куманы, сынами Измаиловыми: победиша их Татары и инех язык семь.* Несколько князей половецких погибло со своими ордами. Один из них, Котян, *тесть Мстислава Мстиславича*, тогда захватившего Галич, привел к нему много даров, коней, верблюдов и буйволов (девки были в числе скота) и просил помогать против неведомого народа. Он говорил, по словам современника-летописца: *нашу землю днесь одолели Татары, а ваша заутра возмут пришедь; то побороните нас.* Мстислав начал просить русских и северских князей. Собрались в Киеве и приговорили: лучше нам срести их на чюжей земле, нежели на своей. И разъехались строить воинов каждый в своей волости. И как собрались киевляне, северяне, белорусы из Несвижа, и путивльцы, и вся Северская земля, куряне и трубчане, и Волынская, и Галицкая земля, пристали смоляне и двинулись за Днепр. Но вот от неведомого народа идут послы и предлагают им мир; объясняют, что они,

собственно, пошли на врагов русского народа, половцев, называют последних своими конюхами и холопами, просят русских добывать с ними половцев. Русские так решились с ними биться, что не посмотрели на то, что звание послов было священно: перебили послов. Русских не убедили представления этих послов, говоривших: ведь мы ваших земель не трогаем, ни городов ваших, ни сел; мы не на вас идем! Надобно при этом заметить, что отношения к половцам, видно, изменялись; у половцев тоже произошли важные перемены. Христианство распространилось в этом народе. Два князя половецкие, убитые в войне против татар, были христиане (Юрий и Данило); в то же время, когда князья собирались идти на татар, один из половецких князей, Басты, принял крещение в Киеве. Видно, что присутствие русских пленников в половецких степях распространяло между половцами христианство и русские нравы. Князья были в беспрестанном родстве; с другой стороны, и русские от беспрестанного столкновения принимали элемент воинской дикости.

Русские надеялись на свои силы, особенно после первой удачи, когда им удалось разбить татарскую сторожу. Кроме сильного русского ополчения разных земель надежда была и на половцев, которые защищали свое существование. Ополчение под предводительством двадцати русских князей двинулось в степь. Галичане под предводительством Юрия Домажирича и Держикрая Владиславича поплыли по Днестру, потом морем, на ладьях вошли в Днепр, *возвели* пороги и стали у реки Хортицы — известие, показывающее, что приморье было еще в русских руках. Туда прибыло и сухопутное ополчение. Тут татарский отряд явился высматривать русские ладьи; князь Данило Романович пустился за ним и разогнал его. Галицкие предводители дали совет остальному русскому войску выступить на неприятеля и пуститься за ним. Русские и половцы перешли Днепр, рассеяли татарскую сторожу и восемь дней гнались за татарами до реки Калки. Князья между собою не ладили. Мстислав галицкий ссорился со Мстиславом киевским и узнавши, что сильное татарское войско идет на них, не сказал киевскому князю "зависти ради". Галичане с половцами бросились первые, сражались храбро, но половцы, испугавшись, побежали и опрокинули галичан — и галичане были разбиты. Тогда киевляне и ополчение Русской земли (Украины) уперлись на каменистом берегу Калки, сделали укрепление и оборонялись три дня. Татары, оставивши около них войско, погнались за отрезанными волынскими полками и разбили их: несколько князей было перебито. Осажденные киевляне долго не сдавались. Но у татар были бродники — смешанное народонаселение, вероятно

из русских пленников, в разное время отведенных в плен; то же, что впоследствии называлось тумы; в степях они вели полукочевую жизнь; воеводою у них был Плоскин. Они уже пристали к татарам. Они уговорили киевлян сдаться на искуп. Те поверили, и дело кончилось тем, что татары положили князей под доски и на этих досках сами стали обедать; одних киевлян погибло тогда до 10 000. Это бедствие наполнило Русь ужасом. Главное дело — не знали, что за народ явился и чего ждать от него. Татары скоро повернули назад, но и это страшило русских: *никтоже не весть, кто суть и отколе и что язык их и которого племени суть и что вера их.* Книжники соображали, толковали, подозревали, что это люди, загнанные Гедеоном в пустыню Етриевскую; по скончании времен им следовало явиться и попленить всю землю от востока до Евфрата и от Тигра до Понтского моря, кроме Ефиопии. Одни говорили, что их звать — татары, другие — тауромены, третьи — что это печенеги. Опасались их появления вновь; народ пугался разными предзнаменованиями; говорили, что недаром горели леса и болота и поднимался сильный дым, так что нельзя было смотреть; потом покрывала землю мгла, так что птицы не могли летать по воздуху, но падали и умирали. Явилась на западе звезда, *от нея же бе луча не в зрак человеком.* По закате солнечном каждый вечер видели ее на западе, и она была более всех звезд и светила семь дней, а потом лучи ее стали являться на востоке; там пробыла она четыре дня и потом исчезла. Ее считали предзнаменованием небесного гнева.

Киев с Русскою землею продолжал переходить из одних княжеских рук в другие. В 1228 году им владел Владимир, сын Рюрика. Переяславль захватил суздальский князь, по следам предков протягивавший руку на Южную Русь, и посадил там племянника своего, Всеволода. Владимир Рюрикович сначала в союзе с Михаилом черниговским стал было действовать против Данила галицкого, но потом при содействии митрополита Кирилла примирился с ним; вслед за тем его начал беспокоить прежний союзник в распре против Данила, Михаил черниговский, и Владимир соединился с Данилом. В 1233 году открылась война с Черниговскою землею; Ольговичи призвали на помощь половцев. Данило пошел с ополчением защищать Владимира, но был разбит. Владимир взят в плен, а Данило по этому поводу лишился Галича. Его оттуда прогнали; враг его Михаил черниговский был призван в Червоную Русь. Тогда, пользуясь такими смутами, брат суздальского князя, Ярослав, действовавший с Михаилом заодно, захватил Киев, но был изгнан Владимиром Рюриковичем, а тот в свою очередь Михаилом черниговским, который разом овладел и Червоною, и Киевскою Русью, и Га-

личем, и Киевом, и в Галиче посадил своего сына, Ростислава. Но скоро подняла голову Данилова партия в Галиче — прогнали Ростислава; а Михаил вслед за тем бежал снова из Киева, но не от князей и не от партий, а услышав о татарах. Данило захватил тогда Киев, посадил там своего боярина Димитрия оборонять его от нашествия врагов, которые приближались грозною тучею.

Завоеватели, разорив Северо-Восточную Русь в 1238 году, на следующий год бросились на Южную. Одно войско взяло Переяславль и разорило его до основания, уничтожило переяславскую патрональную церковь святого архистратига Михаила: много людей перебили; иных погнали в неволю. Другое татарское ополчение отправилось к Чернигову. Один из Ольговичей, Мстислав Глебович, думал ударить на татар сзади, когда они стали осаждать город. Черниговцы защищались отчаянно: из города они поражали татар такими огромными камнями, что четыре человека не могли поднять одного. Лют был бой, но все было напрасно. Войско, храбро отражавшее иноплеменников, погибло в сече; город был взят и сожжен. Татары, однако, оставили в живых взятого в плен епископа Порфирия. После того один отряд под начальством Мангу-хана подошел к Киеву.

Завоевательное полчище стало у Песочного городка, построенного на левой стороне Днепра против Киева. Летописец говорит, что татары дивовались красоте Киева и величию его; хотя город этот сильно упал против прежнего от междоусобий и разорений, но его красивое местоположение вообще придавало величие всякому строению. Мангу отправил в Киев послов требовать покорности, как будто жалея разорять такой красивый город. Киевляне перебили этих посланных. Мангу тогда отошел прочь и только погрозил Киеву... Угроза была зловещая.

На другой год, весною, огромное Батыево полчище явилось опять над Днепром, уже не затем, чтобы требовать покорности, а затем, чтобы истребить город, который так дерзко осмелился поругаться над величием завоевательной силы. Татары под предводительством Батыя переправились через Днепр и обступили кругом город, *и бысть град во обдержании велице, и бе Батый у града и вся сила его безбожная обседаху града и не бе слышати в граде глаголюща друг к другу в скрипании телег его и множество ревения вельблуд его и рзания от гласа конного стад его; и бе исполнена Земля Русская ратных* (Соф. Врем., П. С. Л., т. V. стр. 175).

Киевляне захватили в плен татарина по имени Торвул. Он описал им свою силу в угрожающем виде; странные имена богатырей, им перечисленные, соединялись со свежими воспомина-

ниями пленных и разоренных земель (се Бедияй Богатур и Бурундай богатырь, иже взя Болгарскую землю и Суждальскую, инех без числа воевод); однако киевляне не сдавались и решились, защищаясь, погибнуть. Батый направил особенные усилия против Лядских ворот, находившихся на юго-западной части Старого Киева, — вероятно, на нынешнем Крещатике. Завоеватели поставили там свои стенобитные орудия и стали громить стены Киева день и ночь. Киевляне отбивались упорно, стоя на стенах: ломались копья, разлетались в щепы щиты, стрелы омрачали свет, — говорит летописец. Не устояли киевляне. Димитрий был ранен. Татары сбили осажденных со стен и взошли на стены. Киевляне сомкнулись около церкви Десятинной Богородицы и сделали наскоро укрепление. 9 мая был последний приступ. Одна толпа народа заперлась в церкви, другие боролись с татарами. Множество народа взошло на церковь и на церковные комары с имуществом и оттуда защищались. Комары не выдержали тяжести и обломились. За ними повалились и церковные стены, — вероятно, от ударов вражеских. Киев был взят и разрушен. Раненый Димитрий оставлен живым, ради его мужества, — говорит летописец (П. Собр. Л. П., 178). Он пошел вместе с татарами. Батый приблизил его к себе, и он подавал Батыю советы идти в богатую Угрию.

Темное предание об этой ужасной эпохе перешло до поздних потомков в сказочной истории Михайла Семилитка. Семилетний богатырь — тип народной надежды на грядущие поколения, идеал нестареющейся, вечно юной, всегда обновляющейся силы народа — защищал Киев против иноплеменных врагов. Татары видели, что он один удерживает киевлян, и предложили пощаду городу, если выдадут им богатыря. Киевляне соблазнились. Тогда Семилиток, выехав на своем чудном коне, ударил копьем в Золотые ворота, поднял их на воздух и закричал:

Кияне-громадо!
Погана ваша рада!
Коли б ви мене не оддали,
Поки свит сонця татари б Киева не взяли!

Он проехал сквозь татарское полчище, и враги не смели прикоснуться к чудотворному герою; он провез Золотые ворота даже до далекого Цареграда и там поставил их. Там стоят они уже много веков. Кто пройдет мимо них и подумает: не быть Золотым воротам на прежнем месте — злато на них и потускнеет; а кто пройдет мимо них и скажет: быть вам, Золотые ворота, на прежнем месте, в Киеве — золото заблестит и засияет.

III

О судьбе народа в западной части Южнорусской земли сохранились вообще отрывочные и скудные известия; из них, однако, видно, что в XI и XII веках этот край, пограничный к Польше и Угрии, был предметом нападений со стороны этих стран, и народ нередко подвергался бедствиям разорений. Во времена борьбы Владимира и Ярослава с польскими королями червенские города земли Южнорусской переходили то в те, то в другие руки. Сцена борьбы Ярослава с Болеславом по поводу Святополка разыгрывалась на Буге. Как этот факт отражался на судьбе народа, видно из любопытного рассказа, сохраненного у Длугоша, что в 1025 году Ярослав погнал жителей края, прилегавшего к Червеню, в Киевскую землю и поселил их на Поросье (по Роси); с другой стороны, Болеслав мстил русскому народонаселению этого же края за тяготение к Киеву, брал знатнейших людей и переселял их в Польшу. Судьба Поднестрянского края и Покутья остается в совершенной неизвестности. Кажется, они были независимы, ибо переселение жителей из отдаленного края поближе к Киеву показывает, что киевские князья мало имели возможности удержать в повиновении себе такой отдаленный край. Когда Болеслав помог Изяславу и возвращался из Киева в Польшу, то по дороге напал на Червоную Русь, на берегу Сана. Из известий, сообщаемых об этом событии Длугошем (стр. 822, т. 3 Collect. Historiar. Pol.), не видно, чтобы жители Червоной Руси находились тогда под властию киевских князей. Но тем не менее можно отчасти заметить, что они, вероятно, были независимы и вследствие однонародности оказывали тяготение к Киевской Руси. Король польский хотел насильственными средствами отвратить ее от этого тяготения и подчинить Польше. Страна около Сана была уже значительно населена; жители обитали в деревнях, но имели укрепленные города, куда могли убегать в случае опасности; таких городов было несколько на берегу Сана. Народ был вообще не воинственный, мирный; поляки легко могли его покорить, города сдавались им скоро: некоторые и решались было защищаться, да скоро принуждены были к повиновению силою; другие сами поспешили выговорить себе льготы добровольною сдачею. Около Перемышля было сгущено народонаселение, и город Перемышль, главный град между пригородами в Посанщине, был крепче других: туда убегало жителей более, чем в другие города. Они укрепили его, насколько по-тогдашнему умели: город обвели глубокими рвами и земляными высокими валами, а с одной стороны он прилегал к реке Сану; здесь эта река служила есте-

ственною защитою, тем важнейшею, что в то время как поляки осадили Перемышль, вода в реке Сане переполнилась от дождей. Поляки, как следовало по тогдашнему образу ведения войны, стали разорять деревни, жечь хлеб на полях и забирать скот. Край был обилен и богат. Поляки навезли в свой лагерь много запасов. Перемышль состоял, по общему обычаю славянских городов, из двух частей: замка, или града, и собственно города (места-посада). Не только замок, но и последняя часть была укреплена. Поляки овладели сначала частью посада, который выходил в открытое поле, а потом, на четвертый день осады, всем посадом, и осадили градок. Там было множество народа и так много женщин с детьми, что осажденным невозможно было долго прокормиться запасами, особенно после того, как все находившееся в посаде досталось полякам, и таким образом они принуждены были сдаться от голода и болезней. Польский король сделал Перемышль еще крепче и поставил там польский гарнизон для обладания покоренною страною.

Этот рассказ может нам указывать вообще на способ ведения войны в то время и на способы покорения и подчинения народов. Как скоро город, владычествовавший над краем, доставался в чужие руки, и весь край сельский должен был покоряться, как по прежней привычке зависеть от своего главного места, которое господствовало в крае, так равно и по физической необходимости оставаться ему в покорности: чужая военная сила, установившись в городе, всегда готова была усмирять оружием всякое неудовольствие сельских жителей. В 1073 году Болеслав под видом помощи Изяславу покушался овладеть целою Волынскою страною, но жители не имели добровольного тяготения к Польше; страну Волынскую надобно было покорить. Поляки, прежде чем овладели крепкими замками, опустошили окрестные села, сжигали жилища, жгли на полях хлеб, грабили и убивали скот, толпами гнали жителей в плен; король дарил побежденных в неволю своим воинам. Видно, что это были тяжелые времена для края. Народ разорялся и терял свободу. Трудно было ему защищаться. Край был населен деревнями (frequentes habens vicos), городки их были бревенчатые и только тем держались, что для них места выбирались самые высокие. Историк польский говорит о взятии трех городов: Владимира, Волыня (?) и Холма. Сначала покорил король землю собственно Волынскую, потом — Владимирскую. Устрашившись опустошений, причиняемых поляками, князь владимирский, которого называет Длугош Георгием (или Григорием, 1074), должен был признать себя данником Болеслава. Длугош повествует, что Всеволод (вероятно, Святослав) вышел против него, хотел вырвать Волынскую

землю из рук польских, но не мог этого сделать и сам был разбит. Край этот, не имея тяготения к Польше, склонялся по-прежнему к Киеву. Неизвестно как, завоеванный поляками, он потом опять перешел к русским князьям. Вероятно, воспользовались расстроенным состоянием Польши после Болеслава. Волынь досталась снова Киеву; киевский князь сажал там своих посадников или других подручных князей. Так, сначала владел там Ярополк, сын Изяслава, а потом, под тем предлогом, что он замышляет измену против киевского князя, прогнали его. Луцк добровольно признал князем Владимира Мономаха. Владимир дан Давиду Игоревичу, которого отец там княжил, назначенный туда отцом Ярославом. Ярополк повел на него поляков, но был убит изменнически. В конце XI века Волынский край терпел опустошение от половцев, поляков и угров по поводу междоусобной войны южнорусских князей после ослепления Василька. На стороне Давида был Боняк Шолудивый с ордою; на стороне Святополка — поляки и угры. Во Владимире посадили сына Святополка. Волынь с тех пор осталась в соединении с Киевом: то появлялись там особые князья, то опять князем Владимира делался киевский. Так, например, в 1123 году Владимир отдан Андрею, потом в 1136 году Изяславу Мстиславичу, достигшему потом Киева. Владимир был главным городом Волынской земли. Случалось, что претенденты призывали поляков, и тогда сельский люд страдал. Так, Ярослав Святополчич, внук Изяслава Ярославича, которого род был в связи с польским домом, привел поляков и угров; но его постигла неудача.

Во время борьбы Изяслава Мстиславича с Ольговичами и с Юрием Волынь служила Изяславу убежищем в случае неудачи; он несколько раз туда убегал, прогнанный из Киева, и снова возвращался, набравши сил. Волынь осталась за сыновьями его и перешла к внуку его, Роману, который соединил с Волынскою землею под одним управлением и Галицкую землю.

Червоная Русь по освобождении от власти поляков начала иметь своих князей — Ростиславичей. Каким образом фамилия Ростиславичей там явилась — неизвестно, но кажется, что они были призваны, потому что Червоная Русь всегда сохраняла преимущественно пред другими полную свободу и тамошние князья были более ограничены, чем в других местах, как и в Новгороде. Жители этой страны должны были терпеть от междоусобий по поводу ослепления Василька, во еще более по поводу частых войн с поляками. Так, Длугош рассказывает (относя это неправильно к 1125 году), что по поводу ссоры Володаря с поляками они опустошили огнем и мечом Русскую землю, истребляли села и города, убивали людей. Когда поляки

взяли в плен русского князя хитрым образом, по Длугошу — Ярополка, по соображению с нашими летописями — Володаря, с обеих сторон разразилась разорительная народная вражда. Галичане, врываясь в польские пределы до Вислы, истребляли без сострадания людей, без различия возраста, пола и звания, и все сжигали. Потом Болеслав Кривоустый распустил свое войско по Руси и началось — по словам летописца — убийство многих: убивали и старых и малых, мучили невинных, и то была ярость, а не справедливая война. Никому не давали пощады, даже не велено брать выкупа за жизнь неприятеля (Длуг., 953).

Когда дети Ростислава вымерли в первой половине XII века (1141 г.), Червонорусская земля, прежде разделенная на уделы, соединилась под властию одного князя Владимира (Володимирка) Володаревича. В его политике является стремление обособиться и не подлежать власти Киева, хотя, впрочем, без совершенного нарушения связи с домом, владевшим Русью. В этом отношении, вероятно, личное стремление князя совпадало со стремлением страны, сознававшей свою отдельность. Такое стремление раздражило русские области, потому что в 1144 году из нескольких земель двинулись на Галич ополчения, чтобы принудить Червоную Русь и с нею князя ее наравне с другими областями русского мира признавать старейшинство киевского князя. Кроме русских участвовали в этом деле иноземцы на стороне князей были поляки; Владимир призвал угров. Тут открылся путь иноземцам на будущее время вмешиваться в дела Червоной Руси и решать ее судьбу; это повторялось со временем много раз. Сила была на стороне русского ополчения, но Владимир знал, что Всеволод хочет упрочить за своим братом Киев и обещал последнему помогать; это повело к примирению с киевским князем: Владимир должен был заплатить ему 1400 гривен серебра — огромная сумма. Таким образом дело червонорусское было проиграно. Не могло это нравиться галичанам: во-первых, плата такой большой суммы должна была лечь на страну; во-вторых, Галич со всею землею должен был признать зависимость от Киева. Составилась партия против князя, — воспользовались случаем, когда Владимир уехал в Тисмяницу на охоту: охота у князей в то время была тот же поход. Недовольная партия приглашает племянника Владимирова, Ивана Ростиславича, из Звенигорода, но согласия в этом деле не было. Сильные приверженцы оставались за Владимиром. Таким образом открылась междоусобная война: она была, как всегда, жестока, потому что Владимир должен был три недели осаждать Галич. Наконец, город был взят. Владимир многих из своих противников изрубил, другие казнены лютою смертью. Это не следует

приписывать исключительно личности самого Владимира, так как он был орудием партии, которая имела его на челе своем, как это показывается в последующих его действиях. Иван убежал в Киев. Киевляне с вспомогательными дружинами других земель явились снова в Червоную Русь — водворять Ивана, но неудачно.

При Изяславе Мстиславиче Владимир постоянно держал сторону Юрия Долгорукого и старался из этой борьбы извлечь местную пользу присоединением соседних земель. Изяслав возбудил ему опасных и сильных врагов в соседях — уграх. Галич во всеобщей сумятице успел захватить города: Тихомль, Шумск, Выгошев, Гнойницу (Ипат. Л., 69), которые русский князь считал принадлежащими к Волыни. Но потом Изяслав с уграми одолел Юрия; он вошел в Червоную Русь и пустил ратников, т. е. разорителей, по всей стране. Тогда Владимир принужден был смириться и обещал возвратить захваченные города, но не исполнил обещания и не мог его исполнить, потому что дело было народное: бояре галицкие не дозволяли ему — хотели расширить свою землю. Владимир умер внезапно, и смерть его считалась признаком божьего наказания за клятвопреступления. Сын его Ярослав, признанный после него князем, готов был мириться и признавал Изяслава старейшим; но бояре, защищая дело своей земли, насильно вовлекли его в войну. Русские и волынские полки и черные клобуки вступили в Червоную Русь к Теребовлю. Галичане говорили своему князю: *ты еси молод, поеди прочь и нас позоруй*. Дело было земли, а не князя. Галичане были разбиты и тяжело наказаны. Русские набрали пленников столько, что число их превышало дружину, бывшую с Изяславом, и киевский князь приказал всех побить — это не казалось бесчестным и ужасным. *Бысть плач по всей Земле Галицкой*, — говорит летописец. Неизвестно, в чьей власти оставались после того спорные города. Княжение Ярослава оспаривал претендент его, двоюродный брат, Иван Берладник; русские князья помогали ему, иногда употребляли его как пугало против Ярослава. Князь Юрий Долгорукий, которому нужна была помощь галичан, хотел было выдать этого изгнанника, но митрополит уговорил не делать этого. Изяслав Давидович принял его сторону, получивши киевский стол. Была и в самой Червоной Руси партия, недовольная Ярославом и готовая пристать к противнику. Когда Изяслав Давидович в 1159 году собирался против Галича и приглашал к союзу черниговских князей, из Галича одна партия прислала тайно к нему грамоту, извещая, что есть люди, недовольные Ярославом и готовые пристать к Ивану; но большая часть галичан оставалась верна Ярославу. Галичане соединились с волынцами и успешно содействовали изгнанию из Киева самого

Изяслава. Когда Андрей, князь Владимира-Залесского, стал возвышаться и явно оказывать стремление к гегемонии над князьями, галицкая политика изменилась и уже не придерживалась сына Юрьева так, как некогда отца, а напротив, галичане являются на стороне Изяславича, оспаривавшего Киев у суздальского князя с волынцами. Кажется, что галичане играли в этих последних междоусобиях второстепенную роль, но тогда местный характер их стал обозначаться. Галич примыкает теснее к кругу Южной Руси; до тех пор, не желая подлежать Киеву, червонороссы обращались к более отдаленной стороне; но в Суздальской земле явилось поползновение на подчинение всей Южной Руси и в том числе Червоной, — Галич уже действует заодно с Киевом и Волынью: когда дело касалось предприятия, имевшего целью интерес всей Южнорусской земли, — Галич посылал свою помощь. Так, в 1166 году киевляне, полесчане и волынцы со своими князьями выходили из Канева для оберегания торгового пути купцов из Греции (дондеже взыде Гречинин и залозник. — Ип. Л., стр. 94), и галицкая помощь находилась с другими ополчениями южнорусских земель.

Волынь раздробилась тогда на многие мелкие владения: был свой князь в Луцке, были свои князья в Бужске, в Дубровице, Пересопнице. Одни княжества возникали, другие исчезали, не оставляя большого влияния на народную жизнь, не изменяя ее течения. Но при раздроблении Волынской и Полесской земель выдавалось единство Червоной Руси, и при большем падении Киева политическое значение Галича выказалось силою обстоятельств, даже без задуманного плана.

Галич получил значение старейшего города, и князь галицкий, как будто силою обстоятельств, сам доходил к достоинству старейшего князя. Певец Игорев, современник, так характеризовал Ярослава: *Галицкы Осмомысле Ярославле! высоко сидиши на своем златокованном столе; подпер горы угорские своими железными полкы, заступив королеви путь, затворив Дунаю ворота, меча времены чрез облаки, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут; отворяеши Киеву врата, стрелявши с отня злата стола за землями.* Ясно из этого, что современники считали галицкого князя могущественным. Галицкая земля, то есть принадлежавшая Галичу, была обширная и заключала в себе плодородные пространства по Днестру, Сану и Пруту до гор. Дунайское устье было в руках Галича. Вероятно, Бессарабия и берега черноморские принадлежали ему, потому что уже было свободное плавание с Дуная и Днестра по морю и въезд в днепровское устье. Было много условий зажиточностей обитателей. Почва Червоной Руси способна для земледелия и скотовод-

ства; реки, в то время судоходные, вели к сообщению с Дунаем и морем. Это способствовало торговле с Югом. Кроме хлеба, скота и кож, которые отпускала Червоная Русь, важнейшим туземным продуктом была соль из Бакуты. На Черном море у галичан была пристань Олешье, при устье Днепра; там образовался склад для торговли с Югом, оттуда товары шли по Днестру и снабжали города, густо лежащие один за другим вдоль этой реки. Но положение Галицкой земли в отношении политической самостоятельности было очень опасно; двое соседей каждочасно готовы были наложить руки на Червоную Русь, — поляки, уже издавна то овладевавшие ею, то терявшие ее, и угры. Быть может, эти обстоятельства сближали Галич с греческим миром; так одному царевичу греческому дали в управление несколько городов Червонорусской земли.

Очевидно, что для поддержания самобытности Галицкая Русь должна была вступить в более тесное единство с остальною Южной Русью, чтобы взаимными силами охранить себя. Течение обстоятельств вело к этой связи. Жизнь народная подвергалась опасности наравне с политическою самобытностью. Галицкая земля при первой возможности должна была стать местом столкновения нескольких враждебных сил — театром войны, а тогда плохо было бы жителям того края, куда сойдутся драться между собою народы. Единовластный принцип был тогда чрезвычайно слаб. Князь галицкий был совершенно князем по старославянской идее. Завоевание, как видно, коснулось слишком мало и непрочно хорватов. Князья, правившие Галичем, были избираемы и зависели от веча; полчища кочевых орд были от него далее, чем от Киева; смешение с тюркскими племенами и в десятую долю не доходило до той степени, как в Киеве; народность оставалась более ненарушимою. От этого и древние начала свободы удержались там долее и развивались по славянскому образцу, со славянскими достоинствами и пороками. Как ни скудны наши летописи подробностями внутренних причин, как ни часто ставят на челе рассказа одни лица, не показывая — на чем держалась материальная сила этих лиц, но и из таких известий можно видеть, что понятие о князе в Червоной Руси никак не доходило даже до первых признаков царственного значения и ограничивалось значением его как предводителя войска и правителя, совершенно зависящего от веча. Галичане были судьями действий своего князя, как политических, так и домашних. Прежде было сказано, как по смерти Володимирка Ярослав хотел мириться с Изяславом Мстиславичем и готов был исполнить клятву, данную отцом, но галичане не дозволили ему отдавать захваченных городов. Ярослав был зависим и в семейных делах.

Он поссорился с женою, взял себе любовницу и прижил от последней сына, Олега. Княгиня с державшими ее сторону боярами убежала с сыном в Польшу. Галичане лишили своего князя свободы, перебили его приятелей и сожгли любовницу, воротили княгиню и привели князя своего к кресту, *яко ему имети княгиню в правду*. Через два года снова убежал сын Ярослава в Луцк; на этот раз Ярослав нанял ляхов за 3000 гривен серебра и принудил луцкого князя отпустить от себя немилого сына, Владимира. Вот и здесь, как уже видели мы в Киеве, соседство чужеземцев и возможность приводить иноземные полки могли доставлять князьям возможность действовать по своим видам, вопреки народному желанию. Видно, что в Галиче Ярослав мало мог найти приверженцев, когда обратился к иноземной помощи. Без сомнения, это вмешательство чужеземных полков, приводимых князем, должно быть одним из элементов, разрушительно действовавших на единство и саморазвитие народного духа. Сын Ярославов, преследуемый отцом, переходил от князя к князю и сделался их игрушкою, так что они один другому уступали его и готовы были отдать его отцу, когда нуждались в союзе с ним, пока наконец северский князь Игорь примирил его с сыном. В 1187 году Ярослав, умирая, просил галичан утвердить его распоряжение о назначении Галича Олегу, меньшому сыну, а старшему Перемышля. Галичане не хотели раздражать старика; хотя, быть может, находилось тогда мало соглашавшихся на его распоряжение, — они уступили; но по смерти Ярослава Олега выгнали и посадили Владимира. Через год Владимира за пьянство и развратное поведение выгнали и призвали Романа волынского. Владимир ушел к уграм, но король угорский вместо того, чтобы помогать ему, засадил его в башню, а в Галиче посадил своего сына. Роман принужден был бежать с толпою галичан.

Так Червоная Русь подпала под власть иноплеменников. Состояние народа в это время выказывается из слов польского летописца: угры перебили много галичан, противных новому порядку, раздали имения и должности своим, отстраняя галичан. Галичане везде были угнетены, порабощены, унижены (Dlug., 3, VI). Владимир, убежавши из башни и скитаясь по Германии, пришел, наконец, в отечество и с шайкой удальцов делал разорения в пределах Червоной Руси и в Польше. Эта разбойничья шайка насиловала девиц и женщин, не щадила маленьких детей, убивала священников в священных одеждах во время богослужения (Cadlub., гл. 1). Летопись русская говорит: *у мужей Галицких почаша отьимати жены и дщери на постель к себе, и в божничах почаша кони ставляти* (Ип. Л.,138). Между тем в Галиче образовалась партия, находившая себе выгоду в иноозем-

ном владычестве. Явилась другая, призывавшая сына Берладникова, Ростислава. Король, чтобы держать тверже свою власть, отвел в Угрию родственников знатнейших фамилий, и они теперь должны были поневоле стоять за него. Партия более смелая, хотевшая при помощи Иванова сына освободиться от чуждого ига, привела изгнанника; но так как угров было много, то от Ивана отступили; брошенный, он был взят в плен, и угры приложили смертное зелие к его ранам. Наконец, при посредстве немецкого императора, главное, для того, чтобы не дать утвердиться угорскому могуществу, Казимир принял сторону изгнанника, и воевода его, Василий, с полками повел Владимира на Галич. Иноземное владычество показалось слишком несносным, и потому не удивительно, если Владимиру явилось много помощников на Галицкой земле. И это облегчило ему водвориться на столе галицком. Королевич должен был удалиться, и галичане увидели, что им трудно отделаться от притязаний иноземных войск, если они уже раз объявились; надобно было искать сильной опоры; и Галич должен был, по-видимому, начать изменять прежнее свое направление — удержать самобытность и войти в теснейшую связь с русским миром. До сих пор галичане были противниками суздальских князей: теперь Владимир послал к Всеволоду искать покровительства и признавал его старейшинство. Роман, раз уже призванный на княжение, неприязненно смотрел на Владимира, и когда поссорился с Рюриком, то Владимир с галичанами своей партии опустошил принадлежавшие волынскому князю земли около Перемышля.

Наконец умер Владимир. Тогда Роман, оказавший большие благодеяния Казимиру польскому (потому что восстановил его на престоле, которого последний лишился было, когда доставил Владимиру власть в Галиче), сделался галицким князем при помощи Казимира. Против него была до того озлобленная партия, что просила польского короля присоединить лучше Галич к Польше и таким образом решалась лучше потерять независимость, чем иметь такого князя. Это были недоброжелатели Романа. Казимир слишком много обязан был Роману, чтобы согласиться на выгодное предложение, и притом его делала одна только партия; была и другая, противная и сильнейшая. Роман, сделавшись князем, по известиям польским, делал варварства над галицкими боярами: он их зарывал живыми в землю, разносил по членам, с живых сдирал кожи, расстреливал стрелами, сжигал огнем. Многих нельзя было умертвить явно; Роман ласково заманивал их к себе, угощал, ласкал, и когда они были спокойны и безопасны, давал знак, являлись слуги, и гости подвергались неописанным мучениям (Boguph., 130). "Надобно

прежде убить пчел, чтобы мед есть", говорил он. Ему хотелось истребить знатнейшие фамилии в Галиче. Это польское известие, если справедливо, то во всяком случае показывает, что дело было не романовой личности, а романовой партии. Роман не мог делать таких жестокостей, если б не опирался на чем-нибудь. Он не мог опираться на бессмысленном повиновении, потому что достоинство князя не могло еще усвоить такого значения, чтобы народ безропотно оправдывал все, что только вздумает князь. Он не опирался на чужую власть, потому что не побоялся вскоре нарушить союз свой с поляками: следовательно, он, дозволяя себе жестокости, должен был опираться на сильную партию, которая чрез посредство князя удовлетворяла своим враждебным отношениям к противным партиям. По крайней мере, у Романа должна была быть сильная партия; это показывает уже то, что по смерти его она сгруппировалась около его вдовы и малолетних его сыновей. В 1201 году Роман был убит в сражении с поляками, с которыми поссорился, несмотря на прежнюю тесную дружбу и взаимные услуги. Тогда в Галиче открылось раздолье страстям и произошло запутанное столкновение и своих внутренних, и внешних стремлений.

Развитие народной свободы необходимо должно было произвести возвышение одних пред другими и образование сильного класса. Власть и сила находились в руках бояр. Бояре галицкие не составляли в строгом смысле слова аристократию, замкнутое сословие, совокупность фамилий с наследственными предрассудками и наследственным сознанием фамильных прав. Под именем бояр, как и вообще в русском мире, в Галиче еще более разумелись люди богатые, владельцы земель; течением обстоятельств, уменьем ими пользоваться для своего возвышения приобрели они силу и влияние, и так же легко возвышались, как и упадали. Есть пример, что в числе таких сильных земли Галицкой были сыновья попов и простых мужиков, смердов. *Доброслав же вокняжил ся бе и Судьич попов внук; о других: приидоста Лазарь Домажерич и Ивор Молибожич, два беззаконника от племени смердья, и поклонистася ему до земле; Якову же удивившуся и прашавшу вины, про что поклонистася, Доброславу же рекшу: двах има Коломыю* (Ип. Л., 179). Они возвышались, пользуясь смутными обстоятельствами. Благодаря беспрестанным смутам усилился в Червоной Руси боярский элемент, особенно во время смут, происходивших после смерти Романа. Каждый претендент старался набрать себе союзников и раздавал пособникам, принявшим его сторону, в Галицкой земле города: *и прия* (Данило) *землю Галичскую и розда городы бояром и воеводам, и беяше корма у них много* (Ип. Лет., 173). Такой счастливец возводил

свою родню и приятелей и служивших ему, и составлял около себя чадь. Они владели землями и управляли городами. Народ страдал от их произвола. Доброслав, *вшед в Бакоту, все понизье прия без княжа повеления; Григорьи же Васильевич собе Горную страну Перемышльскую мышляше одержати, и бысть мятеж велик в земле и грабеж от них* (Ип. Л.,179). *Послаху исписати грабительство нечестивых бояр (ibid.). Они между собой враждовали; каждый возвышался на счет другого, и каждый хотел оторвать у другого достояние, чтобы улучшить свое. Этою-то враждебностью, как замечено выше, объясняются тиранства князей Владимира и Романа над своими противниками; партия со своей стороны хотела утвердиться под знаменем своего князя, а потому и поджигала его на уничтожение противников. Хотя стечение обстоятельств во многом благоприятствовало тому, чтобы Галич сделался центром соединения Южной Руси, но этому препятствовал также дух жителей, под теми же обстоятельствами развившийся необузданным стремлением лиц к возвышению какими бы то ни было путями. У галичан притом развилось удалое уважение к воинской доблести, как это видно из многих мест Волынской летописи.* Храбрость личная была добродетель и являлась в ореоле поэзии. Успех храбреца делался его оправданием. Бояре, становясь на общественную ступень, усвоивавшую за ними это название, не думали об общем деле, и потому находилось много таких, что приставали к уграм и возбуждали их на отечество, другие наводили поляков, третьи — такого-то и такого-то князя, и выигравшая сторона возносила этих князей. Когда они замечали, что князь непрочен, то спешили приставать к другой партии и к другому князю, и часто случалось, чтобы заранее упрочить себя, подвигали врагов на тех, которых сами призвали. Естественно, значение князя упадало более и более: князь не окружался никаким атрибутом могущества; он постоянно действовал по указанию бояр (советом), и как бояре жили между собою в несогласии, то беспрестанно попадал впросак; надобно было угодить одним — значит приходилось раздражать других. Как обращались с князьями, можно видеть из того, что *Данилу в пиру веселящуся один от тех безбожных бояр лице залил ему чашею* (Ипат. Л., 171). Роман, видно, не успел перемучить всех своих противников; может быть, из его благоприятелей стали противники, — только жена его с детьми должна была удалиться. Призвали детей Игоря северского и посадили одного в Галиче, а другого в Звенигороде. Заправлял этим призванием Володислав, конечно, думавший воспользоваться новыми князьями для себя. Потом выгнали вдову Романа из Владимира. Там посадили третьего

Игоревича, которого перевели в Перемышль. Скоро, однако, призванные князья совершенно закружились в этом омуте; бояре поджигали их одних на других, старались вооружить князей на других бояр, те и другие сносились с уграми, с поляками, а некоторые хотели жить независимо. Между тем с Игоревичами пришли и свои мужи и, конечно, отчасти при их содействии, с помощью некоторых бояр, мстивших своим братьям, с которыми были во вражде, Игоревичи составили заговор и стали убивать *величавых бояр*. В летописи число убитых выставлено до 500;но это, быть может, позднейшая вставка, потому что в некоторых списках оно пропущено, и вообще это число слишком велико для числа одних знатных (величавых) особ по преимуществу. Но главные коноводы боярские ушли в Угрию; на челе их был Володислав. Когда они с помощью подступили к Перемышлю и приглашали жителей сдаться и выдать Игоревича Святослава, то говорили: *братья, почто смущаетеся? не сии ли избиша отци ваши и братью вашю, а инеи имение ваше разграбиша и дщери ваша даша за рабы ваша, а отчествии вашими владеша инии пришельци?* (Ипат. Л., 158). Это место, характеризуя способ насилия того времени, указывает, что с Игоревичами прибыли северцы и они-то поставили себя в положение иноземцев к галичанам. Не только угры были тогда вызваны боярами. Когда Володислав с братьею бежали в угры, другие ушли к полякам и призывали их на помощь, третьи — в Белз, где княжил удельный князь Всеволод, четвертые в Пересопницу на Волынь. Игоревичи со своей стороны закликали половцев. Таким образом в Червоной Руси явились разорительные полчища иноземцев. Можно представить себе, как тяжело для массы народа должна была отзываться эта трагедия. Дело Игоревичей было проиграно, несмотря на половцев; князья были взяты в плен. Бояре владимирские и галичские — на челе первых Вячеслав, на челе других Володислав — решились наконец принять себе князем Данила, сына Романова, тогда бывшего еще дитятею. Его посадили на столе в церкви Богородицы, в Галиче. Трое из Игоревичей — Роман, Святослав и Ростислав, — взятые в плен уграми, были выпрошены галичанами на свой суд и повешены. Факт оригинальный, показывающий, что в Червоной Руси род князей не считался уже выше обыкновенных родов и жизнь их подлежала общему суду народному. Значение Рюрикова рода видимо упало. Галич не считал уже ничьего права княжить у себя не только за тою или другою ветвью князей, но и вообще за Рюриковым родом. Скоро Володислав подобрал себе партию и выгнал Данила с матерью; Володислав захватил правление и стал *княжитися* (1208-1209). Угорский король поспешил вос-

пользоваться новым порядком и обобрал Володислава и его приятелей, с которыми непременно должен был Володислав разделить свою власть, так что товарищ его, Судислав, весь в *злато пременися*, т. е. откупался от венгерского короля. Володислав торжественно *седе на столе*. Таким образом, княжеское достоинство выступило из Рюрикова рода; этим, казалось, удельный уклад начинал новый поворот, и он возникал прежде всего в Галиче — там подавали пример; там стали князей казнить смертью, не обращая внимания на их княжеское достоинство; там стали принимать особ не от Рюрикова рода. Почти можно поэтому предвидеть, как бы разыгралась история удельного уклада без тех обстоятельств, которые способствовали единовластию. Русь возвратилась бы к порядку, существовавшему до призвания варягов, то есть у разных народов в разных землях были бы свои князья, свои веча, не связанные уже единством княжеского рода.

Но это новое явление, возникновение новых родов на место единого княжеского, уже в течение веков освятившего древностью свое звание в глазах народа, встречено было соседними князьями и поляками не отрадно. Напали поляки; их тяжкие посещения были так неприятны, что народ готов был повиноваться скорей Володиславу, чем иноземцам. Наконец, после непродолжительных сумятиц земля Галицкая подпала под власть иноплеменников. Лестько польский переделил ее с уграми. *Не есть лепо боярину княжити в Галиче* (Ип. Сп., 160), — говорил он, — *но поими дщерь мою за сына своего Коломана и посади в Галичи*. Галич достался уграм. В нем посажен Коломан. Перемышль достался Лестьку. Но явился внезапно удалой Мстислав, борец правды удельного уклада, охранник новгородской свободы. Мстислав отдал за Данилу свою дочь, сначала не успел против угров и поляков, а потом привел половцев и выгнал иноплеменников. Воевода угорский Фил, называемый в нашей летописи Филя Прегордый, говоривший поговорку: "един камень — много горнцев побивает", был взят в плен. Мстислав сделался князем галицким. Но не утешилась земля. Александр, князь бельзский, не ладил с Данилом, княжившим во Владимире; народ в Бельзской земле пил тогда горькую чашу: "попленена бысть около Бельза и около Червена Данилом и Васильком и вся земля попленена бысть: боярин боярина пленивша, смерд смерда, град града, якоже не остатися ни единой вси непленене" (Ипат. Сп., стр. 163). Потом чрез два года Александр бельзский настроил Мстислава Удалого против зятя Данила. Последний призвал поляков на помощь: *Данилу же князю воевавшю с Ляхи землю Галичскую и около Любачева, и плени всю землю Бельзеськую и Червеньскую даже до оставших Василька князю*

многы плены приемшю стада коньска и кобылья (Ип. Сп., 165). Князья вскоре помирились; о последствиях, какие имел народ от этого мимо шедшего облака между тестем и зятем, никто не думал. Отважный, прямой характер Мстислава Удалого никак не мог сладить с извилистыми кознями бояр; одни ему советовали то, другие иное, — он не имел решимости Романа и одного из своих врагов только изгнал. По совету бояр он отдал дочь за угорского королевича, управлявшего Понизьем, и сам должен был удалиться из Галича. Бояре не захотели его; нашлась партия, предавшая отечество снова уграм, потому что надеялась возвыситься.

Время 1226-1237 было запутанное для Южной Руси. Князья шли один на другого, ссорились, мирились, опять ссорились. Данило стремился к покорению себе всей Волыни; кроме Владимира, Луцка, Черностава уже Пересопница и Берестье тогда были в его руках. Пошли на него киевляне, черниговцы, северцы, туровцы, пиняне, приглашены половцы. Данило успел разрушить этот союз против себя, оказал услугу польскому князю Конраду и в 1229 г. покусился опять на Галич. Партия, недовольная уграми, приглашала его; это были враги Судислава, сильнейшего из бояр, который правил тогда со своими клевретами всею Галицкою землею от имени королевича. Эта партия призвала Данила. Дом Судислава и все имущество было расхищено — таков был обычай: имущество тех, кто навлек на себя месть или кару народную, предавалось разграблению. Сам Судислав в виду народа бежал с королевичем; в него кидали каменьями и кричали: "изыди из града, мятежниче земли". Данило отпустил без преследования королевича, помня прежнюю дружбу с отцом его. Лишившись всего, сверженный с своего величия, Судислав побудил короля Белу явиться в Русь "в тяжце". Но бог послал на него архангела Михаила, который отворил небесные хляби: угорские лошади тонули, грязли и падали. Угры подступили к Галичу. Но у Данила были половцы Бегбарсовы. Днестр разлился и сыграл "игру злу" уграм, так что уграм было плохо и запасы у них погнили; они умирали с голода. Удалилась угорская рать. Но на следующий год (1230) партия бояр, враждующая с Данилом, составила заговор умертвить Данила и Василька и возвести на стол князя бельзского, Александра, их двоюродного брата. Один из бояр, Филипп, устроил пир в Вишне и звал туда князей-братьев с этой коварной целью. Но тысячский Демьян предупредил их. Князья ополчились на Александра; Александр призвал угров: Данило опять лишился Галича.

В 1234 г. один из бояр, придерживавшийся партии угорской, бывший у короля воеводою, по имени Глеб Зеремеевич, перешел на сторону Данила. Королевич, Судислав и тысячский Дьяниш

с королевскою партиею заперлись в Галиче. Когда Данило подошел к Галичу, королевич умер и Данило овладел Галичем; но князь луцкий Володимир пригласил его воевать против черниговских князей. Галичане опустошили землю Черниговскую с Данилом; народ терпел за князей своих, но галичанам заплатили тем же. Когда Василько, брат Данилов, оставался в Галиче, бояре составили заговор против него и Данила и пригласили Михаила черниговского. Очевидно, что так поступали потому, что надеялись возвыситься с помощью новых князей. С ними были в союзе болоховские князья; это, вероятно, были особы не Рюрикова рода, но бояре, сделавшиеся владетелями. Данило счастливо привел торков и разбил галичан. Болоховские князья были схвачены и приведены пленными во Владимир. Однако новая Михаилова партия, посадивши у себя Михаила в Галиче, заключила в то же время союз с Конрадом польским и призвала половцев для новых разорений. Данило до поры до времени должен был уступить и удовольствовался тем, что Михаил и сын его Ростислав отдали ему Перемышльскую землю в управление. На стороне Михаила были поляки; но Данило отстранил польское союзничество с Михаилом тем, что поднял на Конрада Литву; Михаил отнял у Данила уступленный Перемышль и сам отправился в Киев, а в Галиче оставался сын его Ростислав. Тогда Данило заключил союз с уграми, прежними своими врагами. Данило подступил к городу Галичу. Галичанам надоели смуты и беспрерывные перемены власти. Они собрались на вече и избрали Данила князем. Епископ Артемий и дворский Григорий стали было противиться, но увидели, что все желают Данила и сами отправились к нему с поклоном.

Данило объявил противникам своим примирение и не стал никого преследовать. Прежние князья, да и сам Данило, едва ли могли бы решиться не последовать здесь голосу своей партии, и всякая партия всегда требовала мести, ибо цель ее была занять место тех, которые ей враждовали. Но на этот раз не партия, а большинство народа было на стороне Данила.

Время княжения Данила не могло благоприятствовать спокойному течению народной жизни, несмотря на внешний признак политической целостности во всей Южной Руси. В 1240 г. пронеслась опустошительная буря татаро-монгольского нашествия. После взятия Киева разрушительное полчище двинулось на Колодежный. То был первый город западного края Южнорусской земли, павший в руки завоевателей. Жители сначала храбро защищались, но завоеватели предложили им сдаться, обещая пощаду. Русские видели, что от такого полчища нельзя отделаться легко, и послушались; татары всех перебили: таков у них был

обычай — обманывать и истреблять врага всеми средствами. Взят был Каменец, взят Изяслав, взят был Владимир-Волынский, взят, наконец, и Галич. Современник не распространяется в подробностях взятия городов, но городов этих было много — и *имже несть числа*, а о судьбе жителей летописец повествует очень кратко, но довольно выразительно и понятно: *изби и не щадя*. Впрочем, города, кажется, не были сожжены, и вообще бедствие, постигшее жителей Червоной Руси, захватило меньшую массу народонаселения, чем в иных землях Руси, потому что тысячский Данилов, Димитрий, подружившийся с татарами в Киеве, побуждал их скорее выходить в Угрию, предупреждая Батыя, что в случае промедления угры успеют собраться с силами и дадут отпор: *земля та есть сильна, сберутся на тя и не пустят тебе в землю свою* (Ип. Л., 178). Народ оставлял свои дома и прятался в лесах и горах. Сам Данило убежал в Польшу и переждал татарское прохождение в Судомире.

Между тем, пока татары были в Угрии, Ростислав, сын черниговского князя, сделался орудием противной Данилу партии; около него собралась толпа искателей, думавших, по обычаю, возвыситься при всякой перемене; союзниками его были и болоховские князья, уже выпущенные Данилом из плена. Летописец намекает, что они попадались (вероятно, после того как были пленены Данилом) в плен полякам, но Данило и Василько освободили их. Эти князья тяготились претензиями, какие оказывал на них князь Червоной Руси, и потому приняли татарское нашествие за удобный случай утвердить свою независимость. Прежде чем татары из любви к разрушению стали разорять их земли, князья эти послали к Батыю согласие быть покорными и служить ему. И Батый оставил в покое их землю с тем, чтобы владельцы ее орали и сеяли пшеницу и просо для продовольствия татар, которые предполагали утвердить свои колонии в разоренной стране. Эти-то болоховские князья стали с Ростиславом. Сторону его приняли также другие сильные владетели, бояре, или имевшие свои земли в Червоной Руси, или получившие в управление города и смотревшие на управляемые ими края как на свою собственность. Ростислав около семи лет боролся с Данилом, но постоянно успех оставался на стороне последнего, хотя за Ростислава были и угры и ляхи. Наконец в 1249 г. Данило окончательно победил Ростислава в кровопролитной битве на р. Сане, разбив помогавших ему угров и убив угорского бана Фила (Прегордого Филю); Ростислав бежал и не возвращался более, получив удельное княжество в Мачве, на берегах Савы. Раздражив и угров и поляков партии Лестьковых детей, Данило находился в таком положении, что надобно было ему дер-

жаться татар, чтобы по крайней мере страхом их помощи удержаться против западных своих соседей. И он выбрал удачно. По требованию татар он приехал в Переяславль, где уже поселились постоянно татары. Он должен был ехать к Куремсе, предводителю татарской орды, кочевавшей в Южной Руси, а потом на Волгу к Батыю, почтил хана тем, что поклонился по его требованию кусту и согласился в угоду повелителю пить кобылий кумыс. Видно, что в Южной Руси это унижение поражало сильнее умы и сердца, чем подобное в Северной с тамошними князьями. *О злее зла честь татарская! Данилови Романовичю князю бывшу велику, обладавшу Русскою землю, Киевом и Володимером и Галичем со братом си иными странами: ныне сидит на колену и холопом называется, и дани хотят, живота не чает и грозы приходят* (Ип. Л., 185). Как ни обидно было такое унижение и непривычно для буйных княжеских голов, да зато Данило, пробывши 25 дней у татар, *отпущен бысть и поручена бысть земля его ему*. В этих многознаменательных словах заключается зародыш нового уклада русской политической жизни. До сих пор политическая судьба русских краев зависела от столкновения побуждений, от случая — если можно допустить это слово. Право было одно — воля массы; иногда она страдательно принимала, что ей давалось; но все-таки принципа другого не было, кроме согласия или непротиводействия массы. Теперь это право — была власть завоевателей. С этого утверждения власти Данила над Червонорусскою и Волынскою землями начинается господство единодержавного принципа в Южной Руси, который впоследствии перешел в руки литовских обрусившихся князей и после долгих колебаний со старым удельновечевым выработал государство под именем Великого Княжества Литовского.

Период от принятия христианства до нашествия татар для Южной Руси до известной степени может назваться периодом умственной культуры. Христианство расширило круг понятий, сообщило новые взгляды, ввело книжность. Сближение с Византиею знакомило русских с приемами такого общества, которое было самым образованным в тогдашнем христианском мире. Южная Русь не была отрезана и от Запада. Брачные союзы князей с домами королей шведских, немецких, французских, венгерских и польских указывают на близкие и частые сношения Киева с Западною Европою. Еще в те времена не укоренилась религиозная неприязнь к западной церкви; греки не без труда старались населить ее. Киев был такой город, где многое можно было узнать и увидеть, там было средоточие торговли; много

было в Киеве купцов, бывавших в далеких сторонах. Вениамин Тудельский встречал их не только в Константинополе, но в отдаленной Александрии, кто странствовал ради торговли, а кто из религиозных целей; — во всяком случае в Киеве немало было таких, которые видывали чужие земли и чужих людей, знали чужую речь. С другой стороны, в Киеве толпилось множество иностранцев: там можно было встретить и немцев из различных городов, и итальянцев, и греков, и магометан, и иудеев. Не удивительно, что, живя в Киеве, можно было выучиваться нескольким иноземным языкам, как это сделал князь Всеволод Ярославич, отец Мономаха. Из летописцев нам известно, что Владимир, креститель Руси, и сын его Ярослав заводили училища, а последний и книгохранилище; Ярослав собирал от себя грамотных людей, приказывал им списывать книги, другим поручал делать переводы с греческих. Мы не можем сказать — какой процент жителей пользовался тогда этими средствами просвещения, но видим, что в Киеве были люди по тогдашнему времени образованные, что там существовала литературная и умственная жизнь, а чтение пользовалось высоким уважением. Достойно замечания суждение летописца, который, прославляя Ярослава за его покровительство книжности, сравнивает его заслуги с заслугами самого Владимира, крестившего русский народ. Владимира он уподобляет вспахавшему ниву, а Ярослава — сеятелю. "Велика польза от книжного учения, — рассуждает летописец, — книги указывают, научая, путь покаяния, в книжных словесах мы обретаем мудрость и воздержание; книги — это реки, наполняющие вселенную, источник мудрости, неисчетная глубина; книги нас утешают в печали". Здесь летописец, восхваляя книги, разумеет, будучи сам духовным лицом, книги религиозного содержания. Естественно, что, пришедши к нам вместе с религией, книжность должна была быть преимущественно религиозною и более переводною и подражательною. Знакомство с византийским миром внесло к русским с первого раза множество переводов с греческого; древняя переводная русская литература чрезвычайно богата, хотя, к сожалению, не всегда можно в точности определить: относится ли тот или другой перевод к этому периоду, так как очень многие сохранились только в позднейших списках, и так как, кроме того, в позднейших списках старинных переводов делались изменения в языке; можно, однако, с большою вероятностью утверждать, что большая часть из того переводного запаса, который сохранился на севере в сравнительно поздних списках, принадлежит дотатарскому периоду. За переводами появились и оригинальные русские сочинения духовного содержания, более или менее составлявшие

подражание греческим образцам. Читая духовные поучения того времени, как например, Илариона или Кирилла Туровского, мы видим такие литературные приемы, которые показывают в авторах подготовку воспитанием, навык размышлять и передавать мысли в стройном порядке, значительный запас сведений и знакомства с произведениями греческой духовной письменности, искусство красноречия, явную заботливость об изяществе выражения: этими качествами сочинения дотатарского периода отличаются от сочинений позднейшего времени, обличающих, сравнительно с первыми, скудость мысли и сведений, отсутствие художественности. Подобное можно сказать и о летописях; та часть наших летописных повествований, которая относится к югу в дотатарский период, при всех своих недостатках отличается большею стройностью в повествовании, чем северные и последующие. В особенности же выше всего оказывается первоначальная летопись, обыкновенно неправильно называемая Несторовою; при изложении более толковом и живом она представляет для читателя гораздо более занимательности, чем даже продолжители ее, писавшие о событиях, происходивших на юге после Мономаха.

Но ничто столько не говорит о литературной культуре этого периода, как неоцененное Слово о полку Игоря. Здесь мы видим уже сочинение не религиозное, а светское, поэтическое. Оно совершенно своеобразно; тут нет уже византизма, тут все родное, русское. Неизвестный по имени автор этого произведения был человек образованный по своему времени. Он имеет понятие о том, что значит петь не в смысле простого пения о чем-нибудь, а в смысле поэтического творчества; его патриотический взгляд на современные ему условия политического бытия Руси показывает в нем человека с значительною широтою воззрения на вещи, с здравым пониманием общественных потребностей; вместе с тем он вполне поэт народный, черпает свои вдохновения из общенародных русских стихий. Он явно принадлежит к дружинникам, к той части народа, которая, находясь в лучших условиях, имела более средств к саморазвитию, но он чужд тех дурных качеств, которые отличали нередко дружинников; он не сторонник ни той, ни другой стороны, ни той, ни другой княжеской ветви, даже ни той или другой земли; он никому из русских не враг; он не галичанин, не киевлянин, не черниговец, не полочанин — он русский человек в самом обширном смысле этого слова, хотя в нем не видно и тени того насильственного объединения Руси, которое в последующие века было рычагом всей русской истории; сын своего века, он не мог дойти до таких идей: они должны были оставаться ему чуждыми даже и потому, что он был слишком русский душою, а всякое насильственное объединение требует

привязанности к одной части более, чем к целому; но более всего он был поэт, певец Руси, ее славы, бедствий и горестей, добродушный, увлекающийся; все, до чего он касается, принимает у него поэтическую окраску, но не чужую, не заимствованную, а свойственную духу своего народа и своего века. Он был не первый и не последний в своем роде; он сам вспоминает о Бояне — соловье старого времени, отличавшемся роскошным творчеством — замышлением — и долго жившим в памяти потомков. Галицкая летопись уже позже того времени, когда мог писать свое слово певец Игоря, упоминает о другом певце — словутном Митусе, навлекшем на себя гнев князя Данила тем, что когда-то прежде не захотел петь пред ним. Нет сомнения, что таких певцов было не три только нам известных; ясно, что во вкусе тогдашнего времени были произведения исторического эпоса; образовалась особая поэтическая литература, светская, княжеская и дружинная; поэты воспевали подвиги князей и их сопутников и возбуждали их к новым делам и подвигам. Судя по Слову о полку Игоря, эта светская поэтическая литература не только была совершенно отлична от духовно-религиозной, но отчасти стояла в разрезе с нею. Тогда как духовные, распространяя христианство, желали уничтожать всякие остатки язычества, светские поэты обращались к этому язычеству как к источнику своего вдохновения. Певец Игоря не страшился называть ветры стрибоговыми внуками, ни русский народ потомством Даждьбога, хотя, конечно, не верил в языческих богов. В его творении нет вовсе церковности, кроме слова аминь, поставленного, вероятно, не им, потому что оно поставлено некстати; но он все-таки христианин: его взгляд на совокупность Руси, его желания единения, согласия, его грусть о междоусобиях в Русской земле могли, как нам кажется, при тогдашних условиях возникнуть только под влиянием христианства, да и самая его литературная образованность могла быть им получена только при христианском и более или менее церковном воспитании. Между тем его поэтический талант отрешался от всего заимствованного, весь ушел в свою народность; в художественном произведении этого поэта вместилось то, что он мог получить только от своего народа, — народные древние верования, предания, любимый способ выражения. Таковы по духу, вероятно, были все тогдашние поэтические произведения, невознаградимо для нас потерянные; то были не подражания византизму, а самобытные явления русского духа. Поэзия язычества была своя, родная; она продолжала существовать и развиваться, переходя из области веры в область изящной литературы, художественного слова. Это было естественно при тех условиях, при каких вошло к нам

православие, при том преобладании аскетического элемента, которое, умножая монастыри, оставляло за их стенами грешный мир самому себе, связывая его только внешними признаками с религией. Неудивительно, что в Слове о полку Игоря находили много сходства с поэзиею малорусских песен по изображению природы; мы укажем еще на одно сходство: в малорусских песнях такое отсутствие церковных элементов и верований, как и в Слове о полку Игоря; малорусская песня, часто оплакивая умерших, воображает их себе чаще всего в могиле, надавленных землею, не слышащих, не видящих, а иногда в дереве, птице, камне, но не в рае и не в аде; так же точно и певец Игоря, упоминая об умерших, заставляет по ним унывать цветы и дерево преклоняться с тугою к земле, но не напутствует их на тот свет; жемчужная душа, исходя через златое ожерелье, не отправляется ни в ад, ни в рай. Православие сосредоточивалось в монастырях, ставило первым долгом отрешение от мира и всех его сладостей и забав; а этот мир, если не веселый, то вечно ищущий веселья, шел своим путем, шел своею жизнью; чувство и воображение русского человека обращалось к старине и пробивало себе своеобразный путь художественного творчества. Это было не худо. Русский певец, не заботясь о монастырях, вдохновляясь древними народными верованиями, которые церковь стремилась истребить, все-таки показал себя не язычником, а христианином, так как в его создании не языčески-варварский дух раздора и необузданности, а христиански-гражданский дух любви к Русской земле, желание ей мира, единения и охранения от иноплеменных врагов, разрушавших ее благосостояние.

Вместе с литературным развитием мы встречаем и следы искусства. Распространение чтения вызывало переписку рукописей. Из этого рано образовалось на Руси искусство писания. Древнее письмо на пергаменте отличается тщательностью отделки и изяществом; писали не только для того, чтобы можно было легко прочесть, — писали затейливо, красиво, раскрашивали и разводили узорами начальные буквы, украшали рукописи живописными изображениями. Иконная живопись принесена в Киев греками, но была скоро усвоена русскими; уже в XII веке в Печерском монастыре был знаменитый русский иконописец Алипий. Обычай расписывать внутренние стены храмов фресками способствовал развитию и распространению живописного искусства. Оно не ограничивалось одними церковными предметами. Сборник Святослава, в котором изображено семейство князя Святослава Ярославича, и сочинение Ипполита об антихристе, где помещен лик какого-то князя, заставляют полагать, что в те времена писали портреты живых лиц. На лестнице Киево-Со-

фийского собора на стенах есть изображения охоты, княжеского суда, забав, плясок, лазанья по шесту, а также изображения, по-видимому, мифологические, например, человека с птичьей головой, поражающего копьем другого. Все это показывает, что живописное искусство обращалось к чисто мирским предметам и даже к обыденной жизни. Церковная архитектура введена к нам греками, но потом появились и свои зодчие: случайно мы узнаем о существовании в конце XII века зодчего Петра Мисопега. В Киеве было несколько великолепных церквей: к сожалению, до нашего времени уцелела только одна в таком виде, который может дать понятие о старине, да и та не без значительных искажений и изменений, это — церковь св. Софии, построенная Ярославом.

Она представляла вид большого прямолинейного четвероугольника с тремя алтарными выступами, освещалась сверху многими куполами, была с каменными хорами, куда вели две лестницы, витые, широкие, не считавшиеся принадлежащими к святыне храма и потому исписанные светскими изображениями. Вход в церковь был с западной стороны, тройной, а входы по лестницам на хоры были с боков, так что трапеза с хорами прямого внутреннего сообщения не имела. Главный купол, заалтарная стена среднего полукружия и предалтарные столбы были украшены мозаикой, а стены и столбы, поддерживающие главный купол, — фресками, изображающими лики святых и события из священной истории. Это работа греческая. Но едва ли то же можно сказать о фресках на лестнице, представляющих сцены, очевидно, из русской народной жизни. Нам кажется, эти фрески должны быть русского произведения и во всяком случае очень оригинальны и поучительны. Подобно как за Иларионами, Кириллами, Феодосиями, Несторами мы встречаем певца Игоря с языческими Стрибогами, Велесами, Даждьбогами, возбуждавшими гонение со стороны благочестия, так сходя с переходов Софийского храма, мы встречаем пляски, музыку, игры, мирское веселье, то, против чего так вооружались благочестивые проповедники веры. Итак, в живописи, как и в литературе, было направление не религиозное, а мирское, грешное (с монашеской точки зрения), касавшееся таких предметов, которые благочестие осуждало наравне с языческими остатками.

Существовало, наконец, искусство, которое уже ни в каком случае не могло мириться с тогдашним благочестием, это — музыка. Благочестивый аскетизм предавал его анафеме без изъятий. Когда Феодосий, вступивши к Святославу, увидал около него играющих на гуслях и органах, святому мужу очень не понравилось такое веселое препровождение времени. А будет ли так на том свете? — сказал он. Уважавший святого мужа князь

приказал музыке перестать, и всегда, когда только Феодоей посещал его, музыка не смела беспокоить отшельника. Но тем и ограничилось влияние, какое в этом случае оказал на князя печерский игумен. В его присутствии музыка не раздавалась в княжеском тереме, но в другое время — иное дело. Это чрезвычайно живо очерчивает нравы и понятия того времени. Мирские люди жили своею прежнею народною жизнью, со своими привычками; жизнь эта имела зачатки своей собственной культуры, но против нее восставало благочестие аскетизма именем новой религии. И что же? Мирские люди делали уступки благочестию до известной степени, соглашались признавать грешным то, что им называли грешным, но в то же время продолжали жить по-прежнему; это необходимо имело деморализующее влияние, порождало лицемерие: люди грешили. Музыка была осуждаема церковным благочестием безусловно, а между тем она существовала, русские любили ее, как любили и песни — поэзию. Поэты пели, сопровождая свои произведения игрою на инструменте; певец Игоря говорит о Бояне, что он вскладал свои вещие персты на живые струны, и они сами князям рокотали славу. Пиршества князей сопровождались игрой. На фресках лестницы Киево-Софийского собора мы видим пять родов музыкальных инструментов; один из них в роде арфы, четвероугольный: то, вероятно, древние гусли, другой — труба, третий — флейта, четвертый — подобие малороссийской бандуры или торбана, пятый — две металлические тарелки. Есть упоминовения о сопелях (малорусская сопилка), органах, бубнах. Самый благородный инструмент считался гусли; игра на гуслях употреблялась певцами на княжеских и боярских празднествах.

Вот слабые черты умственной культуры в Южной Руси до нашествия татар. Мы видим, что она была двойственная — с одной стороны, византийская, религиозная, с другой — туземная, мирская, отчасти языческая, но все-таки возбужденная к развитию христианством, поднявшим русского человека на высшую ступень понимания, расширившим его кругозор. Недолго суждено было процветать ей в южном крае. Уже с разорением Киева Андреем начинается ее падение, по мере того как дикие кочевники стали более и более внедряться в русскую жизнь, а русское население находило выгодным переселяться на восток в Суздальско-Ростовскую или Владимирскую землю, где в то же время заметным делается возрастание культуры, пересаженной с юга. ю Нашествие татар нанесло ей последний удар. Киев, сожженный, истребленный дотла, на многие века оставался в развалинах, будучи жалким поселением, и целый окрестный край осужден был сделаться пустынею, пока для него не настала новая историческая жизнь.

МИСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ О НИФОНТЕ

ПАМЯТНИК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIII - ГО ВЕКА

Вместе с христианством юная русская жизнь приняла в себя элемент восточный, направлявший чувства и воображение к миру таинственных существ, обращающихся среди нас, сообщающих нам побуждения, но незримых для обыкновенных глаз и доступных только тем, которые получили для того особое приготовление. Вкус к духовидению развивался у нас вместе с монашеством. Из монастырей, которые стали для народа светилами образованности, представления о бесах перешли в массу народа, сочетались со старыми языческими образами, жившими прежде в его воображении, и таким способом сделались важной стороной русской жизни. Бес стал представителем веселости, разгула, земных удовольствий, земных страстей и пороков; жизнь, угодная божеству, исполнялась самоотречения, горя, болезни, сокрушения. Страх беса руководил поступками человека. Любопытно и важно проследить, каким путем установлялось в народе это воззрение, и в этом отношении бесспорно принесли свою дань те греческие сочинения мистического содержания, с которыми предки наши познакомились в старинных переводах. В числе таких сочинений едва ли есть такое полное, богатое и плодовитое образами, как повесть о Нифонте, известная у нас бесспорно с XIII века. Греческий ее подлинник, кажется, не был напечатан никогда. Из древних ее рукописей известны две, обе очень ста-

рые: одна в парижской библиотеке, другая пергаментная в нашей синодальной библиотеке под № 406. Но нельзя ничего сказать положительно верного ни о времени ее составления, ни о времени, когда действительно существовала личность, которая ныне описывается здесь. Нет сомнения, однако, что событие, составляющее предмет повествования, не могло происходить в то время, которое тут указывается. Герой повести действует при Константине Великом, в Константинополе, и делается епископом кипрским, но рассказчик попадает в важные анахронизмы. Константинополь изображается городом уже вполне христианским; не видно ни малейших следов язычества, которые необходимо должны были бы встретиться: в городе уже существуют монастыри; а их тогда еще там не было; наконец герой повести посвящается в сан кипрского епископа от патриарха александрийского, когда кипрская епархия зависела от антиохийского патриарха; посвящается при александрийском патриархе Александре и находится в этом сане в то время, когда место Александра заступил Афанасий, следовательно, должен был занимать сан кипрского епископа во время никейского собора, тогда как достоверно известно, что на никейском соборе участвовал кипрский епископ Геласий. Александр называется пятым по Петре мученике, тогда как он был в самом деле не пятый, а второй, или первый по Ахилле, преемнике Петра (Oriens Christ. III. 390, 392, 1046). Наконец, в повести упоминаются такие отцы церкви, которые в самом деле жили гораздо позже, в IV и V веке. Очевидно, повесть сочинена была уже позже и притом таким автором, который не твердо знал подробности церковной истории и писал, не справившись с ними. Впрочем, для нас этот вопрос не представляет непосредственной важности: когда бы эта повесть ни была составлена, к нам она перешла не ранее того времени, когда мы в состоянии были принять и усвоить ее, да и значение ее не в исторической древности подлинника, а в ее содержании; и самый подлинник не столько важен для нас, сколько перевод, ибо нашими предками читался последний.

Рукописная повесть о Нифонте сохранилась в харатейном списке, в листе, составленном в XIII веке и хранящемся в библиотеке Троицко-Сергиевской Лавры. Он писан крупным, четким уставом, блестящими, но несколько побледневшими от времени чернилами. В начале рукописи несколько недостающих листов заменено позднейшим списком на бумаге. На последнем листе означено: когда и где, и кем писана была эта рукопись: "Господи помози рабом своим Иоанну а Алексию, написавшема книгы сия, и где соут помяткы, исправя чтите. В лето 6723 кончана быша книгы сия месяца мая в 21 день на память святаго

мученика Иеремиа в граде Ростове, при князе Василце, при сыну Констянтинове, а внуце Всеволожи. Святии апостолы, пророцы, мученицы, святый Нифонте, помози господину Василку и мене грешнаго раба своего Кирила избави в день судный от вечныя муки". По всему вероятию, Кирил, здесь упоминаемый, есть Кирилл ростовский; о нем свидетельствует летопись, что он собирал писания и распространял их.

В первой половине XIII века был, так сказать, золотой век книжной образованности в Ростовско-Суздальской земле. Образованность, в начале воспитанная на киевской почве, должна была выступить из Южной Руси, потрясенной Половцами и междоусобиями, и нашла себе на короткое время приют на востоке, пока оттуда не была вытеснена татарским нашествием. Памятниками этой эпохи было несколько переводных сочинений; там была переведена и Диоптра, древнейший список которой хранится в Публичной библиотеке и где также указано, что она была списана в Ростове. Самая летопись этого края, составляющая продолжение первоначальной летописи по Лаврентьевскому списку, отличается велеречием и риторикой, которые показывают близкое усвоение византийских приемов письменности. Повесть о Нифонте в переводе есть произведение из ростовской эпохи. Трудно решить, была ли она в Ростовской Земле переведена или, быть может, только там переписана; неизвестно, чем были Иоанн и Алексей, переводчиками или списчиками. Должно думать, что, изготовивши рукопись в том виде, в каком она дошла до нас, они поднесли ее Кириллу, который собственноручно сделал на ней надпись.

Повесть эта не считалась у нас никогда в кругу церковных сочинений, напротив, в некоторых перечнях отреченных (апокрифических) книг иногда помещается и она. Нельзя сказать, чтоб списки этой повести, в той полноте, в какой она находится в ростовской рукописи, были сильно распространены у нас впоследствии; но, с другой стороны, она не составляла исключительного достояния владычных библиотек, а была в чтении народном и имела влияние на народные понятия. Это видно из того, что многие места из нее попались во многие сборники последующего времени с различными изменениями и в приспособлении к своебытным приемам русской жизни. Ясно, что эти принадлежали некогда к любимым чтениям.

В самом деле, ее оригинальный склад и занимательный рассказ должны были действовать на воображение: такого рода повести могли нравиться старому нашему обществу. В редком из житий отшельников можно не встретить борьбы с духами, но нигде эта борьба не высказана с такими подробностями и в таких

затейливых образах, с таким признаком таланта и роскошной фантазии. Вся повесть составляет ряд духовидений и напоминает сочинения Сведенборга, Юстина Кернера, Каганье и других духовидцев близкого к нам времени.

Нифонт был сын князя Агапита в Плагионе. Присланный туда от царя Константина начальник области выпросил его у родителя, когда он был еще отроком, и отправил к своей жене, в Константинополь, для изучения книжной мудрости и божественных писаний. Благочестивая женщина поручила его обучение священнику, жившему в ее дворе *да по мале научить псалтири*. Мальчик был от природы кроток и застенчив, как обыкновенно бывают в детстве натуры, в которых с летами впоследствии развивается мечтательность. Вскоре он получил такую любовь к учению, что вставал по ночам, зажигал свечи и кадило, и читал духовные книги. У него возникло желание испытать самому то, что описывалось в книгах, и сделаться похожим на тех святых, о которых он начитался столько чудесного. По наставлению тех же книг, он воспитывал в себе сочувствие и уважение к нищете и злополучию. Однажды случилось ему услышать нравоучение такого рода: *иже чистоту у себе имать, а милостыня не имать*, не входит в царство небесное. Он начал спрашивать своего наставника: что это такое чистота? Учитель объяснил ему, что чистота значит *убегать блуда*. Познакомившись со словом *блуд*, юноша стал тосковать о том, что он не в силах будет убежать от этого блуда; диавол воспользовался таким тревожным состоянием и напустил на него еще большую скорбь. От этой скорби Нифонт спал в пьянство и объядение, вместо прежней молчаливости возникла у него охота разглагольствовать, стал он ходить на позорища, распевать веселые песни, а потом познакомился практически с блудом, прелюбодеянием и, наконец, содомским грехом. Но вот, однажды, он зашел к одному из оставленных благочестивых приятелей прежнего времени, по имени Никанору; с ужасом тот замечает, что лицо Нифонта сделалось черно, как у Мюрина (у Мавра). Это обратило Нифонта внутрь себя; вступило в сердце его раскаяние; стала мерзка ему порочная жизнь. Вошедши в храм, он со слезами стал молиться пред иконой Богородицы и ему показалось, будто изображение улыбнулось ему. Видение наполнило его отрадой. Вслед затем он несколько раз замечал, что образ Богородицы улыбался ему, когда он каялся и принимал решительное намерение вести чистую жизнь, и напротив, образ глядел на него сурово, когда перед тем он допускал к себе грешные думы. Отсюда начинается род духовидений и во сне, и на яву. Бесы преследуют Нифонта, стараются отвлечь его от молитвы; Богородица и святые защищают

его. Бес завел его в колодец; Богородица, по его молитве, чудодейственно извлекла его оттуда. Нифонт впадает в недуг; Богородица и св. Анастасия мажут его маслом и исцеляют. С ним было таинственное сновидение; он увидел, что его преследуют бесы; сновидение это трижды повторялось: Нифонт заключил, что ему придется претерпеть большие искушения. Нифонт не удаляется в монастырь, он обрекает себя на беспрестанную ходьбу из церкви в церковь по городу. Тогда во сне явился ему первомученик Стефан, похвалил его намерение, обещал ему содействовать в борьбе с бесами, и велел идти в церковь, созданную во имя свое. Нифонт, помолившись в указанном храме, поднял с земли камешек, вложил себе в рот и носил несколько дней; тем он предохранил себя от самословия и если случалось ему не утерпеть и проговориться, то заходил в уединенное место, бил себя по щекам и по губам (*зашед кроме, заоущашеся сам иелику силоу имеяте, глаголя: тебе нечистыи никто же кажет, ныне оубо аз тя кажю; и биiася зело ся тружааше места того, и паки аще иемуся прогневати боудяше на кого, то взбиiаше в оуста своиа к решняма глагола: аз вы по малоу семоу научю кротость и молчание имети...: И бе видети чюдо преславно: мученика без мучителя стражюща за премногих тех ран, иеже себе блаженныи творяше от многыиа болезни, юже имяше блаженныи велми стража, и бе видети дивно мертвеца ходяща и никакоже и имеюша вида животьнаго на лици своем, иако от таковаго биениа, врату иего обходящу от биениiа отпадатися*).

Бесу не понравилось это; бес стал ему представлять, что так не годится уродовать образ Божий: но блаженный опроверг его доводы, напомнив ему, что каждый господин имеет право бить своего раба, а плоть есть его раб. *И се слышав бес лоукавыи стоуд приимаше.* За такую твердость небесная благодать уничтожила болезнь, происходившую от самоистязания; явился ангел, кадил около Нифонта, и оттого на лице его, изможденном от побоев, оставались следы благоухания небесного фимиама. Бес, однако, не переставал его искушать, выдумывал то одно, то другое; один раз явился перед ним в образе ворона и стал около него прыгать, думая, а, авось, он вздумает ловить его; но прозорливый и осторожный Нифонт не поддался на такую уловку, и еще сам причинил бесу досаду, напомнив, что беса ожидает на страшном суде *рожество огненое*, а бесам, как известно,очень не нравится мысль об этой грядущей их судьбе. В другой раз бес искушал его яствами и питиями; Нифонт отослал туда — *идеже человеци потребоу грешноу творять.* Бес повел на него иного рода нападение: — *"В блоудный ров въверьгу тя"* - сказал лукавый враг — *"и пойде нань с великим ражжением, распаляиа*

иего и оустя, порпиа и на сласть блоудную". Но Нифонт наложил на себя суровый пост и дьявол бежал от него. Только что Нифонт освободился от такого искушения, как увидел *на месте гнойне пса темна лежаща и помыслив рече: еда иесть пес или лоукавый бес?*" Вдруг пес с яростью бросился на него: Нифонт дунул — и пес исчез. Новое видение предупредило его, что ему грозят еще большие искушения; он увидел, что ангел вынул у него сердце и вложил новое, и с этим новым сердцем он должен был пройти сквозь ряд черных демонов. И действительно, после этого пророчественного видения бес напустил на Нифонта тяжелое искушение, навеял ему сомнение в бытии Божием. Мы выпишем это поэтическое место, где образно выражается психическая борьба мысли в человеке:

"Однажды он молился и внезапно услышал шум, который проходил от праваго уха до леваго, и ужаснулся святый муж, и изумился, говоря: что это будет? И когда он так размышлял, пришел диавол, ревя, и претя и гневаяся, и омрачил ему ум и отемнил, и ввел его в страх и смутил. Блаженный хотел творить молитву, но не было в нем чистаго смысла, а только сонливость и зевота и потягота: и лень великая напала на него, и тягость большая, и невыразимая тоска. Блаженный, будучи объят диавольским омрачением, сказал: о, грешный Нифонт! ныне пришли на тебя грехи твои, и искушение, котораго ты сильно боялся, ослепило тебе ум и сильно свищет! О, я бедный с душою своею! Стерегись, чтоб не войти живьем во чрево его! И говоря таким образом, знаменовался крестным образом; нападал же на него несытый волк и помышлял низложить праведнаго и говорил ему: покинь молитву! Блаженный же говорил: я не покорюсь нечистому бесу; если Бог повелел ему погубить меня, я приму с благодарением повеление моего Бога, а если тебе не повелено от Бога моего, то посрамлю все твои козни. Диавол же говорил: А есть ли Бог? где? Нет Бога; все самобытно; кто тебе сказал, что Бог есть?.. А Бога нет! Ведя на соблазн блаженнаго, всечасно говорил ему: а есть ли Бог? Нет Бога! Растворял нечистый бес сии три (?) вещи, которыя наводил на праведнаго и покушался прельстить и омрачить его, говоря ему: нет Бога!"

Но раб Божий, слыша это и распаляясь, говорил: Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Растлился злой и помрачился! Ангел хулы! Беги во тьму от меня. Я верую, что есть Бог и будет! Лютый же бес еще сильнее омрачил его, и когда блаженный покушался сотворить молитву, уста его говорили, а ум омрачался, не ведая, что говорилось и какой был смысл духовной песни, которую он читал, а великая печаль одолевала его от этой неотвязчивости, и много раз блазнился в молитве, и размышляя

говорил: Горе мне грешному, сам не знаю, что помышляю! И снова обращаясь, творил молитвы сначала с большим трудом. И так страдал каждый день: влагал ему пронырливый, что нет Бога и вметал его в скорбь безмерную; и блаженный тосковал от диавольского возмущения, так что лишился смысла человеческого. И говорил ему диавол: я не буду более тебя беспокоить, только перестань творить молитву, которую творишь утром и в полдень. Раб же, видя злобу бесстыдного змия, говорил: если я соблужу, или впаду в прелюбодеяние, или украду, или какое-нибудь другое зло сделаю, а от Христа моего никогда не отступлю. Снова говорил диавол: что ты это говоришь? А есть ли Христос? Христа нет. Кто тебя обманул, будто Христос есть? Христос не существует; нет Христа; я один все содержу: для чего же ты меня оставил? И отвечал святой: Есть Христос; Он Бог и человек; и все ему принадлежит! Окаянный! Доколе будешь мучить создание Божье! Окаянный, ты не прельстишь моего смысла! Что ты меня ослепляешь? Ты тьма и во тьме ходишь и тьмой с людьми борешься, и во мраке будешь мучиться во век века. Отступи же, враг Божий, от святых Божиих! Так говорил раб Божий и терпел и страдал крепко, славя Бога! Он же лукавством своим не отступал от него и беспрестанно говорил: Нет Бога! И что такое Бог? Знаешь ли того Бога, о котором говоришь? Разве он тебе показывался? Где он живет? Где он пребывает? Покажи мне его — и поверю тебе и я! Такие мысли насевал ему бес четыре года и мучил праведника, влагая ему, что нет Бога, облекал ему смысл тьмой, и праведный помышлял, что Бога нет. Когда так было, святой сильно отягчался, но не переставал молиться и читал божественные писания, и когда он стоял с вечера на молитве, опять темный бес начал томить его, говоря, что нет Бога. Праведный же, глядя пред собой, увидел лицо Господа Иисуса Христа и сильно застенал, и простер свои руки к чистому образу сему, и сказал: Боже мой, Боже мой! Зачем ты меня оставил? Извести меня, что ты существуешь, единый Бог! Неужели я оставлю все, что есть с именем твоим и сотворю то, о чем мне говорит диавол? И так сказав, стоял и ожидал, что услышит, и смотрел в лицо честной иконы, и видел, что просветилось лицо святой иконы, как солнце, и все исполнилось неизреченного благоухания. Блаженный пришел в ужас от этого света, пал ниц и говорил с трепетом: Верую во единого Бога Отца Вседержителя Творца и небу и земле, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Творца и небу и земле, и в Святаго Духа, славимого и просвещающего! Господи мой Иисусе Христе, не прогневайся на меня, ради твоей великой милости и не отвергни меня, нечистого, искусившего святое имя твое; сам

ведаешь, Господи, как досаждает мне враг мой, погружая меня в лукавое безверие. Прости меня, Господи, что я искусил тебя, Господи.

"И говоря это, он лежал ниц, и, вставши, воззрел на святой образ и узрел преславное видение: просветлело лице образа и обращал он очами как живой человек, и покивал, и брови его сгибались и сходились. Видя это, блаженный Нифонт начал вопиять радостною душею: Господи, помилуй меня! И очень удивился, и говорил: велик Бог христианский и велика сила твоя! Не остави меня до конца погибнути, создание свое; припадаю к святым ногам Твоим! Благословен Бог и благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ибо избавил меня от сени и тьмы смертной, окованнаго нищетою, как железом. И так говорил он, и более того говорил пред иконою Господа нашего Иисуса Христа, и отошел из церкви, окончив молитву, и вшедши в свой покой, немного уснул, ибо сердце его исполнилось небесной сладости, и веселия, и радости, и видимо было благообразное чудо: вышел он оттуда светел, и улыбался, всем казался весел и красив, так что многие, знавшие его, удивлялись и говорили: что это с ним; столько лет ходил он уныл, опустившись, а теперь веселится и радуется? Или видел явление?"

(Иединою же молящюся иемоу от вечер внезапоу слыша зело шюм шюмящ, иже прихожаше с деснаго оуха и до леваго, и абите святый оужасен быв, недомышляшеся глаголя: что оубо се боудет? И се иему размышляющю, и се диавол приде ревыи и претя, и гневаяся и омрачи иему оум, отьмни, и в страх вложи и смоути, и блаженыи же хотяше молитвоу творити, и смысла чиста не бяше в нем, не токмо сон и зиианиие, и пролящаниие и леность припаде иемоу велика, и тяготы многы, и беседы и скорбь коньца не имоущи, блаженныи же обьят зело омрачением диаволем рече: о грешныи Нифонте, ныне придоу на вы греси твои и искоушениие, иего же ся иеси боиал, зело люто, оум ми ослепи и свищет зело! о наю! внемли оубо тверде, да не жив внидеши в чрево иего. И се глаголя, знаменашеся образом креста; нападаше же нань несытый волк и мышляше низложити праведнаго глаголя: отверзи молитвоу! Блаженыи же глаголаше: аз нечистомоу бесоу не покорюся, аще ти ие Бог мои повелел погоубити мя, да примоу с благодарением Бога моего повеление; аще ли несть повелено от Бога моего, посрамлю вся козни твоиа! Диавол же глаголаше: а ие ли Бог? Кде? Несть Бога; самобытна соуть вся! А кто ли ти, льсти, иако Бог иесть? а Бога несть! На сблазноу веда блаженнаго по вся час иемоу глаголя: а иесть ли Бог? Растворяше нечистыи бес сииа три вещи, иаже бяше нанесло на праведнаго, и покоушашеся прельстити и омрачити, глаголя: Бога несть.

Слышав же се раб Божии и раждизавшеся глаголя: рече зезоумен в сердци своием: несть Бога. Растьле злыи и помрачися. Ангеле хоулы, бежи в тьмоу от мене: аз бо вероую, иако иесть Бог и боудет. Лютыи же бес паче омрачаше и, иегда ся покушаше сетворити молитвоу; оусты оубо глаголаше, оум иего омрачашеся не ведый что ся глаголя и чь иесть разоум пениия, и бе иемоу велика печаль в том стоужении, и блажняшеся в молитве многажды, и мало нечьто размысль, глаголаше: оувы мне грешному, иако не веде, что свещаю! И паки обращься, творяше молитвы от начатька и с многмь трудом: сице страда, по вся же дни влагаше пронырывыи, иако несть Бога, и вметаше и в скорбь безмерну; и толикоу печаль имяше блаженыи от взмоущениа диаволя, иако и смысла чловека лишену быти. И глаголаше иемоу диавол: аз по сем не ноужю тебе, токмо престани от молитвы, юже твориши заоутра и до полудне. Раб же, видя бестоудьнаго злобы змииевы, и глаголаше: аще сблоужю или прелюбы сотворю, ли оубию, ли оукрадоу, ли ино зело створя, аз Христа моего николи жо отвергоуся, ни отстоуплю. Пакы же глаголаше диавол: что ли глаголеши: а иесть ли и Христос? Христа несть. Кто ли тя иесть прельстил иако Христос иесть? Несть Христос; несть Христа; аз иедин содржю вся; ты же почьто мя иеси оставил? И отвеща святый и рече: иесть Христос тоже Бог и чловек, и того все иесть. Оканьне, доколе моутиши зданиие Божиие? Оканьне, не имаши прельстити моего смысла! Что мя слепиши? иако тьма иеси, во тьме ходиши и тьмою борешися с человекы, во мгле ходиши во мраце во век века моучитися; отступи оубо, враже Божии, святых иего Си глаголя раб Божии тьрпяше и страдаше, крепко славя Бога. Он же лукавьством своим не отступаше иего, но глаголаше присно: несть Бога! И что ли иесть Бог? Воле! веси ли Бога, иего же глаголеши? Что ти иесть показал? Кде ли живет? Кде ли прибываиет? Покажи ми иего, и вероую ти и аз! И си оубо насеваиа глаголаше на четыре лета моуча праведника, се влагаше, иако несть Бога, кладый иему смысл тьмою: и помышляше правьдный иако Бога иесть. Семоу же сицеому бываюшю, зело бяше отягчал себе святый, но обаче не престаиаше от молитвы и чьтыи божествьнаиа писанииа; и стоиащю иемоу со вечера на молитве, паки тьмныи бес начать ноудити, иако несть Бога; правьдныи же смотрив пред собою и виде лице Господа нашего Иисуса Христа, и вельми постенав, простер роуце свои к честному образоу семоу, и рече: Боже, Боже мои! вскоую мя иеси оставил, и извести мя иако ты иеси иедин Бог! Аще ли оставлю вся о имени твоием и сотворю вся иелико же ми диавол глаголет! И си рек, стоиа, чаиа что оуслышить, и зрящу иемоу в лице чьстныиа тоиа иконы,

виде, и просвьтеся лице иего — иако солнце лице святыия тоиа иконы, и исполнениие неиздреченьнаго благоуханиа. Блаженныи же, оужасьн быв от света того, паде ниц, и трепеща глаголаше: вероую в иединаго Бога отца вседержителя творца небоу и земли, видимым же всем и невидимым, и во иедин Господь Христос творец и небоу и земли, и Святыи же Доух иего славим и просвещаиемь. Господи мой Иисусе Христе, не прогневаися на мя великыиа ради твоиеиа милости и не отверьзи мене нечистаго искоусивша святои имя твоие; ты бо веси, Господи, како ми стоужаиеть враг мои, погроужаиа мя в лоукавем неверстве, тем же прости мя. Господи, иелико искусих тя Господи, и дивьно имя твоие, преблагыи, милосерде! И се рек леже ниць; и встав, и взре пакы на образ святыи, и се преславно видение: бе бо лице иего пресветьло зело, и обращаще очима иако жив чловек, и покываше, и брови иего гыбястеся и схожастеся. Си же видев блаженыи Нифонт нача вопити радостьною душею: Господи, помилоу мя! И зело ся чюдив, глаголаше: велик Бог христианск и велика сила твоиа! Не остави мене до коньца погыбноути зданиа своиего, иже выноу припадаиеть к ногама твоима пресвятыма! Благословен Бог и благословенно царьство отца и Сына и Святаго Доуха, иако же избави мя от сени от тьмы смертныиа и окована соуща нищетою и железом. И си рек, и ина множаиша пред иконою Господа нашего Иисуса Христа, и отиде от церкве молитвоу коньчав, и вошед во хлевиноу свою, поспа мало, бе бо сердце иего исполнилося сладости небесныиа, и веселииа, и радости, и бе видети чюдо благообразьно; и хожаше оттоле светьл, и весь осклабяся, всем же сладок и честен, иако же и мнози от чловек, иже и знаиахоу, оудивляхуся глаголюще: что оубо бысть иемоу, иако колико лет ходи дрясельн и оуныл, а ныне веселится и радоуиеться: или иавлениие видел иесть?).

Победивши верой безверие, Нифонт подвергся другому искушению: бес старался нашептывать ему высокое мнение о своих подвигах и о своей святости; Нифонту западали в голову гордые мысли, входило искушение сравнить себя с самим Богом. Но при всякой такой мысли Нифонт расточал себе самые унизительные названия и таким образом снова победил дьявольское искушение. Небесная благодать подкрепила его утешительными видениями; один раз он был вознесен на таинственный столп посреди моря; другой раз, когда молился в храме, с небесной высоты простерлись к нему огромные руки и обняли его; потом ангел облил его миром; был он поднят на воздух, как бесплотный; вступая в храм, был осеняем множеством блестящих крестов, которые образовали над головой его круг, то сходились между собой краями, то расходились; когда крестики расходились, бе-

сы вскакивали в круг, образуемый крестами, и потом выскакивали прочь; это делалось не для того, чтобы подвергать святого страданиям, а чтобы показать бессилие бесов против него. Всегда на страже против своего врага, с помощью Богородицы, Нифонт стал недоступен для дьявола.

"Когда он хотел вкусить сна, то клал на землю камень, наверху его клал сажец (?) и потом становился, пел погребальныя песни, будто хотел похоронить себя, а потом читал четыре апостола и евангелие и еще кое-что, и перекрещивал свою постель, и так почивал, подлагая камень себе под голову, и когда приступали к нему бесы, нападая на него во сне и не давая уснуть, и тогда он тотчас во сне отгонял их и воспринимал духовную силу, и бил их крепко, укоряя и уничижая, и вельми возмущая их; оттого и бесы изумлялись, говоря: что нам делать с сим жестоким? Крепко он нас бьет и укоряет и уничтожает наш род. Когда раб Божий лежал и дремал, пришел на него диавол, держа бердыш и думая его убить, но ужаснулся дьявол и, скрежеща зубами, бежал и вопиял: О, Марие! ты меня всюду сожигаешь и хранишь этого жестокаго! Слыша это, праведный уведал поистине, что хранит его святая Богородица и помогает ему, ибо он брал от лампады масла с великою верою и во время сна помазывал себе чело, и уши, и шею, и тем избегал диавола.

(Иегда хотяше прииати мало сна, первеи полагаше камень на землю, и вьрхоу иего полагаше мал сажец, и потом станяше, поиа погребалнаиа како погребтися хотя, и потом счьтяше 4 апостолы и иеваньгелииа, и ина некака, прекрещаяа ложе своие, и тако почиваше, камень подложь под главоу свою, и иегда пристоупаху над нь беси, в сне патыкающе и не дадоуще иемоу оусноути, и тоу абиие в сне отгоняше, а и силоу духовноую всприем, биаше иа крепце, коря и оуничьжаиа е, и велми взмущаиа е, тем же и соумнящеся беси глаголахоу: что створим жестокомоу семоу? понеже зело биieть ны, и корить ны, и оуничьжает род наш. Взлежащю же рабоу Божию малмьм сном, и се приде над нь диавол дьржа брадев, хотя оубити иего, оужасноув же ся диавол и скрежеча зоубе своими, бежа вепиаше глаголя: о Марие! ты мя восьде жожеши и храниши жестокаго сего! Си же слышав праведный, оуведе по истине, иако хранить и вельми святаа Богородица и помогаиеть иемоу; взимаше бо от кандила иеиа масло с великою верою и помазашеся иакоже обычаи имяше во время спаниа чело свое, и оуши, и выю, и срдце, и тем побежаше диавола).

Оградившись сам от бесовских нападений, он достиг духовного прозрения и видел, как лукавые духи искушают людей, а потом рассказывал это тем, которые приходили утешаться его

душеспасительными беседами. Вот, например, он видел, как бесы заводили грешников в дом разврата, а ангел Божий плакал о погибели вверенных ему душ:

"Когда они дошли до некотораго места, где проживали блудницы, узрел блаженный человека, словно евнуха, стоящаго вне жилья с очень унылым видом, закрывал он лице свое ладонью и так плакал, что, казалось, небо с ним плакало: то рыдал, то руки воздевал, и молился, и стонал, то поддерживал челюсти свои рукою и стоял будто в недоумении, то снова начинал стенать, а потом задумывался. Видя это, праведный стал с ним сам плакать и, приступив к нему, сказал: Бога ради, брат, скажи мне, что за причина, что ты так плачешь и унываешь? Скажи мне, умоляю тебя, хочу я узнать это и желаю! Имел большое умиление и плач. Отвечал ему и явил ему, и сказал: естеством преславный Нифонт! Я ангел Божий; все христиане в час, когда крещаются, принимают ангела от Бога, хранителя своему житию, и я, как и все, получил на хранение некотораго человека; он же меня оскорбляет, творя беззаконие, и ныне находится в этом жилище, как видишь, лежит со блудницею, и я не могу зреть беззакония, которое он творит; как мне не плакать, видя образ Божий, падший в такую тьму! Говорил ему праведный: Зачем же ты не накажешь его, да убежит темнаго греха. Говорил его ангел: Я не могу приблизиться к нему, когда он начал творить грех; он раб бесов, и я не имею над ним никакой власти. Говорил ему святый: отчего же так, что ты не имеешь над ним никакой власти, когда Бог тебе его предал? Отвечал ему ангел: послушай, раб Божий Нифонт! Бог сотворил человека самовластным и попустил ему: каким путем хочет, тем и ходит; и показал ему тесный путь и широкий, и сказал: тесный путь прискорбен и ведет к жизни тех, кто его держится, и пространный путь никого на спасение не приводит; и дал Господь разум: кто по худой этой области ходит, тот в огонь идет, а кто по скорбном пути ходит, тот в вечное блаженство идет! Какое же наказание могу дать человеку этому, порученному мне от Бога, когда сам Бог наш Иисус Христос своими устами наставляет и милует, и учит уклоняться от злых дел? И мало людей, которые творят истинно слово его! Праведник сказал ему: зачем простираешь руки на небо, стеня и ужасаясь? Отвечал ему ангел: я видел бесов его плещущих, другие же ругаются над ним, и оттого разгрелось сердце его на студных бесов; я молился Богу, да будет избавлена от прелести омраченных бесов тварь его, да и мне дарует обрадоваться, хотя бы об одном дне его покаяния и обращения!.. И я молился, да сподобит мне милостивый Бог предать душу его благости, чистую и трезвую. И сказав сие,

ангел стал невидим. Когда же мы отошли от него, праведный сказал мне, что нет греха смраднее блудного греха; но если блудник хочет покаяться, то скорее примет его Бог других грешников и беззаконников, ибо это грех от естества: осилеет дьявол скоктанием, и если кто хочет отогнать его, то отгонит бдением и малоядением. Говорил еще и вот что: когда мы шли, то я видел человека, идущего широким путем, и отверзлись мои очи, и я узрел тридцать бесов около него крамолующих: одни как мухи омрачали лице его, другие как комары жужжали в уши ему, иные же, защепивши веревками, держали его за шею, и за ноги, и за сокровенные члены и без милости тащили его: один сюда, другой туда, я же все это видел и был объят слезами, и помышлял: кто это три, которые влекут человека. И мне открылось, что один из них блудный бес, другой прелюбодей, третий же тот, который содомский грех творит, а те, что жужжали в ухо ему, посевали в нем отчаяние, те, что лице его омрачали, те отгоняли от него страх студодеяния. Они от Бога моего мне явлены были, и тотчас затем я видел: ангел его шел далече и держал в руке тонкую трость, а на конце его прекрасный цветок, и шел он потупя взор, как будто в отчаянии и грусти, оттого, что скорбел о человеке, потому что этот человек был уже в гортани адской,чрез прелюбодеяния, и бесился на мужский пол, и тем порабощался. Видя это, я воздвиг руки на высоту небесную и сказал: о, хоть единую молитву сотвори о нем к Богу! Но лукавые бесы, казалось мне, как комары объедали мышцы его, не допуская меня сотворить молитвы о нем. Когда я слышал речи эти от праведника, то меня, отцы и братия, постиг великий страх, и я дивился, услыша то, чего никогда не слышал".

(Излезшем же в некотороие место, идеже блоудьница живоут, оузрев блаженный человека иако и каженика, вне храма стоиаща, зело оуныла, дланию лице своие покрыв и плакаше сицем образом, иако же мнети небо с ним плачюще, и овгда рыдаше и овгда роуце воздев, моляшеся, стоня и плача, дроугоици же подьржаше челюсти свои, и стоиаше иако обоуеин, понываиа, и овгда с стенаниием, отвгда дрякхл сый. Се же видев праведныи начат сам плакатися, и престав, приста к человекоу плачющемоуся, и рече: Бога ради, брате, повежь ми каиа ти иесть вина имьже тако плачешися и иеси оуныл? Повежь ми, молю тя; хощю бо уведети и желаю. Имяше бо много оумилениие и плачь, отвещав же, иави иемоу, и глаголя: иестеством преславныи Нифонте! аз бо иесм ангел Божии, и да иако же вси крестииане в не же ся крестять, приимають ангела кождо от Бога хранителя житию своиемоу, и прилоучихся, иако же и вси, поущен на хранениие человека некоиего; он же зело мя оскоробляиет безако-

ниια творя, и ныне в обители сеи иесть, иако же видиши, лежить в безаконии с оньсицею и блоудницею, и се оуже не могоу зрети безакониа, иего же то творить; да како ми зряще не плакати в какоу тьмоу образа Божиια впадшася! Глаголаше же ему правьдный: да почто не накажеши иего да оубежить тьмьнаго греха? Глагола иемоу ангел: понеже не имам места приближитися к немоу; отнележе начал иесть творити грехы, раб иесть бесом, и ни иединоια же власти не имам на нем. Глагола же иему святый: окоудоу оубо иако ни иединоια власти имаши на нем, а Богоу тебе и предавшю? Глагола иемоу ангел: послоушай, рабе Божии Нифонте, Бог наш вещию самовластна створил иесть человека, и попоусти иемоу да имьже поутьмь хощет ходити да ходить, и показа иему тесныи поуть, такоже и широкыи, и рек: иако тесныи прискрбьн иесть путь, иже на живот ведеть, и иже ся иего держить; пакы же простран поуть иесть, иже никого же на спасениие приводить, и сею поутью разоум дав Господь, да иже по хоудеи власти сеи ходить, то в огнь вечныи, а иже по скбрнем, то в породу вечьноую идеть; да коие показаниие могоу аз сотворити на человеце семь, иего же ми Бог пороучи хранити, сам бо Господь Иисус Христос своими оусты наставляеть, и милоуиеть, и оучить вся оукланятися злых дел. Недва мало некде чловек, иже творять слово иего истиньне. Правьдник глагола иемоу: да чесо ради простьрл иеси роуце на небо стеня и оужастьне? Глагола иему ангел: зрех бесов иего плещущь, и дроугыя ругающася иемоу, да того ради разгарашеся сердце иего на стоудныια беся; молях же ся Богоу, да избавлена боудеть от прельсти омраченых бес тварь иего, и да ми дасть обрадоватися о нем, поне иедин день о покаиании иего и взвращении. Еще же моляхся и от семь да мя сподобить милостивыи Бог предати душю иего багыни чистоу бодроу и трезвеноу соущю. И се рек ангел безвести бысть от него. Отшедшема же нама, глаголаше правьдныи; иако смрадне блудьнаго греха ин не иесть к Богоу, и аще хощеть блоудник покаиатися, то вскоре приимет и Бог паче вьсех беззаконьник и грешник, понеже от иестьства иесть грех, осилеиет же диавол скокотаннием, и аще кто хощет отгнати и, то бдениием и малоядением отженеть и. Глаголаше же, и се, грядущема нама, видех, рече, человека грядуща широким поутем, отверзостемися очи мои, и оузьрех иако 30 бес около иего крамолоующа: овьи иако мухы омрачахоу лице иего, ови же иако комариие свиряху в оуши, иныи же оужи повьрзше, держахоу по шию и по носе и по сокровеныиа оуды, и влачахоуть и без милости, ов семо, ов онамо; аз же се видев, сльзами обиат бых и помышлях: кто, соуть троие иже влекоуть человека сего; открыже ми ся то, иако то иесть блоудныи бес,

другие же прелюбодеи, третии же иесть иже содомьскыи грех творить, а иже в оухо иемоу свиряхоу, отчаяниии сиають в нем, а иже лице иего омрачахоу, страх стоудодеиаииия от иего отиемлюще. Си от Бога моиего навишамися; и абиие паки видех, и се ангел иего надалечи идяше, держа в роуце своиеи тоиаг тонк, на коньци иего цьветьц красен зело, идяше иако отчаися долоу нича, и зело скорбя, того дела чловека скорбяше тако, понеже бяше человек оуже в гортани адове прелюбодеяниием впад, а на моужьск пол бесяшеся и теми ся порабощьши. Аз же то видев вздвиг роуце на высоту небесноую и рех, да поне иединоу молитвоу сотворю о нем к Богу; и се лоукавыи беси иако комарие бывше и объиадяхоу, иако же мнях, мышьци иего, оуставляюще мя никакоже о нем молитвы сотворити к Богу. Се же мене, отци и братиия, правьдникоу поведающе, и объиат мя страх велик, и дивихся слыша, их же николи же ни слышах).

Замечательно, что бесы не всегда искушают людей по собственному желанию; находясь под деспотическим правлением сатаны и старейшин, второстепенные бесы иногда поневоле, так сказать, по обязанности службы, должны работать ко вреду рода человеческого.

"Видел перед собою человека идущаго; тот человек был духовен. И видел блаженный за этим человеком кого-то чернаго, посевающаго скверные помыслы. Вышереченный же муж от благаго помысла наблюдал за своими помышлениями и часто, обращаясь, на дьявола плевал, укоряя его. Праведный, видя, что лукавый дух безпокоит Божия человека, возопил к духу и говорил к нему с яростию: оставь его, свирепый льстец, перестань налегать на создание Божие. Что тебе за польза, окаянный, если душа его погибнет? Отвечал ему бес: послушай, что я тебе скажу: мне тут нет никакой пользы: но поневоле принужден я бороться с ним; у нас есть князи, властвующие над нами; и если мы ленимся и не боремся с человеческим родом, то князи наши бьют крепко того из бесов, о ком найдут, что он не борется, и, отпуская, гонят на дело. Многие из нас ленивы и вялы, а другие бегают от дела; и ради того принуждают нас на брань. Говорит ему святый: Окаянный! Знаешь ли что огонь тебя ждет и лукавых твоих бесов и дела их! Зачем не плачешь, помышляя о неизбежном огне, для тебя уготованном? Бес, услышав об этом, стал невидим.

(Виде человека идоуща пред собою; бе же человек дъховен; и виде блаженыи за чловеком темь черна некоего идоуща и скверпен помысл всевающа: нареченыи же тои муж от блага помысла разсматряше помыслы своя, и часто обращаиася на диавола, плеваше, коря иего. Видев же праведьный дух лоукавый стоужа-

ющь человекоу Божию, возопи к духоу и глагола иемоу с иаростию: престани прочеие сверепе льстьче, належа на зданиие Божиие! каиа ти польза, оканьне, аще душа иего иеже не боудеть погыбнеть? Глагола иему бес: послоушай оубо, рекоу ти: ползе оубо никоиеиа же ми несть, но ни хотя ноудим иесмь с ним побаратися: князи бо имам владоущи нами, а аще ленящеся не боремся с родом крыстьианьскымь, то иего же нас обрящют от бесов князи наши неборющася то бьють ны крепце и разгоняюще отпущають; мнози бо соуть от нас ленивии, слаби, дроузи иже бегоуни: да того ради ноудять ны на брань. Глагола иемоу святыи: оканьне! веси ли иако огнь тебе ждеть и лоукавыих твоих бес и дел! Почто не плачетеся неотреченнаго огня, иже тебе уготован иесть! И слышав бес, без вести бысть).

В своем духосозерцании Нифонт видел, как человеческие беседы привлекают то ангелов, то бесов к людям, и рассказал, как он видел благочестивого человека, обедавшего с женой и детьми, и ангелов, прислуживавших им за трапезой. Это видение с объяснениями повторялось во множестве последующих сборников с разными видоизменениями; но все различия не мешают видеть первоначальный источник его в нашей повести:

"Нашел человека сидящаго с женою своею и детьми; и видел некоторых прекрасных евнухов в светлых одеждах, предстоящих пред обедающими в том покое, и было числом их столько, сколько едящих, и нищии с ними ели. Видя это, раб Божий изумился, говоря: что это такое — сидят убогие, а служат им в светлых одеждах? Он не догадался еще, а Бог ему явил, что это за служащие за трапезою! И сказал: служащие — ангелы Божии; такова их обязанность, что во время обеда предстанут, обвязавши руки, как Божии служители; но когда начинается клеветное слово, или что-нибудь неподобное станут говорить за трапезою, тогда, как дым отгоняет пчел, так и злая беседа отгоняет ангелов Божиих; и когда ангелы Божии отойдут, тогда приходит темный, мрачный, злой дух и посевает зло посреди обедающих, и разливается зломрачный дым от бесовских речей и злых бесед.

(Обрете человека сидяща отобедоуща с женою своею и детми, и виде некоторыиа красныиа каженикы в светелах одежах престоиаща пред иадоущими в хлевине тои: бе же их числом иелико и едоущих и нищии бяхоу иадоущии. Видя же се раб Божии, почудися, глаголя: воле! се боудеть сидящии оубози соуть зело, а предстоиащии в светьлах одежах? И не домыслящю же ся иемоу, что се боудеть, иави иемоу Бог, кто си соуть престоиащих, что ли иесть трапеза? И рече: престоиащи ангели Божии соуть; имеють так чин, да в время обеда предстаноуть связавше роуце, иако блази слоужители Божии; да иегда на-

чнеться слово клеветно, или ино неподобно к Богу глаголати на трапезе, да иако с бчелы отгонить дым, тако и зьлаиа беседа отгонить ангелы Божии; и излазящим же святым ангелом Божиим, приходить тьмьи, мрачен, злыи дух, и всевает зло посреде обедающих, дым зломрачен проливаиа от словес бесящих и от бесед подобных злых).

В числе других видений замечательна история Созомена: за милостыню, данную нищему, ему представилось видение ангелов с ковчежцами; из ковчежцев они выбирали драгоценные одежды и указывали на них, как на награду за те бедные одежды, которые он уделял нищим. Так и теперь народ воображает, что в будущей жизни последует вознаграждение за милосердие предметами, подобными тем, какими в этой жизни добродетельные люди ознаменовали свое сострадание к несчастным. За кусок хлеба — роскошные яства, за рубище — златотканные одежды, за медный грош — золото на том свете. Вместе с этим связана, если не по ходу рассказа, то по смыслу, повесть о том, как в виде нищаго явился Христос, — повесть, повторяемая отрывочно в разных сборниках и перешедшая в народную легенду:

"Увидел" — пересказывает Нифонт слово благодетельного мужа — "нища в рубище, а над головой его стояло изображение Господа нашего Иисуса Христа, не разлучаясь от нищаго ни на мгновение; и когда нищий шел своим путем, некоторый милостивый человек встретил его и дал ему хлеб; но только что протянул руку пищелюбец с хлебом, как вместо нищаго изображение Спасителя приняло из рук христолюбиваго человека хлеб и даровало ему благословение; и видя это, с тех пор верую, что дающий нищему влагает в руки Бога".

(Узрех нища в роубех грядоуща и над главою иемоу стоиаше обличиа Господа нашего Иисуса Христа, никако же неразлучено, и иако же нищии идяще поутем, некто милостивых идяще и срете и дасть иему хлеб; да иако же простре роуку держа хлеб нищелюбец, и се простреться образ Спасов в роуце христолюбивомоу ономоу, и приа от рукоу иего хлеб, и вдасть иемоу благословениие. И то видев, отоле веровах иако даиаи нищю в истину в роуце Богу влагаиет).

Касаясь великого таинства причащения, Нифонт рассказывает, что во время приношения бескровной жертвы он видел вместо хлеба на дискосе закланного младенца, а когда литургия окончилась, младенец снова явлися живым и взят ангелами на небо. Во время причащения мирян, те из них, которые были достойны этой чести, являлись со светлыми лицами, а недостойные с темными и унылыми. Это видение в разных видах записано в сборниках и сделалось народным верованием. Точно так же

существует до сих пор верование, что отказываться от крещения детей грешно, и тот, кто часто крестит, имеет у себя заступников в младенцах. Это рассказывается у Нифонта в таком виде:

"Некто пришел к блаженному и поверил ему, что на него находит непонятная скорбь. Блаженный отвечал ему: сатана тебя прельщает, как будто нет награды от Бога за тех детей, которых ты воспринимал от св. крещения. Бог в писании говорит: кто вас приемлет, тот приемлет и пославшаго меня! И опять: взяв Иисус дитя, поставил его пред собою и сказал: истинно говорю вам, кто приемлет сих малых, меня приемлет! Что может быть этого блаженнее? принимая младенцев, приемлешь Христа, и духом приемлешь Отца его. Что может быть, сын, лучше и светлее, как добро творить! Сколько ты младенцев воспримешь от св. крещения, то все они пойдут пред твоею душею до небесных врат, творя тебе великую честь и великий срам воздушным бесам. В оный день, когда ты оставишь свое житие и прейдешь к владыке в великой радости, тогда, вместо младенцев, будут тебе заступники ангелы и пойдут пред лицем твоим в оный день к престолу Божию и покоищу, оказывая тебе честь; и в образе тех младенцев ты принял Христа и почествовал; купель есть девица, и ты как бы держишь самого Христа на руках, и нарицаешься ты Симеон, приемлющий Христа в образе младенцев".

(Сотона тя льстить, иако иелико иеси детии изял ис святаго крещения несть ти мзды от Бога. Глаголеть бо Бог в писании том: иакоже и вас приемлеть и пославшаго мя; и пакы — возьм Иисус отроча младо и постави ие пред собою, и рече: аминь, аминь глаголю вам, иже прииемлеть малых сих, мене приемлеть. Да что ие, чадо, блаженее того; понеже младеньц приемлеши, приемлеши Христа, духом же приемлеши Отца иего. Да что иесть, чадо, оунеие того или светлеие, или, чадо, твори добро: иеклико бо младеньц прииемлеши от святаго крещениа, то ти преди поидуть пред душею твоиею до врат небесных, честь тебе творяще великому, и миог стоуд воздоушным бесом в днь он, иегда оставиши житиие своие и преидеши к владыце в радости велице, стоиальца бо держать ангели в младеньць место, и преди поидоуть пред лицем твоим в день он до престола Божиа и покоища, чтоущаиа тя, им же теми младеньци Христа приял иеси, и почел; девица бо иесть коупель, а держить Христа самого на роукоу, и нарицаишися ты Симеон приемля Христа в младеньцех).

Замечательно тоже, по отношению к последующим верованиям, укоренившимся у нас, пророчество Нифонта о том, что в последующие времена перестанут являться святые и не будут

происходить чудеса, но тем не менее, святые угодники не переведутся на земле, а только укроются пред светом. Это место, записанное в разных видах в рукописных сборниках, повторялось нашими старообрядцами, не хотевшими признать святости причисленных к лику святых после никоновской реформы богослужения:

"Прошу тебя, отче, поведать мне: умножатся ли святые до нашего времени по всему миру, в добрых подвигах подобные Антонию, Илариону, Симеону и любимому Павлу и иным, которых Бог ведает и очи Его зрят? Отвечал ему: святые не оскудеют до скончания века; но в последние дни укроется от людей праведная жизнь богоугодников во смирении, и явятся в царствии Божием *выше* чудоносных отец; ибо тогда не будет никого творящих чудес пред лицами их".

(Воле, отче, повежь ми: до нынешняго соуть ли ся оумножи ли святи по всемоу мироу днесь в добре подвизе и нарочита имена их, их же первыи иесть Антонии, Иларион и Симеон, и любимыи Павел пресвятыи: и ини мнози, иаже Бог весть и очи иего видита? Глагола иему святыи: до скончаниа века не оскудеють, но обаче в последняиа дни сокрыються от человек. Богоугодне в смерении же просто вышьше чюдоносных отец иавяться, в царьствии Божиим, понеже тогда не боудеть никого же творяща пред очима их чюдес).

Особенное значение получило в повести Нифонта то место, где рассказывается видение бесов, побуждавших людей на светские удовольствия, на игры и песни; причем блаженный видел, как бес украл из кармана у скомороха монету и понес ее на показ к сатане. Это место во множестве наших рукописных сборников называется "слово св. Нифонта о Русальях". Оно напечатано в "Памятниках старинной Русской литературы" по списку XIV века. Хотя в списке XIII века есть некоторые отличия, но не столько важные, чтобы здесь приводить снова все это слово. Следует заметить, что в повести нет вовсе прибавления о *Русальях* и самое это имя не упоминается; очевидно, что впоследствии проповедники, заимствовав этот отрывок из переводной повести, прилагали его к другим явлениям жизни. Но приведем здесь другое, столь же оригинальное видение огромного полчища бесов и выступления против них святых ангелов, подобие земной войны между духами. Это видение указывает Нифонту сам Господь. По его повелению, Нифонт "узрел чувственными очами место ровное, в ширину и долготу неизмеримо большое, и на этом месте стояло множество муринов; очень черны были их лица; стояли чины и полки их страшные, во множестве; один из них был огненный и мрачный, и он много кричал

и перебирал воинов своих, и раздавал приказания князьям своим, дабы они с большим прилежанием приступали к брани, и так им говорил: сила моя с вами будет; взирая на меня, их не бойтесь! И стояли они отрядами по числу каждаго греха в ополчении, и пришли другие бесы с оружием из ада, и каждый полк был в различной одежде, цвет и покрой одежды для каждаго полка, и всех полков было 365, ибо столько существует страшных грехов, которыми мы, окаянные люди, прогневляем Бога, не разумея этого. Когда лукавые бесы взяли свои оружия и приготовились идти, тогда злый начал пересмотр полков своих и каждому давал чародейские составы, и пускал полки на всякое утверждение Христовых церквей и на весь мир. Была же и темному князю их некоторая тревога и недоумение на то время, и когда хотел пустить своих подчиненных на Фракийскую Землю, то говорил: нет у меня силы против девицы Марии идти на Византию, ибо она приняла в свой жребий этот город, и не отступает от него никогда, приходит лично и явно, и ободряет тамошних назарян и подвигает их не поддаваться победе над собою. Сказав это, он ревнул и избрал себе тридцать тысяч бесов и припустил на помощь к фракийскому ополчению и особенно бесился на Византию. Когда блаженный это видел, тогда был к нему глас: Нифонт! Нифонт! обратись к востоку и смотри! Праведник же удивлялся, видя ухищрение непотребных бесов, и, услышав глас к себе, обратился на восток и увидел: поле шире и длиннее прежняго, и озарял его невыразимый свет, и стояли на нем особы как снег белыя, и было их еще более, чем прежде черных; были они величественны и прекрасны, стояли в ополчении на тысячи числ, и некто прекрасный, выше всех ростом и красотою, повелевал пречистыми полками невидимаго Бога, приказывая им помогать христианам и хранить житие их. Так говорил он, и говорил много о другом страшном и величественном, и пустил чины свои и все войско Христовых церквей, и отправил на брань шестьдесят тысяч, а прочих всех отпустил, а сам взошел на небеса. Блаженный же, видя такое преславное чудо, покивал головою, размышляя, как много совершается тайн над людьми от человеколюбца Бога нашего, а мы не разумеем этого".

(Узре чювьствьными очима и се бяше место равно ширыню и долготу имы безмерноу, и на том стоиаше множество мюрин, зело черна лица их, стоиахоу же чинове и полци страшни множество их; иедин от них бяше акы огнян мрачен зело, и те имяше много тщаниие клича иа, и смоущаиа и пробираиа и чьтыи воиа своиа и запрещениие творя князьм своим, да с прилежанием многом и тщаниием начноуть брани, и сице глаголя к ним: сила моиа с вами боудеть, и на мя взирающе не бойтеся ничесоже. И

иако же стоиахоу число числом когождо греха вополчивошеся, и се придоша друзии, и беси носяше ороужиие от ада, и одежа различными видении комуждо полкоу, чисмя же различных широт и лиць одежа их в кыи полк вчитаиема бяше в чисмя и в число, иакоже бяше полков 300 и 60 и 5, понеже толико иесть страшных грех, иакоже глаголаше, ими же окаьнии чловеци прогневаем Бога и не разоумеем. Едва взяша лоукавии беси ороужиа свои и оуготовашася ити, абиие нача злии раздроушати полкы своиа, и вдаиа им чародейска с твореииа комуждо вредо у полк, поущаше на всяко оутвержение Христовым церкв и на весь мир; бысть же и князю их темномоу подвиг некак, и недоумении в то час, и иегда хотяще поустити на землю Трачьску седелникы своиа, и глаголаше: иако не имам силы таковы к девици Марии в Воузятыню (Византии), понеже бе та прииала жребии и град сии и николи же иего не отстоупаиет, самовидно очивесть приходить, и тоу соущаиа назариан окрыляиеть, паче же подвижникы не дадоущем ими побежатися. Си рек рыкноу, и избрав себе 30 тысоущ бесов, и припоусти посилиие к тьме тракстe, наипаче бесяся на Оузятнию. Си блаженомоу видящю, бысть пакы клас к немоу, глаголя: Нифонте, Нифонте, обратися на восток и вижь! праведныи же бе дивяи, зря непотребных бесов оухыщрениа; бывшю же гласу к немоу и обратися на восток, и виде, и беаше поле в ширину и в долготу паче оного, свет же на нем безмерен, и стоиаху на нем нецыи иако снег бели, паче множества черных; бяхоу же славни и красни, стоиахоу вополчени на тысоуща и тьмы, и некто красен видьм вышних верстою и добротою повелеваше в пречистех полцех невидимаго Бога, запрещаиа им помогати крестеианом, и хранити с милостию житие их. Си рек, ина страшьна и преславна, и поусти чины и ликы и вскы тьмы Христовых церков и царства, припоусти божественныи прилог на страсти же тракиiево лик и тысоущ 60 и прочеие вся отпусти воиньства своиа, красныи те, и взиде на небеса. Блаженыи же в себе быв, о видении чюдяся предивным чюдесьм, кывоиа главою своиею, и колико тайных бывает в нас чловецех от человеколюбца Бога нашего, а мы не разоумеием).

Обращаясь запросто в духовном мире, Нифонт рассказывает видение суда над душами умерших, как ангелы спорят за них с бесами, как бесы, теряя свою добычу, жалуются, что их труды пропали, когда покаяние смывает с грешника содеянное преступление. Эти образы, вместе с видением Феодоры и Василия Новаго, служили для воспитания в нашем народе представлений о загробной жизни. Восходя более и более по ступеням духовного созерцания, Нифонт видит самого Христа окруженного ангелами. После долгого странствия по цареградским церквам, Ни-

фонт увидел однажды стадо овец и апостола Павла, который предлагает ему пасти этих овец и возвещает, что он будет избран епископом. Нифонт, по смирению, убегает из Константинополя в Александрию, но туда приходят из Кипра просить патриарха о назначении нового епископа на место скончавшегося. Патриарх Александр указывает на Нифонта. Отклонявшись долго всеми силами, Нифонт, наконец, подчиняется высшей воле, посвящается в епископы и уезжает в Кипр. Он правит достойно своей паствой. Безрассудный бес, преследовавший его некогда, вздумал было явиться на новые искушения, но святой сделался недоступен искушению, и сам стал так грозен для беса, что бес униженно просил у него пощады. Незадолго перед кончиной Нифонт видит образы благочестивого и грешного жития, в виде двух женщин; видение это изображено очень поэтически. Скоро после того высшее откровение извещает его о близкой кончине, и блаженный спокойно переселяется в нескончаемую жизнь. Ничем приличнее не можем завершить наших выписок из повести о Нифонте, как показав, что известное верование, будто во время зевоты бес садится человеку на губу и делает ему пакость (для чего благочестивые перекрещивают себе рот), имеет большое сходство с одним из последних искушений, с которыми бесы напрасно подъезжают к блаженному. Собралось несколько бесов; они поочередно стараются навести на старца зевоту, но праведник знает, что это угодно бесу, крепится с достоинством, ни разу не зевнул и посрамил бесов...

"Видел я разумнаго мужа, который, почувствовав знамение, бывающее от бесов, зарекся не зевать никогда; но узнали лукавые бесы, что он крепится, чтоб не зевнуть и не потягиваться, сотворили на него крепкую брань, а он мужественно сопротивлялся им, не поддаваясь их хотению; и смешно было смеотреть, как бесы, один за другим, покушались на него, как бы его соблазнить, но сами изнемогали и отходили от него с гневом, не в силах сделать над ним ничего себе угоднаго. Как не посмеяться над немощью пронырливых бесов! на перемену к нему приходили в день по тридцати бесов — и не было сил у них. И праведник говорил мне об этом, веселясь о Господе, и никто никогда не видал, чтоб он потягивался, либо зевал, и возвращался от него в добром смирении и поклонении Господу Богу своему. Всегда он говорил: злой вред человеку зевота; кто, задумавшись, искусится этим и отверзаются его уста, — и оный, омраченный (т.е. бес), тьму готовит душе, отгоняя у зевающих смысл на безмерное разслабление".

(Видех моужа разоумьна, иже почюв знамение от бес бывающее, никакоже не зияти, но уведавше же иего лоукавии беси

крепящася яко ни проляцатися, ни зиати, брань нань створиша крепкоу; он же моужьскы противляшеся им, не попоущая хотению их, и бе видети смеху достоины стражущиа, дроуга по дроузи покоушахоуся нань, хотяше и превратити; изнемогающе же и взвращающеся гневахоуся, не могоуще ничесоже годьных себе створити на нем; кто же ли не посмеиеть немощи пронрливых бесов нечистых, изменовахоу бо ся к немоу на день акы до три идесять бесов, и не бяше силы в них! И си глагола праведник мне, веселяшеся о Господи; николи же бо иего виде никтоже ни проляющащася; ни зеюща, от него же ся возврати к Господоу Богоу своиему в добрем смерении и покланянии; глаголаше бо присно: злыи вред иесть человеку зиианиие; да иже ся теми прельщають от примыслиа некоего, отвержаються оуста иего, он же омраченныи тьмоу готовить души, а смысл отгоня зияющих на разслабление безмерно).

Такова повесть, имевшая влияние на образование наших народных представлений, верований и убеждений.

ЛЕГЕНДА О КРОВОСМЕСИТЕЛЕ

Ой що-то за свит е,
Що син матусю бере?
Пиди, мати, утопись,
А я пиду в темний лис:
Нехай мене звир изъисть!

(Малороссийская песня).

В старину люди были благочестивее нынешних. Когда христианская вера у нас только что водворялась, великая сила духовной жажды спасения и крепость воли производили высокие явления самоотвержения и борьбы человека с собой. В лесах и дебрях проживали отшельники, постники, пустынножители, презревшие красоту мирскую, денно и нощно помышлявшие о великой минуте ответа перед справедливым Судьей и прилежными молитвами искупавшие грехи мира, с которого еще не сошли ночные тени язычества. В эти давние времена, когда нашей землей правили князья, стоял в пустыне монастырь. Один из чернецов возжелал, ради совершенного безмолвия и тишины, создать себе келью в лесном ущелье и только в праздники приходил в обитель к богослужению, а в прочие дни скрывался в уединении, в посте и бдении, поддерживая плотское естество единой просфорой и чашей воды, да кореньями и плодами, возделываемыми трудами честных рук своих. В каком месте это происходило — трудно сказать: тогда много было таких отшельников; но тот, о котором идет речь, по преданию, жил где-то близ Дуная. Не должно, однако, думать, чтоб это был тот Дунай, который, вытекая из Немецкой страны, омывает пышную землю славян, некогда общую колыбель наших предков, где теперь наши единоплеменники спят под тяжелой давкой немецкой

и турецкой иноплеменности, осужденные в продолжение многих веков, как двенадцать дев Громобоя, на мгновение приподыматься, обращать мутные взоры к северу, умоляя о снятии с них православным крестом векового оцепенения и со вздохом воскликнув: нейдет, нейдет спаситель! снова повергаться в тяжелый полусон. Нет, это не тот Дунай. Правда, знакомое нашему народу имя занесено с берегов настоящего Дуная, но теперь оно уже утратило свое первоначальное значение, перестало быть собственным названием и стало нарицательным именем вообще всякой большой реки.

Но где бы это ни происходило — довольно того, что жил, как мы сказали, в уединении отшельник. Как он ни старался укрыться от человеческих взоров, его подвиги и добродетели не остались неведомы свету. Толпы богомольцев, особенно новокрещенцев, всегда ревностнейших христиан, беспрерывно посещали его, ради благих советов и очищения совести. Никому он не отказывал в духовном брашне; многие нетвердые в вере укрепились его проповедью; многие жестокосердые исходили от него со слезами покаяния и обращались на путь истины.

Однажды явился к нему юноша и сказал:

"Святый отче! Есмь толикий грешник, какого еще и солнце не видело. Если я не провалился сквозь землю подобно Авирону и Дафану, то это, конечно, оттого, что земля усрамляется принять в свои недра такое исчадие греха, и только удивительному милосердию Божию приписать следует то, что люди остаются живы, прикоснувшись стопами к следам моих ног".

— Что сотворил ты? — вопросил его спокойно старец.

"Я убил своего отца и смесился с своей матерью".

— Поведай мне, как сие случилось, — рек ему старец совершенно спокойно; и сие спокойствие поразило грешника: он в первый раз еще встретил его в духовном отце, а уже ко многим обращался.

Он начал повествование своей жизни.

На полночь от вас есть страна, упорно коснеющая во мраке идолослужения. В сей стране некогда воцарился юный князь, ревностный служитель тьмы и лести. Он поял себе юную супругу, дщерь соседнего князя, с которым род его долго был во вражде; с ним теперь он примирился и для крепости примирения сочетался с дщерью бывшего врага. Еще в детстве просветилась жена его светом истинной веры, но, видя упрямство супруга, таилась от него. Княгиня понесла во чреве и, по исполнении времени, родила младенца мужеского пола. Князь призвал волхва и спрашивал о судьбе сына. "Неизглаголанная страшная судьба ожидает твое детище!" сказал ему волхв. "Бу-

дет из него такой злодей, какого еще и на свете не было. Он умертвит своего отца и смесится с своею матерью". Услыша такое пророчество, князь повелел бросить свое чадо на съеденье лютым зверям; но мать, по врожденному матернему сердоболию и притом как христианка, не хотела губить своего первенца, сотворила собственными руками ковчежец, положила в него младенца, а на грудь ему возложила книгу — Евангелие, тайно писанное своей рукой, и пустила в Дунай, приговаривая: "О! Дунай, река великая! твоим волнам поверяю я несчастное дитя свое! Взлелей его, всколыхай и доставь добрым людям, а ты, святое, честное Евангелие, охраняй его в пути своею силою!" — Не день, не два плыл ковчежец по Дунаю, заплыл в далекую землю и пристал к стенам святого монастыря. Тогда вышел на берег за свежей водой чернец, открыл ковчежец, увидел младенца, взял на руки и сказал: — се Божий дар! Я воспитаю его яко сына, научу истине Евангелия, с ним же обрел его, и соделаю причастником вечнаго царствия Божия. Он омыл его баней крещения и воспитывал как духовное чадо, готовя не для суетных благ и горестей преходящего мира, но для тихого монашеского жития. Это был я.

Бог одарил меня светлым уразумением. Я скоро научился грамоте и стал чести книги борзее прочей братии, своих сверстников, отроков, которых отдавали в монастырь для научения; к тому еще явился я изрядным сладкопевцем паче всех клирошан той обители. Такое преуспеяние возбудило в сверстниках зависть. Всякими путями они меня гнали, оскорбляли, пакости мне делали, поругались мне, дышали на меня злобой, паче же укоряли меня неизвестностию моего рода и даже возносили клевету на духовного моего отца, говоря, будто бы я сын его не духовный, а плотский, рожденный им блудно.

Я стал вопрошать своего наставника, и он поведал мне тайну моего нахождения.

Так достиг я осьмнадцатилетнего возраста. Долго терпел я и переносил злобу сверстников смирением, но мои гонители не оставляли меня в покое и, казалось, чем более был я кроток и незлобив, тем язвительнее желали они досадить мне. Исполнилась, наконец, мера моего терпения; я приступил к своему воспитателю и возопил:

— Отче! Не могу долее жить в обители. Дай мне оное Евангелие, с им же ты нашел меня: иду искать своих плотских родителей.

"Безумствуешь, чадо!" рек мне благочестивый отец и хотел мудрыми увещаниями отклонить меня от намерения. Но я не слушал его.

"Силою оставлять тебя не стану, — рек он со вздохом: — возьми свое Евангелие и иди".

И я исшел из монастыря. "Узрел я на Дунае судно и вопросил: куда плывет оно? Мне отвечали, что плывет оно в верхния страны с товарами. Я просил взять себя. — Сребра и злата у меня нет, сказал я: — убогий человек есмь; платы дать не могу; но я млад и здрав: буду трудиться и творить вся, что повелите. — Меня приняли, посадили с гребцами и дали в руки весло. Гребцы начали со мною беседу и, увидев у меня святое Евангелие, вопрошали: чему учит сия книга? Я отвечал, что святое Евангелие учит достигать вечнаго блаженства и нескончаемой жизни. Сии гребцы были крещены, но почти ничего не ведали ни об учении святой церкви, ни о ея событиях. Я стал им повествовать о земной жизни Христа Спасителя, о странствии его учеников; поучал спасительным правилам всецелой веры; и речь моя столь была приятна их слуху и сердцу, что они не радели о труде и точию слушали меня, проливая слезы умиления. Владыка судна, уразумев, что гребцы работают худо, а более внимают моей речи, начал укорять меня и их, но когда узнал, что я не увеселяю суетными баснями, а возвещаю тайны спасения, то ласковым взором воззрев на меня, рек: "великое дал тебе Господь дарование; не подобает тебе пребывать в сем черном труде; иди, сядь с нами, да насладимся твоею беседою". То бил благочестивый купец, роду греческого; полюбил он меня. Плыл он с греческими товарами к единому христианскому князю, которого град красовался на берегу Дуная. "Князь, к нему же путешествуем, рек он, христолюбив и щедр, и великий милостивец к христианам, наипаче же к таким, каков ты, юноша. Он примет тебя ласково и ты поживешь у него благоденственно и честно".

По четырех днях плавания достигли мы желанного града. Господин судна вступил в терем к князю, вручил ему товары, поведал обо мне, потом привел меня к нему и рек: "Благословение Божие над сим юношей. Едва только пух начал покрывать его ланиты, а он уже сведущее старцев". Князь поцеловал меня и спросил: кто я? Я же, плененный тем, что вошел в чертоги сильного мира, не поведал ему о себе всей истины, а сказал только, что воспитывался в монастыре и теперь гряду проповедовать слово Божие.

— Ты будешь иметь желанный случай явить свою проповедь, — сказал князь. — Юн ты, но Господь умудряет младенцев. Подобает тебе ведать, что наполночь от моего княжения есть иное княжение, погруженное во мрак упорнаго идолослужения. Князь его лют и зверонравен. У него посреди града стоит высокий деревянный идол, ему же поклоняются в слепоте своей люди и не токмо не разумеют, что дело рук человеческих, древо бесслo-

весное, не может их спасти, но приносят ему в жертву сыновей и дщерей человеческих, наипаче же досаждают христианам и умерщвляют их, проливая святую кровь пред окаянным идолом. Помимо всяких гонений, вера христианская расширяется в его княжении, но чем более увеличивается число верующих, тем неистовее гонит истину и чад ея злобный мучитель. В последние дни он не токмо мучил своих подвластных, но клятвопреступно и беззаконно пленил наших людей, прибывших, купли ради, в его землю, посадил их в поруб, нудит отречься от Христа и поклониться идолам, и угрожает принести их в жертву богу своему. Я избираю тебя, юноша, ради твоего разума и дара слова, убеждай его отпустить людей моих; когда же он станет упорствовать, то объяви ему рать от моего имени.

Повелением князя, моего благодетеля, совлекся я монашеской одежды и облекся в светлые одежды княжеского отрока и меч при бедре препоясал. Князь придал мне дружину, и отплыли мы на судах в темное княжение.

Приближаясь к неверному граду, узрели мы на бреге великое множество народа всякого чина и возраста от мала до велика; возвышался помост, на нем стоял деревянный кумир. Когда же мы вступили на берег, то предстало моему взору печальное зрелище многих человек, — мужей, жен и детей, — связанных и лежащих на земле и от страха, как листы дрожащих. "Между сими злосчастными и наши люди! — сказали мне мои спутники. — "Ныне у них треклятое, мерзостное празднество и се проливается кровь неповинных агнцев".

Тогда, как бы свыше озаренный светом небесным, наитием Его духа вдохновенный и окрепленный священным дерзновением о Господе, воззрел я на множество народа и возопил:

— О, несмысленные, о, слепые и безумные! Что творите? Почто почитаете бессловесное древо творцом и могущим повелителем вашим и проливаете зверски кровь своей братии? Воистину, не люди вы, но звери дикие, хищные. О, жестоковыйные невегласы! Придите в чувствие, прозрите, слепцы! Бог посылает меня для вашего вразумления! Аще сей деревянный идол — бог, пусть он защитит себя от моего меча. Зрите.

Я вскочил на помост и ниспроверг идола, ударил его по голове мечом и рассек подобие головы его на полы.

— Зрите же, безумцы, каков бог сей. Опровержен, посрамлен, поражен в главу, бессилен отомстить за себя и наказать меня! Поклонитесь же единому, истинному Богу, в селениях горних живущему, вездесущему, сотворившему небо и землю, дающему всему жизнь и дыхание в трех лицах славимому!

Тогда все, уже исповедовавшие истинную веру, но таившиеся

страха ради княжеского, как бы единым сердцем и едиными устами возопили:

"Слава, честь и благодарение в Троице славимому Богу! Буди благословен приход твой, муж правды, юноша, посланник неба, яко святый Георгий, поразивший сего лютаго змия, и показавший нам свет Христов!"

Тогда многие из поклонников нечестивого идола, видя его лежащего, обезглавленного и безмолвно поругание терпящего, возопили:

— Воистину сей чужеземец открывает нам очи! О, темное наше неразумие! Мы мнили быть богом сего идола, а он не мог постоять за себя. Не бог он, а болван бездыханный; как теперь в нем нет дыхания, так и прежде не было!

Но толпа стала расступаться. Князь, подобный лютому льву, кипя яростью и злобой, с обнаженным мечом, несся ко мне и в исступлении вопил:

"Рабы непокорные! Как дерзаете противиться моему велению? Почто преклоняете слух к речам сего иноземца? Имите его, свяжите его, да предастся он мукам несносным и невыразимым!" Но народ стоял в оцепенении и только немногие с князем подвигались на меня.

— Народ, ослепленный мраком! сказал я: если мало для тебя свидетельства сего попраннаго идола, то да совершится новое для твоего прозрения. Князь ваш искусен в бранях, аз же юн и неведущ. Сим мечом я отражу удары его во свидетельство истины моей веры. Аще победит он меня, то да будет слово мое ложь и правдива вера его; аще же одолею аз, то да погибнут идолы и да прославится Христос Искупитель. О, мучитель нечестивый! Кровопийца лютый! Пред лицом всего народа призываю тебя к единоборству: победа единаго от нас будет торжеством единой из вер наших!

С распаленным зраком, как дракон огнекрылатый, летел на меня князь. Я отразил его удар. Наши мечи извергали искры и наполняли воздух звуками. Безмолвно, в страхе ожидания, позоровал народ на бой наш. Наконец, я выторг меч из рук супостата и поразил его в грудь. Крепкий медный панцирь распался, и кровь заструилась. Он пал. Я наступил на него ногой.

"Победипель, пощади!" — произнес побежденный.

— Гибель человекоядцу! воскликнул я, отсек ему главу и низпроверг с помоста.

"Слава единому в Троице славимому Богу, скорому помощнику в бранех. Велик Бог христианский!" восклицал народ. И я, оглушаемый похвалами и величаниями, сошел с помоста.

Тогда подошел ко мне беловласый старец с животворящим крестом, осенил меня и рек:

"Благословен приход твой! Я служитель истиннаго Бога. Как Давид от Саула, скрывался я от мучителя и тайно, в подземном убежище, совершал божественную службу, питая верных истинным брашном и питием. Ныне да возсияет церковь Божия и воззиждутся честные и благолепные храмы! Ныне да будет всем ведомо, что самая честная княгиня наша нелицемерным смыслом исповедовала святую веру, но таилась, страшась кровопийцы-супруга. Се грядет она".

И я узрел грядущую к себе жену, не юную, но сияющую необычайным благодушием и лепообразием.

— Да будет, рекла она: благословенно имя Господа, пославшаго нам тебя, мужественный, несравненный пришелец! Божиим судом ты покарал мучителя, моего супруга, причинявшаго мне двадесять лет несказанныя скорби. Ныне да восторжествует в княжении сем святая вера, которую с юности я сохраняла в сердце. Ныне да радуется небо, да веселится земля, да ужасается преисподняя! О, люди мои! Не медлите! да соделается Дунай купелию крещения вашего!

"Крещения! Крещения!" — воскликнуло множество народа.

Тогда собрались градские бояре, людские старцы и сотворили вече и рекли:

"Князя у нас нет; но не подобает нам оставаться без новаго князя. Кому же подобает княжить над нами, как не тому, кто, будучи послан нам от неба, явил изрядное свидетельство мудрости, мужества и доблести, дерзновенно избавил край и страну нашу от злого мучителя, и добрым подвигом, принося в жертву за нас себя самого, открыл темным очи и привел нас к познанию Бога? По обычаю отцов наших, избираем его князем нашим, и да будет ему супружница наша добрая княгиня".

Затрепетало мое грешное сердце, обрадовался я предстоящей власти и мирским сладостям брака. Старцы соединили мою руку с рукой княгини, и я, пред лицом всего веча, поклялся ей в супружеской верности, а народу в любви и печаловании о нем. Священник совершил над нами обряд бракосочетания и я воссел на столе княжеском и принял жезл управления, и учредил пир веселый народу, от мала до велика; и было тогда общее утешение и радость, и ликование, и согласное благодушество.

По семи днях, когда окончились брачные пиршества, супруга стала меня вопрошать: кто я, и откуда есмь, и какого рода, и кто мои родители? Едва я возвестил ей повесть дней моих — смертная бледность покрыла ее чело. "Покажи мне Евангелие, которое найдено с тобой!" произнесла она дрожащим гласом. Я подал ей евангелие — и она упала без чувств на землю.

Недоумевая, бросился я к ней и, как нежный супруг, приво-

дил ее в память. Изнеможенная, с блуждающим взором, она поднялась и рекла:

"О, ужас! О, поношение! О, страшная судьба! Свершилась наша гибель! Несчастный, знай: ты умертвил своего отца и сочетался браком с матерью! Я мать твоя; я ныне супруга твоя, подруга твоего брачнаго ложа, некогда родила тебя на сем самом ложе. О, ужас! о, ужас! Преступление твое предречено волхвами при твоем явлении в свет и отец твой велел бросить тебя лютым зверям на съедение, а я, я предала тебя волнам Дуная. И вот, ты жив, ты, мой сын, ныне осквернивший себя и меня кровосмешением! Прошло двадесять лет: мать обрела сына... и не может прижать его к материнской груди, не может благословить его! Иди, иди, несчастный, иди в дебрь и леса, — пусть тебя пожруть дикие звери, пусть ныне исполнится повеление отца твоего. А я, злосчастная, я отдам себя Дунаю, который сохранил тебя на мое и твое горе!"

Тщетно я хотел удержать ее от безумного намерения. Слова утешения были слабы в моих устах, когда сердце терпело несказанное мучение. Она явилась на площадь, все поведала народу и низверглась в волны Дуная.

Как разъяренная волна морская, народ ринулся к терему, алча предать меня смерти, но меня уже там не было. Видя безумство матери, я убежал из града; я скитался по непроходимому лесу, желая, чтоб исполнилось заклятие отца, повторенное через двадесять лет матерью: чтоб един от зверей дубравных растерзал меня. Вот, на встречу ко мне глядет медведь. Я говорю ему: зверь лютый! бери свое достояние! Но медведь приблизился ко мне, восхрапел и, как будто чем-то устрашенный, побежал от меня вспять. О, горе! сказал я: самые звери бегут от проклятия, на мне тяготеющего!

Несколько дней скитался я в лесу, наконец прибыл в некую весь. Немощь телесная заставила меня вкусить пищи. Тут я узнал, что мое событие оставило ужасные следы в моем княжении. Мой народ пожалел об идолах; волхвы возмутили его, хулили христианскую веру, толковали, якобы она навлекла на них такое посрамление, и несмысленные толпы обращались снова к идолослужению, избран новый князь из среды боляр и еще горше первого стал гнать Христову веру: семена ее, столь быстро мной посеянные, исторглись в единый день; идол воздвигнут; кровь христианская полилась потоками; все прежде тайные, при кратком моем княжении объявившие о себе христиане принесены в жертву демону, и несчастный старец-священник, сочетавший меня браком с матерью, умер в ужасных муках. Я почувствовал весь ужас положения, какое учинила надо мной судьба. Я поки-

нул стены монастыря, дабы найти родителей, и нашел. Но как? Отца под ударами моего меча, а мать на кровосмесительном со мной ложе. Я искал своего достояния, и нашел. Но как? Я воссел на столе отца и деда своего для того, чтоб после семи дней бежать и оставить имя свое на вечное проклятие детям и внукам подвластных людей. Я принял на себя проповедание веры и в единый день обратил ко Христу тысячи новых душ, озарил светом веры все свое княжение, но для чего? Для того, чтоб укрепилось в нем идолопоклонство и все прежние зачатки спасения были бы исторгнуты с самым корнем! Но я преодолел искушение лишить себя жизни. Христианин — я стал размышлять о том, что несть греха, который бы превозмог милосердие Божие. — Неужели, думал я, Церковь не имеет средств очистить мой грех тяжким наказанием и примирить с Богом? Мой грех невольный. Я не хотел совершить того, что сотворил. Так размышлял я и прибегнул к святой Церкви. Пришел я к священнику. Но, увы! Как только я поведал ему о грехе своем, он отвратился от меня с ужасом и сказал: Иди, беги от меня! Нет тебе покаяния! Я отошел из страны, где Церковь не приняла меня, притек в иную и явился к чернецу, славившемуся благочестием. Но и тот отверг меня с ужасом. Три года я скитаюсь от монастыря к монастырю, от храма к храму, но нигде не допускают меня, не хотят даже внимать моей речи; повсюду я слышу, что для такого грешника нет ни епитемии, ни молитвы. Ныне прихожу к тебе, святый отче! Умоляю наложить епитемию, которая бы могла очистить грех мой.

"Чадо мое!" — сказал отшельник. "Рожденный во мраке нечестия, ты совершил ужаснейшия злодеяния, от которых небо и земля долженствовали содрогаться. Господь избавил тебя от грядущаго зла и поручил своей церкви. Не терпя со смирением суетных досаждений, ты легкомысленно оставил святую обитель; ты потек в мир искать земных родителей, оставя Отца небеснаго и честнаго воспитателя, усыновившаго тебя Отцу небесному. Но милость Господня не покидала тебя и в твоем странствии. Господь послал тебе благодать ниспровергнуть идола и обратить к христианской вере княжение отцов твоих. Зачем же ты умертвил князя, когда он, побежденный тобою, просил пощады? Нанначе же зачем предался обаянию земных благ и принял брачный союз, когда воспитатель твой с детства уневестил тебя Христу? Послужив князю мира сего, ты отдал себя в его волю, и он поверг тебя в страшную бездну. Но благо тебе, что не отчаялся в спасении и не оставил искать помощи у врат св. церкви. Я укажу тебе епитемию, тебя достойную".

Он вывел его в поле и сказал:

"Сотвори, чадо, древянную храмину и возложи над нею высокий земляной холм, оставя токмо узкий вход. Трудись и памятуй, что узкий вход и тесный путь ведут в живот. Когда все сотворишь, приди ко мне. Се тебе орудия". Он дал ему из монастыря секиру, пилу, гвозди и лопату.

Юноша срубил деревьев, обтесал их, сотворил храмину, насыпал над ней высокую могилу и после тяжелых трудов, когда все окончил, явился к отшельнику.

Тогда святой отец принес в уготованную грешником пещеру налой и поставил на нем просфору, единую красоулю воды, возженную восковую свечу и положил книгу, великий канон Андрея Критского, читаемый кающимся верным в навечерие первых четырех дней первой седмицы великие четыредесятницы и в ночь со среды на четверг пятой недели, того же святого времени.

Он рек:

— Читай сей канон и за каждым стихом произноси "помилуй мя, Боже! помилуй мя!" а вслед затем клади земной поклон. Так читай и молись, доколе я приду.

Грешник стал пред налоем, а отшельник прикрепил ко входу железную дверь, запер ее замком, потом закрыл вход землей и поверг ключи в Дунай.

Прошло десять лет. В монастыре преставился игумен. Вся братия отправилась к отшельнику приглашать править обителью. Напрасно отшельник, любя безмолвное житие, отрекался и просил освободить его от такого бремени. Братия умоляла его именем Бога, и отшельник, возведши горе взоры, рек: да будет воля Божия! и принял жезл управления.

Под кротким управлением сего дивного, сиявшего паче звезды восточной добродетелями и благомыслием мужа процветала обитель как крин райский, и слава ее светилась в близких и дальних странах. Так прошло двадцать лет. Престарелый игумен, оканчивая уже сотый год своего честного жития, почувствовал, что Господь призывает его к себе в вечный покой, созвал братий в последний раз, учил их, простился со всеми, как чадолюбивый отец с чадами, и опочил.

Почтив слезами драгоценные останки старца, братия погребла его с великой честью и учредила трапезу для нищих и убогих, и всех притекших на погребение святого мужа.

Тогда монастырские рыбари изловили рыбу и принесли в поварню. Когда разрезали сию рыбу, то обрели в ней ключи. Не мало все дивились и понесли ключи отцу эконому. И сказал тогда отец эконом: "Вот уже тридесят лет тому, как ныне преставившийся святой муж, игумен наш, живя в своей тесной келии, заключил в подземную храмину грешника епитемии ради

и повелел ему ждать своего прихода. Нет на земле нашего отца и не придет он к грешнику, а подобает идти к нему нам, да узрим, какое действие над его прахом оказала благодать покаяния.

Братия потекла к холму. Откопали вход и старец эконом приложил к замку ключи. Но, увы! Ключи хотя были очевидно от сего самого замка, но от времени и ржавчины стали бездейственны. "Сии ключи" — сказал эконом — "обретены не для того, чтобы ими отверсти дверь, а того ради, чтоб напомнить нам об окончании подвига". Братия обкопала дверь и сняла ее. Из пещеры стал выходить отрадный для ока свет и сладостнейшее благоухание исполнило воздух. Любопытствующая братия склонилась ко входу и узрела:

Кающийся стоял пред налоем, доканчивал великий канон и, после каждого стиха, клал земные поклоны. Просфора была цела. Красоуля воды также оставалась непочатой. Восковая свеча догорала, и как только чтец окончил канон, — погасла.

Грешник остановился и возвел очи горе. Лицо его было юно; не отпечатлевалось на нем следов старости и изнеможения. Увидя солнечный свет и людей вокруг себя, он, как бы пробужденный от сна, воскликнул: "ныне отпущаеши раба твоего, владыко!"

Он исшел из своей темницы и, сопровождаемый изумленною братией, потек в храм, где внимал божественной литургии и причастился святых тайн, потом, отступив, стал у столба, сложил руки крестообразно, и отошел от мира. Нетленное, исполненное райского благоухания тело его предали земле в самом храме Господнем, и святая душа его возлетела в горные жилища, где он доселе молит примиренного Творца о даровании благостыни стране, которая приютила и успокоила его страдальческие кости.

Пала от лет храмина и остались только следы ее могилы — холм с углублением. Там протекал чудотворный подвиг очищения кровосмесителя. Но невозможно указать, где эта могила; таких холмов чрезвычайное множество.

Этот рассказ, в сходных по основе содержания и ходу события вариантах, я слышал в нескольких губерниях. Предание о кровосмесителе принадлежит к самым древнейшим преданиям человечества. Без сомнения, история нашего кровосмесителя сама по себе языческого происхождения, и уже впоследствии приняла, под влиянием христианства, настоящий вид. Самая несообразность преступления с наказанием по христианским понятиям указывает на ее языческое начало. Преступление кровосмесителя невольное. Церковь христианская, отличающая побуждения от дела, не наказала бы так строго невольного греш-

ника. — Эта история существует у всех славянских народов и переходит из уст в уста по целой Руси, в различных вариантах.

В одном сборнике Публичной Библиотеки погодинского книгохранилища (№ 1288) рассказано, что в некотором государстве у короля был сын и дочь. Брат разжегся на сестру и "зачат сестра в утробе детище и начат брат ея скорбети в мнозе печали". Он отдал сестру на соблюдение старейшине и заповедал ему не губить детища, которое должно родиться, а сам ушел в чужую землю и там скоро умер. Сестра родила и "повелела сделати колодицу и вложи в ню своего младенца и пусти его на воду"; с ним положила она пять тысяч литр серебра и три тысячи литр злата, и написала на свинцовой дощечке такие слова: "сие отроча в беззаконии родися и во гресех суще зачат от брата и сестры, и аще кто его возьмет, то сребро ему, а злато детищу. И плакася над ним горько, пусти его на воду". Сама она после того воссела на королевство и жила девой, молясь втайне о грехе своем.

По Божию повелению, колодица пристала к стенам монастыря. Игумен, увидев, приказал служебникам принести ее к себе и открыть. Он увидал дитя мужеского пола, увидал серебро и золото, и прочитал надпись. Игумен заплакал, соболезнуя о том, что такие грехи творятся на свете. Он вскормил, воспитал ребенка, выучил его грамоте: мальчик показывал большие способности. Однажды он играл с детьми, жившими в монастыре, пришло какое-то детище к игумену и сказало: "Господине отче! прости: что мя убил сын твой? Игумен же начат их судити, и рече сыну своему со гневом: про что его биеши? В беззакониях родился ты и во гресех зачат". Приемыш ужаснулся и начал скорбеть и задумываться о значении слов, произнесенных игуменом, наконец, решился спросить об этом. Игумен рассказал ему и показал ему свинцовую дощечку, которая находилась с ним, когда он приплыл к монастырю младенцем. Отрок просил отпустить его. После долгих советов остаться, игумен отдал ему дощечку и золото. Отрок "обрете корабль и купи его и седе в нем, нача торговати и обогате велми и многия грады повоевал, и повелением Божиим прииде под град матере своея и ста под градом. Гражане же, видев, яко воевода некий славен есть, и сретоша его за градом, и начаша его молити, дабы он у них был пастырь. Он же прииде во град, они же начаша молити госпожу свою, дабы посягла за него". Госпожа вышла за него. Перед трапезою он всегда имел обычай входить во внутренние покои и там читал надпись на дощечке, гласившей о его преступном рождении. Жена спрашивала его об этом, но он не сказал ей тайны. Побуждаемая женским любопытством, она хотела подсмотреть

за ним и узнать, что он делает в это время, но никак не удавалось. Однажды девица увидала свинцовую дощечку и когда господин, после обычного грустного размышления над ней, оставил ее, она взяла ее и принесла к своей госпоже и сказала: "Возьми, госпоже, цку сию: над тою бо цкою муж твой Григорий всегда плачется. Она же взем цку и прочет, и паде от ужасти мертва и плакася горько: "аз многогрешная! Григорие! сын мой еси ты, господине; аз бо тя родих от брата своего". Услышав, Григорий, пал мертв пред нею. Григорий нашел близ моря пустую палату, вошел в нее и приказал запереть и засыпать землей, а ключи от замка, которым палата была заперта, забросить в море. Через двенадцать лет умер римский папа и одному старому благочестивому мужу было откровение, что в папы следует избрать Григория, сокрытого под землей. Отрыли палату, стали отбивать замок: не давался! Наконец, рыболовы поймали рыбу и в ней нашли ключи, и этими ключами отперта была палата. Григорий бал обретен и избран папою. Тогда явилась к нему старица и исповедывалась во грехах своих: то была его мать. Покаяние очистило от греха и ее, как невольно преступного сына.

Другой вариант этой легенды известен мне из сборника XVII века, сообщенного мне Ф.И. Буслаевым. Был некто купец Поуливач. Он услышал, как голуби между собой разговаривали: "будет у господина нашего радость: жена ему родит сына и нарекут ему имя Андрей; и то отроче убиет отца своего, и матерь свою себе в жену возьмет, и триста девиц стариц растлит блудом". Когда жена родила, отец велел сгубить младенца; но бабка не решилась на это и сказала матери, которая, крестив его, велела прорезать ему чрево, положила на доску и пустила по морю. Доска приплыла к женскому монастырю близ Купина града. Черница вышла брать воду и нашла его. Игуменья собрала всех сестер и сначала думала, что какая-нибудь из них согрешила, но после уверения их приняла явление ребенка за знак особенной воли Божией, велела зашить ему чрево, вскормила козьим млеком и отдала старице для книжного научения. Но когда ему минуло пятнадцать лет, он соблазнил всех сестер одну за другой и саму игуменью. Но потом игуменья решилась пред всеми сознаться и объясняла, каким образом он ее искусил: "прельстил мя святыми своими многими притчами прежних человек падение во грехах мытарей, и гонителей, и блудников и блудниц, и всех праведных от века, как покаянием и слезами и милостынею спасовалися; аз же слышах такое глаголание его, и разслаб тело мое, и разгореся сердце мое, и ум поколебася". За ней и все старицы принесли такое же признание, потом изгнали его. Юноша пришел в ту страну, где родился, и нанялся у одного

хозяина стеречь виноград. Хозяин дал ему приказание стрелять из лука во всякого, кто войдет в сад без спроса, и желая испытать, как исполняет сторож его приказания, сам вошел туда в полночь. Сторож застрелил его. То был его отец. Он припрятал тело убитого, и через несколько времени женился на своей госпоже, жене убитого. Но по рубцу на чреве он дал знать о себе. Мать узнала, что вышла за своего сына. Грешник ходил к нескольким священникам просить прощения, но так как ни один не решался простить его и взять на себя ответственность за такой грех, то он убивал их; наконец пришел к епископу, который закрыл его в погреб, имевший три сажени в длину и три сажени в ширину, а матери его проколол ноздри, продел сквозь отверстие замок, запер его и ключи его забросил в море. Андрей в своей темнице должен был писать покаяние, а мать просить милостыни. Прошло тридцать лет. Рыбаки вытащили из моря рыбу и нашли в ней ключи. Тогда епископ отомкнул замок, висевший в ноздрях матери, и постриг ее в иноческий чин, потом приказал открыть погреб, засыпанный землей. Андрей дописывал десятую песнь великого канона, который поется на повечерии в первые четыре дня и на заутрени в четверг на пятой неделе великой четыредесятницы. Когда епископ умер, Андрей стал его преемником и отличался подвигами святости.

Ничто так не показывает языческого происхождения этой легенды, как разговор голубей, которому верит отец, как голосу судьбы. Это остаток птицеволхвования, бывшего существенным догматом всех мифологий, и в том числе славянской.

Тот же миф о кровосмесителе приплелся к повести об Иуде-предателе, приписываемой св. Иерониму. Был — рассказывает эта повесть — некий муж в Иерусалиме, по имени Рувим; другое у него было имя — Симон. Он происходил от колена Данова — не даром пишется в книге Бытия: "да будет Дан змия на распутии". Это, значит, объясняется в повести, что из колена Данова родится в свое время антихрист. У Рувима была жена, по имени Цибория. Она зачала сына и увидела во сне такой страшный сон, что, от ужаса пробудившись, говорила мужу: я видела во сне, будто я родила сына, который сделается виной погибели всему роду нашему. Пустяки ты говоришь — и слушать тебя не стоит! Так сказал ей муж. Нет — возразила Цибория — я рожу сына; не лукавый дух устрашил меня мечтою: то было истинное откровение. Действительно, Цибория сделалась беременна и в свое время родила сына. Родителей взяло раздумье: убить дитя ужасно; не пустое дело, однако, и воспитывать губителя своего рода — они положили ребенка в ковчежец, вместе с хартией, на которой означили, что имя сыну Иуда, и пустили по морю. Вол-

ны принесли ковчежец к острову Искаре. Там царствовал царь. У него не было детей. Пошла царица прогуляться по морскому берегу и видит подле берега качается на волнах ковчежец. Царица приказала его взять и отворить: там нашла она красивого младенца; царица вздохнула и сказала: горе мне неплодной. Как бы я хотела, чтоб у меня было такое точно дитя; тогда бы и царство мое не осталось без наследия. Она приказала ребенка кормить, а о себе разгласила, что она беременна, а как пришло время, когда могли поверить, что она родила, то показала за новорожденного то дитя, которое нашла в ковчежце. Царь, муж ее, не подозревал обмана и очень радовался, воображая, что в самом деле у него родился сын, и весь народ радовался с ним вместе. Младенца стали воспитывать по царскому чину. Но через несколько времени царица в самом деле стала беременна и в свое время родила сына. Когда оба мальчика подросли и стали играть между собой, Иуда обижал и колотил царского сына, а тот от него часто плакал. За это царица много раз била Иуду; она знала, что он ей не сын и любила настоящего больше приемыша. Спустя некоторое время и всем стало известно, что Иуда не царский сын и найден на морском берегу в ковчежце. Ему стало стыдно. В досаде он убил своего мнимого брата и, ожидая себе от этого беды, ушел и пришел в Иерусалим, замешавшись в толпу тех, которые несли туда дань. Там он вступил в число слуг Пилата, который в то время был иерусалимским игемоном; Иуда понравился Пилату; последний взял его к себе в двор, а через несколько времени так полюбил, что сделал его старейшиной и строителем над всем своим домом, и все слуги от мала до велика слушались Иуды. Однажды Пилат из дома своего смотрел на сад, который находился у него перед глазами недалеко от его дома, и увидел в нем красивые яблоки. Пилат сказал Иуде: мне хочется поесть яблок из этого сада; если не поем, то умру. Иуда побежал в сад и стал рвать яблоки. Сад этот принадлежал Рувиму, отцу Иудину. Хозяин увидел, что кто-то чужой забрался к нему в сад и рвет яблоки, бросился на него и стал бранить. Иуда отвечал ему также бранью, а потом они стали между собой драться; тогда в драке Иуда схватил камень и пустил Рувиму в шею. Рувим испустил дух. Иуда не подозревал, что убил своего отца, нарвал яблок и пришел к Пилату.

Спустя несколько времени, Пилат отдал вдову Рувима Циборию за возлюбленного слугу своего Иуду и с ней передал ему все имение умершего Рувима. Но однажды Цибория, будучи уже женой Иуды, стала грустить. Муж ее Иуда стал допрашивать ее, что это значит. Я несчастнейшая из всех женщин — сказала Цибория, — я бросила сына своего в море, нашла неизвестно от

чего скоропостижно умершим мужа, а Пилат приложил мне слезы к слезам, насильно отдав за тебя замуж.

Как услышал Иуда про детище, брошенное в море, рассказал, что с ним происходило, и оказалось тогда, что Иуда убил отца своего, а мать свою себе в жену взял.

Тогда, по совету матери своей Цибории, раскаяния ради, Иуда отправился ко Господу нашему Иисусу Христу, который в то время учил народ и исцелял недужных в Иудее. Иуда сподобился получить прощение. По неведомым божественным судьбам, Господь так его возлюбил, что принял в число апостолов и поручил ему попечение о телесных потребах. Как потом Иуда сделался предателем, известно из евангельского повествования, и повесть ничего не прибавляет к тому, что там содержится.

Обломки этой истории сохраняются и в народных песнях. Так в Сербии существуют две песни о Находе-Симеуне, помещенные в издании Вука Стефановича. Они рассказывают это происшествие в некоторых чертах, различно одна от другой; но вообще сходны в главном основании. Мы приведем обе эти песни в переводе:

Рано вышел старец Калугер на Дунай к студеной воде, чтоб набрать дунайской воды, и умыться, и Богу помолиться; и встретил старца случай: нашел он оловянный сундук; выбросила его вода под берег. Он подумал, что в нем сокровища и отнес в монастырь. Когда же отворили оловянный сундук, не нашли в нем сокровища, а нашли в нем одно дитя мужеского пола, — мужеского пола дитя дней семи. Вынул он дитя из сундука,окрестил его в своем монастыре и нарек ему прекрасное имя: Наход-Симеун. Не отдал он дитя кормилице, а воскормил его в своем монастыре, воскормил медом и сахаром. Когда исполнился дитяти год, оно было таково, каким бы другое было трех лет; а когда исполнилось ему три года, оно было таково, каким бы другое было семи лет; когда же исполнилось ему семь лет, оно было таково, каким бы другое было двенадцати лет; а когда исполнилось ему двенадцать лет, оно было таково, каким бы другое было двадцати лет. Удивительно выучился Симеун книжному знанию: не боится он никакого дьяка, ни даже своего старца игумена. Однажды утром в святое воскресенье сошлись монастырские дьяки и завели разные игры, прыгали, камни метали. Наход-Симеун дальше всех прыгнул, дальше всех камень кинул. Рассердились монастырские дьяки и говорят Находу-Симеуну: Симеун! дрянный найденыш! Нет у тебя ни рода, ни племени, сам ты не знаешь, какого ты рода: тебя наш старец игумен нашел в сундуке на берегу воды. Досадно стало Наход-Симеуну. Идет Сеня в свою келью, берет честное Евангелие,

читает Сеня и слезы проливает. Приходит к нему отец игумен и спрашивает Находе-Симеуна: что с тобой, Симеун? зачем роняешь из очей слезы? какой тебе недостаток в моем монастыре? Говорит ему Находе-Симеун: господин отец игумен! укоряют меня монастырские дьяки тем, что я не знаю сам, какого я рода, что ты нашел меня на берегу. Послушай,отец игумен! Ради истинного Бога, дай мне своего коня, поеду я в белый свет искать, какого я рода, простого или какого-нибудь господского, а не то я брошусь в тихий Дунай!

Жаль стало старцу игумену. Он одел Сеню как своего сына, изготовил ему красивую одежду, дал ему тысячу дукатов и своего белого коня из своей конюшни. Поехал Сеня по белу свету. Ходил Сеня девять лет, ищет Сеня рода-племени; но как ему найти его, когда некого спросить? Когда настал десятый год, пришло на ум Находе-Симеуну идти назад в свой монастырь. Он оборотил своего белого коня. Однажды утром, ехал он под белым градом Будимом; вырос Находе-Симеун, и стал краше всякой девицы. Красиво гарцует на своем белом коне, играет конем по полю будимскому и напевает своим белым горлом. Увидела его будимская королева и кричит статной рабыне: иди скорее, статная рабыня, ухвати под молодцом коня и скажи ему: королева зовет тебя, хочет тебе что-то сказать. Живо пошла статная рабыня, ухватила под Сеней коня и тихо сказал Симеуну: молодец! зовет тебя королева; хочет тебе что-то сказать. Тогда он поворотил своего белого коня во двор к белому замку: когда пошел к госпоже королеве, снял свою капу, поклонился до земли и сказал, помогай Бог, королева! Королева принимает от него привет, сажает его за готовую *совру**; понесли вино и водку и всякие хорошие лакомства. Сидит Сеня, пьет красное вино, и не может наглядеться королева на Находе-Симеуна. Когда же сошла на землю ночь темная, говорит королева Симеуну: скидай одежду, неведомый молодец! Достоин ты провести ночь с королевой и целовать будимскую королеву. Симеуна одолело вино; он скинул одежду и возлег на ложе с королевой, и целовал в лицо королеву. Когда же утром рассвело, Симеун протрезвился и увидел, что учинил. Очень досадно стало Симеуну; вскочил он на легкие ноги, оделся и пошел к своему белому коню. Королева потчивает его и кофем с сахаром, и водкой, но Симеун не хочет ничего, седлает белого коня и едет по будимскому полю. Тут вспомнил Симеун, что осталось честное Евангелие у королевы в белом замке. Воротил Сеня буйного белого коня, поста-

* Стол с коротенькими ножками, на котором у Сербов подают кушанье сидящим, по восточному обычаю, на земле.

вил во дворе коня, а сам пошел в белый замок. Ан сидит госпожа королева, сидит, молодушка, на крыльце и читает честное Евангелие и роняет слезы по белому лицу. Говорит Сеня госпоже королеве: Дай, королева, честное Евангелие. Отвечает ему госпожа королева: Симеун несчастный! В злой час нашел ты свой род: на горе ты дошел до Будима и ночевал с королевой и целовал ее в лицо. Ты целовал так свою мать. Как услышал это Наход-Симеун, пролил слезы по белому лицу, потом взял честное Евангелие и поцеловал королеву в руку. Идет Симеун к своему коню белому, садится на него и отъезжает к монастырю. Как увидел его отец игумен и узнал коня из своей конюшни, что на нем Наход-Симеун сидит, и пошел к нему на встречу. Симеун скочил с белого коня, поклонился до черной земли, поцеловал отца в платье и в руку. Говорит ему отец игумен: где ты был так долго, Наход-Симеун? Отвечает ему Наход-Симеун: не спрашивай, отец игумен: в злой час я нашел род и на горе дошел до Будима. Все ему рассказал Сеня. Как услышал это отец игумен, взял Сеню за белу руку и отворил проклятую темницу, где была вода по колена, а в воде змеи и ящерицы, бросил Симеуна в темницу, и затворил проклятую темницу, и забросил ключи в тихий Дунай, и тихо сказал старец: когда выйдут ключи из Дуная, Симеуну тогда простится. Так прошло девять лет. Когда же настал десятый год, рыбари поймали рыбу и в рыбе нашли ключи и показали старцу игумену. Тогда пришел на память игумену Сеня. Он взял ключи от темницы и отворил проклятую темницу; не было в темнице воды, не было ни змей, ни ящериц, солнце светило в темнице, сидит Сеня за злаченым столом, а в руках держит честное Евангелие.

Вторая песня в некоторых чертах еще ближе к нашему рассказу.

Воспитывал царь в Яне девицу, не за тем, чтоб другим отдать, а за тем, чтоб за себя взять. Царь хочет, а девица не хочет. Просят у него ее лалы и визири, но царь не дает, и силой берет за себя девицу. После этого прошло немного времени, немного времени — три года: обрелось у них мужеского пола дитя; но мать не хочет его кормить, а свивает ему бумаги и рубашки, и заливает его в тяжкое олово и бросает в сине море. "Снеси, море, с земли неправду, такой же воспитатель, как родитель!" Поднялся патриарх Сава, поднялся он лов ловить, ловил он летний день до полудня и ничего не поймал; а когда возвращался ко двору, то — Бог ему дал и судьба принесла — нашел он оловянный сундук: прибила его вода к берегу; в сундуке дитя мужеского пола, не смеется, не дает ручек, не крещеное, не молитвенное. Взял Сава дитя мужеского пола, отнес его в церковь вилендарскую, окрестил дитя мужеского пола, прекрасное

имя нарекли ему, прекрасное имя: Наход-Симеун. Когда дитя доросло до коня и светлого оружия и выучилось хорошо грамоте, тогда сказал ему патриарх Сава: Чадо мое, Наход-Симеун! Я тебя, чадо, воспитал, но не я тебя сам родил; нашел я тебя на морском берегу. Возьми, сыне, бумаги и рубашки, иди от города до города, ищи своего родителя! Взял Сеня бумаги и рубашки и пошел от города до города и дошел до Яна города. А в Яне городе преставился царь, преставился и схоронили его; осталась госпожа царица одна себе в белом дворе. Сватают ее лалы и визири, просят ее, а царица не хочет, и говорит госпожа царица: Пусть выберется шестьдесят молодцов самых красивых и самых высоких ростом, а я стану на белой стене и брошу золотое яблоко: кто подхватит золотое яблоко, тому я буду верной подругой! Выбралось шестьдесят молодцов самых красивейших и самых высоких ростом, и стали в граде под стеной, а царица стала на стене и бросила золотое яблоко и схватил яблоко Наход-Симеун, и обвенчался с госпожой царицей. Как прошло немного времени, немного времени — три недели, поднялся Наход-Симеун скорый лов ловить; осталась одна госпожа царица в белом дворе; когда царица постель перетряхивала, нашла она бумаги и рубашки и сказала: Милосердый Боже! во всем Тебе слава! Я тяжело согрешила пред Богом! Когда же солнце было на закате, Сеня возвращался со скорого лова, вышла к нему госпожа царица, роняет слезы по господскому лицу. Чадо мое, Наход-Симеун, ты согрешил перед Богом! ты смесился со своей матерью по незнанию, мое дорогое чадо! Как услышал это Наход-Симеун, пролил слезы по господскому лицу; потом идет к вилендарской церкви, припал Саве на грудь, одетую в шелк, и стал сильные слезы проливать. О, мой отец, патриарх Сава! Скажу тебе два-три слова: я согрешил тяжело перед Богом; я смесился с моей матерью по незнанию, родитель Сава! Можешь ли мне отпустить за то? Говорит патриарх Сава: чадо мое, Наход-Симеун! Не могу я отпустить тебе за это; не безделица своя родная мать! Только так могу я тебя отпустить: созижду каменную башню и заброшу тебя туда, а ключи кину в море. Когда из моря ключи достану, тогда и грех твой будет прощен. Создал патриарх Сава каменную башню, бросил Сеню в каменную башню, а ключи в синее море. Прошло времени тридцать лет; плавали по морю рыбаки и поймали рыбу златоперую, поклонились ей патриарху Саве. Когда Сава рыбу разрезал, то нашел в рыбе ключи, а Сава уже было и забыл об них. Как увидел, то и вспомнил. Горе мне пред Богом вышним! Я и забыл Сеню; вот ключи от моего Сени! Отворил он двери темницы, а уж Сеня преставился, преставился и освятился. Тогда дан был глас на

четыре страны, совокупились многие священники, читали три дня и три ночи, и держали великое бдение, и читали великие молитвы; молили святого, куда он желает? Отошел он к Вилендару в церковь. Там святой и почивает в красной вилендарской церкви.

Есть одна малороссийская песня о кровосмесителе, очень распространенная в разных вариантах. В одних описывается два кровосмешения разом: браки двух братьев, одного с матерью, другого с сестрой. В других только одно. Мы приведем эту песню в переводе по варианту последнего рода.

Над глубоким морем стоял высокий терем. Из-под этого терема вышла молодая вдова с сыном. Она обвила сына черным шелком, повила китайкой, положила на корабль, пустила в тихий Дунай и просила Дуная:

Ах ты, тихий Дунай! Прими моего сыночка, а ты, новый корабль, колыхай его! А ты, быстрая вода, пригляди его как сестра, а ты, желтый песок, накорми его! А вы, леса, не шумите, моего сына не будите!

Через двадцать лет вышла вдова также на Дунай и стала набирать воду. Вдруг к ней пристал корабль, а в корабле сидит Донец-молодец. Здравствуй, вдова. Любишь ли Донца? Пойдешь ли ты за Донца? Люблю я Донца, пойду за Донца! И повенчались они, и сидят за столом, пьют мед-вино. Говорит Донец: Ах ты, вдова, глупая твоя голова! ты сама меня родила и пустила на Дунай. Какой же теперь свет настал, что сын женился на матери? Ступай, матерь, утопись, я пойду в темный лес; пусть меня съедят звери!

О ЗНАЧЕНИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА В РУССКОЙ ИСТОРИИ

(публично читано в Новгороде 30 апреля 1861 г.).

Русская история представляет две половины, несходные между собой по духу и содержанию. Каждая из них изображает свою особую Русь, отличную от другой по политическому и общественному строю. Первая была Русь удельно-вечевая, вторая — Русь единодержавная. Невозможно между ними провести строгой разделительной грани, как и вообще во всякой истории, разделяя ее на периоды, если руководствоваться не внешними только событиями, а теми видоизменениями, которые совершаются в жизни народов и определяют на будущие века иной, кроме прежнего, путь ее течения. Только приблизительно можно указать на эпоху Иоанна III, как на самое важное в этом отношении время в русской истории, потому что с этих пор государственное централизующее начало делается господствующим. Таким образом, русская история, рассматриваемая не по внешним признакам политических событий, а по развитию внутренней народной жизни, представляет два уклада: удельно-вечевой и единодержавный.

Между этими двумя укладами русской жизни есть различие.

В фазисах народной жизни, являющихся совокупностью главных ее стремлений, следует отличать идеал, какой имел народ для своего политического и общественного строя, и образ действительный, в каком этот идеал осуществлялся только до из-

вестной степени, по несовместимости его и с временными обстоятельствами, и с собственным недостатком в народе ясности сознания самого идеала и средств к его достижению. При этом мы никак не должны допускать себе в воображении идеала выше того, какой действительно имел народ по степени своих понятий; иначе мы впадем в ложный идеализм, придадим собственные умозрения и мечтания народу, который вовсе не так смотрел на вещи, как мы. Но с другой стороны, если мы отвергнем всякое идеальное значение в том виде, в каком оно должно было рисоваться в тогдашних умах народа, и ограничимся одним миром явлений, не возводя их до сообразного принципа, то рассеемся в бессвязной куче событий, не имеющих ни цели, ни причины.

Идеалом удельно-вечевой жизни была самостоятельность земель русского мира, так чтоб каждая составляла свое целое в проявлении своей местной жизни, и все вместе были бы соединены одной и общей для всех связью.

Все тогдашние учреждения были способами к осуществлению этого идеала политической жизни, а не главной целью. Таким образом, например, призвание княжеского рода для водворения порядка было не целью, но способом, средством для главной цели, состоявшей именно в удержании связи и единства земель между собой, дабы отвратить усобицы и беспорядки.

Идеал единодержавного уклада был совершенно иной. Здесь свобода частей приносится в жертву другой идее — единого государства; здесь нет речи и быть не может даже о связи и соединении частей, потому что самые части поглощаются, уничтожаются. Цель первого в самом народе, цель второго вне народа; потому-то реформа Петра была не насильственным, как думают, переломом прежнего, а естественным дохождением единодержавия до дальнейшей степени своего развития, когда власть и весь круг, через который последняя совершает свою деятельность и влияние на массу народа, становится за пределами жизни этой массы,делается чем-то обособленным, действующим извне, и потому крепко содержащим и соблюдающим уравнение народа перед собой. Ощутительный, сильный и полный неизбежных изменений, поворот в политической и общественной жизни русского народа, у нас является в эпохе татарского завоевания. До сих пор, на основании исторических данных всех веков, кажется, почти можно признать за правило, что единодержавие возникает или через покорение одного народа другим, и вследствие того через смешение в большей или меньшей степени победителей с побежденными, или же необходимостью в самом народе отбоя чужеземных врагов. Так и случилось в России. Татары покорили Русь. Составлявшие ее земли

нашли свою связь во внешней силе, равномерно тяготевшей над ними. Победители, ханы Золотой Орды, стали верховными повелителями всего русского мира, полноправными хозяевами-владельцами всей Русской земли и населяющих ее людей. Хан, в значении такого хозяина-владельца, мог, кому хотел, поручить вместо себя надзор за ней, собирание своих доходов, управление ей, словом, все, что, по невозможности делать самому, должны были делать его доверенные лица. Это новое начало необходимой передачи ханской верховной воли возложено было на князей двумя способами: на князей городов и волостей, князей удельных в отношении той Земли или части Земли, которая находилась в его управлении, и на князя великого по отношению к целой России, как на главу всех князей подручных.

Отсюда вышло следующее: князья удельные были, по прежнему принципу, не владельцами, а правителями Земель и городов, составлявших, независимо от личности и права князей, собственные целые, существующие сами по себе; — теперь князья становились действительно их собственниками, или, скорее, помещиками, ибо получали их от ханов в отчину; а князь великий, сделавшийся доверенным лицом от хана в отношении его власти над целым русским миром, получал через то более и более значения и силы, и дошел, наконец, к тому, что сделался собственником-владельцем всего русского мира, ниспроверг власть частных владельцев, соединил все зависимые прежде от одного хана власти в одну. С усилением власти великого князя, рядом шло дело освобождения от чужеземного ига. Оно совершилось посредством той же власти великих князей. Необходимость соединения русского мира воедино для великого дела самоосвобождения также способствовала возвышению великокняжеского достоинства и вместе с ним падению отдельной жизни земель, стечению частей в одно целое и единодержавному порядку. Народ сознал, что ни веча, ни удельные князья не спасут его от хищничества соседа, что ему нужна единая крепкая власть, которая бы двинула разом все его силы и устремила их на общее дело. Разумеется, это совершилось не вдруг; борьба длилась три века, и последки ее отзывались и после, так как и начала удельно-вечевого уклада не умирали в народе до позднейших времен.

Удельно-вечевой уклад не дошел до своего полного развития, не осуществил своего идеала; мы не видим стройной, сознательной, определенной федерации земель, не видим, чтобы каждая часть развила в себе самобытные элементы жизни; не видим также и твердых связей, соединяющих между собой земли. Нам являются одни зачатки, которые не успели еще образоваться, и

были, так сказать, задавлены тяжестью противных начал: то были побеги, не успевшие дорасти до зрелого состояния — их юношеское существо сломлено противной бурей. Что-то хотело выйти и не вышло; что-то готовилось и не доделалось! Земли обозначались по оттенкам народностей и не определились в своих несомненных пределах. Внутри княжеская власть не представляется отделенной, по своему объему и значению, от власти народной, от веча; и одна заходила в область другой; мы не можем разъяснить вполне ни взаимных отношений городов между собой, ни городов к волостям, ни способов, как образовались сословные разделения народа, и как между собой сталкивались и переплетались. Все здесь темно, все основано на догадках; конечно, этому причиной и само состояние общества, то переходное состояние, которое всегда имеет в себе что-то хаотическое, подобно тому, что представляет всякая постройка во время работ: только по окончании работ принимает она определенный вид; но нет сомнения, что нашему непониманию своей старины в этом отношении помогает и недостаточность источников. Они часто безответны на такие вопросы, которых разрешение для нас — дело первой важности, хотя словоохотливы и щедры на то, что может интересовать историка только тогда, когда в занятиях своих он не имеет другой цели, кроме того, чтоб любоваться их процессом. Как бы то ни было, удельно-вечевой мир для нас неясен; а, между тем, изучение его может не только интересовать праздное любопытство, но составляет насущную потребность разумного знания нашей истории и важнейшую подмогу для уразумения нашего настоящего и, скажу более, для наших практических целей и в настоящем и будущем. Нужно ли доказывать, что здравое и ясное узнание своего народа есть дело первой важности в настоящее время? Едва ли кто в этом сомневается. Излишне нам было бы также доказывать, что народа невозможно узнать, не зная его прошедшей жизни; того, что составляет современную жизнь народа, нельзя считать недавним. Не в пятьдесят, не в сто лет накопилось то, из чего образовался народный характер; понятия народа формировались долго; быт его устанавливался многими веками; во всех явлениях народной жизни отпечатлелось много протекших переворотов, легло много пережитых периодов. Тот образ, в каком народ является теперь, слагался постепенно, и чтоб проследить его историю, необходимо обращаться к такой древности, от которой только по наружности осталось, как некоторые себе воображают, слишком мало наглядных следов, вещественных памятников, тогда как на самом деле эти следы сохранились там, где они живее и вседейственнее — в современных обычаях и понятиях. Эпохи, когда самодеятель-

ность народа выказывалась полнее и многостороннее, резче отпечатлеваются на жизни его в последующие века: в эти-то эпохи обыкновенно и формируются элементы народного характера; тогда народ и проявляет свои силы, которые при иных обстоятельствах остаются как бы спящими. Как ни кажутся отдаленными от нас века удельно-вечевого уклада, но многое в характере нашего народа сложилось еще в те поры; все это пересоставилось и видоизменилось при дальнейшем развитии, но самых начал следует искать в предыдущем. И притом же то, что было некогда иначе, чем после, составляло в свое время также достояние народа: оно важно для того, чтоб уразуметь, как народное существо способно проявить себя на том или другом пути, с такими или иными условиями. Наша прошедшая историческая народная жизнь явилась в борьбе двух начал — удельно-вечевого и единодержавного, и составляющее характер того и другого вошло в плоть и кровь народа: очевидна важность изучения удельно-вечевого периода, на который еще не так давно если не смотрели с полным презрением, то не искали в нем ничего для современности и не предполагали увидеть в нем ничего, кроме бессмысленных княжеских драк, которых причины указывали нам единственно в круге родовых отношений княжеских фамилий.

Яснее и полнее характер удельно-вечевого уклада не выразился нигде, как в Новгороде. Этому причиной, во-первых, более всего относительное богатство источников об этой Русской Земле в сравнении с источниками о других наших землях, и, во-вторых — самое положение Новгорода в совокупности географических и исторических явлений, давшее ему несколько особый характер. О первой причине я не стану распространяться; достаточно указать на цикл новгородских и псковских летописей, обнимающий историю северных городов с незапамятных времен до падения их местной независимости; тогда как сведения, передаваемые летописцами Земель Смоленской и Белорусской, ограничиваются отрывочными и очень скудными известиями. Гораздо важнее рассмотреть, как Новгород получил в ряду русских земель свои отличия и в чем они состояли. Здесь первое место занимает его народность. Остатки новгородского наречия, без сомнения, в настоящее время сильно уже измененного, беспрестанно теряющего свои особенности и подходящего под уровень общего языка, указывают, что в этой Земле было свое отличное наречие, близкое к южно-русскому. Близость эта и теперь еще поразительна для уроженца южной Руси: когда в первый раз я услышал новгородское наречие, я принял говорившего им за малороссиянина, как будто силившегося говорить по-великорусски. По аналогии можно заключить, что в древности новгород-

ское наречие имело гораздо более черт, подобных малорусскому и отличавших его от наречий соседних земель*.

Существует, записанное в хронографе, полубаснословное предание о приходе с юга поселенцев на север, где обитал прежде другой народ, причисляемый к белоруссам. Пришельцы изменили название реки, на которой поселились: прежде она называлась *Мутной*, пришельцы назвали ее *Волхов*. Предание это сохранилось и до сих пор в народе; между прочим, оно заставляет предполагать, что новгородцы были южного происхождения, но придя на север, нашли там уже славянских поселенцев, над которыми их народность осталась первенствующей. И этим, может быть, надобно объяснить между другими признаками нравственную связь Новгорода с отдаленным Киевом, которая так рельефно выдается в истории дотатарской. Несомненно, что с наречием Новгородцы сохраняли и черты нравов и быта, приближавшие их к Южноруссам и отличавшие от ближайших соседей. Очень естественно, что оторванная, таким образом народная горсть последи других родственных, но отличных народностей и чуждых племен, сознавала себя живее и яснее. Этот народ глубокой древности, именно в IX веке, играл какую-то первенствующую роль в союзе северных народов, образовавшемся против чужеземного ига норманов. Покоренные этими завоевателями, Белоруссы-Кривичи, Словене-Новгородцы или Ильменские Словене и славянские колонисты земель Ростовской, Белозерской и Изборской, жившие между народами чудского племени и оттого означенные в летописи нашей неславянскими именами Мери, Чуди и Веси, — должны были соединенными силами отбивать врагов, а потом, чтоб сохранить раз вынужденную, необходимую связь, устроили институцию, послужившую началом государственной жизни русского мира — я говорю о призвании князей.

Все темно в этом отдаленном от нас событии. Но из некоторых черт летописного повествования видно, что его признавали в широком размере, что участие в призыве князей разделяли с теми, которые означены в летописи, еще и другие, которые там не означены; по крайней мере, важно то обстоятельство, что Олег является с малолетним Игорем в Киев, как имеющий право, показывает Аскольду и Диру малолетнего князя и убивает их за то, что они, не будучи князьями, управляли Киевом на

---

* Название местности указывает и на существование в древности таких слов, которые теперь вышли из употребления в Новгородской Земле, но находятся в южно-русском наречии. Я укажу, например, на местность *Ковалево*, близ Новгорода. Вероятно, существовало в древности слово *коваль*, означавшее кузнеца, как и теперь в Малороссии оно имеет то же значение. Можно указать также на слово *паробок*, теперь уже забытое и оставшееся на юге.

княжеском праве. Обстоятельство это показывает, как будто, что Аскольд и Дир обманули Киевлян, что последние ждали кого-то другого — не их; и Киевляне покорились добровольно Олегу, как бы сознавая его право. Следовательно, и Киевляне тем самым изображаются участниками в призвании варяжских князей. Если только справедливо летописное сказание о призвании князей, Новгороду суждено было стать первоначальной точкой, откуда разошлись линии, по которым стал созидаться новый порядок. И потому вполне законно принадлежит Новгороду честь, которую воздают ему в наше время, избирая его местом для памятника тысячелетию русской государственной жизни. Очевидно, что сердцем возникавшей варяго-русской державы был он: в нем происходило первое совещание об единении народов и уставлении связующей власти княжеского рода. Очевидно также, что наша история начинает, так сказать, с середины повествования, с того события, которое не может назваться начальным; естественно рождается вопрос: каким же образом возникла связь между отдельными племенами, как дошли они до общего сознания частей утвердить эту связь новой институцией? Вопрос, на который нет ответа. Судьба Новгорода после этого важного события как-то исчезает из летописей, занятых исключительно событиями юга. Видно, однако, что он оставался со своей древней независимостью, когда избирал одного из сыновей киевского князя Святослава. В этом факте, как он ни скудно рассказан, явно выказывается то направление, каким Новгородцы отличались впоследствии в своей истории. Святослав заметил послам: хорошо, коли кто пойдет к вам. Это намекает на их свободное обращение с князьями еще в древности, и тогда не позволяли они князьям поднимать головы выше народного собрания. Вместе с тем в этом поступке уже обозначается то сочетание отдельности с привязанностью к общему русскому миру, которое составляло характер последующей политической деятельности Новгорода. Новгородцы были свободны и могли выбрать себе князя где угодно, но обратились к тому роду, который был ими, вместе с другими землями, призван для установления ряда и удержания связи частей. Они грозят избрать себе в другом месте князя, только в случае отказа получить его из рюрикова дома; то был бы поступок крайний, также как перед концом новгородской независимости. Новгородцы в крайности готовы были преклониться под власть литовского великого князя, и в то же время употребляли все усилия, чтоб сохранить связь с призванным в лице прародителей родом.

Владимир, избранный Новгородцами, утвердил там власть с помощью чужеземцев-Варягов. Это было новое подчинение

воинственным соседям, хотя в другой форме: уже не они, в качестве чужих завоевателей, нападали на Новгород и облагали его данью, а собственный выборный князь своевольно управлял через чужеземцев. Сделавшись киевским князем, с помощью тех же Норманов-Варягов, Владимир показал, некоторым образом, первый пример единовластного порядка и был единым владетелем всей Руси; и Новгород, уже порабощенный, как видно, прежде, теперь привязан был к Киеву. Древнее первостепенное значение его потерялось: он сделался пригородом; в его положении все отзывалось порабощением; даже крещение, если верить сказанию, записанному в Иоакимовской летописи, совершилось с насилием. Сын Владимира Ярослав, хотя получил в удел Новгород, зависимый от Киева, непокорный отцу, шел однако по следам его и также опирался на чужеземцев-Норманов. Эти пособники княжеского самовластия стали распоряжаться так произвольно, что наконец пробудили уснувшие силы древней свободы. Перебили Варягов. Ярослав отомстил за них: завлек обманом зачинщиков заговора и перебил их. Но вслед за тем услышал, что ему грозит беда из Киева. Святополк киевский умертвил его братьев и ему грозил тем же. Киев был за Святополка. Князь, сидевший в Новгороде, должен был поневоле соединить свои личные интересы с местными интересами Новгорода; Ярослав должен был избавиться от Святополка, Новгород — от власти Киева. Взаимные нужды сблизили их. Новгородцы простили ему коварное избиение своих мужей. Дело устроилось наилучшим образом. Новгородцы посадили на киевском столе своего князя, посрамили гордость Киевлян, называвших их презрительно своими плотниками; а Ярослав возвратил им древнюю самостоятельную свободу и признал восстановление прав народного собрания для избирания себе князя по желанию. Ярослав дал Новгороду льготную грамоту. Она не дошла до нас; но можно наверное видеть, в чем состояла она. На это указывают и последующая история Новгорода, и последующие грамоты, которые были обыкновенно снимками одна с другой, с некоторыми изменениями, вынуждаемыми текущими обстоятельствами. Эпоха Ярослава осталась в памяти народной в течение столетий началом их свободы. И другие русские земли вспоминали, что новгородцы освобождены были прадедами князей. Место, на котором становились народные собрания, называлось двором Ярославовым.

Неосновательна была мысль, принятая многими, будто Новгород и после Ярослава долго находился в зависимости от Киева, и его местная свобода возникла оттого, что они воспользовались сумятицами и междоусобиями на юге и, так сказать, под шумок

организовались свободно. Так думали потому, что качество летописи принимали за качество происходившего в жизни. Летописи XI и половины XII века до нас дошли в кратком виде. С половины XII века они полнеют и сообщают такие события, о которых прежде молчали по своей краткости. Из этого заключали, что и в самом деле не было таких событий. Очевидно, такое заключение неверно и крайне произвольно. Неверность ясно доказывается тем, что даже и в кратком перечне встречаются известия о случаях, когда Новгородцы показывали свое народное право; как например, когда не хотели сына Святополка киевского и сказали ему: *посылай, если у него две головы.* Очевидно, что князья, находившиеся у них, были избираемы и признаваемы народом и в то время. Древнее народоправление, на время придушенное Владимиром с помощью чужеземцев-Варягов, воскресло с ярославовыми грамотами и более не упадало до конца XV века. Новгород оставался все одним и тем же в своей основной форме. По этой основной форме Новгород не был каким-то исключением в русском мире, как думали некоторые. Его свобода и народоправление не составляли его местного достояния, недоступного для других земель. То же, что было в Новгороде, существовало везде. Народное собрание, вече, составлявшее главнейшую черту общинного устройства, было общим для русского мира. Летописец XII века, говоря об этом, не отличает новгородцев от других: "Новгородци бо изначала и Смоляне и Кияне и Полочане и вси власти аки на думу на вече сходятся". В Суздальской Земле, где пустило первые ростки единодержавие, вече составляло верховную власть и избирало князей. Слово *вече* было для того всеобщим в Руси, что даже в XVI веке оно употреблялось на Волыни в смысле народной сельской сходки; в некоторых местностях, составлявших Новгородскую Землю, оно, как говорят, употребляется и теперь. Со словом *вече* связывался механизм независимости и гражданской свободы. *Вече* было признаком существования Земли, сознающей свою автономию; будучи явлением общерусским, повсеместным, нигде, однако, порядок этот не является нам в такой полноте, как в Нове-городе. Повторим сказанное прежде, что здесь, без сомнения, действует то, что новгородские сказания дошли до нас полнее; прибавлю также, что самые эти сказания относятся наиболее ко времени после татар, когда в других землях уже угасал этот порядок.

Но, несомненно, были причины, благоприятствовавшие Новгороду в сохранении его старых славянских начал, преимущественно перед другими Землями. Новгород со своей Землей не был проходным краем — не то, что Киевская и Черниговская

Земли, через которые ратным людям можно было прогуляться вдоль и поперек. Новгород был отделен болотами и лесами от остальной Руси. Князья на юге нередко поддерживали себя посредством наемных чужеземцев: Половцев, Угров, Поляков; не могли так поступать с Новгородцами, потому что и народов, готовых для того, не было по соседству, и проход был затруднителен. Оттого Новгород удобнее мог прогонять и приглашать к себе князей; это не так легко было Киеву, поплатившемуся за изгнание Изяслава Ярославича и много раз опустошенному Половцами, Торками, Берендеями, приводимыми князьями. Несколько раз повторенные примеры делались обычным правом, и князья привыкли считать его ненарушимым. Новгород от своего имени стал заключать договоры с западными соседями и приучил их смотреть на себя, как на самостоятельное государство. Торговые обороты и сношения Европы с Россией касались в частности непосредственно только Новгорода, а не других частей ее.

Понятно, что Новгород владел большим пространством земель на севере и северовостоке, независимо от других частей России. Географическое положение этих стран было такое, что только Новгороду было подручно держать их в связи с русским миром. Страны эти были суровы и бедны по климату и почве, но богаты по другим произведениям, составлявшим в те века источник богатств. У Новгородца долго никто в русском мире не отнимал этих владений, ибо никому не представлялось ни выгод, ни удобств для этого; только с распространением колонизации на восток из Ростовско-Суздальской Земли Новгород должен был оспаривать исключительную принадлежность северовосточных колоний у великих князей. Колонии не принадлежали ко всему русскому миру, и были его местным достоянием. Через эти особенности в Новгороде образовалось, укреплялось и поддерживалось сознание о своей автономии и, вместе с тем, невозмутимее, чем в других странах, развивались старославянские начала. Новгородская Земля не представляла единства народности. Славяно-русская была в меньшинстве в сравнении с массой народов чудского племени; но эта славяно-русская народность была в полной мере господствующей, встречала такие народности, которые не имели силы ни бороться с ней, ни воздействовать на нее, и покорно с ней соединялись. Таким образом, эта господствующая народность расширялась на север, северовосток и северо-запад, побеждая препятствия, неважные в сравнении с теми, какие были в других землях, например, в южных. Это прогрессивное движение отчасти вытеснило чудских аборигенов, отчасти сообщало им славянскую цивилизацию и народность. На западе оно было остановлено сильной встречей с

немецкой народностью, с которой не так легко было выдержать борьбу славянскому племени везде и вообще. Ставший, таким образом, обладателем севера, проводником торговли с Западом для целого русского мира, Новгород в ряду русских земель приобрел почетное значение, имел много данных для местной независимости и самобытности; с другой стороны, в его географическом положении были и условия, привязывавшие его к русскому миру. Почва его земель не отличалась плодородием; Новгород должен был получать хлеб из прочих стран Руси. Если через его руки в русские земли переходили западные товары, если также русские произведения он передавал Западу, то в главном предмете жизненных продовольствий он не мог обойтись без других, более плодородных земель. Эти обстоятельства и были неоднократно, между прочим, поводом к тому, что Новгород так сильно держался Киева и впоследствии должен был уступить в борьбе с восточной Русью за право местной отдельности. Притязаниям великих князей Ростовско-Суздальской Земли, а потом Московской, помогали эти обстоятельства. Таким образом, сохранилось в течение веков направление, указанное нами, как характеристическая черта новгородской истории — сочетание стремления к удержанию местной независимости с признанием законности и необходимости связи с остальным русским миром для единства всей Русской Земли.

В эпоху господства федеративного строя русской общественной жизни не ослабевало в ней стремление к единству, заключавшее в себе семена будущего единодержавия, которому суждено было развиться после толчка, данного внешними завоеваниями. Это стремление выражалось первенством великих князей над всеми князьями и Землей русской, и вместе с ним как бы соединялась идея о первенстве одной Земли над прочими. Когда усобицы и гибельные разорения от чужеплеменников лишили Киев сил и средств удержать древнее первенство, на востоке стремление к нему является в Суздальско-Ростовской Земле. Открывается посягательство на подчинение Новгорода. Здесь было что-то не совсем для нас ясное; здесь кроются какие-то древние отношения Новгорода к Суздальско-Ростовской Земле, которые едва мерцают в древнем их соединении по поводу призвания варяжских князей. Нет сомнения, если верить буквальному смыслу летописи, что Ростов и Суздаль находились в древности в связи с Новгородом и, вероятно, последний имел над ними первенство. Даже в XII веке Новгород помнил свое старое первенство, и в истории Всеволода-Гавриила есть намек, что Новгород предпринимал войну с претензиями на первенство, заявлял какое-то право считать своей принадлежностью Суз-

дальско-Ростовскую Землю. Князь противился новгородскому желанию и ссылался на княжеский раздел; Новгородцы представляли против этого свои древние народные счеты по землям. Война эта была неудачна и прекратила покушение Новгорода; но после того начались обратные покушения Суздальско-Ростовской Земли на Новгород. В этой борьбе, которая потянулась на столетия, видны не только княжеские попытки, но также и стремление Восточно-Русской Земли. Когда великий князь Всеволод воевал против Новгорода и осаждал Торжок, сам Всеволод готов был отступить от города и прекратить вражду, но мужи его Земли требовали взятия города и изъявляли злобу на Новгород. Когда Мстислав-Удалой с Новгородцами вошел в Суздальскую Землю, то Суздальцы ополчились против Новгородцев с той же народной неприязнью. Это соперничество, в начале народное, перешло потом к Москве и превратилось в борьбу местного вечевого начала с единодержавным. Эта-то борьба наполняет политическую историю Новгорода: она-то и доконала его независимость.

До татар два великие событие в этой борьбе дали перевес Новгороду и утвердили его самобытность: чудо Знаменской Богородицы и победы Мстислава-Удалого. Первое облекло религиозным благословением свободу Великого Новгорода и его местную самобытность; вторые оградили надолго Новгород от покушений владимирских князей и поставили в определенные границы их взаимные отношения. Новгород хотел самостоятельности, но не хотел оторваться от русского мира и организоваться в общество, чуждое для последнего. Он готов был признать старейшинство суздальско-ростовского князя и получить князей от руки его, лишь бы только с противной стороны признаваема была его автономия в союзе русских земель. Так и было. После побед Мстислава обстоятельства и, в особенности, потребность получать хлеб, дали в Новгороде перевес партии, клонившей его к подчинению владимирским князьям. Но уже прежних попыток, какие дозволяли себе Андрей и Всеволод, долго не было; владимирские князья признавали за Новгородом его право; князья Владимирской Земли, приезжая на княжение по избранию, были осторожнее в покушениях превысить ту меру власти, какая им давалась от народа. Можно сказать, что подвиги Мстислава-Удалого приостановили рождающееся единодержавие, поставили границы верховной соединительной власти и утвердили федеративный порядок. Для прочности его недоставало того, чему зародыш положил еще Владимир Мономах — общего сейма князей и Земель. Может быть, обстоятельства и выработали бы это учреждение, народ новыми опытами дозрел бы до

уразумения средств к поддержке начал общего союзного отечества. Но тут нагрянули татары.

Татарское завоевание не коснулось Новгорода и Земли его; как повествует летописец, сто верст всего не дошли завоеватели до Новгорода, и это событие было важно для дальнейшей судьбы его. Старое, еще недостроенное здание русской федеративной державы было разбито; от него остался на севере угол: то был Новгород с Псковом — своим меньшим братом. Татары только то считали собственностью, что успели разорить; Земля разоренная доставалась им во владение, и все, что только на ней являлось, почиталось достоянием хана. Новгород и Псков не сделались этой печальной собственностью, потому что не были покорены и разорены. Новгород при Александре Невском должен был временно покориться судьбе и допустить ханских численников, а впоследствии платить выход и участвовать в общей дани, вносимой ханам Россией; но то были временные пожертвования общему русскому единству сознанием того, что Новгород есть русская Земля и должен нести общее бремя до известной степени. Это была, вместе с тем, предохранительная уступка сильным врагам, сделанная для того, чтоб избавиться от столкновений, которые, при несчастном повороте судьбы, могли лишить его самобытности и свободы. Тогда как в пределах обширной восточной Руси, раздвигавшей время от времени свои границы, под правом завоевания возникал единодержавный уклад, образовывались и утверждались новые политические и общественные начала, в Новгороде и Пскове господствовали древние понятия об автономии Земли. Земля в смысле нации не стала собственностью никаких князей: она принадлежала самой себе, то есть народу, выражавшему свое бытие внешней формой веча. Новгород в этом смысле представлял как бы лицо владельца — он и назывался государем, то есть владельцем-хозяином. От имени Новгорода заключались договоры, велись войны, издавались законы, учреждался всякий порядок. Мало-по-малу, прежнее значение новгородского князя перешло к великому князю; в Новгороде хотя были другие князья, но уже не в качестве правителей Земли, а как призываемые предводители войска. Князь великий представлял над ним выражение верховной связи с русским миром. Но тогда московские князья начали заявлять стремление к единодержавию; Москва стала грозить подчинением себе других народностей. Новгород должен был вынести борьбу за свою местную самостоятельность и за старый вечевой порядок. В Новгороде, так сказать, нашли последнее прибежище свободные федеративные начала, изгнанные из других Земель. Он не думал об отложении, но по-прежнему хотел

удержать федеративную связь с прочей Россией. От этого в политической деятельности по отношению к великим князьям не было ничего нового, не видно ничего прогрессивного. Новгород стоял за старину, но в то же время в его устройстве лежало начало прогресса, хотя неудобосовершимого. Старое было недостроено; дело шло о том, чтоб докончить то, что начато еще в IX веке, и докончить не так, как внезапное завоевание в XIII веке повернуло ход русской истории.

Пока еще единодержавие не взяло окончательного перевеса над старинным складом, Новгород мог бороться; но когда в народных понятиях всей остальной Руси единодержавие стало нормальным порядком, Новгород со своими старыми началами должен был или отложиться от русского мира, или подчиниться добровольно новым требованиям. Новгород, каким он был, становился анахронизмом. От этого-то поход Ивана III возбудил к себе симпатию в народе; война его с Новгородом была делом общерусским, делом Церкви и народа. Новгород действительно бросился было на отчаянную меру — выбиться из прежней колеи: он отдавался литовскому князю; попытка не удалась: Новгород был покорен.

Иван III понимал, что Новгород не может добровольно подчиниться новому порядку, когда старое в нем сжилось с вековыми привычками и нравами общественного и политического быта. Надобны были решительные меры. Иван употребил их. Иван не удовольствовался снятием колокола и уничтожением веча и звания посадника — Иван уничтожил Новгород до корня, переселив его жителей по разным краям, подчиненным Московской державе, и заменив прежнее население новым, чуждым прежних местных воспоминаний. Опустошение Новгородской Земли совершилось в чрезвычайной степени и было значительнее, чем сколько обыкновенно полагают. По известиям летописей,из Новгорода выведено было до 18 000 семей — следовательно, полагая *типитит* на семью по четыре души, до 72 000 душ. Если взять во внимание, что было еще много таких, которые, спасаясь от жребия, грозившего Новгороду, успели убежать в Литву, то без преувеличения можно полагать, что город лишился совершенно прежнего населения. Что касается до пригородов и волостей, то там совершилось сильное потрясение. Владельцы земель — бояре и дети боярские — были выведены: им даровали земли в других местах. Всего нагляднее это показывается в дошедших до нас от конца XV века писцовых книгах, где беспрестанно означаются земли, бывшие достоянием старых Новгородцев, признанные потом землями великого князя и раздаваемые в поместья иным слугам, более верным и надежным. Что касается до простого

народа, то и масса его в те печальные годы пострадала жестоким образом. У Ивана были две войны с Новгородом, обе ведены были опустошительно. Шло дело не о том, чтоб разбить новгородское войско, заставить Новгородцев покориться воле великого князя; Иван хотел обессилить его, довести до ничтожества: войска, распущенные отрядами на восток и на север, истребляя селения на земле, принадлежащей Новгороду, убивали беззащитных людей, а те, которые успевали уйти, должны были после умирать с голоду, потому что ратные люди везде истребляли хлебные запасы. Из двух войн Ивановых одна происходила летом, другая - зимой. Во время первой поселяне еще могли коекак спасаться в болотах и лесах и уносить с собой часть своего достояния. Во время второй войны лишенные крова и продовольствия жители должны были толпами замерзать от холоду и умирать с голоду. Народонаселение Новгородской Земли должно было значительно уменьшиться и обессилеть. Это обстоятельство неизбежно должно было страшным образом потрясти древнюю новгородскую народность; остатки прежнего населения разрослись под другими условиями и смешались с приливом народонаселения из других земель. Оттого-то от древней новгородской народности остались одни развалины.

Новгород в русской истории выразил сторону жизни удельновечевого характера, отличную от единодержавной, которой представительной силой сделалась Москва. Новгород совместил в себе то, что было достоянием всех Земель в свое время, и представил это ясно в своей истории. Новгород стоял за федеративный строй Русской Земли и за местную и личную свободу. Москва хотела сделаться центром России, притянуть к себе все ее силы, поглотить собой самодеятельность ее частей; Москва домогалась единого государства, слития особенностей, подчинения личности общественной воле, выражаемой совмещением ее в идеале верховной власти.

Два принципа воплощались в исторической жизни противоположными явлениями, и потому неизбежна была борьба на жизнь и смерть для их исторических представителей.

Я не имею целью излагать перед вами, мм. гг., подробно состояние, быт и устройство Новгорода. Это могло бы только послужить предметом целого курса. Укажу только на главные черты. Названия и частные приложения идеи — предметы второстепенные, и являлись на Руси в различных видах; но сама идея оставалась везде одна и та же и выражалась одним и тем же очерком своей первобытной формы.

Главное, чем отличался Новгород, как представитель удельновечевого уклада, это — принцип местной автономии Земли, в

федеративной связи с другими землями, выражаемый известной формой народоправления, на основании сочетания родового права с личной свободой. Местная автономия не только поддерживалась самим Новгородом для себя, но допускаема была и в подчиненных ему пригородах и селах; лучшим доказательством этого служит то, что слово "вече", означавшее народное правительственное собрание, до сих пор осталось в северном наречии в значении сходки и показывает, что древнее вече, как выражение самоуправления общины, не было принадлежностью одного верховного города страны, а было достоянием каждой жилой местности, каждой общины, как скоро естественным путем она в известных границах сознавала свою автономию. Во всей политической деятельности Новгорода не видно домогательства централизующей власти; Новгород довольствовался признанием своего первенства и соблюдением связи, условливающей единство частей земли. Пермь и Югра управлялись своими князьями и в таком положении были застигнуты государственной системой Ивана. Двинская Земля, уже заселенная новгородским племенем, была так слабо прикована к центру, что образовала в себе много местных стремлений, которые повлекли ее к попыткам отторжения от новгородской власти, и которые, однако, были так слабы для того, чтоб совершить отпадение члена, прежде чем не поражена была голова. Псков составлял некогда часть Новгородской Земли; как скоро он ощутил в себе элементы самобытности, тотчас и обособился со своей волостью, в виде отдельной Земли, и Новгород признал его самобытность, довольствуясь только союзом с ним, выражавшимся тем, что Псков считался меньшим братом Новгорода. Этот недостаток централизации, быть может, был одной из причин, что Новгород, владея огромными пространствами, не мог собрать в пору правильных сил для защиты своих границ; на западе заходили за них Шведы и Крестоносцы; на востоке и на юге переходили они в сферу Восточно-Русской Земли. Так не устоял он и против московского покушения. Не имея в себе единодержавного государственного принципа, он не мог бороться с этим принципом, который окреп в соседстве: ибо для такой борьбы нужны были равные силы и средства, и приемы. Совсем не то является в Восточно-Русской Земле; там в прогрессивном ходе развития ее крепости местная самобытность частей приносится в жертву нивелирующему центру; местные привычки и обычаи должны были изглаживаться и принимать, по крайней мере в главных чертах, один вид. Там, где прежние предания казались тверды и упорны, сделались потребными крутые средства, переселения и даже опустошения страны. Весь народ должен был слиться в сплошную массу, про-

никнутую одним духом повиновения и готовности стать на защиту отвлеченной идеи государства, для распространения его пределов и для поддержки его чести.

В Новгороде все исходило из принципа личной свободы. Общинное единство находило опору во взаимности личностей. В Новгороде никто, если сам не продал своей свободы, не был прикован к месту; Новгородец должен был подчинять свою личность общей воле только тогда, когда живет в общине; но он всегда мог выйти из нее и идти куда хочет. Так равно и в Новгороде всякий мог приходить и жить полноправно. Оттого Новгород был постоянно убежищем всякого рода изгнанников; по договорам должно было выдавать только уличенных преступников, да и то не исполнялось; а с другой стороны, по всему русскому миру рассеяны были дети Великого Новгорода. В московском мире, напротив, личность человека тянула к чему-нибудь: человек, сам по себе, не пользовался самобытным существованием: он был не более как единицей в общей сумме и отвечал, вместе с другими, за всех и за каждого из всех. Во внутренней истории московского народа слово "беглец" играет важнейшую роль, там личность долго пыталась вырваться от сковывавших ее уз. В новгородском мире беглец мог быть только преступник, осужденный законом и уклонявшийся от приговора над ним, или раб. Народоправление Новгорода носило характер этой же личной свободы: вече, сколько нам известно, было почти не связано формами и ограничениями. Оттенки происхождения и состояния, образовавшиеся в виде сословий, равномерно являлись в нем: как бояре и богатые купцы, так и бедняки-ремесленники и поденщики имели равное право участия. Представительства, сколько известно, не было, исключая только тогда, когда посылались куда-либо депутаты в посольстве, потому что, в последнем случае, самое дело этого требовало. На вече, по звону колокола, прибегал, кто хотел; равномерно, кто хотел, тот мог собираться и предлагать народу свое мнение. Такой способ общественной жизни тесно связан был с федеративным принципом: только при местной автономии частей возможны личная свобода и такое народоправление.

Неудивительно, что свободное начало в Новгороде было источником вечного хаоса, смут и партий. Неравенство способностей и индивидуальных наклонностей и временных предрассудков беспрестанно выдвигало на первый план личности и фамилии, налегавшие на массу произволом и насилием; но зато не могли они ввести для своих эгоистических видов ничего прочного и, в свою очередь, отступали, побежденные дружным усилием массы. Таким образом, в новгородской истории встречается часто, почти

постоянно, борьба черного народа с так называемыми боярами. Свобода выдвигала бояр из массы; но тогда эгоистические побуждения влекли их к тому, чтобы употребить свое возвышение себе в пользу, в ущерб оставшихся в толпе; но та же самая свобода подвигала толпу против них, препятствовала дальнейшему их усилению и наказывала за временное господство — низвергала их, для того, чтоб дать место другим разыграть такую же историю возвышения и падения. Свобода, необлеченная в сознательные, прочные формы, зависела от духа, от степени умственного развития, от понятий о нравственном и общественном долге. Для того, чтоб свободные начала развивались, нужны были побуждения к саморазвитию народа, а их не только не было, но еще столкновение обстоятельств препятствовало тому. Выше мы заметили, что почва Новгородской Земли была неплодородна, и это ставило Новгород в зависимость от других частей русского мира. Климатические особенности вообще не принадлежали к таким, которые располагают к живой умственной работе; религиозность, составлявшая исключительный круг духовной деятельности, уклонилась в аскетическую и обрядную односторонность, вместо того, чтоб оказывать благодетельное влияние приложением к жизни общечеловеческих, христианских начал. Соседство с Западом и торговые сношения с Немцами не сблизили Новгорода с Европой морально, потому что Немцы всегда показывали эгоистическую политику, клонившуюся к тому, чтоб эксплуатировать Новгород для своих целей, и сознательно, умышленно старались не допускать Новгородцев до знакомства с европейским просвещением. Но главное, что не дозволяло Новгороду идти со своей свободой по пути исторического прогресса, было то, что удельно-вечевое начало, которого он держался до конца, было пригодно для целой Русской Земли, а не для одной ее части в отдельности. Обстоятельства сломили это начало в других частях; Новгород оставался с ним, как развалина прежнего. Ни условий, ни средств, ни стремлений к организованию из себя отдельной державы он не имел; оставаться со своими особенностями в ином мире ему нельзя было. Рухнуло удельное вечевое начало в русском мире, — должно было рухнуть оно и в последнем углу, куда приютилось было в течение того времени, как созревало новое. По естественному закону, угол этот должен был испытать участь целого здания, которого частью не переставал быть никогда.

Мы не поклоняемся теории неизбежного исторического прогресса, по которой следует признавать лучшим все, что случилось позже, и в каждом историческом перевороте видеть какую-то необходимость и нормальность. Мы не будем, при виде печальных

исторических явлений, утешать себя мыслью, что эти явления были необходимы для других, более светлых и отрадных. Не станем, в этом отношении, уподобляться Скалозубу, находившему, что пожар Москвы служил ей к украшению. Если несомненно, что Новгород, оставленный сам по себе, не мог осуществить в своем быте начал федеративной независимости с ясными формами самобытности, то нельзя сказать, чтоб эти начала были бесплодны по своему существу, если б продолжали возрастать в целой Руси, и что, напротив, другие, их заменившие, были и выше, и благодетельнее. Но, с другой стороны, то, что уже совершилось, должно рассматривать, как совершенное. Единодержавный принцип государственности, единства, восторжествовал над удельно-вечевым началом федерации — и образовалось огромное, могучее государство. К великой цели образования этого государства направлялись все главные исторические движения со времени Иоанна III. Государственность объединила русский народ; саморазвитие народных сил было поглощено делом этого единства; свобода общины и лица приносилась ему в жертву.

Громадный труд Петра Великого завершил то, что приготовлено было предшествовавшими веками; он повел единодержавную государственность к ее полному апогею. Государство обособилось от народа, составило свой круг, образовало особую народность, примкнутую к власти; круг ее расширялся, захватывая к себе верхние слои народа. Таким образом, в русской жизни возникли две народности: одна — народность государственная, другая — народность массы, народность, которая, будучи рассматриваема с государственной точки зрения, доросла до единства в совокупности местных видов, лишенных своего проявления, но сохранивших свою частную физиономию под неотразимым влиянием условий географических и этнографических. Крепостное право, формировавшееся в течение долгого времени прогрессивным ходом, было самым осязательным, самым крайним выражением перевеса государственного начала над народным и разделения власти от народа; оно одну часть народа ввело в область власти и оторвало от другой, другую оставило в исключительной народной сфере без всяких прав самодеятельности. Для обеих сторон такое положение становилось невыгодным.

В наше время сама власть увидела это и производит мудрые повороты общественного механизма: я говорю о свежем событии, столь благотворно поколебавшем судьбу заснувшей народной жизни. Это событие есть начало новой русской истории: государственность примиряется с народностью. Драма, которой пролог показался в XIV веке и первое действие разыграно при Иване III, приближается к своему пятому акту и развязке. Дол-

го составлялось русское государство и ограничивало, стесняло народную жизнь, потому что последняя мешала его образованию, нося в себе древние удельно-вечевые привычки. Наконец, государство вполне составилось, окрепло, побороло все внутренние и внешние препятствия. Его разложение более невозможно. Государство стало твердо и непоколебимо не внешними, а внутренними условиями. Сознавая свою полную силу, государство само пробуждает народную жизнь: пробуждает к свободной деятельности — мы вступаем в новую историю. Не станем обольщаться и придавать нашему времени более того, что зрелое обсуждение факта может нам сообщить мимо всякого увлечения. Мы ничего еще не видим, кроме зародышей новой истории; но довольно того, что есть хоть какие-нибудь зародыши. От обстоятельств будущего зависит, будет ли их рост совершаться быстро или медленно. Пусть государство не мешает свободе местной народной жизни, потому что оно крепко и сильно; а последняя не будет бояться государства, находя в нем покровительство своему развитию. Инициатива нового зачатка в истории нашей народной жизни принадлежит Государю. История беспристрастно оценит его вместе с его веком.

ДОЛЖНО ЛИ СЧИТАТЬ БОРИСА ГОДУНОВА ОСНОВАТЕЛЕМ КРЕПОСТНОГО ПРАВА?

В IV книге "Русской Беседы" за 1858 г. помещена под этим названием статья с новым оригинальным взглядом на один из важнейших вопросов Русской допетровской истории. До сих пор царю Борису приписывали прекращение перехода крестьян в юрьев день и тем самым начало введения крепостного права. Автор статьи, г. Погодин, не только оправдывает Бориса перед судом истории, но доказывает, что личное крепостное право не возникло юридически, а образовалось само собой, вытекая из обстоятельств народной жизни, подобно многим учреждениям в английской истории, о которых напрасно было бы доискиваться, когда именно они возникали. Метод исследователя состоит в том, что автор собирает все известные акты, на которые обыкновенно упираются, когда доказывают прикрепление крестьян при Борисе, подлинность одних подвергает сомнению, в других видит не тот смысл, какой видели прежние исследователи.

Обыкновенно привыкли думать, что первое прекращение перехода крестьян последовало в 1592 году. Указ по этому предмету не дошел до нас; но мы верили в его существование в свое время на следующих основаниях; 1) Смысл указа 1597 года ноября 21 тот, чтобы в имения помещиков и вотчинников были возвращаемы беглые, которые убежали за пять лет перед тем; тех же, которые удалились с места жительства ранее, оставить

на новых местах свободно. Из этого заключают, что за пять лет перед тем должна была последовать важная перемена относительно перехода крестьян. 2) Указ царя Василия Шуйского, в котором говорится, что царь Феодор, по наговору Бориса, *выход крестьянам заказал*. 3) Указы 1601 и 1602 годов, которыми позволялось одного рода владельцам отпускать от себя и принимать крестьян, владельцам другого рода запрещалось. Из этого видели, что в то время закон Судебника, предоставлявший общее право перехода повсеместно, потерял свою силу и что в предыдущие годы последовало его отменение. 4) Приговор боярский 1605 г., который, относясь собственно до беглых, в главных чертах сообразен с указом 1597 и вообще может считаться только второстепенным источником, служащим для подтверждения главных.

Г. Погодин находит, что указ 1597 года не относится к запрещению крестьянского выхода, что слова указа назначают только крайний срок, после которого помещики не могут отыскивать своих крестьян. "Это указ о беглых" — говорит исследователь — "подобный многим прежним, старшим и младшим, указ, беспрестанно возобновлявшийся (как при Иоаннах, так и при Романовых) и не имеющий никакого отношения к крепостному праву". Первый, показавший ученым дорогу выводить из этого указа существование прежнего о воспрещении перехода,был Татищев, столь заклейменный подозрениями в подлогах и произвольных заключениях; за ним то же повторил Карамзин и, основываясь на словах "до нынешняго 106 года за пять лет", изрек такой исторический приговор: "следовательно тогда, в 1592 и 1593 г., был запрещен переход крестьян".

Указ царя Василия Шуйского в 1607 г. говорит ясно и прямо: "при царе Иоанне Васильевиче крестьяне выход имели вольный, а царь Феодор Иоаннович, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал и у кого колико крестьян было, книги учинил, и после от того начались многия вражды, крамолы и тяжи. Царь Борис, видя в народе волнение велие, те книги отставил и переход крестьянам дал, да не совсем, что судьи не знали, как потому суд вершити, и ныне виликия в том учинилися распри и насилия и многим разорения и убивства смертныя и многие разбои и по путем грабления соделашася и содеваются".

В начале, как легко видеть из этого отрывка, можно заключить, как и заключает г. Погодин, что правительство, издавшее этот указ, не оправдывало меры укрепления крестьян, внушенной царю Феодору Борисом. Но, вместо того, чтоб отменить такое зло, в том же указе излагаются далее правила строжай-

шего укрепления крестьян: "которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет, в книгах 101 г., положены и тем быти за теми, за кем писаны, а буде те крестьяне пошли за кого иного и в том есть крестьян тех или на тех, кто их держит, челобитье и те дела не вершены, или кто сентября по 1 число сего года будет бить челом, и тех крестьян отдавати по тем книгам со всеми животы их тем, за кем они писаны до сроку Рождества Христова 116 г. без пожилаго, а не отдаст кто на тот срок, ино на том брати за прием и за пожилое по сему уложению. А не было о которых крестьянах челобитья по сей день и сентября по 1 не будет, и тех после срока по тем книгам не отдавати, а написати их в книги, за кем они ныне живут, и впредь, за пятнадцать лет о крестьянах суда не давати и крестьян не вывозити. А буде которые отныне из-за кого вышед перейдут к иному кому бы то ни было и тот примет против сего нашего уложения, и у того крестьянина взяв перевезти ему со всеми того крестьянина пожитки откуда он перебежал".

Кроме этого противоречия, г. Погодин находит в указе Шуйского еще другое противоречие историческим обстоятельствам того времени. В указе говорится, что крестьяне должны оставаться за помещиками, за которыми были назад тому пятнадцать лет, то есть в 7101 г., или от Р. Хр. 1592. Но указ 1601 (7110) показывает, что в этот пятнадцатилетний промежуток времени торжественно бывал разрешаем переход крестьянам, и притом в боярском приговоре 1605 г. сказано, что бежавших в 110, 111, 112 г., по причине сильного голода, тогда свирепствовавшего, следует оставлять на новых местах их поселений, если они докажут, что убежали по причине голода. Спрашивается - говорит г. Погодин — каким образом перешедшие тогда по закону могли быть возвращаемы? и как может быть подобное противоречие в официальных бумагах, столь между собой близких? В подтверждение своего сомнения в подлинности указа, приписываемого царю Шуйскому, г. Погодин приводит подобное сомнение, высказанное Карамзиным: "Признаюсь, что сей указ Шуйского, даже и Феодоров, о крестьянах кажется мне сомнительным, по слогу и выражениям, необыкновенным в бумагах того времени: оставляю будущим разыскателям древностей решить вопрос об истине или подлоге татищевского списка: пусть найдут другой! Татищев говорит, что он списал законы Феодоровы и Борисовы с манускрипта Бартеневского, Голицынского и Волынского, а закон царя Василия Ивановича Шуйского получил от казанского губернатора, кн. Сергия Голицына".

Указ 1601 года также имел несчастье сделаться известным ученому миру от Татищева, но его спасает от участи указа Шуй-

ского, во-первых, то, что о нем упоминается в указе 1602, и, во-вторых, существование другого списка в одном из сборников погодинских. Об этом указе г. Погодин замечает, что он состоит из трех частей: 1) одним помещикам (малоземельным) позволяется возить крестьян между собой; 2) другим знатным, большим, не позволяется; 3) наконец, еще *каким-то*, о которых сказано, что им 110 г. "промеж собою срок возити", позволяется только под условием следующего ограничения: "И тем по государеву цареву указу возити одному человеку из-за одного человека одного крестьянина или двух, а трех или четырех одному из-за одного никому не возити".

Автор исследования находит, что вообще этот указ относится не к крестьянам, а к помещикам; одни помещики противопоставляются другим: одни получают право возить промеж себя крестьян, а другие не получают его; крестьяне и в том и в другом случае в стороне. Если б, замечает г. Погодин, сказано было теперь, что военные могут приобретать крестьян, а гражданские чиновники нет, то разве мы увидели бы в таком позволении распоряжение в пользу крестьян? Задавая себе вопрос: какое положение дела предполагает этот *помещичий* указ? что перед ним было: запрещение или дозволение? г. Погодин предполагает вероятнее запрещение, но не общее, не постоянное, а временное, только для одного года, и это, по его мнению, подтверждается указом следующего 1602 г. Таким образом, г. Погодин, допуская предположение, что подобные распоряжения о переходе и непереходе крестьян делались ежегодно, выводит, что "общаго закона, как запретительнаго, равно как и позволительнаго, о переходе крестьян при Борисе, кольми паче при Феодоре, еще не было, а бывали ограничения в частности, по времени и месту, по обстоятельствам, разныя позволения и разныя запрещения". "Что не было общего запрещения — рассуждает далее исследователь — то подтверждается непреоборимо еще следующим постановлением или выражением этого указа: "которым людям срок возити"; из этих слов ясно видно, что были еще условия порядные, по которым крестьяне жили; если б они были окончательно прикреплены к земле, то ни о каких сроках толковать было бы неуместно: все сроки были бы уничтожены запрещением".

Указ 1602 года г. Погодин называет самым важным в этом деле; действительно, найденный в Софийской библиотеке г. Строевым, напечатанный в Актах, издаваемых Археографической Комиссией, этот указ не может подвергаться подозрению, которым гг. ученые подвергают акты, на которые указывал Татищев: на этот раз сам Татищев очищается от своего пятна, потому что, как выше сказано, указ 1602 г. доказывает подлин-

ность существования указа 1601 года. Этот указ есть вообще подтверждение прошлогоднего, но для 1602 года с некоторыми, однако, изменениями, о которых скажем ниже. Г. Погодин видит в нем новое разительное доказательство, что запрещения переходить, "что прикрепления крестьян к земле тогда еще не было" и что "вообще, рассматривая этот указ 1602 года, должно заключить, что распоряжения о переходе и непереходе крестьян делались ежегодно".

Основываясь на таком взгляде на современные акты, служившие до сих пор доказательствами мнения, что крепостное право введено при царе Феодоре "по наущению Бориса", г. Погодин хочет очистить Бориса от нарекания и допускает, что Борис не более как временно, по случаю голода, оставил крестьян безвыходно у богатых владельцев, которые имели средства прокормить их в тяжелое время, и дозволил переход по-прежнему там, где, по незначительности состояния владельцев, не было ручательства в обеспечении крестьян. Что же касается до указа Василия Шуйского, где прямо говорится об укреплении, то г. Погодин, сомневаясь, как выше сказано, в его подлинности, готов заподозрить в вымысле его Татищева, но более склоняется к такому мнению, что этот указ принадлежит к сонму подложных указов, выдуманных дьяками в XVII веке из потачки распространившемуся между помещиками желанию узаконить для себя крепостное состояние крестьян. Воспользовавшись, говорит он, временными распоряжениями, помещики пожелали увековечить временную меру, удержать за собой навсегда прежних крестьян по праву. Тогда-то явились, благодаря какому-нибудь дьяку, заинтересованному в деле, и боярину, его патрону, узаконение и освящение желанного права и эти подложные указы и двусмысленные фразы в подлинных указах (если не сам Татищев, — прости, тень почтенная, — их вставил для исполнения какой-нибудь любимой своей мысли). С больной головы да на здоровую и вся вина взвалена была на Бориса людьми, которые, продолжая пользоваться крестьянами с землей, якобы в силу его запрещения, не думали его уничтожить, а ставили даже избранному Владиславу непременным условием запрещение крестьянского перехода. Сочинить или подправить и распространить подложный указ в то время не значило ничего. Кому же и как было обнаружить обман и подлог? Ни в каком приказе не было настольного реестра, не было реестров входящих и исходящих бумаг; справиться было негде, особенно среди смут. В Уложение не попал уже закон Судебника об отказе крестьянском, потому ли, что обычай этот изменился сам собой, потому ли, что заправлявшие делами бояре и редакторы уступали господствующему образу мыслей.

При этом г. Погодин, для сравнения, указывает, по свидетельству Маколея, на подобное образование многих институций в Англии, возникших не по какому-нибудь законодательному акту, а по стечению обстоятельств и потребностей народной жизни.

Приступая к рассмотрению исследования г. Погодина, прежде всего нужно сказать, что вопрос, которым озаглавил г. Погодин свою статью и который мы, подобно ему, приняли заглавием нашего замечания на его исследование, вопрос: должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостного права? справедливость требует разрешить, согласно с г. Погодиным, в пользу Бориса отрицательным ответом: нет. Крепостное право в русской истории следует принимать в двух значениях: в обширном и более тесном. В обширном — в круг его входит всякое стеснение свободной деятельности человека в общественной и семейной жизни произволом сильного над слабым; в таком смысле крепостному праву подлежал и купец, у которого лучшие товары оценивали и брали в царскую казну, и посадский, или крестьянин, которого секли за то, что не хотел говорить три раза аллилуйа вместо двух раз. В более тесном смысле крепостное право обнимает произвол владельца земли над земледельцем, заимодавца над должником, произвол, который выработался в привилегию одного сословия держать в рабстве другое. Минуя крепостное право в обширном смысле, мы остановимся на последнем. Право перехода в срок юрьева дня не дает нам повода воображать себе какого-нибудь правильного развития гражданской свободы крестьянина до воспрещения этого перехода. Крепостное право, в смысле произвола землевладельцев в сношениях с земледельцами, существовало и прежде, и мы по чистой совести скажем с г. Погодиным: с больной головы да на здоровую, и вся вина взвалена на бедного Бориса теми, которые готовы обвинять его одного! В грамотах того времени, когда был дозволен переход, землевладельцам в законной форме давался совершенный произвол над повинностями крестьян, в роде следующих выражений: "и вы-б того Посниковскаго поместья Спячего все крестьяне Шестого Лупахина чтили и слушали во всем, и пашню на него пахали, и оброк ему денежный платили, чем он вас изоброчит, а он вас ведает и судит во всем по сей нашей грамоте (в грамоте же нет никаких правил и ограничений о том, как ему ведать и судить)". Из иностранных известий, относящихся до того времени, когда еще существовал переход или только что прекращался, не видно, чтоб русский крестьянин жил, как говорится, в аркадии. Где господствовал произвол сверху донизу, где личное достоинство человека ценилось только по отношению к вы-

сшему человеку, — там слабый непременно должен быть в рабстве у сильного, так или иначе стоят они между собой. Не только многое, но все, что составляет сущность крепостного права для селянина, все, кроме прекращения ограниченного права перехода, было и до Бориса, как после Бориса, так же точно, как в наше время, после уничтожения крепостного права на бумаге, оно долго еще будет на деле, если останется что-нибудь из его атрибутов, если по-прежнему будут процветать понятия и условия общественного порядка, совместные с ним. Поэтому Бориса так же мало можно порицать за введение крепостного права, как и восхвалять в наше время многих, думающих, что они уничтожат его одним разом на деле.

Скажем еще более: воспрещение Борисом перехода могло даже улучшить быт некоторых крестьян того времени, в сравнении с прежним их положением при переходе. Как в наше время еще не скоро уничтожится произвол, составляющий сущность крепостного права, так и Борис не произвел этого произвола: он существовал до Бориса, как, вероятно, будет существовать и после нашей эпохи.

Таким образом, не о введении крепостного права должна идти речь, когда призывается на исторический суд тень Бориса, а просто о прекращении перехода крестьян в юрьев день. Нельзя не признать всей истины следующего выражения г. Погодина: "Самый юрьев день был, вероятно, уже ступенью в последовательном ограничении большого и безусловнаго перехода; в три недели (одну пред юрьевым днем осенью, другую после него) далеко не уйдешь!" Но действительно ли сделано Борисом, при царе Феодоре, распоряжение, которое, прекращая и юрьев день, послужило началом правила, что земледелец, живущий на земле владельца, не мог уже переходить от него ни при каких условиях.

Сам г. Погодин не отрицает этого; он не только относит эту меру к позднейшему времени, около 1601 и 1602 годов, когда уже есть явные доказательства воспрещения перехода, но допускает, что подобные запрещения существовали и в предыдущие годы, только полагает, что это была мера временная, которую впоследствии богатые помещики увековечили для себя, употребляя для того и подлоги.

Допустим, вместе с почтенным исследователем, что указ Василия Шуйского сподложен. Впрочем, правду сказать, те недостатки, которые некогда соблазняли Карамзина и теперь побуждают г. Погодина искать в нем подлога, еще не дают полного права отрицать его подлинность. Г. Погодина смущает противоречие в нем, ибо, по мнению г. Погодина, "в оффициальном правительственном акте такого противоречия быть не может и ни одного примера,

ни из котораго времени во всей старой администрации нашей, отличавшейся толковитостью, привести нельзя".

Странно, что такой глубокий знаток нашей старины, как г. Погодин находит толковитость отличительным качеством нашей администрации и делопроизводства. Не говоря уже о неясностях и неточностях вроде, например, таких мест, где идет речь о предоставлении или ограничении какого-нибудь права, и лица, пользующиеся таким правом, или лета, на которые это право дается, означаются не одним определенным числом, а несколькими числами разом; не говоря о таких описях городов, где, например, поставлено общее число восемь башен, а далее пересчитывается только шесть (Врем. XIV, см. 16-17). Много можно привести деловых бумаг, где в одной и той же явные противоречия, уничтожающие друг друга; например: в уставной грамоте о кружечных дворах 1652 года прежде сказано, чтоб питухи не пили на кружечных дворах, а ниже, в той же самой грамоте, говорится, чтоб на кружечном дворе питухи пили смирно и тихо. В той же грамоте говорится, чтоб вина не давать под залог вещей, а ниже потом в заклад принимать не дозволено только церковных вещей, и татиной, и разбойной рухляди (А.А.Э. IV, 96). В 1621 году в указе о судопроизводстве в Касимове сначала говорится, что касимовскому царю Араслану посадских людей и татар ведати и судити, а воеводам их не судити, а ниже говорится: "указали князей, мурз и татар царева двора и Сеитова полку судить Касимовскому воеводе" (С.г. гр. III, 234). В грамоте царя Ивана Васильевича монастырю на Ладоге сказано, что митрополит игумена, черпцов и священников и всего причту церковного и слуг монастырских не судит ни в чем, а ниже говорится, что судит мой богомолец митрополит Новгородский (А.А.Э. III, 157). Такие недоумения и противоречия встречаются даже в Судебнике. Темным представляется следующее место: "А убиют котораго крестьянина на поле в разбое или в ином котором в лихом деле, и дадут того крестьянина за государя его, за кем живет, или выручит его государь тот, за кем живет, и пойдет тот крестьянин из-за него вон, ино его выпустити". Тогда как в Актах Исторических, где напечатан Судебник Грозного, внизу указывается по другому списку, вместо слова "убиют", слово "уловят". В таком случае можем и мы сказать, что список указа Шуйского попался Татищеву подобный тому, как список Судебника со словом "убиют". А разве не противоречие это: в отрывках о деле еретика Матвея Башкина, где этот еретик признается отвергающим покаяние (А.А.Э. I, 250), приводится и показание попа Симеона, который говорит, что этот Башкин приходил к нему *с великими*

клятвами и молением умолил себя принять на исповедь в великий пост (А.А.Э. I, 249).

Как же согласить такое противоречие: еретик отвергает таинство покаяния и приходит к священнику исповедоваться, да еще с великими клятвами и молением? Из одного противоречия в тех же отрывках следует и другое, и третье. Башкин осуждается как богопротивный и лукавый еретик, глаголавший хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, называвший честное и святое тело Господа нашего Иисуса Христа простым хлебом и вином, отвергающий Церковь и все ее предания и признающий даже все божественное писание баснословием (А.А.Э. I, 250). Если таков был в самом деле Башкин, то спрашивается: зачем он приходил на исповедь и говорил: "Христианин-де есмь, верую во Отца и Сына и Святаго Духа и покланяюся образу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и пречистой Богородицы и великим чудотворцем, и всем святым на иконе написанным; а тогда — говорит священник — великими клятвами и молениями умолил на исповедь приняти, и я его принял (А.А.Э. I, 248). Вот, если б Башкин пойман был и заподозрен в еретических мнениях, да говорил так, чтоб укрыть свою вину, это было бы понятно; но для чего этот человек обратился к религии, которую отвергал, и к священнику, которого значения не признавал, и притом выражался с ним таким образом: "Бога ради, ползуй мя душевне, надобеть де что написано в Беседах тех честь, да на слово не надеятись, быти-б и делом свершитися; да все-де начало от вас, прежде вам священником собою начало показати да и нас научити (А.Э. I, 248 и д.)". Как согласить слова, сказанные им священнику на исповеди с глазу на глаз, с обвинением, постигшим его?

Но не станем более утомлять читателей выписками из наших старых официальных бумаг в доказательство того, что в них можно встретить и противоречия, и бессмыслицы. Г. Погодин, находя, что наше старое делопроизводство отличается толковитостью, далее, в своем исследовании, встретился с неясностью выражений в указе 1601 года и не знает, куда деть тех, "которым срок возити", хотя и не отвергает существования указа 1601 года. Это темное место не дается, как видно, и самому Карамзину, на авторитет которого ссылается везде г. Погодин. Наконец, в подтверждение возможности подлогов, г. Погодин говорит, будто в старину ни в каком приказе не было настольного реестра, не было реестра входящих и исходящих бумаг, — справиться было негде. Как же согласить такую безалаберщину, способствующую подлогам, самому большому злу, какое может быть в сфере делопроизводства, с высоким мнением о толкови-

тости этого делопроизводства и администрации? Не кажется ли, что в исследовании защищается толковитость нашей администрации и делопроизводства, когда эта толковитость нужна для подкрепления любимой мысли, и, через несколько страниц, когда для подкрепления той же мысли нужно, чтоб эта администрация и делопроизводство были бестолковы, они обвиняются в такой беспорядочности, какой даже и не было на самом деле. У нас, в старину, были настольные реестры, это — описи дел, которые во всех наказах воеводам приказывается принимать от прежних воевод вместе с самыми делами; у нас были и книги исходящих бумаг, это — перечни, где записывалось, что такая-то грамота или память отослана такого-то числа, туда-то (Доп. к А.И., V, 247). Следовательно: 1) Противоречие в указе Шуйского не есть такая исключительность, какой нельзя найти в других официальных бумагах того времени и по которой можно заключать о неподлинности акта. 2) Подлоги составлять дьякам вовсе не так было легко на тех основаниях, какие привел г. Погодин. Да, наконец, почему же именно от подлога, сделанного, как предполагает г. Погодин, каким-нибудь дьяком в XVII веке, можно ожидать скорее противоречий и бестолковщины, чем от подлинной бумаги того же времени? Нам даже кажется наоборот. Противоречие и бессмыслица в официальном акте может происходить всего скорее от небрежения и от неуменья выражаться. А кто составляет подлог, тот должен быть особенно осторожен на этот раз; тот старается, чтоб его подлог, сколько возможно, казался подлинником. В особенности трудно бы ожидать промахов в подлогах, касающихся такого дела! Если тот, кто его составлял, был орудием сильной партии, желавшей обратить в свою пользу государственное учреждение, то уж, вероятно, такая партия поручила бы подобное дело человеку искусному и смышленому; и этот искусный и смышленый человек, имея в виду определенную цель, должен был стараться, чтоб эта цель бросалась каждому ясно в глаза и уж никак не мог допускать двусмысленностей. И для чего было дьяку, составлявшему подложный указ с целью узаконить и увековечить крепостное право, отзываться в начале неблагоприятно о Борисе, которого действия он, напротив, должен был одобрять? Равным образом, отчего же дьяк в подлоге мог наделать ошибок против обычных деловых форм того времени и языка и вообще внешности указа, когда этому дьяку, без сомнения, были известны все мелочные формы и все, касавшееся внешности официальных бумаг, — дьяку, который сам составлял и официальные бумаги. Если дьяк мог принять несвойственный обычному порядку тон в подлоге, то он мог таким же тоном написать и подлинный указ.

Никто из самых глубоких знатоков нашей старины и даже сам г. Погодин, за которым признаем в ряду их почетное место первенства, не в силах, единственно по внешности слога и выражений, отличить подложную бумагу, составленную дьяком XVII в., от подлинной официальной того же времени. Если в наше время показать две бумаги, составленные, положим, в — ом губернском правлении: одна из них подлинная, другая подложная, сочиненная секретарем того же правления, — есть ли возможность, единственно на основании слога, отличить одну от другой, когда и подлинная была составлена тем же секретарем, который написал подложную?

Видимая бессмыслица и противоречие между предшествующей и последующей речью в указе Шуйского не так еще ужасны и необъясными, как кажется с первого взгляда.

Указ состоит из двух частей: доклада и постановления. В докладе действительно говорится неблагосклонно о Борисе и о его запрещении перехода; в постановлении же крестьяне прикрепляются к месту жительства, следовательно: делается то же, за что в докладе порицается Борис. Что же? Докладчик мог в самом деле быть иного мнения, то есть: в пользу перехода, и изложил, — даже, быть может, возбудил, — вопрос, думая, что его разрешат так, как ему хотелось; но приговор последовал в ином смысле. Вникнем в дальнейший смысл доклада. Для чего он подается? Какая причина побуждает к этому? Причина эта высказывается в конце доклада: "и ныне великия в том учинились распри и насилия и многия разорения и убивства смертныя и многие разбои и по путем грабления содеяшеся и сдеваются". Таким образом сущность дела состоит в том, что начальствующие Поместной избой, заметив беспорядки, представили о них государю с объяснением причин, дав этому объяснению тон, соответствовавший их собственному взгляду. Собор и синклит, то есть духовные и светские сановники, не разделяли этого взгляда: не удивительно, когда для них было выгодно удерживать крестьян, и притом тут были те, которые и при избрании Владислава становили ему в условие, чтоб в его царствование не было крестьянского выхода. Составилось постановление. Но доклад остался, как был. Тогда не гонялись ни за соразмерностью и соответственностью частей в официальном акте, ни за ясностью и точностью выражений, ни за отделкой редакции: тогда не думали, что для потомства указ их станет непонятен и будет заключать видимые противоречия; для современников этих противоречий в нем не было, да и без сомнения для сведения рассылались грамоты и памяти, в которых не было доклада; Татищеву, на беду его, достался список с докладом.

"Закон Шуйскаго, по словам изследователя, заключает еще и другое противоречие; в нем говорится, что крестьяне должны оставаться за теми помещиками, за которыми положены за 15 лет, то-есть в 7101 году. Те, которые ушли с 7101 года, следовательно, в 7102,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, и оглашены, те должны быть возвращаемы прежним помещикам. Но в указе 1601 года (7110) позволено было переходить. Спрашивается: каким же образом перешедшие тогда по закону могут быть теперь возвращаемы?"

"В 1602 (7111) был еще общий переход, торжественно разрешенный. В боярском приговоре 1605 года именно сказано, что бежавшие в 110,111,112 годах могут оставаться на новых местах, если докажут необходимость бегства". Спрашивается: как может быть подобное противоречие в официальных актах, столь близких?"

Дело объясняется как нельзя проще. Здесь не только нет противоречия, но даже и той неточности выражений, которая так нередко заставляет задумываться при чтении старых актов. Сила указов 1601 и 1602 года не уничтожилась новым постановлением; в нем говорится:

"Которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 101 г. положены и тем быти за теми, за кем писаны, а буде те крестьяне вышли за кого иного, и в том есть на крестьян тех или на тех, кто их держит, челобитье, и те дела не вершены, или кто сентября по 1-е число сего года будет бить челом, и тех крестьян отдавати по тем книгам со всеми животы их за кем они писаны до сроку Рождества Христова 116 без пожилаго; а не отдаст кто на тот срок, ино на том брати за прием и пожилое по сему уложению. А не было о которых крестьянах челобитья по сей день и сентября по 1-е не будет, и тех, после того срока, по тем книгам не отдавати, а написати их в книги за кем они ныне живут".

Значение указов 1601 и 1602 годов могло сохраниться и после этих строк. Здесь пределом времени, с которого крестьяне могут считаться принадлежащими помещику, полагается 1592 год (именно тот год, в который, как думают, был издан первый указ, воспрещающий переход в юрьев день). Следовательно, только с этого времени могли встречаться случаи, дававшие право помещику, руководствуясь указом Василия Шуйского, требовать возврата жившего у него крестьянина. Но в течение этого пятнадцатилетнего периода были указы, позволявшие крестьянам переходить от некоторых владельцев; само собой разумеется, что владельцы, у которых крестьяне могли переходить, теперь и не имели права требовать их возврата, коль скоро крестьяне

вышли от них на основании дарованного им в свое время позволения. Постановление при Шуйском не предоставляет им такого права. Оно дозволяет всем подавать челобитные, назначает для этого срок и приказывает рассматривать те челобитные, которые уже поданы прежде по этому предмету. Отдавать крестьян можно только вследствие челобитных и по справке с книгами, в которых будет значиться, что они записаны за челобитчиками. При таких условиях, если б и случилось, что помещик начал требовать возвращения крестьянина, который у него сошел в 1601 и 1602 годах законным образом, то в Поместной избе ему бы указали, что его крестьянин сошел с него правильно и, следовательно, он не имеет на него права, точно так же, как признали бы это право за тем из помещиков, который подал челобитную о крестьянине, сошедшем от него несообразно с позволением в 1601 и 1602 годах. Если в указе есть неточность, то для нашего века, а не для современников; для них тут не было ни неясности, ни противоречия. И теперь в законодательстве встречается и будет всегда встречаться множество случаев, которые с первого взгляда совершенно подходят под известную статью закона, но в самом деле не подлежат ей, потому что какое-нибудь обстоятельство, означенное в иной статье, делает для этих случаев изъятие.

Что же касается до приговора 1605 года, то противоречит ли ему постановление Шуйского или не противоречит (кажется, последнее) — мы не станем разбирать этого; нет никакого сомнения, что этого приговора при Шуйском не имели в виду. Расстрига не считался царем, и все постановления его царствования не сохранили действительности для последующего времени, и в грамотах государей, подтверждавших распоряжения предшественников, нигде не подтверждается какое-нибудь постановление государя, считавшегося лжецарем. Относительно же внешности и слога этого указа выше была высказана совершенная невозможность отыскать в нем подлог, составленный дьяком в XVII веке. Но г. Погодин не останавливается только на этом подозрении, он склоняется также к другому: что, быть может, подлог этот образовался позже, иначе — Татищевым. Желательно, чтоб были указаны те основания, по которым мы должны искать в слоге этого указа несообразностей с принятыми в XVII в. приемами и формами, хотя это одно будет противоречить первому подозрению на дьяков XVII века. Г. Погодин указывает на выражение: "с своим царским сигклитом" и, следуя Карамзину, отмечает его курсивной печатью. Значит — оно в числе несообразных ни с духом времени, ни с языком грамот. Но точно такое же выражение и притом с таким же построением

речи в другом современном акте, именно: приговор 1604 года о высылке на службу против самозванца патриарших, митрополичьих, архиерейских и монастырских слуг: "царь и великий князь Борис Федорович с отцем своим святейшим Иовом, патриархом всея Русии, и с сыном своим, благородным царевичем, князем Федором, со всем священным собором, с митрополиты, и архиепископы, и архимандриты, и игумены, и со всем своим царским сигклитом" (С.г. гр. II. 164). Исследователь поставил один вопросительный и один восклицательный знак вслед за выражением: "сего ради приговорили есми и уложили по святым вселенским соборам и по правилам св. отец". Конечно, эти знаки поставлены здесь не ради странности мудрецов XVII века ссылаться на соборы и правила св. отец в делах мирских, не имеющих прямого отношения к церковной администрации и быту. Эти знаки указывают на несообразность выражения с принятыми в XVII в. приемами. Но при составлении Уложения при царе Алексее Михайловиче, точно также велено было принимать во внимание правила соборов и св. отец (С.г. гр. III, 438). Это единственно подтверждает всем давно известное обстоятельство, что в старой Руси думали все освящать согласием с Церковью. Пока не укажут и не докажут: в чем именно слог указа обличает подлог — едва ли можно на всех этих основаниях подозревать в указе царя Василия Шуйского такое дурное качество; да, наконец, если б в нем точно нашлось какое-нибудь сомнительное выражение, то почему же приписывать его именно подлогу, а не ошибкам переписчиков, когда самый указ известен только по спискам? Неужели признавать его подложным единственно на основании недоверия к Татищеву? Но ведь самые ярые враги Татищева должны сознаться, что если Татищев, по их мнению, лжет, то все-таки иногда и правду скажет. По крайней мере сам г. Погодин убежден в том, признавая, что указа 1601 г. г. Татищев не выдумал. Отчего же указ Василия Шуйского выдуман?

Итак, нельзя признать оснований, приведенных г. Погодиным, достаточными, чтоб отвергать подлинность указа Шуйского; но не станем однако и опираться на него, из уважения к авторитету г. Погодина, в надежде, что он представит более очевидные доказательства его неподлинности. Быть может, и тех актов, в подлинности которых г. Погодин не сомневается, будет довольно, чтоб предпочесть старое мнение новому, высказанному почтенным исследователем в "Русской Беседе".

В указе 1597 года постановлено давать суд и сыскивать крепко, и по суду отдавать беглых крестьян с женами и детьми тем помещикам и вотчинникам, за которыми они жили пять лет тому назад. Г. Погодин находит, что этот указ не говорит о переходе

крестьян в юрьев день, а касается только беглых, что он подобен многим старшим и младшим указам о беглых с назначением, для права на их водворение в прежних местах, срочных лет со дня побега. Действительно, таких указов впоследствии было много; но г. Погодин говорит, что такие указы существовали и прежде, *при Иоаннах*. Жаль, очень жаль, что г. Погодин не привел ни одного из известных ему в этом роде. Кажется, до сих пор ни один не известен, а это самое и заставляет многих искать чего-то в 1592 году. Вот, если бы в исследовании в самом деле приведен был такой указ и притом именно с назначением срочных лет, — тогда иное дело; тогда указ 1597 года не мог бы сам по себе служить исходным источником общепринятого мнения. Но в исследовании, в доказательство существования таких указов "при Иоаннах", не приведено ничего, кроме одного места из первой Новгородской летописи, — места, относящегося к времени гораздо древнейшему: "прииде князь Михаил из Чернигова в Новгород и вда свободу смердом на пять лет даней не платити, кто сбежал на чюжю землю, а сим повеле, кто зде живет, како уставили переднии князи, тако платите дань". Это свидетельствует не за г. Погодина, а против него. Здесь не преследуются беглые, а напротив, покровительствуются; беглым даются льготы, которых лишены те, которые сидят на одном месте и не бегают. Пока г. Погодин не отыщет или не укажет миру указа, подобного указу 1597 года, изданного при Иоаннах, как он говорит, до тех пор мнение Татищева и Карамзина, находивших, что за пять лет перед 1597 годом надобно искать запрещения перехода, имеет полное основание, и неудивительно, что все почти ученые разделяют это мнение, повторяют его, как говорит г. Погодин, без малейшего рассуждения и оно сделалось исторической аксиомой. Едва ли принимают это мнение без малейшего рассуждения; рассуждают более или менее так: когда указ 1597 г. ставит пределом отыскивания беглых 1592 год, то значит — в 1592 г. что-то произошло. Прежде таких указов, сколько известно, не было. Отчего же возник этот? По Судебнику позволялось крестьянам переходить в юрьев день, а в XVII веке мы положительно знаем, что это постановление в законодательстве не существовало, и бояре, избиравшие Владислава, уже ставили ему в числе условий, чтоб крестьяне не имели права выходить. Когда же это постановление отменилось? Без сомнения, или в конце XVI, или в начале XVII в. Непосредственным следствием такого отменения должно необходимо быть преследование беглых, то есть не покорявшихся этому постановлению, конечно, стеснительному для многих. Действительно, в те времена, когда, как нам известно, в законодательстве уже не существовало по-

становления о юрьеве дне, являются, одни за другим, указы, имеющие целью преследование беглых, с назначением сроков. Но таких указов мы не встречаем в те времена,: когда, как нам известно вполне и достоверно, постановление Судебника было в силе. Следовательно, издание этих указов имеет связь с прекращением перехода. К какому же году относится первый по времени известный нам из этих указов? К 1597-му. К чему приводит нас этот первый указ? К 1592 году, ибо признает крестьян, о которых идет в нем речь, с одними правами после 1592 и с другими перед 1592 годом; следовательно, в 1592 году должно было последовать относительно крестьян важное распоряжение, сделавшееся виной указа 1597 и вслед за ним прочих указов, ему подобных. Но так как: 1) указы о беглых с назначением сроков, в своей постепенной последовательности, идут в законодательстве рядом с прекращением перехода; 2) о переходе в юрьев день нет в законодательстве, вместе с тем как являются в нем в постепенной последовательности указы о беглых с назначением сроков, то это распоряжение в 1592 году должно необходимо касаться перехода в юрьев день и непременно в духе прекращения этого права, а уж никак не расширения. Предположение наше подтверждается указами 1601 и 1602 годов.

Смысл указа 1601 года указывает на запрещение, существовавшее до 1601 года и притом на совершенное запрещение. Слова: *велели крестьянам дати выход*, показывают, что закон вновь дает право, которого перед тем не давалось. Запрещение возить крестьян в имениях значительных владельцев и в Московском уезде стоит после позволения и, очевидно, прибавлено в виде исключения из нового правила, как обязанность оставаться при прежнем порядке. Этого не может отрицать и сам г. Погодин, признавший, что перед этим указом было запрещение, а не позволение.

Г. Погодин, при разборе этих указов, задавая себе вопрос: что было перед указом 1601 г., позволение или запрещение? отвечает: "следует, кажется, предполагать запрещение". Если так, тогда и спорить нечего. К нам является на помощь указ 1597 года и ведет нас прямо к 1592 году. Но г. Погодин находит, что если и было запрещение, то временное, какие, быть может, установлялись каждогодно. По мнению его, "случались обстоятельства, когда правительство находило нужным прерывать этот переход крестьян или ограничивать, может быть, еще прежде Иоаннов, точно так, как при царе Феодоре, Борисе, при Романовых". Но далее г. Погодин оставляет в тени запрещение перед 1601 годом, а выставляет этот указ как бы в значении первого важного ограничения перехода, которое хотя было и временной

мерой, но впоследствии послужило владельцам поводом воспользоваться им для своих выгод и повело к подлогам, узаконившим крепостное право на людей. Правительство, по мнению г. Погодина, приказало в 1601 г., чтоб у значительных помещиков, каковы были бояре и проч., крестьяне оставались безвыходно: правительство имело в виду, что богатые могут прокормить крестьян, а чтоб у мелкопоместных открыть крестьянам средства прокормиться, им разрешено, по истечении срока, перевозить крестьян по взаимному согласию. Это была мера правительства временная; но она понравилась богатым, сильным помещикам, и они пожелали увековечить ее, удержав навсегда за собой прежних крестьян по праву.

Далее и под конец своего сочинения почтенный исследователь решительно противоречит себе, не допуская никаких законодательных ограничений свободы крестьян между установлением юрьева дня и указами по поводу голода, то есть 1601 и 1602 года. "Законы долго молчали — говорит он — и начали ограничивать свободу переходить *сперва* юрьевым днем, во уважение обязанностей, наложенных ими на помещиков, *потом*, вследствие случившихся голодов", и проч. Что в исследовании не разумеются никакие другие распоряжения по этому предмету по поводу голода, кроме упомянутых указов, это доказывают слова, помещенные назад три страницы (на 153): "голодные годы 1601, 1602, 1603 играют здесь, кажется, значительную роль; надо было правительству обезпечить сколько-нибудь народное пропитание". Здесь не упоминается ни о каких других голодных годах, послуживших поводом к ограничению перехода. Таким образом, в одном месте исследования допускаются временные запрещения, существовавшие до 1601 , в другом указы 1601 и 1602 годов выставляются как первые распоряжения о запрещении, вызванные временной необходимостью. Читатель остается в недоумении: какое мнение ученого исследователя об этом вопросе. Существовали ли запрещения до 1601 г. или нет? Если г. Погодин признает, что они существовали, то будем искать последнего из них: когда оно случилось, и указ 1597 года наводит нас прямо на 1592 год. А чтоб увериться, что это ограничение перехода, которое должно было случиться в 1592 году, было не первое и не выходило из колеи обычных мер, совместимых со всеобщим правом перехода в юрьев день, пусть г. Погодин укажет нам те правительственные распоряжения, которые, как он полагает, были еще *прежде Иоаннов*, и, равным образом, пояснит, какие постановления ему известны при царе Феодоре?

Исследователь останавливается над словами: "а которым ныне срок возити" и затрудняется: кого разуметь под этими

которыми. Кажется, тут ларчик просто открывается. Эти *которые*, как видно по ходу речи, те мелкопоместные, которые тогда получили дозволение и которым действительно приходился срок, т.е. юрьев день, ибо указ написан в ноябре. Что касается до слов: *а возити человеку из-за одного человека, одного крестьянина или двух, а трех и четырех одному из-за одного никому не возити*, то едва ли можно успокоиться на мнении г. Лешкова: закон позволяет дворянам не по одному крестьянину перевозить друг от друга, а поровну! берите одного или двух за одного, а не трех и не четырех. Несмотря на некоторую темноту редакции, обыкновенную в то время в нашей администрации, не отличавшейся толковитостью, все-таки не трудно здесь понять, что каждый владелец из имения другого владельца мог брать к себе не более двух крестьян. Законодатель имел здесь, как видно, ту цель, чтоб не допустить некоторых богатых помещиков, владеющих большим количеством земли и предоставлявших крестьянам льготы, переманивать к себе крестьян от небогатых соседей до того, что у этих соседей не осталось бы одного человека, и чтоб последние, лишенные рук, не впали в нищету и невозможность отправлять государственную службу, лежавшую на сословии помещиков. При ограничении же, какое сделано в законе, богатый помещик не мог взять у небогатого более двух человек и, следовательно, лишен был возможности переманить к себе всех его крестьян. Но это не значит, чтоб крестьяне не имели юридической возможности оставлять своего владельца; они могли все уйти от него, только не в одно имение. Естественно, что разойтись в разные стороны крестьянам было труднее, чем уйти всем в одно новое место. Эта оговорка в указе знакомит нас вообще с целью, которую, при прекращении перехода, имело правительство. Оно хотело обеспечить для себя государственную службу помещиков и платеж повинностей, а это требовало необходимой твердой оседлости земледельческого класса. Не трудно понять, почему у богатых и сильных мира сего переход остался запрещенным: царь Борис нуждался для недавнего своего царствования и своей юной династии в этой опоре, и вероятно, при Феодоре, приготовляя себе престол, заранее устраивал свои дела на этот счет.

Указ 1602 года есть отчасти повторение предыдущего, но с некоторыми изъятиями. В нем уже нет ограничения перехода числом крестьян, которых можно было одному помещику вывозить из имения другого. В исчислении родов помещиков, у которых в имениях крестьянам дозволяется переход, есть некоторые перемены, и именно: в указе 1601 года позволяется возить крестьян "дворянам, которые служат из выбора, и жильцам, кото-

рые у государя царя и великаго князя Бориса Федоровича, и которые у государя царевича Федора Борисовича, и детям боярским, дворовым и городовым приказчикам, всех же городов, иноземцем всяким и большого двора дворовым людям всех чинов, степенным и путным ключникам, стряпчим, сытником и подключником, конюшеннаго приказа столповым приказчиком... и стряпчим, ловчего пути корытником, охотником и конным псарем, сокольнича пути кречетником, сокольником, ястребинником, трубником и сурначеем и государыни царицы Марии Григорьевны всея Русии детем боярским и всех приказов предним подьячим, стрелецкаго приказа сотником стрелецким и головам казачьим, посольскаго приказа переводчиком и толмачем, патриаршим и митрополичим и архиепископьим приказным людем и детем боярским промеж себя". В указе же 1602 г. говорится: "Указали есмя всего нашего московскаго царства детям боярским и иноземцем всяким и жильцом нашим и сына нашего царевича князя Федора Борисовича Всеа Русии жилцом же и нашим дворовым людем всех чинов и конюхом, и охотником, и псарем, и кречетником, и соколником, и ястребником, и трубником, и детям боярским нашея царицы и великия княгини Марии Григорьевны всеа Русии и всех приказов подьячим промеж себя крестьян отказывати". В последнем дозволяется возить крестьян детям боярским, а о дворянах не говорится, хотя ниже того, в числе помещиков, у которых выход воспрещен, показаны только *большие* дворяне, следовательно, можно предположить, что у *малых* был он позволен. Нет также детей боярских патриарших, митрополичьих, архиепископьих. Если допустить, что этого рода детей боярских следует считать в общем числе детей боярских всего Московского царства, то против такого толкования можно выразить, что царицыны дети боярские поименованы особо и, вероятно, были б поименованы и эти, если б право выхода крестьянского распространялось на их имения. Можно толковать так и иначе. Это новый образчик толковитости нашей администрации.

Сверх этих отличий, в указе 1602 г. от указа, изданного в предшествовавшем году, московский уезд не подпадает уже изъятию от права крестьянского выхода, как в указе 1601 года. Указ 1602 года выразительно говорит о способе переходов крестьянских в виде нравоучения для тех, у которых они жили. "А из-за которых людей учнут крестьян отказывати, и те-б люди крестьян из-за себя выпускали со всеми их животы безо всякия зацепки и во крестьянской бы возке промеж всех людей боев и грабежей не было, и силно бы дети боярския крестьян за собою не держали и продаж им ни которых не делали, а кто учнет

крестьян грабити и из-за себя не выпускати, и тем от нас быти в великой опале, одноличноб есте берегли того накрепко, чтоб во крестьянском отказе и в вывозке ни у кого ни с кем зацепок и задоров и боев не было". Место это чрезвычайно важно для нас. Оно показывает, что общее желание помещиков было закрепить крестьян и удержать их у себя. Не меньше того мы из него видим, что самый переход крестьянский служил крестьянам и к разорению и к большому угнетению. Мнение, приведенное выше, что крепостное право, т.е. лишение полноправности крестьян, существовало и до Бориса, подтверждается этим местом указа 1602 года. Если таковы были юрьевские переходы, то за что же и клеймить Бориса? Располагая богатых владельцев и сильных земли для своих личных целей, в то же время Борис, быть может, хотел избавить народ от печальных картин, какие представляла жизнь этого народа в короткие дни предоставляемой ему раз в год свободы. Отрицая прикрепление крестьян при Борисе, г. Погодин признает, что прежний порядок перемены жительства крестьян существовал в XVII веке, при Михаиле Феодоровиче. Он ссылается на г. Аксакова, который, в III томе "Русской Беседы" за 1858 год, напечатал исследование по поводу вышедшей в свет Писцовой книги времен Михаила Феодоровича, помещенной в издании г. Елагина "Белевская Библиотека". Г. Аксаков находит, что в Писцовой книге о некоторых крестьянах, оставивших места своих жительств, сказано: *сошли, вышли,* в других: *сбежали.* Это, по его мнению, дает право признавать несомненным существование перехода не только de facto, но и de jure. Вместе с тем, г. Аксаков, руководствуясь порядными записями, приходит к такому заключению: "Во времена до укрепления переходившие крестьяне часто рядились на неопределенный срок жить за таким-то, и в случае несоблюдения сего условия крестьянин возвращал подмогу или платил пеню. После укрепления, в таком точно случае, тот, за кого рядился крестьянин, кроме денежной пени или вместо нея, мог требовать назад самого крестьянина и заставить его работать на себя столько времени, сколько в рядной написано. Но это вошло не вдруг: сперва в рядных, после укрепления на неопределенный срок или на всю жизнь, видим мы, что то же полагается в случае, если крестьянин будет рядиться на стороне, выйдет за другого — денежное взыскание, потом в таких рядных дается право взять силою крестьянина отовсюду, куда бы он ни порядился. Итак, беглый крестьянин был крестьянин, неисполнивший условий перехода и ушедший до срока. До укрепления, заплатя пеню, он удерживал свою личную независимость и не был обязан выполнять условий обязаннаго; после укрепления он не мог отступиться от условий и обязан

был выполнить весь договор — жить столько, сколько в записи написано".

Первое мнение, — что переход существовал в XVII веке, г. Аксаков признает несомненным; второе — о значении укрепления, он предлагает как догадку, ибо дело само требует больших исследований.

Посмотрим на несомненное.

Придется, прежде всего, сделать вопрос: точно ли выражение *вышли* имело смысл законного, дозволительного перехода, в отличие от выражения *сбежали*? Г. Аксаков находит, что эти выражения всегда означают различное, и что бежать можно было и при существовании перехода: кто исполнил свои условия в отношении своего владельца и удалялся от него — значит, он *вышел*, или *сошел;* в противном случае он *сбежал*. Но в поручной на крестьянство, приведенной г. Аксаковым в подтверждение своего мнения, поручники отвечают тогда, когда те, за которых они ручаются, "за волость выдут и те свои жеребьи впусте покинут". Здесь слово *выдут*, очевидно, не в смысле законного правильного удаления после исполнения всех условий. Но если мы и допустим, что выражения: *вышли, сошли* употреблялись в смысле, особом от выражения *сбежали*, и тогда это не дает повода признавать несомненным, чтоб в XVII веке существовало для крестьян право сойти от землевладельца, покончив с ним все условия, и сойти так, чтоб землевладелец не имел права его удерживать. А если владелец его уволил? Ведь и в наше время, при существовании крепостного права в том виде, как оно образовалось уже под условием после-петровского периода, владелец имел право уволить своего крестьянина и временно и навсегда, и если б у нас теперь существовали Писцовые книги, то писец, описывая какое-нибудь господское село, не сделал бы ошибки, если б например, написал так: *двор пуст крестьянина Свинорылова, перешол в село Задуваевку*, разумея под этим отпущенного на волю крестьянина, поселившегося в казенном селе; или же: *"двор пуст Василия Недочосова, живет в селе Расползухе дворником у помещика Свистоносова"*, разумевая под этим отпущенного помещиком на оброк и содержащего постоялый двор у соседнего господина; или же: *крестьянин Михайло Пруссенок вышел в 1857 год и живет неизвестно где*, разумея крестьянина, отпущенного на заработки по билету и заплатившего оброк помещику вперед за два года. Из таких известий потомки вывели бы, что в наше время крестьяне по закону имели право от помещиков переходить в казенные крестьяне, к другим помещикам и, наконец, уходить, не давая никому отчета, куда уходят.

А дело между тем было совсем не так: эти крестьяне по

закону не смели и шагу сделать без воли помещика, и только помещик мог их отпускать. Но ведь и указы при Борисе о запрещении выхода не говорят, чтоб те помещики, у которых выход был запрещен, сами лишались права отпускать своих крестьян. Если запрещалось отказывать и возить крестьян, то это следует понимать так, что помещики не могли с крестьянами других помещиков делать взаимные сделки о переходе их к себе без воли тех помещиков, у которых крестьяне живут. Нельзя предположить, чтоб помещик был вне всякой возможности законно избавиться от своего крестьянина, если б захотел этого, когда и самого беглого возвращали ему только тогда, когда он подавал об этом челобитную, и притом со срочными условиями, так что бывали частые случаи, когда помещик терял право на возвращение беглого, если б и нашел его. Ясно, что если помещик мог не искать беглого, не отвечая за это, и напротив, за просрочку наказывался только потерей прав на того, на кого не желал предъявлять свои права, то уж, конечно, мог отпускать своего крестьянина добровольно. Если отпуск на волю холопей и вечных и кабальных не только дозволялся, но считался делом богоугодным, то отчего ж в отношении к крестьянам могло быть изъятие, когда крестьяне de jure были свободнее холопей?

Сверх того, надобно принять во внимание, что, по общественным понятиям тех времен, поселянин в отношении власти был или тяглым, или затяглым. К первым принадлежали хозяева, на которых лежали отбываемые повинности, а к последним сыновья, племянники и вообще родственники и домочадцы, не составлявшие сами по себе единиц, по которым разлагались повинности. Эти затяглые пока не записывались, в свою очередь, в тягло на тягловые жеребьи, были гулящие люди, имевшие право, при более или менее широких условиях, переменять места жительства. Ими-то населялись Сибирь и южные и юго-восточные степи европейской России. У помещиков, так точно как в посадах и в черных волостях, были тяглые жеребьи, на которых жили их тяглые крестьяне (Ворон. Акты III. 161). Во множестве грамот о заселении новых слобод и сел предписывается начальствующим лицам набирать в пашенные крестьяне из вольных гулящих людей: *из крестьянских семей, братьев, детей и племянников, но только не тяглых;* как мы знаем, что в помещичьих имениях существовали тяглые жеребьи, — следовательно, были тяглые и затяглые крестьяне, то вероятно, что в число лиц из крестьянских семей вообще разумелись также лица затяглые и из помещичьих крестьян. Тяглые жеребьи зависели от воли помещика и, вероятно, отпуск затяглого также зависел от его воли, потому что помещик мог посадить его на тяглый жеребий, но в

какой степени — того нельзя определить положительно по недостатку сведений. Пока с нас довольно того что если крестьянское население, жившее в помещичьих имениях, не лишено было возможности оставлять места своего жительства и переходить в другие, то из этого нельзя еще заключить несомненно, что в XVII веке существовало прежнее право перехода в юрьевские сроки независимо от воли помещиков, так точно, как и до нашего времени крестьянин не лишен был возможности отойти от своего помещика, если последний изъявлял желание. Разница в том только, что в наше время отпущенный помещиком крестьянин не может сделаться вновь крестьянином другого помещика, но это потому, что существует закон, по которому раз приобревший свободу, не может вступить в крепостное состояние, хотя бы на то было и его собственное согласие. Закона такого не было в XVII веке: тогда отпущенному предоставлялось полное право сделаться и холопом и крестьянином другого господина. Мы достоверно знаем, что в XVII веке уже не существовал старинный вывоз крестьян, то есть право помещика, согласившись с крестьянином другого помещика, принять его к себе, хотя бы против воли того помещика, у которого жил прежде крестьянин. Доказательством могут служить дополнительные статьи к Судебнику, постановленные в 1641 году:

"А которые люди к кому приезжали и людей и крестьян вывезли себя, или же в тое время от кого учинится смертное убийство и грабеж иное какое дурно, и Государь указал и бояре приговорили: про то сыскивать всякими сыски накрепко, и вывозных крестьян отдавати за пятнадцать лет, а беглых крестьян и бобылей по суду и по сыску отдавати, по прежнему Государеву указу за десять лет.

"А которые всяких чинов люди, кто у кого насильством крестьян вывез, а про то сыщется подлинно, и государь указал и бояре приговорили: крестьян отдати со всеми животы, да сверх того крестьянскаго владенья за крестьянина в указные лета взяти на год по пяти рублев.

"А которые люди учнут на ком крестьян искать беглых вывозными, а про то сыщется, что те крестьяне невывозные, беглые: и тот истец лишен крестьянина своего и крестьянских животов и своего иску, ищи правдою и не называй беглаго крестьянина вывозным".

Таким образом, здесь ясно отличаются вывозные крестьяне от беглых: и те и другие равно возвращаются в прежние места, и те и другие — лица, по своим поступкам подлежащие преследованию закона, и притом закон в отношении первых наблюдает больше строгости, чем в отношении к последним.

Что касается до рядных записей, то они не доказывают и не опровергают мнения, какое составил г. Аксаков о существовании перехода, по очень простой причине: в них не говорится нигде ни о каком общем и обязательном способе отношений всего крестьянского населения ко всем владельцам.

Итак, остается признать, что мысль о том, будто Борис не прекращал юрьевского перехода, и что это право существовало после него и в XVII веке — не принимает характера исторической истины после доказательств гг. Погодина и Аксакова. Пока почтенные исследователи, желающие внести ее в науку, не подтвердят своих положений новыми более очевидными свидетельствами того времени, — общепринятое мнение будет иметь на своей стороне более доказательств. Главное, желательно было бы, чтоб г. Погодин указал на известные ему распоряжения о беглых, с назначением сроков, изданные ранее указа 1597 года: это прольет новый свет на один из важнейших вопросов нашей допетровской истории.

ВЕЛИКОРУССКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЛЬНОДУМЦЫ в XVI веке

МАТВЕЙ БАШКИН И ЕГО СОУЧАСТНИКИ. — ФЕОДОСИЙ КОСОЙ.

Акты Археографической Коммиссии, т.1, стр. 241-256. — Акты Исторические, т.1, стр.296. — Чтения в Императорском Общ. Истории и Древностей, 1847 г., № 3. — Московские соборы на еретиков XVI века. — Чтения в Императорском Общ. Истории и Древностей, 1858 г., № 2. — Розыск или список о богохульных строках. — Рукопись Императорской Публичной Библиотеки. — Толстовский каталог, отд. III, № 64. — Зиновия отенскаго инока *Истины показание к вопросившим о новом учении.*

I.

Склонность критиковать церковные писания и обряды, попытки найти своим умом другие точки воззрения, отличные от тех, какие приняты Церковью, сопоставление противоположностей, стремление к одухотворению Церкви составляло сущность религиозного брожения на севере еще в XV веке, когда православие должно было поражать разбившихся на разные толпы стригольников, а потом смесь различных мнений, которую, по поводу вмешательства в эту путаницу Евреев, озаглавили именем жидовствующей ереси. После развода и расселения Новгородцев, это брожение распространилось по всей Руси и произвело ряд явлений более или менее сходных между собою в сущности, отличных в подробностях и нередко противоречивых по вероучению и приложению к делу. Самобытное реформационное русское движение соприкасалось с реформационными началами, развившимися тогда на Западе и проникавшими в русский мир. Исподоволь сближение с Западом при Иоанне IV не могло остаться без того, чтоб приезжавшие к нам иностранцы не беседовали с русскими и не вносили господствовавшего тогда на западе духа религиозных умствований и прений. Это направление удачно совпадало с тем, что уже существовало подобное

в русской Церкви. Так, в деле Башкина является какой-то аптекарь литвин, да Андрей Хотеев, названные латинниками.

Мы не думаем, чтобы западная реформация произвела те явления, которые наступили у нас в XVI веке: предыдущая история нашей умственной деятельности достаточно указывает на предварительную подготовку для дальнейшего вольнодумства. В 1554 году являются в Москве и осуждаются вольнодумные кружки людей светских и духовных, оставшиеся в нашей церковной истории под именем ереси Матвея Башкина. Непосредственная связь этой так называемой ереси с жидовствующею и стригольническою заключается в преемственном брожении религиозных мнений, продолжавшемся от XIV века.

Некто, живший в Москве, неизвестно откуда родом, но, судя по фамилии, происхождения татарского, Матвей Семенович Башкин, в великий пост пришел к священнику благовещенского собора, Симеону, и просил его поновить, то есть исповедовать. "Я христианин", говорил он: "верую во Отца и Сына и св. Духа, и поклоняюсь образу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Пречистой Богородицы, и великим чудотворцам, и всем святым, на иконе написанным". Но когда Симеон стал его исповедовать, Матвей начал ему задавать такие вопросы, которые показались попу недоуменными: не понравилось ему, как видно, то, что Башкин сам же стал и разрешать эти вопросы, которых не мог разрешить священник, да, в заключение, припомнил ему высокую обязанность священника в таких выражениях:

"Ваше дело великое", сказал он: "ничто же сия любви больше, еже положите душу свою за други своя", и вы полагаете за нас души свои и бдите о наших душах, ибо за то воздадите слово в день судный". — Недовольный формальною исповедью, Башкин приехал к священнику в дом, стал с ним рассуждать, объяснял евангельские беседы. В душе его было какое-то волнение, жажда добра, стремление перелить слово в дело; в то же время он был недоволен тем, что вокруг себя мало находил приложения евангельских истин к жизни. — Ради Бога, — были его слова, — пользуй меня душевно; надобно читать написанное в евангельских беседах, но не надеяться на слово, а совершать его делом. Все начало от вас, священников; вам следует показать пример и нас научать! Видишь ли, в евангелии стоит: "научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, иго бо мое благо и бремя мое легко есть". Что же нужнее человеку, как быть смирным, кротким, тихим? Все это на вас лежит. — После того еще беседовал Матвей с своим попом и показал ему апостол, измеченный восковыми пятнами по таким текстам, которые в нем возбуждали размышления. Он спрашивал у священника объяс-

нений, но Симеон становился втупик, и Башкин предлагал ему свои собственные объяснения. Между прочим, однажды пригласил он его к себе и, толкуя с ним об отмеченных местах, сказал: "написано: весь закон заключается в словах: "возлюби искренняго своего, как сам себя"; если же вы себя грызете и терзаете, смотрите, чтоб не растерзать друг друга. Вот мы Христовых рабов держим своими рабами; Христос же называет всех братиею, а у нас на иных кабалы нарядные (фальшивые), на иных — полные, а иные беглых держат. Благодарю Бога моего: у меня была кабалы полныя; все изодрал; держу людей у себя, государь, добровольно; хорошо ему у меня — живет, а не нравится — пусть идет, куда хочет, а вам, отцам, надобно посещать нас, мирян, почаще, да научить нас, как самим жить и как людей у себя держать, чтоб их не томить. Я видел, что все это в правилах написано, и мне показалось хорошо. *(Во апостоле-де написано: весь закон в словеси скончевается; возлюбиши искренняго своего яко сам себе; аще себе угрызаете и снедаете, блюдите да не друг от друга снедени будете, а мы-де Христовых рабов у себя держим, Христос всех братьею нарицает, а у нас де на иных и кабалы, на иных беглыя, а на иных нарядныя, а на иных полныя, а я-де благодарю Бога моего: у меня-де что было кабал полных, то-де есми все изодрал, да держу-де, государь, своих добровольно, добро-де ему и он живет, а не добро, и он куды хочет, а вам, отцем, пригоже посещати нас почасту и о всем показовати, как нам самим жити, и людей у себя держати).* Такия рассуждения, как равно и те, которыя относились к толкованию других мест апостольских книг, показались Симеону подозрительными. Постановленный втупик, он сказал Башкину: Я этого не знаю. — Так ты спроси Сильвестра, сказал Башкин — он тебе скажет, а ты тем пользуй душу мою. Я сам знаю, тебе некогда об этом ведать, в суете мирской ни день, ни ночь покоя не знаешь. — Эти слова должны были служить обличением и укором Симеону. Симеон сообщил об этом Сильвестру, замечал, что приходил к нему духовный сын необычен, толкует не об одних религиозных вопросах, многое спрашивает недоуменное, да сам же еще и учит: сказал, что он показывает ему измеченныя во многих местах апостольския писания до трети и прибавил: да учал меня спрашивати и мне то показалось развратно. — Но уже видно, Башкин не с одним Симеоном вел такие беседы, и Сильвестр слышал о нем из других источников. — Каков тот сын духовный будет, — сказал Сильвестр: — слава про него недобра носится. — Царя в то время не было: он ездил в Кириллов монастырь. Сделалась тревога между духовными: "прозябе ересь и явися шатание в людех". Навели справку, и когда царь вернулся, ему донесли об

этом Сильвестр, Симеон и Андрей-протопоп. Алексей Адашев тоже свидетельствовал что-то недоброе. Говорили: около Башкина составляется кружок, который неправильно умствует о сыновнем существе Христа Спасителя, о таинствах, о Церкви и о всей православной вере. *(Испражняют владыку нашего Христа, непщуют Сына Божия быти и преславныя действа таинства, и о литургии, и о причастии, и о церкви, и о всех православных в вере христианской).* Царь сказал Симеону: "Вели Матюше изметить те слова в апостоле и подать мне. — Башкин, уверенный в правоте своих толкований, отдал Симеону, который потребовал у него апостол, и пришел сам в церковь. Царь смотрел; духовные объясняли ему, что это ересь. Но, как кажется, царь не обратил на это тогда строгого внимания, не трогал Башкина и уехал в Коломну. Между тем, узнал митрополит Макарий. Толки о Башкине ходили самые неодобрительные. Царь приказал арестовать Башкина. С ним взяли под стражу его сообщников, двух братьев Борисовых: Григория и Ивана, по отчеству Тимофеевых, и еще других: какого-то Игнатия и Фому. На все вопросы царские они отвечали, что они вовсе не еретики, но православные христиане. Тогда царь приказал посадить их в подклеть, в своих палатах. Оказывалось, что ересь эта распространена между монахами заволжских монастырей, дошла до Белаозера; и оттуда привезли в Москву монаха, Феодосия Косого.

Собрался собор. Председательствовал митрополит Макарий; членами собора были святители русские: архиепископ ростовский и ярославский Никандр, епископ суздальский и торусский Афанасий, епископ рязанский и муромский Кассиян, епископ тверской и кашинский Акакий, епископ коломенский и каширский Феодосий, епископ сарский и подонский Савва, честные архимандриты, преподобные игумены и священные протопопы. Подсудимых обвиняли в том, что они утверждали неравенство Христа со Отцом и Духом, почитали евхаристию простым хлебом и вином, отвергали зданную церковь, покаяние, предания жития святых и деяния святых седми соборов, и даже дерзали сомневаться в действительности евангельских и апостольских событий. Башкин и товарищи его запирались, но царь сам — говорит современное известие — *начат их испытывати премудре, хотя от них уведати известно, как убо сии лукавии и каково имуть своя мудрования.* Должно быть, способы эти премудраго испытания были нелегки. Башкин потерял и присутствие духа и рассудок, и занес бессмыслицу *(богопустным гневом обличен бысть, бесу предан и язык извеся, непотребная и нестройная глаголаша на многие часы).* Говорили, что ему представлялся голос Богородицы, которая побуждала его к созна-

нию, и он пред духовным отцом своим изложил подлинно свое еретичество и назвал своих единомышленников. Это значило, по смыслу современного известия, "что в разум прииде". Сообщники перепутались в показаниях: одни запирались, другие на себя наговаривали, третьи других уличали. Оказывалось, что они уложили между собою зарок не поклоняться иконам. Тогда, под строгими допросами, Башкин привлек к делу бывшего троицкого игумена, Артемия, и дьяка Висковатого. Собор стал его допрашивать. Оба допроса очень любопытны и проливают свет как на сущность и характер этого свободомыслия, так и вообще на способ исследования дел на церковном суде.

Этот Артемий был происхождением из Пскова — по крайней мере, там застаем его в первое время. К сожалению, неизвестна ранняя судьба этого человека и как он попал в монашеское звание. Потом он является в какой-то пустыне. Когда в Троицком монастыре скончался игумен Серапион, братья пожелали избрать Артемия. Конечно, он чем-нибудь сделался известен. Артемий удалялся от начальства. Его привезли в Москву, поместили в Чудовом монастыре. Сильвестру приказано было от царя испытывать его. Сильвестр беседовал с ним и нашел его вполне достойным человеком (*и тогда* — говорит Сильвестр — *от уст артемьева ученья книжнаго довольно ми показалося и добраго нрава и смирения исполнен бысть, тако всеми людьми видим бысть и ближними и дальними*); он был поставлен в игумены, но в то же время заронилось о нем подозрение. Был у него ученик Порфирий. Несколько раз он ходил к Симеону; тот принимал его ради страннолюбия, беседовал с ним и заметил у него в беседах что-то не совсем строго православное. Он сообщил об этом Сильвестру, пересказал то, что слышал от Порфирия, и изъявил свои сомнения в православности его мнений. Сильвестр также задумался, позвал Порфирия к себе, также под видом страннолюбия, и выведал от него, что мог. Это пересказано было царю. Вот характеристическая черта и нравов, и способов, каким образом в тот век следили тайно за убеждениями. Человек мог, ничего не подозревая, высказывать свои мнения по-приятельски другому, и тотчас эти мнения тайно передавались правительству. Однако, порфирьевы речи не имели в себе настолько предосудительного, чтоб можно было за них придраться к нему явно. И на него, и на Артемия, с которым он был близок, пало подозрение. Немного времени прошло, и Артемий добровольно должен был оставить игуменство; должно думать, это сделалось именно вследствие того, что за ним следили, и он заметил, что к нему не благоволят высшие. Вместе с ними неразлучно был и Порфирий. У троицких старцев Артемий оставил благоприят-

ное впечатление. Его отход приписывали внутреннему смирению и любви к монашескому уединению. "Его, говорили они, государь сильно и на игуменство взял и в попы поставил против его желания; он бегал от этого, потому что не хочет славы мира сего. Душе его не в пользу игуменство, и он того ради оставил игуменство. Хочет не погибнуть душою и совершить Христовы заповеди евангельския и апостольския, от своих рук питатися пищею и одеждою доволитися". Он удалился в Нилову пустынь. Когда началось дело Башкина, Артемий с Порфирием были вызваны в Москву и поместились в Андроньевом монастыре. Их вызвали под предлогом присутствовать на соборе, но на самом деле их вытребовали как подозрительных людей. Их свели с Башкиным и с сообщниками Башкина и велели с ними состязаться. Это, видно, было еще тогда, когда Башкин не сознавался. Артемия побуждали к спорам под тем предлогом, что считали его книжным и ученым человеком. Артемий уклонялся от споров и говорил: "это не мое дело". Наконец, когда Башкин, в припадке расстройства, начал оговаривать других, то сказал что-то недоброе и на Артемия. Против него были уже предупреждены, и потому сейчас же придрались к показанию. Артемий, видя, что ему не сдобровать, когда начнут его истязать, убежал из Москвы, вместе с Порфирием, в свою пустынь, вероятно, собираясь убежать подалее от преследования. Но ему не удалось. Его вместе с Порфирием привезли в Москву и поставили на соборе.

— Зачем ты убежал самовольно? спрашивали его.

— От наветующих меня убежал! сказал Артемий. — До меня дошел слух, будто говорят про меня, что я не истинствую в христианском законе; я хотел уклониться от молвы людской и безмолвствовать.

— Кто же эти наветующие на тебя? спрашивали его, — И отчего ты не бил челом государю и нам, и не свел с себя навета, а бежал из Москвы безвестно? Вот тебе и вина.

Артемий почему-то не назвал по имени наветующих.

Свели его на очную ставку с Башкиным. Башкин на него показывал. Артемий запирался. Какого рода показания эти были — неизвестно, но остались вопросы, которые по этому поводу делал Артемию митрополит.

— Матвей, объяснял митрополит что-то сказанное Матфеем: — разделяет Сына от Отца и неравно именует Сына Отцу, ибо он говорил так: если я прогневаю Сына (грубо учиню), то на страшном пришествии Отец может меня избавить от муки, а если прогневаю Отца, то Сын меня не избавит от муки. Матвей составил молитву Отцу, а Сына и Духа отставил.

— Матвей, сказал Артемий: — делал ребячество, и сам не знает что затевает: ни в писании того нет, ни в ересях не написано.

— Прежних еретиков, которые не каялись, сказал митрополит: — святители проклинали и цари осуждали, заточали и предавали казням.

— Меня, сказал Артемий: — призвали судить еретиков, а не мне судить и предавать их казни, да и еретиков нет и не слышу я, чтоб кто-нибудь говорил спорное (и в спор никто не говорит).

Из этого ответа видно, что Артемий открыто не признавал ничего еретического в словах Матвея Башкина, которые хотели выставить еретическими.

— Как же не еретик Матвей, сказал митрополит: — когда он написал молитву к единому началу, написал единаго Бога Отца, а Сына и св. Духа отставил?

— Нечего было ему и врать, сказал Артемий. — Молитва готова Манассии ко Вседержителю.

— То было до Христова пришествия, объяснил митрополит: — а теперь кто так напишет молитву к одному началу, тот еретик.

— Однако, заметил Артемий: — манассиина молитва написана в большом *нефимоне* и говорят ее.

— Если ты виноват, то кайся! сказал митрополит.

— Не в чем мне каяться, сказал Артемий: — я так не мудрствую как на меня сказывали; все это на меня лгали: я верую в Отца и Сына и в св. Духа в Троицу единосущную!

Такие ответы, обращенные к митрополиту на соборе, поставили Артемию в обвинение. Тогда на Артемия посыпались другие обвинения от разных лиц. Игумен Ферапонтовского монастыря, Нектарий, более всех обличал его и укорял в еретических мнениях.

— Вот он говорил, сказывал на него Нектарий: — что у Иосифа Волоцкого в книге неправильно, будто Бог, посылая к Лоту в Содом двух ангелов, посылал в самом деле в их образе Сына и св. Духа.

Неизвестно, что ответил Артемий на это обвинение.

— Артемий, показывал Нектарий: — не проклинает новгородских еретиков, хвалил латынь, не хранит поста, во всю четыредесятницу ел рыбу на воздвиженьев день за столом у царя и великого князя ел рыбу.

Замечательно, как тогда монахи друг за другом подсматривали, стараясь один другого обвинить и обличить в несоблюдении правил иноческой жизни.

— Правда, сказал Артемий: — я ел рыбу, но только тогда, когда случилось мне быть у христолюбцев, и у царя за столом рыбу ел.

— Не гораздо ты чинил это, сказал ему митрополит от всего собора: — это тебе вина, ты сам себе вопреки божественных

уставов и священных правил разрешаешь пост, а на тебя смотря, и люди соблазняются.

Артемий, без сомнения, оправдывался тем, что по духу св. писания даже по примеру благочестивых мужей, предлагаемое дозволено есть, и пост не должен выказываться наружно.

— Артемий, продолжал Нектарий: — когда был во Пскове, то ездил из Печерского монастыря в немецкий Новый городок и там хвалил немецкую веру, говорил там с немецким князем.

— Я тогда ездил и говорил с немецким князем, сказал Артемий: — и спрашивал, не найдется ли у них человек, кто бы поговорил со мной книгами. Хотелось мне узнать — у них христианский закон таков ли, как у нас; но мне тогда не указали такого книжного человека.

— А зачем тебе, строго заметили ему на соборе: — ты ведаешь сам, что наша вера греческаго закона сущая православная, а латинская вера святыми отцами от православной веры отречена и проклятию предана. Это ты чинил не гораздо. Это тебе вина.

И еще много-много говорил на Артемия Нектарий, обвинял его в богохульстве и еретичестве. Артемий на все отвечал:

— Нектарий клевещет на меня: я этого не говорил никогда, я неповинен в делах, которые на меня взводят.

Нектарий сослался не свидетелей: пустынников Ниловой пустыни Тихона и Дорофея, Христофора Старого, соловецкого старца Иосифа Белобаева; но призванные на собор старцы не показали ничего на Артемия и не подтвердили обвинения, взведенного Нектарием.

Поднялся на Артемия другой обвинитель: бывший Троицкий игумен Иона. Он написал на соборе обличительные показания на Артемия.

"Артемий, — писал он: — возлагал хулу на крестное знамение. Артемий произносил такие слова: "нет в том ничего, что не положит на себя крестное знамение; прежде клали на челе иное знамение, а нынче на себе большие кресты кладут. На соборе о крестном знамении много толковали, да ни на чем не порешили".

— Я только говорил о соборе, что на нем не порешили о крестном знамении, а про самое крестное знамение так не говорил, сказал Артемий.

— Вот ты сам сказал, отвечали ему: — что говорил о соборе; стало быть, и то говорил, что в крестном знамении нет ничего. Надобно в этом верить Ионе. Ты хулу говорил; это тебе вина.

Потом явился третий обвинитель: Троицкий келарь Ангелов и доносил следующее:

— Артемий в Корнильевом монастыре был в келье у корнильевскаго игумена Лаврентия и говорил там, что нет помочи

умершим, когда поют по них панихиды и служат обедни; тем они муки не минуют на том свете.

— Я говорил, объяснял Артемий: — что если люди жили растленным житием и грабили других, а потом хоть и станут за них петь панихиды и служить обедни, то Бог не принимает за них приношения; нет пользы оттого: тем не избавиться от муки.

— Это ты говорил не гораздо, приговорили члены собора: — верить во всем Адриану; это тебе вина. Ты отсекал у грешников надежду спасения; ты уподобился Арию, который также говорил, что не следует приносить приношения за умерших. Об этом так написано в 75 гл. правил Епифания Кипрского.

Явился четвертый обвинитель: Троицкий старец Игнатий Курачев, и написал по памяти: "Я слышал от Артемия про каноны. Говорил Артемий про Иисусов канон: такой Иисусе, такой Иисусе, и про акафист говорил: радуйся да радуйся".

Артемий на соборе ответил:

— Я говорил так: в каноне читают: Иисусе сладчайший, и как услышат слово Иисусово о его заповедях, как Иисус повелел пребывать, как и житие вести, так горько делается заповеди Иисуса исполнять *(и услышат слово иисусово о заповедях его, как велел быти и они в горести прелагаются, что заповеди сотворити)*, а про акафист я так говорил, читают: радуйся да радуйся, чистая, а сами не радят о чистоте и пребывают в празднословии, стало быть, только наружно обычай исполняют, а не истинно *(ино то обычаем водими глаголют, а не истину)*.

— Это ты говорил не гораздо, произнесли на соборе: — про Иисусов канон и акафист говорил развратно и хульно, а всякому христианину подобает Иисусов канон и акафист пречистой Богородицы держать честно и молить всякий день, сколько силы достанет.

Пятый обвинитель был кирилловский игумен Симеон. Когда арестовали Матвея Башкина, в то время Артемий находился в Кирилловском монастыре.

— Я тогда, доносил игумен: — сказал Артемию: Матвея Башкина поймали в ереси. А он, Артемий, мне отвечал: "не знаю, что это за ересь, вот сожгли Курицына и Рукаваго, а до сих пор не знают сами за что их сожгли".

Поставили Артемия на очную ставку с Симеоном. Артемий запирался. Симеон указал на свидетеля, кирилловского старца Никодима Бруткова. Артемий сказал так:

— Я не могу вспомнить теперь, был ли разговор о новгородских еретиках, не за моей памяти сожгли их, и точно, я не знаю, за что их сожгли; может быть, я так и сказал, но я не так говорил, что этого не знают, а говорил-де только про себя одного.

Когда же Артемия водили к допросу, за ним следили, шпионили и ловили каждое слово. Царский дьяк Шестак доносил, что когда Артемия свели с собора, то на улице встретился он с Порфирием, которого другие вели также с допроса. Порфирий сказал Артемию: — благослови, отче! — Артемий отвечал: Бог отче! — Порфирий спросил: а что, мне стоять крепко против них? — Артемий отвечал: молчи, отче, наше дело колеблется, не время; я молчать готов. — Порфирий сказал: — мне так стоять спорно. — Молчи, — сказал Артемий, и они разошлись. Когда их поставили на соборе на очную ставку, Артемий не заперся, и это поставили ему в вину. Между прочим, Артемий объяснял, что Порфирий вовсе не ученик его, хотя они и взяты были в одно время из пустыни.

Неизвестно, по какому поводу зашла на соборе при допросах речь о посвящении. Артемий говорил, что он не желал в игумены, и когда ему свидетельствовали и он должен был исповедовать свои грехи, тогда проотцами духовными он сознался в блудном грехе, который ему препятствовал бы принять сан, но духовный отец велел ему преступить этот грех и не говорить о нем (*коли-де и меня к Троице во игумены наркли и велели меня свидетельствовать, и яз-де и того отцу духовному сказывал свои блудные грехи, и он-де и мне говорил: то-де и переступи*).

Дали ему очную ставку с духовным отцом. Последний говорил, что напротив, он его спрашивал о тяжелых грехах убийственных и блудных и Артемий ему не сознался. Артемий сказал, что тут стоял другой поп, который сказал: "то переступи; это не нужно".

— Я, прибавил он: — теперь имени ему не припомню: тогда было семь свидетелей.

Это неясное место, вероятно надобно так понимать, что об Артемии открылось что-нибудь относительно его частной жизни, и его стали допрашивать, зачем он не объявил об этом тогда, когда посвящался в игумены. Это сознание было важно. По этому одному поводу с него сняли сан священства и поставили ему в вину, что он оклеветал своего духовного отца, уверяя, что сам сознавался в грехе, а духовный отец велел ему оставить это без внимания.

Собор не мог признать Артемия вполне доказанным преступником, потому что нектариевы показания не были подтверждены теми свидетелями, на которых доноситель ссылался. Тем не менее, его сочли опасным, чтобы он не совращал христиан (*его ради со благочестивым царем соборне судихом о нем, да не како свободне живет идеже хощет и учит, и пишет, и послание посылает, и беседует с ними ж хощет*).

Его приговорили сослать на тяжелое заключение в Соловецкий монастырь. Он должен был жить одиноко в келье; не следовало допускать монахов и бельцов беседовать с ним, запрещалось ему переписываться с другими, что бы то ни было от кого-нибудь принимать или пересылать кому-нибудь, не иметь с людьми сообщения, но сидеть в затворе и молчать. Один пресвитер, по указанию настоятеля, должен был надзирать над ним и испытывать, когда он будет каяться: истинно ли его покаяние; а сам игумен, по временам, должен читать ему поучения от божественного писания и наставлять его во всем, что нужно для его обращения. Ему не позволялось читать других книг, кроме молитвенных, какие укажет игумен с монастырским собором. Следовало наблюдать даже над тем сторожем, который будет приставлен к нему, чтобы обвиненный не совратил его. Даже над священником, который будет приставлен для его обращения, игумен должен был надзирать, чтобы он не увлекся еретическими убеждениями. Все те, которые в противность этого запрещения стали бы домогаться сношений с Артемием, подвергались осуждению, как его единомышленники. Пребывая в таком состоянии, Артемий лишался св. причащения; впрочем, если бы случилась с ним смертельная болезнь, тогда можно было его причастить. Иначе он получал св. причащение только пред смертию.

Что касается до главных еретиков, то приговор их не дошел до нас, и не видно, в чем он уклонялся от приговора над Артемием. Из письма Иоанна к Максиму Греку, где царь излагает сущность в таких же выражениях, в каких она излагается в приговоре над Артемием, показывается, что одни и те же варажения в царском письме принадлежат и приговору; но так как письмо Иоанна было писано прежде приговора, то, должно быть, приговор составлен был по прежде изложенному обвинению (*Еже о святем Дусе сын святыя церкви и нашего смирения, православный и христолюбивый и боговенчанный царь и великий государь князь всея Русии самодержец зело потщася с великою божественною ревностию по святей и животворящей и всемогущей Троицы и по всех святых честных иконах, с нашим смирением и со архиепископом и епископы, и со всем священным собором в царствующем граде Москве в царских его палатах, соборовах с ним и с братьею его и со всеми боляры на богопротивнаго и лукавого безбожного еретика и отступника православныя веры Матфея Башкина и на его единомысленников, иже хулу глаголавшего на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и неравна его Отцу поведают, неции ж еще и других поучают на сие злочестие; к сим же честное и святое тело Господа нашего Иисуса Христа и честную и св. Его кровь ни вочтож*

полагают, но токмо прост хлеб и просто вино вменяют; также святую соборную апостольскую церковь отричают, глаголюще яко верных собор сие есть токмо церковь сия ж зданная ничтоже есть; также и божественныя плоти христовы воображение и пречистые Богоматере и всех святых его честных икон воображение идолы окаянии наричают, таже и покаяние ни во что же полагают, глаголюще: как престанет грех творити, аще у священника и не покается, то несть ему греха; отеческая же предания и их житья баснословие вменяют и на седьмь святых вселенских собор святых отец гордость возлагают, глаголюще: яко все себя деля писали, чтоб им всем владети и царьским и святительским, и спроста рещи вся божественная писание баснословие наричают, Апостол же и Евангелие не истинно излагают по глаголющему апостолу: иже истин в неправде содержащим. К сим же и иныя хулныя вины их многы и всяко законопреступление). (А.А.Э. I.250).

Судьба Башкина неизвестна. Соумышленников его заточили в темницы, по монастырям. Об этом сообщает никоновская летопись *(И осудиша их неисходным быти, да не сеют злобы своея роду человеческому).*

Вместе к этому делу был прикосновенен дьяк Иван Висковатый, хотя косвенным образом. После большого пожара в Москве, когда погорели церкви кремлевские, приказано было привезти из разных городов образа. Некоторые образа казались не похожи на те, какие привыкли видеть прежде; это возбуждало соблазн. В тот век входил вкус писать символические изображения лица или исторического действия. Дьяк Висковатый начал умствовать. Но как изображения на иконах выражали внешним образом идеи и догматы, то объяснение так или иначе должна быть написана икона соединялось со внутренним смыслом, выражаемым изображением. Некоторые объяснения высказаны были так, что возбудили обвинение в уклонении от строгой чистоты православной догматики. Дьяку поставили в укор, что он всенародно делал объяснения об иконах и порицал некоторые способы изображения. Дьяк, призванный на собор, подал свою исповедь, в которой изложил кое-какие свои сомнения. Его, между прочим, соблазняло то, что писали на иконах пророческие видения. Он указывал, что пророческие видения различествуют между собою и что таким образом пропадает правильный образец иконного письма. *(И того ради Господа нашего пишет в давидове образе кроме отчаго исхождения и предотечева свидетельства и о сотворении Божии писали иные многие письма, и яз мнех, что оно написано кроме свидетельства... От кого такову власть взяли, чтоб сказали и засвидетельствовали и ко-*

торое уложат писати, ино во одним образцом писали, чтоб было не соблазнено, а то в одной паперти оубо одна икона, а в церкви другая: тож писано, а не тем видом). Он нападал на то, что у Спасителя изображались сжатые руки, и выводил из этого, что это значит будто бы Христос не очистил адамова грехопадения *(Роукы зжаты мудрование суетное иже помышляют яко не оцистил Господь наш Иисус Христос Адамова грехопадения: мняху его проста человека).* Он негодовал на то, что Иисуса Христа изображали в ангельском образе; что Христос на кресте изображен покровенным крилами херуфимов, доказывая, что это латинский обычай. *(И аз увидел, что в сотворении небеса и земли и в сотворении Адамли и в иных местех написали Господа нашего Иисуса Христа в ангельском образе, и того для говорил есми, чая коварства смотря на исповедь хрестиянскую еже так мудрствовати не велено, а велено Господа нашего Иисуса Христа превечное Слово Божие описовати по плотскому смотрению* (Чтения 1858 г. кн. 2, Розыск, стр. 10)... *А херувимскими крылы покрыто тело Господа нашего Иисуса Христа нам ся видит латинские ереси мудрование; слыхал есмя многажы от латынь в розговоре яко тело Господа нашего Иисуса Христа укрываху херувимы от срамоты. Греки его пишют в портках, а он портков не нашивал, и аз того для о том оусумневаюсь, а исповедаю яко Господь наш Иисус Христос нашего ради спасения принял смерть поносную и волею претерпел распятие, а от укоризны не оукрывался* (ibid., 8).

По поводу изображенного на иконе символа веры он соблазнялся тем, что в нем нарисован Бог Отец, и представлял, что не следует изображать невидимого божества и вообще бесплотных *(не подобает невидимаго божества и безплотных воображати, как ныне на иконе писано).* Он не одобрял также антропоморфических изображений добродетелей и пороков, что входило тогда в иконописание *(в полате в середней государя нашего написан образ спасов да тоутож близко него написана жонка, спустя рукава кабы пляшет, а подписано над нею: блоужение, а иное ревность, и иные глоумления, а мне, государь, мнится, что то кроме божественнаго писания, о том смущаюсь)* (ibid., 11).

Исповедь, написанная дьяком, составлена была очень почтительно и в кротком, покорном духе, но послужила к его обвинению: он неудачно выразился в некоторых местах; за то к нему придрались и вывели из этого еретические мнения. Например, он выразился: "тако бо честному кресту покланяющееся, на нем же животворимое распростерто бысть слово". Это сочли неправильным, ибо на кресте распростерто было тело, а не слово. Дьяк указывал, что это он взял из правил книги, принадлежащей

Василию Михайловичу Юрьеву. Обвиняли его, что он сказал о Христе *чюдотвориа приа распяся*, выписав это из книги Дамаскина, принадлежащей Морозову, но в книге той написано *чюдотвори, приа страсти, распяся*. Сославшись на синодик, сказал, будто там написано: "тако веруем и тако исповедуем истинного Бога нашего", когда на самом деле в этом синодике оказалось: "тако веруем и тако проповедуем Христа истинна Бога нашего". Таким образом, его осудили на трехлетнее покаяние (*судихом и дахом тебе епитемью на три лета: едино ти лето плакатись подобает, вне дверей стоя церковных и входящим верно молясь, молитву творити за ся, исповедая своя согрешения: потом же второе лето послушающи божественных писаний, прият будеши в церковь; и третье лето да стоиши с верными в церкви общения ж не приемлеши; скончавшим же ся трем летом святых таин причастник будеши*). (А. Э. 1, 244).

В обвинении Висковатого действовала досада духовенства, что миряне осмеливаются судить о религиозных предметах свободно. Как только дьяк заявил свои размышления, митрополит сказал ему: "Ты о том мудрствуешь и говоришь не гораздо, понеже не велено вам о божестве и божиих делах испытовати. Знал бы ты свои дела, которыя на тебе положены, не разроняй списков". В соборной епитемии над ним говорится: "всяк человек убо должен есть ведати свой чин и не творити себе пастыря, овча сый в глава да не мнит нога сый, но повиноватися от Бога преданному чину и уши свои отверзати на послушание благодати приемлющих учительская словеса".

Этим осуждением Висковатого проводилось притязание, чтобы никто не рассуждал, а все повиновались духовенству, Висковатый не мог подлежати осуждению, ибо он изъявил свои мнения в своей исповеди, предлагал их на обсуждение собора, изъявляя готовность покориться соборному приговору. Сам собор признал справедливым одно из его замечаний о сжатых руках на образе Спасителя. Другие были объяснены не так, как думал Висковатый, — и он покорился. Неправильности в его исповеди были, очевидно неумышленные и не могли подавать повода к подозрению в ереси, когда в той же исповеди он выражает во многих местах свои православные убеждения. Этот суд над Висковатым подает нам повод сомневаться, чтоб все дело Башкина и его сообщников было точно таково, как изображает нам известие о нем, дошедшее до нас единственно из уст их обвинителей.

Мы сделаем его разбор.

Артемия признали виновным по нескольким пунктам, из которых в некоторых было его полное сознание, в других отчасти,

третьи были растолкованы им самим иначе, нежели как обвиняли его; четвертые он отрицал.

1) Он признавал справедливым, что ел рыбу в гостях и у царя за обедом; он сознался, что разговаривал с Порфирием и сказал ему "Боже отче", когда тот говорил ему, "благослови, отче", и оба условились молчать. Ни в том, ни в другом не было достаточных обвинений. Хотя он нарушал пост, но не по охоте, а по случаю, и притом, прежде надлежало обвинить царя, который угощал рыбою монахов на Воздвиженье. Коль скоро у царя за столом подавалась рыба, то царь должен был защищать Артемия. Что касается до другого, то в том, что двое подсудимых условились молчать и стоять крепко, не заключается еще повода подозревать их, когда дело с Висковатым показывает, как легко могли обвинить человека в еретичестве на основании какого-нибудь неловко сказанного слова, хотя бы без того смысла, который после можно будет извлечь из него.

2) Он сознался, что ездил в немецкий городок искать книжного человека, и не сознался в том, что хвалил латинскую веру, как его обвиняли. Никогда Церковь не препятствовала узнавать о чужих верах и о чужих обычаях. Он сознался, что действительно говорил, что на соборе ничего не было постановлено о крестном знамении: и тут не было не только неправославного, но никакого суждения. То был факт, известный всем; нельзя было на этом основании признать справедливость другой половины того же обвинения, что Артемий говорил о самой сущности крестного знамения. Точно так же слова его о новгородских еретиках, сколько он сознавался сам, не представляли судьям никакого повода заключать о его неправославности: он высказывал единственно то, что не знал исторического факта, о котором шла речь.

3) Все, что Артемий растолковал, было православно и не подавало повода к обвинению. Артемия обвиняли в отрицании действительности поминовения и молитв за умерших; Артемий объяснял, что он говорил о недействительности приношений за тем, которые своим растленным житием и хищениями соделались недостойными этих приношений за их души. Его обвиняли в неуважении к акафисту и канонам, но он объяснил, что считал недостаточным их чтение при несоблюдении заповедей Христовых.

4) Наконец, что касается обстоятельств при его поступлении, то осталось темным: он ли не сказал духовнику греха, или духовник велел ему не говорить об этом?

Ясно, что всех этих обстоятельств не только недостаточно было, чтоб обвинить Артемия, но они все слагались так, что

скорее могли оправдать его. Видя, что Артемия, как и Висковатого, обвинили без явных улик, можно сомневаться и в действительности вины самого Башкина и его ближайших сообщников. Правда, указывается собственное сознание, но это сознание произнесено в припадке страха и как бы сумасшествия. Очевидно, что царь задал ему такого страха, что он совершенно потерялся. "Извеся язык свой на мног час непотребная и нестройная глаголеша", слышал голос Богородины и т.п. — эти черты показывают, в каком состоянии находился Башкин. На одни пункты, которыми обвиняли подсудимых в отступлении от православия, не представлялось никаких доказательств: неизвестно, на чем судьи основали, будто подсудимые именно так думали и рассуждали, как им ставили в вину. Некоторые же пункты объясняются собственными словами подсудимых, но эти слова не позволяют выводить такого заключения, какое было выведено на соборе. Их обвиняли, что они отвергали Церковь; это доказывается следующими словами: "яко верных собор — сие есть токмо церковь, сия же зданная ничтоже есть". Очевидно, здесь идет дело о храме. Башкин, как ясно кажется из этих слов, хотел выразиться, что под Церковью следует разуметь верных собору, а не созданный храм. Что касается до обвинения, будто они отрицали писание, говоря, что святые отцы писали для себя, чтоб им владеть царским и святительским, то мы не знаем, о чем именно тут шла речь. Подобные обвинения делались по поводу имений духовных лиц, против чего вооружались самые православные люди. Очень быть может, что и здесь говорили именно в этом самом смысле. Далее о покаянии: их обличают в том, что они отвергают покаяние, ни во что же полагают, и это подтверждали словами еретиков. "Как престанет грех творити, аще и у священника не покается, то несть ему греха". Нельзя видеть здесь отвержения покаяния; здесь изображается, что конечная цель покаяния не в исповедании греха священнику, а в том, чтобы отстать от греха. Но Башкин, как видно, не отвергал при этом и таинства покаяния и причащения, за этим он приходил к священнику, и с такого поводу возникло все дело. Если б в самом деле он отвергал покаяние и причащение, тогда не для чего было бы ему и приходить. Их обвиняли в том, что они не признавали Иисуса Христа равным Отцу и св. Духу. Доказательств прямых на это не приводится; Артемий, призванный на собор, не видел ереси у Башкина, когда ему указывали, и соборные члены ничего не могли ему выставить в доказательство, кроме того, что Башкин написал молитву к Богу единому началу, не упоминая о Троице. Артемия обвинили, несмотря на то, что он уверял, что верует в Троицу. Башкин в том же уверял и при том при таких обстоятельствах, при которых ему можно более верить, чем Артемию. Положим, что Артемий был

понужден к этому, когда уже стоял на суде; но Башкина никто не понуждал, когда он добровольно явился к священнику и говорил: "я христианин и верую в Троицу единосущную Отца и Сына и святаго Духа". Если бы Башкин доходил до сомнения в догматах, то никак нельзя было думать, что он отрицал то, что Церковь признавала, потому что он пришел к священнику, пастырю Церкви. Но у Башкина не показывалось и сомнения. То, что он говорил священнику, было совершенно православно. Если такое дело, как освобождение рабов, могло наводить сомнения на священника, то ясно, что поводом к обвинению было то, что тогда духовные готовы были признать еретиком всякого, кто дерзал только рассуждать о религии и о нравственных обязанностях человека на религиозном основании. Наконец, нельзя не обратить внимания на то, что приговор над Башкиным, очевидно, составлен прежде окончания дела, ибо царь, в письме к Максиму Греку, выражался такими точно словами, какие были выписаны о Башкине в приговоре над Артемием. Что это письмо к Максиму Греку было писано прежде приговора, видно из того, что в этом письме царь приглашал Максима Грека на собор для рассуждения о ереси и суда над нею; приговор же, естественно, должен был состояться после суда. Очевидно, царь писал с обвинения подсудимых, и приговор, сходный с царским письмом, списан целиком с того же обвинения, которое составлено прежде суда и которое должно было или оправдаться, или опровергнуться судом. Итак, если приговор дословно списывал обвинение, то не дает ли это права сильно сомневаться в правильности и нелицеприятии суда, так как этот суд не изменил даже буквы обвинения?

Все эти обстоятельства заставляют предполагать, что Башкин и его единомышленники были осуждены невинно.

К этому располагает нас еще и то, что Курбский, знавший это дело близко, такого же мнения. Курбский называет клеветником Нектария, обвинявшего Артемия; епископа суздальского называет человеком пьяным и сребролюбивым, епископа ростовского, которому послали под начало товарища Артемьева Савву Шаха — пьяницею; Артемия же совершенно оправдывает, называя его преподобным, премудрым, честным.

К этому делу был привлечен Феодорит, апостол лопарей, бывший в то время архимандритом Суздальского Евфимиевского монастыря. Он был давний приятель Артемия. Они жили некогда вместе в заволжских пустынях и, по представлению Артемия, в бытность его игуменом троицким. Феодорит, по воле царя, поставлен был архимандритом. За строгость жизни, служившую укором для других, и за обличения монашеских слабостей Феодорита не терпели. Когда он апостольствовал в Лопской земле и основал

Кольский монастырь, монахи так на него озлобились за строгость (*не токмо жен, а ни скота единаго отнюдь женскаго полу имети тамо*), что нанесли ему побои и прогнали. Теперь, будучи архимандритом в Суздале, он вооружил против себя монахов, которыми начальствовал; злился на него и суздальский владыка за то, что Феодорит обличал его за сребролюбие и пьянство. По сказаниям Курбского, когда Нектарий и его соумышленники на соборном суде хотели очернить Артемия, последний требовал свидетелей; ему представили некоторых: Артемий отвел их, представив, что они недостойны свидетельствовать. Тогда указали на Феодорита и старца Иосифа Белобаева, ссылаясь на них, будто они слышали произносимые Артемием хульные словеса. Эти лица, напротив, оправдывали Артемия. Тогда суздальский епископ сказал: "Феодорит давний согласник и товарищ Артемия; он сам, быть может, еретик, с ним в одной пустыне проживал!" Как ни мало было доказательств на стороне врагов Феодорита, но тем не менее, по окончании соборного суда, его заслали в Кириллобелозерский монастырь, где суздальский епископ был прежде игуменом и где остались его ученики и сторонники. Там враги делали Феодориту поругания и бесчестия. Наконец, по ходатайству бояр, и в том числе Курбского, Феодорит был освобожден, прожив в Кириллове монастыре полтора года (Курбс., стр. 125).

Подозрение в неправославии и еретичестве также падало и на одного из членов собора, судившего Башкина и его единомышленников. Это был Кассиян, епископ муромский и рязанский. Он один подал голос за осужденных, доказывал несправедливость и пристрастие судей и особенно защищал привезенного из Соловок старца Иоасафа Белобаева. Когда зашла речь о необходимости сурового преследования еретиков вообще, все ссылались на книгу Иосифа Волоцкого: Кассиян один не только не восхвалял ее, но порицал. Возник спор. Принесли книги Иосифа. Царь и митрополит одобряли ее, все духовенство вторило им, один Кассиян восстал против всех и доказывал, что в Иосифовой книге неверные свидетельства. Духовенство озлобилось против него. Говорили, что Бог наказал его: у него отнялась рука, и он должен был уйти в монастырь, но не оставался там, потому что начал сеять развращение и говорил, что не следует называть Христа Вседержителем, что это грех. Сверх того, о нем сохранилась молва, что он оказал неуважение к мощам Димитрия Прилуцкого. Не каясь в своих еретических мнениях, этот архиерей навлек на себя божие наказание: у него повернулась назад голова и в таком болезненном состоянии он умер (Рук. Летоп. Арх. Ком. № 16).

II.

Появившаяся после Башкина ересь Феодосия Косого обыкновенно считается преемственно непосредственным продолжением прежней, то есть так называемой ереси Башкина. Но она имела с нею связь, во-первых, только по тому умственному брожению, из которого возникли разнородные толки, и в том числе толки Башкина и Косого, а во-вторых, потому, что Феодосий жил в заволжских пустынях, где сосредоточивалось это умственное движение. Тесной догматической связи между ними не видно. Единственный полный источник об этой ереси есть сочинение Зиновия, монаха Отенского монастыря (близ Новгорода), бывшего ученика Максима Грека. Зиновий подвергся участи, одинаковой со своим учителем, и был сослан в Отенскую пустынь. Сочинение это изображает, что к Зиновию приходят три последователя ереси Косого, крылошане Спасова (Хутынского) монастыря; двое были монахи: Герасим и Афанасий, третий мирянин, именем Феодор, ремеслом иконописец. Они изложили ему учение Косого, которое называют "новым". Достойно замечания, что пришельцы начали свою беседу с того, что жаловались на неудобовразумительность отческих книг (книжное писание закрыто) и высказали тем самым, что побуждение к произвольным толкам была потребность такого вероучения, которое было бы ясно и открыто для всех. Это учение, по их мнению, было преподано Косым. Вместе с тем, они заранее объявили, что новое учение уже успело достаточно распространиться и многими принято (от многих приемлемо и похваляемо). Видно, что мыслящие головы, вращаясь в религиозной сфере — единственной сфере, куда могла тогда устремиться умственная деятельность — затруднялись темнотою и неясностью, которую, при недостатке необходимого образования, встречали в книгах, и потому-то с готовностью бросались на всякую новинку, как скоро она излагалась в простом и удобовразумительном виде. Ересеучитель Косой выигрывал уже тем, что держал перед слушателями раскрытую книгу, объяснял из нее места и давал каждому читать и размышлять по произволу. "Что это за учителя епископы и попы — говорили его последователи и почитатели — учат, а книг в руках не держат; а Косого так сразу видно, что истинный учитель: в руках книгу держит, разогнет и прочтет и каждому самому даст прочитать (*Ложнии учители епископы и попы, понеже учат книг в руку не держат: сам же Косой посему истинна учителя себе сказует, понеже вруку имеяй книгы и шыа разгибаа комуждо писаниа дав самому прочиташи*). Не зная сущности православного учения, многие готовы были принимать

за истину все, что только им представят понятным способом, и крылошане очень наивно говорили, что еще такого учения, каким казалось им учение Косого, не было от создания мира. *(Глаголю никтоже от прежних учителей тако истину позна, не бысть инаго учениа такова учениа преже, якоже новое учение иже ныне явшееся в лете от созданиа седмь тысячном и шестьдесятном).* Те, которых неуспокоенный ум утомился от темноты, какую встречал в книгах, переходивших из поколения в поколение, естественно, увлекались новостью учения. Именно новое для них было привлекательно: но строгое православие в лице Зиновия обличало их, еще не зная того, что они предложат, но заранее осуждая все, что бы они ни сказали, уже единственно потому, что учение их новое. В глазах строго православного не могло и не должно было существовать чего бы то ни было нового в деле веры; и одно то, что оно новое, уже осуждало себя тем самым *(понеже именеваете учение се, и несть потребы на мнозе разсмотряти его от нареченна его едина; сие учение познаваемо есть, занеже именовати его новым учением, откровенно показует в нем являемое беззаконие и вельмы нечестие к Богу).*

Таким образом, в этом начале диспута православия с вольнодумством высказывались превосходно основания той и другой стороны, главнейшие черты из коренных стремлений. Одно требует довольства установленным, другое порывается к чему-то иному. Одно опирается на покорность авторитету, другое возмущается во имя свободной мысли. Одно, признавая божественное происхождение за откровением, строго-логически и последовательно почитает его крайним пределом мудрости в том виде, в каком оно сохраняется со всем своим развитием, совершившимся под признанным непосредственным участием верховной силы; другое, напротив, отступает от логической последовательности, признавая за вероучением божественное происхождение, однако же допускает свободное действие человеческого ума, и тем самым подрывает ту божественность, которую взяло за исходный пункт своего размышления.

Личность Косого и обстоятельства его жизни, рассказываемые его последователями, дают возможность обоим направлениям высказаться во взгляде своем, не только на религиозные, но и на социальные отношения. Выше мы заметили, что у нас вольнодумство, нагулявшись в религиозном кругу вопросов, переходило к общественным и политическим. Здесь это является в резких чертах. "Кто такой Косой?" спрашивает крылошан Зиновий. — "Он был раб" — отвечают крылошане *(раб единаго от слуг царевых).* Этого уже было достаточно, чтоб дать Зиновию возможность высказать понятие о рабе, принесенное к нам

из Греции и установившееся под влиянием местных условий. Он ссылался на слова Соломона, что земля понести не может, аще раб воцарится. Он ссылается на градские законы греческих царей, которые ему были известны в приложениях к кормчим, что рабам не следует доверять ни в чем и допускать их ко свидетельствам на суд. *(Законы градские отмещут от рабов бываемая свидетельства, не повелевают рабов на судища представляти во взыскании межи прящихся быти послухама).* При таком бесправии как же можно допустить раба к гораздо большему значению в общественной жизни — быть учителем? *(Како же раб учитель будет его же писание отмещет и закон отрицает?).*

В противность этому православному взгляду Зиновия на личность раба крылошане заявили противоположный взгляд свободной мысли. В оправдание Косого, в защиту прав раба, для них достаточно было сказать, что он уже не раб — освободился посредством ума своего и мужества: он обокрал своего господина и убежал от него. *(Зело свободу улучи Косой мужеством и разумом своим, поем бо коня и имение отай и шед от господина своего).* Понятие о свободе принимает в их глазах широкое развитие, нестесняемое тем, что признается долгом нравственности. Человек, будучи рабом, не только имеет право освободиться от рабства, но и вознаградить себя за работу тому, кому был порабощен. По понятию Зиновия, взятие коня и имения было уже преступление; последователи Косого находили, что он взял только свое. *(Конь его есть на нем же ездяше Косой и иже имение у него одежа и прочая особная от господиновых ему и яже взя у господина его, мзда есть его, понеже служил господину своему Косой, и яже притяжа имениа у господина мзда есть работы его).* Священное писание, снабжая доказательствами православие, доставляло их и противной стороне. В оправдание Косого крылошане ссылались, например, на Израильтян, бежавших из Египта. *(Понежа Израильтяне бежавшие Египта взяша египетское богатство разумом за мзду работы своеа).* Оправдавши для себя самовольное освобождение от рабства, раб идет далее и ломает закон, который держал его в неволе, во всех его дальнейших стеснениях свободы. Косой прибегнул к средству, которое характеристически издавна и до сих пор отличало и отличает русских бродяг; это — хождение под вымышленным именем. *(Еще бо прихожаше землю рождениа своего внегда идяше грады и места проименоваше новое имя себе, да не ouведан будет, и идяше учаше в граде коем или месте, соблюдаше себе и учеников своих от зазора множицею, и некиих учеников своих в черныя ризы облечаше и имена иные им налагаше, мясо ядеше точию с учениками своими, и в среду и пяток и в великие посты,*

и себе и своа учеников от зазора многих храня, сего ради в посты отай ноцию ядяще млеко и мясо. Сице имать Косой разум здрав и весть истину: всех учитель изряден). Здесь Косой является удалым молодцом. Как только они разрывали узы, привязывавшие их к общественному порядку, первая форма, с которой проявлялось такое удальство — было бродяжничество. У Косого приемы русского бродяги: побег от господина, снос господских вещей, перемена имени, умение притворяться и проводить других. Последнее качество считается признаком ума и смышленности по народному великорусскому понятию. Удалой молодец впадает в разбой; Косой проповедует ересь; между тем и другим не без аналогии: один разрушает спокойствие общественного быта, другой — спокойствие ума.

Убежавши от господина, Косой укрылся в монастыре на Белом-озере. В старой Руси случалось, что беглый раб, как скоро успевал ловко извернуться от преследования, легко возвращал себе во мнении других гражданские права: все прежнее легко забывалось. Сам прежний господин узнавал местопребывание Косого и угождал ему. Но вот, по обвинению в ереси, его взяли из Бела-озера с товарищами и посадили в монастыре в Москве. Это случилось после заточения Артемия. Тогда посадили с ними Игнатия, Вассиана, Порфирия. *(Поймоша самого Косого и Вассияна и Игнатия и Порфириа, а преж их Артемия и иных многих),* но арестованные успели освободиться. Косой приласкался к стражам, которым поручено было его беречь, довел их до того, что они за ним наблюдали чересчур слабо, и он убежал с своими товарищами. Косой, по известию его последователей, ушел в Литву; там он женился на вдове-еврейке и стал распространять свое учение с успехом. *(Ят же быв Косой, соблюдом в едином от монастырей московских, приласкав же ся хранящим, прием послабление от них и бежя в Литву отиде, идяше учаше новое учение, и браком законным оженися вдовицею жидовинею, поя и есть честен тамо и мудр учитель новом учению, познал истину паче всех, имеет бо разум здрав).*

Сущность учений Косого состояла в том, что он признавал Христа не рожденным свыше, а сотворенным, следовательно, отвергал его божественное происхождение, как единородного Сына Божия. "Как это — говорил он — дерзнули в *Верую* написать об Иисусе *рожденна* не *сотворенна*? А Петр апостол сказал, что Иисуса сотворил Бог; видите, сказал он: сотворил, а не сказал: родил. Недостойно для Бога, говорил он, находиться в женской утробе. Вот и Павел говорит: Един Бог — един ходатай Богу и человеком человек Иисус Христос". Указывал он на смысл заповеди: "не сотвори себе кумира" и проч. Он ссылался на бы-

тейские книги, на соломонову премудрость, на пророчества, называл идолами иконы, а божественную службу идольскою службою, церкви — кумирищами, отвергал пост, молитву, все отеческие предания и думал применить к Церкви слова св. Василия: "прельстив нас злый обычай и развращенное человеческое предание соделалось виною всякому злу" и проч. (*Како дерзнуша написати и вину глаголати в Верую во единаго Бога рождена и не сотворена Христа. Петр же глаголет, яко Христа Господа сотворил есть Бог сего Иисуса, а не глагола Петр, яко роди Бог, а не сотворил есть сего Иисуса. Разгибаа же Посланца Павла апостола показует писанаа: един бо есть Бог и един ходатай Богу и человеком человек Иисус Христос. Егда же бытейская книги носит разгибаа показует писаниа. Слыши Израиль: Господь Бог твой Господь един есть и писано есть: да не будут тебе Бози инии ризве мене. Не сотвори себе кумира и всего обличиа, еже на небеси горе и елика на земли низу, а елика в водах и исподи под землею, да ся не поклониши им ни да служиши им. В премудрости соломони и в пророческих книгах и посланием Еремиины разсказует иконы идолы быти, по Давиду и по Соломону и по прочих пророк, и церкви кумирницы и церковнаа служба идолская служба и пост непотребен молитва не подобна: вся та человеческая преданиа. Яко же и великий Василий в книге своей глаголет: тем же прельстил есть нас злейший обычай и великим злым вина нам бысть развращенно человеческое предание, и в начале слова сего, егда и еще не познав, глаголет, яко же на мериле, овогда убо семо, овогда же овамо, преклоняхся к иному, инако или к себе мя влекущу, ради многолетнаго человеком обычая или инако оттыкающу (?) ради иже в божественных писаниях познаваемыя истины. Глаголет же Косой: яко сиа глаголет Василие о правилах и о уставе, и разсужает от книг Косой: Богу единому быти, а не многим, и что Богу восхотети воплотитися, какоже и в чреве ему лежати женсте? И како сиа достойно будет Богу в месте таком калне лежати, и таким проходом проити?*).

Косой жаловался, что у них читают только одних отцов и не знают вовсе Ветхого завета. Сам Зиновий, возражая его последователям, мог указать на известность книг Ветхого завета только по парамиям, избранным для богослужения. Моисеевы книги Косой называл книгами столповыми и говорил, что их с умыслом не дают читать, что они лежат припрятаны в монастырях (*еще и зде в монастырех столповыя книги да сохранены и запечатлены лежат: не дают их прочитати и тая их от людей, а столповыя книги подобает прочитати, глаголет Косой*). Это важное значение, какое дает еретик главным книгам Ветхого завета, побу-

дило Руднева подозревать в ереси Косого тайное жидовство; но из смысла всего учения, изложенного крылошанами Зиновию, ясно, что он придавал им такое почетное наименование не с иудейской точки зрения, а думая найти в моисеевом учении о единобожии оправдание арианскому взгляду на личность Иисуса Христа.

Крылошане говорят, что Косой придавал важность книгам апостольским и побуждал их читать (*разгибая книгы апостольския дает прочитати писанное*). Только послание Павла к евреям еретик считал неподлинным; известно, что западные протестанты заподозревали это сочинение Нового завета. (*Косой не повелевает прочитат посланиа Павла ко евреям, понеже мудро еще мнится не апостола Павла посланиа, но иного некоего Павла*).

Вопреки православному учению о том, что человек создан бессмертным, что человек пал и вследствие этого возникла необходимость обновления, которое могло совершиться только божеством, еретик толковал, что человек создан смертным, как и прочие животные. (*Что есть сие еже умрет человек? Не умирают ли рыбы великия в море и гады и кит, також птицы небесныя, и звери и лвы и слоны великиа на земли; вся та создание Божие якоже и человек*). Против догмата об искуплении и обновлении человека Иисусос Христом еретическое учение указывало на то, что состояние человеческого естества не изменилось после пришествия Христова, и человек так же, как и прежде, подвержен недугам и смерти, (*Что убо глаголеши поновити Богу обетшалый образ свой и создание его падшее, вдвигнути ему и справити. Не глаголеши же что обетшание образу? что же ли зданию падение? Како же ли поновление и возвижение и исправление ему? И како образ Божий в человеке истле? Человеком живущим единако и пребывающим, якоже от начала, такоже и по Христове пришествии, таже человеком пребывающим и живущим, ражающимся и умирающим, елицы веществом здрави бываху человецы — здрави и до смерти пребывают; елицы же человеци впадают в недуги, тии истлевают различно. Которое убо тому поновление или вздвижение есть! Всем также пребывающим человеком: яко же до пришествия Христова, такоже и по пришествии его?*). Не принимая вовсе необходимости обновления, ересь находила, что если бы даже допустить такую необходимость, то все-таки Богу незачем было воплощаться самому: он мог совершить это и без воплощения? Еретики находили непоследовательность между тем, что Бог сотворил человека не воплощаясь, а обновить его и исправить испорченное должен не иначе, как приняв на себя плоть. (*Глаголеши, яко Бог рукою своею созда Адама, обновити же прииде Сын Божий воплотися и исправити создание свое. Почто убо*

сам приходит во плоти? можаше бо рукою своею и паки поновити образ свой и не воплотяся). "Не вы ли сами утверждаете, возражал он православным, что Бог всемогущ и все сотворил своим словом; зачем же он не обновил своим словом и образ свой и подобие? Он все может творить и без вочеловечения. *(Словом вся сотвори: чего ради образ и подобие словом не понови, и кроме вочеловечения, вся моги яко Бог?).*

Косой восстал против поклонения иконам и приводил слова Давида: "Идоли язык сребро и злато дело рук человеческих, очи имут и не видят, уши имут и не слышат, воздри имут и не обоняют, уста имут и не глаголют, руки имут и не осязают, ноги имут и не ходят". Это, по толкованию Косого, Давид пророчествовал об иконах; и у них, как у идолов, написаны очи, и уши, и ноздри, и уста, и руки, и ноги, и не могут ими действовать. Вы иметуете себя православными, а вы идолослужители: поставили церкви и утвердили на стенах изображения мертвых. В премудрости соломоновой говорится об идолах: "прогортающее красками и червленаа творяще баканы цвета того, украсив его всяко и сотворит ему по нем обитание, на стену возложив, железом укрепить да не падет, зря и ведя, яко не может помощи, образ бо есть и треба есть тому помощи, и от существа своего, и от сынов своих, и от браков обеты творяще, не срамится глаголати к бездушному, за исчеление его немощного молится и за живот молит мертваго, на помощь призывает, пути просит у него иже ходити не может". Косой применял это к иконам *(не красками ли суть помазаны иконы, и позлащены також, и обитание иконам також сотворяют и на стене укрепляют железом же, и несть не по идольскому ничесоже о иконах сотворено).* Чудеса от икон ложны, как Никон пишет в своей книге о ложных знамениях *(яко от сопротивнаго действа чудеса бывают на прельщение).* Пусть бы изображения были почтенны; но все же они не Бог, а православные почитают иконы равными Богу*). "Никола не равен Моисею, а православные Николу как Бога почитают". Он восставал против построения церквей, поклонения святым и составления им служб, *(Не подобает почитати человеки умершие, аще и праведницы будут, еже творят именующиися православнии, умысливше им всенощные и каноны и тропари, яко отселе несть веление в писании — глаголет Косой. Именуют себе Русь православная, а они паче человекослужители и идолослужители, понеже храмы поставиша, и в них иконы мертвых аки идолы утвердиша на дсках, и мертвеци положиша с*

* По неразумию простоши из народа, а не православные.

ковчеги в церквах их,всем на видение и соблазн, нарекше преподобными и праведными и святыми, уставивше сами поют им канон и прочитают написавше житие их, и молятся мертвым, и просят от них помощи, свечи зажигают, кадило приносят, и отводят людей от Бога к мертвецам; и люди в том обычаи Бога забыша, токмо едино служение мертвецем и иконам навыкоша служители. Бога же не видят ниже могут ведати, понеже во идолослужение впадоша). Слова Христа о последователях его, которые чрез то будут с ним едино, как он со Отцом едино есть, они, еретики, относили единственно к апостолам и не распространяли на тех, которые были после них. *(Тая Христос о апостолех своим глаго́ла, а не о тех, иже после апостолов быша вернии в Христа).* Косой укорял православных за поклонение мощам, находил, будто в самых книгах православных отцов есть место, воспрещающее оставлять тела умерших вне земли, ссылался на Никифора, патриарха константинопольского, на житие Антония Великого, который порицал обычай погребения у египтян; указывал на то, что тело самого Господа было погребено под землею. *(Аще истинна быти глаголеши отеческаа писаниа и правила, и Духа Святаго законоположение суще правила почтоже православнии не хранят правил: чрез правила усопших мощи в церквах имеют и почитают их, аки святых? Патриарх бо Царя Града Никифор правило о сем уставил есть, глаголя сице: яко отесле аще и приязнно постничество или мученик будет, яко мертвец да почитается, а не яко свят; и в житии великаго Антония повествуется сице: египтяне бо умирающих спешных телеса паче же святых мученик любят сохраняти их и обвивати понявицами и не скрывати под землею, но на обрех полагати и хранити у себе, мняще теми почитати отшедших. Антоние же многажды о сем и епископы моляще заповедати людям, и обладающиа вооражаше, и женам прещаше, глаголя: несть законно, ниже всячески подобно суще се: патриаршеская бо гробница пребывают доселе, и самого же Господа тело во гробе положиша и камень положный окры и, донележе вста тридневно, глаголя; показаше ясно беззаконно творяще, еже не скрывают тела умерших, либо и свята суть. Что бо боле или святее тела Господня? Мнози же убо слышавше сокрыша под землею и благодарствиа дааху Богу добре научени; се и Антоние и Никифор возбраняют не погребати и читати, аще и святых учителей телеса будут).* Ученики Косого, приводя эти слова своего наставника, спрашивали: "Чем же разнствует Косой от этих ваших православных учителей? Не то же ли самое и он говорит, чему они учили?" Когда православные толковали, что они почитают не мертвых, но живых, пребывающих в вечной жизни,

еретики утверждали, что не следует поклоняться тоже и живым, и указывали на пример Петра, который воспретил вошедшему Корнилию кланяться себе, и на апокалипсис Иоанна Богослова, где ангел вообразил Иоанну поклонение (*понеже писано есть сие: Петр бо апостол внегда вниде к Корнилию и Корнилие, пад, поклонися Петру. Петр же взбрани Корнилию поклонение, якоже в деянии их пишет: также апостол и в апокалипсисе ясно: внегда поклонися Иоанн ангелу, ангел же избрани Иоанну поклонение. Се убо писаному сему не внемлют православнии*).

Косой отвергал церковные уставы, пение, тропари, поклоны и все вообще наружные обряды и применял к ним слова Василия, приведенные выше о злейшем обычае и развращенном человеческом предании: ни в евангелии, ни в апостольских сочинениях нет правил; их сложили епископы — поэтому они человеческие предания. Косой называет монастыри человеческими преданиями и по-своему толкует св. Василия. (*Монастыри — человеческая предания и в них законы и уставы по своих воль обычаю предаша, в посных же Василий глаголет: яко да сподобимся благодати Господа Бога нашего Иисуса Христа и учительством св. Духа, отскочивше убо от своих волий и обычаев человеческих, преданий назирания, приложишеся Евангелию блаженнаго Бога нашего, благоугодне тому поживше и прочее, монастыри же в Евангелии и законы их и уставы несть писаны, и от тех убо волей обычая и тех человеческих преданий назирания глаголет Василие отскочити*).

Замечательно, что еретики постоянно старались находить подтверждение своих идей в писаниях св. Василия, одного из столпов православной Церкви, как будто бы желая поражать враждебное учение собственным его оружием. Они, ссылаясь на слова того же Василия, укоряли Церковь в разногласии и употребляли для этого выражения того отца Церкви, которые православные относили к ересям. Но, вместе с тем, в самом Василии Косой отыскал противоречие себе самому. "Василий, толковал он: в одном месте говорит, что всякое согрешение, хотя бы и малейшее, принимает неотложно месть. В другом месте он назначает епитемии за разные согрешения, то великие, то малые. Что-нибудь одно из двух: или же он себе противен; либо равно должны наказываться согрешения как великие, так и малые; либо отпускаются согрешения по правилам; либо это слово и правило, которое вы ему приписываете, не им написано".

Еретики таким образом обличали православное духовенство: "нет у вас единомыслия; не соблюдается, как велит Василий, союз мира; не хранится крепость духа, но обретаются раздвоения, ссоры, ревность; великая дерзость будет называться чле-

нами Христовыми, поставленными от Христа в начальство. Просто, надобно сказать, плотское мудрование царствует у ваших игуменов, епископов и у митрополита; нет духа кротости,оттого они и нас гонят, запирают в тюрьмы, не дают нам узнать истины, а утверждают свои предания. Повелевают не есть мяса и не жениться, возбраняют исполнять евангельскую заповедь, которая ясно говорит: "не входящая в уста сквернит человека", и заповедь апостольскую об изженных совестию, возбраняющих женитися и удалятися брашен. По этому всему, не следует слушать епископов, когда учат преступать заповеди, как и сами их преступают, а только прилежат пению, да канонам, чего в евангелии не показано хранить и творить. Они отвергают любовь христианскую, именуя нас еретиками, мучат нас, а в евангелии не велено мучить и еретиков, как указано в притче о сельных плевелах; они же гонят нас за истину".

Учение Косого было, таким образом, отрицание всего, что составляло сущность православия. Его последователи выражают его в сокращении такими словами: "Учить Косой сиа повелеваа человеком на земли, отца себе не именовати, но на небеси Бога Отца себе именовати, и кресты и иконы сокрушати, и святых на помощь не призывати, и в церкви не ходити, и книг церковных учителей и жития и мучений святых не прочитати, и молитвы их не требовати, и не каятися, и не причащатися, и темианом не кадити, и на погребение от епископ и от попов не отпеватися и по смерти не поминатися".

Преосвященный Евгений, в своем "Словаре писателей духовнаго чина" (т. 1, 191), видит этих беглецов в лицах трех проповедников реформационных идей, пришедших из "Московии" в Витебск. Об этом говорит польский писатель, протестант XVII века, Адриан Венгерский, писавший под вымышленным именем Регенвольского (Regenvolscius). В его книге "Systema Historica Chronoegicum" на стр. 262-263 рассказывается, что в 1552 году из Московии прибежали в Витебск три монаха греческой веры: Феодосий, Артемий и Фома. Несмотря на то, что они не знали другого языка, кроме отеческого, с успехом распространяли они протестантское учение и возбуждали народ к истреблению икон, называемых ими идолами, сначала в частных домах, а потом и в церквах, и научали признавать одного Бога, чрез посредство Христа, при помощи св. Духа; но потом, когда духовные восстали против них и возбуждали против них верную часть народа, начав угрожать им огнем и мечом, они ушли из Витебска в дальнейшую Литву. Артемий приютился у слуцкого и копельского князя Юрия. Феодосий, уже восьмидесятилетний старик, скоро умер. Фома, красноречивейший и ученейший более других сде-

лался пастором в Полоцке и потом был утоплен в Двине Иваном Грозным. Их учение не осталось бесплодным:

"In districtu Albae Russiae A. 1552 e Media Moscovia tres Monachi Graecanii ritus habitusque vulgo szernci; quasi nigritae appellatis videlicet Theodosius, Artemius et Thomas, Vitepseiam Albae Russiae amplissimam et celeberrimam civitatem appulerunt. Hi nulla alia lingua praeter maternam nullousque literis aliis praeter patrias instituti, idolatricos cultus damnare, idolla primum quidem e privatis laribus mox e publics delubris confracta eicere, populum as invocationem solius Dei per Christum, auxilio S.Sancti, voce et scriptis revocavere. Verum, cum in primo, propagandae purioris religionis fervore, odium et furorum superstitiose, et imagunculis perquam addictae plebis ferre haud possent exstimulantibus sacrificulis Graecanicis, qui ferrum et ignem, omnibus eorum sectatoribus minitabantur extulere inde pedem in interiorem Lituaniam delati, ubi jam paulo liberius vox Evangelii personabat. Ac Theodocius quidem senio confectus, atque octuagenario major, non multo post ad superos migravit. Artemius autem ad Georgium Ducem Slucensem et Copylensem se contulit. Porro Thomas caeteris eloquentior et cognitione sacrarum instructior, ad ministerium Evangelii promotus atque Polociam, paucis post annis, ubi jam doctrina purior pulullare caeperat ad instituendos, et in vera cognitione ac pietate confirmandos fideles, missus est. In qua vocatione fideliter per aliquot annos purgens, et constanter persevarans, morte sua et sanguine, fundamenta jactae doctrinae conspersit et confirmavit. Cum enim Johannes Basilides Magnus Moscoviae Dux et Tyrannus A. 1563 idib. februari Polociam expugnasset en in cives gravius desaeviret, etiam in probum illum Christi praeconem exemplum crudelitatis statuere decrevit eoque gravius quod hominem suae nationis suaeque religionis aliquando fuisse, jam autem in diversa de religione sententia et manere et constanter perseverare, fando accepisset. Is igitur eductum in flaciem Dunae fluvii, fuste prius capit ejus illiso in aquam, glacie perfracta, ubi flumen erat vorticosius praecipitandum curavit. Sed neque ex cordibus Vitepsciensium verbuma Monachis illis, non sine divino numine sparsum, rediit vacuum. Nam gustato verbo Dei, pertaesi idolatricorum cultuum cum ex Lituania, tam ex Polonior V.D. ministros et purioris religionis praecones, non multa interposito mora, accersiverunt, atque domum publicam audiendis sacris concionibus invocando Divino Nomini, administrandisque sacramentis, in inferiori castro prope templo Nativitatis, Christi, unanimiter ereserunt. Ad eo tempore et Polocia urbs regia Christo ejusque verae Ecclesiae hactenus praebuit hospitium".

(Systema historico-chronologicum Adriani Regenvolsii Wegierski, pag. 262-263).

Об этих чернецах-учителях реформационного направления говорится в книге "Antelenchus", именно: "когда уже однажды брошены были семена лжеучения, чорт принес московских чернецов, которые подлили того же яда".

Едва ли с достоверностью можно сказать, что эти упоминаемые у Адриана Венгерского московские вольнодумцы были те самые, о которых идет у нас речь. Вот почему можно так полагать:

1) У этого писателя приход московитян в Витебск относится к 1552 г., следовательно, прежде суда над Феодосием Косым и Артемием.

2) Феодосий представляется стариком 80-ти лет, а у Зиновия говорится, что он женился в Литве: факт, если не совсем невозможный, то уже слишком исключительный.

3) Об Артемии, игумене троицком, Курбский говорит с уважением, а этого не было бы, если бы Артемий был действительно неправославен.

4) Косой отвергал божество Иисуса Христа, а пришедшие из Москвы монахи у Адриана не представляются такого рода еретиками. Гораздо вероятнее, что нашего Феодосия следует видеть в том, о котором говорит Курбский в своем письме к Чаплию (Сказ. Курбск. II. 186), упоминая о нем вместе с Игнатием, действительно ушедшим с Косым. Курбский представляет их действительно не только протестантами, но и еретиками, и поясняет, что они отступили от православия ради своих жен.

ИВАН СУСАНИН

(ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

"В житии семь не мало, но много писано неправды, и того ради аще бы от части нечто было и праведно писано ни в чесом же ему верити подобает".

(Из соборнаго приговора 1678 года об одном апокрифическом житии).

В важнейших исторических событиях иногда надобно различать две стороны: объективную и субъективную. Первая составляет действительность, тот вид, в каком событие происходило в свое время; вторая — тот вид, в каком событие напечатлелось в памяти потомства. И то и другое имеет значение исторической истины: нередко последнее важнее первого. Также и исторические лица у потомков принимают образ совсем иной жизни, какой имели у современников. Их подвигам дается гораздо больше значения, их качества идеализируются: у них предполагают побуждения, каких они, быть может, не имели вовсе, или имели гораздо в меньшей степени. Последующие поколения избирают их типами известных понятий и стремлений. Это совершается не только с теми отдаленными от нас героями богатырских времен, которые, под влиянием чудесного, вырастают в размеры и образцы, чуждые естественной возможности, но и с лицами времен, более близких к нам. Способ их идеализования зависит от общества, в котором оно совершается; если в этом обществе сохраняется еще вера в чудесное во всей своей полноте, то все великое, выступающее из житейского уровня, относится более или менее к области произвола непостижимых сил; тогда субъективное воззрение такого общества на исторические личности принимает до известной степени мифический характер. Но в

таком обществе, где критика мысли допускает различие между возможным и невозможным входить в область давно прошедшего, — историческая личность принимает формы, сообразные с желаниями нового времени, формы, сосредоточивающие в себе различные черты, только родственные с действительно находимыми в личностях признаками, но не те самые, какие в этих личностях были на самом деле. Действительность, передаваемая в скудных известиях, украшается выдуманными подробностями; к событиям, на самом деле происходившим, прилагаются вымышленные, но тем не менее возможные в ходе жизни, и тогда историческая личность, сама по себе темная, светлеет и делается как будто бы типом стремлений известной эпохи, а в самом деле выражением того, что давней эпохе хочет дать новое время. К таким личностям принадлежит в русской истории, между прочим, Иван Сусанин, мученик царизма, спаситель избранной династии Романовых, в лице их первого венценосного прародителя, — идеал гражданского подвижничества, до которого только мог возвыситься крестьянин в самодержавном государстве; — личность, принявшая венец бессмертия и в думе поэта, и в превосходном музыкальном произведении; — личность, общеизвестная русской гражданской памяти и дорогая русскому сердцу до тех пор, доколе оно не перестанет биться завещанными от праотцев любовью и верностью к царям своим; — личность, за которою признано право красоваться на памятнике тысячелетия России, наряду с великими двигателями русской исторической жизни. Как смотрит на него наша наука, — указывает статья одного из передовых деятелей по русской истории, Пл. Вас. Павлова: "Тысячелетие России", помещенная в месячеслове за 1862 год. Напрасно поляки пытались отделаться от нового русского государя убийством; самоотвержение крестьянина Ивана Сусанина спасло жизнь, столь нужную тогда для России. Обстоятельства избавления России от иноплеменников и избрание Михаила Федоровича имеют глубокое значение. Кто освободил Россию? Русский народ, в лице нижегородского мясника. Кто избрал на московский престол царя? Также русский народ в лице выборных Земского собора. Кто, наконец, спас жизнь избранного всею Землею царя? Опять тот же русский народ, в лице мужика" (Месяцеслов на 1862 год, стран. 32).

Представлять себе личность Ивана Сусанина выше уровня массы, соображать его героем, спасителем царя и отечества, благоговеть пред его высоким подвигом самоотвержения мы привыкли со школьной скамьи, ибо нам об этом сообщали учебники.

В учебнике Константинова (1820 год), бывшем некогда в употреблении в учебных заведениях, говорится: "Таким обра-

зом Михаил Федорович, спасенный в уединении своем от преследования буйствующих Поляков, крестьянином Иваном Сусаниным, венчался на царство" (стран. 139). Красноречивый Кайданов, на 177 странице своего учебника русской истории (издание 1834 года), выразился так: "Спасенный от преследования Поляков усердием и верностью крестьянина Ивана Сусанина, как орудием Провидения, и сопровождаемый любовию и благословением своих подданных, юный царь прибыл из Костромы в Москву".

Устрялов на 298 стран. 1 тома своей истории говорит:

"Жолковский, опасаясь прав Михаила, отдал его Гонсевскому; он находился в Москве до прибытия Пожарскаго, испытав все бедствия осажденной столицы. Когда общий голос призвал его на царство, шайка Поляков хотела умертвить его; он спасен незабвенным Сусаниным".

Когда ученики в классе нуждались в устном объяснении общего известия о спасении царя Михаила Сусаниным, учителя обыкновенно рассказывали им, что Поляки, узнав об избрании Михаила, отправили отряд умертвить его, но крестьянин Иван Сусанин взялся проводить их, и вместо того, чтобы привести их в то место, где жил новоизбранный царь, завел их, зимою, в лесную трущобу, и там был замучен поляками; между тем царю дали знать об опасности и царь был спасен. Так объясняли нам это событие в начале тридцатых годов; так объясняют еще и теперь некоторые учителя.

Когда мы захотим обратиться к современным, первоначальным известиям о таком безмерно-важном событии, то прежде всего поразит нас то, что ни в русских, ни в иностранных тогдашних сочинениях, несмотря на множество подробностей, хорошо очерчивающих эту эпоху, нет ни слова об этом происшествии. Единственный источник, откуда взят этот, теперь общеизвестный и многознаменательный для нас факт — грамота, данная *по совету и прошению* матери царя Михаила, 1619 года, ноября 30, крестьянину Костромского уезда, села Домнина, Богдашке Собинину, где говорится:

"Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, в прошлом 121 году были на Костроме и в те поры приходили в костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина, литовские люди изымали и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Русии, были, и он, Иван, ведая про нас, великаго государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великаго государя,

тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти" (Собр. Г. Грам. III, 214). Царская милость, оказанная зятю Сусанина, состояла в том, что по жалованной грамоте велено "половину деревни Деревнищ, на чем он, Богдашко, ныне живет, полторы чети выти земли велели обелить; с тоя полудеревни, с полторы чети выти на нем на Богдашке и на детях его, и на внучатах и правнучатах, наших никаких податей и кормов, и подвод, и наметных всяких столовых и хлебных запасов, и в городовые поделки и в мостовщину и в иныя ни в какия подати имать с них не велели; велели им тое полдеревни во всем обелить и детям их и внучатам и во всей родне неподвижно. А будет то наше село Домнино, в которой монастырь и по отдаче будет и тое полдеревни Деревнищ полторы чети выти земли, и ни в которой монастырь с тем селом отдавать не велели".

В 1633 году дана была другая грамота вдове Богдана Собинина, дочери Ивана Сусанина, Антониде, с детьми ее, с Данилком, да с Костькою. Несмотря на то, что прежняя грамота 1619 говорила ясно о ненарушимости права Собинина и его потомков в случае, если бы село Домнино было отдано в монастырь, когда действительно произошло последнего рода событие и село Домнино пожертвовано было матерью государя в Новоспасский монастырь, новоспасский архимандрит не считал слишком важною привилегию Собининых и принадлежащую им *полдеревни Деревнищ очернил и всякие доходы на монастырь емлет.* Тогда царь дал Собининым вместо наследственных Деревнищ, села Красного, приселка Подольского пустошь Коробово, а в ней пашни паханые, худые земли три четьи, да перелогом и лесом поросло тринадцать четьи, и всего пашни паханые и перелогом и лесом поросло осьмнадцать четьи в поле и в дву потому ж, сена по заполью и меж поль семьдесят копен. В этой грамоте история Ивана Сусанина повторяется почти до слов так же, как и в прежней грамоте ("Собр. Государ. Грам." III, 334).

В 1641 году была дана Собининым снова жалованная грамота. Она напечатана и хранится у потомков Собинина.

Смысл ее известен из грамоты императрицы Екатерины II; там говорится, что "к ней вдове Антониде и к детям ея и внучатам ея в деревню Коробово воеводам, сыщикам и никому ни для каких дел, как самим въезжать, так и посланных посылать не велено". Собственно к истории Ивана Сусанина и здесь нет никаких добавлений против первоначального известия.

В 1691 году, от имени царей Иоанна и Петра, выдана была еще подтвердительная грамота, в которой история Сусанина рассказывается в том же виде, как и в первой. В подтверди-

тельной грамоте Екатерины II, декабря 8-го 1767 г., повторяется то же.

Наконец, и в последней из жалованных грамот Собининым 1837 г. от императора Николая Павловича, нет ничего нового против прежнего.

Вот все, что проходило путем официальным об этом событии в течение более двух веков. Источник его единственный — первая грамота 1619 года.

До XIX века, сколько известно, никто не думал видеть в Сусанине спасителя царской особы, и подвиг его считать событием исторической важности, выходящим из обычного уровня.

В 1804 году в "Географическом словаре" Щекатова, в 3-м томе под статьею "Пустошь Коробова", на странице 748, рассказывается следующее.

Когда избрание российского государя упало на боярина Михаила Феодоровича Романова, тогда гонимые из всех российских стран Поляки, уведав, что избранный государь находился не в городе Костроме, а в отчине своей бывшей в Костромском уезде, почли сей случай к погублению его удобнейшим. Итак, собравшиеся в немалом числе бегут прямо к селению, не сомневаясь найти в нем молодого боярина. По прибытии в оное, встречается с ними дворцового села Домнина крестьянин Иван Сусанин; хватают его, спрашивают о месте пребывания искомой особы. Поселянин, приметив на лицах начертанное злонамерение, отговаривается незнанием; но Поляки, удостоверены быв прежде, что избранный государь подлинно находится в оном селении, не хотят крестьянина отпустить из рук живого, если он истинного места не объявит. Злодеи его мучат и отягчают несносными ранами; однако все сие не сильно было принудить к открытию столь важной тайны верного крестьянина, который еще указывает им разные другие места, дабы долее тем от поисков их удержать. Наконец, по претерпении многих мучений от сих злодеев, страдалец наш лишается жизни, коею, однакож, спасает жизнь своего государя. По вступлении на престол царь Михаил Федорович в награждение за оказанную сим крестьянином верность даровал потомству его в вечный род вольность пользования, пожаловал землею и уволил от всех податей, присовокупив к тому, чтоб они по делам их, кроме большого дворца (который после того перенесен был в дворцовую канцелярию) нигде судимы не были. Высокие преемники его престола всегда подтверждали сии данные им преимущества особливыми грамотами, что и блаженные памяти императрица Екатерина II утвердить изволила грамотою, за собственноручным своим подписанием, чем неоспоримо доказывается верность сего анекдота".

По последнему выражению, что грамотами доказывается верность сего анекдота, незнакомый с грамотами мог в самом деле подумать, что все, описанное в рассказе Щекатова, изложено в этих грамотах, тогда как здесь заключаются обстоятельства, не только ненаходящиеся в первой грамоте, единственном источнике об этом событии, но еще противны ей. Таким образом, в грамоте царской говорится, что царь был тогда на Костроме, а у Щекатова он не в Костроме, а в Домнине. Повод к такому искажению действительности очевиден: Кострома был город укрепленный; Михаил Федорович был в нем безопасен; если приходили на него польские и литовские люди, то надобно допустить, что они являлись не в таком числе, чтоб могли предпринять осаду и приступ к Костроме, и в таком случае событие уж не могло бы пройти незамеченным историей. А если Михаил Федорович был безопасен *на* Костроме (собственно он находился в Ипатьевском монастыре), то Сусанину не из-за чего было подвергать себя мучениям и не объявлять полякам, где царь. Для отстранения такой несообразности кто-то (сам ли Щекатов или тот, от кого он заимствовал) и выдумал, будто царь Михаил Федорович находился тогда в селе Домнине. В описании Щекатова Поляки идут в село Домнино, уже зная, что Михаил там, и пытают крестьянина Сусанина в самом селе, чтоб отыскать, где спрятался царь. Сусанин, чтоб продлить время, указывает им разные места, чтоб их удержать от поисков. Независимо от того, что в грамоте нет вовсе того, чтоб Сусанин Полякам, пытавшим его, указывал какие-нибудь места, рассказ Щекатова несообразен с возможностью течения самого дела. Если Поляки пришли в село Домнино, где находился в то время царь, то уж, конечно, нашли в этом селе не одного Сусанина, который был притом житель не самого села, но выселка из этого села. В таком случае они пытали бы и мучили не одно лицо, а многих; тогда и обельная грамота была бы не одному семейству, а многим, быть может, и целому селу, ибо все село, без изъятия, достойно было бы возмездия за то, что в нем не нашелся ни один изменник или трус. Наконец, самое намерение Поляков и Литовцев погубить Михаила Федоровича есть уже произвольная догадка, ибо в грамоте не говорится, *зачем* Поляки спрашивали о нем Сусанина. Ясно, что, не довольствуясь коротким и в самом деле неудовлетворительным известием о событии, изложенном в грамоте, хотели дополнить эту скудость плодами воображения, да не сумели. Но у Щекатова еще первый шаг: гораздо далее его пошел в вымыслах историк Глинка.

В VI томе его "Истории", на 22-24 страницах, повествуется следующее:

"Поляки, продолжавшие буйствовать в русских областях, узнав о единодушном избрании на престол Михаила Федоровича Романова, решились его погубить. В это время Михаил находился не с матерью в Ипатьевской обители, но в костромском своем поместье. Многочисленное скопище врагов туда устремилось. Уже убийцы недалеко были от нареченного царя, но Бог оградил его непобедимой стражей — любовью и сердцами россиян. Враги, не зная куда идти, остановили встретившагося им крестьянина. Благодарность сохранила имя его: он назывался Иваном Сусаниным и был уроженцем села Домнина. Различными околичностями расспрашивали они о месте пребывания Михаила. Остроумный Сусанин, проникнув лесть и коварство врагов, сказал: "ступайте за мной, я проведу вас в царское поместье". Скопище злодеев спешит за ним. Великодушный Сусанин ведет их совсем в противоположную сторону, по лесам и по снегам глубоким. Утомленные враги подкрепляются вином; Сусанин одушевляется верою и верностью. К полуночи очутились они в непроходимом лесу. Злодеи возроптали на Сусанина. "Ты обманул нас", воскликнули они. — Не я, отвечал Сусанин, вы сами себя обманули. Ложно мыслили вы, что я выдам вам нареченнаго государя. Михаил Федорович спасен. Вы далеко от его поместья. Вот голова моя. Делайте со мной, что хотите. Поручаю себя Богу. — Сусанин умер в лютых муках и истязаниях. Вскоре и убийцы его погибли".

В начале Глинка сходился с Шекатовым, ибо приводит Михаила в Домнино, но далее поясняет, что Михаил находился там не с матерью; это пояснение — новое произвольное искажение истории, дополняющее прежние искажения, ибо из современной грамоты известно, что Михаил находился в Костроме, а не в Домнине, и вместе с Марфой Ивановой, своею матерью, а не без нее. Далее Глинка уже совершенно независим от Шекатова.

Рассказ Глинки несравненно правдоподобнее шекатовского, но зато еще произвольнее. Необходимо было произвесть Сусанина в звание спасителя царской особы, в идеале народной доблести: нельзя было придумать ничего удобнее того, что придумал Глинка! Сусанин берется вести Поляков в Домнино, где находился царь; а заводит их в другую сторону. Ловко выдумано, но как мало этот вымысел соглашается с смыслом самой грамоты! И как неудачны эти попытки составить амплификацию короткого известия, сохранившегося в грамоте! Вот уже из одного Сусанина — Сусанина грамоты, неясного, возбуждающего вопросы — сделалось два различные Сусанины: Сусанин Шекатова и Сусанин Глинки. Оба Сусанина действуют в разных местах и разными способами: шекатовский отличается своим

подвигом в самом селе Домнине; Сусанин Глинки обязывается вести Поляков в Домнино и ведет их в другое место; первое, как мы сказали, и нелепо, и противно грамоте; второе при большей художественности построения, все-таки не сходится с грамотою; царь Михаил сам говорит в своей грамоте, что он был в Костроме и при том с своею матерью, а не в Домнине. Но в Кострому Сусанин не мог вести Поляков: это совершенно было бы неудобно. Что-нибудь одно: если Поляки действительно приходили, то или их было много, или мало; но их никак не могло быть много, ибо об этом, как мы сказали, верно, что-нибудь сохранилось бы; а если мало — то что они могли сделать в Костроме. Тогда Сусанину не нужно было заводить их в другое место: ему можно было исполнить желание Поляков и вести их прямо в Кострому, а между тем только стоило дать знать в город — и враги попались бы сами в сети. Да притом в Кострому лежала торная дорога: тут не нужно было особых вожей. Есть ли в грамоте что-нибудь похожее на то, что Сусанин был вожем прибывших Поляков? Нет ни следа. Там говорится только, что польские и литовские люди поймали Сусанина и стали пытать, допрашивая, где Михаил. Он не сказал им и был замучен. Уместна ли при этом сказка о том, что он взялся их вести? Зашедши в Костромской уезд, польские и литовские люди не знали, где Михаил, следовательно и не могли нуждаться в воже: им нужно было прежде узнать, где тот, кого им нужно, а потом уже искать туда пути. Так в грамоте и стоит: Сусанин погиб за то, что не сказал полякам, где царь, следовательно, не мог вести их: иначе он бы прежде сказал им, где царь или сказал бы ложно, и повел их туда, куда указан путь, но где царя не было, или же сказал бы истину да повел их не туда, куда взялся вести: и в том и другом случае не так бы выразилась грамота. Чтобы допустить возможность такого анекдота, как у Глинки, надобно уничтожить силу грамоты, единственного источника об этом событии.

Между тем, с легкой руки Глинки, анекдот о том, что Сусанин завел поляков, искавших головы Михаила Федоровича, не туда, куда им было нужно идти за этим важным делом, и за это положить живот — анекдот этот сделался более или менее общепризнанным фактом.

Бантыш-Каменский, в своем "Словаре достопамятных людей в России", для биографии Сусанина ничего не нашелся сказать, как буквально перепечатать рассказанное Глинкою.

Между тем, миф о сусанинском подвиге развивался далее и принимал новые, более рельефные образы: в 1840 году издано сочинение: *Взгляд на историю Костромы*, князя Козловского; на странице 94-96 этой книги вот как рассказывается история Сусанина.

"Поляки и Литовцы, разорявшие Россию, узнав об избрании Михаила на царство, вознамерились схватить его и отправить в Польшу, или умертвить. Для чего один из начальников бродящих и грабивших отрядов их пустился к Костроме, в вотчину Романовых. Время тогда было ненастное, начинало вечереть, как поляки, сбиваясь с дороги, встретили близ деревни Деревниц крестьянина Ивана Сусанина и спросили его о дороге в село Домнино, к боярскому двору, где тогда был юный Михаил. Умный Сусанин, подозревая коварство их, решается спасти Богом избраннаго Михаила, вызывается сам проводить их и, между тем, показывая, будто чего-то ищет, успевает приказать зятю своему, чтоб он как можно скорее спешил в Домнино для уведомления Михаила о предстоящей ему опасности, — сам, помолясь Богу и препоручая себя его святой деснице, ведет злодеев в противную сторону, притворяясь, что ищет дороги, в темноте будто потерял, блуждая с ними по болотам и глубоким оврагам; наконец, рассчитывая, что Михаил уже мог окольными дорогами удалиться в Кострому, прекращает нетерпеливость поляков объяснением, что он их с намерением завел в противную сторону, дабы этим спасти жертву их. Варвары уговаривают его, обольщают наградами, угрожают, наконец, мучительною смертью. Уже сабли блестят над головою Сусанина, но ничто не в силах отвратить его от принятого намерения, ничто не может устрашить великой души его. Поляки, приведенные в бешенство твердостью старца, повергают его жестокими ударами на землю, и Сусанин, благославляя Промысел, избравший его быть спасителем отрока, к счастию Россиян и украшению трона, испустил дух. Верный Сусанин в селе Шунове принял мученический венец; Михаил же, извещенный зятем Сусанина об угрожающей опасности, уехал окрестными дорогами в Кострому, в Ипатьевский монастырь, куда прибыла и его родительница. Злодеи, не смея следовать к Костроме, в коей не столько монастырские стены, сколько усердие и верность жителей ограждали Михаила, удалились к Белоозеру.

Далее, на страницах 99-100 Козловский, согласно с Глинкою, говорит, что царь повелел его тело перевести в Ипатьевский монастырь и предать земле с честью, а оставшимся родственникам даровал многие преимущества.

Кроме всех риторических украшений и ночного времени, когда действие происходит (все это необходимо для эффекта), сделан соучастником патриотического подвига еще и зять Сусанина. Это участие оказалось действительно нужным. Если Сусанин решился обманывать поляков и вести их не туда, куда им хотелось, то, разумеется, следовало ему предупредить царя; поэтому надобно

было вывести еще одно лицо, которое могло сослужить эту службу, кому же приличнее ее сослужить, как не зятю героя, особенно когда этот зять на самом деле существовал? Придумано недурно; жаль только, что это обстоятельство еще более отдалило выдуманного Сусанина от настоящего. Зять настоящего выпросил грамоту себе за услуги тестя: уж, конечно, если б он сам участвовал в этих услугах, то в грамоте упомянулось бы о нем.

Но это еще не все. Тот же князь Козловский, в 71 примечании к своему тексту, сообщает следующее важное известие:

"В одной древней рукописи, находящейся у издателя "Отеч. Зап,"*, которая получена им в Костроме от коллежскаго ассесора Назарова, сказано, что Сусанин увез Михаила в свою деревню Деревнищи и там скрыл в яме овина, за три дня пред тем горевшаго, закидав обгорелыми бревнами".

Любопытно было бы видеть эту *древнюю* рукопись...

Нет сомнения, что все, выдуманное через двести лет о Сусанине, не имеет никакого исторического основания, и единственным источником о нем остается первая грамота. Если отсечь, таким образом, книжные вымыслы, представляются вопросы: точно ли Сусанин, по современному известию, может носить историческое значение спасителя царя? действительно ли важно рассказанное в грамоте событие? и достоверно ли оно даже по самому первобытному рассказу?

Уже выше мы заметили, что об этом происшествии нет ни слова современных повествователей, как русских, так и иностранных. Летописцы наши того времени, довольно щедрые на рассказы, вовсе не упоминают об этом. Даже Никоновская летопись, составленная в своем последнем виде при царе Алексее Михайловиче, когда потомки Сусанина имели грамоты, не внесла ни имени Сусанина, ни подвига его на свои страницы. А, между тем, как бы кажется, не сказать об этом? В то время, когда происходило избрание и, потом, приглашение Михаила на престол, Никанор Шульгин противодействовал этому избранию и постарался возмутить Арзамас и Казань: попытка была напрасна: Никанор схвачен в Свияжске и отправлен в Москву (Никонов. 204). Событие это нашло же себе место в никоновской летописи; но неужели оно важнее посягательства на жизнь новоизбранного государя и спасения его доблестным крестьянином? Я имел под рукою много летописных списков, писанных в половине XVII столетия, и ни в одном нет и помина о Сусанине. Стало быть,

---

* П. И. Свиньина, умершего в 1839 году и издававшаго "Отеч. Записки" с 1820 по 1830 год.

даже чрез тридцать, пятьдесят или шестьдесят лет занимавшиеся историею своего отечества или вовсе не знали о сусанинском подвиге, или не считали его достойным того, чтоб о нем упоминать. Очевидно, в XVII веке ничего не представлялось в нем такого, что представляется глазам XIX века, глазам нашего времени, когда, можно сказать, нет маленькой истории, где бы хоть вскользь об этом не было замечено, как о событии важном и многознаменательном. В современных актах, за исключением грамоты Собинину, о нет тоже ничего нет; это еще было бы не важно само по себе: "что же?" могут сказать: "не приходилось кстати случаев упомянуть о том, оттого и не упомянули". Но в том-то и дело, что существуют такие акты, где непременно следовало бы упомянуть об этом, если б те, которые тогда говорили и действовали, знали что-нибудь в этом роде.

Когда могло быть это происшествие? Конечно, между избранием Михаила, совершившемся в феврале, около двадцатых чисел, и 19 марта, когда Михаил уже выехал из Костромы. Следует, однако, допустить, что это никак не могло быть уже после 13-го марта, когда прибыли послы от Земского собора в Кострому приглашать Михаила на престол, ибо посольство было многочисленно; там были, кроме бояр, окольничих, стольников, стряпчих, люди вооруженные: польским и литовским людям не пришла бы отвага напасть тогда на Кострому. Покушение, если б оно было, должно происходить до 13 марта; а если бы так было на самом деле, то мать Михаила и сам Михаил, отказываясь от предлагаемого престола и приводя, между прочим, *что быти ему на государстве ей государыне благословить сына своего, а нашего государя лише на погубленье* ("Собр. Государ. Грам." III, 41) и указывая на свою небезопасность, на то, что отец его в плену в Польше * и может от поляков подвергнуться опасности — кажется, могли бы кстати указать на свежее покушение врагов на жизнь Михаила. Если б предположить, что событие это случилось между 13 и 19 марта и, следовательно, Михаил и мать его не могли знать о нем, когда переговаривались с послами Земского собора, то все-таки достоверно, что ни Михаил, ни мать его не знали о нем и после того, ибо существуют две грамоты: одна от Михаила, другая от матери его, уже из Ярославля: в этих грамотах описывается приход послов в Кострому и ответы Михаила и матери, приводятся все невыгоды

* "А сведает то король, что по прошению и по челобитью всего московскаго государства учинился на московском государстве мы государем, царем и великим князем всея России, и король тотчас над отцем нашим Филаретом митрополитом какое зло сделает, а нам, без благословения отца своего, на московском государстве никак быти не можно"

быть тогда на царстве, описывается насильное согласие новоизбранного и, наконец, отъезд его с матерью из Костромы в Ярославль, наконец, предостережение не производить смут и беспорядков ("Собр. Государ. Грам." III, 50-54). И как бы тут кстати было указать на недавнее покушение на жизнь царя — однако этого нет.

В речи, произнесенной митрополитом при венчании Михаила Феодоровича, исчисляются все неправды и разорения, нанесенные поляками в России и, между прочим, несчастия, которые мужественно переносил Михаил: "А вас, великаго государя с матерью вашею великою старицею, государынею нашею Марфою Ивановною, и бояр вашим, и окольничих, дворян, и всяких чинов, всяких людей захватили в городе, и в Китае, и в Кремле, и держали в неволе, а иных за крепкими приставы... и собрався с бояры и воеводы милостию Божиею, а вашим царским счастием царствующий град Москву от польских и литовских людей очистили, а вас, великаго государя, и мать вашу великую государыню нашу, старицу, иноку Марфу Ивановну, и бояр ваших, и окольничих, и всяких чинов людей из плену от польских и литовских людей Бог освободил, а польские люди за свои злыя дела от Бога месть приняли, а всесильный в Троице славимый Бог наш на нас милость свою показал, подаровал нам на великия государства российскаго царствования по племени дяди вашего, хвалам достойнаго, по великом праведном государе, царе и великом князе Феодоре Ивановиче всея Русии самодержце, тебя, великаго государя, царя и великаго князя Михаила Феодоровича, всея Руси самодержца" ("Соб. Г. Гр." 111, 77). Кажется, как бы здесь не упомянуть о таком важном злодействе и о явном небесном покровительстве над царем — однако, нет ничего! Стало быть, и в июне 1613 года никто не знал о сусанинском подвиге.

В сношениях с Немецкою империею, последовавших, как известно, тотчас по воцарении Михаила, исчислялись всякие неправды поляков, а об этом тоже нет! Есть одно место, где бы непременно должно было упомянуть об этом, именно: в наказе к послам говорится ("Пам. диплом. снош." 1221), как объяснять, если спросят, почему взятые в плен поляки не отпущены. Послы должны были отвечать: "которых польских и литовских людей полковника Миколая Струса с товарищами в то время, как по милости Божией московскаго государства бояре и всяких чинов разные люди, не памятуючи их московскому государству многих грубостей и разоренья, в те поры побить их не дали, а велели их беречь и покоить; а как по милости Божией, великий государь наш, царь и великий князь Михаил Федорович всея Русии самодержец учинился на своих великих и преславных го-

сударствах, и он, великий государь наш, по своему царскому милосердному обычаю, как есть истинный христианский набожный государь, несмотря на государя их королевские и панов рад и на их московских сидельцев многие грабежи и неправды, своею царскою милостию их покрыл, побити их и позору и никакого дурна над ними учинити не велел, и в смерти место живот дал и велел их беречь не как вязней, как есть учтивых людей, кормы довольны и на платье давати, и всем велел помнити, чтоб были без нуж. И ноне они сидят в великаго государя нашего государстве, до тех мест, покамест из Польши и из Литвы отпустят великаго Московскаго государства послов, которые к ним посланы за крестным целованием великаго господина, святейшаго Филарета митрополита, да боярина князя Василия Васильевича с товарищи". Как бы кстати было намекнуть здесь, что когда эти поляки сидели уже в неволе, другие покушались на жизнь государя — самый благовидный предлог оправдать задержку пленников; и, однако, об этом ни слова!

В 1614 году отправлен был с посольством в Польшу Федор Желябужский для заключения мира; Русские старались выставить на вид полякам, что только могли вспомнить — всякие обиды и оскорбления и разорения, нанесенные России. Надобно было выставить поляков сколько возможно виновными в войне. К этому побуждал интерес России для того, чтоб иметь право за справедливость своей стороны истребовать у поляков выгодные условия. Чего лучше было бы в таком случае привести на память бесчестное посягательство на жизнь царя? Что могло лучше выставить полякам волю Божию так чудесно сохранившую, в минуту опасности, царственного юношу рукою крестьянина? Что могло резче и сильнее говорить в пользу того, что русский народ единодушно не хочет чужеземной власти и силен крепостию и верностию, как не это самоотвержение народного человека, поселянина, решившегося на поступок, на который теперь верно готовы будут решиться многие? Что красноречивее и убедительнее этого подвига могло заставить поляков оставить дальнейшие покушения на овладение московским народом? И, однако, нет ни слова ни о покушении польских и литовских людей на жизнь Михаила, ни о самопожертвовании Сусанина.

Грамота Богдашке Собинину дана почти через восемь лет после того времени, когда случилась смерть Сусанина. Есть ли возможность предположить, чтоб новоизбранный царь мог так долго забывать такую важную услугу, ему оказанную? Конечно, он о ней не знал. Это мы тем более имеем право признавать, что Михаил Федорович по восшествии своем на престол тотчас же награждал всех, кто в печальные годины испытания благопри-

ятствовал его семейству. Таким образом, в марте 1614 года получили обельную грамоту крестьяне Тарутины, жители Обонежской пятины, Егорьевского погоста Толгуйской волости (А. Ш. Э. 68) за то, что оказывали расположение к Марфе Ивановне, когда она была сослана в заточение при царе Борисе, и сообщали ей известия о состоянии здоровья ее мужа ("Матери нашей, великой государыне, иноке Марфе Ивановне непоколебимым своим умом и твердостию разума служили и прямили и доброхотствовали во всем и про отца нашего здоровье проповедывали, и матери нашей, великой государыне, старице Марфе Ивановне, обвещали"). Услуга, конечно, значительная; но услуга Сусанина, если бы она была в то время известна, достойна была бы во сто раз важнейшей признательности. Там крестьяне только облегчали тоску заточения царской матери, — здесь крестьянин спас жизнь царя; там крестьяне, рискуя, конечно, опасностью от Бориса, имели возможность избежать ее, если соблюдали осторожность; — здесь человек за царя шел на неизбежные страдания и смерть; там показывалась только привязанность к фамилии: — здесь вопрос касался уже царской особы и с нею всей русской державы... Неужели возможно, чтоб царь забывал про это столько лет? Замечательно отличие в грамоте Тарутиным и грамоте Собинину: в первой сказано: *"а кто учнет делать через сию нашу царскую жалованную грамоту или чем тех крестьян Поздея или его брата или детей изобидит, и тому от нас великаго государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Руси быти в великой опале и казни* (А. И. Ш. 69). Этого присловия нет в грамоте Собинину. Первая грамота дана от имени царя за Тарутиных; вторая, *"по нашему царскому милосердию и по совету и прощению матери нашей, государыни великой старицы иноки Марфы Ивановны"* (С. Г. Гр. Ш. 212). Эти слова заставляют подозревать, что коль скоро был совет и прошение, то, значит, представлялось какое-то побуждение — против дарования такой грамоты; по крайней мере, право Собинина на это пожалованье не представлялось очевидным. Кроме грамоты Тарутиным, Михаил Федорович давал много жалованных грамот не только за заслуги своему роду, но и во внимание к разорениям, понесенным в Смутное время (А. Э. Ш. 20; С. Г. Гр. Ш. 65, 38). Отчего же так долго забыт был подвиг, который имел более всех право на царское внимание?

Еще Соловьев, с свойственным ему беспристрастием, справедливо заметил, что в то время в краю костромском не было ни поляков, ни литовцев, и что Сусанина поймали, вероятно, свои воровские люди, козацкие шайки, бродившие везде по Руси. Действительно, мы отнюдь не видим, чтобы в то время поляки

были около Костромы; правда, в одной грамоте 1641 г. (А.И.Ш. 11) упоминается, что в междоусобную брань в Ипатьевском монастыре дворяне и дети боярские сидели в осаде; но, во-первых, это событие не относится к 1613 году и, во всяком случае, если б Михаил Федорович находился в осаде в этом монастыре, то об этом событии, конечно, упомянуто было бы в указанных выше случаях. По всему видно, что здесь указывается на междоусобную брань в 1608 году, когда действительно Лисовский со Шучинским из Ярославля ходили на Кострому (Бэра, пер. Уст. 146) с поляками и литовцами. Соловьев, желая как-нибудь согласить известие грамоты с событиями времени, догадывается, что Сусанина замучили не поляки и не литовцы, а козаки или вообще свои русские разбойники. Но как же в грамоте стоят "польские и литовские люди"?

В то время трудно, казалось, ошибиться: не говоря собственно о поляках, и так называемые литовские люди, то есть уроженцы западной России, были тогда слишком общеизвестны: к ним уже слишком привыкли, и, конечно, могли их распознавать; и русский человек не мог принять своего великорусса за литовского человека, и наоборот; так точно, как и теперь, если б явилась какая-нибудь шайка разбойников из великоруссов, то едва ли русские крестьяне приняли бы ее за малороссиян, и если б разбойники были из последних, то едва ли бы сочли их за своих. Наречие и приемы их резко и тогда отличали и теперь отличают друг от друга уроженцев края, бывшего под московскою, от уроженцев края, бывшего под литовскою державою.

Во всех современных грамотах польские и литовские люди ясно отличаются от своих *воров* и от охочих людей, то есть от всякого сброда, ходившего с самозванцами, с Лисовским, Сапегою, Заруцким и с прочими героями смут и беспорядков. Могло быть, однако, что в числе воров, напавших на Сусанина, были литовские люди, но уж никак тут не был какой-нибудь отряд, посланный с политическою целью схватить или убить Михаила. Это могла быть мелкая стая воришек, в которую затесались отсталые от своих отрядов литовские люди. А такая стая в то время и не могла быть опасна для Михаила Федоровича, сидевшего в укрепленном монастыре и окруженного детьми боярскими. Это чувствовали даже и составители мифа о том, как Сусанин заводил поляков в лес; потому-то они самопроизвольно и перевезли Михаила Федоровича в Домнино, хотя по собственной грамоте его Богдашке Собинину он вовсе там не находился. Сусанин на вопросы таких воров смело мог сказать, где находился царь, и воры остались бы в положении лисицы, поглядывающей на виноград. Но предположим, что Иван Сусанин, по

слепой преданности к своему боярину, не хотел ни в каком случае сказать о нем ворам: кто видел, как его пытали и за что пытали? Если при этом были другие, то воры и тех бы начали тоже пытать и либо их, так же как Сусанина, замучили бы до смерти, либо добились бы от них, где находится царь. А если воры поймали его одного, тогда одному Богу оставалось известным, за что его замучили. Если б вообще были такие воры, которые приходили в Костромской уезд с решимостью сделать какую-нибудь пакость Михаилу Федоровичу, то как же бы они ограничились одним Сусаниным? Одного крестьянина спросили; тот им не сказал, они его замучили — и тем дело кончилось; и ушли себе с миром! Думаем, что те, которые бы затевали что-нибудь подобное, не удовольствовались бы только этим, они допрашивали бы не одного, а десять, двадцать таких Сусаниных, и если б все-таки ни от кого из них не добились ничего, то царю пришлось бы награждать родственников многих таким образом пострадавших, а не одно семейство Сусанина... Одним словом, здесь какая-то несообразность, что-то неясное, что-то неправдоподобное.

Страдание Сусанина есть происшествие, само по себе очень обыкновенное в то время. Тогда козаки бродили по деревням и жгли и мучили крестьян ("козаки, посланные в разные места на службу, берут указные кормы, да сверх кормов воруют, проезжих всяких людей по дорогам и крестьян по селам и деревням бьют, грабят, пытают, огнем жгут, ломают, до смерти побивают") (Солов. IX, стр. 11). Могло быть, разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год. Чрез несколько времени зять Сусанина воспользовался им и выпросил себе обельную грамоту. Путь, избранный им, видим. Он обратился к мягкому сердцу старушки, а она попросила сына. Сын, разумеется, не отказал заступничеству матери. В тот век все, кто только мог, выискивал случай увернуться от тягла: те закладывались за монастыри или за бояр; другие, подкупая писцов, выписывались в особые выти; третьи так себе, мотались по свету, увиливая от тягла; четвертые, если было можно, выпрашивали себе льготы. Льгота от податей и повинностей вообще не была редкостью в Московском государстве. Так, в XVI веке, выборные старосты и целовальники, прослужив безукоризненно в выборных должностях, пользовались такими льготами. Впоследствии, при Алексее Михайловиче, все такие уклонения от общественных повинностей, увеличивая тягость тех, которые оставались в тягле, возбудили со стороны последних просьбы и ходатайства пред правительством о том, чтоб прекратить эти

исключения, и, по "Уложению", все те, которые самовольно убегали тягла, были обращены в него. Начали уничтожать и привилегии у имевших льготные грамоты. Но тем, которые получили их за особые услуги, предоставлено ими пользоваться до поздних времен. То же было и с потомками Сусанина. Долгое время, однако, не придавали важного значения судьбе домнинского крестьянина; архимандрит новоспасский не хотел было стесняться самой грамотой Собининых — и дочь Сусанина должна была в другой раз просить льготы себе и своим детям. Летописцы не внесли его подвига в свои рассказы, и самые цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович не помнили о Сусанине и не придавали никакого особого значения его страданию, иначе бы велели записать о нем в летописи: ведь они читали летописи. Не ранее, как в близкое к нам время, уже в XIX веке, сусанинский эпизод был раскрашен цветами воображения и поднят на ходули; но это миф литературный, книжный, а отнюдь не народный; на самом месте народ мало знает Сусанина; не осталось о нем, сколько нам известно, песни; помнят хорошо его имя только его правнуки, которые, благодаря одному из своих предков, Богдану Собинину, пользуются правом не нести общих государственных повинностей.

Таким образом, в истории Сусанина достоверно только то, что этот крестьянин был одною из бесчисленных жертв, погибших от разбойников, бродивших по России в Смутное время; действительно ли он погиб за то, что не хотел сказать, где находился новоизбранный царь Михаил Федорович — это остается под сомнением...

По случайному сближению то, что выдумали про Сусанина книжники наши в XIX веке, почти в таком виде, в XVII веке, случилось на противоположном конце русского мира, в Украине. Когда в мае 1648 года гетман Богдан Хмельницкий гнался за польским войском под начальством Потоцкого и Калиновского, один южнорусский крестьянин Микита Галаган взялся быть вожатым польского войска, умышленно завел его в болота и лесные трущобы, и дал возможность козакам разбить врагов своих.

БУНТ СТЕНЬКИ РАЗИНА

I.

Русскую историю обыкновенно делят на периоды; но не во всех отношениях выражают этим то, что хотят. Для отделения одного периода от другого берут внешние события, которые хотя имели важное влияние на судьбу народа, но не уничтожали сразу старого порядка и не вводили сразу нового. Постепенно упадало старое, постепенно возрастало новое. Татарское завоевание иначе направило деятельность удельных князей, произвело перемены в связи городов и земель, дало другие размеры народным свойствам; но и долго после татар оставалось больше следов до-татарского времени, чем перемен. Государствование Иоанна III было то время, когда единодержавие взяло перевес над удельностью; но эта эпоха не изгладила признаков жизни, свойственных удельному миру. Деление на принятые периоды годится для школьного изучения событий былевой истории; история бытовая, история народной жизни требует таких граней, которые бы определяли коренные отличия, принимаемые страною и жителями, и заключали в себе главные уклады политической, общественной и духовной жизни народа. Таких укладов русская история до Петра Великого представляет два: удельно-вечевой и единодержавный. Невозможно отыскать такое время, когда между ними провелась разделитель-

ная черта. Когда удельность господствовала над всем составом Руси, семена единодержавия пытались пустить отростки и, напротив, когда единовластие достигло полной силы, отжившие начала удельности оказывали признаки сопротивления.

Картина удельно-вечевой Руси является наблюдателю в таком виде: все дробится, все идет к тому, чтоб каждый город и даже каждое село образовывало самостоятельное целое; и между тем, однако, существует федеративная связь этих частей, без определенных учреждений для поддержки согласия между ними, основанная более на всеобщем чувстве и сознании единства Русской Земли и русского народа; управление посредством целого рода князей, из которых ни один, однако, не имеет значения государя; народоправление, выражаемое формою веч, — формою, которая в одних местах зрела, в других не созрела, смотря по обстоятельствам; перевес обычая над постановлением, побуждения над законом, личной свободы над повинностью, общинности над единичностью власти, воли живого народа над учреждением; вольница, движение, брожение, кочеванье и потому безладица и непрочность.

Напротив, признаки единодержавия были таковы: все народные интересы сосредоточиваются в одном лице, которое становится апотеозом страны и народа, и потому личность его приобретает святое значение; исчезает бытие отдельных частей, уничтожается народоправление, — все стремится к единообразию; преобразование обычая в постановление, сознания в букву закона, перевес повинности над личною свободою, старейшинства над общинностью, стремление к оседлости, установке и покою.

В борьбе этих двух укладов русского быта: удельно-вечевого и единодержавного — вся подноготная нашего старого деописания. Начала единодержавия со всеми исчисленными признаками постепенно развивались в период татарского господства, но и в более отдаленное время их уже существование княжеского достоинства показывает зародыш единодержавия, хотя в слабой степени. С XIV века, утвердившись на московской почве, оно вступило в явную борьбу с старым противником, истощенным от внутренних надрывов и устаревшим от лет и бед, шаг за шагом брало над ним веру и торжествовало свой перевес освобождением страны от иноплеменного господства и созданием монархического государства с зачатками политического могущества. Победа достигла высшей степени при Иоанне IV; но этот борец-победитель, празднуя свое преобладание над врагом и кознями князей и бояр, претендентов удельности, и бойнею в Новгороде, еще вспоминавшем о своем вече, — в то же время подавал избитому, истерзанному врагу руки на мировую учреждением общинных властей, самоуправою посадов и уездов, созванием Земской думы, повидимому вступавшей в

права всех веч вместе, уже не для какого-нибудь города или Земли, а для целой Русской державы, наконец своим духовным завещанием, где он сыну Федору давал независимый удел. Хорошо, что у Иоанна остался только один сын: если б их было несколько, у нас бы воскресла удельность. Оживающий враг избрал тогда на юге России уголок, где мог, оправившись, не только давать отпор своему торжествующему сопернику, но и вторгаться в завоеванные им пределы. Старое удельно-вечевое начало Руси облеклось теперь в новый образ, — то было казачество. В лице Ермака оно показало Грозному, чего можно ожидать от него. Между тем по смерти Грозного явился в Москве новый борец единодержавия — Борис Годунов. Он нанес старому врагу новые раны введением кабаков и крепостного права. Зато и старый враг отмстил этому борцу: он низпроверг его трон; ворвавшись в Россию в образе казачества, покрыл ее развалинами и кровью, повел Русь до ограниченного избрания Владислава, до попытки соединения с Польшею, до полугодичного правления посредством Земского собора... Далее идти он не мог: у него не хватало сил, когда дело шло об устойке на завоеванном поле; единодержавие опять взяло над ним верх избранием Михаила Федоровича, но принуждено было купить свое торжество значительными уступками старому врагу, который показывал громко, что он еще не при последнем издыхании, а должен признать себя побежденным только от неуменья продолжать войну. Вражда между ними, однако, была на смерть и не могла окончиться какими-нибудь взаимными уступками. Едва торжествующая теперь сторона укрепилась, как тотчас же начала уничтожать все уступки, данные во время тяжкой битвы; она вытесняла влияние противника и усилением власти воевод, составлением Уложения, и строжайшим укреплением крестьян, и образованием регулярного войска. Старый враг между тем, казалось, более и более молодел в своей козацкой одежде. Несколько раз соперники подавали друг другу руку, сохраняя в душе злобу, бросали один другому ласковые уверения, думая как бы уничтожить один другого с корнем и заводом; наконец, улучив удобное время, побежденный столько раз старик отважился на открытый бой. Стал у него борец Стенька Разин.

II.

Козачество тогда возникало, когда удельная стихия падала под торжеством единодержавия; оно было противодействием старого новому. Ряды козачества наполнялись недовольными новым составом, теми, кто не уживался в обществе, для кого не по

натуре были его узы. Русский мир был уже разделен на два государства — Москву и Литву; в обеих половинах явилось славное Запорожье и разлило из себя дух козачества по всей Украине, одинаковые события произвели наплыв народа с севера на Дон. Украина подала помощь этому обществу и населяла берега Дона своими детьми. Как ни темна первая история донского козачества, но что малороссийская народность участвовала в его закладке и воспитании— это лучше всяких исторических памятников доказывает нынешний язык донских козаков: среднее наречие между малороссийским и великорусским языками. Отсюда козачество охватило берега Волги, Терека, Яика и проникло в далекую Сибирь.

До эпохи самозванцев козачество, повидимому, готовилось образовать отдельное общество в русских южных краях и хотело только укрыться с своею независимостью от северного единовластия; но вмешавшись в дела Москвы в начале XVII века, оно вошло в неразрывную связь с нею и уже не ограничивалось тем, чтоб засесть с своими началами в южных степях, а стремилось распространить эти начала по всей Земле Московского Государства.

С этого времени повсюду являются козаки. Правительство, желая остановить это брожение, допустило существование козачества внутри державы в виде особого военного сословия, наравне с стрельцами, пушкарями и воротниками. Оно употреблялось преимущественно там, где нужно легкое наездническое военное действие, в особенности для передачи вестей от одного города до другого и для конвоев. Другие, которые в смутные времена начала XVII века составляли козацкие шайки, были обращаемы в тягловые сословия, в посадские, в крестьяне, отдаваемы владельцам, от которых убежали, — словом, возвращаемы к тому гражданскому званию, в каком были прежде и они сами, и отцы их. Отведав вольницы времен самозванцев, многие уже не уживались на родине, бегали, шатались, составляли шайки, называли себя козаками и передавали эти привычки следующему за собою поколению. Таким образом козаки в глазах правительства разделялись на верных или признанных властью, и воровских, самозванных козаков. Вольный тихий Дон был центром козачества. Долго независимый, в царствование Михаила Федоровича он признал власть московского царя. В 1634 году козаки присягнули на верность и обещали не нарушать порядка своими разбоями и нападениями на соседей. Обещание сохранялось плохо. Козаки продолжали свои набеги и своевольства, и на Дону постоянно было две партии в отношении русского правительства: верные, хотевшие согласить свою вольность с повино-

вением верховной московской власти, и воровские, которые хотели действовать свободно и считать Дон независимым и самоуправным. Число воровских было значительнее, потому что малейшее неудовольствие обращало в их ряды и тех, которые при других обстоятельствах были верными.

Первые годы царствования Михаила Федоровича были заняты борьбою с воровскими козаками, как назывались шайки бродяг, не хотевшие повиноваться властям. Ужасны были эти люди. В 1615 году, рассыпавшись по всей Московской Руси, и в особенности около Волги, близ Углича, Кинешмы, у Пошехонья, около Новгорода, в Северской Земле и украинных городах, они грабили города и села и делали над народом бесчеловечные истязания. Их ожесточение, при обычной тогдашней грубости нравов, становится понятнее, когда примем во внимание, что эти шайки были составлены из людей, оставивших свои прежние повинности и теперь возвращаемых к ним снова насильно. Не желание какого-нибудь нового порядка вещей увлекало эти толпы и внушало им ненависть к прежнему житью, а охота шататься и быть там, где показалось. Иной был прежде монастырский, а жил теперь в дворянском имении — его отыскивали и возвращали в монастырское. Другой был холоп, убежал от своего господина и отдался иному господину в холопы, а его хотели воротить к прежнему. Им хотелось свободно переходить от одного существующего положения к другому существующему; нового, своеобразного они не могли выдумать кроме козацкого, которое с известной точки зрения было то же, что разбойничье. В первые годы Михаила Федоровича князь Лыков разбивал такие шайки несколько раз: под Балахною, под Симоновым монастырем, куда они пришли как будто с повинною, а в самом деле для буйства; потом на реке Калуже, где был повешен знаменитый атаман Боловня, и откуда множество его товарищей отправлено в тюрьму. Преследуемые и поражаемые, одни сдавались на милость правительства, а другие удалялись из жилых мест в низовья Волги, и одна из таких шаек, под начальством Калбака, установилась близ Каспийского моря и наносила страх плававшим по нем судам.

На берегах Волги существовало тогда козачество как отдельное общество. История его неизвестна. Мы знаем о существовании волжских козаков в Смутные времена: они поддерживали Заруцкого. Во время войны поляков с турками под Хотином, когда запорожцы оказали столь деятельное участие, пришло двадцать тысяч волжских козаков на помощь христианам против неверных. Они явились поздно, когда было дело кончено, но их намерение не осталось без награды. Королевич Владислав отпу-

стил их с подарками. Это известие, передаваемое южнорусскими летописцами, важно: открывая значительность народоселения в Волжском крае, оно указывает на связь, существующую между всеми вообще козаками; когда малороссийские козаки пошли помогать Польше, сочувствие к делу отозвалось в таком отдаленном краю, как низовые берега Волги. Когда Олеарий плыл по Волге с голштинским посольством, по берегам Волги, от устья Камы вниз, блуждали козаки и были страхом для пловцов, потому что нападали на суда. Впрочем, то были не одни жившие по Волге: там шатались для разбоев и с Дона, и с Яика, и со всех стран русского мира. Волга, главный торговый путь, привлекала их удальство. В 1621 г. они ограбили караван судов, и это подало повод к основанию города Черного-Яра. В 1654 году козаки напали на нижнеяицкий учуг, принадлежавший гостю Гурьеву, его разорили и переманили в свои ряды рабочих: в простонародии было к ним сочувствие. Волга на всем ее неизмеримом протяжении была поприщем воровских козаков. Их деяния воспевались в песнях; к ним относятся разнообразные предания; их образ в народном воображении сохраняется с марами (курганами) и городищами, усевающими приволжские степи. Воровские козаки не были в глазах простонародья простыми разбойниками, в обыкновенном смысле этого слова; они нападали на суда, на людей, грабили их, убивали, но, по обширному кругу, в котором хотела выразиться их деятельность, название разбойников для них недостаточно. Сами они говорят в своих песнях: "мы не воры, не разбойники — мы удалые добры-молодцы". Это были люди, выскочившие из круга гражданского быта, не вошедшие в другой и не сознавшие определенной цели. Народ сочувствовал удалым молодцам, хотя часто терпел от них; самые поэтические великорусские песни — те, где воспеваются их подвиги; в воображении народном удалый добрый молодец остался идеалом силы и мужской красоты, как герой Греции, рыцарь Запада, юнак Сербии. Слово "удалый молодец" значило у нас героя, а между тем оно смешалось со значением разбойников.

Итак, в половине XVII века козачество охватывало более чем пол-Руси, а народное недовольство гражданским порядком давало ему пищу и силы: в козачестве воскресали старые полуугасшие стихии вечевой вольницы: в нем старорусский мир оканчивал свою борьбу с единодержавием. Когда власть хотела подчинить козаков порядку и закону, воровское козачество хотело разлить по всей Руси противодействие ей. Уже для него было недовольно укрываться в отдалении степей: оно хотело поглотить весь русский народ. Но само по себе, оно было не новым

началом жизни, а запоздалым, отцветшим; оно было страшным настолько, чтоб задержать русский народ, сбить его на время на старую дорогу, но бессильно и бессмысленно, чтобы проложить ему новый путь. В нем не было созидательных начал, не было и духовных сил для отыскания удачных способов действия. Оно не могло произвести ничего, кроме эпохи Стеньки Разина — кровавой, громкой, блестящей, приведшей в ужас и ожидание, — по словам современника, — не только Московское Государство, но и всю Европу, и бесплодной, как метеор, много обещающий незнакомому с тайнами природы и никогда не исполняющий этого обещания.

III.

Весь порядок тогдашней Руси, управление, отношение сословий, права их, финансовый быт — все давало козачеству пищу в движении народного недовольства, и вся половина XVII века была приготовлением эпохи Стеньки Разина.

Устройство отношений между землевладельцами и работниками, и между господами и слугами, было в числе причин, способствовавших успехам возмущения. До 1592 года крестьяне были люди вольные и по праву, в определенный годичный срок переходили с земли одного господина на землю другого. В этот год, как должно думать, судя по смыслу других позднейших указов, Борис укрепил их на тех местах, где они тогда жили. Строгость этой меры была ослаблена последующими распоряжениями самого Бориса. В 1597 г. издан указ, предоставляющий владельцам право отыскивать своих крестьян тогда только, когда они убежали от них не ранее пяти лет. По указам 1601 и 1602 годов прикрепление крестьян к землям удержалось только в имениях патриарших, митрополичьих, владычних, монастырских, бояр, дьяков и больших дворян, и приказных людей, а в имениях детей боярских, жильцов, иноземцев, дворовых, царских людей, подъячих всех приказов, стрелецких, сотенных и козачьих голов, у переводчиков и толмачей Посольского Приказа, патриарших и властелинских приказных людей оставлен вольный переход крестьянам. Ясно, что это постановление, оставлявшее свободу крестьян у мелких, незначительных владельцев и делавшее их крепкими в имениях знатных и больших господ, клонилось не к прекращению шатаний, как обыкновенно думают, а к тому, чтоб угодить сильным, на которых опереться искала власть Бориса, начинавшего собою новую династию. С тех пор бояре и вообще господа постоянно старались о сохранении и дальнейшем утверждении такого гражданского порядка.

При избрании Владислава бояре, распоряжаясь делами государства, выговаривали вперед условие, *чтоб на Руси промеж себя крестьянам выходу не быти*. В Смутное время крестьяне всех ведомств наполняли толпы козаков и переходили от одного владельца к другому, обманывая всех равно. По восстановлении порядка, бояре, имевшие сильное влияние на дела государства, при непрочности новой власти, поспешили сохранить закон Бориса и постановили обращать беглецов на прежние места жительства и вообще оставить тот порядок дел, какой введен Борисом при Федоре Иоанновиче. С тех пор крепостное право становилось тверже и тверже. Сначала срок для нахождения беглых холопов и крестьян и возвращения их на прежнее место положен пятилетний, но в 1637 году он предположен на девять лет, в 1641 году на десять лет. Ограничение права возврата крестьян годами удерживало отчасти старый порядок дел, какой был до 1592 года, потому что крестьяне уходили от одного владельца к другому и выжидали исхода срочных лет, чтоб потом быть безопасным от притязания прежнего господина. В 1645 г. дворяне и дети боярские жаловались, что в то время, когда они находились в военной службе, крестьяне их уходили к иным владельцам и особенно к боярам, окольничим и в монастырские имения. Это понятно, потому что у богатых владельцев, имевших больше средств, крестьяне подвергались меньшим повинностям, чем у бедных. Бедным тяжело было судиться с богатыми. Таким образом, большие села увеличивались, а мелкие деревушки пустели. В 1647 году постановлено не возвращать беглых только в таком случае, если они прожили вне мест, где записаны, более пятнадцати лет. В 1649 году уничтожен срок для поимки беглых. "Уложение" окончательно сделало крестьян крепкими земле. Оно не только прекратило сроки, не только установило твердое правило на будущее время, что *никому за себя крестьян не принимать*, но еще обратило его и на прежние годы. Таким образом, руководствуясь писцовыми книгами, составленными после пожара 1625 года, и всех крестьян, записанных перед тем в писцовых книгах, велено отдавать с их семействами без урочных лет прежним владельцам, за которыми они числились. Крестьянство распространилось не только на тех, которые значились в писцовых книгах, как хозяева, но и на их детей, родственников, которые жили с ними не в разделе и до того времени считались гулящими людьми.

Звание крестьянина было отлично от звания холопа; но мало-по-малу значение их сливалось, и во второй половине XVII века различие между ними состояло не столько в их правах, сколько в способах приобретения господином прав своих. Холо-

пами в обширном смысле назывались все те, которые были обязаны какою-нибудь службою другому лицу. В этом отношении и бояре и князья писались царскими холопами. В тесном смысле холопами или людьми, назывались вообще рабы: или пленные, или вошедшие в это звание по долговым обязательствам, или родившиеся от рабов. В Руси издавна было в обычае отдавать себя в залог за занятые деньги, или продаваться за известную сумму. Иные продавали себя с детьми и со всем потомством и давали за себя вечную кабалу по записям. Тогдашние понятия считали справедливыми предоставить отцу право распоряжаться судьбою тех существ, которые он произвел на свет. Иные же продавали себя на срок и давали записи, называемые закладною кабалою. Сверх того, люди отдавались в холопство заимодавцам по суду, когда они не могли заплатить суммы, следуемой им. Кабала служила владельцу для предъявлений его прав на раба. В 1597 году установлено, чтобы всякий, кто служил у хозяина без всякой кабалы полгода, делался полным его холопом или человеком. Большие злоупотребления были последствием этого закона. Вольные люди, жившие в услужении, бегали от господ, когда господа по такому закону хотели закабалить их себе в вечное рабство: богатые обманом и насилием порабощали бедняка; другие господа сами ссылали от себя слуг, с тем, чтоб придраться к тем, к кому они пристанут. И в самом деле, когда слуги для пропитания находили себе приют у иных господ, прежние их господа грозили последним судом, домогались не только возврата слуг, но еще и мнимых убытков и пени за передержку. При Самозванце этот стеснительный закон уничтожен: по-прежнему было постановлено считать холопом только того, кто давал на себя письменный акт; иск господина на холопа приносился не голословно, а на основании предъявленной кабалы. При Шуйском принято правилом считать холопом только по письменным актам; но тот, кто служил более пяти лет у господина бескабально, делался его вечным холопом и без акта. В Смутное время множество холопов разбежалось и пошло в козаки; с восстановлением власти правительство сначала хотело и холопов, как другие сословия, обратить к прежним обязанностям, но должно было сделать уступку, дозволив тем, которые пошли в козаки, оставаться в козачестве. Иногда являлось стремление ограничить холопство, по крайней мере в некоторых местах государства, так, например, в одной грамоте 1646 года уфимскому воеводе приказано наблюдать, чтоб никто не отдавал себя в залог по крепостям: на эти меры правительство вынуждалось потому, что многие тяглые и ясачные шли в холопы и уклонялись от государственных повинностей. Также в 1665 году

в поволжских областях запрещалось отдаваться в кабалу и принимать в залог людей. В царствование Михаила и Алексея постоянно и всюду тяглых и дворцовых возвращали на свои места, и всякая сделка, заключенная ими об отдаче себе в холопство, уничтожалась. По "Уложению", полным холопом назывался тот, кто отдавался в рабство навсегда; дети, рожденные уже в рабском состоянии, делались также собственностью господина. Иное дело кабальные холопы, то есть обязанные служить временно по взаимному условию, или присужденные в холопство за долги до отработки долга: вообще наблюдалось правилом, чтоб кабальные делались свободны по смерти господина. Хотя холопство зависело от данного на себя письменного акта, но если человек служил у господина три месяца бескабально, то без всякого акта господин имел законное право требовать его закрепления. Это простиралось и на потомство холопа, если холоп был кабальный и закабалил себя на срок, а его дети бескабально служили тому господину; на этом одном основании господин имел право требовать закрепления детей, и они делались его рабами, хотя бы отец их и они сами этому противились. Тем не менее тот же человек, если он служил у господина и гораздо больший срок бескабально, не делался по этому одному холопом, если господин того не требовал. В начале XVII века все имели право держать полных холопов. Но после "Уложения" это право не давалось священнослужителям и церковнослужителям (исключая протопопов), боярским людям, а также и посадским. Последние могли брать кабалы не более, как на пять лет.

Осталось много свидетельств, что холопы и крестьяне по смыслу права различались между собою. Крестьяне отдавали себя на кабалу господам своим, которые иногда и неволили их к тому. "Уложение" запрещает господам брать кабалы на своих крестьян. Когда бывали такие случаи, то значит положение холопов было иное, чем крестьян, и правительство не хотело смешивать эти сословия. В 1646 г. при переписи велено строго отличать крестьянские дворы от людских. Многие добровольно отдавались за денежную ссуду в крестьяне, наподобие того, как отдавались в холопы, и давали на себя записи; но такая запись отличалась от кабальной; тогда как акт о холопстве предъявлялся в Холопьем приказе, вольный человек, желавший отдаться в крестьяне, приводился в Поместный приказ. Владелец не мог переводить своих крестьян из поместий в отчины. Владельческие крестьяне имели право покупать и продавать по актам свои недвижимые имущества; из купчих на такой предмет не видно, чтобы право частного владения крестьян юридически зависело от их господ. Обязанности крестьян определялись вытя-

ми, записанными в писцовых книгах, то есть участками земли, с которых они должны были работать господину и платить хлебный и денежный оброк, — эти выти относились только к хозяевам; до "Уложения" дети, племянники и подсоседники, жившие с хозяином нераздельно, были люди гулящие, и могли изменять образ жизни, вероятно при условиях, теперь уще не вполне разъясненных наукою. Все это показывает, что крестьяне составляли отдельное сословие от холопов.

Но крестьянин, как и холоп, был предан произволу владельца. Мы не знаем никаких обеспечений, которые бы ограждали как того, так и другого от этого произвола. Только в монастырских имениях являются следы такого обеспечения; например, некоторые монастыри не могли облагать своих крестьян более положенного, а должны были испрашивать особенного позволения челобитными, если предстояла надобность умножить поборы или увеличить повинности. Что же касается до частных, так называемых в обширном смысле, по языку того времени, боярских, также архиерейских имений, то хотя Котошихин и говорит, что за неправильное наложение поборов, по возникшему челобитью, отбиралось имение, но такие случаи были делом произвола власти, а не закона; в грамотах на владения обыкновенно говорилось, что крестьяне обязаны слушать господ своих во всем; пахать на них пашню и платить оброк, чем господин изоброчит, и не видно ни правил, которые бы ограничивали в этом случае произвольное управление владельца, ни законов, которые бы стояли на страже за крестьян. Подобный произвол существовал даже и до прикрепления крестьян, как видно из грамот тогдашнего времени. После "Уложения", в купчих крепостях владелец продавал своих крестьян с женами и детьми и с племянниками и со всеми их крестьянскими животами (имуществом).

В записях на крестьянство писалось, что отдающий себя в крестьянское звание дозволял продать себя и заложить. Из актов второй половины XVII века видно, что владельцы вотчинных крестьян своих, наравне с людьми, отдавали дочерям в приданое без земли. Если владельцу запрещалось переводить своих крестьян из поместья в вотчину, то это установлено не для ограждения крестьян, а для соблюдения государственных интересов, чтобы не лишались народонаселения поместья, которые собственно были имения государственные, только данные временно в пользование помещику; зато иным способом владелец мог передвигать своих крестьян как угодно. Таким образом, хотя выше показано, что существовало различие между холопами и крестьянами, но, по их положению, несравненно более между ними сходства. Как те, так и другие не были ограждены от произвола господ.

Если крестьянину дозволялось на владельцев приносить жалобы, как вообще в то время всем на своих властей, то на деле всегда скорее мог быть оправдан владелец, чем крестьянин. Уже в царствование Феодора Иоанновича Флетчер заметил, что дворянин, убивший крестьянина, особенно собственного, редко отвечает. Это происходило не только от злоупотребления судей: самые законы не давали никакого ручательства подвластным в их тяжбах с господами. При царе Федоре Ивановиче бояре приговорили: если господа будут представлять к суду своих крестьян и обвинять их в преступлениях, — крестьян подвергать пыткам не по обыску, как делалось с лицами других сословий, а по одному слову владельцев. Этот закон соблюдался и при Михаиле Федоровиче. Подобно тому же, по "Уложению", холоп, которого господин не кормил, мог явиться в Холопий приказ и требовать свободы, но получал ее тогда, когда жалоба его оказывалась справедливою, а она признавалась справедливою только в таком случае, если господин сознавался в том, и, напротив, одного отрицательного слова было достаточно, чтобы опровергнуть жалобу холопа. В случае, если владелец бьет в драке крестьянина другого владельца, последний брал из имения убийцы лучшего крестьянина с женою и детьми, вовсе без спроса о желании последних идти к другому господину, следовательно, в этом отношении законодательство смотрело на крестьянина совершенно как на собственность. Владелец брал за убитого своего крестьянина другого, такого же, почти так же, как бы имел право взять за убитого быка другую такую же скотину. Дворянин, или сын боярский, мог, вместо того чтоб самому подвергаться правежу, посылать на истязание своих людей. В случае если дворянин, или сын боярский, медлил явиться в срок на службу, брали его людей и крестьян, и держали в тюрьме, пока господин явится. Когда по случаю неприятельского вторжения загоняли людей в осаду в город, и какая-нибудь помещица не слушалась и не являлась, вместо нее наказывали ее людей и крестьян. Сам господин имел возможность наказывать как хотел своего подвластного. Без всякого суда и следствия виновного призывали; он сам скидал с себя платье и ложился на брюхо; двое садились ему на голову, двое на ноги и били прутьями иногда до того, что у него расседалась кожа. Наконец, тягость крепостного состояния увеличивалась еще тем, что иногда сами люди и крестьяне, по приказанию своего господина, нападали на людей и крестьян другого, бывшего с ним во вражде, и, таким образом, из угождения своим господам люди и крестьяне били и грабили друг друга. Много было причин к побегам...

Неудовлетворительное состояние владельческих людей и

крестьян не было, однако, несноснее состояния посадских и черных волостей; последнее бывало нередко тяжелее, и оттого тяглые бегали из своих общин и отдавались в крестьяне и холопы частным владельцам, а правительство постоянно возвращало их на свои места. Посады и черносошные села были обременены бесчисленными повинностями. Они платили царскую дань, полоняночные деньги (для выкупа пленных), четвертные, пищальные; отбывали множество повинностей или натурально, или платили ямчужные; участвовали в постройке городов по *развытью*, то есть по назначению для каждого посада или волости столько и столько сделать городской стены или насыпать вала, или же платили за то городовые; ставили на ямы охотников и давали им содержание, или платили ямские; доставляли целовальников и сторожей к тюрьмам и давали им подможные деньги на содержание; выбирали целовальников к разным казенным делам и давали тоже подможные; мостили мосты по дорогам; давали подможные разным мастерам, выбираемым из них же; давали натурою или деньгами стрелецкий хлеб и обязаны были возить его к месту назначения; возили царских гонцов и всяких служилых людей; строили дворы воеводам; давали деньги в приказную избу на свечи, бумагу и чернила; во время войны поставляли даточных людей в войско и содержали их; нередко, при каких-нибудь казенных постройках, должны были отправлять рабочих, отрывая их от обычных промышленных и земледельческих занятий, и кормить их. Сверх того, все их промыслы и занятия были обложены множеством разнообразных пошлин. Общинное устройство, по которому все это требовалось не с каждого лица, а с целой общины, увеличивало тягость повинностей. Все повинности и поборы отправлялись по сохам. Сохи были составляемы по писцовым книгам и от одной переписи до другой оставались по закону в том виде, в каком составлены, тогда как на самом деле уклонялись от первого вида, так что число дворов и людей то умножалось, то уменьшалось, а единица сохи оставалась в том же виде, и повинности взимались одни и те же. Правительство знать не хотело, сколько отбывает каждый член общины в особенности, а предоставляло развытье (раскладку) целым общинам. В иных местах общины пустели от побегов или перехода их членов, в других увеличивались от прилива народонаселения; в одних, по разным местным обстоятельствам, средства к благосостоянию умножались, в других — истощались; а естественно, где число дворов было менее и где средства были недостаточнее, повинности становились тяжелее, чем там, где дворов и средств было более. Между тем за преступления члена отвечала целая община — пенею. Неисполнение тяжелых повин-

ностей наказывалось строго, и при этом часто не обращалось внимания на причины: например, в 1624 году за медленность в сборе стрелецкого хлеба велено приводить виновных в города и перед съезжею избою каждый день до вечера бить нещадно батогами, пока выправят с них хлеб. В 1618 году белозерский воевода, получивший выговор за небрежение к собранию поборов с посадских людей, *правил нещадно и побивал на смерть:* посадские разбежались и самый город, лишенный народонаселения в посаде, подвергался опасностям. Управление притом было часто очень сложное; например, какая-нибудь община имела по грамоте право платить поборы исключительно в какой-нибудь приказ, независимо от воевод, а между тем воеводы сбирали с членов ее то же самое — и за неисправность били их на правеже. Отягощение сошных крестьян в XVII веке было столь велико, и сборы с них так огромны, что они были принуждены занимать деньги за большие проценты, разорялись до остатка и, спасаясь от правежей, разбегались. Нередко способ отправления повинностей и злоупотребления при этом были причинами побегов. Например, посылки царских стряпчих для покупок и сборов разных запасов сопровождались всегда обязанностями жителей давать им подводы даже и в рабочую пору; эти посыльные брали насильно лишних лошадей, сажали на подводы купцов, складывали их товары, взяв за то с торговцев, разумеется, дешевле, чем те могли бы сторговаться с крестьянами.

Злоупотребления воевод и вообще служебных лиц и дурные стороны правосудия увеличивали тягостное положение жителей. Воеводы посылались на кормленье*, смотрели на свою должность, как на доход, и сами высказывали этот взгляд в своих челобитных. Так, например, при Михаиле Федоровиче просился на Белоозеро князь звенигородский. Хотя на Белоозере был тогда воевода на месте, но князь представлял, что "этот воевода живет на воеводской должности уже другой год и имел возможность составить себе состояния", а он, князь, задолжал и умирает с голоду, и людишки его пропадают на правеже". Воеводы — говорит один путешественник — не пользуются ни любовью, ни уважением в народе; каждый год прибывают они на воеводство вновь, свежи и голодны, — грабят и обирают народ, не обращая

---

* "Русская Беседа", по поводу спора с г. Чичериным, сильно восстала против такого взгляда и доказывала, что на кормленье должно смотреть, только как на известную форму вознаграждения воевод за труды, так что вместо того, чтоб получать жалованье от правительства, как делается теперь, правительственные лица получали известные доходы с дел, определенные законом. Это так. Но чтоб оценить какое бы то ни было учреждение и показать способ и степень его влияния на быт и положение народа, следует всегда смотреть на то, как оно прилагалось, а не на его идею.

внимания ни на правосудие, ни на совесть; а когда окончат свой срок, то едут к отчету и отдают часть добычи тем, которые их поверяют в четвертях и приказах. Они грабили иногда совершенно по-разбойничьи; например, в 1649 г. в Старорусском уезде воевода с своими людьми ездил по волостям, подвергал крестьян разным истязаниям и вымучивал у них деньги: он учреждал пиры и звал к себе подчиненных, — те должны были подносить ему *поклонное;* а кто уклонялся, за тем он посылал приставов, как за подсудимым, и сажал в тюрьму или осуждал на тяжелую работу, от которой надобно было откупаться. Наглость воевод особенно была безмерна в отдаленных провинциях, например, в Сибири: там воеводы отбирали у служилых жалованье для себя, а им приказывали расписываться в получении, и, в случае сопротивления, били их. В 1649 году об одном воеводе говорили, что он ходил постоянно с батогом в полтора аршина длиною и в палец толщиною и бил людей, кого только встречал на улице, приговаривая: "я воевода такой-то — всех исподтиха выведу и на кого руку наложу, тому от меня света не видать, и из тюрьмы не бывать". Суд, находясь в руках этих грабителей, до крайности был продажен. Они открыто продавали свои приговоры той из тяжущихся сторон, которая больше даст. Не было несправедливости, которая за деньги не могла бы остаться без наказания. Начать дело — значило давать взятки воеводе и приказным людям, да вдобавок быть битому — для того, чтоб дать больше. "Дело не велико, да воевода крут — свил мочальный кнут!" говорит пословица XVII века. В русской администрации сделалось как бы формальным правилом, что воевода, приезжая на воеводство, собирал людей, хулил прежнее управление и говорил, что теперь уже не будет так, как делалось при прежнем воеводе; что теперь воцарится правосудие и справедливость — и обыкновенно через год, эта новая, столь многообещающая власть заменялась другою, которая в свою очередь обличала ее, а себя выставляла напоказ. Сила выборного управления со старостами и целовальниками в XVII веке упала; оно подчинилось влиянию воевод и дьяков: тогда и выборные сами по себе были грабители — не хуже воевод и дьяков. Выборы в XVII веке производились под влиянием последних, и притом только богатыми членами общины. Раз выбранных нельзя было сменить до срока, и случалось, что земские старосты, стакавшись с воеводами и дьяками, да с товарищами их откупщиками, сбирали с жителей разные поборы, не по закону брали лишнее себе в пользу и делились с приказным людом. Иногда даже воеводам поручалось при сборах охранять народ от выборного начальства и от богатых мужиков горланов, как они называются

в актах. Такими же грабителями в дворцовых селах и слободах были приказчики. Например, в 1647 году в селе Дунилове, когда жители приносили приказчику свои оброчные деньги, он их не брал, но требовал *взъемков и слупов*, бил на правеже, сажал в подполье, а зимою в одной рубахе запирал в холодную повалушу. Он брал поборы холстом, сукнами, отдавал насильно замуж крестьянских девушек и проч. От всех таких злоупотреблений жители разбегались; пустели целые посады и большие села. "Удивительно" — замечает иностранец — как люди могут выносить такой порядок, и как правительство, будучи христианским, может быть им довольно?"

Обозревая русское судопроизводство тех времен, невольно припоминаешь замечание одного иностранца, посещавшего Россию в XVI веке, что здесь нет закона и все зависит от произвола властей. Действительно, самое законодательство было таково, что представляло много случаев, когда невинный мог быть наказан как преступник, не по ошибке, а при совершенном сознании его невинности. На первом плане здесь стоят дела по доносам о злоумышлениях против царя. Если доносчик выдерживал пытку, то это считалось доказательством справедливости обвинения. Жена одного конюха доносила на мужа, что он хочет отравить царских лошадей. Ее подвергли пытке; она выдержала ее; мужа сослали в Сибирь, а жена пользовалась половиною содержания, какое получал муж. Обыкновенно вор и разбойник обвинял кого-нибудь, и если выдерживал пытку, то пытке подвергали и обвиняемого. Можно себе представить, как легко тогда было мучить невинных! В случае сопротивления распоряжениям властей или неисполнения начальнических приказаний, часто было трудно найти виновных в толпе народа; тогда на выбор наказывали несколько человек из общины, не разбирая того, что таким образом пострадать могли одни невинные. Выше было сказано, что должники посылали на правежное истязание своих людей. По "Уложению" вообще долги помещиков и вотчинников правились на крестьянах. Таким образом, несчастного крестьянина отрывали от работы, держали в городе и каждый день у приказной избы колотили по ногам, хотя он ни духом, ни слухом не был виноват в том, что его господин наделал долгов и не платит. Так же точно отвечали жены и дети за мужей и отцов. Если убежит крестьянин, сажали в тюрьму и били его семейных, родственников, живших с ним не в разделе, и подсоседников. С другой стороны, дети были преданы безотчетному произволу родителей и обвинялись единственно по их доносам. Родители могли отдавать своих детей в рабство. Выше сказано, что целые общины отвечали за членов. Нередко бывало, и дворяне пода-

вали челобитную, будто в таком-то посаде и в такой-то волости их ограбили; преступника не находили, потому что его не было, и вся община облагалась пенею. По поводу беспрестанных побегов, шатаний и разбоев часто посылались сыщики, которые производили и следствие, и расправу и были мучителями невинного народа. Они брали с жителей содержание себе и корм своим лошадям, питье, подводы, сторожей, нередко для своей корысти научали преступников клеветать на невинных, чтоб потом лупить с посадских взятки. Однажды сделан был донос, что в Шуе явились продавцы табаку; послали туда сыщика, который задерживал посадских и без всяких улик бил их, вымогая с кого деньги, с кого ведро вина и т.п., а кто не давал, того, отлупивши, сажал в тюрьму. Случались примеры, что жители просили заступления от сыщиков и губных старост, и делали, чтоб с ними вместе судили воеводы и дьяки. Иногда же просили, чтоб губному старосте поручены были вообще все дела. Народ не видел исхода своему положению и совался из огня в полымя. Но в этом народе укоренилась страсть к ябедничеству. Были лица, составившие себе из ябедничества ремесло. Они сталкивались с воеводами и делили с ними барыши. Такой ябедник подавал на кого-нибудь просьбу, жаловался, что тот его ограбил или поколотил; но это делалось только для того, чтоб настращать ответчика позывом в суд и взять с него отступное. Порок был древний. Еще в начале XVI века в грамоте Смоленску поручается наместнику беречь мещан и черных людей от ябедников. Иван Васильевич в 1562 году пытался искоренить ябедников, которые были большею частью боярские дети, но это осталось без успеха: ябедничества нельзя было вывести, когда судьи находили в нем источник доходов. Если дело нужно было решить свидетелями, ябедники подводили в свидетели своих соумышленников, и судьи, чтоб показать, будто вовсе не потакают неправде и не имеют никаких сделок с обвинителями, сначала притворно отвергали показания свидетелей, указывали на их несообразность, а потом показывали вид, будто мало-по-малу убеждались их доказательствами. В 1649 году старорусские жители жаловались на воеводу, что он, пользуясь ябедами, брал с волостей въезжее, взыскивал кормы, отдавал на правеж по ложным искам, доверял ябедникам посылать приставов и с ними посылать своих людей; эти приставы и люди воеводы под видом разбирательства доносов производили грабительства; а когда оклеветанные ябедниками жаловались самому воеводе, он сажал их в тюрьму. Суд в провинциях был тяжел, и правительство, в виде льгот, давало грамоты, дозволявшие судиться не иначе, как в Москве; но это обременяло столько же обиженных, сколько давало воз-

можность укрыться от преследования обидчикам. Например, в 1625 году в Воронеже отец подьячего подал иск на посадских людей, требуя от них уплаты долга, который будто бы следовал покойному его сыну; у него не было никаких актов; иск начат по изустной памяти — и, однако, посадских потребовали в Москву, и они должны были, по голословному притязанию истца оставить свои занятия и ехать в такую даль. Лица духовного ведомства: приказные, дворовые, дети боярские и крестьяне архиереев и монастырей имели такие преимущества, что их не смели звать к суду иначе, как только в определенные сроки, например, 1-го сентября, или перед праздником Рождества, Троицына дня и т.п. Таким образом, получившие от них какое-нибудь оскорбление должны были терпеливо ожидать срочного времени и потом ехать в Москву; а это не всегда было возможно и в сроки: например, дворянам и детям боярским, обязанным службою. При Михаиле Федоровичу сроки были уничтожены, но права судиться исключительно в Москве оставлены. С своей стороны, дворяне, дети боярские и другие служилые люди являлись к суду для ответа только спустя месяц после того, как воеводы их распускали; во время службы никто не мог их беспокоить, да и после того они могли явиться только после третьего вызова; понятно, как терпели от них те, которые имели на них какие-нибудь иски. В Москве правосудие так же было продажно, как и в провинциях. Хотя сидевшие в Приказах и целовали крест *с жестоким проклинательством* и обещали судить по правде, — не дружить сильным и друзьям, не брать поминков, но ни *во что та вера и заклинательство, и наказания не страшатся и руки своя ко взяткам спущают*. Во время судного процесса в Приказе обе тяжущиеся стороны должны были жить безвыездно в Москве; если уезжал истец, то терял иск, а если уезжал ответчик, то был принуждаем к удовлетворению иска без дальнейшего разбирательства. Пользуясь этим, приказные нарочно протягивали дело и вымогали взятки за то, чтоб отпустить тяжущихся. Приезжавшие за общественным делом посадские привозили заранее собранные с жителей суммы на взятки подьячим. Надобно было удовлетворить дьяков и подьячих; и сторожам, и денщикам дать на пироги да на квас; надобно было обделить и крепостных людей дьяков и подьячих. Подьячие употребляли бесстыдные уловки, чтоб сорвать поболее: если просителю нужна была справка по делу, подьячий брал с него взятку, а говорил не то, что нужно, чтоб потом взять еще. Взятки увеличивались, когда дело происходило в двух Приказах разом: случалось нередко и это.

Все это достаточно показывает, что причины побегов, шатаний и вообще недовольства обычным ходом жизни лежали во

внутреннем организме гражданского порядка. Побеги были до того обыкновенны, что в челобитных на царское имя, где жалуются на злоупотребления воевод, приказных и служилых людей, или где просят об облегчении от повинностей и поборов, жители не боялись грозить правительству тем, что они разбредутся врозь. Это сделалось почти обычною формою такого рода деловых бумаг. Царствование Алексея Михайловича было временем побегов и шатаний. Их умножали военные обстоятельства. Дворяне, дети боярские, солдаты, даточные люди разбегались со службы и, боясь воротиться в свои жилища, чтоб не быть пойманными, шатались где попало. Правительство посылало за ними сыщиков, которые собирали жителей и ловили беглецов, как разбойников. Финансовые обстоятельства способствовали несчастию и бедности народа, а вследствие того и побегам. В продолжение двадцати лет (1648-1668) постоянно производилась охота за беглыми по всем краям государства. Сыщики гонялись за ними. Приезжая в какой-нибудь уезд, где обнаруживалось большое скопище беглецов, они приказывали на всех торгах бирючам кликать клич, чтоб все лица, начальствующие в общинах, ловили беглых и приводили к ним. Пойманных наказывали кнутом и водворяли на местах жительства. Впрочем, не всегда легко было водворить такого пойманного: уже и тогда русские знали увертки показываться непомнящими родства.

Усиленная ловля беглецов не прекращала бродяжничества, но развила разбойничество. Иной бродяга, если б ему дозволили шататься свободно, пропитывался бы безвредным для общества способом, переходя от одного господина к другому в услужение, или поселился бы где-нибудь вдалеке, например, в Сибири, куда многие бегали ради льготной жизни; но зная, что его поймают, испишут спину кнутом и отправят на старое место, ожесточенный бродяга делался отъявленным врагом общества. Редкий уживался на месте жительства, будучи возвращен туда насильно: если б ему было там хорошо, он бы и в первый раз не бегал, а теперь, после того как его раз поймают, ему, конечно, станет хуже: на него наложат еще больше повинностей за то, что он бегал; он опять навострит лыжи, и так как знает, что трудно где-нибудь приютиться, то побежит в темный лес; таких сходится там много, и составляется разбойничья шайка.

Вместе с ловлею беглецов производилась и ловля разбойников. Царствование Алексея Михайловича богато разбоями, особенно в десятилетие перед появлением Стеньки Разина. Сохранилось много актов о преследовании разбойников в различных местах, особенно в восточном крае. В 1657 году по поводу распространившихся разбоев и убийств посадских и крестьян

посланы в понизовые города: Казань, Нижний, Алатырь, Курмыш, сыщики из дворян; они должны были брать от воевод и стрельцов, пушкарей и затинщиков, вооружать уездных людей и ловить разбойников и беглых. В 1663 году в Тотемском уезде приказано крестьянам всех волостей держать у себя ружья для преследования разбойников; у кого не было ружья, того подвергали наказанию батогами. В 1664 году в Пошехонье и на Унже велено воеводам созывать дворян, детей боярских и служилых людей, ездить с ними по селам и деревням всяких ведомств, брать там сотских, пятидесятских и десятских, собирать толпу вооруженных крестьян, отыскивать разбойников, истреблять их станы и самих судить и казнить немедленно. В 1665 году заметили, что преследуемые таким образом удальцы бегут преимущественно в низовья Волги; туда приходили бродяги из Воронежа, Шацка, Ельца и других мест, как будто ища сборного пункта. Поэтому правительство приказывало воеводам городов: Самары, Саратова, Царицына, Черного Яра находиться между собою в постоянной связи, посылать друг к другу частые станицы, отправлять в степи детей боярских и стрельцов и ловить подозрительных людей из верховых городов, называющих себя козаками. В 1667 году разбои, воровства, смертоубийства распространились по всей России в ужасающем размере. На севере, на юге, на востоке посланы от Разбойного приказа сыщики — предписано всем воеводам содействовать им, давать людей, поднимать посадских и крестьян, разорять разбойничьи станы, казнить смертью и разными муками злодеев, к числу которых относили и *ведунов* (колдунов), и замечали, что вместе с разбоями распространилось ведовство. Смертная казнь постигала вместе с ними не только укрывателей, но и тех, которые, слыша крик разбиваемых людей, не пойдут к ним на помощь.

Эта мера не помогла беде: беда возрастала. На следующий год уже в самой Москве на масляницe убивали и грабили по улицам. Правительство устроило ночные караулы, обязанные хватать всех, кто шатается ночью. За исключением священников и царских стольников, дозволено прочим людям ходить по Москве ночью только в продолжение первых четырех часов (иначе: до десяти часов вечера, по нашему счету времени) и то непременно с оружием. Было явно, что Русь готовится к какому-то страшному волнению.

IV.

В 1665 году князь Юрий Долгорукий был в походе против поляков. В его войске находились донские козаки. Наступала

осень. Атаман одного из козачьих отрядов, Разин, явился к князю, ударил челом и просил отпустить донцов на тихий, вольный Дон. Князь приказал ему оставаться на службе. Никто из ратных людей не смел уходить со службы без отпуска начальника, но козаки считали себя вольными людьми: они думали, что если служат белому царю и проливают кровь за его государское здоровье, так это делается по доброму хотенью, а не по долгу. Атаман самовольно ушел с своею станицею, но их догнали, и Долгорукий осудил на смерть атамана. У него было двое братьев: Степан, или Стенька, и Фрол, или Фролка, как назывались они уменьшительно Вероятно, они видели как повесили старшего брата*.

---

* Народное предание говорит, что Стенька прежде того был гонцом к турецкому султану и попался в плен в Азове, откуда освободился и, воротясь на родину, начал свое возмущение. Есть замечательная песня об этом событии, помещенная в "Сборнике" Сахарова.

А и по край было моря синяго,
Что на устье Дону-то тихаго.
На крутом, красном бережку,
На желтых, рассыпных песках,
А стоит крепкий Азов-город
Со стеной белокаменной.
Земляными раскатами и рвами глубокими
И со башнями караульными.
Среди Азова-города
Стоит темная темница.
А злодейка — земляная тюрьма;
И во той-то было во темной темнице,
Что двери были железныя,
А замок был в три пуда,
А пробои были булатные,
Как засовы были медные;
Что во той темной темнице
Засажен сидит донской козак
Степан Тимофеевич.
Мимо той да темной темницы
Случилося царю идти, самому царю,
Тому турецкому Салтану Салтановичу.
А кричит донской козак
Степан Тимофеевич:
"А ты гой еси, турецкой царь,
Салтан Салтанович!
Прикажи ты меня поить кормить —
Либо казнить, либо на волю выпустить".
Постоял турецкий царь
Салтан Салтанович:
"А мурзы вы улановья!
А вы згаркайте из темницы
Того тюремнаго старосту".
А и мурзы, улановы металися через голову,
Привели его улановы они старосту тюремнаго;
И стал он турецкой царь

Неизвестно, ушел ли Стенька тотчас, или воротился уже после, по отпуску грозного князя; в следующем году он замыслил не только отомстить за брата, но и задать страха всем боярам и знатным людям Московского государства, которых вообще не терпели козаки. Это был человек чрезвычайно крепкого сложения, предприимчивой натуры, гигантской воли, порывчатой деятельности. Своенравный, столько же непостоянный в своих движениях, сколько упорный в предпринятом раз намерении, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то готовый с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения; некогда ходивший на богомолье в от-

---

У тюремнаго старосты спрашивать:
"Еще что за человек сидит?"
Ему староста рассказывает:
"А и гой еси, турецкой царь,
Салтан Салтанович!
Что сидит у нас донской козак
Степан Тимофеевич!
И приказал скоро турецкой царь:
"Вы мурзы, улановья!
Ведите донскаго козака
К палатам моим царскиим".
Еще втапоры турецкой царь
Напоил, накормил добраго молодца
И тошно стал его спрашивати:
"А ты гой еси, донской козак!
Еще как ты к нам в Азов попал?"
Рассказал ему донской козак:
"А и послан я из каменной Москвы
К тебе царю в Азов-город,
А и послан был скорым послом,
И гостинцы дорогие к тебе вез;
А на заставах твоих всего меня ограбили
Мурзы, улановья, а моих товарищей
Рассадили добрых молодцов
И по разным темным темницам".
Еще втапоры турецкой царь
Приказал мурзам улановьям
Собрать добрых молодцов,
Стеньки Разина товарищей.
Отпущает добрых молодцев,
Стеньку в каменну Москву;
Снарядил добра молодца
Степана Тимофеевича.
Наградил златом серебром,
Еще питьями заморскими.
Отлучился донской козак от Азова-города,
Загулялся донской козак
По матушке Волге-реке,
Не явился в каменную Москву.

даленный Соловецкий монастырь, впоследствии хуливший имя Христа и святых его. В его речах было что-то обаятельное; дикое мужество отражалось в грубых чертах лица его, правильного и слегка рябоватого; в его взгляде было что-то повелительное; толпа чувствовала в нем присутствие какой-то сверхъестественной силы, против которой невозможно было устоять, и называла его колдуном. В его душе действительно была какая-то страшная, таинственная тьма. Жестокий и кровожадный, он, казалось, не имел сердца ни для других, ни даже для самого себя; чужие страдания забавляли его, свои собственные он презирал. Он был ненавистник всего, что стояло выше его. Закон, общество, Церковь — все, что связывает личные побуждения человека, все попирала его неустрашимая воля. Для него не существовало сострадания. Честь и великодушие были ему незнакомы. Таков был этот борец вольницы, в полной мере изверг рода человеческого, вызывающего подобные личности неудачным складом своего общества.

В Малороссии после Богдана Хмельницкого возникли две партии: одна — *значных*, или кармазинников, другая — простых, или голоты. Первые хотели такого порядка, который приближался бы к аристократии, а к ней они причисляли самих себя; вторые соблазнялись идеею совершенного равенства, даже общности имуществ, и доставляли собою опору ловким честолюбцам. В то время правил Украиною гетман Бруховецкий, одолженный своим гетманством этому обольщению народа. Подобное разделение было тогда и на Дону: там были козаки домовитые, старые, прямые, настоящие козаки, и "голутвенные люди", как их называют акты, или "голытьба", как они прославлены в песнях. К последним принадлежали разные беглецы из московщины; их собралось особенно много на Дону в последние годы, когда их начали так деятельно преследовать на Руси, — на Дону им было безопасно: Дон не выдавал гостей с своих берегов — так издавна велось. Все это были бедняки, кормились поденною работою или подаянием и тогда пропадали с голода, потому что на Дону был неурожай и дороговизна; и были они готовы на разбой или на бунт, если сыщется голова, что сумеет созвать и привязать их к себе. Стенька в Черкаске сблизился с таким людом и составил около себя удалую толпу как о нем говорит современная песня:

У нас-то было, братцы, на тихом Дону,
Породился удал добрый молодец,
По имени Стенька Разин Тимофеевич;
Во козачий круг Степанушка не хаживал,
Он с нами, козаками, думы не думывал, —

Ходил гулял Степанушка во царев кабак;
Он думал крепку думушку с голытьбою!
Судари мои, братцы, голь кабацкая!
Поедем мы, братцы, на сине море гулять;
Разобьем, братцы, басурмански корабли —
Возьмем мы казны сколько надобно!

В Черкаске был атаман Корнило Яковлев, старый заслуженный воин — он принадлежал к партии домовитых козаков; он удерживал козаков в верности царю и в повиновении закону, пользовался общим уважением и выигрывал у козаков уменьем уступать козачьему кругу (так называлось козацкое собрание, решавшее дела — то же, что в Малороссии рада), чтоб потом взять над ним верх и поставить на своем. За ним нельзя было разгуляться Стеньке; притом Стенька еще ничем себя не выказывал: не было у него ни славы, ни денег; а чтоб поднять за собою толпу, надобно и того, и другого. Стенька за этим хотел было с толпою набранной голытьбы поплыть к Азовскому морю и пошарпать турецкие берега, но Корнило не дал ему этого сделать. Стенька посадил с собой на четыре струга свою ватагу и в апреле поплыл вверх по Дону. Его голытьба по пути грабила богатых козаков и разоряла их дома. Корнило послал было за ними погоню, но она не догнала удалых. Стенька норовил туда, где Дон сближался с Волгою, где был всегда сборный пункт для воровских козаков. Стенька выбрал высокое место между рек Тишини и Иловли, близ городка Паншина, и там заложил свой стан. Не первый раз был здесь притон удалых, еще в 1659 году шайка воровских козаков, под начальством атамана Ивашки, да Петрушки, сделали здесь городок, названный Рада, и отсюда делали набеги на Волгу — грабили там торговых людей. По царскому указу донские козаки тогда разорили его.

И вот в Царицыне разнесся слух, что на Дону собираются козаки-воры и хотят перейти на Волгу, напасть на Царицын, взять там суда, судовые снасти, поплыть вниз по Волге и учинять воровство. Кое-какие молодцы, почуяв, что на Дону собирается шайка, предупредили ее и начали шалить на Волге. Первую весть принес в Царицын один нижегородский торговый человек.

"Застигли нас на Волге заморозы, — говорил он, — и стали мы в зимовке между Царицыном и Саратовым, как вдруг напало на нас двое воров: один с Дона, другой из Шацка, беглый крестьянин; сперва они ограбили струг с икрою, а потом напали на меня и все животы у меня отняли, да еще хвалились, что весною будет у них большое воровское собранье и пойдут воровать на Волгу. Верно, эти, что нас ограбили, приходили проведывать, нет ли по Волге стругов, чтоб захватить".

Тогда в царицынской приказной избе принялись писать донесение в Москву, отписки в Астрахань, в Саратов, в Черный Яр, с просьбою прислать к Царицыну служилых побольше. Вслед затем во всех городах началось то же. Из Саратова писали в Самару, в Астрахань, в Царицын, из Самары в Саратов, в Царицын, в Астрахань, из Астрахани в Царицын, Саратов, Самару, и так далее. Из Москвы пошли грамоты во все эти города по одной форме, а в грамотах говорилось, чтоб воеводы жили с великим береженьем; а где объявятся воровские козаки, посылали бы на них для промысла служилых людей. Но в Царицын служилые не прибавлялись, и все действия против воровских козаков со стороны царицынского воеводы ограничились на первый раз тем, что он послал к Паншину станицу из пяти человек для проведывания. Начальником такой станицы выбирался вож, человек опытный, бывалый, знавший степные приметы. На этот раз вожем был Иван Бакулин. Завидев издали козацкий стан, куда нельзя было проехать за полой водой, он обратился к атаману паншинского городка.

Атаман рассказал ему, что Стенька насильно взял у него разные запасы, и прибавил:

— "Сказывал мне, атаману, атаман воровских козаков Стенька Разин, чтоб я сказал царицынскому воеводе: не посылал бы он служилых людей, а не то, говорит, я всех потеряю напрасно и город Царицын велю сжечь".

С этим воротился вож и сказал:

— "Стоит Стенька на высоких буграх, а кругом него полая вода: ни пройти, ни проехать, ни проведать, сколько их там есть, ни языка поймать никак не можно, а кажись, человек тысячу будет, а може быть и поболе".

Тогда Андрей Унковский (царицынского воеводу звали так) послал к Стеньке двух духовных особ: соборного протопопа, да старца Троицкого монастыря. Он написал с ними грамоту, да наказывал и словесно подействовать на атамана. Духовные поехали с тем, чтобы застращать увещаниями воровское сердце козака и возвратить его с неправого пути; но вместо того возвратились сами в Царицын, не видав Стеньки.

"К ним за водою проехать нельзя — так извещали они, — а стругами из Паншина никто нас перевозить не посмел; а Паншинский атаман говорит, что хочет Стенька идти на Волгу, оттуда на Яик, а оттуда воевать тарковского шамхала, Суркая".

Вслед затем воровское полчище снялось с своего стана и перешло на Волгу. Вероятно, они проплыли туда рекою Камышинкою: этот путь был обыкновенный для воровских козаков, как поется в песнях:

Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Камышина,
Протекала, пролегала мать Камышинка река;
Как со собою она вела круты красны берега,
Круты красны берега и зеленые луга:
Она устьецем впадала в Волгу Матушку;
А по славной было матушке Камышинке реке
Как плыли-то, выплывали все нарядные стружки;
Уж на тех ли на стружках удалые молодцы,
Удалые молодцы, воровские козаки;
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
На них беленьки чулочки, сафьянны сапожки,
На них штаники кумачны во три строчки строчены,
На них тонкия рубашки с золотым галуном;
Как и сели да гребнули, песенки запели.

Ватага Стеньки имела козацкое устройство; разделена она была на сотни, десятки; над сотнею начальствовал сотник, над десятнею — десятский. Стенька был над ними атаманом, а у него был есаул Ивашка Черноярец. Они заложили стан на высоком бугре, но где именно — неизвестно: где-нибудь выше или ниже Камышина. На этом протяжении есть в нескольких местах бугры, называемые буграми Стеньки Разина. Народное предание говорит, что здесь чародей Стенька останаливал плывущие суда своим ведовством. Была у него кошма, на которой можно было и по воде плыть, и по воздуху летать. Как завидит он с высокого бугра судно, сядет на кошму и полетит, и как долетит до того, что станет над самым судном, тотчас крикнет: "сарынь на кичку!" От его слова суда останавливались; от его погляда люди каменели. Удалые бросятся тогда на судно, и начинается расправа. Плыл тогда весенний караван... между Нижним и Астраханью каждый год два раза (весною и осенью) плавала вереница судов, называемая караваном; в караване на этот раз были казенные суда, патриаршие, и струги частных лиц; на каждом струге было свое особенное знамя. На одном струге сидели ссыльные, которых везли в ссылку на житье в Астрахань. Большое судно везло казенный хлеб; оно принадлежало гостю Шорину и отправлено с его приказчиком. Отряд стрельцов провожал караван, под начальством симбирского сына боярского Степана Федорова. У Разина была тысяча молодцов; сопротивляться было невозможно. Караван был остановлен. Стенька тотчас объявил чернорабочим и простым стрельцам, что он не будет их обижать, а только расправится с их начальниками и хозяевами. Изрубили начальника отряда, потом принялись за целовальников, ехавших при казенном хлебе, жгли их огнем, допрашивали о деньгах; приказчика, отправленного Шориным при судах, повесили. Стенька сам взошел на патриарший насад, перебил руку

монаху-надзорщику и приказал повесить на мачте трех человек, вероятно, за то, что показали охоту сопротивляться. На частных стругах хозяев или повесили на мачтах, или побросали в воду. Дошла очередь до струга, где сидели ссыльные. Стенька освободил их, а провожатого раздел донага, посадил на песке с государевой казною и так оставил. Стенька был причудлив: иного без причины убьет, другого без причины пощадит; в одном месте все заберет, в другом все побросает. В заключение Стенька сказал ярыжным, как назывались рабочие:

"Вам всем воля; идите себе куда хотите; силою не стану принуждать быть у себя; а кто хочет идти со мной — будет вольный козак. Я пришел бить только бояр, да богатых господ, а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделиться".

Все ярыжные и стрельцы пошли в его ватагу.

Стенька добыл судов, ружей, запасов и поплыл к Царицыну. Со стен города принялись палить на него из пушек, но, по известию современника, ни одна пушка не выстрелила: весь порох запалом выходил. Стенька был чародей и умел заговаривать оружие. В Царицыне его испугались, а на судах люди ободрились. Он послал в Царицын своего есаула Ивашку Черноярца — требовать наковальню, меха и кузнечную снасть. Унковский не задержал есаула и отдал ему без сопротивления все, что тот требовал.

"Что ж я буду делать? — говорил он, — этого есаула, как и атамана его, ни сабля, ни пищаль не берет, и они своим ведовством все свое войско берегут".

В последних числах мая, или первых июня, достигли они Черного Яра. Стенька плыл в тридцати стругах; у него было до тысячи трехсот человек. Плененные суда плыли позади, а перед вели старые удальцы. Новички, набранные после разгрома каравана, находились позади, потому что Стенька еще им не доверял. Когда они поровнялись с Черным Яром, ратные люди в городе приготовились к обороне, но козаки не тронули их; не затронули первые и черноярцы козаков. Удалые подплыли вниз к Бузану. Тут встретился с ними воевода Семен Беклемишев. Из Черного ли Яра он вышел, или из Астрахани — неизвестно, равно как и то, прибыл ли он с ними драться, или уговаривать их; вероятнее последнее. Известно только, что он воротился в Астрахань с раною на руке, и рассказывал, что козаки для поругания вешали его на мачту, а потом пробили чеканом руку, обобрали и отпустили. Три астраханские струга со стрельцами пристали к воровской станице.

Удалые поплыли по Бузани, протоку, который отделяется от Волги верстах в пятнадцати выше Астрахани и впадает в Кас-

пийское море у Красного Яра. В Красном Яре мало было орудий и ратных людей: сопротивляться и задерживать козаков было невозможно, да и Стенька не стал беспокоить этого города, а повел свою ватагу по одному из множества мелких протоков, разделяющих разной величины острова, которыми усеян широкий излив Волги. Повернув влево, они поплыли вдоль песчаных островов, около северного берега Каспийского моря, и достигли устья Яика. Там уже давно скрывались пособники Разину. Еще когда Стенька сидел в Паншине, какой-то Федор Сукнин писал к нему из Яика: "собирайся к нам, атаман, возьми Яик город, учуги разори и людей побей. Засядем в нашем городке, а потом пойдем вместе на море промышлять".

Как подступил Стенька к Яику, то оставил свое войско в уютном месте, чтоб не видно было из Яика, а сам отобрал трех человек и подошел к воротам. Стрелецкий голова Иван Яцын, только что перед тем присланный туда из Астрахани, спросил: "Что вам надобно?" — "Мы, — сказал Стенька, — только просим пустить нас Богу помолиться". Яцын пустил их, неизвестно с какого повода, может быть, видя их малолюдство, хотел воспользоваться и задержать. Ворота за гостьми тотчас были затворены; но эти гости, как скоро вманились в Яик, отворили их сами и вся ватага вошла в город. Иван Яцын не стал сопротивляться, не стрелял; но это его не спасло. Стенька приказал вырыть глубокую яму и повел к ней Ивана Яцына; астраханский стрелец Чикмаз отрубил ему голову; то же сделали с другими начальниками и некоторыми стрельцами. По известию самого Чикмаза, он отрубил головы ста семидесяти человекам; остальным стрельцам сказал Стенька: "даю всем волю; я вас не силую: хотите — за мною в козаки идите, хотите — ступайте себе в Астрахань".

Некоторые остались с ним в Яике, а другие пошли в Астрахань. Тогда Стенька послал за ними в погоню своих козаков. Они догнали их на Раковой Косе и требовали, чтоб шли с ними заодно, а когда они не хотели, то принялись их рубить и бросать в воду; от страха иные сдавались и приставали к козакам, другие разбежались врассыпную по камышам, и после уже собирал их отправленный из Астрахани в погоню за Стенькою полуполковник Режинский; он уже не осмелился идти до Яика. Чтоб расположить к себе чернь, Стенька объявлял всем волю и твердил, что не хочет силою брать с собой никого, но говорил это с уверенностью, что в благодарность за такое великодушие, все у него будут оставаться. Когда же в Яике случилось не так, тогда он и показал, что значит свобода, которую он всем предоставляет. Таково же было его и правосудие: когда ему один из тех стрель-

цов, что были приведены с Раковой Косы, донес, что у них четырнадцать человек составили артель и хотят убежать в Астрахань, то Стенька, по одному такому извету, жег их огнем и заколачивал до смерти.

Просидев лето в Яике, Стенька в сентябре отправился в море и пристал в Устье Волги, к протоку, называемому Емансуга. По островам ветвистого устья Волги жили тогда татары, носившие название едисанских. Это был кочевой народ могаммеданской веры, с короткими лицами, маленькими глазами, темно-желтою кожею, с отвислым брюхом и с морщиноватыми чертами лица, в длинных серых балахонах или в овчинах, летом вывороченных шерстью вверх, и таким невзрачным видом указывал на смесь монгольского племени с татарским. Летом шатались они по степи и по берегам моря, занимались скотоводством, охотою и рыбною ловлею; зимою толпились под Астраханью, где жили в шалашах, которые ставили на высоких земляных насыпях, управлялись князьями и были в непримиримой вражде с калмыками. У протока Емансуги был тогда улус князя их Алея. На них напали козаки и погромили наповал, прогнали князя и его сына, забрав в полон детей и женщин, от которых могли поживиться русскими копейками, украшавшими их кругленькие, вверху заостренные шапочки. Оттуда удалые поплыли к Терку, напали на какое-то турецкое судно, ограбили и воротились в Яик зимовать.

Сведав, должно быть, о невзгоде заклятых врагов своих, калмыки, кочевавшие между Яиком и Волгою, вступили в дружеские сношения с ватагою Стеньки. Одна из их орд, под начальством тайджи Мерчени, разбила свои кибитки под Яиком; началась между ними и козаками беспрерывная торговля. Они променивали друг другу то, что награбили. Козаки получали от них скот и молоко и этим содержали себя.

Астраханский воевода Иван Андреевич Хилков только и оказывал противодействие Стеньке тем, что посылал против него партии; но эти партии не доходили до Яика. Между тем в декабре прибыли в Астрахань донские козаки — Леонтий Терентьев с товарищами. Они привезли увещательную царскую грамоту, присланную к непослушным козакам на Дон, по донесению войскового атамана. Козаки эти были отпущены в Яик.

Стенька надеялся со временем управлять Доном, и для этого не стал раздражать козацкого сословия, а принял посланцев с уважением. Он собрал круг, то есть предложил дело приговору вольной братии; знал, однако, что станется так, как захочет он. Посланные допущены в круг.

Подав грамоту, они сказали:

"Боярин и воевода астраханский, князь Иван Андреевич Хилков, велел вам говорить, чтоб вы отпустили астраханских стрельцов, яицких годовальщиков (такое название носили стрельцы, отправленные из главного города в подначальный) и тех, что в степи и камышах вами захвачены, а также и улусных людей, что вы в полон взяли".

Стенька, по приговору круга, отвечал:

"Когда придет великого государя милостивая грамота ко мне, тогда мы все свою вину принесем великому государю и стрельцов отпустим, а теперь не пустим никого".

С тем и уехали козаки.

Поступками Хилкова правительство вообще не оставалось довольно.

На место его назначили другого воеводу, князя Прозоровского; но пока еще Прозоровский не доехал до Астрахани, Хилков отправил против Разина степью товарища своего, Якова Безобразова. Последний, по наказу старшего своего боярина послал в Яик двух стрелецких голов Семена Янова и Никифора Нелюбова уговаривать Стеньку оставить свое воровство и идти в Саратов с повинною к новому астраханскому воеводе. Безобразов сошелся с двумя калмыцкими ордами под начальством тайджей Дайджина и Мончака. Десять тысяч калмыков осадили было Разина в Яике; но все это было напрасно. Весною, когда правительство, узнав о таком доброжелательстве калмыков, приказывало обращаться как можно вежливее с этими союзниками и предоставить им обладание полною добычею, какую отнимут у мятежников, калмыков уже не было около Яика. Козаки не только не сидели в осаде, но на разных местах погромили ратных людей Якова Безобразова, а в наказание за то, что их разом и увещевали и хотели повоевать, повесили обоих стрелецких голов, посланных к ним для сговора, как тогда говорилось. Неудачно окончили свое посольство с такими же увещаниями двое стрелецких офицеров, которых после того Прозоровский послал в Яик из Саратова. Один из них, пятидесятник, воротился к воеводе известить, что другого его товарища Стенька ночью убил и бросил тело его в воду.

23-го марта 1668 года удалые выступили в море и с тех пор больше года в Руси не знали наверное, где они обретаются; слышали только от разных лиц, что они гуляют по морю и громят Персидское царство, а другие говорили, что они отдались персидскому шаху в подданство.

Тем временем в Астрахани переменилось начальство, и вместо Хилкова прибыл на воеводство боярин князь Иван Семенович Прозоровский. В Яик послан голова Богдан Сакмышев; но

яицкие жители взбунтовались и утопили его. На Дону пример Стеньки заохотил многих, так что молодцы начали собираться в станицы и пробираться на соединение с своею братнею, которая отличалась на синем море Хвалынском. В апреле 1669 года удал-добрый-молодец Сережка Кривой переволокся на Волгу, прошел с своею толпою мимо Царицына, мимо Черного Яра и поплыл по Бузани; за ним, по следам, плыл письменный голова Григорий Авксентьев, посланный Прозоровским. Он взял в Красноярске две пушечки медные, да три пушечки железные, и настиг Сережку, как тот поворотил в проток Какрабузан, и учинил он с воровскими козаками бой, и разбили его напропалую воровские козаки. Сто человек стрельцов передались к ним добровольно, а сам предводитель, Григорий Авксентьев, чуть ушел в одной лодке с небольшим числом людей и известил Прозоровского, что у Сережки, по смете, будет человек семьсот. Другие офицеры — один пятидесятник, другой родом немец — попались в плен. Сережка привязал их вверх ногами, колотил "ослопьем" и побросал в воду, а потом уплыл с своими молодцами в море и нагнал Стеньку близ персидского города Раша (или Решта). Вслед затем в Донской Земле составлялись и другие шайки: по Дону и по Хопру только и речи было, как бы перебраться на Волгу, а оттуда погулять по морю. Из низовых козачьих городов молодцы пробирались другим путем — по Куме реке. Терские воеводы доносили, что явился какой-то Алешка Протокин, а за ним две тысячи конных ведет Алешка Каторжный, а за ним запорожец Боба с четырьмя стами хохлачей. Весть об удальстве Стеньки Разина достигла уже средоточия козацкого мира — Запорожья.

V.

Стенька сначала поплыл к берегам Дагестана. По известию современника было у него шесть тысяч козаков. Козаки чинили неистовые мучительства над дагестанскими татарами. Этот народ подвластный персидскому шаху и управляемый своими князьями, был свиреп и давно уже возбуждал вражду в русском мире. Негостеприимен был берег Дагестана. Никакие права человеческие не спасали там торговца или путешественника; мало того, что его обирали, но еще и самого обращали в рабство и продавали из рук в руки, как скотину. Торг рабами был главным промыслом дагестанских рынков. Бесчеловечно было здесь обращение с рабами, особенно с христианами. В своем мусульманском фанатизме татары принуждали их к принятию своей веры и за сопротивление мучили. Козаки знали это и ненавидели их

тем более, что у козаков, несмотря на их грубость и варварство, рабства не было: всякий холоп, прибежавший на Дон, делался вольным человеком.

Козаки напали на Тарки, но не могли взять их. Они три дня грабили их окрестности и отправились к Дербенту. Здесь был главный приморский рынок для торговли невольниками. Дербент разделялся на три части: верхний город, укрепленный высокою и толстою стеною, удержался; но низменную часть козаки так разорили, что через два года потом она представляла безлюдную и безобразную груду развалин. Весь берег от Дербента до Баку был страшно опустошен. Козаки сжигали села и деревни, замучивали жителей, дуванили их имущества. Жители не предвидели этой беды и разбегались; козакам легко доставалась добыча: погромив город Шабран, они со стороны жителей встретили такой ничтожный отпор, что сами потеряли только тринадцать человек. Плавая вдоль берега, налетом они наскакивали на поселения, делали свое дело и опять бросались на суда. Так достигли они до Баку, и здесь им удалось разорить посад, перебить много жителей, разграбить имущества, набрать пленных и потерять не более семи человек убитыми и двух раненными. В июле они достигли Гилянского залива. Здесь они узнали, что из города Раша (или Решта) их готова встретить вооруженная сила. Стенька пустился на хитрости. Он вступил в переговоры с персиянами.

— Вы напрасно хотите с нами драться, — говорили козаки, — мы убежали от московского государя и пришли в вашу землю просить его величество шаха принять нас под высокую руку в подданство. Мы слышали, что в персидских землях все пользуются справедливостью и мудростью правления; мы хотим отправить в Испаган наших послов просить шаха отвести нам землю для поселения на реке Ленкуре.

После того состояния, в каком козаки оставили дагестанские берега, казалось, им было трудно надеяться на доверие к себе; но Будар-хан, тогдашний правитель Раша, согласился на мировую. Вероятно, предложение козаков приятно защекотало чванное самолюбие восточной политики, которая всегда славилась и тешилась тем, что чужие народы, заслышав о премудрости правителя, отдаются ему добровольно в рабство. Козаки взяли от рашского хана Будара заложников и сами послали трех (по другим пять) молодцов в Испаган предлагать подданство. Будар-хан позволил им пристать к берегу, входить в город и давал им содержание в день — по одним известиям, сто пятьдесят рублей, по другим — двести.

Но гости скоро повздорили с хозяевами. По всему видно,

сюда следует отнести случай, о котором после сами козаки рассказывали в Астрахани немцам, а немцы отнесли его к Баку. Козаки напали на большой запас хорошего вина, которого пить не привыкли; они так натянулись, что падали без чувств. Жители увидели это, и так как вино верно было не куплено козаками, то и напали на козаков. Застигнутые врасплох, удальцы бросились бежать к своим стругам; но четыреста человек из них были убиты и захвачены в плен. Самого атамана чуть было не убили; подчиненные закрыли его своими грудьми и вынесли из беды. Этот случай отнесен Страусом, в его путешествии, к Баку; но, кажется, он происходил в Раше: те козаки, которые после ездили в Москву послами от Стеньки Разина, рассказывали, что шаховы люди в мирное время напали на них в Раше и много козаков побили и полонили; сверх того, в тот же год, как это случилось, один приезжий из Шемахи рассказывал в Астрахани, что козаки потерпели от персиян и потеряли четыреста человек: он относил это дело к Рашу, а не к Баку.

Козаки снялись на своих стругах и поплыли к Фарабату. Козаки взяли этот город, сожгли до основания, разграбили имущества, перебили много жителей, набрали много пленников и сожгли увеселительные шаховы дворцы, выстроенные на берегу моря. Дело произошло так: Стенька послал к жителям известить, что козаки прибыли для торговли и просят впустить их. В Фарабате, вероятно, не хорошо знали, что козаки делали в Дагестане, и впустили их. По другому известию, жители, услышав о приближении козаков и не надеясь дать им отпора, покинули город и ушли в горы, забравши с собой что было подороже из их имущества, и скрывались в каменных ущельях. Разин послал к ним сказать, что им бояться нечего; козаки никого не станут оскорблять, напротив — будут у них покупать на деньги что понадобится. Легковерные персияне вышли из своих ущелий и началась торговля. Как бы то ни было, но, согласно обоим известиям, пять дней торговые сношения шли самым дружелюбным образом; на шестой Стенька, наперед условившись с своими удальцами, дал им знак, поправив на голове шапку: удальцы бросились на жителей, которые не пришли в себя от страха, и тут-то козаки учинили свою страшную расправу. В городе были христиане, поселенные там из пленников шахом Аббасом. Они кричали козакам: Христос! Христос! и козаки щадили их, не трогали их имущества. Но современник говорит, что подобные поступки Стенька делал не один раз и не в одном месте, путешествуя по берегам Каспийского моря.

И прежде у них было много пленников, — теперь стало еще больше. Стенька с своим войском остановился на полуострове,

против Фарабата, обратил на работу пленников, сделал там деревянный городок, прокопал земляной вал и стал там зимовать, а между тем объявил персиянам, чтоб они приводили к нему христианских невольников, а козаки им будут отдавать пленных персиян. За трех и четырех христиан давали по одному персиянину: видно, пленников у козаков гораздо было меньше, чем христианских невольников у персиян. Многие освобожденные христиане поступали в ряды козаков, и тогда козаки могли величаться, что они вовсе не разбойники, а рыцари, и сражаются за веру и свободу своих братьев по вере и племени.

Когда, таким образом, козаки проводили зиму на острове и по временам набегали на соседние острова, их посланники находились в Испагани. Сначала их приняли там благосклонно, дали им помещение и обращались с ними, как с послами независимых государств. Шах хотя и не удостоил их видеть свои очи, но поручил первому министру выслушать их. "Нас прислали (извещали они) шесть тысяч наших товарищей. Мы были подданные московского государя; но он стал с нами обращаться дурно, и мы убежали из его земли с женами, и детьми, и с нашим достоянием. Наслышались мы, что нет нигде такого правосудия, как в Персии, и здешний государь милостив к своим рабам; так мы вступаем к нему в холопство. Пусть нам дадут землю, где бы поселиться". Они представили грамоту от своего атамана; но в Испагани не нашлось никого, кто бы мог ее прочесть. Было там двое европейцев, знавших много языков, и те, поглядевши на грамоту, могли сообщить персиянам только то, что она написана на козако-русском языке. Пришлось узнать причину этого посольства не из грамоты, а из речей изустных. Козаки просили дать им для поселения земли на реке Ленкуре. Персидское правительство не решалось на это и услышало, что сделалось в Раше. "Как же это, — говорили козакам персияне, — вы хотите вступить в холопство к нашему государю, а разоряете наши города и убиваете наших людей". Козаки уверяли, что это произошло от того, что жители Раша на них напали и стали грабить, а они, если убивали их, то делали это единственно потому, что принуждены были защищаться. Тут приехал в Испаган московский посланник, объяснял персидскому правительству, что эти козаки мятежники и убеждал не принимать их. Персияне не доверяли ни козакам, ни московскому правительству, и даже отчасти подозревали: не подосланы ли самым правительством эти козаки, которых только для вида царский посланник выставлял мятежниками. Когда в Испаган дошла весть о дальнейших козацких разорениях на каспийском побережье, тогда и самое московское посольство почли присланным в Персию единственно

для того, чтобы отвлечь персидское правительство от военных действий и доставить козакам возможность беспрепятственно грабить персидские области. Стали строить флот из есаульных стругов, под надзором какого-то немца, и думали с этим флотом идти укрощать козаков. Но прежде чем приготовленные силы могли двигаться к гостям, последние, с наступлением весны, поплыли к Трухменской Земле, на восточный берег Каспия. Там они погромили трухменские улусы; но в одной стычке с неприятелем убит неустрашимый товарищ Стеньки, Сережа Кривой. С трухменского берега козаки поплыли к Свиному острову и остановились на нем. Десять недель пробыли они на этом острове и делали набеги на берег для добывания пищи. В июле явилась давно жданная сила, которую шах целую зиму и весну готовил на пришлецов. Было семьдесят судов; в них, по известию современников, было 3700 или 4000 персиян и наемных горных черкес. Начальствовал над ними астаранский Менеды-хан. С ними в походе был сын его и красавица дочь. Завязалась кровопролитная битва. Закатисто стреляли козаки врагов своих; потоплены и взяты персидские сандали, как назывались эти легкие суда; только три струга убежали с несчастным ханом; но козаки полонили его сына, Шабынь-Дебея, и красавицу сестру его. Стенька взял себе в наложницы персиянку.

Эта битва утвердила славу Стеньки в удалом мире; она и до сих пор славится в песне, где народная фантазия соединила Стеньку с Ильею Муромцем:

Уж как по морю, по морю синему,
По синему морю, по Хвалынскому,
Туда плывет Сокол-корабль;
Тридцать лет корабль на якоре не стаивал,
Ко крутому бережку не причаливал,
И он желтого песку в глаза не видывал,
И бока-то сведены по туриному,
И нос до корма по змеиному;
Атаман был на нем Стенька Разин сам,
Есаулом был Илья Муромец;
А на Муромце кафтан рудожелтый цвет,
На кафтане были пуговки злаченые,
А на каждой-то пуговке по лютому льву;
И напали на Сокол-корабль разбойнички:
Уж как злые-то татары с персиянами.
И хотят они Сокол-корабль разбить, разгромить,
Илью Муромца хотят в полон полонить.
Илья Муромец по кораблю похаживает,
Своей тросточкой по пуговицам поваживает;
Его пуговки златые разгорелись,
Его люты львы разревелись;
Уж как злые-то татары испугалися,
Во сине море татары побросалися.

Однако победа досталась козакам недешево. В последнее время у них выбыло до пятисот человек. Если первый раз и удалось козачеству так славно отделаться, то нельзя было ручаться, чтоб так же удачно они рассчитались с персиянами, если шах, раздражившись этою неудачею, решится во что бы то ни стало очистить Каспийское море от гостей. Козацкое войско все убавлялось, а персиян могло явиться в десять раз больше, чем отряд разбитого хана. Благоразумно было воротиться заранее на тихий Дон с большою добычею и богатством, чем все это потерять, если, засидевшись на море, дождутся они новых против себя ополчений. У Стеньки были свои планы: ему нужно было обогатиться, чтоб потом привлекать себе корыстью новые толпы: ему нужна была слава в отечестве. Теперь он все приобрел; но одно поражение могло у него отнять и добычу и славу, и пронеслась бы эта слава без следа. Притом же, как ни были козаки богаты персидскими тканями, золотом и всякими узорочьями, а хлеба у них недоставало; пуще же всего одолевало их то, что им негде было достать свежей воды, и они часто пили соленую; от этого между ними распространилась болезнь, и многие умирали.

И вот —

Как далеченько, далеченько во чистом поле,
Да еще как подалей на синем море,
Как на синем море было на Хвалынском,
Что на славном было острове на персидском,
Собирались музуры добры молодцы;
Они думушку гадали все великую,
Думу крепкую гадали заединую:
Вот кому из нас, ребятушки, атаманом быть?
Да кому из нас, ребятушки, есаулом слыть?
Атаманом быть — Степану Тимофеевичу,
Есаулом быть Василию Никитичу.
Атаман речь возговорит, как в трубу трубит,
Есаул-то речь возговорит, как в свирель играт:
Не пора ли нам, ребята, со синя моря
Что на матушку на Волгу, на быстру реку?

Два пути им представлялось для возврата в отечество: обратно через Волгу, или через Куму. Они выбрали первый, потому что у них недоставало припасов, и вместе с тем они хотели узнать: не пошлет ли им царь милостивой грамоты, как Стенька сказал донским козакам в Яике. Впрочем, они не оставляли намерения поворотить и на другой путь, если нужно будет.

VI.

Десять дней плыли козаки от Свиного острова до устья Волги и 7-го августа 1669 года, ночью, напали на учуг Басаргу,

принадлежавший астраханскому митрополиту. Они набрали там для себя икры, рыбы, вязиги, взяли кое-что из снастей, буравов, неводов, багров, вероятно, чтоб самим ловить рыбу в случае нужды, когда придется воротиться в море, и покинули нескольких пленных (яссыр) и какую-то церковную утварь (в тайке заверчено): быть может, эта утварь была когда-нибудь ограблена мусульманами, и теперь козаки, отняв у мусульман, возвращали ее церкви, как бы в заплату за то, что взяли для себя на учуге. Они немедленно повернули в море, услышав, что из Персии идет к Астрахани большая купеческая буса.

Шло разом две бусы. Одна из них была нагружена товарами персидского купца Мухаммеда-Кулибека; на другой везли дорогих аргамаков: то были любительные поминки персидского шаха русскому государю. Козаки напали на первую бусу, ограбили ее, взяли в полон хозяйского сына Сехамбета и требовали за него выкупа пять тысяч рублей. Отец с терскими стрельцами, провожавшими бусу, прибежал с вестью в Астрахань.

Во все время, когда козаки гуляли по Каспию, по устью Волги плавали служилые люди и проведывали, не возвращаются ли удальцы, чтоб тотчас, как узнают, дать знать воеводам в Астрахань. Астраханское начальство готовилось гораздо милостивее встретить козаков, чем следовало по заслугам. Воеводы заранее выправили такую милостивую грамоту от имени царя, которая давала прощение козакам, если они принесут повинную. Несколько причин разом располагало их к такому великодушию: во-первых, поход Стеньки произвел сочувствие на Дону: слишком суровое обращение с козаками могло раздражить донцов; во-вторых, астраханские воеводы не могли положиться на свои силы; переход на сторону воровских козаков, стрельцов и черного люда заставлял побаиваться, чтоб и в Астрахани не повторилось то же в большем размере; в третьих, поход Стеньки приносил пользу воеводам: воеводы знали, что порядочная часть добычи перейдет им на поминки. Что же касается до разорения персидских берегов, то ведь и русские терпели то же от своевольства персидских подданных: почему же и персидским не потерпеть от русских? Козацкий поход был, в некотором смысле, возмездием; козаки доказывали это, приводя с собой освобожденных пленников. Только что перед возвратом Стеньки астраханские воеводы получили известие, что антиохийский патриарх, возвращаясь из Москвы через персидские владения, был ограблен в Шемахе тамошним ханом; хан отобрал у него разные драгоценности и выплатил по той цене, какую сам ему назначил. В Дербенте другой хан ругался над русским гонцом и приказал ему отвести для помещения скотский загон; наконец, в Персии

убили в ссоре родственника русского посланника, который умер с тоски от дурного с ним обращения. Некоторым образом Стенька отплачивал за оскорбления, нанесенные России, а Россия не нарушала согласия с Персиею, сваливая разорение берегов ее на своевольных козаков.

Так приготовлялись астраханские воеводы встретить Стеньку и давно уже его ждали. Вдруг прибегают в Астрахань рабочие с митрополичьего учуга и объявляют о появлении козаков. Затем вслед явился в Астрахань персидский купец, хозяин ограбленной бусы. Прозоровский в этот же день отрядил своего товарища, князя Семена Ивановича Львова, с четырьмя тысячами вооруженных стрельцов, на тридцати шести стругах. Семен Иванович поплыл скоро; он намеревался вступить с козаками и в бой, если нужно будет; но у него была царская милостивая грамота. Козаки, ограбив бусу, заложили стан на острове Четырех Бугров, при конце устья Волги. Место было очень удобное для защиты: остров высок, берега каменисты; кругом все обросло камышами, оставался один небольшой свободный вход для судов. Они ожидали астраханцев и готовились поступить, как покажут обстоятельства. Будет возможно, — решили они в кругу, — бой дадим, а если увидим, что не сладим — уберемся и пройдем по Куме домой, да еще отгоним лошадей у черкес по дороге.

Когда козаки завидели, что против них выплывает из Волги сильное войско, то снялись и убежали в море. Львов погнался за ними, гнался двадцать верст, наконец, когда, как видно, гребцы его утомились, Львов должен был остановиться. Он послал к козакам Никиту Скрипицына с государевой грамотой и дал ему словесные условия.

Скрипицын дошел до козаков и, вручив им грамоту, говорил:

— Вам ничего не будет; вы пойдете себе спокойно домой, на Дон, если отдалите пушки, которые побрали на Волге в посаде и в Яике городке; также отдадите морские струги, отпустите служилых людей, что забрали с собою на Волге и в Яике городке, и пришлете князю Семену Ивановичу купеческого сына Сехамбета и прочих пленников.

Козакам кстати было такое предложение. Болезни, которые начались у них на море, похищали каждый день их братию. Они повернули назад к Четырем Буграм, а князь Львов растянул свою флотилию и заступил им вход в море. Стенька послал к нему двоих козаков.

Они говорили:

— Просим от всего нашего козацкого войска, чтоб великий государь велел, против своей милостивой грамоты, нас отпустить

на Дон со всеми пожитками, а мы за то рады служить и головами платить, где великий государь укажет. Пушки отдадим и служилых отпустим в Астрахань; струги отдадим в Царицыне, когда по Волге доплывем до того места, где надобно будет на Дон переволакиваться; а о купчинином сыне Сехамбете, что требовал Скрипицын, мы подумаем, потому что он у нас сидит в откупу в пяти тысячах рублях.

Львов привел посланцев Стеньки к присяге, чтоб козаки исполнили в точности обещание. После этих обрядов воевода поворотил с своим войском, поплыл в Астрахань, за ним плыл Стенька с своими козаками. Когда они доплыли до Астрахани, Стенька отдал князю Львову купеческого сына за окуп, который князь должен был выдать из приказной палаты.

VII.

Козаки проплыли мимо Астрахани и пристали к Болдинскому Устью. Сам Стенька с главными козаками прибыл в город и в приказной избе положил, в знак послушания, свой бунчук — символ власти. Козаки тут же отдали пять медных и шестнадцать железных пушек, отдали ханского сына, взятого в сражении близ Свиного острова, одного персидского офицера, взятого в Фарабате, и трех военных персиян. Этим хотели козаки показать, что вот они отдают пленных персиян; но в самом деле они отдавали только ничтожное число им того, сколько у них сидело на судах.

— Мы бьем челом, — сказал Стенька, — великому государю, чтоб великий государь пожаловал нас, велел вины наши нам простить и отпустить нас на Дон против государевой грамоты; а мы желаем выбрать шесть человек козаков и послать в Москву добить ему, великому государю, челом и головами своими.

Прозоровский согласился, и выбраны были: станичный атаман Лазарь Тимофеевич да есаул Михайло Ярославов с пятью человеками, и отправлены в Москву.

Современное сказание говорит, что Стенька, в порыве своей преданности великому государю, говорил, что козаки подклоняют его царскому величеству острова, которые завоевали саблею у персидского шаха. Разин поднес самому воеводе поминки из дорогих персидских тканей: без того нельзя было обойтись по обычаям.

После того еще несколько раз были переговоры с воеводами. Последние заметили, что козаки только показывают для вида, будто исполняют условия: они не отдали всех пленников. Те из козаков, что были посланы в Москву, сознавались, что у них

осталось девяносто пять человек персиян, бухарцев и трухменцев, и, вероятно, их было еще больше того, сколько показывали сами козаки. Равным образом у них оставались пушки; те же самые козаки говорили, что после сражения под Свиным островом им достались тридцать три пушки.

Воеводы напоминали Стеньке о его обязанностях.

— Вы должны, — говорили они, — отдать сполна все дары, которые пограбили у шахова купчины Мухаммеда-Кулибека, что он вез великому государю, а также и всякие пограбленные пожитки и всех полонных людей шаховой области.

Стенька отвечал:

— Бьем челом великому государю: — этого сделать нельзя. Товары, которые мы побрали на возморье с бусы, подуванены. Иное продано, иное уж и в платье переделано. Никоим образом собрать всего нельзя, а за то за веру мы идем к великому государю и будем платить головами своими. А что ты, воевода, говоришь о полоне, что мы брали с шаховой области, так это досталось нам саблею и есть наше прямое достояние: наши братья за то в шаховой области побиты и взяты в неволю. Да и много ли того полону? На пять, на десять человек один полонянник приходится! Этого отдавать нам не привелось.

— Вы не отдали всех пушек, что забрали по Волге и в Яике, и не отпустили служилых, — сказали воеводы.

Стенька отвечал:

— Мы уже выдали вам пушки; а остальные нам нужны на степи, как пойдем от Царицына до донского городка Паншина. Место там непроходимое; нападут крымские, азовские и всякие военные люди: надобно же нам чем-нибудь обороняться; как в Паншин прибудем, то и пушки в Царицын пришлем; а служилых мы неволею не держим: кто хочет, пусть идет куда ему любо.

— Отдайте струги, в которых плавали по морю, а мы вам дадим речные струги, — сказали воеводы.

Стенька отвечал:

— Струги отдадим. Тринадцать стругов есть.

— Да еще, — сказали воеводы, — следует сделать перепись всему козацкому войску.

Стенька отвечал, возвысив голос:

— По нашим козацким правам не повелось козакам перепись делать; ни на Дону, ни на Яике того не было, и в государевой грамоте того не написано, что вы, воеводы, говорите. А также и того не написано, чтоб нам рухлядь нашу и пушки отдавать.

Воеводы, по-видимому, имели возможность быть настойчивее; но они совершенно сдались на отговорки Стеньки.

Родственники и знакомые взятых козаками в плен персиян

обратились к воеводам для возвращения своих земляков, родных и пограбленных имуществ. Они полагали, что так как козаки уже в руках начальства, то последнее, по возможности, постарается вознаградить потери, которые они наделали своими разбоями. Воеводы сказали им в приказной избе:

— Неволею мы не смеем против государевой грамоты брать у козаков без окупа полонянников и товаров, которые они пограбили, чтоб они вновь воровства не учинили и к ним бы не пристали другие люди, и от того и вам была б беда; поэтому вы можете выкупать у них полонянников; а все, что мы можем для вас сделать, это то, что вы будете их выкупать беспошлинно. — Как же это можно? — возражали персияне, — их следует казнить как разбойников, а вы не спрашиваете с ним пограбленного?

Воеводы отвечали:

— Эти козаки — холопы великого государя, а не разбойники; уже вина им отдана; что взяли они грабежом — яссыр и имущества на войне, — так это зачтено им в жалованье и до того нет никому дела.

Воеводы не осмелились взять у козаков и даров, которые персияне везли к царю, не взяли даже аргамаков, которые уже впоследствии найдены у Стеньки. Необыкновенная сила воли, все преклонявшая перед Стенькою и даровавшая ему звание волшебника, казалось, покорила ему и воевод. Они подружились с Стенькой и каждый день то звали его к себе, то отправлялись к нему, ели, пили, прохлаждались вместе. Немало Стенька расположил их к себе своею щедротою, — а воеводы тогда были лакомы... Современное сказание говорит, что один из воевод (неизвестно кто, Прозоровский или Львов) пришел к Разину на судно. Атаман вел веселую беседу с товарищами. На плечах его блистала великолепная соболья шуба, покрытая драгоценным персидским златоглавом. У воеводы разбежались на нее глаза, и он стал просить себе шубу. Разин отказал ему и укорил его в жадности. Воевода сказал:

— Атаман, знаешь ли: не надобно нами пренебрегать; ведь мы в Москве можем для тебя и доброе и злое устроить.

Разин грозно взглянул на воеводу, скинул шубу и, отдав ему, сказал:

— Возьми, братец, шубу; только б не было в ней шуму!

Воевода (говорит это сказание) не побоялся шуму и ушел в город; а козаки, смотря на него, зубами скрежетали.

Хотя сказание, передающее этот случай, изобилует анахронизмами, но подобное известие можно почитать вероятным, ибо черты остаются в памяти народной долее, чем связь событий, и они совершенно в духе того времени.

Народная песня рассказывает, что воеводы в Астрахани и рады были бы доканать Стеньку, да не могли: ни пушки, ни ружья его не брали, а хотя и удалось было заманить чернокнижника чрез приманку красавицы-Маши, но Стенька освободился затейливым образом посредством стакана воды.

Уж вы горы, мои горы!
Прикажите-ка вы, горы.
Под собой нам постояти;
Нам не год-то годовати,
Не неделюшку стояти —
Одну ночку ночевати,
И тою нам всю не спати,
Легки ружья заряжати,
Чтобы Астрахань нам город
Во глуху полночь проехать,
Чтоб никто нас не увидел,
Чтоб никто нас не услышал.
Как увидел и услышал
Астраханский воевода.
Приказал же воевода
Сорок пушек заряжати,
В Стеньку Разина стреляти:
Ваши пушки меня не возьмут.
Легки ружьица не проймут;
Уж как возьмет ли не возьмет
Астраханска девка Маша.
По бережку Маша ходит,
Шелковым платком машет,
Шелковым платком махала,
Стеньку Разина прельщала;
Стеньку Разина прельстила,
К себе в гости заманила,
За убран стол посадила,
Пивом, медом угостила
И до пьяна напоила,
На кровать спать положила,
И начальству объявила.
Как пришли к нему солдаты,
Солдатушки молодые,
Что сковали руки, ноги
Железными кандалами,
Посадили же да Стеньку
Во железную во клетку,
Три дни по Астрахани возили,
Три дни с голоду морили.
Попросил же у них Стенька
Хоть стакан воды напиться
И во клетке окатиться.
Он во клетке окатился —
И на Волге очутился!

Козаки провели под Астраханью десять дней и каждый день ходили по городу. Хотя между ними было много больных —

опухших от употребления соленой морской воды во время похода, но это не препятствовало им щеголять пред пестрым народонаселением Астрахани. Открылась деятельная торговля между ними и астраханцами; она была выгодна для последних. Фунт шелка продавался за восемнадцать денег, и многие русские, армяне, персияне,живущие в Астрахани, в несколько дней составили себе состояние. Я сам (говорит голландец, бывший в русской службе) купил за сорок рублей огромную золотую цепь, величиною в сажень; за каждым золотым кольцом было по пяти драгоценных камней (достоянство покупки, вероятно, преувеличено): Все козаки были одеты в шелковые, бархатные одежды; жемчуг и драгоценные камни, в виде венцов, украшали их шапки. Атаман ничем от них не отличался, кроме своего могучего вида и почтения, какое ему все оказывали. Перед ним не только снимали шапки, но становились на колени и кланялись до земли. Все величали его "батюшка, батюшка!" Расхаживая промеж народом, он со всеми ласково и приветливо говорил, сыпал щедро золотом и серебром, не отказывал нуждающимся, и все с восторгом хвалили его; он, таким образом, заранее приобрел расположение астраханской черни. Толпа народа с любопытством стекалась к козачьим стругам и изумлялась, видя, что на атаманском струге, носившем, по известиям народных песен, название Сокола, были веревки и канаты свиты из шелка, а паруса сделаны из дорогих персидских тканей. Приходили к Стеньке немцы, изготовлявшие, по приказу воеводы, речные струги для козаков. Они принесли к нему на гостинец две склянки русской водки. Стенька сидел с своими чиновниками в шатре.

— Хорошо, хорошо! — сказал он, увидя их с водкою: — спасибо. А мы,как были на море, так водки и в глаза не видали, не то, чтоб отведать. Что вы за люди?

Те отвечали:

— Мы немцы, находимся в службе его царского величества на корабле, который пущен в Каспийское море. Мы пришли отдать поклон атаману и всему благородному козачеству, и принесли на гостинец две скляницы водки.

Стенька дал знак, чтоб они сели, и при них же налил водки и выпил, сказав:

— Пью за здоровье его царского величества, великого государя!

"О, какими лживыми устами, о, с каким коварным сердцем произнес он эти слова!" — говорит свидетель.

На другой день тем же немцам случилось быть свидетелями, как Стенька с товарищами кутил на струге и катался по Волге.

Козаки пили, ели, прохлаждались.

Возле Стеньки сидела его любовница, пленная персидская

княжна. Она была одета великолепно, в вышитое золотом и серебром платье; жемчуги, брильянты и разные драгоценные камни придавали блеск ее природной, ослепительной красоте. Уже замечали, что она начала приобретать силу над необузданным сердцем атамана. Вдруг, упившись до ярости, Стенька вскакивает с своего места, неистово подходит к окраине струга и, обращаясь к Волге говорит:

— Ах ты, Волга-матушка, река великая! много ты дала мне и злата, и серебра, и всего доброго; как отец и мать, славою и честью меня наделила, а я тебя еще ничем не поблагодарил; на ж тебе, возьми!

Он схватил княжну одной рукою за горло, другою за ноги и бросил в волны.

А между тем, тот же Стенька наказывал строго других за то, что себе позволял. Случилось, говорит тот же очевидец, что какой-то козак вступил в связь с чужою женою. Стенька приказал бросить его в воду, а женщину повесить за ноги к столбу, воткнутому в воде. Этот случай заставляет подозревать, что злодейский поступок с княжною не был только бесполезным порывом пьяной головы. Стенька, как видно, завел у себя запорожский обычай: считать непозволительное обращение козака с женщиною поступком, достойным смерти. Увлекшись сам на время красотою пленницы, атаман, разумеется, должен был возбудить укоры и негодование в тех, которым не дозволял того, что дозволил себе, и, быть может, чтоб показать другим, как мало он может привязаться к женщине, пожертвовал бедною персиянкою своему влиянию на козацкую братию. Стенька был женат и имел детей.

Что касается обращения Стеньки к Волге, то здесь, как видно, Стенька вспомнил старое народное поверье бросить что-нибудь в реку из благодарности после водяного пути — поверье, без сомнения, языческих времен, когда реки представлялись в воображении одушевленными существами. Так, в старинной песне о Садке, богатом госте, Садко-молодец, после двенадцати лет странствования по Волге, захотел воротиться в Новгород; он

Отрезал хлеба великой сукрой,
А и солью насолил, его в Волгу опустил.
"А спасибо тебе, матушка Волга-река;
А гулял я по тебе двенадцать лет,
Никакой я притки, скорби не видывал над собой.
И в добром здоровьи от тебя отошел!"

Достойно замечания то,что история несчастной пленницы, переданная потомству Страусом, сохранилась до сих пор в тем-

ных сказочных преданиях о Стеньке. "Плыл (говорит народ) Стенька по морю, на своей чудесной кошме, играл в карты с козаками, а подле него сидела любовница, пленная персиянка. Вдруг сделалась буря.

Товарищи и говорят ему:

— Это на нас море рассердилось. Брось ему полонянку.

Стенька бросил ее в море, — и буря утихла".

VIII.

4-го сентября отправили козаков на Дон: они дали им речные струги, а козаки должны были оставить свои морские; но они их не все оставили, а взяли девять стругов; их провожать должен был жилец Леонтий Плохово до Царицына, а от Царицына до Паншина отряд в пятьдесят стрельцов. Отпуская козаков, воеводы, по форме, проговорили им нравоучение: чтоб они на пути не подговаривали с собою никого на Дон и не принимали тех, кто станет к ним приставать, дабы тем не навлечь гнев великого государя.

Отплыв до Черного Яра, Стенька услышал, что из Астрахани везут тех стрельцов, которые в Яике передались на сторону Стеньки, а когда козаки отплыли на море, убили своего начальника Сакмышева, присланного из Астрахани для занятия Яика, сами же поплыли на море, но были разбиты и взяты в полон князем Львовым. Стенька послал к начальникам этого отряда приказание явиться к нему; есаулы, которые пришли с этим требованием, обращались очень невежливо; тем не менее, исполняя волю атамана, из отряда пришли к нему сотник и пятидесятник. Стенька был тогда пьян. Он сначала обругал их и грозно требовал, чтоб к нему отпустили всех тех, которые, приняв его сторону, подвергались за то тюремному заключению и теперь, как колодники, следуют для определения в иную службу; "иначе (говорил он) я возьму их с собой!" Однако, он мало-по-малу смягчался, стал ласковее и кончил тем, что попросил вина. Сотник привез ему три ведра, а Стенька отдарил его персидскими материями и сафьяном. Так же дружелюбно поступил он и с казанскими стрельцами, которые с ним встретились на волжском пути: голова отделался тем, что подарил три бочки вина, а Стенька не только не ограбил его, но еще отдарил. Несколько человек простых стрельцов перебежало в его шайку. Узнав об этом, Леонтий Плохово заметил ему:

— Побойся Бога, атаман! ты скоро забываешь великую к тебе милость государя! Отпусти беглых, вороти служилых, которые к тебе перебежали.

— Этого у нас, козаков, никогда не водилось, чтоб беглых выдавал; а кто к нам придет, тот волен; мы никого не силуем: хочет — пусть прочь идет.

Когда Стенька прибыл в Царицын, к нему пришла толпа донских козаков жаловаться на воеводу.

Один из них говорил:

— Мы приезжаем в Царицын покупать соль, а он дерет с нас по алтыну с дуги.

— У меня отнял две лошади с саньми и хомутом, — говорил другой.

— А у меня пищаль, — говорил третий.

Взбешенный Стенька прибежал к воеводе в приказную избу и требовал, чтоб воевода тотчас вознаградил обиженных козаков. Унковский не стал противоречить и заплатил все, что вымогал Стенька при своем проводнике.

— Смотри ж ты, воевода, — сказал тогда Стенька, — если услышу я, что ты будешь обирать и притеснять козаков, когда они приедут сюда за солью, отнимать у них лошадей и ружья, да с подвод деньги брать, я тебя живого не оставлю.

Воевода должен был выслушать это нравоучение.

Но видя, что можно давать подобные нравоучения, этим не ограничился Стенька. Он узнал, что, ожидая его прибытия, Унковский приказал на кружечном дворе продавать вино вдвое дороже. Это сделано было, кажется, между прочим, чтоб не допустить козаков много пьянствовать. Сам Прозоровский предостерегал воевод черноярского и царицынского и писал к ним, чтоб они не продавали вина козакам. Столько же становился лют козак, когда его лишали вина, сколько дружелюбен, когда ему подносили его. Стенька с козаками опять пришел на воеводский двор. Воевода чуял на себя грозу и заперся в приказной избе. "Выбивайте бревном дверь!" — кричал Стенька. Унковский заперся в задней избе, а когда услышал, что козаки и туда ломятся, выскочил из окна и зашиб себе ногу. Стенька искал его повсюду, бегал даже в церковь и кричал: "зарежу!" Но Унковский куда-то запрятался. Стенька, не найдя его, с досады велел отбить у тюрьмы замок и выпустил колодников, а козаки хвалились пустить по городу "красного петуха" и перебить всех приказных с воеводою. Какой-то запорожец из их шайки поймал-таки воеводу и оттрепал ему бороду.

Тогда козаки (неизвестно, с позволения ли Стеньки, или только ободренные его поступками) напали на два купеческие струга, ограбили их и схватили сотника, который вез царскую грамоту: они бросили в воду эту бумагу.

Между тем, Прозоровский уже узнал, что прощенный мило-

стивою царскою грамотою атаман опять подбивает к себе служилых, и послал к нему немца Видероса.

— Боярин и воевода, — говорил немец, — присылает тебе приказание немедленно отправить всех лишних людей в Астрахань, под опасением царской немилости. Уверяю тебя, что в другой раз не так легко будет получить прощение, как в первый, и, может быть, с новыми грехами придется разом и за старые заплатить.

Стенька вспыхнул по своему обычаю, прежде всего помянул родительницу немца, потом схватился за саблю и чуть было не перекрестил ею посланного.

— Как ты смел, — закричал он, — придти ко мне с такими непочтительными речами? Чтоб я выдал друзей своих, которые ко мне пристали ради любви и приятства! Ты еще смеешь грозить немилостью! Хорошо! Скажи же своему воеводе, что я не боюсь ни его, ни кого-нибудь повыше его. Подожди: вот я с ним опять свижусь и поведу расчет! Дурак он; трус этакой! Он теперь надеется на свою силу и дерет нос вверх, да еще хочет со мной обращаться будто с холопом, когда я от рождения вольный человек! У меня силы и власти больше, чем у него. Я расплачусь с этими негодными, как следует расплачусь; я им покажу, как принимать меня без почета, будто так себе, какого-нибудь простяка!

Немец от страха едва держался на ногах, глядя на бешеные, распаленные глаза атамана, и готовился испустить дух под его тяжелою рукой.

Но немец на этот раз остался жив и, возвратясь опять в Астрахань, рассказал все Прозоровскому, который призадумался. Было от чего задуматься...

IX.

Отправившись на Дон, Стенька выбрал себе место между Кагальницкою и Ведерниковскою станицами на острове, который был протяжением в три версты. Там устроил он городок Кагальник и приказал обвести его земляным валом; козаки построили себе земляные избы.

Разнеслась молва о его славе, со всех сторон посыпала к нему голытьба; бежали к нему и с Хопра козаки верховых станиц, и с Волги гулящие люди; откликнулась его слава и в Украине: приходили к нему и братья сечевики. Когда он пришел из Царицына, войско его состояло из полуторы тысячи; а через месяц, как доносили посылаемые царицынским воеводою, у него было две тысячи семьсот человек. Он был для всех щедр и приветлив,

разделял с пришельцами свою добычу, оделял бедных и голодных, которые, не зная куда деться, искали у него и приюта, и ласки. Его называли батюшкой, считали чудодеем, верили в его ум, в его силу, в его счастье. Старый домовитый козак, если ему удавалось обогатиться, старался зажить хорошенько, не заботился о голи, становился высокомерен с нею. Стенька был не таков: не отличался он от прочих братьев козаков ни пышностью, ни роскошью; жил он, как все другие, в земляной избе; одевался хотя богато, но не лучше других; все, что собрал в Персидской земле, раздавал неимущим. Стенька будто жил для других, а не для себя. Он медлил явиться в Черкаск, пока у него не составилась такая партия, которая бы могла стать в уровень с противною партиею; но в Черкаске был важный залог для него: там была жена его, там жил брат Фролка. Стенька послал в Черкаск козака Ивана Болдыря сообщить им, чтоб они тайно ушли к нему. Дело пошло на счастье Стеньки — семья его убежала из Черкаска; вместе с нею прибыл в Кагальник Фролка, неразлучный спутник успехов и гибели своего брата.

С тревогою поглядывали из Черкаска прямые козаки на этого зловещего предводителя голытьбы.

Он никого не грабил. Торговцы, ехавшие из Москвы в Черкаск, были захвачены козаками, но козаки не обирали их; Стенька только принудил их не ездить в Черкаск и торговать в Кагальнике. Козаки платили им исправно, и торговцы сами охотно начали туда ездить и оделять их живностью. Стоял Стенька смирно и, по современному выражению, задоров ни с кем не делал. Тем было страшнее; как ни старался царицынский воевода узнать его тайные планы, сколько ни посылал проведывать и русских и татар — ничего не узнал и писал в своем донесении в Москву:" и приказывает Стенька своим козакам безпрестанно, чтоб они были готовы, а какая у него мысль, про то и козаки немного сведают, и ни которыми мерами у них, воровских козаков, мысли доведаться немочно".

А между тем, все прежнее было приготовлением к тому, что Стенька зимою обдумывал в своем земляном городке.

В Москве не оказали полного одобрения распоряжениям Прозоровского. В грамоте от имени царя в Астрахани было замечено, что воеводы не поняли смысла милостивой грамоты, посланной для вручения козакам. Там было сказано, чтоб отпустить козаков с моря на Дон, а не из Астрахани Волгою. "Вы пропустили воровских козаков мимо города Астрахани и поставили их на Болдинском Устье выше города (писано было теперь в Астрахань); вы их не разспрашивали, не привели к вере, не взяли товаров, принадлежащих шаху и купцу, которые они ог-

рабили на бусе, не учинили сделки с шаховым купцом. Не следовало так отпускать воровских козаков из Астрахани; и если они еще не пропущены, то вы должны призвать Стеньку Разина с товарищами в приказную избу, выговорить им вины против великого государя и привести их к вере в церкви по чиновней книге, чтоб вперед им не воровать, а потому раздать их всех по московским стрелецким приказам и велеть беречь, а воли им не давать, но выдавать на содержание, чтоб они были сыты, и до указу великаго государя не пускать их ни вверх, ни вниз; все струги их взять на государев деловой двор, всех пленников и награбленные на бусах товары отдать шахову купцу, а если они не захотят воротить их добровольно, то отнять и неволею". Из этого видно, что правительство давало милостивую грамоту для возвращения на Дон только в том случае, когда козаков нельзя будет поймать в руки, а в противном случае оно хотя и даровало им жизнь и избавляло от казни, но пресекало им средства к возобновлению своего удальства. Если б воеводы не спасли Стеньки Разина заранее, этот удалец верно был бы отправлен на стрелецкую службу куда-нибудь далеко от тихого Дона и Волги-матушки.

Воеводы, получив такое замечание, отговаривались старыми примерами, что подобная козацкая шайка, под начальством Ивашки Кондырева, состоявшая из двухсот человек, также была некогда пропущена и поставлена на Болдинском Устье; что их не отдавали за приставы (под стражу) и не приводили к вере; что теперь воеводы требовали несколько раз от Стеньки возвращения пленников и отдачи награбленного на бусах, но не смели отнять у них насильно, потому что тогда к ним пристали бы многие люди и произошло бы кровопролитие. Воеводы оправдывались еще тем, что так поступили с совета митрополита.

Козаки, которые пришли в Москву с повинною, рассказывали о своих похождениях и немедленно были отправлены в Астрахань под стражею; но на дороге ушли и степью пробрались на Дон к своему атаману.

При конце зимы правительство послало жильца Евдокимова в Черкаск с царскою грамотою для вида, но в самом деле проведать, что делает и замышляет Стенька, о котором толковали много, да никто ничего верного сказать не мог. Евдокимов с провожатыми прибыл на Дон на Фоминой неделе, в воскресенье. Корнило Яковлев собрал круг. Евдокимов, поклонившись атаману и всему козачеству на все стороны, отдал грамоту и сказал:

— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия, и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и северных отчин и дедич

и наследник и государь и обладатель, велел всех вас, атаманов и козаков, спросить о здоровьи.

Корнило, приподняв грамоту, поднял ее вверх и громко *вычитал* кругу.

Козаки слышали похвалу своему званию и обещания прислать обычные запасы, которые правительство каждогодно посылало на Дон.

Все за то поблагодарили, что называлось челом ударить по его государской милости. Отпустили Евдокимова и сказали, что шлют вместе с ним станицу в Москву к великому государю.

На другой день явился в Черкаск Стенька с своею ватагою. Простые козаки приняли его с восторгом; он возбуждал их против Евдокимова и говорил, что московские бояре подстрекают нарушать козацкие вольности.

Во вторник Корнило Яковлев собрал опять круг: рассуждали, кого выбирать в станицу.

Вдруг Стенька входит в круг и спрашивает:

— Куда это вы станицу выбираете?

Козаки отвечали:

— Мы выбираем станицу с Герасимом Евдокимовым к великому государю, в Москву.

Стенька собрал из своих козаков такой же круг и велел привести Евдокимова. Его схватили и поставили в кругу. Стенька сказал:

— Говори правду: от великого ли государя или от бояр ты сюда приехал?

Евдокимов отвечал:

— Я приехал от великого государя с государевою милостивою грамотою.

Стенька грозно закричал:

— Не с грамотою ты приехал, а лазутчиком, за мною подсматривать, да про нас узнавать.

С этими словами Стенька ударил посла, и козаки принялись отмеривать ему удар за ударом.

— В воду, в воду его! посадить в воду! — кричал Стенька.

Напрасно Корнило Яковлев бросился в толпу, представлял мятежникам, что так непригоже.

Стенька гневно закричал ему:

— Владей своим войском, а я буду владеть своим.

Герасима Евдокимова, избитого до смерти, бросили в Дон.

Его товарищи посажены под стражу.

Уже через несколько времени потом Корнило освободил их тайно и отправил в Москву.

Корнило только по имени был атаманом. Толпа переходила

к Стеньке; он распоряжался, кричал, что настало время идти против бояр, и созывал молодцов с собой на Волгу. Бояр ненавидели многие; имя царя, напротив, было священным и для самой крайней вольницы. Но Стенька пошел дальше всех! Стенька сделался врагом и самой веры, ибо вера не покровительствует мятежам и убийствам.

В Черкаске, незадолго перед тем сгорели церкви. Зная щедрость Стеньки, некоторые убеждали его поусердствовать на возобновление храмов. "На что церкви? К чему попы? — говорил Стенька. — Венчать, что ли? Да не все ли равно: станьте в паре подле дерева, да пропляшите вокруг него — вот и повенчались!"

Он набирал молодежь, приводил к вербовому дереву, заставлял их парами проплясать вокруг него и потом уверял, что они от этого стали муж и жена. Это не было выдумано Стенькой, а взято им из древних народных воспоминаний, как говорится в песнях о Дунае:

Тут они обручались,
Круг ракитова куста венчались.

Как ни уродливо среди набожных понятий XVII века выдавались такие сцены, опередившие век Шометта и Гебера, но и тогда находились люди, которым они нравились.

X.

В мае Стенька поплыл на судах по Дону и достиг Паншина. Неизвестно, как велика была тогда его дружина; замечательно, что в ней было много малороссиян, как и прежде. Тут к нему пристал Васька Ус, удалая голова, вор, богатырь; он уже прославился года четыре тому назад, с шайкою, составленною из беглых крестьян, он разорял дворы помещиков и вотчинников по воронежским и тульским украинным местам. Московское правительство жаловалось на него донцам, а донцы отписались, что ему учинено жестокое наказание. Стенька верно уже слышал о нем; тотчас же сделал он его своим есаулом. Сначала Разин погромил орду калмыков, блуждавших между Доном и Волгою; отогнал у них скот для прокормления своей ватаги и потом подступил к Царицыну.

Уже там не было его старого знакомца Унковского; вместо него сидел другой воевода, Тургенев. Царицын, по выражению современника, взят лестью и коварством.

Уже царицынские жители были расположены к Стеньке. В возмутительных своих воззваниях Стенька уверял, что идет цар-

ское войско и хочет их погубить, а он пришел оборонять их. Один из царицынцев, Степан Дружинкин, служил у Стеньки и знал хорошо местность. Стенька поручил ему спустить по Волге суда, что козаки привезли с собою из Паншина. Ночью это дело было сделано. Козаки сели на суда, другая половина по суше окружила Царицын конницею и пехотою. Стенька отправился громить татар, кочевавших в тридцати верстах от Царицына. Царицынский воевода запер ворота, уставил всюду стрельцов, приготовился к защите и с часу на час ожидал вспоможения сверху.

Тогда пять человек царицынцев явились к есаулу Ваське Усу и сказали:

— Дозволь нам выходить из города, выгонять животину и брать воду.

— Скажите вашему воеводе, — сказал Васька, — чтоб он пер город, а коли не послушается, так вы отбейте замок и устите нас.

Царицинцы послушались: сбили замок и отворили въезжие ворота. Козаки входили в город; царицынцы приставали к козакам. Тургенев старался было удержать их, но напрасно. Он, с племянником своим, заперся в башне; с ним были боярские люди и всего только десять человек стрельцов; а из царицынцев три человека остались верны. 13-го апреля Стенька приехал в Царицын; некоторые духовные встретили его с почетом, а царицынцы устроили ему приветственную попойку и угощение. Покутив, как следует, Стенька с козаками стал добывать башню. Воевода рассудил лучше погибнуть, чем сделаться игрушкою. Башня была взята, и все люди, защищавшие ее, погибли в свалке; а воеводе и племяннику его не удалось смертью в битве избегнуть поругания. Его взяли живьем, повели на веревке к Волге, кололи, наругались над ним и потом бросили в воду.

Едва успел Стенька разделаться с Тургеневым, как услышал, что сверху плывут московские стрельцы, посланные для защиты низовых городов, те, которых ожидает воевода.

Стенька говорил царицынцам: "Это плывут злодеи, посланные изменниками боярами, чтоб вас всех побить".

Козаки вышли из города, и сам Стенька отплыл на стругах на луговую сторону, а с нагорной стороны расположилась его конница. В семи верстах от Царицына, близ Денежного Острова, отряд был застигнут врасплох. С одной стороны стреляли по нем козаки с берега, с другой стреляли по нем со стругов. Стрельцы, еще не зная, что сделалось с Царицыным, из всех сил работали веслами, чтоб скорее дойти до города, и ожидали себе там помощи; но чуть только поровнялись с Царицыным, как

оттуда на них ударили из пушек, а тут и те, что плыли на стругах, и те, что шли по берегу, поражали их. До пятисот человек погибло от выстрелов. Остальные, человек триста, видя, что спасения нет, передались Стеньке. Начальник отряда, голова Иван Лопатин, взят живой: козаки ругались над ним, кололи его, терзали и, наконец, утопили. Такая же участь постигла офицеров, сотников, пятидесятников, десятников; оставлен в живых только полуголова Федор Якимов. Суда достались победителям.

Стенька обласкал взятых стрельцов и посадил к себе гребцами. Когда они сокрушались о том, что изменили государю, он сказал им:

— Вы бьетесь за изменников-бояр, а я с своими козаками сражаюсь за великого государя.

Стенька сидел в Царицыне около месяца и ввел в город козачье устройство: разделил жителей на десятки и сотни и, вместо воеводы, назначил городового атамана. Царицынцы величали Стеньку, как освободителя. В то время, вероятно, он уже начал посылать в верховые страны своих эмиссаров с возмутительными письмами для возбуждения народа. Между тем, козаки ограбили несколько насадов, которые плыли по Волге, не зная о занятии Царицына. Отряд Стеньки взял Камышин. Беглецы из московщины, бывшие в козацком войске, одетые не по-козацки, подошли к стенам этого городка и выдали себя за людей, присланных из Москвы на помощь городу. Воевода с приказными и служилыми обрадовался этому, потому что в Камышине мало было военной силы, и поручил им держать ночью караул. Те открылись жителям и перетянули их на сторону Стеньки. Козаки, между тем, сидели уже в засаде. Ночью выстрелили с городской стены из пушки. То был сигнал. Ворота растворились; козаки вошли в город: за ними прибыл и Стенька. Воеводу и приказных утопили.

В Астрахани долго бы не знали, что происходит в Царицыне, если б случай не спас одного промышленника, Павла Дубенского. Он плыл по Волге на легком струге. За семьдесят верст не доезжая до Царицына, встретил он беглецов из отряда Лопатина, спасавшихся от поражения, и узнал обо всем. Он волоком перетянулся в реку Ахтубу, этим путем дошел до Астрахани и доставил Прозоровскому печальную весть о том, что помощь, которой ожидали в низовьях Волги, уже не существует, и сообщение с верховыми областями перервано. В Астрахани это известие наделало большой суматохи. Сгоряча воевода Прозоровский с товарищами и митрополитом перебирали меру за мерою, а тем временем между стрельцами и в простом народе возникло волнение и распространилось тайное расположение к Разину: его эмиссары там уже работали.

Еще 16-го апреля отправлен был для подкрепления в Царицын сотник Богданов с восьмьюстами человеками конницы, состоявшей из русских и татар. Эта сила была ничтожна. Воеводы принялись за работу; собрали суда, какие находились в Астрахани, день и ночь работали новые и вооружали пушками; таких судов готово было до сорока. На них посадили две тысячи шестьсот стрельцов и пятьсот вольных людей. Начальство над судами отдано князю Семену Ивановичу Львову. Сверх того, один полк отправлен на помощь Богданому; этот полк состоял под начальством перекрещенного поляка Ружинского; в нем офицеры были иностранцы.

Когда эта флотилия отправилась к Царицыну, перед нею, как бы в острастку и для примера, был повешен один из агентов Разина, пойманный в Астрахани. Прежде смерти его так страшно истерзали пытками, что самый безжалостный варвар не мог смотреть на него без сострадания, говорит очевидец. Быть может, об этом-то неудачливом возмутителе поет народная песня, называя его сынком Разина, вероятно в том смысле, в каком подчиненные называли Стеньку батюшкой.

Как во славном во городе
Во Астрахани,
Очутился, проявился
Тут незнамый человек.
Шибко, щепетно по городу
Похаживает,
В одной тоненькой рубашке
Да во нанковом халате
На распашечку.
Астраханским купчишкам
Он не кланяется,
Господам ли да боярам
Он челом не бьет,
Астраханскому воеводе
Он под суд нейдет.
Увидал же воевода
Со параднаго крыльца;
Приказал же воевода
К себе его привести:
"Уж вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы подите поймайте
Удалова молодца!"
Поймали, соковали
Удалова молодца,
Привели ко воеводе
Незнамова на глаза.
Как и стал же воевода
Его спрашивати:
"Уж и чей такой детинка,
Чей удалой молодец?

Ты какого поведенья,
Чьего матери, отца?
Не со города ль Казани,
С каменной славной Москвы,
Или с Дону козак,
Иль купецкий сын?"
— Я не с города Казани,
Не со каменной Москвы,
Я не с Дону козак,
Не купецкий сын:
Я с матушки со Волги
Стеньки Разина сынок.

Стенька обо всем знал, что задумали против него в Астрахани. Для него сообщение по Волге не прерывалось. Когда пришло к нему известие, что против него идет сила, он собрал круг. По общему приговору, он оставил в Царицыне, для охранения, по одному козаку из каждого десятка, а со всею остальною силою поплыл вниз по Волге. Всего войска у него было от восьми до десяти тысяч.

Народная песня говорит:

Как по матушке по Волге
Легка лодочка плывет,
Как во лодочке гребцов
Ровно тридцать молодцов;
Посередь лодки сидит
Стенька Разин сам.
Как возговорит он Стенька
Ко товарищам своим:
"Уж и чтой-то это, братцы,
Мне тошным-тошно,
Мне сегодняшний денечек
Да грустнехонько?
Как и знать-то мой сынок
В неволюшку попал.
Уж я в Астрахань зайду —
Выжгу, вырублю,
Астраханскаго воеводу
Я под суд возьму".

Стенька плыл на стругах, а по нагорной стороне шел отряд в семьдесят человек конницы, под начальством Васьки Уса и Еремеева. Под Черным Яром увидали они суда князя Семена Ивановича Львова.

Воровские прелестники Стеньки уже успели направить стрельцов в пользу козацкого предводителя. Затесавшись между отправленными против него стрельцами, они нашептывали своим товарищам, что Стенька идет за народ, и если они ему передадутся, то сделают пользу и добро и себе и всему народу. Только что Стенька появился в виду этого войска, на

всех судах вспыхнул мятеж; все простые служилые в один голос закричали:

— Здравствуй, наш батюшка, смиритель всех наших лиходеев!

Начали они вязать своих начальников и, повязав, отдавали козакам.

Стенька кричал:

— Здравствуйте, братья! Мститесь теперь над вашими мучителями, что хуже турок и татар держали вас в неволе: я пришел даровать вам льготы и свободу. Вы мне братья и дети, и будете вы так же богаты, как я, если останетесь мне верны и храбры*.

— Здравствуй, наш батюшка, Степаш Тимофеевич! — повторяла толпа.

И начали они бить стрелецких голов, побили всех сотников и дворян, оставив в живых одного князя Львова.

— Что делается у вас, в Астрахани? — спрашивал Стенька: — будут против меня драться?

Ему отвечали:

— В Астрахани свои люди; только ты придешь, тут же тебе городок так и сдадут.

Только один стрелец, Данило Тарылков спасся из этой кутерьмы и принес страшную весть в Астрахань. Прозоровский советовался с митрополитом и трудно было что-нибудь придумать. Астрахань стояла вдалеке от средоточия государства. Все средства, запасы, порох, оружие — все она получала из Казани или из Москвы. Она тогда не была этим всем бедна, но мало надежды подавали угрюмые лица ее защитников и жителей, также смотревших исподлобья. Спасти ее могли только свежие силы, если б они пришли из Москвы; но в Москве не знали, что угрожает Астрахани. Невозможно было дать знать туда скоро. О Волге нечего было думать, когда по ее руслу приближался к Астрахани густой ряд стругов Стеньки. Как на беду случилось, что нельзя было послать гонца и степью: там кочующие черные калмыки резались с волжскими калмыками; дрался Большой Нагай с Малым, а татары малыбаши — с татарами-енбулаками. Ни проходу, ни переходу. Воевода и митрополит решились послать гонца через Терек; нельзя было ожидать ничего от такого посольства: путь был слишком далек. Пока гонец мог добежать до Москвы, Стенька пять раз взял бы Астрахань. Но утопающий хватается и за соломинку. Воевода выбрал гонцом того же самого Тарлыкова, что один убежал из Черного Яра, дал ему

---

* Вслед за этой победой Стенька взял Черный Яр. Воевода и многие служилые люди, которые стреляли на козаков со стен, были замучены.

двух провожатых русских, да пять человек татар. До Терека он доехал благополучно, но на дальнейшем пути утонул; а провожатые его воротились в Астрахань и застали там уже козаков, которые казнили их за то, что они собирались звать из Москвы против них войско.

XI.

Уже давно разные предзнаменования пугали Астрахань зловещими угрозами. Еще в прошлом году, 4-го января, сделалось такое землетрясение, что, по выражению современника, все хоромы задрожали, а куры с нашестей попадали. Вслед затем услышали, что в Шемахе от землетрясения погибло три части города, а в Тереке, в одну из пятниц — день, как известно, вообще несчастный — были три такие подземные удара, что хоть какой человек, так не устоял бы на месте. "Неложно вольный свет переменяется", говорили тогда, и учинили заповедь — ни вина, ни пива не пить, ни винограду не есть, а паче табаку не пить, а кто станет пить вино и табак держать, того смертию казнить. Потом, в церкви Рождества Богородицы, в Астрахани, с полуночи, до седьмого часа слышали какой-то зык колокольный, а после того, 27-го апреля, что-то шумели в церкви Воздвижения: впоследствии узнали, что в это самое время в Яике воры убили Богдана Сакмышева, посланного воеводами занять город после Стеньки, когда тот ушел на море. Перед приходом Стеньки с моря в Астрахань опять затряслась в Астрахани земля, и воевода с митрополитом, сошедшись, говорили: "быть чему-то недоброму!" Однако, они не воспользовались предзнаменованиями, а отпустили Стеньку на свои головы. Прошел год — и вспомнили они о предзнаменованиях.

Уже давно замечал воевода, что астраханские стрельцы и служилые люди, с тех пор, как в городе побывал Стенька, вспоминают о нем с сочувствием. Когда пришла весть, что Стенька взял Царицын, нашлись такие смельчаки, что более и более становились откровенны, и около них стали сходиться по нескольку человек вместе и водили подозрительные речи. Воевода стал их унимать, а они, говорит очевидец, и самому воеводе болтали, что им на язык взбредет. Своеволию стрельцов, которое впоследствии разразилось ужасным взрывом, помогало в тот век вообще то, что стрельцы не находились в полной зависимости от воевод: воеводы не только не смели ими распоряжаться без согласия стрелецких голов, но еще в царских наказах стрелецким головам подтверждалось беречь подчиненных стрельцов от воевод и приказных людей. Таким образом, и теперь воеводы и

приказные люди ничего не могли сделать со стрельцами, когда между их начальниками были тайные приверженцы Стеньки.

В это время стоял в Астрахани первый русский корабль "Орел". Матросы и работники на нем были немцы; капитан был известный Бутлер. Эти чужеземцы-наемники, увидя, что Астрахань не показывает нерасположения к Стеньке, задумали убраться по-добру по-здорову. Бутлер сам созвал их и говорил:

"Мы теперь в воровской ловушке, и нет нам спасения, как придут козаки, они с нас сдерут кожи: ненавидят они немцев! Собирайте скорее свои пожитки, сядем на лодки и убежим в Персию. Да не медлите ни четверти часа, пока ворота не заперли!"

Пятнадцать немцев сейчас овладели лодками. Но через несколько времени Бутлер передумал и рассудил лучше погибнуть в битве, чем постыдно бежать. Он послал им сказать, чтоб они остались; но немцы сочли за лучшее последовать первому приказанию своего начальника, чем последнему. Они поплыли по Каспийскому морю и достигли Персии. Там ни один не избежал беды: их поймали и продавали в рабство, передавая за деньги от одного господина к другому. В числе их был Страус, оставивший описание этих дней.

Исходила первая половина июня — и новые зловещие предзнаменования увеличивали страх ожидания бед. 13-го числа рано, когда еще митрополит служил заутреню, прибежали в храм испуганные караульные стрельцы, что стояли в кремле города у Пречистенских ворот. Они говорили:

"В полночь, за три часа до света, видели мы на небесах чудо: все небо отворилось над Астраханью, и на город просыпались искры, будто из печи".

Митрополит обратился к тем, что подле него стояли, и сказал:

"Сие видение предвещает, что излиется на нас фиял гнева Божия".

Пересказал он о чуде Прозоровскому. Тот вздохнул и сказал: "Господи! на Тебя единого надежда. Укрепи наш град!"

Затем толпа стрельцов собралась и начала роптать за то, что им не платили жалованья, которое всегда давалось вперед. "Что нам служить без денег и отдавать себя на убой?" — кричали они. — "У нас нет ни денег, ни запасов, и верно целый год не будет: мы пропали!"

Конные и пешие стрельцы пошли на воеводский двор и кричали:

— Подай нам наше денежное жалованье, воевода!

— До сих пор, — сказал им воевода, — казны великого государя ко мне не прислано, но я вам дам своего, сколько могу; дастся вам из сокровищниц митрополита, и Троицкий мона-

стырь тоже поможет; только уж вы не попустите взять нас богоотступнику и изменнику; не сдавайтесь, братья и дети, на его изменническую прелесть, но поборайте доблественно и мужественно против его воровской силы, не щадя живота своего за святую соборную и апостольскую Церковь — и будет вам милость великого государя, какая вам и на ум не взойдет!

Митрополит дал им шестьсот рублей; Троицкий монастырь, по приказанию митрополита, дал им две тысячи. Жалованье это заплачено им вперед, и они расписались в получении, с обещанием служить верно и с тайным намерением отдаться Стеньке. Это делалось за четыре дня до рокового дня.

Между тем Стенька приближался к Астрахани — и новыми предзнаменованиями грозила природа. Пошли проливные дожди с ледяным градом; наступил такой холод, что все надели теплые одежды. На самом рассвете одного из последних дней караульные, стоявшие у Пречистенских ворот, прибегают к митрополиту и извещают, что на небе опять явление. Митрополит вышел из палаты. На южном небе радужными цветами играли три столпа; наверху их были круги, наподобие венцов, из радужных цветов.

"Быть беде!" быть гневу Божию!" — говорили митрополит и воевода.

18-го июня рыбаки принесли весть, что Стенька под Астраханью. Полчище его пристало к берегу и расположилось станом на урочище Жареных-Буграх. К стенам Зеленого города причалил струг, а в нем сидело двое человек. Один из них был Астраханский священник Воздвиженской церкви. Ехал он из Астрахани в государевом дворцовом насаде, и когда поровнялся с Царицыным, козаки схватили всех, кто был на струге, в том числе его, и привели к Стеньке. Теперь-то посылал его Стенька на переговоры. Другой был боярский человек князя Семена Львова, изменивший своему господину вместе с другими под Черным Яром. Они предлагали сдать город; вместо ответа их схватили: воевода считал недостойным для себя сноситься тогда с Стенькою. Начали этих посланных пытать и выведывать: и пытали накрепко; поп сказал им только, что у Стеньки войска восемь тысяч, а боярский человек не сказал ничего: от него не добились даже, как его зовут. Воевода приказал боярского человека казнить, а поп посажен в каменной тюрьме, в Троицком монастыре.

Должно быть, к этому событию относится следующая народная песня:

Из славнаго из устьица синя моря
Тут плывет, выплывает нова выкладна,
Хорошо кладна изукрашена.
Она плывет, подплывает к Астрахани,

К тому ли царству Астраханскому.
Добры молодцы в городе во Астрахани,
Погуляли, поцарствовали,
Попили, поели, на отвал пошли:
Увидали молодцы воеводу из окна.
Закричал воевода громким голосом:
"Заловите, поймайте добрых молодцов!"
Добрый молодец противности не чинил,
Во дворец сам подскочил.
Стал воевода его спрашивати:
"Ты скажи, скажи, добрый молодец,
Не утай сам себя".
Я сам тебе разскажу,
Всю правду объявлю:
Я со Камы со реки
Стеньки Разина сын,
Заутра хотел к тебе батюшка
В гости побывать:
Чем будешь батюшку потчивать?"
"Я пивушка не кушаю,
Винца в рот не беру;
Есть у меня наготовлены сухари;
Они в Москве крошены,
В Казани сушены,
То я встречу его — буду потчивать!"
Испугался добрый молодец,
От него прочь бежал,
И подбегает к своей выкладной.
Закричал громким голосом:
"Ох, братцы, мои товарищи!
Пригряньте ко мне выкладну,
Не оставьте меня при бедности:
На нас воевода осердился".
Добры молодцы ужаснулися.
Заторопились, отгрянули ко крутому берегу.

Митрополит и воевода деятельно принялись каждый за свое дело. Митрополит созвал духовенство и устроил крестный ход вокруг всего Белгорода (то есть настоящего города в нашем смысле этого слова), в средине которого находился кремль, или замок. Вперед несли икону Божией Матери; обходили кругом стену, и всякий раз, когда шествие доходило до каких-нибудь ворот, совершалось молебствие. Прозоровский осматривал городские укрепления. Астрахань была тогда обведена кирпичною стеною, до полуторы сажени в толщину и до четырех сажен вышиною; наверху стен были зубцы в сажень шириною и в полторы сажени в вышину. По пряслам стены и по углам стояли двухъярусные башни; на них висели колокола, в которые звонили для возбуждения к бою отваги. В стенах находилось в два ряда четыреста-шестьдесят пушек. Воевода с городовым приказчиком обошел все стены, осмотрел орудия; развел по бойницам и по стрельницам стрельцов с ружьями, саблями,

бердышами, расставил при пушках пушкарей, затинщиков при затинных пищалях, вделанных в очень узкие отверстия, а при воротах воротников. Чтоб пресечь всякое сообщение города с внешностью, он приказал все ворота завалить кирпичом. По тогдашнему обычаю, посадские должны были участвовать в обороне — кто с пищалью или самопалом, кто с топором или бердышом, а другие с кольями и с камнями. Для этого близ окон были заранее приготовлены кучи камней, чтоб ими метать на неприятеля, и припасался кипяток, чтоб лить на врагов в случае приступа. Для порядка все осажденные были разделены на сотни и десятки. Воевода назначил осадных голов, которые выбирались обыкновенно из отставных дворян.

Стенька, с своей стороны, занимался приготовлением к осаде. По совету двух астраханских перебежчиков, Лебедева и Каретникова, он сошел с Жареных Бугров, посадил свое войско в струги и поплыл по Болдинскому протоку, который окружал Астрахань со востока; по этому протоку он вошел в другой — Черепаху, а оттуда в реку Кривушу, обтекавшую Астрахань с полуденной стороны. Город был окружен водою. В XVII веке вода считалась для города лучшею естественною оградою; но с юга Астрахань была приступнее. Тотчас за стеною находились виноградные сады. Когда узнали в городе о переходе Стеньки, митрополит приказал копать ров из своих прудов к Солончаку, как называлось место на юге от Астрахани, чтоб покрыть его водою.

Вдруг приводят к воеводе двух нищих. Один из них слыл в городе под именем Тимошки Безногого. Персияне подсмотрели, как нищие выходили из города и опять вошли в него, прежде чем были завалены ворота. Боярин, по обычаю, приказал их пытать накрепко, и они сказали:

— Мы похвалились вору Стеньке Разину в приступное время (когда начнется приступ) зажечь Белый город.

Воевода приказал их тотчас казнить смертью. Но это событие показало ему, как много неожиданных опасностей кроется внутри города. Иностранец капитан Бутлер посоветовал тогда запретить рыбакам разъезжать по Волге и сжечь татарскую слободку под городом, чтоб не дать притона козакам.

Двусмысленные, угрюмые лица стрельцов и астраханских посадских не переставали тревожить воеводу. 20 июня он призвал на митрополичий двор стрелецких офицеров и лучших людей астраханцев. Главным лицом над стрельцами был голова Иван Красуля, или Красулин, тайный сообщник Стеньки. Митрополит говорил им:

"Поборитесь за дом Пресвятыя Богородицы и за великаго

государя, его царское величество; послужите ему, государю, верою и правдою, сражайтесь мужественно с изменниками: за то получите милость от великаго государя здесь, в земном житии, а скончавшихся в брани ожидают вечныя блага вместе с христовыми мучениками".

— Рады служить великому государю верою и правдою, не щадя живота даже до смерти, — отвечал Иван Красулин.

Наступила ночь. Татары последовали примеру немцев. Ямгурчей, мурза Малого Нагая, стоявший под Астраханью, взял детей своих да улусных людей, и убежал далеко в степь.

Следующий день (21-го июня) склонялся уже к вечеру. Вдруг зазвонили в колокола на астраханских башнях: то была тревога. Воровские козаки с лестницами шли на приступ к Астрахани.

Воевода вооружился в панцырь и выехал из двора на своем боевом коне. Перед ним вели простых лошадей под покровами, ударили в тулунбасы, затрубили в трубы на сигнал к сражению. С воеводою ехал брат его Михаил Семенович. Около них собрались стрелецкие головы, дворяне и дети боярские: примкнули к ним подьячие и приказные люди. Спешили к Вознесенским воротам. Прозоровский обратился к толпе ратных и говорил:

"Дерзайте, братья и дети, дерзайте мужественно; ныне пришло время благоприятное за великаго государя пострадать, доблественно даже до смерти, с упованием безсмертия и великих наград за малое терпение. Если теперь не постоим за великаго государя, то всех нас постигнет безвременная смерть. Но кто хочет в надежде на Бога получить будущие блага и наслаждения со всеми святыми, тот да постраждет с нами в сию ночь и в настоящее время, не склоняясь на прельщения богоотступника Стеньки Разина".

Ночная тень покрывала землю. Козаки показывали вид, что хотят идти на приступ к Вознесенским воротам, и потому в этой части города сошлись осажденные; но на самом деле козацкий атаман выбрал другой путь, и козаки подставляли в другом месте лестницы; там астраханцы не стали ни стрелять на них из пищалей, ни камней метать, ни варом обливать: они подавали им руки и пересаживали через стены. Только в подошевных боях башни гремел на них из пушек верный пушкарь Томило с товарищами и, кажется, никому не сделал зла. Воевода между тем все внимание обращал на Вознесенские ворота и не видал, что делается на других прясл ах стены, как вдруг услышал за собою зловещий козачий ясак, говорит современник. Вероятно, это было пять выстрелов, один за другим, из вестовой пушки: пять выстрелов значили, на военном языке того века, сдачу города и назывались *ясаком на сдачу*.

XII.

Вслед за роковым сигналом астраханцы (молодые люди, то есть чернь и бедняки) с яростным криком бросились бить дворян, детей боярских, пушкарей, людей боярских, и кто-то неистовый налетел на князя Прозоровского и ударил его копьем в живот: князь упал с лошади. Верный старый холоп схватил его, пробился с ним сквозь разъяренную толпу, унес в соборную церковь и там положил на ковре. Брат воеводы Михаил Семенович погиб близ стены от самопального выстрела. Все кругом разразилось изменою; стрельцы величали батюшку Степана Тимофеевича. Не предал своего долга пятидесятник конных стрельцов Фрол Дура; не братался он с ворами, поистине поборал, говорит современный сказатель. Он последовал за раненым князем и стал в церковных дверях: он решился не иначе впустить в храм Божий козаков, как чрез свое мертвое тело.

Митрополит прибежал в церковь. Задушевная дружба соединяла его с воеводою. Слезно всхлипывая, припадал к нему на грудь архипастырь седою головою, утешал словесами надежды будущих благ, исповедовал и причастил св. Таин. Начали сбегаться в храм дьяки, подьячие, стрелецкие офицеры, купцы, дворяне, дети боярские, все, кому грозила беда от рабов, подначальных и бедняков. Испуганные матери с грудными младенцами, девицы, дрожавшие за свою честь, столпились за святым местом у иконы Пресвятой Богородицы и шептали в страхе молитвы. Двери храма были затворены железною решеткою. Неустрашимый Фрол Дура стоял у входа с обнаженным ножом: он, конечно, не надеялся охранить привалившийся в церковь люд, но думал, по крайней мере, умереть его защитником, как следовало верному слуге царя и Христову воину.

Заря занималась. В Пречистенских воротах вырубили калитку, и козаки входили ею в город; с другой стороны они вступали через Житный двор. Толпа бросилась на паперть соборного храма. Фрол Дура был изрублен в куски, но испустил дыхание не прежде, как успел нанести ножом своим удары врагам.

Козаки выстрелили сквозь железную решетку во внутренность храма; одна пуля попала в полуторагодового ребенка, которого мать держала на руках перед Иконою Казанской Богородицы. Помост обагрился младенческою кровью, говорит летопись. Другая пуля задела святую икону; потом козаки разломали решетку и бросились на беззащитных.

Лежавшего на ковре Прозоровского вынесли и положили на земле под раскатом (так называлась церковная колокольня). Вслед затем козаки хватали всех, искавших убежища в храме,

вытаскивали, вязали им назад руки и сажали рядом под стенами раската. Дожидали суда Стеньки.

Часов в восемь утра явился Стенька судить. Он начал суд свой с Прозоровского. Он взял его под руку и повел на раскат. Они стали рядом наверху; все видели, как атаман сказал воеводе что-то на ухо, но князь вместо ответа, отрицательно покачал головою. Что говорил ему Стенька на ухо — это осталось тайною между ними. Тотчас после того Стенька столкнул князя головою вниз, стороною на зимний восток.

Сошедши с раската, Стенька сотворил короткий и нецеремонный суд над связанными. Всех приказал побить атаман. Стрельцы, козаки и чернь одних рубили мечом, других бердышами, иных били кольями. Тогда, говорит летописец, мимо церкви до приказной избы текла кровь человеческая, яко река. Стенька приказал собрать тела, отвезти в Троицкий монастырь и похоронить в одной общей братской могиле. Когда убитых свалили в землю, над могилою стоял старец и считал тела, и насчитал их четыреста сорок одного. Тут был и князь Прозоровский. Перед Стенькою все люди были равны: он не позволил копать ему особой могилы.

Окончив суд над людьми, Стенька засудил бумаги, которыми эти люди заведывали. Он приказал вытащить из приказной палаты все дела и сжечь их на площади всенародно.

— Вот так, — говорил он, — я сожгу все дела наверху у государя.

Только иноземцы оказывали сопротивление. Защищались несколько времени немцы у Вознесенских ворот, пока капитан их, Видерос, не был изрублен своими же подчиненными. Долее их сопротивлялись люди черкесского князя Коспулата Муцаловича, природные черкессы с двумя русскими, всего девять человек. Они заперлись в пыточной башне и давали отпор до полдня; а когда у них не стало свинцу, то заряжали ружья деньгами. Наконец выбившись из сил и истратив весь порох, они бросились из башни за город, но их догнали и изрубили.

Все имущество убитых было подуванено между козаками, приставшими к ним стрельцами и бедными жителями города. Ограблены церковные сокровища: ограбили торговые дворы, русский, гилянский, индийский, бухарский: все товары были отвезены в Ямгурчеев Городок и там происходил раздел. Астрахань обращена в козачество: жители получили числовое деление, общее козакам, на тысячи, сотни и десятки, должны были править кругом или народным сборищем, управляться выборными атаманами, есаулами, сотниками и десятниками.

Устроив козачество, Стенька вывел толпу астраханцев, обра-

щенных в козаки, за город и приводил их к крестному целованию. Они присягали стоять за великого государя и за своего атамана Степана Тимофеевича, войску служить и изменников выводить. Священники поневоле должны были совершать обряд присяги, немногие, которые противились, поплатились за это: одного атаман приказал посадить в воду, а другому велел отсечь руку и ногу.

Три недели после того провел Стенька в Астрахани и почти каждый день был пьян. Астраханский народ озлобился до неистовства на все, что принадлежало к высшему классу народа почему-нибудь. Стенька, в угодность народу, разъезжал по городу, обрекал на мучения и на смерть всякого, кто чем-нибудь навлек неудовольствие народа. Одних резали, других топили, иным рубили руки или ноги и пускали ползать и истекать кровью, для забавы толпы. Хозяева и приказчики ограбленных лавок и гостиных дворов, большею частью иностранцы, были также умерщвлены. Тогда погиб давний знакомец Стеньки, сын хана, взятый в плен близ Свиного острова, брат несчастной княжны, принесенной в жертву Волге, в пылу пьяного неистовства. Стенька приказал для потехи повесить его на крюк за ребро. Счастливее был персидский посол, находившийся тогда в Астрахани. Когда Стенька взял город, он с своею свитою заперся в башне; персияне оборонялись всего один час времени, и должны были сдаться. Стенька привел посла на площадь перед роковой раскат, однако, не повел его туда, даже не снял с него платья, а только отнял у него саблю. Бывшего при нем русского подьячего Наума раздели донага и уж хотели было в таком наряде вести на раскат,но астраханцы выпросили ему жизнь. Из посольской свиты козаки убили только несколько человек, которые упорно оборонялись в башне: других за то, что сдались, помиловали, только обобрали до ниточки. Зато все письма и бумаги, какие нашлись у посла и у его людей, Стенька велел изодрать — такова уже у него была ненависть к писаниям всякого рода. Беспрестанно астраханцы собирали круги, рассуждали, как и над кем бы им еще потешиться. Кто им не потакал или хотел остановить их кровожадность, того забивали до смерти палками или вешали за ноги. Даже козачьи и посадские жены неистовствовали над вдовами дворян, детей боярских и приказных: некоторых из этих несчастных взяли козаки себе в жены, и Стенька приказывал священникам венчать их насильно, а тех священников, которые не слушались, присуждал сажать в воду. Астраханцы, подражая своему "батюшке", начали есть в постные дни молоко и мясо, и если кто ужасался нарушать эти обряды, того угощали побоями, а иногда заколачивали до смер-

ти. Новички в козатчине астраханцы были безжалостнее донцов: несколько раз приходили они толпами к Стеньке и говорили:

— Многие из приказных людей и дворян схоронились; вели их отыскать и побить; а то ведь, как будет от государя в Астрахань присылка, так они станут нам первые неприятели.

— Когда я уеду из Астрахани, тогда делайте, что хотите, — отвечал Стенька.

При всех своих неистовствах, когда случился день тезоименитства царевича Феодора, то, как будто ради торжества, Стенька с толпою козаков приходил к митрополиту в гости. Неизвестно, с каким побуждением это делалось и что говорилось на таком оригинальном свидании.

Собираясь оставить Астрахань, 13-го июля Стенька сидел пьяный в кружале и вдруг призвал есаула и сказал:

— Ступай к митрополиту и возьми у него старшего сына боярина Прозоровскаго, Бориса, и приведи ко мне.

Вдова Прозоровского, княгиня Прасковья Федоровна, после трагической кончины мужа скрывалась в палатах митрополита с двумя сыновьями. Оба звались Борисами. Старшему было шестнадцать лет. Его привели к Стеньке.

Стенька сказал ему:

— Где таможенные пошлинные деньги, что собирались в Астрахани с торговых людей? Отец твой ими завладел и промышлял?

— Отец мой никогда этими деньгами не корыстовался, — отвечал молодой князь. — Они собирались таможенными головами, головы приносили в приказную палату, а принимал их подьячий денежнаго стола Алексей Алексеев с товарищами. Все деньги пошли на жалованье служилым людям. Спроси у подьячего.

Случайно подьячий избежал участи своих собратий. Его отыскали и привели к Стеньке. Подьячий объяснил ему то же, что князь.

— А где ваши животы? — спросил Стенька у Бориса Ивановича.

— Животы отца моего ограбили; казначей отдавал их по твоему приказу, а возил их твой есаул Иван Андреев Хохлов.

Стенька приказал повесить его вверх ногами на городской стене, а подьячего Алексея за ребро на крюке.

— Принесите мне другого сына воеводы! — закричал тогда Стенька.

Второму сыну Прозоровского было только восемь лет. Козаки вырвали малютку из рук матери и принесли к Стеньке. Атаман приказал повесить его за ноги возле брата.

Всю ночь висели они. Утром приехал Стенька и приказал старшего князя бросить со стены, а малютку, отекшего кровью, чуть живого еще, приказал сечь розгами и возвратить матери. Тело подьячего было отдано также его матери.

XIII.

Стенька оставил в Астрахани атаманом Ваську Уса, а старшинами Федьку Шелудяка и Ивана Терского. Под их начальством осталась половина астраханцев, записанных в козаки, половина московских стрельцов и по два человека из каждого десятка донских козаков. Стенька собрал с собою остальных, кто желал идти с ним, и грянул вверх по Волге. Козаки отправились вверх по Волге на двухстах судах; по берегу шла конница, в числе двух тысяч человек. Достигли они, таким образом, Царицына. Тут Стенька отправил отряд в две тысячи человек на Дон с казною, награбленною в Астрахани, под начальством атаманов Фрола Минаева и Якова Гаврилова, а сам, на судах, следовал дальше. С ним тогда войска было не больше десяти тысяч; была надежда, что оно скоро увеличится в десять раз.

Первый город, который предстоял Стеньке на пути — был Саратов. Это не нынешний губернский город того же имени, но другой, лежавший на луговой стороне Волги, несколько выше нынешнего.

Саратов сдался без сопротивления. Стенька приказал утопить тамошнего воеводу Козьму Лутохина; умертвили всех дворян и приказных людей, а имение передуванили. В городе введено козацкое устройство; был там поставлен атаманом Гришка Савельев.

Самара взята несколько труднее: между жителями этого города была партия, верная царю. С приходом Стеньки поднялось междоусобие. Козацкая партия была сильнее и победила. Стенька вошел в город, утопил воеводу Ивана Алфимова, перебил всех приказных людей, дворян и детей боярских, отдал на раздел их имущество и ввел козацкое устройство между жителями. Саратовцы и самарцы пошли с атаманом далее.

Таким образом, Стенька в первых числах сентября дошел до Симбирска. Скорость, с какою он прошел это большое пространство вверх против воды, покоряя себе города, выразилась в народной песне такими стихами.

Еще как-то нам, ребята, пройти?
Астраханско славно царство пройдем с вечера,
А саратовску губернию (анахронизм) на белой заре;
Мы Самаре-городочку не поклонимся,
В Жегулевских горах мы остановимся;

Вот мы чалочки причалим все шелковыя,
Вот мы сходоньки положим все кедровыя.
Атаманушку сведем двое под руки,
Есаулушка, ребятушки, он сам сойдет.
Как возговорит наш батюшка атаманушка:
"Еще как бы нам, ребятушки, Казань город взять".

Агенты Стеньки Разина рассеялись в пределах Московского государства. Всего успешнее действовали они в землях нынешних губерний Нижегородской, Тамбовской, Пензенской, но проникая гораздо дальше, даже до Новгородской земли, достигли до отдаленных берегов Белого моря, прокрадывались и в самую столицу. В своих воззваниях, которые Стенька посылал с казаками, и в своих речах, которые говорил, где только являлся сам, он извещал, что идет истребить бояр, дворян, приказных людей, искоренить всякое чиноначалие и власть, установить во всей Руси козачество и учинить так, чтоб всяк всякому был равен. "Я не хочу быть царем (говорил он), хочу жить с вами, как брат". Легко было возмутить народ ненавистью к боярам и чиновным людям; легко было поднять и рабов против господ; но было трудно поколебать в массе русского народа уважение к царской особе. Стенька, поправший и Церковь, и верховную власть, знал, что уважение к ним в русском народе очень крепко, и решился прикрыться сам личиною этого уважения. Он изготовил два судна: одно было покрыто красным, другое черным бархатом. О первом он распространил слух, будто в нем находится сын Алексея Михайловича, царевич Алексей, умерший в том же году 17-го января. Какой-то черкесский князек, взятый козаками в плен, принужден был поневоле играть роль царевича. Стенькины прелестники толковали народу, что царевич не умер, а убежал от суровости отца и злобы бояр, и что теперь Степан Тимофеевич идет возводить его на престол. Царевич, говорили они, приказывает всех бояр, думных людей, и дворян, и всех владельцев помещиков, и вотчинников, и воевод, и приказных людей искоренить, потому что они все изменники и народные мучители, а как он воцарится, то будет всем воля и равность. Повсюду эмиссары разносили эти вести, и в отдаленном от Волги Смоленске один из них уверял народ, что собственными глазами видел царевича и говорил с ним: с тем и на виселицу пошел. В другом судне, покрытом черным бархатом, находился, как говорили прелестники, низверженный царем патриарх Никон. Таким образом, Стенька этими двумя путями хотел поселить в народе неудовольствие к царю Алексею Михайловичу. Между тем его агенты возмущали народ всякими способами и говорили разное: в одном месте проповедовали козацкое равенство и пол-

ное уничтожение властей; в другом возбуждали толпу именем царевича, обещающего народу льготы и волю; здесь ополчали православных за гонимого патриарха; там подущали старообрядцев враждою против нововведений, за которые обвиняли того же патриарха. В то же время они вооружали и черемис, и чувашей, и мордву, раздували в них неприязнь против русских вообще, а татар разгорячали фанатизмом мохаммеданства. Все партии, все верования, все страсти затрогивал Стенька, лишь бы произвести смуту и беспорядок. Холоп вооружался на господина, служилый на своего начальника, язычник и мохаммеданин на христианина. Стенька сносился с крымским ханом и пытался призвать на Русь его опустошительные орды. По известию современника он, было, завел даже сношения с Персиею, которой так недавно насолил. Стенька послал к шаху посольство; в письме своем он подделывался к восточным обычаям и надавал себе самому высокопарных титулов, тогда как в обращении с козаками оказывал презрение к какому бы то ни было титулу. Стенька предлагал шаху союз и требовал вспоможения за такую любовь и расположение. При этом он угрожал, если ему откажут, опять посетить его государство, но уже с двумя стами тысяч войска. Шах приказал козакам, которые привезли такое письмо, отрубить головы и бросить собакам их внутренности. Оставлен в живых только один и отправлен к Стеньке с ответом. Шах обещал на такую дикую свинью, как Стенька, послать своих охотников, с тем, чтоб они его, живого или мертвого, бросили на съедение собакам. Стенька, получив этот ответ, пришел в ярость, изрубил саблею невинного козака и велел бросить воронам тело его за то, что он привез такую обиду. А этот козак радовался было, что избежал смерти в Персии.

Стенька приступил к Симбирску 5-го сентября. Там сидел, запершись, боярин Иван Богданович Милославский. Город был укреплен двойным укреплением: в средине находился собственно город, или кремль, на горе, а за ним следовал посад, частию обведенный стеною и рвом: там был острог. Как только Стенька подошел к Симбирску, жители сейчас же передались ему и впустили в острог, чтоб действовать самим вместе с козаками. Не так-то скоро можно было взять город, по его крепкому местоположению. Он был хорошо снабжен пушками, заключал в себе гарнизон из четырех стрелецких приказов и значительное число дворян и детей боярских из Симбирского уезда и других смежных городов, искавших там спасения по соседству. Стенька возился около Симбирска целый месяц. Он укрепил острог, чтоб иметь защиту, если свежее войско явится откуда-нибудь на выручку Симбирска, а вокруг города приказал выкопать высокий

земляной вал. Козаки взмостили на этот вал пушки и бросали с него в город зажигательные снаряды — дрова, солому, сено. Пожар несколько раз зачинался, но его всегда тушили. Между тем войско Стеньки с каждым днем увеличивалось. Приходили к нему беглые холопы и крестьяне; приходили толпы черемис, чувашей и мордвы. Милославский несколько раз писал в Казань и просил помощи, но не получал ее, и час от часу положение его становилось безвыходнее. Пути были заняты мятежниками; повсюду народ волновался; нельзя было гонцам пробираться. Еще немного времени — и боярин, конечно, не мог бы никаким образом от воровских козаков отсидеться, как он выражался.

Помощь, которой он просил, послана казанским воеводою, князем Урусовым, в половине сентября, под предводительством окольничего князя Юрия Борятинского. Он шел не по Волге, а по сухопутью и должен был на пути сражаться с бунтовавшими шайками чувашей и черемисов. Каждый шаг ратные люди должны были покупать оружием. Таким образом, Борятинский достиг Симбирска около октября.

Стенька знал путь его, и как только услышал, что Борятинский за две версты от козацкого стана, вышел против него сам. Борятинский, увидев, что козаки на него наступают, приказал своему войску стоять неподвижно до тех пор, пока козаки сошлись с ним уже на расстоянии не далее двадцати сажень, тогда только ратные люди предупредили их напор и стремительно на них ударили. Жаркая была схватка, Люди перемешались до того, что не могли отличать своих от чужих. Нестройные, непривычные к военному делу толпы мордвы и чувашей не в силах были сладить с войском Борятинского, где были солдаты, выученные уже по европейскому образцу. Упорнее держались только донские козаки; сам Стенька бился отчаянно; его хватили по голове саблею; пищаль простреляла ему ногу, и какой-то смелый алатырец, Семен Степанов, схватил было атамана и повалил на землю, но сам был убит над ним. Стенька увидел, что держаться более нельзя, и побежал с донцами в башню. С утра до сумерок продолжалась эта битва. Ночь прекратила ее. Мятежники потеряли четыре пушки, знамена, литавры и сто двадцать пленников; из них воевода оставил немногих для расспроса, а прочих тотчас же велел повесить.

На третий день после того, 3-го октября, Борятинский сделал мост на Свияге, перевел свой обоз, стал под кремлем с саранской стороны и освободил Милославского из осады. Стенька сосредоточил свой обоз на другой стороне, на казанской, ближе к Волге, задумывая заранее убежать, когда не станет более силы. Милославский соединился с Борятинским.

Стенька в наступившую ночь повел свое войско на приступ; козаки бросали в кремль большие огненные приметы — хотели во что бы ни стало произвести пожар; но в то время посланный в тыл от Свияги полк полковника Андрея Чубарова так страшно закричал, что козаки подумали, что они стеснены со всех сторон огромною силою. Тогда Стенька созвал своих донских козаков на совет, тайно от прочих сообщников крестьян. Надежды на последних было мало: воевать они не умели, и могли бы, при всем своем многолюдстве, только испортить дело, когда бы пришлось им сражаться вновь с неприятелем, сильнейшим и по числу, и по искусству. Козаки решились оставить их на произвол судьбы и убежать. Чтоб скрыть свое намерение от крестьян, Стенька выстроил последних в боевой порядок и сказал:

— Стойте здесь, а я с козаками пойду на новоприбылых людей.

Пользуясь темною ночью, козаки сели в суда и уплыли вниз по Волге. Утром мятежники увидели, что козаки их оставили; в страхе они покинули и острог, и обоз, и пустились бежать к Волге; каждый хотел захватить еще суда. Суда действительно не все еще уплыли; но воеводы смекнули, в чем дело, и бросились за бежавшими. Борятинский взял обоз, ворвался в острог, а потом зажег его и пустил своих ратных людей в погоню. Мятежники, припертые к Волге, поражаемые сзади и ружьями, и саблями, не попадали в струги, а стремглав падали в воду; другие успевали овладеть стругами, но падали с них от выстрелов с берега. Более шестисот попалось в плен живьем, и они тотчас же были казнены без следствия и суда: одних четвертовали, других расстреливали, но большею частью вешали; весь окрестный берег Волги был уставлен рядом виселиц с воровскими козаками и их приставниками. Жители подгородных симбирских слобод явились с повинною; воевода отобрал из них по человеку с слободы и наказал кнутом, а прочих только привел к присяге.

Эта победа была чрезвычайно важна. Борятинский, одержав ее, оказал большую услугу престолу. Если б успех этой битвы остался на стороне Разина, мятеж принял бы ужасный размер. Стенька находил сочувствие не только в окрестных жителях, но и в далеких углах России; масса поднялась бы страшным пластом... Борятинский одним днем все разрушил. Как, с одной стороны, успех Стеньки увеличивал число его сообщников, так, с другой, один проигрыш уронил его значение в глазах обольщенного народа. Симбирская битва, столь напоминающая поражение южноруссов под Юрестечком, была вабанк воровского атамана.

XIV.

Прелестные письма, разосланные Стенькою, произвели скоро желанное действие в земле, близкой к Симбирску, где стоял предводитель, озаренный славою недавних успехов. Пространство между Окою и Волгою на юге до саратовских степей, а на восток до Рязани и Воронежа, было в огне. Возмутители бродили партиями и поднимали народ. Мужики помещичьи и вотчинные, мужики монастырские, дворцовые и тяглые умерщвляли своих господ, приказчиков и начальных людей, называли себя козаками, составляли шайки и шли делать то же у соседей. Язычники — мордва, чуваши и черемисы — поднялись на севере от Симбирска. Они были возбуждены русскими возмутителями и собирались в шайки под начальством русских, сами, кажется, не зная за что бунтуют. Сдавались города; не было пощады воеводам и приказным; гибель постигала того, кто не шел с бунтовщиками. Как всегда бывает при народных восстаниях, и этот бунт отличался изобретательностью в жестокостях. Предание говорит, что бунтовщики начиняли женщин порохом, зажигали и тешились такими оригинальными минами. Имя батюшки Степана Тимофеевича неслось все далее и далее, возжигая отвагу и дерзость; и уже в самой Москве поговаривали, что Стенька вовсе не вор. "Что тогда делать, если Стенька придет к Москве?" спросил один молодец у пожилого. Тот отвечал: "Народ должен встретить его с почестями, хлебом-солью!" Болтуна подслушали и повесили. Но потом поймали в Москве какого-то молодца, который старался распространять в народе неповиновение к царю. Ему отрубили руки и ноги, потом повесили.

Симбирское дело все разрушило. Мятеж не пошел далее и в продолжение зимы был задушен воеводами.

Освобожденный из осады, Милославский жаловался, что причиною столь долгой осады Симбирска была медленность князя Урусова, главного казанского воеводы: Милославский несколько раз просил его прислать вспомогательное войско на выручку, но войско пришло поздно, не ранее 1-го октября. "Если б (писал он) князь Петр Семенович Урусов подоспел впору к Симбирску с ратными людьми, то и вору Стеньке Разину с воровскими козаками утечь было бы некуда, и черта была бы в целости: города Алатырь и Саранск и иные города и уезды до конца разорены бы не были, а это разоренье учинилось от нераденья к великому государю крайчаго и воеводы князя Петра Семеновича Урусова". Князь Урусов был сменен, и начальство над действиями войска против мятежников вручено князю Юрию Долгорукому, тому самому, который повесил Стенькина брата.

После погрома Стеньки, Борятинский пошел в Алатырский уезд, где собралось порядочное мятежное ополчение из алатырцев, корсунцев, курмышцев, арзамасцев, саранцев, пензенцев. Народу было тысяч пятнадцать в этом ополчении. 12 ноября князь стоял близ мятежного села Усть-Уреня, на берегу Кондарати; на другом берегу стояли его неприятели; расстояние между ними было не более полуверсты. Князь описывал это дело так: "И стояли полки против полков с утра до обеда; я того ожидал, чтоб они перебрались за переправу ко мне, а они за переправу ко мне не пошли". Наконец, когда надоело такое ожидание, князь приказал намостить сена через реку; пехота перебралася: "Велик был бой, стрельба пушечная и мушкетная безпрестанная (продолжает князь), и я тех воров побил и обоз взял, да одиннадцать пушек, да двадцать четыре знамени, и разбил всех врознь; побежали они разными дорогами; и секли воров конные и пешие, так что на поле в обозе и в улицах Усть-Уренской слободы за трупами нельзя было и проехать, а крови пролилось столько, как будто от дождя большие ручьи потекли". Пленные были частью казнены, частью отпущены после привода их ко кресту. Эта победа нанесла такой страх, что алатырцы вышли с образами, с повинною; то же сделалось с Корсуном: мятежные села этих уездов положили оружие; более упорные бежали к Саранску и к Пензе; но когда войска занялись укрощением других городов, в декабре в Алатырском уезде опять собрались мятежнические скопища и отправились на село Апраксино; но посланный против них думный дворянин Леонтьев побил их наголову; зачинщики казнены, а толпа, состоявшая почти вся из язычников, приведена к шерти. Тогда ратные люди сожгли все села и деревни, где был притон возмущения. На севере от Симбирска, по всему протяжению нагорной стороны, в уездах Цывильском, Чебоксарском, Козьмодемьянском, Ядринском и Курмышском господствовало волнение между черемисами, чувашами и мордвою. Ополчение их было тогда до десяти тысяч; но когда, после разбития Стеньки, на них пошел с войском князь Данила Борятинский, брат симбирского победителя, то они после первых стычек разбежались и потом со страхом шли приносить повинную. Таким образом были очищены, как выражались тогда, уезды Цывильский и Чебоксарский. Борятинский вешал немногих (зачинщиков), остальных приводил к шерти и отпускал. В Козьмодемьянском уезде взволновались села архиепископские и другие, принадлежавшие владельцам; толпа мятежников понеслась к городу; к ним пристали загородные слободы, а потом стрельцы, пушкари, ямщики и посадские. Козьмодемьянцы убили своего воеводу, убили

подьячего, выбрали старшиною какого-то посадского человека, освободили тюремных сидельцев, одного из них, Ильюшку Долгополова, избрали начальником шайки и отправили для распространения бунта на Ветлуге. По примеру Козьмодемьянска, взбунтовался и Василь. Тамошний воевода, не надеясь сладить с мятежниками, убежал; жители ограбили казну и сожгли все царские грамоты и все делопроизводство. Толпа воровских козаков взволновала Ядринский уезд; составилась большая партия, большею частью из черемис, и овладела Ядрином. Воевода, подьячие и все дворяне, и дети боярские были истреблены. Посадские приняли сторону мятежа. Но когда Борятинский усмирил Козьмодемьянский уезд и приступил к Козьмодемьянску, жители этого города тотчас оробели. 2-го ноября они вышли к воеводе с повинною: впереди шли священники с образами. Борятинский начал розыск: шестьдесят человек казнено смертью, сотне мятежников отрубили по пальцу на правой руке; у других отсекли совсем руки, а четыреста человек биты нещадно кнутом. Василь, узнав, что сделалось с Козьмодемьянском, сдался добровольно и просил пощады. В Ядрине оказали более упорства. Партия воровских козаков, овладевшая городом, простиралась до пятисот человек и могла удерживать несколько времени дух неповиновения. Когда Борятинский, для увещания ядринцев, послал к ним монаха и одного посадского, то они первого сбросили с башни, а второго сожгли. Но после того возмутители, узнав, что на них посылаются поиски, не стали более упрямиться, оставили на произвол судьбы посадских, которых ввели в искушение, и сами разбежались. Город сдался. Его примеру последовал Курмыш. Везде повторялись сцены казней и присяги.

Когда Стенька пришел под Симбирск, прелестные письма его дошли в богатое и большое село Лысково на Волге. В конце сентября двадцать человек лысковцев учинили между собою круг по козацкому обычаю и послали просить курмышского атамана Максима Осипова, чтоб он прибыл к ним и установил порядок, как ведется в козачестве.

Атаман пришел с товарищами, и на встречу ему вышли священники с крестами и образами. Толпа народа приветствовала его радостными криками. Те же, которые не разделяли всеобщих чувств, удалились в Желтоводский Макарьевский монастырь, на другую сторону Волги: обитель упорно оставалась верна престолу. 1 октября мятежники стали за Волгою и ударили из пушек, угрожая монастырю, потом послали туда козака и пять товарищей с посланием Стеньки Разина. Они требовали, чтоб монастырь сдался и пристал на их сторону, и грозили взять его приступом, если не послушает. Архимандрит Пахомий, приняв

послание, отправил одного гонца в Москву с этим самым посланием, а другого в Нижний просить воеводу Голохвастова прислать свежих сил для охранения монастыря. Осипов, не получая ответа, в другой раз послал одного старшину с двумя лицами повторить то же требование. Архимандрит и этих задержал и подверг расспросу, а расспросные речи отослал в Москву. Атаман в третий раз послал двух священников села Лыскова уговаривать архимандрита, по крайней мере отпустить посланных. Архимандрит отказал.

Тогда мятежники решили взять монастырь приступом. 8-го октября толпа вооруженных жителей села Лыскова и Мурашкина, называясь козаками, переправилась через Волгу и осадила монастырь со всех сторон: с востока — от кузниц, с запада — с огородов, с юга — от гостиных дворов и лавок. Монахам показалось, что мятежников было тысяч тридцать. Ударили из пушек. Нагромоздили огромные костры леса, навалили кучи соломы и зажгли; подняли пламень выше монастырских стен, и мятежники диким голосом кричали: "нечай! нечай!" То был ясак сообщников Стеньки Разина в этом крае. Архимандрит сначала прибег к духовному оружию, исповедовал и причащал всех, кто был в то время в обители, взял крест и святые иконы, пошел по стенам, умоляя милосердие Божие об удержании междоусобного меча; но потом начали отражать мятежников силою. В монастыре было, кроме братии, служебников, работников и крестьян из разных сел и деревень до полуторы тысячи человек, да тридцать душ странников-богомольцев. Все тронули увещаниями архимандрита, и старые, и малые, и мужи, и жены принялись храбро отражать приступ мятежников, лили на осаждавших вар, тушили пожар, который несколько раз начинался в угольной башне и в воротах. "Окаянные изменники (говорит современник-повествователь) приступали с горшим свирепством: словно как медведь, когда уязвят его, жесточе свирепствует, или осы, если раздражены, то нападают злее". Силы защитников оскудевали. Башни и ворота загорались. Чернецы опять прибегали к духовному оружию. Пронесли по стенам образ чудотворца Макария, покровителя обители. "Чудотворец пришел к нам на помощь", — закричали все, увидя икону, и так дружно принялись за дело, что угасили огонь, и мятежники отступили, не успев даже предать земле мертвецов своих, а свезли их в воловий загон и там сожгли".

На другой день, на восходе солнца, атаман, или атаманишка, как его называют презрительно враги, послал в монастырь священника из села Мурашкина, Максима Давидова.

Он сказал: — "Козаки отступают от монастыря и дают клятву, что больше не станут делать приступов, если вы отпустите

посланных Першку с товарищами; а коли не отдадите их, то не отступят от монастыря до тех пор, пока не разорят его и вас всех не перебьют. Знайте, что силы наши прибавляются. Из-за Волги к нам придут новые козаки".

Архимандрит посоветовался с братиею и со всеми осажденными. "Воров беспрестанно прибывает, а нас убывает от боя. Не станем их раздражать до конца" — сказали все. И архимандрит отпустил им Першку с товарищами.

Осипов точно отступил от монастыря. Тогда иноки и служебники стали в монастыре хвалиться. "Вот, говорили, каковы мы! вот какова наша крепость, помышление и дерзость!" Один другого укорял, и каждый себя самого пред другими превозносил. "О! люди, неискусные в божественных писаниях!" — говорили им старцы: "не ведаете вы словес, написанных у псалмопевца: "аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий; всуе вам есть утреневати". Не себе славу приписывайте, а Богу единому подобает воссылать хвалу с благодарением. Придет за вашу гордость гнев Божий на нас!"

И действительно, пророчение старцев сбылось через несколько дней. Осипов сдержал свое слово: с такою поспешностью отошел, что некоторые из его ватаги не попали в струги, а в реку; но явилась другая толпа самозванных козаков, под начальством Мишки Чертоусенка. Он убедил Осипова снова идти под монастырь. Козацкое полчище подошло к Волге на перевоз и когда начало переправляться, то ударило из пушек, заколотило в барабаны и литавры, громко затрубило в трубы; на защитников обители нашел такой страх, что они боялись тени и все разбежались врознь, оставя архимандрита с братиею. Один ссылочный конюх, по известию современника-иностранца, жид происхождением, посланный в монастырь на смирение, перебежал к козакам и известил их об этом. Тогда архимандрит и братия, видя неминуемую беду, тоже убежали из обители, оставив в ней отца-казначея и бывшего симбирского архиепископа Тихона с несколькими братьями, которые решились (говорит современник) положить свои головы в святой обители. Мятежники свободно вошли туда и много доброго нашли. Зажиточные люди, почуяв грозу, складывали там свои поклады; были там и купеческие товары, отданные на сбережение под кров св. Макария; все ограбили, все передуванили, истощили и кельи братские, взяли и денежную казну, но братию и служебников не умерщвляли, а удовольствовались тем, что причинили им велие озлобление: вязали им назад руки, подводили к плахе, как будто бы готовясь рубить головы, но оставили в живых — только попугали. Не долго гуляли удалые в обители: 22 октября пришел

с войском посланный князем Долгоруким князь Щербатов, разбил воров под Мурашкиным и прибыл в Лысково. Он начал праведный розыск и казнил участников мятежа. Одни были повешены, другие посажены на кол, иные прибиты гвоздями к доскам, некоторые изодраны крючьями или засечены до смерти. В числе казненных был какой-то родственник Стеньки. Те, которые успели убежать, не спаслись от смерти и, скитаясь в пустынных лесах, погибали от голода и стужи. Лысково и Мурашково поплатились очень жестоко.

На Оке вотчина князя Одоевского взбунтовалась первая и дала пример прочим; потом составлялись шайки, под предводительством козаков, и старались не пропускать через реку ратных людей, которые во множестве подходили на театр войны с другого берега Оки. Им удалось, таким образом, напасть на Павлов-перевоз, где переходившие ратные люди захвачены врасплох и побиты. Ободрясь успехом, они собрались на Лисовский перевоз и думали неожиданно напасть на переходивших; но один священник села Избылецкого предупредил военных людей и дал им средство приготовиться, так что мятежники были отбиты. Этот священник после за то потерпел побои и ушел чуть живой. Толпы беспрестанно увеличивались и решились напасть на Нижний. "Вот как Нижний возьмем (говорили они, хвастаясь и завлекая новых товарищей), тогда вы, крестьяне, увидите царевича; а мы идем за царевича Алексея Алексеевича и за батюшку нашего Степана Тимофеевича, а у нас ясак нечай: — значит, что вы царевича не чаете, а он нечаянно придет к вам!" Нестройные толпы окружили Нижний и расставили по всем сторонам караулы, чтоб ловить вестовщиков и беглецов, спасавшихся от гибели — разумеется, более всего владельцев и их приказчиков. Пойманных жестоко мучили и казнили мучительною смертью. Они уже готовились приступить к Нижнему, и Нижний был бы в их руках: там было немного ратных людей; но мятежники услыхали, что Долгорукий, узнав об опасности Нижнего, послал на выручку войско. Шайки стали сниматься с своих станов и не успели: князь Щербатов и Леонтьев погромили их. Только остатки этих шаек, убежав, продолжали разбойничать по деревням Нижегородского уезда.

В Арзамасе несколько времени была главная стоянка князя Долгорукого. В конце сентября он услышал, что собирается в окрестности сильная и многочисленная шайка бунтовщиков, и выступил из Арзамаса. Он встретился с мятежным ополчением под селом Паневым: в ополчении было тысяч пятнадцать народа. Бой был отчаянный. Четыре раза схватывались мятежники с царскими войсками и, наконец, были разбиты наголову. Поло-

вина их легла на месте, другая попалась в плен и предана казням. Князь взял у них шесть пушек и возвратился в Арзамас. По свидетельству современника, там было главное место казней. "Страшно было смотреть на Арзамас (говорит этот современник): его предместья казались совершенным адом; повсюду стояли виселицы и на каждой висело по сорока и по пятидесяти трупов; там валялись разбросанные головы и дымились свежею кровью; здесь торчали колья, на которых мучились преступники и часто были живы по три дня, испытывая неописанные страдания. В продолжение трех месяцев в Арзамас, если только верить современникам, казнили одиннадцать тысяч человек; их осуждали не иначе, как соблюдая обряды правосудия и выслушав свидетелей. Какое у вас было намерение, спрашивали под пыткою предводителей, — и все в одно говорили: хотели мы Москву взять, и вас всех, бояр и дворян, и приказных людей, перебить на смерть.

Разом со всем этим восстание разлилось в полосе, занимающей нынешние губернии Пензенскую и Тамбовскую. Когда Стенька взял симбирский острог и вел бой с Милославским, из села Урени вышло трое молодцов; приехали в Корсунь и взбунтовали город; туда прибыло еще два человека донцов; научали они составлять круги, и в первом круге засудили на смерть воеводу, подьячего и стрелецкого голову. Учредив там козацкое устройство, назначив начальство, они с толпою корсунцев пошли к Саранску. Едва только там услышали, что из Корсуна идут к ним козаки, тотчас убили воеводу и объявили себя на стороне Стеньки. Только сто человек после того вышло из Саранска, под начальством атамана Мишки Харитонова, к Пензе. Этого было достаточно, чтоб Пенза пристала к мятежу: там убили воеводу Логинова, подьячего, пушкарей и устроили козатчину. В это время в Пензу пришло шестьсот человек мятежников из Саратова распространять восстание. Ими предводительствовал Гришка Савельев, тот самый, которого Стенька оставил атаманом в Саратове. Саратовцы в Пензе стали им за что-то недовольны, сменили его и, вместо него, выбрали Ваську. Это был беглый солдат из Белгорода, скрывался на Дону и пристал к Стеньке; а когда Стенька проходил через Саратов, то оставил его в этом городе. В Пензе пристало к ним триста пензяков и пошли они к Ломову, под предводительством двух атаманов — Васьки и Мишки Харитонова. Нижний-Ломов сдался без выстрела; жители сами убили воеводу и подьячего; 2-го октября мятежники подступили к Верхнему-Ломову. Воевода Игнатий Корсаков выслал против них своих горожан.

— Для чего вы сюда пришли? — говорили они мятежникам.

Те отвечали:

— Мы прибыли к вам от батюшки нашего, Степана Тимофеевича, для вашего оберегания; а если вы учинитесь батюшке нашему, Степану Тимофеевичу, и всему войску сильны, мы всех вас, верхогородцев, побьем с вашим воеводою, и город ваш и дворы пожжем, и жен и детей ваших порубим, и разорим вас без остатку.

Верхоломовцы впустили их. Они сперва отслушали литургию, потом подле церкви созвали круг и говорили:

— Мы прибыли от батюшки нашего, Степана Тимофеевича, чтоб врагов ваших — воевод и подьячих искоренить, а вам дать льготные годы.

Жители, вместе с ними, бросились на воеводский двор и разграбили его; кто не соглашался пристать к ним, того умерщвляли; так убили одного священника, который не хотел последовать своей братии; иных только ограбили да поколотили. Воеводу, по обычаю, хотели было тотчас же убить, но жители выпросили ему жизнь; однако, через два дня убили и его, как задумали, сожгли царские грамоты и все делопроизводство, и устроили козацкий порядок.

Из Ломова атаманы, усилив свою ватагу ломовцами, отправились к Шацку, и на дороге, в селе Конобееве, сделали сбор: известили мужикам свободу, обратили их в козаков и выбрали им атаманов.Но не долго мужики потешались. Когда Васька с Мишкою пошли к Шацку, воевода Яков Хитрово, начальствовавший в Шацке, послал в Конобеево целый полк с частью другого полка. Неустроенные шайки были разбиты в пух. Новички побросали свое дубье, потеряли и свои знамена. Тем временем Мишка и Васька были, в свою очередь, разбиты, не доходя Шацка, и убежали в заповедный лес; там их догнали ратные люди и в другой раз разбили; атаманы воротились в Ломов и хотели было уйти прочь из того края к Стеньке, все еще думая, что он под Симбирском, но ломовцы уговорили их идти с ними опять к Шацку. Они пошли, но в селе Ракове их в третий раз разбили. Тогда Харитонов ушел в Саранск, а Васька в Керенск; керенцы поставили его атаманом, а жители Троицкого острога известили, что Долгорукий пришел в Красную слободу, и уговорили его напасть на князя.

В то же время Темниковский, Кадомский и Тамбовский уезды пристали к мятежу. Темниковские крестьяне, под предводительством какого-то попа Савы, грабили господские дома, чинили над женским полом поругание. Вместе с ними ходила старица (монахиня) ведьма, она носила с собою заговорные письма и коренья и посредством таких волшебных вещей приоб-

ретала победы. Она скликала толпу и предводительствовала мужиками. В Кадоме захватил власть донской воровской козак Лучка Федоров. По всему уезду взбунтовались мужики. В лесах между Кадомом, Керенском, Темниковым бунтовщики устроили засеки, чтоб делать препятствия ратным людям, когда они придут их укрощать.

Юрий Долгорукий опять двинулся из Арзамаса, чтоб укротить мятеж, который принимал более и более значительные размеры в южных странах собственно так называемой саранской черты. Он обратился к Темникову. Жители, так скоро и легко приставшие к мятежу, как только узнали, что на них идет большое войско, вышли за две версты на встречу с крестами и иконами. Протопоп и священники говорили за всех, просили прощения, уверяли, что они пристали к мятежу поневоле. Они выдали и попа Саву, и старицу, и еще какого-то беглаго попа, возмущавшего город. Долгорукий приказал попов повесить, а старицу сжечь в срубе, как поступали в то время с колдуньями. Ее звали Аленою; была она родом из пригородной слободы под Арзамасом, находилась там замужем, овдовела, постриглась и занималась тем, что портила людей; а когда поднялся бунт, то она пришла из Арзамаса в Темников, жила в воеводском дворе и учила ведовству атамана, правившего Темниковым. Современники говорят, что она ходила в мужском платье и была так неустрашима, что когда ей прочитали приговор, то не изменилась в лице, а как ее жгли в срубе, то произнесла: "когда бы все так воевали, как я, князь Юрий навострил бы от нас лыжи". Несколько дней раньше того, когда взяли Темников, посланный Долгоруким стольник Степан Лихарев взял так же легко Кадом и приказал всем возмутителям в городе рубить головы, а в селах вешать их.

Из Темникова Долгорукий двинулся к Красной слободе. Это большое дворцовое селение (ныне город Краснослободск) также изменило и также не имело силы и духа защищаться: жители вышли с крестами на встречу и просили помилования, уверяя, что пристали поневоле. Они указали на пятьдесят шесть человек, как на зачинщиков, и князь велел их повесить по проезжим дорогам. Когда, таким образом, князь утвердился в Красной слободе, мятежные жители Троицкого острога отправили в Керенск просить к себе Ваську, как выше сказано. Васька явился с керенцами, но был разбит, думая пробраться в Саратов; но тут его обманом заманили и посадили в тюрьму.

С тех пор города и села сдавались одни за другими. 14-го декабря Хитрово взял Керенск; 17-го декабря князь Щербатов овладел Нижним-Ломовым и послал рейтар и драгунов чинить

промысел над Верхним-Ломовым. Но Верхний-Ломов не дал чинить над собою промысел: священники с образами и крестами, а за ними прочие люди вышли на встречу и били челом государю о помиловании и поднесли подполковникам и майорам повинную челобитную. Князь Щербатов проговорил им нравоучение, чтоб вперед так не делали, и велел снова присягнуть в церкви по чиновной книге на верность государю. Ломовцы выдали своих старшин — двух русских и одного татарина: их повесили. На другом конце в то же время Юрий Борятинский усмирил уезды Атемарский и Маранский, взял Атемар, гнездо мятежников, и, застав там большое сборище, перевешал их; потом разбил под Саранском Мишку Харитонову и усмирил Саранск. 23-го декабря покорилась Пенза. Туда пошли полки с начальными людьми и сотни с сотниками, и только что приблизились к городу и готовились чинить промысел над ворами, как воры отворили ворота; оттуда вышло торжественное шествие священников с крестами и иконами, а за ними и смиренные жилецкие люди с опущенными головами, предаваясь на волю карающей и милующей власти.

— Просим великого государя смиловаться, — говорили они, — чтоб он великий государь, не велел нас, жилецких людей, посечению и разорению предавать. Их обнадежили милостью государевою, уверили, что останутся жить на своих местах, и требовали выдачи зачинщиков. Пензенцы показали только на трех человек, да сами ратные люди нашли еще шесть московских стрельцов, перебежавших к мятежникам. Но перед тем большая толпа убежала из Пензы степью к Саратову. Тридцать верст гнались за ними ратные люди, не догнали и следа не сыскали.

В конце декабря и в начале января усмирен был Тамбовский уезд.

Села покорялись одни за другими. Повсюду творилось это однообразно. Жители приносили повинную и обыкновенно уверяли, что они воровали поневоле, хотя часто неправдоподобие такой отговорки было очень явно. Они выдавали зачинщиков, которых воеводы тотчас допрашивали. потом вешали, иным рубили руки и ноги и пускали на страх прочим; менее виновных, которых было бесчисленное множество, пороли кнутом; наконец, вообще всех приводили к присяге, а язычников и мохаммедан к шерти; воровские письма, волновавшие умы, собирали и отправляли в Москву в казанский дворец. Тогда, как показывают некоторые акты, начальники насильно обращали мятежников себе в холопы, по общему понятию, что военнопленный делался холопом того, кто его взял на войне. Но правительство запрещало это под крепким страхом, и приказывало в разных городах во-

еводам, а на дорогах заставным головам, останаливать всех, кто будет ехать с пленниками и возвращать последних на места жительства, на счет тех которые их везли с собою.

Вообще в этих местах в народе было большое сочувствие к восстанию; скоро вспыхивали бунты; ничего не стоило взять город, овладеть пушками; но не было ни порядка и энергии, ни храбрости в нестройных толпах самозванных козаков. Отважны они были только тогда, когда приходилось убить обезоруженного воеводу или господина, либо господского приказчика, и ограбить чужое достояние; но как скоро являлся вооруженный отряд, особенно солдаты и рейтары, с лучшим устройством — мужики не выдерживали, часто сдавались без боя и хотели спасти жизнь отдачею на казнь тех, которые их взбунтовали. Не раз после того распространялся ложный слух, что Стенька снова явился в жилых пределах украинных городов — и мятеж оживал; мужики, забыв присягу, опять составляли шайки и опять сдавались и спасали себя казнью собратий, когда являлись к ним ратные люди.

В то время, когда так волновались жители около волжского пространства, брат Стеньки, Фролка, поплыл вверх по Дону и напал на Коротояк, но, по извещению коротоякого воеводы, князь Ромодановский, стоявший с военными силами в Острогожске, поспешил туда на помощь в-пору. Государевы ратные люди не только отбили приступ воровских козаков, но так их поразили, что те побросались в свои струги и будары и побежали вниз. В это самое время, когда Ромодановский был в Коротояке, в Острогожске, им оставленном, вспыхнуло возмущение. Этот городок был основан в 1652 году волынцами; тысяча человек пришла тогда на берега Тихой Сосны, после берестечского поражения, искать нового отечества, и основали Острогожск. Он имел козацкое устройство и составлял с другими пятью городами область Слободской Украины. Полковником был тогда Иван Степанович Дзинковский, сподвижник Хмельницкого, приведший козаков на новоселье. В продолжение восемнадцати лет служил он верно царю, а теперь козак соблазнился воззваниями Стеньки, старался возмутить своих подчиненных, утопил воеводу Тимофея Панютина и более ничего не мог сделать. Верный царю, сотник Герасим Карабут, при содействии троицкого протопопа, успокоил козаков и связал Дзинковского: его посадили в тюрьму с главными одномышленниками. Жена Дзинковского послала из Острогожска одного козака на Дон к воровским козакам и умоляла поспешить к Острогожску на выручку. Кузнец попался в руки ратных людей с письмом своей пани; изменник Ивашка

Дзинковский положил голову на плаху, а жена разделила с ним ту же участь за то, что хотела спасти его.

Восстание отзывалось и в других слободских полках. Эмиссары Стеньки успели было рассеять между жителями возмутительные письма и взволновали Чугуев; бунт распространился и на другие местности, но был укрощен содействием верного сумского полковника Кондратьева.

Также бесполезно отозвалось восстание на севере за Волгою, в Галицком уезде. Мятежники, гонимые с Нагорной стороны, перешли на Луговую. Предводитель их был воровской козак Ильюшка. Он напал на Унжу, разбил тюрьму, освободил преступников и, странствуя с ними, возмущал села и деревни, пока не был поражен отрядом ратных людей.

Подобным образом скитались повсюду еще несколько времени остатки мятежных шаек, мало-по-малу попадаясь в плен своим преследователям. Ими-то, вероятно, была сложена заунывная песня,которую поют до сих пор.

Ах туманы вы, мои туманушки,
Вы туманы мои непроглядные.
Как печаль-тоска ненавистные!
Не подняться вам, туманушки, со синя моря долой,
Не отстать тебе, кручинушка, от ретива сердца прочь!
Ты возмой, возмой, туча грозная!
Ты пролей, пролей, часть-крупен дождик!
Ты размой, размой земляну тюрьму,
Чтоб тюремнички-братцы разбежалися,
Во темном бы лесу собиралися!
Во дубравушке, во зелененькой,
Ночевали тут добры молодцы;
Под березонькой они становилися,
На восход Богу молилися,
Красну солнышку поклонилися;
"Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Над горой взойди, над высокою,
Над дубравушкой, над зеленою,
Над урочищем добра-молодца,
Что Степана свет Тимофеевича,
По прозванью Стеньки Разина.
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрей ты нас, людей бедных,
Добрых молодцев, людей беглых,
Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички,
Есауловы все помощнички.
Мы веслом махнем — корабль возьмем,
Кистенем махнем — караван собьем,
Мы рукой махнем — девицу возьмем".

Волнение достигло и Соловецкой обители, где собралось уже скопище раскольников, противников никоновской реформы бо-

гослужебного текста, возбужденных толками Лазаря и Аввакума. Козаки Стеньки проникли туда и нашли готовый запас для бунта. "Постойте, братие, за истинную веру (говорили они), не креститесь тремя перстами: это антихристова печать." Они говорили так, только притворяясь (замечает современник), чтобы вкрасться к раскольникам в доверенность, а на самом деле думали о том, чтоб ограбить монастырь и самую братию побить. Будучи приняты с участием, они отстранили иноков и бельцов от дел, избрали начальниками свою братию Фаддейку Кожевника да Ивашку Сарафанова, и не только учили не повиноваться Церкви, но и не считать царя государем. После разбития Разина, шайки их в Соловецком увеличились теми, которые спасались от казни.

Наконец и в других местах — повсеместно на Руси — оказывались следы волнения; и если б несчастие Стеньки Разина дало делу другого оборота, вероятно, эти следы не остались слабыми. Когда Долгорукий и подчиненные ему воеводы усмиряли мятеж в околоволжском краю, везде народ выжидал, что будет дальше и таил свое сочувствие к предводителю бунта. "Воры и мятежники (говорит современник) возмутили людей боярских и прельстили их сатанинскою прелестью ненависти к боярам: отец на сына, сын на отца, брат на брата, друг на друга выходили с оружием и бились до смерти; единоплеменники угождали ворам и были рады, когда слышали ложь, которую те распускали. Разнесется весть, что воры государевых ратных людей побили — и люди этому радовались; а скажут только, что ратные люди государевы воров побили — и станут люди унылы лицом и печалятся о погибели воров, ибо воры, обманывая людей, говорили им: мы идем бояр побить, а вам, добрым людям, дадим жить многие льготные годы, и все народ обманывали". В других местах отправленные Стенькою зажигатели обращали в пепел селения и потом возбуждали к мятежу лишенных крова и состояния; народ страдал от Стеньки, страдал и от воевод. Современник-иностранец говорит, что в продолжение этой ужасной зимы царские воеводы с ратными людьми, укрощая возмущение, без жалости сожигали села и деревни, умерщвляли без разбора людей, обращали в рабство, и таким образом погибло до ста тысяч народа, не считая казненных по суду.

XV.

Симбирская катастрофа навсегда погубила дело, предпринятое Стенькою. До тех пор ему служило счастье, все удавалось, и он оправдывал верование в свою сверхъестественную силу. После Симбирска в равной степени шли неудачи за неудачами;

обаяние рассеивалось. Он покинул возбужденную им чернь: ему заплатили теперь тем же. Когда он с своими козаками, спасаясь от поражения, пристал к Самаре, самарцы не впустили его в город; также и в Саратове, который так недавно сдался ему без боя. Стенька прибыл в Царицын и несколько времени оправлялся от ран, полученных под Симбирском: они, видно, были тяжелы, когда могли свалить такую натуру; но нравственное поражение было сильнее. Уже зимою Стенька с горстью своих верных донцов и царицынцев прибыл в Качалинский городок и принялся поправлять испорченное дело. Он написал в Астрахань, чтоб его сообщники готовились выступить снова, а между тем хотел поднять Дон; но в его отсутствие устроивали ему на Дону гибель.

Атаман Корнило Яковлев умел удержаться в опасное время всеобщего волнения и искусно увертывался между двумя противными сторонами. Не отведал он донского дна от мятежников, которые немилосердно истребляли все, что было против них, не попал под веревку во время всеобщей расправы. К сожалению, время не сохранило подробностей поведения этого замечательного лица, и невозможно вполне понять и изобразить этот недюжинный характер. Когда Стенька со своею шайкою оставил Дон, Корнило тайно отправил в Москву товарища утопленного Евдокимова, но не послал никакой отписки, а только велел словесно объявить обо всем. Он был окружен партиею Стеньки и должен был потакать ей. Вслед затем прибыло с Дона в Москву посольство. Это был атаман Иван Аверкиев с товарищами, числом двенадцать. Они уверяли в преданности козаков царю, но им не верили и сослали в Холмогоры. Как видно, сам Корнило показывал вид, что смотрит не совсем неодобрительно на мятеж: в царской грамоте, объявлявшей во всеобщее сведение о поступках донских козаков во время бунта Разина, сказано, что "Корнило Яковлев с товарищи, которые с ним (Стенькою) в том злом умысле были, отложа всякий страх, пришли на истину". Но в самом деле Корнило был глава партии домовитых и зажиточных, оставался всегда врагом Стеньки и даже тогда, когда удачи в Астрахани обещали грядущее торжество замыслам мятежников, старался расположить козаков на сторону престола и закона, но не успел и должен был покориться всеобщему направлению умов, надеясь дождаться благоприятного времени. В сентябре станичный есаул Артемий Михайлов привез царскую грамоту, где царь уговаривал козаков не приставать на сторону богоотступника Стеньки и пребывать в верности государю. Корнило, стоя в кругу, прослезился и сказал:

— Братцы-козаки! согрешили мы пред Богом: отступили мы от святой христианской веры и соборной апостольской Церкви.

Пора бы нам покаяться и отложить свою дурость, а служить государю верою и правдою, как наши отцы служили.

Заметив, что на некоторых эти слова действовали, Корнило в другой и в третий раз заговорил в том же смысле; приверженцы его, значные козаки, отвечали:

— Правда твоя, атаман; пошлем станицу к великому государю; принесем ему повинную!

Они, было, выбрали станичного атамана Родиона Калужнина, но сторонники Стеньки, которые назывались, верно в противоположность другим, волжские козаки, закричали:

— Зачем посылать в Москву станицу? Али захотел в воду?

Потом они напустились на есаула, который привез грамоту, за то, что прибыл из Валуйки с провожатыми оттуда.

— Для чего вы брали вожа и провожатых? Нешто сами дороги не знаете? Видим, видим, зачем вож и провожатые с Валуйки отпущены: чтоб у нас вести проповедывать!

Корнило должен был уступить, и станица не была послана.

Но когда Стенька прибыл на Дон, не побывав наверху у государя, в Москве, как обещал, не истребив бояр, как надеялись, но, разбитый боярами, покинув на кару соблазненный народ, тогда Корнило стал действовать против него решительнее и успешнее отвлекал от него сторонников. Весь Дон стал настроен против Стеньки. Напрасно Стенька рассылал по станицам свои воровские письма: беглецы из Московщины, которые прежде в таком множестве толпились на Дону и составляли главную силу мятежного полчища, уже прежде были им выведены с Дона, а настоящие козаки не хотели отважиться на дело, которое уже раз было проиграно и, по всем вероятиям, не могло удаться в другой раз. Участие донцов в поджоге мятежа в Московском государстве при новой неудаче могло навлечь ожесточение против козачества со стороны русского правительства и побудить его к решительным мерам. Донцы вспомнили, что они русские, хотя всегда признавали себя особым народом от великорусских крестьян. Стенькины воззвания возбуждали не только холодность, но и вражду. В неистовой досаде Стенька попавшихся ему в руки нескольких противников жег в печи вместо дров.

Зная, что главный враг его — Корнило Яковлев, а зерно его партии — в Черкаске, Стенька в феврале отправился к Черкаску. Сначала ласково, потом с угрозами он требовал впустить его в город. Ему отказали. Переговоры продолжались неделю. Черкаск был укреплен. Стенькины силы были недостаточны. В последний раз послал он сказать, что придет снова и тогда побьет и изведет всех, а вслед затем сам отошел для того, чтоб

набирать в верховых станицах товарищей и, может быть, двинуть своих сообщников из Астрахани.

Освободившись от посещения, Корнило Яковлев послал в Москву станицу, извещал о нападении Стеньки на Черкаск, о его варварских казнях над противниками, и просил прислать войска для защиты Черкаска и для истребления гнезда мятежников. Видно, Стенька тогда возбудил против себя большую вражду в Черкаске; донские козаки никогда не решались приглашать к себе московские войска: это было противно их постоянному желанию сохранить свою льготность и независимость от власти.

Царь, получив такое известие в первую неделю великого поста, пригласил к себе патриарха Иосифа с святителями и говорил:

— Ныне ведомо стало от донских козаков, которые пришли в Москву просить милости и отпущения вины своей, что, по многому долготерпению Божию, вор Стенька от злобы своей не престает и на святую Церковь воюет тайно и явно, и православных христиан тщится погубить пуще прежнего и творит такое, чего и бусурманы не чинят: православных людей жжет вместо дров; и мы, великий государь, ревнуя поревновах по Господе Бозе Вседержителе, имея усердное попечение о святой Его церкви, за помощью того Бога терпеть ему вору не изволяем; и вы б, отец и богомолец и великий господин, святейший Иосиф, патриарх московский и всея Руси, со священным собором совет свой предложили.

Патриарх отвечал:

— По данной нам от Бога благодати, не терпя святой Божией Церкви, в поругании и православных христиан в погублении, мы, смиренные пастыри словесного Христова стада и блюстители его закона, того вора Стеньку от стада Христова и от святой Церкви, как гнилой уд от тела, отсекаем и проклинаем!

Все святители повторили то же, и в тот же день, установленный церковью на поклонение святым иконам, на воспоминание прежде бывших благочестивых царей и князей и всех православных христиан, а еретикам и богоотступникам, и поругателям святой Божией церкви, и мучителям христиан на вечное проклятие, после литургии, священный собор возгласил *анафема* вору и богоотступнику, и обругателю святой церкви, Стеньке Разину, со всеми его единомышленниками.

Немедленно послали на Дон Корнилу Яковлеву приказание чинить промысел над Стенькою Разиным и доставить его в Москву на расправу, а белгородскому воеводе, князю Ромодановскому, велено отправить на Дон стольника Косогова с тысячью человек выборных рейтар и драгун.

XVI.

Выше сказано, что когда Стенька отправился под Симбирск, в Астрахани остался начальствовать атаманом Васька Ус, или Чертоус, и с ним двое старшин, Иван Терский и Федор Шелудяк. Васька Ус был главный атаман донских козаков, овладевших Астраханью, наместник батюшки Степана Тимофеевича, и представлял собою верховную власть, а последние были старшины над астраханцами, которые сверх этих старшин имели еще подначальных последним: есаулов, сотских, пятидесятских и десятских, как водилось на Дону, в козачестве. Терский пристал к мятежникам под начальством Васьки Кабана, присланного с шайкою из Астрахани.

Чрез несколько времени городовое начальство в Астрахани переменилось. Астраханцы, по сознанию Федьки Шелудяка, впоследствии поссорились с ним за ограбленные животы и хотели было его убить. Он убежал в Царицын. Иван Терский ушел на Дон. Старшинами были выбраны Иван Красулин, бывший стрелецким головою, и Обаимко Андреев.

Вскоре после отхода Стеньки, 3-го августа, произошло в Астрахани кровопролитие: покончили еще несколько уцелевших в первые дни резни и отмеченных народною ненавистью. В числе их был государев дворцовый промышленник Иван Турчанинов. Спасаясь от гибели, он спрятался в палатах митрополита. Мятежники искали его там и не нашли, и разъяренные на архипастыря за то, что скрывает осужденных злобою толпы, ворвались к нему с неистовством и кричали:

— Ты угождаешь боярам, а не нам; коли так, так и тебе не уцелеть, и людей твоих домовых всех перебьем.

Вдоволь набуянивши, они ушли, а приказные и домовые люди митрополита сошлись около своего владыки.

— Ныне ночью, — сказал он, — было мне видение; вижу: стоит палата вельми чудна и украшена: в той палате сидит предобрий боярин Иоанн Семенович и с ним сын его Борис Иванович и брат Михайло Семенович; и сидят они все трое вместе, и пьют питие, сладкое паче меда, а над главами их сияют златые венцы, украшенные камением многоценным. Велели они и мне сесть в той же палате, только не с ними вместе, а поодаль, а питья мне не дали; говорят промеж себя, он еще к нам не поспел.

Рассказав это, архипастырь вздохнул и произнес: "Еще не пришел час мой!" И долго он плакал, тряся головой. У него постоянно тряслась голова. Когда он был еще восьми лет и жил в Астрахани, месте своей родины, тогда Астрахань была в руках Марины и Заруцкого: козаки ударили восьмилетнего

мальчика по голове, и оттого тряслась у него голова до настоящего времени.

Время проходило. Стенька был разбит и бежал. Его сообщники, одни за другими, бросали непривычное оружие и расплачивались за свое увлечение виселицами, кнутами и присягами. Царские милостивые грамоты повсюду приглашали мятежников к повиновению и обнадеживали их прощением.

2-го ноября к митрополиту явился татарин Енмамет Мурза Енаев с табунными головами и с татарскими сотниками, и вручил царскую грамоту. Ее тайно привез уздень черкесского князя Каспулата Муцаловича, постоянно верного слуги России. 3-го ноября после заутрени, еще за два с половиною часа до света, митрополит призвал к себе своего сына боярского Петра Золотарева, прочитал ему грамоту и со слезами сказал:

— Велик и милостив государь, долготерпелив и ждет обращения изменников. Возьми эту грамоту и спиши с ней три списка; если воры отымут у меня подлинную грамоту, то останутся списки; один список положу в соборной церкви в алтаре, другой — в домовой церкви, а третий — у себя оставлю.

Петр Золотарев списал один список и стал с него списывать еще два, а митрополит позвал своего ключаря Федора Негодяева, показал ему грамоту и сказал:

— Спиши список с этой грамоты и ступай с ним к вознесенскому игумену Сильвестру, возьми его с собою и иди с ним к есаулу Андрею Лебедеву с товарищами его; уговаривайте его, чтоб он также свою братью воров уговаривал; а как настанет день, я прикажу заблаговестить и созову всех астраханских людей, чтоб уведали они милость государскую.

Ключарь отправился к вознесенскому игумену Сильвестру, взял его с собою, и оба пошли к есаулу. Между тем, рассветало и благовест в соборе оглашал народу что-то важное, необыкновенное. Но только немногие шли в церковь по этому зову: все тогда находились под страхом произвола атамана и старшин. Поняв, что благовест призывает не к обычному богослужению, одни вовсе не выходили из домов, другие же спешили не в церковь, а на атаманский двор принять от атамана приказ, как поступать в предстоящем случае; а двор атаманский в Астрахани тогда был местом народного собрания.

Есаул Лебедев вместо того, чтоб объявить своей братьи так, как наказывал митрополит, пришел также во двор и сказал козакам:

— Митрополит, по наущению бояр, с своими попами да с дворовыми людьми, да с детьми боярскими, складывает какие-то грамоты и хочет нас всех руками отдать боярам.

Васька Ус не пошел в церковь, а послал туда других.

По приказанию митрополита, ключарь облачился в священническую одежду и стал на амвоне. Митрополит стоял подле него и всенародно вручил ему грамоту.

Ключарь начал читать ее. Грамота была невелика: всего на одном столбце написана мелким письмом и отправлена из казанского дворца. В ней государь велел уговаривать мятежников, чтоб воры и клятвопреступники астраханские жители принесли вины свои Богу и великому государю, и добили ему челом, и чтоб также донские козаки принесли вины свои государю.

Прочитав грамоту, священник отдал ее в руки архипастыря, а митрополит стал было, сообразно грамоте, уговаривать мятежников, но они, с мрачным лицом выслушав грамоту, не дали митрополиту проповедовать и бросились на него с криком:

— Подай, подай сюда грамоту! — и вырвали ее у него из рук.

— Еретики! клятвопреступники! изменники! — загремел митрополит.

— Чернец ты этакой! — кричали мятежники: — знал бы ты свою келью! А тебе что за дело до нас?

— Знаешь ли ты раскат? — спрашивали другие.

— Посадить его в воду! — кричали третьи.

— Нет, в заточенье его! — говорили четвертые.

Они отправились с грамотою к атаману.

На другой день мятежники пришли на митрополичий двор и увели с собою ключаря. Ему связали назад руки, поставили в кругу и начали бить палкою, приговаривая:

— Говори, кто грамоту писал! Сознавайся, что вы, попы, с митрополитом да с домовыми детьми боярскими сами ее сложили.

— Нет, — говорил ключарь, — грамота прямая, государева грамота, из Москвы прислана.

— А есть у митрополита с этой грамоты списки?

Ключарь не вытерпел побоев и сознался, что митрополит оставил у себя три списка с этой грамоты.

— Побрать у него все списки, чтоб не смущал народа! — решили в круге, и на другой день послали к митрополиту есаула. Упорствовать было невозможно: есаул требовал списки нечестью, и митрополит отдал все.

Прошла зима. Восстание, произведенное Стенькою в украинных городах, улеглось. Астрахань продолжала управляться его сообщниками. Они не унывали. Федька Шелудяк помирился с астраханцами и из Царицына собирался отправляться по Волге вновь раздувать потухший огонь бунта. Исходил великий пост. В день великой пятницы, 21-го апреля, явился к митрополиту

астраханский стрелец Ганка Ларионов Шелудяк с татарами и сказал:

— Юртовские татары привезли из Москвы государеву грамоту и стоят за Волгою: не смеют они в город войти.

Митрополит очень обрадовался. Он знал, что рано или поздно законная власть возвратит себе Астрахань, но желал достичь этого путем мирным и счастливым для астраханцев. Он любил свою родину и хотел, чтоб земляки его не пострадали и избавились от убийств и разорений — неминуемых следствий насильственного взятия города. Он призвал к себе соборного священника Иоанна и сказал:

— Еще не истощилось милосердие великого государя. Иди, вместе с человеком, известившим нас о царской грамоте, к воровским астраханским старшинам Ивану Красулину и Обаиму Андрееву, и скажи им, что государь опять прислал милостивую грамоту; пусть они обратятся к истине и придут ко мне для совета.

Священник пошел, и чрез несколько времени воротившись снова к митрополиту, сказал:

— Старшины стоят на базаре; там много народа; я звал их, но они не пошли.

— Так я сам к ним пойду, — сказал митрополит,и, опираясь на свой пастырский посох, пошел пешком из кремля, через Пречистенские ворота, в Белый-Город, где собирался базар. Тогда была большая торговля на рынке, как обыкновенно бывает перед большими праздниками.

Увидя владыку, народ, естественно, столпился около него. Он говорил:

— Православные христиане! Мне учинилось ведомо, что есть к вам милость великого государя, его государева призывная грамота; татары привезли ее и стоят за Волгою, а я не смею принять от них государеву грамоту, потому что вы меня первою государевою грамотою поклепали, будто я сам с властями да с попами ее сложил и писал у себя дома. Поезжайте сами, возьмите и привезите мне. А великий государь многомилостив: вины вам отдаст.

Тут подошли старшины и закричали на народ:

— Не смейте без атамана!

— Мы не смеем без атамана... — с робостью повторили те, которые внутренно готовы были исполнить поручение митрополита.

Митрополит отправился назад, и при дверях собора встретили его атаман Васька Ус и есаул Топорок. Вероятно, услышав, в чем дело, они шли к нему. Между ними завязалась перебранка.

Дерзок был на речи и Васька Ус, но Топорок еще задорист Он так раздражил митрополита, что тот замахнулся на нег посохом и крикнул:

— Вор ты, враг окаянный, еретик беззаконный!

Козаки подняли шум и крик, наконец, обругав митрополита, ушли от него.

На другой день, в великую субботу, утром, явился к митрополиту есаул.

— Подай грамоту! — сказал он.

— У меня нет грамоты; она за Волгой у татар, — отвечал митрополит.

Другой раз пришли к нему и сказали:

— Если ты не отдашь грамот, так мы всех людей твоих побьем и самому тебе от нас достанется.

— Государевы грамоты, — отвечал архипастырь, — у татар за Волгой. Пошлите за ними сами, кого знаете, и возьмите.

Козаки составили круг и решили послать за грамотами. Ездил за ними Иван Овчинников и привез в двенадцать часов в соборную церковь. За ним приехал туда и Васька Ус с старшинами.

— Видите, — сказал митрополит, — я не составлял сам. При вас распечатаю.

Он распечатал грамоты при атаманах. Они глядели пристально. Потом митрополит приказал читать вслух.

Но атаман и старшины перебили его и сказали:

— Нам здесь нечего делать. На то есть у нас круг. Мы пойдем в круг.

И вышли из собора.

Митрополит взял с собою священников, детей боярских и дворовых людей и отправился за ними в круг, держа в руках две грамоты.

Он велел читать их соборному протопопу Иоанну. Сначала прочитана была грамота к астраханцам и отдана Ивану Красулину, как городовому старшине; потом прочитана другая, к митрополиту. Обе были слово в слово сходны.

По прочтении грамот голоса закричали:

— Вольно им писать — боярам самим! Коли б эта грамота была прямая государева, она была бы за красною печатью. А вося он, митрополит сам сложил ее с властями да с попами.

— Эх, тужит по нем раскат! — говорили другие.

— Да еще осталось до того раската! — подхватили третьи. — Не те дни теперь захватили, а то б он узнал у нас, как атаманы молодцы смуту чинят! вся беда и смута от него: он переписывается и с Тереком, и с Доном; по его письмам и Терек, и Дон от нас отложились!

Как ни зловещи были эти угрозы, но митрополит не испугался и, обратившись к астраханцам, говорил:

— Астраханские жители! велено по грамоте великого государя перехватать донских воров и посадить в тюрьму до указа великого государя, а вам принести свою вину великому государю. Он, государь, многомилостив, вины вам отдаст, а вы положитесь на меня; я стою за тем, что государь вас, окаянных, ничем не велит тронуть.

Козаки с бешенством подошли к нему и кричали:

— Как? воров донских? Кого нам хватать? Кого нам сажать в тюрьму? Мы все ведь воры. Возьмите-ка, — кричали они потом, — возьмите-ка самого митрополита, да посадите в каменную будку.

— Полно, полно! — останавливали другие толпу, — теперь пристигла святая неделя — не годится! Ох, мы б тебе дали память!

— Отдай мне грамоту! — сказал митрополиту Иван Красулин.

— Хоть бы пришлось мне здесь и помереть, не отдам! — сказал митрополит. — У тебя есть такая же государева грамота.

Уважение к святой неделе в народе помешало начальникам наложить в то время руки на митрополита.

Прошла Пасха. Как видно, нетерпеливо ожидали ее конца враги митрополита, чтоб приняться за него. В Фомино воскресенье, после обедни, составился круг. Атаман послал за ключарем. Он в тот день только что отслужил обедню.

— Кто складывал эти грамоты и кто писал их? Признавайся! — говорили козаки.

— Складывать их было невозможно, — сказал отец Федор, — вы сами знаете, что они не составные, когда сами же взяли у татар, которые сюда их привезли.

Он прибавил несколько укорительных выражений. Козаки заволновались, и атаман приказал козаку Чеусу повести священника за город и изрубить.

Приговор был исполнен.

Круг не расходился. Потребовали еще двух митрополитовых детей боярских: Семена Трофимова и Феодора Владыкина. Их взяли очень неуважительно, притащили в круг и начали допрашивать:

— Кто у вас с митрополитом складывает грамоты? кто с московскими боярами списывается?

Дети боярские стали было отрицать обвинения, но козаки закричали:

— На вас есть извет. Извещал нам в круге козак Оська Серебренников. Подайте сюда Оську!

Оську Серебренникова поставили в круг. Оська Серебренников закричал громким голосом:

— Вы с вашим митрополитом, у него в келье, составляете ложные воровские письма, а митрополичьи люди ведают про всякие письма, что митрополиту пишут, и откуда получают!

— Пытать их, жечь на огне! — кричали в круге.

— Нет, изрубим их! — говорили другие.

— В воду посадить! — шумели третьи.

— Да что из того будет, что их рубить и казнить? — отозвались четвертые. — Их казним, а у митрополита будут иные писцы; пора б нам приняться за самого митрополита. Убьем-ка его, так у нас, в городе, смуты не будет.

Детей боярских посадили под караул в воротных башнях, но чрез четыре дня отпустили.

Слыша между тем плохие для себя вести, козаки составили приговор, где обязывались упорствовать в своем деле. Иван Красулин с товарищами понес приговор митрополиту и требовал, чтоб он подписал его.

Митрополит отвечал:

— Я такого воровского приговора не подпишу, а одно скажу вам: отстаньте вы от своего богопротивного воровства, обратитесь к истине и принесите повинную великому государю!

Он начал поучать его, приводя доказательства из священного писания; но козаки отвечали невежливою бранью и ушли. Ненависть к митрополиту усилилась.

Федор Шелудяк был тогда с войском в Царицыне и узнал подробнее, что Дон решительно отложился от их партии; Терек тоже. Отовсюду приходили вести о падении их дела. Между тем, из Астрахани написали к нему о митрополите. Он послал в Астрахань козака, извещал козачий круг, что и сам слышал, как митрополит им вредит, и приглашал козачество разделаться с ним.

11 мая астраханцы получили это известие и собрали круг. Старшинами были тогда: Иван Красулин, Дмитрий Яранец, да Феофил Колокольников. Они послали трех человек: Степана Севрина, астраханского посадского, и двух есаулов, Кабанова и Бешлеева, звать митрополита.

Было время перед обедней. Совершалась проскомидия. Митрополит был в храме.

Вошедши в церковь, два есаула сказали митрополиту грубо:

— Иди в круг: тебя зовут.

К этому они прибавили несколько невежливых выражений.

Митрополит отвечал:

— Добро; пойду, только облачусь в святительскую одежду.

Он вошел в алтарь и стал облачаться, а посланные вышли из церкви и стали на паперти. Показалось им что-то долго.

— Что это? — сказал один из них, — митрополит уж не заперся ли с попами в алтаре?

— Пойдем-ка в круг, — сказал другой, — скажем, что нейдет, так и нечестью вытащат из церкви!

Но митрополит вдруг вышел в полном облачении, в митре, с крестом в руках. За ним шли: его крестовый священник Ефрем, священник его учуга Иосиф, по прозванию Оселка, соборные священники и протодьякон. Раздался благовест в большой колокол, сзывавший всех приходских священников. Некоторые из них пошли, но уже не были допущены в круг, не успев пристать к митрополиту; другие попрятались: они предвидели, что добром не кончится.

Митрополит отправился в козачий круг. Его с священниками поставили посреди, перед атаманом Ваською Усом, который стоял с знаками своего достоинства.

Митрополит обратился к нему и сказал:

— Зачем вы звали меня, воры и клятвопреступники?

Васька вместо ответа обратился к прибывшему от Шелудяка козаку Коченовскому:

— Что ты стал? Выступайся, с чем приехал от войска! Говори то перво!

Коченовский говорил митрополиту:

— Я прислан от войска с речами: ты, митрополит, переписываешься с Тереком и с Доном, и, по твоим письмам, Терек и Дон отложились от нас.

— Я с ними не переписывался, — отвечал митрополит, — а хотя бы и переписывался, так это ведь не с Литвою и не с Крымом; я и вам говорил, и теперь говорю, чтоб вы от воровства отстали и вины свои принесли великому государю.

Несколько голосов завопили:

— Что, он таит свое воровство, не переписывался будто? Какой правый человек! Что он пришел сюда, в круг с крестом? Мы ведь и сами христиане, а ты пришел будто к неверным.

— Снимайте с него одежду, братцы! — закричали злейшие его враги.

Но тут один козак, по имени Мирон, выступив из кругового ряда, заслонил собою митрополита и сказал:

— Что это вы, братцы? опомнитесь! на такой великий сан хотите руки возложить! Нам к такому великому сану и прикоснуться нельзя!

Стоявший близ него козак Алексей Грузинов не дал ему продолжать: заревев неистово, кинулся он на Мирона, схватил

за волосы и потащил за круг; за ним бросились другие козаки, начали колотить Мирона и убили его, а потом опять сомкнулись в круг, около митрополита.

Замечание убитого Мирона пробудило в козаках уважение к святительскому облачению. Они рассудили, что мучить и терзать митрополита можно, но прикоснуться к его саккосу — точно грех.

— Вы! — кричали они на священников, — снимайте с митрополита сан. Снимай ты! — крикнули они на отца Ефрема и толкали его.

Ефрем не решался тронуть митрополита, тем более, что разоблачать была, и по церковному чину, не его обязанность.

— Берись ты! — кричали козаки на отца Иосифа.

Иосиф приблизился: митрополит сам снял с головы митру, а с груди панагию и отдал ему; но Иосиф не знал, что ему делать; руки его дрожали...

— Возьми крест! — сказал митрополит отцу Ефрему. — Приходит час мой! Прискорбна была душа моя даже до смерти днесь! Протодьякон Федор! снимай сан мой, разоблачай!

Протодьякон сперва не решался, предвидя, для чего хотят его разоблачать. Митрополит сказал:

— Что ты стал? что не разоблачаешь? Уже пришел час мой!

Протодьякон снял омофор и отдал священнику.

— Продолжай! — сказал митрополит, и протодьякон снял с него саккос. Митрополит остался в черной бархатной ряске (подряснике) с открытой головою: его камилавка оставалась в соборе, Отец Иосиф накрыл ему голлову своею камилавкою.

— Теперь ступайте себе прочь; до вас нам нет дела! — сказали козаки священникам.

Повели митрополита на зеленый двор (где хранится порох). Шло с ним человек двадцать, а между ними палач князя Семена Львова, Ларка, которому прежде назначалось казнить мятежников, а на самом деле пришлось казнить господ. Сняли с митрополита ряску, сняли потом другую и оставили его в одной черной суконной свитке, которую он носил вместо рубахи; потом палач связал митрополиту руки и ноги, продел между рук и ног бревно и положил на огонь. Беглый солдат Семен Сука наступил ему на брюхо ногою и говорил:

— Скажи теперь, митрополит, с кем ты переписывался?

Митрополит, вместо ответа, лежа на огне и стараясь заглушить страдания, громко читал молитву, прерывая ее проклятиями своим палачам.

Его повернули вверх спиною. Солдат начал мять ему ноги. Потом допрашивали его об имуществе.

— Говори, чьи у тебя животы?

— У меня ничьих животов нет, — отвечал страдалец.

— А сколько у тебя казны?

— Всего полтораста рублей.

Обоженного, изувеченного старика сняли с огня, одели в рясу, повели на казнь. От страшной боли он едва мог двигаться и пошел, хромая, потому что солдат измял ему ногу. Алешка Грузинов поддерживал его.

— На раскат, на раскат! — кричали козаки!

Митрополита вели через то место, где только что перед этим был круг. Тело Мирона лежало неприбранное. Архипастырь наклонился к нему, осенил крестным знамением. Поровнялись с собором. Митрополит помолился, прося у Бога твердости испить последнюю чашу. Наконец, Грузинов и его товарищи взвели его на высоту раската и посадили на краю, свесив ноги к востоку, прямо против собора. Алешка стал его толкать.

Тогда митрополит, в том судорожном отчаянии, какое овладевает человеком при виде неизбежной смерти, ухватился за своего палача и чуть было не сволок его с собою. Подскочили другие, вытащили его снова на террасу и положили на бок. Он вцепился руками и ногами за край раската, убийцы ногами уперлись во всю длину его тела и столкнули его.

"И упал он, великий святитель (говорит современное известие), на восток перед раскатными дверьми, к собору правою щекою, и тое щеку сшиб до крови, да из носа вышло руды с половину горсти".

Минут двадцать убийцы стояли на раскате, повеся головы, и ничего не находились сказать один другому: им стало как будто страшно своего дела. А внизу так же молчаливо стоял Васька Ус с своими товарищами.

Священники в соборе услыхали, что делается. Соборный священник отец Кирилл, совершал литургию и первый выбежал из церкви; за ним бежал священник церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, отец Козьма. Святитель еще трепетался, испуская последнее дыхание. Отец Кирилл припал ему к груди, а Козьма к ногам: они рыдали и просили последнего прощения. Но митрополит был безответен.

Атаман, увидев такую сцену, закричал:

— Прочь! гоните их!

Есаул Воронок кинулся с толпою козаков и начал гнать священников от тела. Они убежали в собор, получив несколько ударов. Тело лежало на месте около часа. Между тем, козаки услышали в соборе шум, и пятнадцать человек ворвались в церковь.

— Что вы тут стучите? — кричали они.

— Никто тут не стучит, — говорили священники.

— Вон отсюда! — закричали козаки и выгнали их из храма.

Наконец, Васька приказал прибрать тело, а сам с козаками отправился судить князя Семена Львова. Товарищ Прозоровского, неизвестно по какому поводу, до сих пор оставался жив и находился в неволе. Теперь его привели в круг, потом отвели на пытку, и наконец, палач Ларка отрубил ему голову.

Тело митрополита Иосифа было внесено священниками на ковре в собор. Священники смотрели на него с ужасом: спина и брюхо были покрыты черными пятнами и пузырями от огня; борода и волосы опалены; голова разбита. Его облачили в архиерейские одежды и положили, посредине храма, в уготованном (вероятно, им самим для себя) гробе. На другой день раздался протяжный благовест, как обычно звонили на преставление святителей; все священники сошлись из приходских церквей; о народе не говорит современное известие: вероятно, от страха никто не осмелился отдать последний долг архиерею. Совершили погребение и понесли тело в гробницу под приделом св. Афанасия и Кирилла. Но как только поставили архипастыря в последнем приюте, в церковь вошла толпа козаков, побрякивая саблями, и закричала:

— Попы! идите в наш круг! все идите сейчас!

Приходские священники повиновались. Там подьячий держал написанную бумагу.

Стоя в круге, Васька сказал козацкому подьячему:

— Читай.

Подьячий читал:

"Лета такого-то, мы, атаманы, и все козаки донские, астраханские, терекские и гребенские, и пушкари, и затинщики, и астраханские посадские люди, и гостиные торговые люди, написали меж собою приговор, что жить нам здесь в Астрахани в любви и совете, и никого в Астрахани не побивать, и стоять друг за друга единодушно и идти вверх, и побивать, и выводить изменников-бояр..."

— Довольно! — перервал его Васька, — прикладывайте руки, попы, и за себя, и за своих духовных детей!

Священники показали было вид несогласия, но Васька закричал:

— Прикладывайте, а не то мы вас всех до смерти перебьем!

Они подписывали, хотя многие из них и не дослышали, в чем дело. Еще недоставало соборных священников. Васька послал за ними; они сошлись, и протопоп Иоанн, прочитав приговор, подписал за всю свою братью. Потом приневолили к подписке и дьяконов. В заключение всего, козаки торжественно отнесли этот приговор в Троицкий монастырь. Васька Ус отдал его ке-

ларю Аврааму. Келарь сохранял его в ризнице, опасаясь, чтоб братия не похитила его. Несколько дней после того Васька заставлял подписывать этот приговор монахов, которые не попали в круг в день составления приговора.

Девять дней тело митрополита лежало в открытой гробнице; на десятый устлали гробницу камнями и закрыли досками. Никто не мог явно вздохнуть о нем, страшась грозного Васьки. Но недолго он был грозен; чрез несколько времени он умер от ужасной болезни: говорили, что его съели черви.

XVII.

В апреле козаки поплыли из Черкаска к Кагальницкому городку; 14 апреля сожгли его до основания и, по войсковому суду, перевешали всех до единого сообщников Стеньки, исключая самого атамана и брата его Фролки. Вероятно, в числе умерщвленных были и их семейства, которые тогда находились в Кагальнике. Неизвестны подробности взятия Стеньки. В государевых грамотах говорится о нем розно; в одной — что Кагальник взят приступом; в другой, что Стенька был связан ужем железным от донских козаков, *которые обратились от злоб своих.* Современные иностранцы и малороссийская летопись говорят, что Стенька взят был обманом. Корнило Яковлев был его крестный отец, и Стенька имел к нему уважение: это объясняет несколько, почему Стенька щадил этого старика во время своей силы, когда, как кажется, мог его низвергнуть. Корнило подступил к Кагальнику и вступил с ним в переговоры.

— Ты в опасности, — говорил он, — тебя или убьют, или выдадут. Дело твое пропало. Ты уже не в силах противостать могуществу царя. Принеси-ка лучше повинную и проси помилования. Я получил от великого государя грамоту о том, что он прощает тебя и желает тебя видеть в Москве. Поедем вместе; там ты расскажешь, какие обиды тебя искусили на воровство.

Стенька мало верил таким убеждениям, но повиновался из отчаяния, потому что дело его было окончательно проиграно, а жизнью он не дорожил. Корнило сначала оставил его на свободе, но потом заковал в кандалы вместе с братом. Стенька, говорит современник, не надеялся подобного поступка от лица, ему столь близкого; но тот, кто был вероломным против своего законного государя, не заслуживал ничего лучшего.

Стенька и Фролка были привезены в Черкаск. Предание говорит, что козаки очень боялись, чтоб Стенька не ушел из неволи: на то он был чернокнижник, никакая тюрьма не удержала бы его, никакое железо не устояло бы против его ведовства.

Поэтому его сковали освященною цепью и содержали в церковном притворе, надеясь, что только сила святыни уничтожит его волшебство*. В конце апреля обоих удалых братьев повезли в Москву. Сам Корнило Яковлев провожал их с другим значным козаком, Михайлом Самарениным и с конвоем. В их обозе отправляли трех драгоценных персидских аргамаков, которых везли некогда на бусе, ограбленной Стенькою во время его возвращения из персидского похода. Вместе с ними козаки возвращали царю три золотые ковра, взятые на той же бусе и принадлежавшие, поэтому, царской казне.

Фролка был от природы тихого нрава и затосковал.

— Вот, брат, это ты виною нашим бедам, — говорил он с огорчением.

Стенька отвечал:

— Никакой беды нет. Нас примут почестно: самые большие господа выйдут на встречу посмотреть на нас.

4-го июня распространилась в Москве весть, что козаки везут Стеньку. Толпы народа посыпали за город смотреть на чудовище, которого имя столько времени не сходило с уст всего русского люда. За несколько верст от столицы поезд остановился. Стенька был еще одет в свое богатое платье; с него сняли его и одели в лохмотья. Из Москвы привезли большую телегу с виселицею. Тогда Стеньку поставили на телегу и привязали цепью за шею к перекладине виселицы, а руки и ноги прикрепили цепями к телеге. За телегою должен был бежать, как собака, Фролка, привязанный цепью за шею к окраине телеги.

В такой триумфальной колеснице въехал атаман воровских козаков в столицу московского государя, у которого он грозил сжечь дела. Он следовал с хладнокровным видом, опустив глаза, как бы стараясь, чтоб никто не прочитал, что у него было на душе. Одни смотрели на него с ненавистью, другие — с состраданием. Без сомнения, были еще такие, что желали бы иного въезда этому человеку, бывшему столько времени идолом черни.

Их привезли прямо в земский Приказ, и тотчас начали допрос. Стенька молчал.

Его повели к пытке. Первая пытка была кнут — толстая ременная полоса в палец толщиною и в пять локтей длиною. Преступнику связывали назад руки и поднимали вверх, потом связывали ремнем ноги; палач садился на ремень и вытягивал тело так, что руки выходили из суставов и становились вровень с головою, а другой палач бил по спине кнутом. Тело вздувалось,

---

* Рассказывают, будто в Черкаске до сих пор сохраняется эта освященная цепь в кладовой при соборе.

лопалось, открывались язвы, как от ножа. Уже Стенька получил таких ударов около сотни, и уж, конечно, палач не оказывал сострадания к такому подсудному. Но Стенька не испустил стона. Все стоявшие около него дивились.

Тогда ему связали руки и ноги, продели сквозь них бревно и положили на горящие уголья. Стенька молчал.

Тогда по избитому, обожженному телу начали водить раскаленным железом. Стенька молчал.

Ему дали роздых. Принялись за Фролку. Более слабый, он начал испускать крики и вопли от боли.

— Экая ты баба! — сказал Стенька. — Вспомни наше прежнее житье; долго мы прожили со славою; повелевали тысячами людей: надобно ж теперь бодро переносить и несчастие. Что, это разве больно? Словно баба уколола!

Стеньку принялись пытать еще одним родом мучений. Ему обрили макушку и оставили виски. Вот как! — сказал Стенька брату: — слыхали мы, что в попы ученых людей ставят, а мы, брат, с тобой простаки, а и нас постригли.

Ему начали лить на макушку по капле холодной воды. Это было мучение, против которого никто не мог устоять; самые твердые натуры теряли присутствие духа. Стенька вытерпел и эту муку, и не произнес ни одного стона.

Все тело его представляло безобразную багровую массу волдырей. С досады, что его ничто не донимает, начали Стеньку колотить со всего размаху по ногам. Молчал Стенька.

Перенесши все страдания, не высказав ни одного слова, Стенька не мог быть обвинен собственным сознанием (говорит современник); только очевидное и гласное преступление не затруднило приговорить его к смерти.

Предание говорит, что, сидя в темнице и дожидаясь последних смертных мучений, Стенька сложил песню и теперь повсюду известную, где он как бы в знамение своей славы, завещает похоронить себя на распутии трех дорог Земли русской.

Схороните меня, братцы, между трех дорог:
Меж московской, астраханской, славной киевской;
В головах моих поставьте животворный крест,
В ногах мне положите саблю вострую.
Кто пройдет или проедет — остановится,
Моему ли животворному кресту помолится,
Моей сабли, моей острой испужается:
Что лежит тут вор удалый добрый молодец,
Стенька Разин, Тимофеев по прозванию!

6 июня его вывели на лобное место вместе с братом. Множество народа стеклось на кровавое зрелище. Прочитали длинный

приговор, где изложены были все преступления обвиненных. Стенька слушал спокойно, с гордым видом. По окончании чтения палач взял его под руки. Стенька обратился к церкви Покрова Пресвятые Богородицы (Василия Блаженного), перекрестился, потом поклонился на все четыре стороны и сказал: "простите!"

Его положили между двух досок. Палач отрубил ему сначала правую руку по локоть, потом левую ногу по колено, Стенька при этих страданиях не издал ни одного стона, не показал знака, что чувствует боль. Он (говорит современник) как будто хотел показать народу, что мстит гордым молчанием за свои муки, за которые не в силах уже отмстить оружием. Ужасное зрелище истязаний над братом окончательно лишило последнего мужества Фролку, видевшего то, что ожидало его самого через несколько минут.

— Я знаю слово государево! — закричал он.

— Молчи, собака! — сказал ему Стенька.

То были последние его слова. Палач отрубил ему голову. Его туловище рассекли на части и воткнули на колья, как и голову, а внутренности бросили собакам на съедение.

Для Фролки казнь была отсрочена. Его подвергли снова допросу. Он сказал:

— От большой пытки я не пришел в память и не высказал всего, а теперь опамятовался и скажу все, что у меня в памяти. Были у моего брата воровские письма, присланные откуда ни на есть, и эти всякие бумаги он зарыл в землю для того, что как в доме у него никого не было, то он собрал их в денежный кувшин, засмолил и зарыл в землю на острове, на реке Дону, на урочище Прорве, под вербою, а эта верба посередине крива, а около ней густые вербы; а около острова будет версты две или три. Да еще за два дня до прихода Корнилы Яковлева Степан, брат, посылал меня в Царицын взять его рухлядь у посадского человека Дружинки Потапова; говорил он, что у него есть костяной город, образцом сделан будто Цареград... Подлинно не знаю, у кого взял он его: у князя ли Семена, либо у Кизил-баша, только Стенька велел взять этот город, да сундук с платьем.

Впоследствии, в сентябре того же года, козацкий атаман с выборными козаками ездили искать этих писем на острове, пробовали землю щупами и ничего не нашли. Современные иностранцы говорят, что Фрол получил жизнь и осужден на вечное тюремное заточение.

Как бывало мне, ясну соколу, да времечко:
Я летал млад-ясен сокол по поднебесью,
Я бил-побивал гусей-лебедей,
Еще бил-побивал мелку пташечку.

Как, бывало, мелкой пташечке пролету нет.
А нонеча мне, ясну-соколу, время нет.
Сижу я, млад-ясен сокол, во поимане,
Я во той ли во золотой во клеточке,
Во клеточке на жестяной на шесточке.
У сокола ножки спутаны,
На ноженьках путочки шелковые,
Занавесочки на глазыньках жемчужные!
Как бывало мне, добру-молодцу, да времечко:
Я ходил, гулял, добрый молодец, по синю морю,
Уж я бил-разбивал суда-корабли,
Я татарские, персидские, армянские,
Еще бил-разбивал легки лодочки:
Как бывало легким лодочкам проходу нет;
А нонеча мне, добру-молодцу, время нет!
Сижу я, добрый молодец, во поимане,
Я во той ли во злодейке земляной тюрьме.
У добра-молодца ноженьки сокованы,
На ноженьках оковушки немецкия,
На рученьках у молодца замки затюремные,
А на шеюшке у молодца рогатки железныя.

Корнило Яковлев и Михайло Самаренин возвратились на Дон, вместе с стольником Косаговым, который вез козакам милостивую грамоту, хлебные и пушечные запасы и денежное жалованье. Очень обрадовались козаки хлебным запасам, потому что у них был тогда неурожай, а недавние смуты вовсе не благоприятствовали успехам земледелия. Козачество встретило послов за пять верст от Черкаска. Войсковым атаманом был тогда Логин Семенов. Когда, по обычаю, был собран круг, Косагов сообщил, что атаманы Корнило Яковлев и Михайло Самаренин в Москве дали за все козачество обещание принести присягу на верность государю. Только домовитые и значные козаки согласились без отговорок; люди молодые и незнатные, большею частью прежние приверженники Стеньки, приняли такое требование неохотно.

— Мы (они говорили) рады служить великому государю и без крестного целования, а креста целовать нечего.

Молодцы еще считали себя не подданными, а вольными людьми, служащими царю не по обязанности, а по охоте. Но партия старейших взяла верх. Три круга собирались один за другим. На третьем круге старшие проговорили:

— Даем великому государю обещание учинить пред святым евангелием, целым войском, а кто из нас на обещание не пойдет, того казнить смертью по воинскому праву нашему, и пограбить его животы; а пока не принесут все обещания, положим крепкий заказ во всех куренях не продавать ни вина, ни другого питья, и кто к обещанию пойдет пьян, такому человеку, как и продавцу вина, учиним жестокое наказание.

29 августа черный священник Боголеп привел к присяге ата-

манов и прочих козаков по чиновной книге, перед стольником и дьяком.

— Теперь, — сказал после того стольник, — атаманы и козаки! сослужите великому государю верную службу: идите со всем войском под Астрахань против оставшихся там единомышленников Стеньки.

— Радостными сердцами пойдем под Астрахань и будем служить великому государю! — отвечали козаки.

А между тем остатки приверженцев казненного Стеньки, спасшиеся от бойни их братья в Кагальнике, под знаменем Алешки Каторжного, в отчаянии бежали в Астрахань, грустно запевая:

Помутился славный-тихий
Дон от Черкаска до Черного моря!
Помешался весь козачий круг!
Атамана боле нет у нас,
Нет Степана Тимофеевича,
По прозванию Стеньки Разина!
Поимали добра-молодца,
Завязали руки белыя,
Повезли во каменну Москву,
И на славной Красной-площади
Отрубили буйну голову!

XVIII.

Но не пришлось донцам служить под Астраханью, как обещали. Они отговаривались тем, что крымский хан с стотысячною ордою, вероятно, по сношениям с астраханскими мятежниками, готовится идти к Азову, и Дон требует обороны. Дело обошлось и без их помощи.

Федька Шелудяк отправился с астраханцами и царицынцами вверх по Волге, захватил в свою ватагу саратовцев; потом пристали к нему самарцы с Ивашком Константиновым. Это полчище в июне достигло Симбирска. Там начальствовал Петр Васильевич Шереметев. Мятежники стали под городом и послали челобитную, как будто бы просить прощения, но написали ее в таком тоне, как люди, не лишенные надежды оправдаться. Они написали, что вооружались против царских изменников — бояр, и называли изменниками по имени князя Юрия Долгорукого и боярина Хитрово, царского оружейничего. Им отвечали, и за это Шереметев впоследствии получил выговор от царя. Впрочем, ответ его был, конечно, неудовлетворителен для Шелудяка; тогда вслед затем козаки начали приступ.

На этом приступе они были отбиты. Повторили они его в другой раз и также были разбиты. Наконец, около 23 июня Шереметев сделал на них сильную вылазку и так поразил, что

они потеряли пушки, ружья, запасы и бежали без оглядки к Самаре, оставив в руках победителя пленных, которые потом были казнены.

Из Самары все полчище разбежалось; Федька Шелудяк убежал с астраханцами в Астрахань; саратовцы и царицынцы разошлись по домам; самарцы остались в своем городе, а с ними было несколько из других городов, всего в Самаре набралось их две тысячи. Они послали от себя Лукьяна Сергеева просить пощады.

Как только в Москве получили известие о победе Шереметева, был отправлен на судах с московскими стрельцами и тамбовскими солдатами боярин Иван Богданович Милославский. Царь дал ему право, в случае надобности, уверить мятежников царским прощением. Чтоб придать этому походу значение того государского милосердия, *которое великия и страшныя вины отпускает не иного чего ради*, по словам сказания о Стеньке Разине, *токмо ища погибших душ к покаянию и обращению*, боярин получил икону Пресвятыя Богородицы, называемую "живоносный источник в чудесах".

Это ополчение достигло Астрахани в последних числах августа. Верные своему приговору, надеясь притом, как видно, на содействие крымского хана, мятежники решились не поддаваться, и, услышав, что боярин приближается, поплыли против него на стругах, чтоб не дать ему достигнуть до города. Милославский пристал у Болдинского устья, выше города, и приказал укрепляться, а между тем послал в Астрахань предложение сдаться и принести повинную. Упорствовали удалые. Предводитель новой шайки, приставшей к ним из донских остатков стенькиной, Алешка Каторжный, перешел на Нагорную сторону, чтоб пересекать сообщение Милославского с верховым краем по Волге, и схватил гонца с царскою грамотою, а вслед затем астраханцы сделали нападение на боярский стан на Болдинском устье. Тогда Милославский, 12-го сентября, приказал на Нагорной стороне, на речке Соленой, сделать земляной городок. Не успели ратные люди окончить своей работы, как Федька Шелудяк и Каторжный напали на царское войско. Они были отбиты, и, убегая обратно, многие попадали в Волгу, другие попались в плен и не были казнены, как прежде делалось.

С тех пор боярин стоял под Астраханью три месяца, стараясь действовать более убеждением, чем оружием. Федька и его главные сообщники решились защищаться до весны; но положение Астрахани делалось со дня на день печальнее: там был недостаток съестных запасов и люди стали голодать. Многие являлись к Милославскому с повинною. Боярин не только не

казнил их, но ласкал, кормил и поил. Эти примеры ободряли и других к таким же поступкам. Между тем, явился черкесский князь Каспулат Муцалович, осадил Астрахань с другой стороны, и таким образом положение ее стало безвыходно. Рвение к мятежу угасало. Уже партия Федьки значительно умалилась. В досаде, козаки, неистово не хотевшие сдаваться, всем на страх, хотели перебить вдов и детей тех, которые были прежде умерщвлены при Стеньке и Ваське Усе; но это намерение почему-то не исполнилось: Милославский послал в Астрахань еще новое предложение и уверял, что всем будет пощада, и великий государь по милости своей отпустит им вины.

24-го ноября Федька, видя, что в Астрахани нет более единомыслия, взял из ризницы Троицкого монастыря приговор, составленный на другой день смерти митрополита Иосифа, и изорвал его. Вероятно, желая обделать сдачу города, как можно выгоднее, он вступил в сношение с князем Каспулатом Муцаловичем, но тот, выманив его на переговоры, задержал.

Астраханцы, лишенные самого упорного мятежника, послали к Милославскому сказать, что они сдаются. Это было 26-го ноября: Милославский приказал делать мост на реке Кутуме для торжественного входа государева войска.

На другой день, 27-го ноября, мост был готов. Все ратные люди пошли пешие, а Милославский впереди нес в руках икону; все были без шапок и в лучших платьях; священники пели молебствие, а на встречу боярину выходили с иконами также священники, а за ними все астраханцы большие и малые. Когда обе процессии встретились, астраханцы упали на землю и завопили:

"Истинно достойны мы смертнаго посечения; но как Бог милосердый грешников прощает, так и мы просим великаго государя наши вины отдать!"

Боярин отвечал:

— По милости великаго государя, вам всем — всяких чинов людям, кто был в воровстве, вины всем отданы, и вы государскою милостью уволены.

При радостных восклицаниях народа, при веселом звоне колоколов, боярин вошел в соборную церковь, поставил там свою икону и, призвав иконописца, сказал:

— Спиши с этой иконы новую, да поставится она в сем храме в память предыдущим родам!

Потом он принял печать царства Астраханского, Приказную избу, осмотрел все укрепления, поставил караулы на башнях, водворил стрельцов, и таким образом возвратил Астрахань власти царя.

Никто не был казнен; никто не был задержан; не было ника-

кого разбирательства. Самые важные преступники остались без преследования. Сам Федька Шелудяк жил на свободе и потом находился во дворе боярина. Не обошлась, однако, им даром такая льготность. Они, по обычаю времени, должны были передать свои награбленные богатства в руки боярина и воеводы и чиновных людей, голов, подьячих, дворян и проч. Таким образом, Ивашка Красулин подарил боярину шубу и саблю, которая на дуване досталась ему после князя Семена Львова; Феофилка Колокольников дал ему перстень с камнем да горлантную лисью шапку, да сверх того все свое имущество должен был отдать в Приказную избу. Митька Яранец дал ему панцырь, а его подьячих обделил материями. Есаул Ларин дал ему турецкую пищаль. Убийца митрополита, Алешка Грузинов, когда сами астраханские жители обвиняли его в этом убийстве, отделался тем, что роздал кафтаны да шапки приказным людям и получил отпуск из Астрахани. Монахи искупляли свое сношение с мятежниками тысячами рыб, приносимых боярину. Многие отдавались в холопы воеводе, дьякам, подьячим и стрелецким головам. Они как будто желали теперь загладить свою прежнюю вольницу добровольным порабощением. К этому понуждал их большой недостаток съестного и бедность, одолевавшая их после того, как они все, что награбили, прежде пропивали, а потом отдавали начальным людям; да к тому же многие между ними были беглые люди и хотели избавиться возврата к прежним господам.

Правительство сначала не было, по-видимому, недовольно милосердием Милославского: по крайней мере, по его отзыву, впоследствии оно в своих грамотах дозволяло отпускать покаявшихся мятежников. Но летом 1671 года прислан в Астрахань князь Яков Одоевский для суда и расправы. Начались допросы, пытки, казни. Федька Шелудяк был взят из двора Милославского. Вслед затем взято из того же двора тридцать два человека беглых боярских людей, участников мятежа и вступивших в услужение к боярину.

Милославский был этим недоволен, и на запросы Одоевского прямо указывал на царские грамоты, в которых прощались астраханским мятежникам все их вины. Но ему в новые дела вступаться не велено.

Отыскивали и препровождали в Астрахань тех, которые, с дозволения Милославского, находились в других городах. Таким образом, из Саратова были привезены: убийца митрополита Иосифа, Алешка Грузинов, бывший в Астрахани тысячником Ивашка Грехов, теперь мирно промышлявший наемною работою на рыбных ловлях, и беглый человек князя Львова, Пашка По-

ляк. Главные преступники, как, например: Федька Шелудяк, Алешка Грузинов, Феофилка Колокольников, Красулин и другие были повешены. Один, по имени Корнилко Семенов, сожжен живой за то, что у него нашли тетрадку заговорного письма. Другие были отправлены на службу в верховые города с боярином Милославским, который, однако, не подвергся ничему за свои взятки.

Новый астраханский митрополит Парфений приказал вынуть гроб своего предшественника и поставить посреди церкви. Так стоял он три дня, и астраханские жители приходили просить у покойника прощения, а потом, в знак уважения к его мученической кончине, погребли его в главной соборной церкви, в углу, за святительским местом. Набожные люди видели в нем праведного страдальца. Носились вести о знамениях, которыми небо свидетельствовало о его праведности. 16-го августа 1671 года в астраханской Приказной палате отбирали показания о таких знамениях. Двое пушкарей объявили, что через неделю после смерти митрополита они стояли на карауле близ зелейного двора и увидали ночью свечу на том самом месте, где архипастырь был сброшен с раската. Это видение повторялось три ночи сряду и продолжалось каждый раз три часа. Другой, отставной стрелец Иван Глухой, говорил:

— Когда воровские козаки и астраханские жители столкнули с раската митрополита Иосифа, я скорбел ногою, грыжною болезнью. В первую ночь после этого дня, во втором часу ночи, как есть, кто-то меня за больную ногу дернул: я в то время встал и стал ужастен, и ненароком поглядел от себя из чердака в красное окошко к соборной церкви от урочища улицы гостиного двора, и тогда на раскате, у соборной церкви, увидел я: три свечи горят; от середней свечи, как будто искры и пламя великое, а над нею, будто, кубец; не в обычай было мне то чудо; размышлял я всяко, и в ту ночь девять раз вставал смотрел, а те свечи горели неугасимо. Про такое чудо я никому не поведал, ни домашним, а только поутру, как встал, скорбною ногою здоров стал. С того числа, с мая 11-го по 6-е августа, с вечера до утра, как только встану и погляжу, горели свечи неугасимо. Седьмого августа я извещал об этом протопопа да старца митрополичьего чашника; а протопоп мне сказал, что многие люди видят свечи на том месте, где митрополит упал на землю. С этого времени я больше ничего не видал и с той поры обрекался поставить образ Успения Пресвятой Богородицы на том месте, где митрополит погребен.

Митрополит Иосиф не был причислен к лику святых; но до сих пор в Астрахани набожные люди поклоняются его могиле.

XIX.

Уже истекает два столетия с тех пор, как прокатилась по Руси эта страшная гроза, и народная память сохранила ее в бледных, фантастических образах. Имя Стеньки Разина известно и старому и малому в том краю, где совершились его похождения. Берега Волги усеяны урочищами с его именем. В одном месте набережный шихан (холм) называется "Стол Стеньки Разина", потому что он там обедал с своими товарищами; в другом такой же холм называется "Шапкой Стеньки Разина", потому что, будто бы, он оставил на нем свою шапку; в третьем — ущелье, поросшее лесом, называется "Тюрьмою Стеньки Разина"; там, говорят, он запирал в подземельях взятых в плен господ. На севере и на юге от городов Камышина и Царицына, по нагорному берегу Волги — ряд бугров, которые называются "буграми Стеньки Разина", в память того, будто бы он там закладывал свой стан. Все эти бугры схожи между собою тем, что отделяются от материка ущельями, которые в весеннее время наполняются полою водою; все эти бугры — экземпляры одного идеального бугра, существующего в народном воображении. В одном селе указывают на бугор и говорят: "вот бугор Стеньки Разина; тут был его стан"; а в другом селе говорят: "неправда, не там этот бугор, а вот он!" Старые люди рассказывали, что давно видны были тут окопы, и погреба, и железные двери. В погребах Стенька спрятал свое богатство, и теперь там лежит, да взять нельзя, заклято! Стенька Разин на своей кошме-самолетке-самоплавке перелетал с Дона на Волгу, а с Волги на Дон. На Дону было у него место — называется камень, а на Волге был у него бугор. Пограбив суда на Дону — полетит на Волгу. Не было спуска ни царским судам, ни купеческим, ни большим, ни мелким: со всех судов Стенька брал подать; а кто вздумает обороняться, тех топил, а господ больших ловил, да в тюрьму сажал. Вот и шлет к нему сам царь: "Зачем, говорит, ты царских судов не пропускаешь?" А Стенька говорит: "Я, мол, ваше царское величество, не знаю, какие есть суда царские, какие не царские". Царь приказал на всех царских судах ставить гербы. Стенька, поэтому, не трогал их и пропускал, и дани не брал. Царь за это прислал к нему в подарок шапку. Только тогда купцы сговорились, да и на свои суда стали ставить гербы, а Стенька, как это узнал, и говорит: "нельзя разобрать, какие суда есть царские, какие не царские!" — и опять со всех судов стал брать дань. Много лет, таким образом, летал с Дона на Волгу, с Волги на Дон; а взять его никаким войском нельзя было, для того что он был чернокнижник. Потом собрал он шайку и поплыл в Персию и воевал он там два года,

и набрал так много богатства, что и счесть и сметить невозможно, а как ворочался, в Астрахани воеводы не хотели пропустить его. Стенька говорит: "Пропустите меня, воеводы; я вам ничего дурного не сделаю!" Воеводы-таки не пропустили, а велели палить на него из ружей и из пушек; только Стенька как был чернокнижником, так его нельзя было донять ничем: он такое слово знал, что ядра и пули от него отскакивали. Тогда подманила его девка Маша, как в песне поется, но и тут Стенька улизнул от беды, и за эту штуку не простил воеводам. На другой год он пришел в Астрахань с войском и осадил кругом город.. А в Астрахани жили больше все неверные. Стенька приказал палить холостыми зарядами и послал сказать, что жалеет православных христиан, а просит, чтоб христиане отворили ему ворота. Христиане и отворили ворота; он, как пошел, всех неверных ограбил, а иных до смерти побил, и воевод побил за то, что его не пропускали, как он ворочался из Персии, а христианам ничего худого не сделал. Тогда был в Астрахани митрополит, стал он его, Стеньку, корить и говорит ему: "Вишь какая у тебя шапка — царский подарок; надобно, чтоб тебе теперь, за твои дела, царь на ноги прислал подарок — кандалы". И стал его митрополит уговаривать, чтоб он покаялся и принес повинную Богу и государю. Стенька осерчал на него за это, да притворился будто и в самом деле пришел в чувствие и хочет покаяться, и говорит митрополиту: "Хорошо, я покаюсь: пойдем на соборную колокольню, я стану с тобой вместе и оттуда, перед всем народом, принесу покаяние, чтоб все видели, да и тоже покаялись". Как взошли они на колокольню, Стенька схватил митрополита поперек, да и скинул вниз. "Вот, говорит, тебе мое покаяние!"

За это его семью соборами прокляли!

Товарищи его как узнали, что он семью соборами проклят, связали его и отправили в Москву. Стенька, едучи, сидит в железах да только посмеивается. Привезли его в Москву и посадили в тюрьму. Стенька дотронулся до кандалов разрывом-травою — кандалы спали; потом Стенька нашел уголек, нарисовал на стене лодку, и весла, и воду, все как есть, да, как известно, был колдун, сел в эту лодку и очутился на Волге. Только уже не пришлось ему больше гулять: ни Волга-матушка, ни мать-сыра земля не приняли его. Нет ему смерти. Он и до сих пор жив*. Одни говорят, что он бродит по городам и лесам и помогает иногда

* Многие боятся произносить его имя и почти никто не выскажет о нем всего, что знает и думает: опасаются говорить, как будто речь идет не о предании старины глубокой, а о важном преступнике, убежавшем из тюрьмы и преследуемом полицейскими властями.

беглым и безпаспортным. Но больше говорят, что он сидит где-то в горе и мучится.

Возвращались русские матросы из тюркменского плена; проходили они через русский город; было дело праздничное; православные христиане собрались около них послушать рассказов о чужедальних бусурманских сторонах. Матросы говорили:

— Как бежали мы из плена, так проходили через Персидскую землю, по берегу Каспийского моря. Там над берегами стоят высокие, страшные горы. Случилась гроза. Мы под гору сели, говорим между собою по-русски, как вдруг позади нас кто-то отозвался: "Здравствуйте, русские люди!" Мы оглянулись: ан из щели, из горы, вылазит старик — седой-седой, старый, древний — ажно мохом порос. "А что?" — спрашивает нас, — "вы ходите по русской земле: не зажигают там сальных свечей вместо восковых?" Мы ему говорим: — "Давно, дедушка, были на Руси; шесть лет в неволе пробыли; а как живали еще на Руси, так этого не видали и не слыхали!" "Ну, а бывали вы в Божией церкви, в обедне на первое воскресенье великаго поста?" — "Как же, дедушка, бывали!" — "А слыхали, как проклинают Стеньку Разина?" — "Слыхали". — "Так знайте ж, я Стенька Разин. Меня земля не приняла за мои грехи: за них я проклят. Суждено мне страшно мучиться. Два змея сосали меня — один змей со полуночи до полудня, другой со полудня до полуночи; сто лет прошло — один змей отлетел, другой остался, прилетает ко мне в полночь и сосет меня за сердце; я мучусь, к полудню умираю и лежу совсем мертвый, а после полудня оживаю, и вот, как видите, жив и выхожу из горы; только далеко нельзя мне идти: змей не пускает; а как пройдет сто лет, на Руси грехи умножатся, да люди Бога станут забывать, и сальныя свечи зажгут вместо восковых перед образами, тогда я пойду опять по свету и стану бушевать пуще прежнего. Разскажите об этом всем на святой Руси!"

За городом Царицыным, в степной деревне, жил, а может быть и теперь живет, стодесятилетний старик, и глухой, и слепой, и чуть движется, и трудно с ним говорить: надобно на ухо кричать во все горло; но он сохранил память и воодушевляется, когда вспомнит старые времена. Он собственными глазами видал Пугачева. "Тогда (говорил он) иные думали, что Пугачев-то и есть Стенька Разин; сто лет кончилось, он и вышел из своей горы". Впрочем, сам старик не верит этому: зато верит вполне, что Стенька жив и придет снова. "Стенька (говорит он) это мука мирская! это кара Божия! Он придет, непременно придет, и станет по рукам разбирать... Он придет, непременно придет... Ему нельзя не придти. Перед судным днем придет. Ох, тяжкия настанут времена... Не дай, Господи, всякому доброму крещеному человеку дожить до той поры, как опять придет Стенька!"

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА

XIV век был великим историческим периодом в жизни Славянского севера. Это было время одряхления старого удельно-вечевого порядка, образовавшегося в первые века нашего тысячелетия, и время юности нового строя, возмужавшего и окрепшего в XVI веке. Москва возвышалась посреди Русско-Славянских земель и тянула их себе волей и неволей. Тверская земля, оспаривавшая у нее право вести перед Русского мира, уже склонялась перед ней в своей бессильной борьбе. Недоставало у князей ее ни той хитрости и изворотливости в запутанных обстоятельствах, ни того уменья выбирать удачно и ловко минуты, благоприятные для дела, выжидать когда нужно, мириться и ссориться впору, по расчету, а не по влечению сердца, ни той решимости отважиться на все, лишь бы оно приносило пользу и вело к цели, — ничего того, чем отличались один за другим московские князья. В восьмом десятке XIV века тверские князья дошли до печальной необходимости стать в оборонительное положение. Последняя попытка Михаила Александровича отнять у московского князя великое княжение не удалась; с тех пор ему и преемникам его оставалось только охранять себя от московских покушений, — плохая роль! Сызначала между Москвой и Тверью шло дело не о взаимной независимости; то была борьба на жизнь или на смерть: если не Тверь, то Москва; если

Тверь взяла бы верх, независимость Москвы должна была бы погибнуть. Так же точно не могла уже долго оставаться независимой и Тверь, когда Москва несколько раз одерживала верх в борьбе с ней. Тверь после того просуществовала еще сотню лет в оборонительном положении, но как Земля подручная Москве, — и легко было потом Иоанну III добить ее, как только он захотел этого.

В подобном отношении находилась Москва ко Владимирской или Ростовско-Суздальской Земле, с той разницей, что здесь Москва не боролась постоянно, как с Тверью, за достижение первенства и власти над Русским миром, а преемственно овладела тем, что принадлежало прежде первой. Разделенная на мелкие уделы, Земля эта не могла соединиться и постоять за себя: в ней уже не стало центра, порвалась земельная связь ее уделов или, лучше сказать — Москва, быв прежде ее пригородом, сама собой делалась ее новым центром. Независимость ее не устояла так долго, как тверская, и пала при наследнике Димитрия.

Великий Новгород был в ином положении, чем эти обе Земли: Новгород не шел за новым строем Руси: Новгород всегда оставался верен старине; он не хотел ни властвовать, ни расширять своих пределов; он хотел и сам быть, и видеть вокруг себя русский мир в таком положении, в каком он вырос в протекшие века; готов был, по старинным обычаям, признавать над собой первенство великого князя в качестве первого между равными, но не в значении властвующего князьями; хотел, чтобы собственная его автономия была не нарушена. Но невозможно было устоять старому против молодого, дряхлеющему против исполненного свежих сил. Москва еще не была сильна настолько, чтобы погубить его; на это потребовалась еще сотня лет; но она уже выросла до того, что старыми узами, которые Новгород уважал, могла опутать его, и судьба Новгорода была привязана уже к судьбе Москвы задолго до падения его свободы.

На юго-восток от Москвы была Земля Рязанская. И ей приходилось только оборонять себя. О первенстве в споре с Москвой не было речи, но она не хотела подчиняться Москве; она думала только удержать старину, как и Новгород, и обезопасить себя от возникающего единовластия. Положение этой страны было более печально, чем какой-нибудь другой русской земли: она стояла на окраине русского мира, на границе с татарщиной и подвластной орде мордвой, и беспрестанно терпела от нашествия татар и мордвы. По мере возвышения Москвы, которая и ей, как другим русским краям, грозила покорением, Рязанская Земля должна была ради своей безопасности опираться на Орду: Орда не уничтожала автономии земель рус-

ских, оставляла в них порядок в том виде, в каком они находились тогда, когда подпали под власть ханов. Рязанцы были в неприязни с москвичами, они смотрели презрительно на московский народ и подозрительно на московскую политику. Рязань должна была более, чем другие русские земли покориться Орде: с одной стороны для того, чтоб если не совсем избегнуть своевольных опустошений, то по крайней мере, чтоб эти опустошения были не так жестоки; с другой — чтоб удержаться с помощью Орды против Москвы, Рязань не была, как Великий Новгород, защищаема от нее естественными средствами обороны.

Что касается до множества мелких князей, не входивших в эти Земли, то бессилие управляемых ими уделов и волостей более всего наклоняло их, а еще более народ, управляемый ими, примыкать к сильному центру, который образовался бы на Руси: оттого некоторые из них охотно покорялись Москве, а другие легко и безотпорно были покоряемы или лишены своих уделов.

Тогда как Москва делалась русским центром и приготовляла в себе для Руси новый государственный строй, на западном конце русского мира у нее явилась сильная соперница — Литва. Литовские князья Гедимин и Олгерд успели соединить в своей державе западные и южные русские земли. В одних местах князья Рюрикова дома поступили в число подручников литовских великих земель, в других заменены были князьями из Гедиминова дома. Литва расширялась на восток. У литовских великих князей образовывалось такое же стремление, как и у московских — подчинить русский мир, а самим стать его владыками. Литва стояла Москве поперек дороги; Литве суждено было задержать ей путь тогда, когда она успела уже совершить свое дело над половиной Руси. В XIV веке закладывалось начало той многолетней борьбы, которая наполняет нашу историю XV и XVI веков, — борьбы, которая в начале XVII века разразилась над Москвой эпохой Смутного времени, потом на полвека избрала себе исход в Малороссии - борьбы, которой следы отзывались до позднего времени в покушениях Польши, по древней передаче ей литовскими князьями своих покушений. Во второй половине XIV века в Литве противодействующая Москве сила сосредоточилась в двух один за другим князьях: то были Олгерд, могучий дарованиями, политикой и мужеством воитель, и Ягелло, его сын, который шел по дороге отцовской и наконец нашел новый, выгодный поворот в союзе с Польшей. Под предлогом защиты своего шурина, Михаила Тверского, два раза Олгерд подходил к Москве и два раза опустошил ее окрестности. Московская политика нашла тогда способ вывернуться из беды на время. Олгерд со своей стороны рассчел, что разорить Мос-

кву хотя можно, но покорить ее еще не пришло время, и предпочел союз с ней. Этот союз скреплен был браком его дочери с Володимиром Андреевичем, двоюродным братом великого московского князя. На несколько лет Москва избавилась от Олгерда. Но не стало Олгерда: Ягелло сделался великим князем. Для него родственные связи с Москвой были слишком ничтожны; напротив, другие связи с Русью ставили его во враждебное положение к Москве: он был сын тверитянки, и старая вражда его дедов с матерней стороны сходилась с политическими стремлениями.

Страшное ордынское владычество тотчас стало упадать, как только доставило Москве главенство на Руси. Еще недавно царствовал тридцать лет в Кипчаке Узбек. Русь трепетала перед ним. Покушение освободиться от его власти было немыслимо ни для князей, ни для народа. По приказанию грозного властелина, десять русских князей было казнено в Орде. Властитель, по произволу, тех карал своим гневом, других осыпал милостями. Московские князья были его любимцами. Ему преимущественно обязана была возвышением Москва. Но те времена прошли скоро. С Кипчакским царством повторилась одна из обыкновенных судеб, которым подвергались все завоевательные восточные царства какие только известны истории с отдаленных времен библейской древности. Продержавшись с небольшим сто лет, оно обессилело через нравственный упадок сил своих владык, променявших поле битвы и разрушительный огонь на дворец и гарем; внутренние усобицы и споры за престол разлагали его. Эпоха падения наступала. После грозного Узбека, усвоившего уже с магометанством приемы восточной цивилизации, царствовал братоубийца Джанибек, которому злодеяния не мешали у восточных историков прослыть таким же мудрым властителем, как и отец его; Джанибека отправил на тот свет его сын Бердибек в 1357 году, а на другой год нашелся за отца мститель: Кульпа, как говорят, сын Бердибека, убил отца, и с тех пор в течение десяти лет переменилось ханов пятнадцать; их было иногда по нескольку разом; они свергали друг друга с престола. Ханское достоинство упало до значения жалких кукол, которых честолюбцы стали возводить на престол, чтоб властвовать их именем; части Кипчакской Орды начали отлагаться и образовывались в самобытные государства. Таким образом в средине Золотой Орды образовалось два ханства: одно — на Волге в Сарае, другое, заложенное Мамаем, князем Орды — между Волгой и Доном. Он сам долго не хотел принимать на себя ханского достоинства, а возводил на престол и низводил с престола своих креатур и правил их именем. В земле Мордовской

(нынешней Пензенской губернии) отделился от Орды и сделался самобытным государем князь Тагай, основавший свою столицу в Наровчате. В Булгарской земле утвердился Булат-Темир и положил начало Казанскому царству. Явился свой властитель в Астрахани — Салчей. В Крыму возникла независимая Перекопская Орда, а на Яике — Яицкая Орда с городом Сарайчиком: далее на восток выделилась из Кипчака самобытная Шейбанская Орда, и так пошла врозь монархия Батыева.

В это-то время было естественно и Руси, входившей в число ханских владений, по примеру отложившихся частей, покуситься на отторжения, и, конечно, знамя восстания должно было подняться в Москве. Московский князь был уже признаваем от хана наместником русского мира: московский великий князь естественно мог и должен был захотеть сделаться независимым, в качестве особого хана, как делали другие.

Таково было положение дел, которое привело к знаменитой Куликовской битве.

Было естественно, что при внутренних смятениях в Орде русские князья пользовались получением своих достоинств от ханов той и другой партии. По смерти великого князя Ивана Ивановича явилось двое претендентов на великое княжение: Суздальский и Нижегородский князь Димитрий Константинович и Московский князь Димитрий Иванович, за которого, по несовершеннолетию, стояли бояре, которые верно проводили дело московского главенства и тем доказывали, что оно было дело не одного княжеского дома, всей Земли Московской. Хан Неврус назначил великим князем Суздальского, но сам этот хан вслед затем был низвергнут и убит Хидирбегом или Хидирем (как он называется в наших летописях). Воспользовались этим москвичи и выпросили у нового хана ярлык для своего князя; но потом вскоре Тимур-Ходжа, сын Хидирев, убил отца и сам был изгнан Мамаем. В самой Орде вступили в борьбу две партии: одна, противная Мамаю, провозгласила ханом Мюрида; другая, Мамаева — Абдула. Мюрид разбил Мамая. Услышав об этом, москвичи сейчас обратились к Мюриду, как к сильнейшему, и выпросили у него подтверждение на достоинство великого князя. Но вслед за тем услышали они, что Мамай берет верх, обратились к Мамаю и получили у него для Димитрия ярлык на великое княжение от имени Абдулы, Мамаевой креатуры. Тогда Мюридова партия, в отмщение за то, вручила ярлык на великое княжение сопернику Москвы, Димитрию Константиновичу Суздальскому, через случившегося на то время в Орде Белозерского князя Ивана. Суздальский князь, сопровождаемый своим подручником Белозерским князем и тридцатью татарами, на

челе которых был послом какой-то Иляк, сел другой раз на столе во Владимире и возвратил древнее первенство этому городу, уже со времени Калиты принужденному уступить его Москве. Тогда Москва пошла на Владимир. На Руси две партии шли под знаменем двух партий в Орде. Суздальский князь должен был уступить, побоявшись подвергать разорению свою область, и примирился с Димитрием Московским. Через два года, в 1364 г., сын Димитрия Суздальского Василий Кирдяпа, снова выпросил для отца ярлык у хана, противного московской партии, и опять готовы были отразиться на Руси следы ордынских междоусобий; но и на этот раз отец побоялся вести спор с Москвой, помирился. Димитрий Константинович на другой год скрепил с ней союз родством, отдав за Димитрия Ивановича дочь свою Евдокию.

Годы были тяжелые в то время на Руси. Перед тем только свирепствовала смертельная зараза, а на следующий год повторилась она, да еще сверх того настала засуха и неизбежное ее следствие — голод.

Таким образом, московский князь утвердился и поддерживался с помощью Мамая. Расчет был верен: Мамай был умнее и потому сильнее других претендентов на власть в Орде. Несколько лет Москва держалась Мамая, и было между ними доброе согласие. Московские и Суздальские полки ходили вместе с послом из Орды против непокорного Мамаю казанского владетеля. Но в 1370 г. соперник московского князя, великий князь Тверской Земли, Михаил Александрович, подвигнув на Димитрия своего родственника Олгерда, подорвал было его значение и у Мамая. Он, по преданию, всеми силами противодействовал возвышению Москвы и сверх того мстил лично за себя, за то, что его коварно задержали было в Москве. Он съездил в Орду и получил от имени Мамаева царя ярлык на великое княжение. Мамаю нужны были деньги. Неизвестно, расщедрился ли Тверской князь в Орде, или — что вернее — заскупился московский. Тверской князь шел в Русь с ханским послом Сарыходжей. Этот посол призывал Московского князя во Владимир слушать ярлык. Но Димитрий не поехал во Владимир, да и сами владимирцы воспротивились признать великим князем Михаила Александровича и не хотели сажать его на столе у себя. Димитрий пригласил Сарыходжу в Москву и там одарил его так, что тот, вместо того, чтоб по ханскому ярлыку принудить Русь к признанию великим князем Тверского, уехал в Орду сам хлопотать перед своим царем за Димитрия. За ним сам Димитрий отправился в Орду к Мамаю не с пустыми руками, и потому был принят очень любезно. Мамай именем своего царя утвердил его на великом княжении снова. Михаил Тверской остался вполь-

не, как говорится, в дураках. Мамай написал ему такого рода отговорку: "мы тебе давали рать и силу, чтоб тебя посадить на великое княжение: зачем же ты не взял? Теперь сиди себе, с кем хочешь, а от нас не ищи помощи". В Орде был тогда сын Михаила Александровича; он там задолжал; московский князь выкупил его, привез в Москву и отпустил только тогда, когда отец его, соперник Димитрия, заплатил ему за свободу сына десять тысяч рублей, конечно со значительным барышом против того, за сколько его выкупил из Орды московский великий князь.

Немного времени спустя нарушилось это доброе согласие с Ордой. Поводом к тому было приключение в Нижнем Новгороде: туда приехал посол Мамаев, Сараика, с дружиной. Обыкновенно, когда такая дружина прибывала в русский город — это было наказанием для жителей. Нижегородцы же в то время, как и на всей Русской Земле русские люди, страдали снова и от возобновившегося мора, и от голода разом. Возникла ссора с татарами. Нижегородцы взяли их и привели в город. Князь велел развести их. Сараика и татары стали сопротивляться. Началась свалка. Сараика бросился на владычный двор. Зажгли двор владычный. Во время свалки стрела попала в мантию епископа. Тогда народ ожесточился, бросился дружно на татар, убили Сараику, перебили всю дружину его: погибло тогда полторы тысячи татар.

После этого события, случившегося в уделе князя, союзника и тестя московского князя, снова открылась тверскому князю дорога заискивать перед Мамаем против своего соперника. Явились ему к услугам: москвич, сын бывшего тысячского, последнего в этом сане, по имени Иван, и какой-то сурожанин Некомит; они настроили его искать снова великого княжения и отправились от его имени в Орду. Там сумели они оговорить московского великого князя. Мамай отправил их снова в Тверь уже с послом своим Ачихожей; тот повез ярлык на великое княжение. Тогда московский великий князь вооружил против тверского много князей. Он представлял соперника общим врагом и указывал на его отношения к Мамаю, как на заговор против всей Руси. Все князья, шедшие на Тверь с великим князем, говорили тогда, по сказанию летописи: "сколько раз он приводил зятя своего Олгерда Гедиминовича и сколько зла наделал христианам, а теперь сложился с Мамаем и с его царем и со всею Ордою Мамаевою, а Мамай яростью дышет на всех нас; если мы попустим, то он с ним победит нас всех". Но Димитрий прежде сносился с тем же Мамаем, и это не представлялось опасным. Ясно, что московская политика умела представить князьям и вообще Русской Земле предосудительным в других то, что оправдывала за собой.

С помощью этих князей и, вдобавок, Новгорода, мстившего тверскому великому князю за прежние свои ссоры и разорение Торжка, Димитрий победил тверского князя, снова заставил его согласиться на мир и отказаться от великого княжения. Таким образом, в другой раз Москва поставила Михаила Александровича впросак, да еще с Мамаем вдвоем. Мамай и его партия в Орде ожесточились, они увидели и дерзость Руси, и слабость ордынской власти. Прежде Мамай дал тому же тверскому князю ярлык; Димитрий тотчас побежал в Орду, просил, кланялся и склонил татарскую власть в свою пользу поклонами и подарками; а теперь, по такому же точно поводу, Димитрий не кланялся, не дарил, а расправился сам и отстоял свои права собственными силами.

Тогда, в отмщение за усмирение Михаила тверского, толпы татар опустошили те земли, которых ополчения были с московским под Тверью. Так напали они на волость Нижегородскую, разоряли поселения, забирали пленников; другой загон напал на землю Новосильскую. "Зачем воевали Тверь?" кричали татары, и положили Новосильскую землю пустой, по выражению летописца. Вероятно, за то же ворвались татары и в Кашинскую волость: дружины Кашинского князя были вместе с московскими под Тверью. Тогда татары взяли Кашин и сожгли его, повоевали все Запенье, побили много людей, много их в плен погнали. Сам московский князь чаял на себя прихода Орды, вооружился и вышел за Оку стеречь гостей. Жребий был уже брошен. Московский князь действовал свободно, показывал, что не боится Орды и не слушает Мамая. Мамай не приходил.

На следующий год, вместе с дружинами суздальскими и нижегородскими московские полки, под начальством воеводы Димитрия Михайловича Волынского, двинулись на Казань. Война была удачна. Казанцы пугали русских каким-то громом со стен своих, выпустили верблюдов, чтоб переполошить русское войско. Но все эти хитрости восточного искусства не удались им. Русские вогнали их в город, осадили Казань, а двое казанских князей, Гассан и Махмет, били челом великому князю и заплатили большой окуп и ему, и союзнику его, и воеводам с ратью, всего пять тысяч рублей, да вдобавок русские посадили в Казани таможников, следовательно, подчинили своей власти управление Казани. Это было уж посягательство отплатить татарам тем, что до сих пор от них получалось. Татары были в зависимости у русских — явление невиданное, странное для того времени. Оно указывало, до чего может довести русских борьба с татарами: если русские одолеют — они не ограничатся собственным освобождением, они завоюют в свою очередь татарщину.

Надобно было не допустить Руси и думать, что она может мериться с Ордой; надобно было вогнать ее в прежние границы, поработить снова. Еще Мамай не собрался с силами, чтоб идти самому, и ограничивался посылкой своих подчиненных. В 1376 г. какой-то царевич Арапша из Синей Орды пришел к Мамаю, а Мамай послал его воевать Русь. Это был большой воитель, очень свирепый, ростом очень мал, да мужеством велик: так очерчивает его летопись. Он шел на Нижний Новгород. Князь Димитрий Константинович послал просить помощи у зятя. Москвичи пошли в поход под начальством воеводы и примкнули к суздальцам и нижегородцам, которых вел сын Димитрия Константиновича, Иван, да другой с ним князь, Семен Михайлович. Войско дошло до реки Пьяны. Дано ему знать, что Арапша на Волчьих Водах. Думали русские, что это далеко: надеялись во всяком случае побить неприятеля. Был знойный день 2 августа. Русские, не ожидая нападения, стали отдыхать, положили на телеги свои рогатины, сулицы и копья, и не построились как следовало; их доспехи были в сумах. Сами воины прохлаждались в одних охабнях да сарафанах, да еще и петли распахнули от жару. Так себе они ходили и ездили, попивали мед, пиво и вино. Когда разгорелась у них кровь, стали они хвастать своим мужеством и храбростью; им было весело надеяться, что они побьют татар, что они могут уже их бить, и кричали русские: "каждый из нас может один на семерых татар ехать; теперь никто не устоит противу нас!" В это время мордовские князья, подручники Мамая, подвели Арапшу. Татары разделились на пять отрядов, с пяти сторон бросились неожиданно на беспечных русских, и перебили их жестоко; многие из них утонули в Пьяне, побежав с поля несчастной битвы, не успев вынуть оружие из телег, доставшихся победителям. Утонул тут и предводитель суздальцев и нижегородцев князь Иван Димитриевич, и с ним погибло в реке много бояр.

На следующий 1377 год Мамай послал опять орду свою на Русь. Татары напали на Нижний. Князя не было в городе. Люди пустились бежать: оставшиеся заперлись и предлагали за себя окуп. Но татары не взяли окупа, взяли город, сожгли его и опустошили весь уезд. Другое Мамаево войско под начальством Бегича пошло на великого князя. Оно шло через Рязанскую Землю на Москву. Но великий князь предупредил Бегича и сам вышел на встречу ему в Рязанскую землю.

Они встретились на реке Воже. Москвичи дали врагам переправиться на другую сторону Вожи и потом ударили на них с разных сторон: с одной — полоцкий князь Андрей Олгердович, с другой — пронский князь; прямо ударил на них московский

князь Димитрий. Татары побежали; Москва наперла на них и множество врагов потонуло. На утро, при тумане, переправились русские и погнались за татарами. Татары убежали, покидав свои шатры, кибитки и телеги; а в телегах нашли русские много добра. Тогда поймали москвичи какого-то изменника; был он Иван Васильевич, тысячского сын, и шел из Орды с татарами на своих собратий. У него нашли целый мешок какого-то зелья, должно быть, как думали, лихого, и после расспроса послали его в заточение на Лачь-озеро в Каргополь, в Новгородскую землю.

Эта победа была предвестницей решительной войны. Мамай ожесточился. Он решился наказать страшно своих рабов. В то время Мамай перестал ставить кукол, называемых ханами или царями. Он сам назвался наконец царем. Он думал восстановить потерянное могущество Кипчака. Он начал с русских.

Прежде всего должна была нести ответ за поражение на Воже Рязанская земля, потому что в этой Земле случилось посрамление Орды. Не разбиралось и не принималось во внимание, что великий князь Рязанский не участвовал в битве; довольно того, что она происходила на Рязанской земле, притом же один из князей ее, Пронский, воевал против татар. Мамаево полчище рассыпалось по Рязанщине, жгло людские поселения, и мало людей избегнуть могло плена в тех местах, куда только заходили татары. Сам великий князь Олег Иванович не приготовился к бою, не в силах был противостоять; не надеялся он, чтобы на него, не участвовавшего в битве на Воже, обрушилась кара. Он бежал за Оку, покинув свои города на волю врагам. Они сожгли Дубок и Переяславль, сожгли и другие города и, опустошив землю, ушли восвояси.

Несчастная Рязанская земля испытывала много раз подобное горе. Понятно, что ей нельзя было оставаться в невмешательном положении под перекрестным огнем: надобно было приставать к кому-нибудь. Олег Иванович пристал к Мамаю.

Мамай решился идти на Московскую землю сильным ополчением и послал по окрестностям нанимать войска. В его ополчение поступали и фряги из Кафы, и черкесы, и ясы. Он двинулся к Воронежу и стал станом при впадении этой реки в Дон. Олег послал к нему послов и грамоту; в этой грамоте говорилось: "Восточному вольному великому царю царям, Мамаю, посаженик твой и присяжник Олег князь Рязанский много молит тебя. Я услышал, господин, что ты хочешь идти и грозишься на твоего служебника Димитрия князя Московскаго; теперь, всесветлый царь, приспело время злата и многих богатств. Князь Димитрий, как только услышит имя ярости твоей, убежит в далекия места, или в Великий Новгород или на Двину,

а богатство московское будет в руке у тебя; а меня Олега Рязанскаго, раба твоего, сподоби своей милости. Мы оба твои рабы; но я служу тебе со смирением и покорством, а он к тебе с гордостью и непокорством. Я много великих обид принял от твоего улусника, Димитрия. А когда я погрозил ему твоим именем, он не посмотрел на это, а еще заграбил себе город мой Коломну. Молю тебя, царь, и бью тебе челом: накажи его, чтоб он чужого не похищал".

В то же время Олег отправил послов к Ягеллу, великому князю Литовскому. Кроме того политического антагонизма Литвы с Москвой, по которому каждый литовский великий князь был естественным соперником возрастающей Москвы, Ягелло имел свежие причины неудовольствия против нее и ее князя. После переворота, от которого погиб дядя Ягеллов Кейстут, Ягелло сделался великим князем литовским. Димитрий московский стал покровителем и сторонником князей, противных Ягеллу. Брат Ягелла, Андрей полоцкий князь, нашел приют в Москве; вместе с московскими войсками он ходил в Трубчевск; там и другой брат Ягелла, Димитрий Олгердович, признал над собой главенство московского князя. Так московский великий князь, распространяя Московское государство, уже посягал на то, что успело прежде захватить себе государство Литовское. Олег, по уверению летописи,писал в Ягеллу: "ты давно хотел прогнать московского князя и овладеть Москвой; теперь пришло время; Мамай идет на него, соединимся с ним; посылай своих послов к нему с дарами. Сам лучше меня знаешь, как поступить".

Расчет у Олега должен был быть таков: с помощью Мамая и Ягелла ниспровергнуть Московское государство, пресечь ход московской власти, Москву отдать Литве, а Рязанская земля увеличится частью тех владений, которые прежде у других взяты Москвой. Олег думал с Мамаем разделаться сначала дружески за помощь, оказанную ему против Москвы. Он надеялся, что Мамай даст ярлыки свои Ягеллу и ему; тогда, с сильным союзником Ягеллом, владевшим уже независимыми от Орды землями, можно было иметь более безопасности от самой Орды. Литва успела уже высвободить из татарской неволи часть русских земель; Москве это еще не удалось. Москва, напротив, получила над русскими землями господство только с помощью Орды. Таким образом, даже с желанием освободить отечество и всю Русь от татарского ига, Олегу был расчет пристать к Мамаю. Рано или поздно, Орда, начавшая уже разлагаться, не могла устоять, и было гораздо более ручательства скорейшему ее падению тогда, когда на Руси возьмет верх предприимчивая рыцарская Литва, а не медлительная Москва. В настоящее же

время во всяком случае не казалось вероятным, чтобы в войне успех был на стороне Москвы. Если бы Ягелло стал действовать или заодно, или в одно время с Мамаем, а к Москве пристала Рязань, то Рязанская земля, еще не оправившись от разорений, погибла бы в конец. Таким образом, сообразно тогдашним обстоятельствам, естественно было своелюбивому Олегу действовать с Мамаем и искать сколько возможно более враждебных Москве сил, чтоб ниспровергнуть это могущество, начинавшее уже тяготеть над его удельной землей.

Все эти сношения должны были происходить в 1379 г., и вероятно в конце. Весной 1380 г. получил Димитрий известие, что Мамай уже на Воронеже. Сам Олег Рязанский, скрывая свое соглашение с врагами Москвы, извещал великого князя об опасности, как будто дружелюбно. Вслед затем прибыли послы от Мамая с требованием такой дани, какую Москва платила при Узбеке и Джанибеке, а не такой, которая была постановлена с Мамаем при первом признании им Димитрия Московским князем. Димитрий оскорбел и опечалился зело — говорит летопись — и начал прежде всего молиться. По известию Никоновской летописи, на ту пору (это было на Вознесенье) прибыл в Москву впервые новый митрополит Киприан, родом серб, уже давно носивший это название и долго непризнаваемый московским князем. После того, как умер под Царьградом Митяй, которого Димитрию хотелось видеть митрополитом вместо Киприана,он не хотел признать посвященного в Царьграде Пимена, переяславского архимандрита, и согласился признать Киприана. Киприан переехал к нему из Киева. К нему обратился Димитрий в своей тревоге и явился к нему вместе с двоюродным братом, серпуховским князем Владимиром Андреевичем. Митрополит отвечал ему в таком духе: "господин сын мой возлюбленный! Божиим попущением за наши согрешения, неверные идут пленить нашу землю, а вам, православным князьям, следует этих нечестивых утолять дарами четверицею сугубо, чтоб они пришли в тихость и кротость и смирение. Повелел Господь христианам поступать по евангельскому слову: будьте мудри яко змии, а цели яко голубие. Змеиная мудрость в том состоит, что если случится, что ее начнуть бить, то змея отдает тело на язвы и побои, а голову укрывает что есть силы. Вот так и христианин, если случится, что его станут гнать и мучить, должен все отдавать, и серебро, и золото, и имущество, и честь, и славу, а голову свою укрывать; а голова — Христос и вера христианская. Требуют от вас имущества и злата и серебра — давайте все, что есть; чести и славы хотят — давайте; а когда веру хотят у вас отнять — стойте за нее крепко. Так и ты, господин, сколько

можешь собрать золота и серебра, пошли к нему и исправься перед ним и укроти его ярость".

Эти отношения с Киприаном подвергают сомнению именно потому, что по другим известиям Киприан приехал позже (в 1381 году). Кроме этого недоразумения в числах, в сообщаемом факте нет ничего неправдоподобного, и если не с Киприаном, то с епископом Герасимом коломенским, близким в то время к Димитрию, или с каким-нибудь другим иерархом мог великий князь иметь такой разговор, и имя митрополита могло впоследствии, при смешении воспоминаний, заместить имя епископа. Наконец, если это известие совершенно выдуманное, и тогда оно имеет важное значение, как образчик духовной мудрости века, как взгляд, который действительно имели и могли иметь тогда православные духовные, когда они заботились о вере и об исполнении ее уставов более, чем о земном отечестве, входившем в круг мирских дел.

Димитрий послал в Орду посла Захария Пулчева с двумя толмачами. Он вез покорную грамоту и дань Мамаю; но дань была не в том размере, в каком хотел получить властитель, думавший о восстановлении блеска и силы Кипчака. Посол этот едва вступил на Рязанскую землю, как узнал, что Олег передался Мамаю, и известил об этом Димитрия.

Не говорится в сказаниях, продолжал ли посол свой путь далее и как принял его Мамай. Уже впоследствии сказывается, что Мамай отверг умеренную дань перед окончательным опустошением и завоеванием земли Русской.

Одно из сказаний об этих событиях (Ник. лет. VI, 105) говорит, что Мамай тогда посягнул на веру и так прорек перед своими вельможами: "возьму Русскую землю, разорю христианския церкви, их веру на свою переложу и велю кланяться Магомету: где были у них церкви, там поставлю мечети, посажу баскаков по всем городам русским и перебью русских князей". Под влиянием магометанского фанатизма мог действительно говорить так рассерженный непокорством Димитрия Мамай; но если бы этого и не было, во всяком случае такой слух разнесся в то время по Руси и давал войне значение брани за веру.

Великий князь послал по всем землям русским свои грамоты, призывал всех князей и дружины их и всех людей русских сходиться на рать. Летописное сказание говорит, что тогда снова Димитрий обратился ко владыке митрополиту, и последний, услыша об измене Олега, изъявил сомнение, не произошло ли это от обид, причиненных от Димитрия Рязанскому князю, и спрашивал его прямо: какого рода эта обида? Димитрий заверял, что ничем не оскорбил Олега.

В ожидании вестей от своих гонцов Димитрий, согласно обычаю, творил милостыни по монастырям и раздавал нищим, наделял прохожих-странных, которые в те времена ходили из страны в страну под предлогом благочестия. Богомольное настроение не мешало, однако, князю и пировать. Когда сходились князья и бояре и дружины, первое дело — нужно было угощать приезжих, а потом приезжие делали от себя пиры.

В числе первых пришедших от земель русских был посланный прежним врагом московского князя, Михаилом Александровичем, племянник его, Холмский князь, Иван Всеволодович. Тверской князь испытал уже, что Мамай — ему плохая защита и помощь против московского государя и его сил; теперь же подходила пора стоять за всю Русь.

Был пир у Никулы тысячского. Димитрий был на этом пиру с другом своим Владимиром Андреевичем; были на пиру и пришедшие князья и бояре других земель. И вот прибегает гонец и объявляет, что Мамай не хочет никаких сделок и идет на Москву.

Тогда Димитрий послал в другой раз увещательную и призывную грамоту к князьям: во все подручные земли побежали его гонцы. Великий князь назначил уже срок к 31 июля в Коломну. Между тем он отправил трех воевод, крепких оружников: Родиона Ржевского, Андрея Волосатого и Василия Тупика с отрядом в сторону к Быстрой Сосне — достать вестей: где Мамай, когда и каким путем собирается идти?

Прошло несколько времени. В Москву приходили ополчения за ополчениями уже не только по призыву, но и добровольно, услыхав, что идет туча на Русь. О посланной страже не было ни слуху, ни духу. Думали в Москве — верно побиты; и послал великий князь другую (Климента Поленина, Ивана Святослава, Григория Судока) и приказывал как можно скорее возвращаться, чтоб не томилась Москва незнанием. Эти вновь посланные встретили Василия Тупика (судьба других его товарищей осталась неизвестна). Тупик возвращался с языком к великому князю в Москву. Воротились и другие, и язык под допросом сказал: "Идет царь Мамай, совокупясь с Олегом Рязанским, и Ягелло Литовский заодно с ними; но еще не спешит; ждет осени, чтоб сойтись с Литвою." Это известие было на руку Димитрию; он имел еще возможность стянуть силы. Немедленно разослал он опять гонцов по разным землям торопить ополчения, и так как 31 июля приближалось, то он назначил дальнейший срок 15 августа: к этому числу уже все должны быть в Коломне.

И вот пришли в Москву со своими дружинами князья Белозерские, Федор Глеб Каргопольский, князь Устюжский, и дру-

гие, которых имена трудно указать подлинно, потому что в сказаниях, испытавших позднейшие переделки, их имена едва ли верны, князь Ярославский Андрей, Ростовский князь Димитрий, князь Прозоровский Роман, князь Серпейский Лев.

Готовясь к выходу, отправился Димитрий к Троице. Жив еще был основатель этой святыни Московской земли; его благословения испрашивал Димитрий. Преподобный устроил трапезу в своем монастыре для князя и для тех, кто прибыл тогда с ним. За трапезой стояла святая вода. Верный православному смирению, предпочитавший лучше златом и серебром отделаться от врагов, чем отваживаться на кровопролитие, за столом Сергий сказал великому князю:

"Почти дарами и честью нечестиваго Мамая; Господь увидит твое смирение и вознесет тебя, а его неукротимую ярость низложит".

Димитрий отвечал:

"Я уже поступил так, отче, но он тем более несется на меня с гордостью".

Димитрий посмотрел на двух монахов-братьев. Они были рослы, плечисты, крепко сложены, их черные волосы и бороды придавали мужества их силу. Один звался Пересвет, другой Ослябя. Оба они были когда-то ратные люди, слыли богатырями, но отреклись от мирской суеты, возлюбили иноческое молчание. Видно, жаль было ратным людям смотреть, что такие молодцы скрываются от поля битвы. Димитрий сказал Сергию:

"Дай мне, отче, на брань этих двух иноков! Мы знаем про них: они были великие ратники, крепкие богатыри, смышлены к воинскому делу и к наряду".

Преподобный сказал инокам:

"Я велю вам готовиться на ратное дело".

Иноки поклонились, послушные воле игумена. Сергий взял схимы с нашитыми крестами, возложил им на головы:

"Вот вам, носите это вместо шлемов. Это вам доспех нетленный вместо тленнаго. Возьми же их с собою, великий княже, — продолжал святый муж, обращаясь к Димитрию: — это тебе мои оружники, твои извольники".

Обратившись снова к монахам, Сергий говорил:

"Мир вам, возлюбленные братья Пересвет и Ослябя; пострадайте, как доблестные воины Христовы".

После трапезы Сергий благословил великого князя и бывших с ним крестом и окропил святой водой.

Старец исполнился вдохновением и пророчески сказал великому князю: "Господь Бог будет тебе помощник и заступник. Он победит и низложит сопостатов твоих и прославит тебя".

Эти слова обрадовали великого князя. Димитрий сам не смел

поверить своему счастью. Слова: Он победит и низложит твоих сопостатов и прославит тебя — раздавались отрадно в его слухе. Но не смел он никому рассказывать об этом, боясь вероятно, чтоб не вменено это ему было в грех хвастливости и самонадеянности. Возвратившись в Москву, он сказал об этом только владыке, и тот запрещал ему пересказывать слова Сергия.

20 августа был день выхода войск из Москвы. Великий князь, князья и воеводы молились в Успенском соборе, кланялись мощам Петра митрополита, благословившего в начале главенство Москвы. "О, чудотворный святитель! — говорил Димитрий: — поганые идут на меня, неизменнаго раба твоего, и крепко ополчились, вооружаются на град твой Москву; тебя Господь проявил последнему роду нашему, тебе подобает молиться, мы твоя паства". Здесь воители были благословлены крестом и окроплены святой водой. Великий князь ходил ко гробам отцов. Все войска были выставлены на Красной площади вдоль длинной Кремлевской стены. Ворота Фроловские (ныне Спасские), Константино-Еленинские (к Москве реке, уже давно заложенные) и Никольские были отворены настежь: в каждых стояли священники и кропили святой водой ополчения. В заключение всего, Димитрий молился в храме Архистратига, молился и кланялся гробам своих прародителей. После того князья и воеводы вышли на двор, и тут начались проводы. Великая княгиня Евдокия, другие княгини и боярыни провожали мужьев голосом и разливались слезами. Димитрий с трудом удержался от слез: заплакать — было бы срамно перед народом.

Димитрий выехал из Кремля на своем любимом коне. По правую руку от него ехал Владимир Андреевич. Димитрий окинул взором войско. Оно красовалось несметным множеством; крепки и скоры были у русских удальцов кони, нарядно блестели на них металлические колонторы из бляшек; вооружены они были короткими шпагами, называемыми корды (получались в XIV веке в Россию из Польши), и длинными саблями: солнце играло на остриях их колчар (копий) и нечецких сулиц, в еловцах их остроконечных шлемов, в покрашенных красной краской щитах.

Великий князь земли Русской возгласил к ним: "Лепо нам, братия, положить головы за правоверную веру христианскую, чтоб не взяли поганые городов наших, чтоб не запустели церкви наши, да не будем разсеяны по лицу земли, а жены наши и дети не отведутся в плен на томление от поганых. Да умолит за нас Сына Своего и Бога нашего Пречистая Богородица!"

Голоса отвечали ему:

"Мы приговорили положить свой живот, служа тебе, и теперь прольем кровь свою за тебя!"

Ополчение двинулось. Ударили в варганы, затрубили ратные трубы; ржание коней переливалось с громом военной музыки. Ополчение стало разделяться. Владимир Андреевич пошел на Брашево, к нынешним Броницам; Белозерские князья по Болвановской дороге, а сам Димитрий по дороге на Котел. Тогда — говорит поэтическое сказание — княгиня Евдокия с воеводскими женами провожала их с вершины своего золотоверхого терема и сидела под южными окнами в набережных сенях, следя глазами за исчезающим вдали войском; она заливалась слезами и говорила: "в последний раз смотрю я на своего князя".

За несколько верст от Коломны впадает в Москву-реку речка Северка. На устьях ее встретили Димитрия новые воеводы тех полков, которые уже ждали в Коломне. 28 августа Димитрий с московскими полками въехал в Коломну. Епископ Герасим встретил его с крестом в воротах. На другой день, 29 августа, Димитрий велел всем собраться на лугу, который назывался Девичьим-полем, близ сада какого-то Памфила. Все поле было усеяно необозримым воинством. Никогда еще силы Руской земли не были в таком числе собраны на защиту родной земли.

Димитрий устроил все свое ополчение в боевой порядок: каждый полк с воеводой составлял отдел войска, а все вместе изображали собранную Русскую землю. Все полки составляли три больших отдела: средину, правую и левую руку. Сам Димитрий Московский находился в средине, с воеводами своими и с Белозерским полком, предводительствуемым своими князьями; на левой руке предводителем был Лев Брянский, на правой — Владимир Андреевич, на его же стороне были Ярославские князья; передовой полк был под начальством Димитрия Всеволожа и Володимира Всеволожа.

Кроме прибывших с Димитрием из Москвы, в Коломне собраны полки: Переяславский с воеводой Андреем Серкизом, Юрьевский с воеводой Тимофеем Валуевичем, Костромской с воеводой Иваном Родионовичем, Владимирский с воеводой князем Романом Прозоровским, Мещерский с воеводой князем Федором Елецким, Муромский с князьями Юрьем и Андреем, Коломенский с воеводой Микулой Васильевичем. Оказалось, что еще многие не успели придти; в особенности жалел Димитрий, что мало было пехоты; но дожидаться нельзя было. Надобно было идти в Рязанскую землю и в глубину степей, чтобы не дать Мамаю ворваться в пределы Московской и союзных земель. Димитрий взял благословение у епископа Герасима идти за Оку.

Выбрали вожаков, знающих дорогу, а это были купцы сурожане. В тот век никто столько не путешествовал, никто так часто

не передвигался с места на место, как торговцы, а потому естественно было их употребить провожатыми. Дмитрий нашел таких, что много раз бывали и в Орде, и в Кафе, и в разных далеких краях, и знали обычаи чужих земель и народов; их было числом десять: они должны были вести войско.

Войско двинулось к Лопасни, поворачивая вправо, вероятно, чтоб предупредить соединение литовского ополчения с Мамаевым. Так как еще многие не успели придти, то великий князь оставил в Лопасни воеводу тысячского Тимофея Васильевича наблюдать за переправой, проводить через Оку и указывать им путь. Димитрий дал приказание, проходя через Рязанскую землю, не трогать никого и не делать никаких насилий жителям; 26 августа он перешел через Оку и пошел Рязанской землей; на дороге пристали к нему двое Олгердовичей: Андрей, бывший князем в Пскове, и Димитрий с брянцами и трубчевцами. Димитрий Иванович послал передовой отряд проведывать неприятеля. Начальником этого отряда был Семен Мелик. С ним было много нарочитых и мужественных ратников. Они должны были повидаться с татарской стражей и послать скорую весть. Сам Димитрий пошел по Рязанской земле. Погода благоприятствовала походу: осенние дни были теплы и ясны, земля суха. Шли еще далее, остановились за двадцать три версты от Дона, на месте, которое называлось Березы. Это было 5 сентября. Тут прибежали к нему из посланного отряда Петр Горский да Карп Олексин (Александрович) и сказали: "Мамай стоит на Дону на Кузьминой-Гати и ожидает к себе Олега да Ягелла Литовскаго". — "А сколько силы у него?" — Отвечали вестники: "и перечесть нельзя".

Димитрий Иванович собрал на совет князей и воевод и спросил: что делать? перевозиться ли за Дон, или ждать на этой стороне?

Некоторые говорили: "надобно нам остаться на этой стороне Дона. Врагов много: и татары, и рязанцы, и литва; оставим за собою реку — трудно будет идти, а мы должны себе удержать путь назад".

Олгердовичи давали такой совет:

"Если хочешь крепкаго бою, вели сегодня же перевозиться, чтоб ни у кого мысли не было назад ворочаться; пусть всякий без хитрости бьется, пусть не думает о спасении, а с часу на час себе смерти ждет; а что, говорят, у них силы велики, то что на это смотреть! Не в силе Бог, в правде!"

В это время приехали гонцы из Троицы и привезли благословенную грамоту от преподобного Сергия. Отшельник напутствовал Димитрия счастливым пророчеством, поддерживал в

нем храбрость и решимость. Он убеждал его идти на врагов и обещал помощь Бога и Пресвятой Богородицы. Эта грамота, без сомнения, сделала многое: подтверждала она то пророчество, которому прежде поверил Димитрий. В восторге надежды и вдохновения прочитавший ее, Московский князь в кругу своих сооружников, воскликнул с псалмопением: "си на колесницех и на конех, мы же имя Господа Бога нашего призовем!"

Находились многие, у которых осторожность брала верх над отвагой; они все еще настаивали, чтоб оставаться. Димитрий сказал им: "честная смерть лучше злого живота. Уж лучше было вовсе не идти против безбожных татар, чем, пришедши сюда и ничего не сделавши, назад возвращаться". И пристал великий князь к совету Олгердовичей, и решились переправляться на Дон, отважиться на крепкий бой, на смертный бой, победить врагов, или без поворота всем пропасть. В первый раз со времени Батыева ига Русь, собранная в лице воинственных детей своих, решилась предпочесть смерть рабству.

Войско двинулось к Дону, и увидело его накануне праздника Рождества Богородицы, 7 сентября. Пришла весть: Мамай узнал, что идет на него Димитрий; передовые отряды Семена Мелика уже бились с татарами; Мамай уже видел своих татар, иссеченных русским оружием. "Все силы темныя, силы всех властей и князей своих Мамай ведет на нас, — говорил Семен Мелик: — он уже на Кусином броду. Только одна ночь между нашими и их полками. Вооружайся, княже! завтра нападут на нас татары".

Русские стали строить мосты, искать бродов, и перешли Дон. По одним летописным сказаниям, эта переправа случилась вечером и ночью, по другим — рано утром. Об этой ночи перед великим днем кровавой резделки русских со своими поработителями сохранилось такое предание, записанное в повести о битве: "Была ночь теплая и тихая, а после полуночи (глубоце ночи) пришел к великому князю Димитрию Боброк, родом волынец. Пришел он, по сказанию повести, вместе с Олгердовичами служить Димитрию против врагов веры христианской; его знали за удалого и смышленаго воителя и боялись мужества его. Опытный в брани, он искусен был и в гаданиях, которыми тогда славились в его родине. "Хочешь ли — сказал князю Боброк: — я покажу тебе такия приметы, по которым ты узнаешь, что случится вперед?"

Условившись никому не говорить об этом, Димитрий сел на своего борзого коня и поехал вместе с волынцем вперед. Было перед ними широкое ровное поле, сзади Дон, впереди речка Непрядва, впадающая в Дон. Это поле звалось Куликово. Они остановились посреди поля в ночной тьме.

"Оборотись к татарской стороне и слушай, князь", — сказал Боброк. И стояли они несколько времени молча, и слышны были им крики и стук, звучали трубы, а далее завывали волки и будто дрались между собой; а по правую сторону кричали птицы, граяли вороны, клектали орлы над рекой Непрядвой.

"Что слышишь?" — спросил Боброк.

"Страх и гроза", — отвечал Димитрий.

"Теперь, — сказал Боброк, — обратись, княже, на русский полк".

Оба повернулись лицом к Дону.

"Что слышишь?" — спросил Боброк после нескольких минут.

"Ничего не слышу, — отвечал великий князь; — тишина великая; вижу только будто от множества огней зарево".

Тогда сказал ему Димитрий Боброк: "Господине княже, благодари Бога и Пречистую Богородицу и великаго чудотворца Петра и всех святых: огни — это доброе знамение тебе; призывай Бога на помощь и молись Ему часто; не оскудевай верою к Нему и Пречистой Богородице и к пастырю вашему и молебнику, великому чудотворцу Петру. Это добрыя приметы. Но у меня есть еще иная примета".

Он слез с коня, упал на землю, приложил правое ухо к земле, долго прислушивался, встал потом, приложил к земле другое ухо, и встав снова, был тревожен, потупил голову и ничего не говорил.

"Ну, что, брат Димитрий?" — спросил его великий князь.

Боброк не отвечал и был смутен. Великий князь еще его спрашивал. Он молчал. Великий князь упрашивал его, умолял. Боброк прослезился.

Великий князь испугался и говорит: "Брат Димитрий, скажи мне; иначе сердце у меня очень болит".

"Господине княже! — сказал ему Боброк: — только тебе одному поведаю, а ты никому не говори об этих двух приметах: одна тебе на великую радость, а другая на великую скорбь. Я припадал к земле ухом и слышал, как земля горько и страшно плакала: на одной стороне, казалось, будто плачет женщина-мать о детях своих и голосит по-татарски и разливается слезами; а на другой стороне казалось мне, будто девица плачет тонким свирельным голосом, в большой скорби и печали. Много я битв перебыл, много примет испытал и знаю я их; уповай на милость Божию: ты одолеешь татар: но твоего христианскаго воинства падет под острием меча многое множество".

Димитрий, услыша это, заплакал, но потом сказал:

"Как угодно Господу, пусть и будет так. Кто воли Его противник?"

"Господине княже! — сказал еще раз Боброк: — не следует тебе никому говорить об этом в полках, чтобы не уныло у многих сердце. Призывай Господа Бога на помощь, и Пречистую Богородицу, и великаго чудотворца Петра, и всех святых; вооружайся животворящим крестом Христовым: то Его оружие непобедимое".

Они уехали в стан, и за ними выли страшно волки; было такое их множество, что казалось, — говорит повествование, — будто со всего света сбежались, и вороны кричали, и орлы клектали; и страшно было в эту ночь.

В то же время, как объяснилось поутру, были видения и другим. Был в войске русском какой-то Фома Кацюгей, а по другим — Фома Хаберцыев: некогда он был разбойник, но покаялся и теперь хотел загладить свои злодеяния и умереть за правое дело. Это был человек необыкновенной телесной силы и чрезвычайно отважен; потому-то его поставили на страже от татар. Стоя на своем месте, увидал он, будто по воздуху выступает с востока полчище; и вдруг, с юга, на это полчище идут двое вооруженных юношей и начинают поражать его мечами, и Кацюгей слышал, как эти юноши говорили к полчищу: "Кто вам велел погублять наше отечество? нам его даровал Господь!" Многих они убили, а других разогнали. Поутру Кацюгей сказал это великому князю. Димитрий уразумел, что эти два юноши - страстотерпцы Борис и Глеб, его праотцы, всегда молящиеся перед престолом Божиим о родной Руси и уже помогавшие Александру в войне его со шведами.

Утром рано все войско стало готовиться к битве. Взошло солнце, но густой туман покрывал землю и ничего не было видно. Так прошло часа два. Эта мгла помогла русским. Димитрий отправил тем временем Владимира Серпуховского и Димитрия Боброка с избранным войском вверх по течению Дона за лес, в засаду. Наконец, туман стал подыматься, засияло солнце. Тогда Димитрий, проехавшись перед полками, говорил повсюду:

"Отцы и братья! ради Господа подвизайтесь за веру христианскую и за святыя церкви. Смерть тогда — не в смерть, а в живот вечный".

Великий князь избрал себе место в передних рядах войска (на первом суйме). Князья и воеводы советовали ему стать в более безопасном положении позади или сбоку; но Димитрий сказал: "Как же я после того осмелюсь говорить: братья, потягнем все как один человек, а сам буду хорониться. Не только словом, но и делом хочу быть первым между вами и первый перед всеми готов положить голову за христиан!" Великий князь следовал старинному нравственному правилу, что князь для поддержания своей чести должен быть впереди во время битвы и

первый открывать бой. Димитрий вкусил благословенного хлеба, который ему прислал Сергий со своей грамотой, и читал молитву, прилагая руку ко кресту, висевшему у него на груди.

Русское войско подвинулось к устью Непрядвы. Часов в 11 (в шестом часу дня) увидели русские Мамаево полчище, сходившее с холма. Оно двигалось, как туча, стенами; задние клали копья на плечи передним, и устроены были у них копья так, что у задних были длиннее, а у передних короче. Одежды на них были темного цвета. Русские войска, напротив, шли нарядно. Множество знамен колебалось от тихого ветра как облака: светились образа на знаменах и светились доспехи ратников, словно утренняя заря в ясное время, и еловцы на их шлемах огнем пылали. По известию другого сказания, воеводы были одеты в местные одежды; вероятно, под этим разумели то, что каждый на одежде своей имел особенности, отличавшие его по местности. Так сходились русские силы с татарскими с противоположных возвышений; и было страшно видеть, — говорит сказание, — как две великие силы шли на кровопролитие и скорую смерть.

Мамай стал на возвышение со своими князьями и стал оттуда наблюдать битву. Враждебные полчища смотрели друг на друга. И вот из татарского войска выезжает богатырь по имени Телебей (Телебег), хвалится своей силой и храбростью и вызывает достойного помериться с собой. Он был исполинского роста и чрезмерно силен. Такой Голиаф шел открывать битву: так следовало по обычаю татар; у них всегда такие удальцы-силачи начинали дело и показывали собой другим пример. "Кто против меня идет?" кричал богатырь; и страшен был громадный вид его, и не сразу нашелся из русских тот, кто бы отважился с ним на единоборство.

Но тут выступил Пересвет. Шлем его был накрыт схимой, возложенной на него Сергием. Он испросил благословение у священника, сел на боевого коня, обратился к стоящим и громко крикнул: "Отцы и братья, простите меня грешнаго! Брат Ослябя, моли за меня Бога! Преподобный Сергие, помогай мне молитвою твоею!" И он понесся во всю прыть на татарина. Богатырь летел ему на встречу, неистово столкнулись они на всем скаку, со всех сил ударили один другого копьями. Кони их от удара присели на корачки, а они полетели на землю оба мертвые. Равны были две силы и не снесли взаимных ударов.

Вслед затем дан был знак. Затрубили трубы. Крикнули русские: "Бог христианский, помоги нам!" Крикнули татары, призывая Магомета. Началась всеобщая неистовая сеча. Такой сечи, по сказанию современников, не было еще на Руси. Бились не только оружием, но и рукопашно; задыхаясь от тесноты, уми-

рали под конскими копытами. Кровь полилась потоками по траве. Христиане и неверные испускали дыхание, переплетаясь между собой руками и ногами в предсмертных страданиях. Часа через два татары стали одолевать. Москвичи, небывальцы в бранях, как называет их новгородский летописец, в страхе пустились врассыпную. Татары погнались за ними, и увидев черное великокняжеское знамя, направили туда все усилия; добрались, изрубили знамя и убили Михаила Бренка, которого по одежде приняли за великого князя. Ужас распространялся более и более в русских рядах. Падали князья, падали воеводы; все бежало... Пал князь Белозерский Феодор, потом его сын Иван и Торусский князь Феодор и брат его Мстислав, князь Феодор Семенович, князь Иван Михайлович, князь Димитрий Монастырев; бояре и воеводы: Семен Михайлович, Микула Васильевич, Андрей Шуба, Андрей Серкиз, Тимофей Васильевич, Волуй Окатьевич, Лев Мозырев, Тарас Шатнев, Семен Мелик, Димитрий Минин и Ослябя — товарищ и брат Пересвета. Было полное поражение русских сил, полное торжество Мамая.

Князь Владимир Андреевич и Боброк смотрели из-за леса. Князь порывался выскочить; Боброк его удерживал. Когда же увидели они, что татары одолевают, Владимир терял терпение. "Димитрий — кричал он Боброку, — что это такое? кому-ж пользует наше тут стояние? кому мы помогать будем? Беда приходит!"

"Да, беда великая, — отвечал Боброк: — да нам еще не пришла година. Кто не в пору начинает, тот беду себе принимает. Потерпим еще немного, пока придет наш час воздать противнику. Молись Богу, да дожидай осьмого часа — будет вам благодать и Христова помощь".

Еще хуже стало русским: еще горше они расстроились, и свирепее, нещаднее побивали их татары. Рвались русские из засады, плакали над гибелью своих, а Боброк все их удерживал ужидать осьмого часа. Они сопротивлялись. Боброк даже бранил их: "подождите, глупыя вы дети русския, — говорил он: — еще есть вам с кем утешаться, пить и веселиться!" Русские роптали, сердились, а не смели поступить против Боброка, потому что считали его знахарем. Наконец, когда уже татары считали себя окончательно победителями, именно тогда-то приблизился обетованный осьмой час... Боброк сказал: "Княже Владимире и вы, сыны русские, братья и друзья! час приспел и пора пришла; идем, и поможет нам благодать Святаго Духа".

Ветер южный дул им сзади. Выскочили они стремительно из засады словно соколы на журавлиное стадо, говорит сказание, с криком и шумом прямо в тыл татарам и начали поражать их.

Нежданное появление свежего войска оттуда, где никак его не предполагали, навело на татар страх. Потеряв уже свой строй, они не могли стать в боевой порядок. "Беда нам! — кричали они: — Русь перехитрила нас: худых мы побили, а лучшие теперь на нас обрушились". Показалось тогда им, что они совсем уже разбиты. Стали бить татар со всех боков; а татары сначала чересчур горячились и обессилили себя. Оказалось, что тогда, когда напали на них свежие силы, у них и кони утомились, и руки их ослабели, и ноги устали, и в беспорядке не видели и не знали они, где свой, где чужой, куда им повернуться. Русские прорывали их толпы, били и вправо и влево, и сзади и спереди. Татары, бросая оружие, бежали. Русские догоняли и убивали их. Мамай, увидя такое смятение, вместо того, чтоб послать на помощь силы, которые еще оставались около него, бросил свое возвышение и бежал; за ним бежали князья и все, кто только успевал спастись от русских. Одни толпы татар бежали за Непрядву, и множество их потонуло в Непрядве; другие толпы бежали вправо к реке Красивой Мечи. Русские гнались за ними и били их уже безотпорно. Татары кидали свои возы и свое имущество в добычу победителям.

Известие о засаде взято из повести о Мамаевом побоище, которая существует во множестве отдельных списков и также вошла целиком в Никоновский свод летописи. Повесть эта заключает в себе множество явных выдумок, анахронизмов, равным образом и преданий, образовавшихся в народном воображении о Куликовской битве уже позже. Эта повесть вообще в своем составе никак не может считаться достоверным источником, но известие о засаде мы считаем себя в праве признавать достоверным не только по своему правдоподобию, но по соображению с рассказом в старейших списках летописи. В последних, так же как и в повести, говорится, что русские обратились в бегство и татары гнались за ними, а потом в девятом часу дня (т.е. в третьем или в три часа по нашему времясчислению) дело изменилось внезапно и, неизвестно по какой причине, татары в свою очередь обратились в бегство. Летописец приписывает такую перемену заступничеству Ангелов с Архистратигом Михаилом и св. воинам: Георгию, Димитрию, Борису и Глебу. Рассматривая события с земной точки зрения, мы невольно должны придти к такому заключению, что подобная перемена обстоятельств могла всего скорее произойти от движения русских в тыл неприятеля, и, таким образом, известие о засаде дополняет для нас то, о чем мы и без того должны были догадываться, тем более, что в описании самой битвы по старейшим спискам ничего не говорится о действиях Владимира Андреевича, тогда как по пред-

ыдущим событиям мы знаем, что он был храбрейший из тогдашних князей.

В этой же "повести о Мамаевом побоище" рассказывается, будто Димитрий еще перед битвой надел свою княжескую "подволоку" (мантию) на своего любимца Михаила Бренка, сам же в одежде простого воина замешался в толпе, а впоследствии, когда Бренок в великокняжеской одежде был убит и битва кончилась, Димитрий был найден лежащим в дубраве под срубленным деревом, покрытый его ветвями, едва дышащий, но без ран. Такое переряживание могло быть только из трусости, с целью подставить на место себя другого, во избежание опасности, грозившей великому князю, которого черное знамя и особая одежда издали отличали от других: естественно врагам было всего желательней убить его, чтобы лишить войско главного предводителя. Если принимать это сказание, то надобно будет допустить, что Димитрий перерядился в простого воина под предлогом биться с татарами зауряд с другими, а на самом деле для того, чтобы скрыться от битвы в лес. Судя по поведению Димитрия во время случившегося позже нашествия татар на Москву, можно было бы допустить вероятие такого рассказа; но следует обратить внимание на то, что в той же повести говорится, что русские гнали татар до реки Мечи и начали искать великого князя, уже возвратившись с погони. Искали его долго, наконец нашли лежащим под ветвями срубленного дерева. От места побоища до реки Мечи верст тридцать слишком; неужели, пока русские гнали татар до Мечи и возвращались оттуда (вероятно возвращались они медленно вследствие усталости и обремененные добычей), Димитрий, не будучи раненым, все это время пролежал под "срубленным деревом?" Очевидная нелепость!

Великий князь стал объезжать поле битвы. По известиям современников, он был крепкого телосложения, высок ростом, широкоплеч, но чреват и тучен весьма. Весь доспех на нем был покрыт рубцами от неприятельского оружия. Но раны на нем не было ни одной. Осматривая побоище, он слышал стоны умиравших; он видел тела, наваленные как копны, и бежавшие потоки крови: много главных и храбрых воителей встретил он мертвыми на пути своем; он увидел своего воеводу Микулу, тысячского и князей Белозерских, отца и сына, и сродников их: они лежали вместе, как и пришли на кровавый пир. Заплакал над ними великий князь и говорил: "Братья, князья Русские! если имеете дерзновение ко Господу, молитесь теперь о нас, чтоб нам некогда быть вместе с вами!"

Узнал он между трупами много храбрых князей и военачальников; узнал и чернеца Пересвета: лежал схимник-удалец вместе

с неверным богатырем, и схима на голове отличала его. "Вот, братие, наш починальник! — сказал великий князь: — вот он, провозвестивший нам победу поражением подобнаго себе сильнаго, от котораго нам пришлось бы испить горькую чашу. Князья и сыны русские! местные бояре, сильные воеводы, дети всей Русской земли! так следует вам служить, а мне радоваться на столе своем, на великом княжении, и награждать вас. Теперь же да похоронит каждый своего ближняго и да не будут в снедь зверям тела христианския." Но так как победа осталась за русскими. Димитрий воскликнул тогда: "се день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в он!" Великий князь, узнав, что главной виной победы — Боброк, обратившись к нему, произнес: "брат Димитрий, истинно ты разумлив, неложна оказалась твоя примета. Тебе должно быть всегда воеводою!"

Восемь дней после того стояли русские на поле, которому суждена была неувядаемая слава в русской истории. Ратные люди разбирали тела, христиан отделяли от неверных, оставили татарские тела гнить на поверхности земли, а христианские предали погребению с обрядами. И воспели, говорит летопись, священники вечную память избиенным от татар на Куликовском поле, между Доном и Мечей; и великий князь с братом своим и все воинство пропели вечную память с плачем и слезами. На сердце у русских осталась скорбь о том, что еще не всех земляков своих тела могли они отделить от татарских и похоронить с честью: многим крещеным пришлось гнить вместе с обрезанными и идолопоклонниками. "Это за грехи наши попустил нам так Бог", говорили русские, вспоминая это обстоятельство.

Мамай бежал. Преследуемый новым соперником своим Тохтамышем, он искал убежища в Кафе. Генуезцы там и убили его. Ягелло не успел дойти к союзнику, и, стоя подл Одоевым, услышал, что русские разбили его союзника; он воротился со своими и не стал уже нападать на Москву. Олег бежал из Земли своей, а впоследствии покорился Москве. Русь торжествовала. Русь одной битвой, трудами одного дня покупала себе свободу от полуторавекового рабства. Но свобода не дается ни быстро, ни дешево. Через два года после того Тохтамыш, ниспровергнув державу Мамая и став сам ханом Золотой Орды, нагрянул на Москву: он искал возвращения прав ханских над строптивым рабом. Москва была разорена. Русь признала снова так внезапно сверженное иго. Зато Куликовская битва все-таки предуготовила на будущее время независимость Русских земель и открыла борьбу на жизнь и на смерть между славянами и татарами. Память об этой победе напечатлелась в русском духе. Много раз после того татары давали русским чувствовать себя, но впе-

чатление Куликовской битвы не умирало: Русь уже испытала, что можно не только отбивать грозных татар, но истреблять многочисленные их полчища; а в многочисленном полчище была вся сила, все могущество Орды. С памятью Куликовского побоища Русь возрастала и дожидалась лучших времен, и когда пришли они, Русь совершила над всей силой завоевательного полчища то, что сделала прежде на Куликовом поле над полчищем Мамаевым. Русь рассеяла, истребила, стерла с земли эту грозную завоевательную силу. Таким образом, победа Куликовская нравственным влиянием на дух народный стала как бы первообразным событием не только освобождения Руси от татар, но и обратного покорения первой последних, — господства Славянского племени над завоевательными и разрушительными племенами Средней Азии.

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА

Нападение Ивана Васильевича Грозного на Ливонию и падение ливонского ордена.

Успех распространения Московского государства на востоке повлек московскую политику в тех же видах на запад; привычка к расширению пределов Московской Земли, возникшая еще при Калите, в продолжение двух веков счастливо удовлетворялась захватом сначала русских земель, а потом огромного пространства восточного материка. Каждая удача возбуждала надежды и новые стремления. Прежние исторические отношения к соседям давали этим стремлениям поводы и поддержку. Собранная московскими князьями Русь начала разделываться с теми врагами, которые томили ее и делали ей зло в прежние века. Москва, покорив Новгород и Псков, наследовала от них прежние их политические отношения, и усвоила себе право продолжать и оканчивать начатые им дела и споры, восстановлять потерянное достоинство русского мира. От этого, как только Москве посчастливилось на востоке, она обратилась на двух соседей, имевших некогда столкновения с Новгородом и Псковом — на Швецию и Ливонию. Александр Невский, остановивший в XIII веке покушения этих соседей на независимость северных русских земель, как бы завещал окончательное дело начатых побед грядущим временам, когда Русь окрепнет и усилится. Недаром митрополит Макарий, приветствуя Иоанна после казанских побед, припомнил, как Бог пособил Александру латын победить.

При Иоанне Русь как будто вспомнила XIII век и покусилась расправиться с немецким племенем за его древнее недоброжелательство. Дела со Швецией и Ливонией были возобновлены Москвой, принявшей их в том виде, в каком последний раз вели их северные народоправные земли. Со Швецией у Новгорода вражда притихла с половины XIV века. Вражда Ливонии со Псковом неистово продолжалась до последних времен псковской независимости. О процессе со Швецией оставались охладевшие воспоминания; процесс с Ливонией еще не успел покрыться исторической плесенью. Сообразно этому, при Иване Васильевиче дело со Швецией началось и кончилось скоро; с Ливонией оно загорелось и превратилось в свирепый пожар, стоивший Русской Земле многих потерь, которые принудили ее отложить еще на долгое время окончательную развязку.

Соседи думали, что "Московия" возвышается им не на добро. Они предвидели, что древние недоумения оживятся. Пока "Московия", выброшенная из семьи христианских цивилизованных обществ, расправлялась со своими восточными врагами, она не была опасна Западу; но беда от "Московии" казалась неизбежна, если эта "Московия" усвоит западные приемы политики и войны; а между тем склонность к захвату, окрепшая в расширении пределов государства на восток, станет существом московской политики и московских понятий. Правило, какими средствами государство основывается, такими и держится, прилагаться должно было и к ней; история подтверждала везде и всегда справедливость этого правила. Так смотрели на Московское государство соседи и в видах самосохранения они не желали, чтоб эта держава познакомилась с плодами западного образования; им казалось, она прежде всего должна была воспользоваться ими на зло тех, от которых получит их. При том же у немцев в отношении к русскому миру образовались уже давно эгоистические привычки. И Ливония, и Ганза умышленно не допускали же северные общины до равенства с собой в цивилизации; немцы издавна препятствовали русским знакомиться с европейской техникой; немцам было выгодно держать Русь, так сказать, в черном теле. Что немцы и шведы наблюдали в старину по отношению к Новгороду и Пскову, то стали показывать теперь по отношению к московской державе. Оттого и Густав-Ваза, как только узнал, что англичане открыли путь по северному морю к Двине и стали привозить разные товары в Московию, испугался и писал, что обогащение России и ее возвышение будет пагубно соседям. Об этом знали в Москве. Пограничные споры, и прежде очень частые, в то время послужили поводом к открытой вражде. Тогдашние границы между Русью

и Швецией были определены еще в XIV веке. Река Сестра была пределом. Шведские пограничные жители нарушили эту границу: косили сено на русских землях, пахали там нивы и толковали, что границей должна служить не эта река Сестра, а другая — Сестрия. Эти пограничные недоразумения выразились рядом взаимных пограничных пакостей. Русские нападали на нивы и села за рекой Сестрой, а шведы на русских поселян. Шведы посадили на кол одного сына боярского; толпа шведских удальцов разорила важские погосты и напала на монастырь св. Николая в Печенге и таким образом коснулась святыни; а оскорбление святыни было уже достаточным поводом к войне между государствами.

Новгородский наместник, князь Димитрий Палецкий, по этому поводу отправил в Стокгольм Никиту Кузьмина. Его сочли там шпионом и задержали. За это Иван Васильевич приказал новгородскому воеводе князю Ногтеву действовать со шведами по-неприятельски. Новгородцы захватили вооруженной рукой места, принадлежавшие шведам, или считаемые ими за свои. Шведы новгородцев разбили. Успех этот ободрил шведское правительство. В сентябре 1555 года адмирал Яков Багге вызвался перед Густавом взять Орешек. Из Выборга отправились шведы двумя путями: по сухопутному пошли конные и пешие, а по Неве поплыли воины на судах. Так осадили они Орешек, и держали его в осаде три недели. Московским воеводой был какой-то Петр. Пока ратные люди, сидевшие в Орешке, держались в осаде и отбивались от шведов, московское войско, под начальством князя Ногтева, Шереметева и Плещеева, подошло на выручку Орешка и ударило на осаждавших; шведы дали отпор: передовой полк русский не устоял. Битва кончилась тем, что с обеих сторон пало человек по пяти или по шести.

В декабре царь снарядил большое войско подл главным начальством князя Петра Михайловича Щенятева; в войске должны были находиться и новоприсоединенные астраханские татары со своим царевичем Кайбулой Ахкубековичем. Но прежде открытия действий царь велел новгородскому воеводе Димитрию Палецкому написать в Выборг грамоту на имя короля; в этой грамоте предлагалось королю: пусть он либо сам прибудет на рубеж, либо пришлет лучших людей своих, и те привели бы виноватых, которые затеяли раздор, а русские бояре приведут тех русских, которые окажутся виновными в нарушении мира. Срок назначался на праздник Рождества[1]. Шведский

[1] "Если, — писал наместник, — ты, король Густав, не прибудешь и бояр своих не пришлешь, то кровь старых и молодых прольется от тебя, Густава короля, и твоих державцев, а не от нашего справедливаго государя, ни как от наместников его"... (Никон. лет. 253).

король искал тогда помощи у Ливонского Ордена. Но тогда в самой Ливонии происходили внутренние смуты. На собрании городов в Вольмаре посланник короля Густава представлял, что если Ливония ему не поможет, то он должен будет уступить Москве, и это отразится пагубно на Ливонии. Узнают ливонцы, что значит допустить Москве усилиться, да уже поздно будет. Ревельский синдик Клодт сильно держал тогда сторону короля. Однако, дело покончилось в Ливонии для него неблагоприятно. Ниенстет говорит, что ему просто отказали. По известию другого современника, ливонцы дали обещание шведскому королю помогать против москвитян, но не сдержали обещания. Шведский король, введенный в обман ливонцами, начал войну и понес потери, потому что ливонцы его обманули. Надежда на Ливонию и была причиной, что Швеция дала московскому правительству неуступчивый ответ. Выборгский наместник отписал на письмо новгородского наместника, что Багге напал на Орешек своевольно; при этом он заметил, что русские воеводы от него дрогнули. Про съезд он не упомянул ничего. Такой ответ показал русским, что шведы не думают уступать и намерены вступить в войну. Воеводы русские были в праве идти с оружием в Шведскую землю. Они пошли на Выборг. На дороге они послали отряд к городку Кинодепи; шведы сами сожгли этот городок и ушли; русские за ушедшими отправили погоню и пошли на Выборг; через какое жилое место они ни проходили, то место сожигали. Внезапно застигнутые жители разбежались; только уже под самым Выборгом, за пять верст от города, напал на русских шведский отряд; сначала, неожиданно ударив на передовой полк, смяли было русских, но сейчас же русские оправились; сами шведы попятились и стали в оборонительное положение между скалами. Тут царевич астраханский Кайбула прижал их со своими татарами, а Иван Борисович Шереметев зашел им сзади от города Выборга и ударил на них. Шведы, стесненные с двух сторон, были разбиты и разбежались. Русские гнались за ними до самого Выборга и много наловили в плен королевских дворян. После того все русское войско стало около Выборга и начало стрелять по городу. Три дня шла стрельба; на четвертый русские услышали, что из Стокгольма отправлены против них войска. Воеводы, в пору узнав об этом, отправили на встречу шведским силам отряд. За сто верст от Выборга, при Латрецком озере русские напали на шведов врасплох, — шведы не предполагали встретить неприятеля. Русские их разбили. Победители распустили свои отряды по окрестностям: они разорили край по обеим сторонам реки Воксы. Этим, однако, русские подорвали свои силы, и те, которые продолжали стоять под Выборгом,

не могли взять города. Только и могли удовольствоваться русские военачальники тем, что русские и татары, гоняясь во все стороны, ловили пленных и приводили их в лагерь. Было их такое изобилие, что мужчину продавали по гривне, а девку по пяти алтын. Успех войны измерялся вредом, какой причинит войско неприятельской земле: от этого русские хоть Выборга не взяли, а все-таки считали себя победителями, потому что много наделали пакостей в шведской земле. Иван Васильевич прислал в Новгород своего дядю, боярина Михаила Васильевича Глинского. Глинский написал шведскому королю надменное письмо; московский царь принимал тон победителя с побежденным. Последовал ответ, что король пришлет послов для переговоров, а русский царь пусть даст им на проезд опасную грамоту. Грамоту опасную послали. Прибыли шведские большие послы (архиепископ упсальский, епископ абовский и два государственных сановника). При переговорах с ними бояре, говоря от имени своего царя, унижали короля Густава. Они нарочно делали сравнения королевского рода со знатными людьми в Московской земле и отдавали последним преимущество[1]. С утверждением единовластия возвышалось значение государя; но вместе с тем поглощенные Москвой русские и инородные земли передавали ей потомков своих прежних правителей: потеряв власть, какую имели предки, потомки тщеславились, однако, воспоминаниями о них и, сделавшись слугами Московского государства, измеряли важностью происхождения свое место в службе московскому престолу. Царь согласился оставить прежний рубеж между русскими и шведскими владениями, но свое согласие приписывал своей милости.

Ливония страна слабая, с открытыми от Руси границами, гораздо более Швеции имела поводов страшиться возвышения Московии. Еще в 1539 году епископ дерптский сослал *неведомо куды* пушечного мастера за то, что тот хотел ехать в Москву служить царю. Подобное опасение высказалось еще резче делом Иоанна Шлитта в 1549 г., — делом, которое припомнило Ливонии московское правительство со временем. Рассказывают об этом согласно ливонские историки Геннинг и Грефенталь. Служа у великого князя московского, этот человек, саксонец по проис-

---

[1] Князь Федор Даирович и то Ибреима царя казанского внук, а князь Михаил Кисло и князь Михаил Горбатой и то суздальские князья от корени государей русских, князь Юрьи Михайлович Булгаков и то королю литовскому брат в четвертом колене, а ныне князь Михаил Васильевич Глинский и то был недавно, князя Михаила Львовича в немецких землях знали многие, Олексей Данилович Плещеев и то известные государевы бояре родов за тридцать и более... а про государя вашего, в розсуд вам скажем, а не в укор, котораго он роду и как животиною торговал и в Свейскую землю пришел, то недавно ся деяло всем ведомо"...

хождению, взялся доставить в Московию на службу разных полезных людей из Германии: художников, ремесленников и особенно знающих военное искусство. Император Карл V принял его ласково и позволил ему в Германии набирать желающих ехать в Россию. Тут была, между прочим, и задняя цель — водворить католичество в Руси; уже об отце Ивана Грозного было на западе такое мнение, будто бы он был склонен признать папское главенство и соединиться с Западной Церковью. Паспорт, данный Гансу Шлитту, выражался так: "мы благословили и дозволили упомянутому Гансу Шлитту, по силе этого писания, во всей нашей империи и во всех наших наследственных княжествах, землях и волостях, искать и приглашать разных лиц, както: докторов, магистров всех свободных искусств, литейщиков, мастеров горного дела, золотых дел мастеров, матросов, плотников, каменщиков, особенно же умеющих красиво строить церкви, копачей колодцев, бумажных мастеров и лекарей, и заключать с ними условия для поездки к великому князю русскому ни от кого невозбранно, во уважение к просьбам, обращенным к нам и к нашим предшественникам отцом нынешняго великаго князя — блаженной памяти великим князем Васильем Ивановичем и нынешним великим князем. Сверх того, дозволяем это и потому, что нам подлинно известно, что как отец, бывший великий князь, желал, так и сын, настоящий великий князь, желает покориться латынской церкви. Но право это дается нами с тем, чтоб Ганс Шлитт, под видом доставки набранных людей в Московское государство, не обратился с ними в Турцию, Татарию и вообще в какую-нибудь неверную землю, дабы неверные не научились искусствам и не употребляли бы их против нас".

Гиарн говорит, что Шлитт от имени царя обещал войну с турками: царь даст для того субсидии на двадцать лет и употребит на военные издержки пошлины и некоторые в своем государстве доходы. Император виделся со Шлиттом в Аугсбурге и там 31-го января 1548 года дал ему позволение. Шлитт собрал, по известиям ливонских историков, триста разных художников, а по бумагам кенигсбергского архива сто двадцать три (что справедливее) постройщиков церквей и крепостей, оружейных мастеров, литейщиков, живописцев, ваятелей и других ремесленников, да четырех богословов; о последних предполагалось, что они должны были научать великого князя и его бояр латинской вере и богослужению.

С ними он прибыл в Любек. Тут, по наущению ливонцев, его задержали, а ливонские города послали к императору представление о том, как опасно допускать в Московию ученых людей. Из грамоты императора Карла V видно, что любечане его за-

держали под предлогом старого долга, сделанного им еще прежде своего предприятия; его держали в тюрьме два года, несмотря на то, что сами кредиторы соглашались его отпустить; он убежал из тюрьмы, но его догнали в городе Расеборге и опять хотели посадить в тюрьму; однако, на этот раз он представил за себя поруку, — его обязали явиться к суду. Император не одобрял поступка любечан и подтверждал Шлитту право свободно ехать далее, особенно в том внимании, что великий князь московский нуждается в ученых людях, как для утверждения истинной веры, так и для защиты своего государства от неверных. Но Шлитт все-таки не достиг цели. Пришлось ему проезжать через Ливонию. Рыцари вместе с Советами городов задержали его снова и отправили к императору просьбу упразднить дарованное Шлитту позволение во внимание к опасности, которая грозит всему христианству. На этот раз доводы их у императора были уважены, — последовал такого рода декрет к гермейстеру ордена: "сим повелеваем твоему благочестию, не взирая ни на какие наши паспорты, не пропускать никого едущаго из нашей священной империи в Москву и другия земли и нации, и задерживать всякаго, кто станет туда проникать с нашими паспортами, а равным образом и Ганса Шлитта со всеми его бумагами, которыя он взял от нас, о чем известит нас или, в случае отсутствия нашего, нашего любезнаго брата, и дожидаться нашего о том решения". Лукавое намерение москвитян распалось в прах, говорит Гиарн. По известию, сохранившемуся у Грефенталя, один из мастеров, которых вез Шлитт, мейстер Ганс, пушечный мастер, с паспортом, написанным по-немецки и по-русски, хотел после этого пробраться в Русь в 1551 году, но в городке Шваненборге посажен в тюрьму. Ему удалось бежать из тюрьмы, однако, шваненборгский гауптманн, Марк Грефентален, дал знать по почте в пограничный городок Мариенбург тамошнему амтману Иоганну Бутлеру. Ганс схвачен за две мили до русской границы, возвращен назад в Шваненборг и там ему отрубили голову. У него нашли теорию его искусства, которая оказалась плоха и никуда негодна.

Итак, были уж причины нерасположения к Ливонии, нужен был только предлог, чтоб начать войну. Он в свое время и представился. В 1550 г. было отправлено в Москву посольство от дерптского епископа. Поводом к нему было то, что пятидесятилетнее перемирие, заключенное когда-то с московским государством гермейстером Ливонского Ордена Плеттенбергом, истекло: дерптский епископ послал просить продолжения. Царь согласился продолжить перемирие на пять лет и жаловался, что ливонцы протестанты, обращаясь неуважительно с католически-

ми церквами, разоряли и русские церкви, находившиеся в землях Ордена. Царь требовал, чтоб все разрушенные церкви были непременно восстановлены, чтобы православным людям было предоставлено свободное отправление религии, чтоб Ливонский Орден не препятствовал свободному обращению Московской земли с европейскими странами по торговле и ремеслам. Сверх того, заметили в Москве, что дерптское епископство исстари платило великим князьям дань в Пскове и следует продолжать этот старый обычай.

После того пять лет минуло. Епископ дерптский Иодек фон-Реке, посылавший к Иоанну в 1550 году, удалился из Ливонии. Человек благоразумный и практический, — он сообразил, что возраставшее московское государство скоро накинется на Ливонию, а в Ливонии средства самозащищения становились все слабее, да слабее: — и рассудил он лучше всего самому воспользоваться, чем можно, и убежать от зла. Епископ родом был вестфалец; Ливония была ему чужая. Он заложил епископские имения, собрал порядочную сумму денег и ушел в свою Вестфалию. Он первый показал пример другим; увидим, что ему последуют и другие сановники в Ливонии. Один современник, вспоминая этот поступок дерптского епископа, говорит в своем сатирическом стихотворении: "наши деньги пошли в Вестфалию по-суху и по воде; там им было привольнее, чем дома. Там господа наши построили себе богатые дома, крытые черепицами; а прежде у них в нашей земле были дома, крытые соломою. Вестфалия обогатилась, а Ливония погибла". — На место его поступил другой такой же иноземец из монастыря Фалькенау — аббат Герман фон-Везель. По известию Гиарна, это был человек ограниченный, бесхарактерный, при котором всякий из окружавших мог делать, что хотел. А между тем московский государь уже и Казань покорил, и Астрахань, и шведов проучил; только за Ливонией была очередь. Пятилетняя отсрочка оканчивалась. 6-го января 1554 года, на земском сейме в Вольмаре, епископ и гермейстер порешили послать в Москву посольство. Предварительно были отправлены два гонца спросить: примут ли посольство? Одним из гонцов был историк Ниенстет. "Мы пробыли семь недель в Москве, говорит он; нас прекрасно угощали и благополучно отпустили назад в Ливонию". За ними поехали в Москву настоящие послы. От гермейстера поехал Иоган Боккорст да Отто Гротгузен; от дерптского епископа Вальтер Врангель да Дидрих Кафер. Едучи по дороге к царской столице, немцы заметили, что в московской земле что-то готовится и замыслы московской политики обращаются на Запад. На каждых четырех или пяти милях видели они недавно отстроенные ямские

дворы с огромными помещениями для лошадей; еще более озадачили их целые обозы саней, тянувшихся к западной границе; на санях везли провиант, порох, свинец.

Они приехали в Москву в мае 1554 года. Их приняли ласково. Царь поручил вести с ними переговоры Адашеву и дьяку Михайлову. На этих переговорах послы предложили возобновить перемирие еще на пятьдесят лет. Москвичи именем царя своего сказали, что мир может состояться только тогда, когда царю выплатят должную дань. Послы изумились и сказали, что ни о какой дани никогда прежде не было речи. "Ливонская земля, — сказали им, — извечная отчина великих князей и ливонцы должны платить дань". "Ливония никогда не была покорена русскими", — сказали немцы, — "дань можно брать только победителям с побежденных, а известно, что ливонцы в прежния времена вели большия войны с русскими и мир заключали, следовательно, были независимы от русских, и в прежних мирных условиях никогда не поминалось о дани." Тогда бояре показали им договор с Плеттенбергом и говорили: "по прежним нашим престным целованиям постановлено было платить дань великому государю нашему; до сих пор государь по своему долготерпению не требовал ее, а как ни гермейстер, ни все ливонцы знать не хотят о ней, - так теперь государь не станет постановлять мира, пока вы не исполните крестнаго целования вашего и не выплатите дани за все годы, в которые вы ее не платили". Послы были так поражены этой неожиданностью, что, по выражению современника, не знали, что им отвечать, и только могли сказать: "мы в старых наших писаниях не находили, чтоб великому князю платилась дань, и просим, чтоб все оставалось попрежнему, а перемирие продолжим".

"Чудно вы говорите, — отвечали им, — неужели вы не знаете, что ваши праотцы пришли из-за моря в Ливонию и заняли эту землю силою и много крови за нее проливалось, и не хотя большаго кровопролития, прародители великаго государя дозволили им на многие века жить в Ливонии с тем, чтоб они за то платили исправно дань? Предки ваши на своем обещании были неисправны и не делали того, что следовало; теперь же вы должны представить полную дань за прежние годы, а если не дадите охотою, то государь возьмет силою".

Послы стали божиться, что не знают, в чем состояла эта дань.

— Так-то, — сказал им, — вы помните и соблюдаете то, что сами написали и своими печатьми запечатали! Целыя сто лет и больше вы и не подумали об этом и не постарались, чтоб потомки ваши с их детьми жили спокойно! Если же вы теперь вовсе этого не знаете, то мы вам скажем, что с каждаго ливонскаго человека

каждый год надобно платить по гривне московской, или по десяти денег.

Послы потребовали, чтоб им доказали по бумагам и по актам с печатями, действительно ли в древности была платима дань.

Бояре уверяли, что в бумагах и актах действительно значится, что дерптское епископство платило дань, но именно в каком размере, этого не могли ясно указать. У послов, говорит Ниенстет, чуть глаза изо лба не выскочили; у них не было на счет этого вопроса никакого наказа; нельзя было им просить и о сбавке количества требуемой дани; тогда значило бы, что они признают за псковским государством право получать какую-то дань. Они могли сказать только так: "мы не получили никакого наказа при нашем отправлении; власти наши не поручали нам об этом переговориться с великим князем".

Они просили отсрочить этот вопрос, пока получат о том более определительные сведения.

Но с московской стороны не поддались на такую увертку. — Что это? — сказали им бояре от лица царя и великого князя, — или вы считаете нас детьми, что так говорите? Вы знаете хорошо все дело и должны уверить нас, что дань будет заплачена через два года, по приговору мейстера и епископа. А чтоб вы не отвечали перед ними, если они не согласятся, то великий государь пошлет своих послов с грамотами; пусть мейстер и епископ отрежут те печати, которые вы приложите к договору, а вместо них привесят свои.

Тогда послы рассудили, что таким условием они могут избавиться от ответственности перед своими, и согласились. Царь приказал новгородскому наместнику князю Димитрию Палецкому закончить с ними договор.

Кроме вопроса о дани, возбудило тогда и другие русское правительство. Во время введения реформации в Ливонии, как упомянуто, фанатики протестантские пропагандисты, по своему обычаю, разрушая римско-католическую святыню церквей, не пощадили и православную. Таким образом в Дерпте, Риге и Ревеле разрушены были русские церкви, содержимые для торговцев, приезжавших туда. Это оскорбление святыни подавало русскому государю благовидный предлог вступиться за религию своего народа. Кроме того были недоразумения между немцами и русскими торговцами из Новгорода и Пскова. Русское правительство выставило тогда на вид послам все, к чему могло придраться и составило перемирный договор, как можно выгоднее для России, и при том в таком смысле, что Ливония уже представлялась страной, зависимой до известной степени от верховной власти царя. Послы, утешая себя оговоркой, что договор

будет иметь силу только тогда, когда уполномочившие их власти привесят к нему свои печати, ничему не противоречили. Относительно дани постановлено только об одном Дерпте с его волостью, что епископ в продолжение трех лет соберет дань по немецкой гривне с двора за все недоимочные годы и впредь будет платить постоянно, каждый год, а в случае он этого не исполнит, то гермейстер, архиепископ рижский, все епископы и весь Орден должны принять на себя обязанность взыскания дани и отсылки к царю. Русским гостям предоставляется свободная торговля; товары их не следовало ценить и брать с них пошлин, исключая пошлины с веса; таким образом не следовало крепко сжимать воск, чтоб не уменьшить веса; русские купцы имели право нанимать фурманов под товары в Ливонии, и с них не следовало брать пошлин за проезд. Не следовало воспрещать русскому ездить по какому угодно пути и не ставить ему в вину, если он своротит с дороги: надлежало русские церкви в Ливонии восстановить; русский конец в Дерпте и земли, принадлежащие церквам, отдать гостям новгородским и псковским. Ливония обязана была пропускать в Русь и из Руси всех иностранцев, едущих по делам в Москву и на службу к московскому государю, и немецкие чиновники не должны с них брать никаких пошлин за проезд. Равномерно дозволялся немецким купцам и послам въезд в земли Новогородскую и Псковскую; в случае споров и недоразумений не следовало арестовать и грабить произвольно торговцев: надлежало вести их на суд пред выборных с обеих сторон судей, которые имели бы свои заседания на пограничных пунктах — в Ивангороде и Нарве. По договору, ливонцы обязывались не сноситься с польским королем и литовским великим князем. Вот это-то последнее условие уже ставило Ливонию в вассальное отношению к царю, уже подрывало ее независимость.

Послы, согласившись, были отпущены в Новгород и там заключили подробный договор на таких точно основаниях с наместником новгородским, князем Дмитрием Федоровичем Палецким; с ним участвовали и печати свои приложили: псковской наместник, бояре новгородские и купеческие старосты (Алексей Дмитриевич Зырков и Иван Вурзунов).

Перемирие заключено на пятнадцать лет. Послы приложили руки и привесили печати, повторяя свою оговорку: что договор получит силу тогда, когда вместо них приложат руки и привесят печати мейстер ливонский, архиепископ рижский и епископ дерптский.

Такой решительный тон московское правительство приняло в отношении к Лвонии именно потому, что знало, как мало способна была эта страна защищать себя. Ливонский летописец,

Руссов, описывает тогдашнее ливонское общество изнеженным и растленным. Правда, в глазах сурового протестанта принимает предосудительное значение вообще веселость нравов; он ставит жителям в вину то, что они были охотники до пиров, танцев и увеселений.

Но вместе с этим неразлучна была лень, которая обессиливала общество и зарождала в нем гнилость и разложение. Между высшим классом и простым народом была ничем ненаполняемая бездна. Владельцы — пришельцы в Ливонской земле, немцы по происхождению, господа и поработители, — поселяне-туземцы порабощенные, забитые, бессильные и покорные дворянству, но в душе питавшие к нему закоренелую ненависть. Они не только не имели побуждения защищать своих владельцев, но всегда были готовы променять одних господ на других, когда бы явились эти другие господа с претензией заменить над народом власть прежних немцев. В рыцарях угас уже воинственный фанатизм; гражданский смысл не заменил его, — ему неоткуда было развиться; общество ливонское и в самом зародыше построено было не на гражданской почве. Всегда почти с военным сословием бывает такая судьба: как скоро воинственный дух в нем угасает, оно редко организуется само собой в гражданское, а скорее разлагается; личные эгоистические побуждения берут в нем верх над сознанием общего добра. Рыцари потеряли прежнее призвание распространять веру; уже в продолжение полутора столетий не было речи ни о войне с неверными, ни о проповеди веры посредством священного меча. Насильно поработив крещеных ливов, эстов и латышей, рыцари и духовные власти стали себе жить-поживать привольно, роскошно, на счет трудов побежденных, получали со своих земель хорошие доходы; даровой труд облегчал им издержки. Города процветали, потому что управляли торговлей севера и обращали в свою выгоду торговлю с русскими. Духовенство мало могло иметь гражданской привязанности к краю. Высшие духовные сановники были по большей части уроженцы Германии, приезжали на свои епископства, как на временную должность, и думали единственно о том, чтоб хорошо пожить и уезжать назад, на родину, когда надоест им в Ливонии. Вообще и дворянин, и духовный в Ливонии, немцы по происхождению, старались жить каждый для себя в свое удовольствие. Народ был покорен: опасности внешние не угрожали им, а потому потребность взаимной защиты не соединяла там немцев. Всем легко доставались способы хорошей жизни, и мало было поводов держаться друг друга. Развращение и изнеженность нравов естественно должны были водвориться там, где рыцари земли Ливонской, по древнему обету, должны были ос-

таваться неженатыми: при ослаблении прежнего фанатизма эта безженность должна была переродиться в разврат; за неимением жен рыцари держали любовниц, меняли их, бросали по вдохновению. Епископ или прелат свою любовницу, — когда она ему надоедала, — пристраивал за какого-нибудь бедняка, и давал за ней в приданое мельницу или кусок земли: таких охотников находилось всегда много; сам же пастырь душ брал себе свежую.

Пример дворян и пастырей, по сказанию ливонского историка, действовал заразительно и на городской класс; семейные связи считались ни во что; казалось ни почем бросить жену или передать другому; многие из горожан не стесняли себя брачными узами, а держали открыто любовниц, оставляли их, брали других; по множеству незаконных детей, терялось различие между законным и незаконным рождением. Иные не держали любовниц, а довольствовались обществом женщин веселого поведения; а таких женщин было большое изобилие (Meyerschen und Modtgeurschen).

Долгий мир, непрерываемый в Ливонии с Вальтера Плеттенберга пятьдесят лет, отучил целое поколение от опасностей войны, от необходимости взаимной защиты, от важных общественных целей. Пока еще католицизм был живее, он кое-как скреплял разнообразное общество, наплывшее в чужую страну из Германии. Но проникло туда протестантство и ускорило разложение этого общества. Почва для протестантства здесь была как нельзя более приготовлена. Фанатизм, которым и создалось, и держалось безжизненное, полумонашеское общество рыцарей, царствовал здесь некогда со всеми своими уродствами. Теперь он охладел, и при прежнем недостатке духовной религиозной неразвитости, при материализме способов благочестия наступило равнодушие к религии: католичество стало для ливонца тяжелой уздой, которую сбросить он всегда был готов, как только представлялся благовидный предлог. От этого протестантство нашло себе в Ливонии много прозелитов; в городах бюргеры принимали лютеранство; монахи бросали свои монастыри и делались светскими. Дворянство, в сущности будучи еще невежественнее, менее было религиозно, чем бюргеры, хотя долее держалось наружного католичества. Погруженное в свое материальное житье-бытье, дворянство не препятствовало распространению нового учения; для каждого в сущности было мало дела до того, как верит его сосед. Что касается до народа, то для него было все равно, будут ли его считать католическим или каким-нибудь другим; он не имел никакого понятия о вере, которую исповедывал. Предков его крестили насильно мечом и огнем; в его народной истории предания христианства не светились чем-нибудь отрадным: его

господа и пастыри довольствовались тем, что крестили его, а о научении его в истинах христианской веры не думали вовсе. Протестантство принималось в Ливонии не потому, чтоб религиозное чувство и смысл требовали обновления, а потому, что при малом значении сущности религии и при равнодушии к благочестию оно льстило материализму; в Ливонии протестантские проповедники также мало, исключая немногих, отличались сами нравственностью, подобно католическим, и держали у себя любовниц; суперинтендантов не было в этой Земле; проповедники жили по своей воле, проводили время в том, что разъезжали от одного владельца к другому, из одного прихода в другой, где им устраивали пиры; пастор бражничал с гуляками, и если не уступал другим в питье, о нем говорили: "вот прекрасный проповедник". Оставался ли простой народ в католичестве, или принимал протестантство: на деле он все-таки не выходил из загрубелого состояния. Для простого народа протестантский проповедник был лучше католического только потому, что менее последнего требовал от него исполнения религиозных обязанностей. Эсты и ливы, сохраняя по преданию заветные, хотя лишенные уже религиозного значения, обычаи языческих праотцов, не имели ни к чему благочестия, да и не видели его ни у дворян, ни у горожан. Браков между ними почти не было, говорит историк. Когда их укоряли за это, они говорили, что таков обычай их отцов и притом ссылались на примеры господ и духовных. Говорили даже, что господа потакали этому и начали смотреть вообще на крестьянских детей, как на незаконных, чтобы при случае распоряжаться достоянием их с соблюдением законных форм. Никто не любил ходить в церковь. В городах принявшие протестантство бюргеры не сделались охотниками слушать проповеди,особенно когда и пасторы не любили тратить время на краснословие. Единственно, чем выражалась религиозность, это были праздники, — тогда ничего не работали, ходили из двора во двор, пьянствовали и веселились. Бароны, дворяне, обеспеченные легко достающимися доходами, только в том и проводили время, что охотились, пировали, да ездили от одного к другому в гости. Дворянская свадьба, крестины в дворянском доме служили предлогом огромных съездов и пиров, продолжавшихся по таким поводам несколько недель. Летом местом увеселений были ярмарки. Со дня Михайлова, осенью, когда обыкновенно ландрейны давали плату своим господам за землю, наступало время съездов и пиров; тут испивалось пиво такими чашами, что в них можно было детей крестить. Опоражнивая эти чаши, один за другим гуляки хвастались тем, кто в силах всех перепить: такой молодец был героем пира. Эти осенние

празднества тянулись до самого Рождества. Тут случались и драки, и убийства: без этого при пьянстве и веселость не веселость. В городах такое же разгулье. Праздники Пасхи, Пятидесятницы, Рождества Христова проводили в шумном веселье. Между Пасхой и Пятидесятницей отправлялся с шумными обрядами и танцами праздник городских гильдий: каждая гильдия выбирала на год себе в так называемые короли того, кто попадал лучше других в цель. На Троицын день праздновался веселый maygreuen. Каждое воскресенье летом по поводу стрельбы в цель собирался народ — тут пьянство, и волокитство, и драки. В ночь на Иванов день вся Ливония освещалась потешными огнями; шумное веселье охватывало и дворцы, и деревни. Зимою, на святках, праздновалась елка; вокруг нее собирался народ на игры и пляски; шла шумная попойка. Так проводили время ливонцы. Ливонские женщины приобрели везде репутацию веселых, доступных, сластолюбивых. Современные любители прекрасного пола смотрели на Ливонию, как на обетованную землю.

С принятием протестантства положение простого народа не только не облегчилось, но делалось нестерпимее. Роскошь, хвастовство, обжорство истощили доходы дворянства; нуждаясь в увеличении средств, оно безжалостно налегало на порабощенных поселян. Туземец привык видеть немца не иначе, как с бичом в руках над своей шеей. Замотавшись, запутавшись в делах своих, немец добывал себе средства вывернуться и продолжал прежнюю комфортную жизнь, вымогая у бедного крестьянина ударами бичей и разными муками лишнюю против прежней пропорцию хлеба, кур, меда. И в то время, когда у дворян и горожан на их празднествах разливалось бочками пиво, бедные чухны и латыши питались скудным толокном и, в случае неурожая, грызли древесную кору да корешки. Ко всему этому, ливонские владельцы жили между собой в несогласии; и всегда такие несогласия, проявляясь своеволиями разного рода, отзывались на крестьянах отягчением их горькой участи. Надобно вообще заметить, что при веселости образа жизни, при распущенности нравов в характере ливонских немцев было много зверского, жестокого, несострадательного. Памятниками тогдашних нравов могут, между прочим, служить скелеты замурованных заживо людей, находимые во многих метах Ливонии. Так в 1774 году в Риге, в церкви св. Иакова, нашли внутри стены скелет мужчины в сидячем положении в шелковой одежде, в бархатной шапочке, вышитой серебром. Одежда его показывает, что это было значительное лицо, а покрой одежды XVI века. В 1775 году на Эзеле в Аренсбургском замке нашли также скелет в

сидячем положении; перед ним на маленьком столике сосуд для питья и следы хлеба. Во многих старых зданиях были находимы разные замурованные скелеты в замках — гапсальском, вейсенштейнском, асском; находили в стенах скелеты не только взрослых, но и детей; в рижском замке под землей нашли целую яму с детскими костями, а под воротами Иакова, в земле, склеп, где был скелет с тяжелыми цепями на руках и на ногах.

Такие черты тогдашних нравов составляли условия, неблагоприятные для защиты Ливонии в случае нападения сильного неприятеля. И неудивительно, что по вступлении русских войск в Ливонию чернь приставала к царю. В Московщине это предвидели и ловко вели дело; поймали в сети послов тем, что заставили их согласиться заключить договор; послы думали только о себе и не помышляли о последствиях для отечества, и потому были довольны каким бы то ни было средством, лишь бы лично самим казаться правыми и чистыми и, возвратившись домой, иметь возможность отделаться от своих, когда на них посыпятся обвинения; а в самом деле они-то и запутали свое отечество на будущее время. Московские бояре это понимали и потому так сильно домогались, чтоб договор был заключен непременно с этими самыми послами. Если б у москвичей в этом случае не было приготовленного плана и задней мысли, то они легко могли бы заключить этот договор и после, через своих послов, которые, как они и сами говорили, все равно, должны же были ехать в Ливонию ради окончательного утверждения того же договора. Но москвичи рассчитывали, что гораздо лучше будет, если московские послы явятся в Ливонии тогда, когда уже дело вполовину будет сделано в Москве; московским послам тогда будет на чем твердо упереться. Так-то ливонские послы и попали в просак.

Послов не слишком благодарили в Дерпте за такой договор. Дерптский епископ сейчас дал знать рижскому архиепископу и гермейстеру: Ливония пришла в ужас, тем более, когда в договоре было сказано, что в случае, если дерптский епископ не будет платить дани, то вся Ливония отвечает за это и должна принудить дерптского епископа к исполнению договора, т.е. к платежу. Архиепископ рижский к 13-му января 1555 года собрал депутатов от духовных и светских властей на сейм в Лемсаль — рассуждать о таком важном деле: следует ли признать за Дерптом обязанность платить дань московскому государю, или же надлежит воспротивиться этому общими силами? Не знаем, что выдумал этот сейм, но после него дело еще более запутывалось. Ливонии представлялся способ действовать взаимно со Швецией против России. Сами ливонцы прежде побуж-

дали Швецию. Но когда война у Швеции действительно вспыхнула, уже мы видели, как помогла Швеции Ливония, а по словам Гиарна, гермейстер рассуждал тогда, что для Ливонии будет хорошо, если два соседние государства станут между собой воевать; таким образом Москва забудет свои притязания и оставит Ливонию в покое. Расчет был самый неудачный и отозвался гибельно для страны, для которой гермейстер надеялся достичь выгод с ссоры соседей. Москва заключила мир со Швецией, и свободно обратилась на Ливонию.

В это время к большому удовольствию Москвы в Ливонии сталось междоусобие. Вот с чего оно зачалось. Гермейстеры всегда хотели иметь полновластие в стране, как над светскими, так и над духовными сановниками. Но духовные, то есть архиепископы и епископы старались удержаться независимыми от Ордена; от этого в истории Ливонии были нередки столкновения светских властей с духовными, особенно у гермейстера с рижским архиепископом. Держать в подчинении последнего гермейстеру было тем труднее, когда сам архиепископ или был по происхождению сыном какого-нибудь владетельного дома, или пользовался сильным внешним покровительством. Еще в 1530 году архиепископ Томас Шоннинг (сам сын местного бургомистра) назначил своим коадьютором маркграфа бранденбургского Вильгельма. От этого начались длинные распри и недоразумение. По смерти Томаса в 1539 году Вильгельм вступил в полное управление архиепископством. Водворение реформации усилило недоразумения и несогласия Ордена с архиепископом. Вильгельм не отличался фанатизмом и с терпимостью сносил распространение реформации; он требовал единственно, чтоб отступившие к лютеранству имения не выходили из-под его светской зависимости. По связям и родству Вильгельм был слишком силен для того, чтоб гермейстер мог тогда быть первым в Ливонии. Что касается до взгляда дворян и горожан на этот вопрос, то с распространением реформации вообще и у тех, и у других развивалось стремление, чтоб и духовные сановники, и сам гермейстер были сколько возможно менее значительны. В 1546 году на вольмарском сейме постановлено, чтоб архиепископы, епископы и гермейстеры отнюдь не назначали себе коадьюторов из германских владетелей, и если бы кто впоследствии поступил вопреки этому постановлению, то капитулы, рыцари, города и все подчиненные обязаны не оказывать тому повиновения и подавать помощь против него. Сам Вильгельм подписал это постановление, потому что был в стесненных обстоятельствах, в явном раздоре с городом Ригой. Но после, когда уже со стороны Московского государства были заявлены притязания, грозив-

шие войной, тот же архиепископ убедил капитул пригласить коадьютором Христиана принца мекленбургского, с тем, чтоб он был ему преемником в архиепископском сане. Этот поступок, противный постановлению вольмарского сейма 1546 года, оправдывался тем благовидным предлогом, что тогда Ливонии угрожала опасность от Московии, и в таком положении необходимо иметь сильную поддержку, а следовательно, поставить на архиепископское достоинство лицо с важными связями будет полезно для общей защиты. Гермейстер собрал земский сейм в Вендене, объявил поступок архиепископа противозаконным и послал своего новопоставленного командора динабургского, Готгардта Кетлера, в Германию набирать войска для войны с архиепископом. Поднялось междоусобие. Ландмаршал Яспер фон-Минстер, раздражившись тем, что не его, а командора феллинского, Вильгельма Фирстемберга, сделали коадьютором гермейстера, пристал к архиепископу. Город Рига, город Дерпт, дерптский епископ и некоторые духовные власти держались стороны Ордена. Под Кокенгузеном архиепископ и его нареченный коадьютор Христиан были взяты в плен; гермейстер посадил их в замок, но за них заступился польский король. Вильгельм был племянник Сигизмунда-Августа, да притом в Ливонии тогда убили польского гонца Лонского. Было таким образом два предлога ко вступлению польских и литовских войск в Ливонию.

В таком запутанном положении находились дела Ливонии, когда в Дерпт прибыл в июне 1556 года московский посланец, Келарь Терпигорев, человек упрямый и хитрый *(ein troziger verwogener Mann)*. Московское правительство часто выбирало людей для поручений, применяясь к их характеру. Здесь, кажется, оно поступило именно так. По обыкновению, посол привозил подарки. Келарь Терпигорев вез дерптскому епископу очень странные подарки, — было у него три вещи: шелковая епанча, две гончих собаки, да узорами вышитое сукно. Как будто бы этими подарками хотели сказать: как хотите, так и смекайте! И на разные способы толковали об этих подарках ливонцы — говорит современник.

Посла поместили в доме какого-то Андрея Ваттермана, на рынке. На другой день позвали его на аудиенцию в замок: там уже епископ собрал ландратов (земских чиновников) и комиссию из епископского и городского советов. Тут же сидели писаря.

Посол сказал:

"Царь и великий князь всея Русии Иван Васильевич приказал спросить о здоровье епископа и гермейстера. Присылали вы к нам в Москву послов ваших к царю и великому князю всея Русии и просили продолжить мир, и государь, царь и великий

князь их пожаловал мир им дал; а они поднесли государю за своею печатью грамоту, которую государь им приказал написать с тем, что после епископ и гермейстер печать послов отрежут, а привесят свои печати — епископскую и гермейстерскую. Приказал мне государь недолго здесь оставаться".

Епископ поблагодарил его, изъявил свое удовольствие о царском здоровье и отпустил посла в его помещение. Посол, чтобы поторопить немцев к решению, повторил еще: "если мне скоро не будет ответа, то я уеду без вашего ответа, ждать не стану".

Начались толки в совете. Многие увидели, что послы поступили опрометчиво, и тем завязали узелок Ливонии.

"Господа! — сказал один из членов совета, Якоб Краббе, — если мы привесим свои печати к этому договору и обяжемся платить дань, то пойдем в неволю с нашими женами и детьми, либо Землю нашу разорят и выжгут".

На многих навела уныние эта речь. Дерптский бюргермейстер Генк сказал: "по моему мнению, тут и толковать не о чем; что постановили и припечатали, то и должны мы исполнять, а иначе московитяне силой нас заставят исполнить".

Но тогда канцлер епископа, Юрген Гольцшир встал с места и сказал:

"Господин бюргермейстер! Вы можете лучше рассуждать о льне и козлиных шкурах, чем о таких предметах. Московский государь тиран и может с нашей Землею такую штуку пошутить и такой вред ей нанести, что мы теперь и предвидеть всего не в силах. Я думаю, мы должны привесить свои печати и обязаться платить дань, но на самом деле не будем платить ее никогда. Московский царь — мужик и не поймет, как мы внесем дело в имперскую камеру; все, что здесь постановится, там уничтожится. Позовем опять московскаго посла, прикажем оратору прочесть вслух нашу протестацию, а потом прикажем написать ее в том смысле, что мы без согла́сия римскаго императора не в праве обязаться платежем дани, и поэтому оратор протестует во имя его императорскаго величества, как верховнаго леннаго государя Ливонской страны, против такой невыносимой, насильно вымогаемой на нас дани. Затем, внесем наш протест к его величеству римскому императору. А меж тем, насколько это в нашей власти, мы согласимся приложить наши печати к грамоте и отдадим ее московскому послу".

Совет показался удачным, потому что был хитер. Немедленно же послали с почтой к императору просьбу отправить к московскому царю посольство и отвратить грозящее Ливонской земле зло.

Терпигорева снова призвали и отдали ему договорную гра-

моту с новым печатями, приложенными вместо посольских. Вслед затем оратор прочел перед ним свою протестацию, а писаря стали ее записывать.

— Что это один говорит, и что это другие записывают? — спросил Терпигорев толмача.

Толмач объяснил ему:

— А какое дело моему государю до императора? — сказал Терпигорев сердито. — Дали мне грамоту — довольно; не станете государю дани платить — сам соберет.

Кладя в карман грамоту, Терпигорев с насмешкой сказал: этого маленького ребенка надобно кормить калачом и поить молоком; вырастет, заговорит, — много добра принесет нашему царю! — Смотрите, — прибавил он, обращаясь к бюргермейстеру (Иоганну Дорстельману), — припасайте, дерптские советники, денег, а то ребенок как вырастет, так денег потребует!

Этот насмешливый тон раздражил было советников. "Мы", говорили некоторые, "припечатали Ливонию московскому царю! лучше сто талеров потратить на войну с московитянами, чем один талер дани заплатить!"

Но Юрген Гольцшир успокаивал их:

— Только дело дойдет до императорской камеры — император поставит московитян в границы!

Терпигорев, пришедши на свою квартиру, провожаемый немецкими гоф-юнкерами, еще раз сострил к досаде немцев. Отдавая своему подьячему или слуге грамоту, он сказал:

— Смотри-ж ты у меня, береги этого теленка, чтоб он вырос велик и разжирел.

Московитяне в глазах немцев завернули своего теленка в шелковую ткань и уложили в обитый сукном ящик.

Немцы угощали посла почтительно и щедро: давали ему и рыбу, и дичину, и яйца, и коренья, и вином поили, и присылали к нему двух своих для беседы. Терпигорев казался доволен и благодарил за хлеб-соль. Но после обеда пожелал он еще раз поговорить об одном деле в совете. Ему назначили новую аудиенцию на другой день. Он явился на эту аудиенцию в назначенное время. Прежде чем стали толковать с ним о деле, угостили его лакомствами в особой комнате, а потом уже пригласили в ревентер — залу совета. Терпигорев вошел туда не один, но с каким-то русским.

"В вашей земле, на псковской дороге, — стал он говорить, — у этого человека убили брата; при том у него, как он сказывает, отняли столько сот талеров.Он уже епископу жаловался, а по крестному целованию меж нами, если в Руси или в Ливонии кто будет убит разбойниками, то вся околица того места, где убий-

ство станется, либо заплатит ближним убитаго столько, сколько стоят пограбленные животы, либо убийцу выдаст. Вот уже долго он просит у епископа управы и не получает ее; пошлите же ваших людей с ним вместе к епископу; пусть епископ велит выдать ему деньги, а я скажу государю, что вы, Совет дерптский, и все ваши люди, поступаете во всем по праву — по крестному целованию".

Совет послал одного господина к епископу вместе с русским истцом. Посланные возвратились и принесли известие, что епископ желает пособить русскому; но люди той околицы, где случилось убийство, живут за много миль от Дерпта; нужно будет этих людей выписать сюда, а на это время надобно будет подождать.

Терпигорев обратился тогда к Совету с такой просьбой:

— Ждать мне долго нельзя. Пусть Совет будет так добр, отдаст теперь же деньги русскому истцу, а с тех получит, кто платить обязан.

— У нас нет в наличности столько денег,— отвечали советники.

— Если бы вы, — сказал посол, — хотели оказать русскому человеку это добро, то могли бы это сделать; мне известно, что у вас под ратушей стоит двенадцать бочек золота.

Некоторые засмеялись. Иоганн Дорстельман, бюргермейстер, сказал:

— Может быть, там и есть деньги, да ключей нет у нас: одни у города Риги, другие у города Ревеля: без их воли нельзя притронуться к этому золоту.

Терпигорев не стал более настаивать и сказал:

— Ну, так напоминайте же епископу, чтоб из ваших грамот и печатей вышло вам добро — а это будет тогда, когда вы дань заплатите, иначе станется вам несчастие великое!

С этими словами он простился и уехал.

Через год следовало платить, ибо два года со времени заключения договора послами в Новгороде уже истекло. На следующий 1557 год Орден показал свое бессилие перед польским королем. Когда, отмщая за своего гонца и требуя освобождения рижского архиепископа и его коадьютора, Сигизмунд-Август объявил войну, Ливонию пришли защищать чужеземные войска, а сами ливонцы до того отвыкли от военного быта, что смотрели, как на редкость, на пришедшее к ним войско в вооружении, и удивлялись непривычному для них барабанному бою.

Скоро увидел Орден, что нет возможности бороться с Сигизмундом-Августом, и уступил ему; задержанные духовные были выпущены. Христиан признан коадьютором; гермейстер явился в Вильно принести покорность королю. Эти события подавали русским надежду, что дела в Ливонии пойдут для них

как нельзя лучше, а для Ордена как нельзя хуже. Но зато после примирения с Сигизмундом-Августом гермейстер заключил или, лучше сказать, возобновил старинный союз с Польшей и Литвой: обе стороны обязывались действовать взаимно, в случае нападения общего их прирожденного врага — московского государя.

Это было новое раздражение Москвы и новый предлог ей прицепиться к Ливонии.

Дерптский епископ и Совет перерывали старые свои книги и акты, чтоб отыскать в них, какую это дань требует московский царь. Они нашли только, что действительно в древние времена те ливонские жители, что проживали на черте пограничной с Псковской землей, пользовались правом ставить в лесу на Псковской земле борти; за это они должны были платить Пскову что-то такое. Да сверх того отыскали еще в старых бумагах, что когда-то, в древности, город Дерпт давал в церковь Живоначальной Троицы в Псков каждогодный дар, и все-таки не могли решить: что это было такое, платилось ли это за пользование тем, что принадлежало, как собственность, св. Троице, или же то было не более как благочестивое приношение, от частого повторения ставшее обычаем. Во всяком случае, в дерптских архивах более ничего другого не оказалось в роде дани; а то, что там нашли, не казалось им такого рода данью, какой требовал царь. И вот в марте 1557 года отправили в Москву послов Гергардта Флемминга, Валентина Мельхиора и Генриха Винтера (по русским летописям, Валентина, да Мелхел, да писаря Гануса) просить, чтоб царь сложил дань по гривне с человека. Но в Москве казалось уже не своевременным вдаваться в археологические изыскания о дани; там сочли достаточным довольствоваться одним последним договором. Он сам по себе составлял уже неоспоримый документ; дань должна быть платима по силе этого договора, все равно, справедливо или несправедливо попала она в этот договор. Те же доверенные, которые переговаривались и прежде, окольничий Алексей Адашев и дьяк Михайлов, сказали послам: "по перемирным граматам и по нашему челобитью государь на вас дань положил, и послы ваши крест целовали, и бискуп юрьевский крест целовал пред послом наместника новгородскаго Келарем Терпигоревым — платить дань по гривне с человека опричь церковных людей! Как же вы теперь просите сложить дань? Третий год исходит, а вы не исправились в своем целовании; так знайте же, что государь сам будет собирать дань на мейстере и на всей Ливонской земле.

И послы уехали обратно; они не удостоились даже быть у государя. Бреденбах говорит, будто бы тогда царь пригласил

их и через переводчика укорял в том, что они заслужили гнев Божий за то, что оставили прежнее благочестие, разоряли церкви и изгоняли священнослужителей.

Вслед затем московское правительство запретило ездить в Ливонскую землю русским торговцам; позволило, однако, приезжать в Русскую землю немцам, вероятно потому, что трудно было различить, кто был из Ливонии, кто из других стран Германии, а русское правительство не хотело ссориться с другими иноземцами.

В ноябре вслед затем последовало грозное объявление войны. Царь обращался в своей грамоте к гермейстеру, к рижскому архиепископу, к дерптскому епископу и ко всей Ливонии; припомнил прежние условия договора, обязательство платить дань, не сноситься с поляками, возобновить русские церкви; ссылался на крестное целование, на утверждение договора перед Терпигоревым, на неоднократные увещания, которые им делались из милосердия, ради пощады крови христианской; — в заключение говорилось в грамоте: "и так как вы божественный закон и всякую истину оставили, не помышляете о крестном целовании и презираете нашу милость и милосердие, то мы разсудили, при помощи Божией, ради нашей правды и вашей неправды, оказанной к великому кресту, мстить вам и наказать вас за ваши беззакония. И если, по воле Божией, с обеих сторон кровь прольется, то не по нашей вине, а по вашей неправде то станется. Мы, христианский государь, не радуемся о пролитии невинной крови — ни христианской, ни неверной. Познайте вашу неправду. Мы извещаем вас о нашей великой и могущественной силе сею грамотою нашею, которою объявляем вам войну".

Грамота эта прислана в Ливонию в ноябре 1557 г. Она там наделала суматохи, страху. Гермейстер собрал сейм в Вендене. Ясно было, что никакие увертки не помогут. Надобно платить дань. Выбрали двух послов (по Руссову, дворянина дерптского округа Клауза Франке и Элерта Крузе; по Фабрицию — Иоанна Таубе и Элегарда Краузе; по русским летописям — от гермейстера Клатус да Томос да Мельхер, а от бескупа юрьевского Елерт да Христофор да Влас Бека). Эти послы прибыли в начале зимы в Москву. Алексей Адашев и дьяк Михайлов, как и прежде, были назначены в ответ к ливонским послам.

Послы изъявили готовность платить дань, но хлопотали: нельзя ли вместо поголовной дани брать определенными суммами. Бояре уступили в последнем и договорились с ними на том, чтоб не брать поголовной дани, как постановлено в договоре, а заплатить за прежние недоимки и за настоящий трехлетний долг валовую сумму, по русским летописям, сорок пять

тысяч[1] талеров, а по Руссову сорок тысяч. Впредь епископство дерптское обязывалось каждый год выплачивать по 1000 венгерских золотых беспереводно. Но когда царь потребовал от них денег, они сказали, что у них их нет. "Так вы только хотите изволочить дело", так говорили русские, обличая их, — "что же, вы нас дураками считаете что ли. Ступайте-ж себе домой, а царь сам пойдет собирать дань". Русские купцы имели свои выгоды от торговли с Ливонией, им не хотелось войны, и они предложили дать ливонским послам взаймы требуемую царем сумму, но царь запретил своим подданным давать деньги ливонским послам под смертной казнью. Послы соглашались остаться сами в Москве заложниками до тех пор, пока будут присланы из Ливонии деньги. Московское правительство не позволило и этого: Москве было приятно, что Ливония оказалась несостоятельной; представлялась возможность не только взять с нее значительную сумму денег, но и самую страну покорить. Послы поневоле должны были ехать с печальным известием, что вслед за ними пойдут ратные люди московского государя разорять Ливонию. Фабриций прибавляет, что на прощанье им подали за обедом пустые блюда, за то, что они приехали с пустыми руками.

Часто перед великими несчастьями записываются в летописях таинственные явления и предзнаменования. И в Ливонии перед нашествием московской рати было подобное. За год перед тем показалась на вечерном небе огромная комета с длинным хвостом. Бог показывал этим будущую свою кару, говорит летописец, следуя верованиям века. Явился в Ливонию странный человек; назывался он Юрген. Откуда он был, никто не мог допроситься у него. Знали только, что появился он из верхней Германии и пришел в Ливонию через Пруссию и Польшу. В жестокий мороз ходи он бос, без штанов, в одной блузе; по плечам у него скатывались длинные волосы. Его босые ноги сохраняли странную теплоту: снег таял у него под подошвами. Он не принимал ни платья, ни обуви, когда добрые люди давали ему; не брал он также даром ни пищи, ни какой бы то ни было подачки, но охотно соглашался работать и получать пищу за свою работу, — работал он так, что в один день мог сделать то, чего другой не сделает в четыре дня. Поселяне смотрели на него как на чудо. Во время работы он останавливался, целый час лежал, припав к земле, и молился, чтобы с новой силой приниматься за работу. Он ходил в церковь, а когда к нему обраща-

[1] "За прошлые залоги и за нынешний подъем полпятадесят ефимков, а московская осмнадцать тысяч рублев". Никоновск., 294. Львовск., 191.

лись священники, то называл их лицемерами. — Зачем ты ходишь по Ливонии? — спрашивали его. — Меня Бог послал возвестить ливонцам наказание за их подлость, роскошь и праздность, — отвечал он. Перед нашествием московитян он исчез без вести.

22-го января войско великорусское вторглось в Ливонию и пошло гулять по ней по разным направлениям. Начальником войска был Шиг-Алей, бывший царь казанский. Все войско состояло более из татар и черкесов[1], чем из природных русских. Отпора не давали ливонцы. Русские делали, какой хотели, вред безоружным и беззащитным жителям; прошли на полтораста верст в длину параллельно с литовским рубежом, и в ширину на сто верст разными отрядами. Укрепленных мест не трогали, а нападали на малые посады, сожигали их; жителей одних убивали, других в плен брали. Прогулявшись по Ливонии[2], отряды соединились с главным войском, которое под начальством Шиг-Алея шло к Дерпту. Они взяли без затруднений город Костер (на восток от Дерпта — Koster). Там не нашли не одного человека: все разбежалось. Отсюда они подошли к Дерпту. Из Дерпта выслали было против них отряд человек в пятьсот, но этот отряд был разбит наголову. Простояв три дня у Дерпта, русские опять разошлись отрядами: одни пошли к югу по рижской, другие — по колыванской (ревельской) дороге. Сам Шиг-Алей пошел за реку Омовжу, к морю. Из Раковора (Везенберга) и Муки (Фалькенау) вышли было ливонские отряды и были разбиты. Русские пожгли посады городов Муки (Фалькенау), Лаиса, Аспилуса (Эйсикул), Поркела (Пиркельн). Сам Шиг-Алей, идя по направлению к морю, потом поворотил вправо к Ругодиву (Нарва). Окрестности Ругодива были уже выжжены и опустошены князем Шестуновым, который выходил из Иван-города. Потери в этих русских отрядах были чрезвычайно малы[3]. Дру-

---

[1] "И отпустили наперед себе воеводу князя Василия Ивановича Борбошина, да князя Юрья Петровича Репнина, да Данила Федоровича Адашева, да с ними же отпустили татары Уразлы князя Канборова, да Епара мурзу Ибачева, да Кепичь мурзу Салнаглычова, да с ними же головы с детьми боярскими, и головы с казанскими татары и новокрещеными, и черкас пятигорских, княжь Ивановых и княжь Васильевых людей черкасских князей, и стрелцов и козаков... и татар, и черкас, и мордву". Никон. лет. VII, 297, 298.

[2] ..." Воевали девять ден, а пришли на сидячие люди, а у Новаго городка (Нейгаузен), и Керекепи (Киремпе) и у городка Ялыста (Мариенбург allucksness-bans); да у городка у Курслова, да у Бабья-городка (Ульцен-Вибина), посады пожгли и людей побили многих, и полону безчисленно множество поимали". Никон. лет., 297.

[3] "Дал Бог, везде немцев побивали, а государевых людей побили под Курсловым в воротех Ивана Ивановича Клепика Шеина, да в загонех и в иных местех пяти сынов боярских, да стрелцов десяти человек да трех татаринов, да боярских человек спятнадцать, а иные люди дал Бог все здоровы, а немецкую землю повоевали и выжгли, и людей побили во многих местах, полону и богатства множество поимали". Никон., VII, 299

гие отряды воротились к Нейгаузену и вошли во псковскую область. Более всех была опустошена дерптская провинция: это значило, что за неисправность в платеже дани государь послал своих людей собирать с нее дань. Ратные люди сожигали села, деревни и посады дотла, истребляли хлеб в скирдах и амбарах, загоняли скот в загоны и там его сожигали; малых детей, моложе десяти лет, прокалывали копьями и втыкали на плетни; не щадили и тех, которые были старее двадцати лет, терзали их страшными муками, например: связав, насыпали им на бока порох и зажигали его; других обмазывали горячей смолой и зажигали; беременным женщинам вырезывали утробы и вытаскивали из них младенцев; красивых женщин насиловали; иных из них после того уводили с собой и продавали друг другу; других замучивали затейливыми способами, как, например, обрезывали им сосцы, привешивали к деревьям и расстреливали стрелами; у детей вырывали сердца, вешали на деревья и стреляли в них из лука. В плен брали обыкновенно только юношей и девиц, от десяти до двенадцати лет от роду.

Все такие злодеяния делались только над жителями немецкого происхождения. Испуганные толпы бежали в укрепленные города. В Дерпте набилось их так много, что нечего было им есть, негде было поместиться. Толпы скрывались в городских рвах. Зимняя стужа была в тот год чрезвычайная. Многие без пристанища замерзали; многие погибли от голода. В это время московские ратные люди подошли к Дерпту и, увидев, что во рвах скрывается народ, бросились было на него и стали убивать. Жители, запершись в замке, не смели подать помощи несчастным, а только стреляли по московским воинам со стен. После трех дней, как сказано выше, русские ушли. Неотрадна была судьба тех, которые уцелели в этой бойне и могли выползти изо рва живьем: они узнали, что сожжены их дома в близких деревнях, откуда они приехали в Дерпт; хлеб, скот, все имущество истреблено; ни пристанища от стужи, ни куска хлеба; и пришлось им погибать мукой, более продолжительной, чем от московского оружия. Руссов рассказывает при этом, что во время нашествия московских людей множество рыцарей собралось в Ревеле к одному барону на свадьбу. Этот барон хвастался, что он сделает гостям такой праздник, что дети будут вспоминать о нем. Но вышло, — замечает летописец, — что настало вместо праздника такое горе, о котором дети наших детей будут вспоминать с ужасом.

Ни гермейстер, ни епископ не выходили на войну. Ливония была безотпорна; в течение сорока дней могли в ней безнаказанно свирепствовать московские люди с полным презрением к не-

мцам. Курбский, бывший тогда в сторожевом полку в войске, говорит: мы воевали целый месяц и нигде ни пришлось нам биться. Вошли мы в их землю от Пскова; воевали вдоль миль на сорок по Ливонской земле и вышли здоровы из их земли в Иван-город и принесли с собой много корыстей[1].

Шиг-Алей, воротившись из Ливонии, получил приказание приостановить военные действия и послал к дерптскому епископу написанное к ливонцам воззвание. Оно было сочинено в таком смысле: "Вы, ливонцы, не исполняли обета своего и долга перед государем, царем всея Руси, и за то государь царь всея Руси послал на вас рать свою. Случилась-было война и кровопролитие. Вы, ливонцы, сами своею неправдою навели это горе на свою Землю. Вы ничего не сделаете против царской силы. Итак если хотите, чтоб ваша Земля не была в разорении, советую вам, посылайте скорее посольство с обещанными деньгами к государю, поклонитесь ему и просите у него милости; а я, со всеми воеводами, князьями, стану просить государя, чтобы он не велел проливать в Ливонии человеческой крови.

Уже ливонцы и без того были готовы откупиться деньгами от беды; они испытали, что увертками нельзя отделаться от московского государя, и заступничество императора, на которого иные так было рассчитывали, не заслонило их от московской и татарской рати.

По получении письма Шиг-Алея, епископ снесся с гермейстером, и в Вендене в великий пост собрался чрезвычайный сейм. Сначала бароны разногласили и спорили. Одни говорили: "соберем войско, и после Пасхи, как откроется весна, пойдем опустошать Московскую землю, отомстим за пролитие нашей невинной крови. Наши отцы обращали в бегство этих варваров; и теперь они не так сильны, чтоб нельзя было их победить и одолеть".

Но другие говорили: "если мы будем воевать, то война повлечет нас к издержкам и тратам: враг силен, купленный несправедливый мир лучше справедливой войны. Лучше соберем талеров тысяч шестьдесят и пошлем царю; это еще не такая потеря, чтоб не могла вознаградиться во время мира и тишины".

---

[1] Вот как рассуждает Курбский о нравственных причинах, доведших ливонское общество до таких бед: "Понеже там земля зело богатая и жители в ней быша так горды зело, иже и веры христианския отступили, и обычаев, и дел добрых праотцев своих поудалились и ринулись все к широкому и пространному пути, сиречь к пьянству многому и невоздержанию, и ко долгому спанью, и лениству, к неправдам и кровопролитию междоусобному, яко есть обычай презлых ради догматов, таковым и делам последовати. И сих ради мню, и не попустил им Бог быти в покою и в долготу дней владети отчизнами своими". Курбский, I, 69.)

Тогда на небе страшно блистала комета; наводила она страх своей продолговатой метлой и зловещими, мертвящими лучами. Мнение в пользу мира одержало верх.

Но денег достать было не так легко. Орден недавно потратился в междоусобной войне с архиепископом, а потом в войне с поляками. Архиепископ не мог собрать доходов со своих имений. Казна дерптского епископа была подорвана его предшественником, который не только увез с собой то, что было в наличности, но еще заложил епископские имения. Города взялись тогда выручать Ливонию из беды. Ревель, Рига и Дерпт сделали складчину и собрали, по известию Руссова, 40.000 талеров, а по известию Ниенстета 60.000. Последнее сказание должно быть вероятнее, потому что Ниенстет был при этом действующим лицом. "Город Дерпт дал 10.000 — я сам считал эти деньги", говорит Ниенстет; "таким образом было тогда по записке вложено всего-навсе 60.000 талеров: я сам находился при этом, а мой тесть, бургомистр, Дитмар Майер, дал от себя 500 талеров".

Прежде всего отправили передового гонца просить об опасной грамоте для послов, которого летопись русская называет Степаном Лыстаревым, немчином.

Сохраняя вид справедливости, московское правительство хотело постоянно держаться такого тона, что не желает войны, ведет ее только по крайней нужде и всегда радуется возможности примириться; поэтому оно приказало немедленно прекратить всякие военные действия, и гонец, возвращаясь из Москвы, получил письмо к гермейстеру и ко всей Немецко-ливонской земле. В письме объявили "путь чист" послам для приезда и отъезда.

Послами отправлены были четверо особ от гермейстера, а двое от епископа, да с ними были канцелярские чиновники[1]. Ливонцы знали, что Москва негодует более против лютеран, чем против католиков. Московское правительство казалось раздраженным за оскорбление церковной святыни, — это обстоятельство более всего доставило ему благовидности в его придирках; а оскорбления святыне в русских церквах причиняли не католики, но протестанты, ругаясь над русскими церквами зауряд с католическими. Протестантское иконоборство равным образом возбуждало омерзение в русских православных, как и в благо-

[1] От гермейстера в русских летописях послы называются: Федор Фершер, Бетрех (в Никон. Бестрех), брат маистров, да Клуада (в Никон. Клюс) Симон да Мелхер. — Львов., 221. Никон., 309. (Готгард Фирстенберг и Иоанн Таубе) — Richter, I. Th. II, S. 323.

честивых католиках. Казалось благоразумным отправить в Москву таких послов, которые бы имели в этом деле с москвичами общих врагов и к этим врагам могли бы высказать москвичам одинаковое негодование. Поэтому-то от епископа был выбран послом дерптский декан, доктор Вольфганг Загер, ревностный католик. Он ехал, без сомнения, с тем, чтобы расположить царя к католической Ливонии и всю вину свести на лютеранскую партию; но отъехав пятьдесят верст от литовской границы, этот будущий миротворец умер. Место его заступил сопровождавший его дворянин (называемый в русских летописях Ганусом), также католик. Они приехали с деньгами в Москву не прежде половины мая, но тогда уже оказалось поздно[1]. Успело случиться такое событие, которое все дело поворотило иначе.

Воеводы, что находились в Иван-городе, получили царское приказание не воевать Нарвы, а дожидаться пока чем-нибудь окончит свое дело ливонское посольство в Москве. Они сидели мирно в своем Иван-городе. В Нарве, которая отделялась от Иван-города только одной рекой, находился немецкий гарнизон.

Наступил великий пост. Немцы со стен своих увидели толпу народа в Иван-городе: русские Богу молились. Немцы гуляли и веселились. Немцы эти были лютеране и не любили постов и внешнего богослужения. Им показалось смешно и досадно, что русские собираются толпой в церковь. Спьяна, забавы ради, лютеране стали со стен пускать по православным стрелы. Русские ответили огнестрельным оружием. Другие из немцев, не узнав в чем дело, но услышав выстрел, заключили, что верно окончилось постановленное перемирие и начинается с русскими перестрелка, в свою очередь дали залп по Иван-городу и убили нескольких русских. Воеводы сохраняли с точностью приказание не начинать войны и не отвечали немцам. Немедленно отправили они к государю гонца с известием о том, что произошло, а в город послали просить объяснения. "Что это значит? - вы просили опасной граматы; опасная грамата дана, а вы стреляете?" Так спрашивали русские немцев. Из Нарвы отвечали, что это фогт стрелял и горожане не могут его унять[2]. Затем повторилось еще то же самое. Русские опять не отвечали, спокойно терпели, как их били со стен. Наконец, в конце вербной недели, в апреле, пришла царская грамота к воеводам и дьяку[3]: царь приказывал

---

[1] "А бискуповы архимандрит юрьевский Белва да Ганус Иван, да Влас Бека и Клауна архимандрит на дороге померли". Львовск. V, 221.

[2] "Князец стреляет и нам его не унять". (Никонов., 303). Vogt v. Jerven (Nyenst.).

[3] Воеводами были: Князь Григорий Григорьевич Куракин да Иван Андреевич Бутурлин, а дьяком Шестак Воронин.

стрелять по Ругодиву со всего наряду, но по ливонским украинам не велел воевать. Ругодив нарушил мир, так один Ругодив и должен отвечать. Тогда русские усердно стали метать в город каменные ядра, и в городе сделался мятеж. Черный народ кричал против рыцарей и фогта и изъявлял готовность отдаться во власть русскому государю. Сторону его приняли некоторые и знатные горожане; другие противились. Двое ратманов были расположены и других располагали к подданству Москве. Один назывался Иоаким Крумгаузен, другой Арндт фон-Деден. Оба они получили прежде того от царя грамоты на свободную торговлю по Руси и теперь ожидали для себя больших выгод и милостей от царя,если окажут ему свое доброжелательство. Под влиянием русских каменных ядер партия примирительная взяла верх. В великую субботу, 9-го апреля, Нарва послала просить переговоров. Прекратили стрельбу.

В русский город явились двое нарвских городовых ратманов, которых летопись называет посадниками[1], с товарищами. Первый из них был Иоаким Крумгаузен, другой называется у нашего летописца Захар Ванден (Арндт фон Деден).

Бьем челом, сказали они, от имени всего города, чтоб государь наш пожаловал и вины нам отдал; пусть государь возьмет нас на свое имя. Мы не стоим за князьца (фогта), он воровал на свою голову. Мы отстаем от мейстера и всей Ливонской земли. Освободите нас ехать к государю, а мы оставим вам в залог людей.

Воеводы приняли просьбу; немцы отправились в Москву, а в Иван-городе оставили заложниками двух чиновных своих товарищей[2].

Крумгаузен и фон Деден прибыли в Москву 1-го мая. Царь уже знал, зачем они приехали; Иван-городские воеводы известили его заранее. Царь приказал Адашеву и дьяку Михайлову расспросить, в чем их челобитье. Думая, что, быть может, дело уладится и без крайних решительных мер, без отдачи Нарвы в подданство России, немцы стали было хитрить, просили милости, но уклонялись от предложения отстать от гермейстера и всей Ливонской земли.

Но Адашев сам им об этом напомнил и сказал:

— Вы через опасную грамоту стреляли по государеву городу

---

[1] "... Посадников Якима Кромыша да Захара Вандена с товарищи"... (Никоновская лет., 303).

[2] ...а на Иване городе посадили в закладе у воевод полатников своих лучших людей Ивана Белаго да Ашпираче... (Никоновск. VII, 303). Из Москвы отправили в Ивангород воевод боярина Алексия Даниловича Басманова да воеводу Данилу Адашева (там же).

и по государевым людям и сами потом в своей нужде уже били челом, что отстаете от мейстера и хотите быть в государевой воле. Ныне же воля государева такова: выдайте вашего князьца из Вышгорода (верхняго замка), сдайте Ругодив с Вышгородом нашим воеводам; тогда государь вас пожалует, не разведет вас из домов, ни вольностей не порушит, ни старины вашей, ни торга вашего, а государевы воеводы станут владеть Вышгородом и Ругодивом и всеми ругодивскими землями, как владели у вас мейстер и князец. Иначе этому делу не бывать.

Немцам нечего было перечить; ясно было, что в Москве уже все знают — и они на все дали согласие.

Царь позвал их лично к себе. На этот раз они уже прямо и ясно били челом, чтоб государь взял Ругодив и Вышгород со всей ругодивской землей, а с фогтом пусть поступит, как угодно: или велит его взять, или выпустить. Они, как видно, хотели снять с себя обязанность доставлять фогта в руки московитянам, но не были расположены ни стоять за него, ни хлопотать о его судьбе.

В их руки выдали жалованную государеву грамоту всему Ругодиву со всей ругодивской землей; а они за Вышгород и Ругодив со всей ругодивской землей целовали крест государю,царю и великому князю всея Руси и его благородным детям. Эти послы были отпущены с честью. С ними поехал Федор Писемский и повез воеводам грамоту: в ней приписывалось защищать Ругодив и ругодивскую землю от гермейстера и его Ордена.

Но под Нарвой в это время опять иначе повернулись обстоятельства. Когда ниоткуда не было надежды, большинство, в виду погибели, соглашалось отдаться царю; но московские люди перестали палить, прошло времени столько, что жители отдохнули; — тогда начались толки, как бы вывернуться из беды. Послали просить помощи к Готгардту Кетлеру, коадьютору гермейстера, феллинскому командору. Кетлер дал приказание собирать гаррийскую и вирландскую земщину (Landsassen) и спешить на выручку Нарвы. По его распоряжению, ревельский командор, Франц фон-Зеегафен, послал вперед рижских и ревельских кнехтов (наемное, содержимое городами войско).

Они вошли в город 30 апреля и усилили гарнизон. Сам фон-Зеегафен с гаррийским и вирландским рыцарством стал лагерем за четыре мили от города с тем, чтобы подать помощь городу, когда окажется нужно. Вместе с ним был и Готгардт Кетлер. Когда воеводы по царскому повелению объявили ругодивцам царское жалованье и обещание беречь их от мейстера, в ответ на такое миролюбивое заявление явился к ним ратман, которого летописец называет Ромашком; с ним пришло четверо товарищей. Он сказал:

"Мы не посылывали тех, кто ездил к царю; мы и не хотим отставать от мейстера".

— Так вы с ними и поговорите об этом, — сказал им Данило Адашев, — останьтесь здесь, пока Яким и Захар приедут от царя и покажут вам договор.

Вслед затем воеводам объяснилось, что значит эта перемена. Еще прежде отрядили они сторожу за реку Нарову наблюдать, не будет ли вспоможения Нарве. Стороже велено дать знать тотчас, как только что-нибудь в этом роде окажется. Сторожа узнала, что приближается к Нарве фон-Зеегафен, дала знать воеводам. Чтоб не дать немцам смять московской сторожи, воеводы отрядили ей на посилок еще отряд. Но когда Зеегафен появился, то биться с ним на другой стороне реки показалось невозможно. Пришлось переправиться назад. Московские люди начали обратную переправу; немецкий отряд догнал их; не успевших переправиться захвачено человек со сто[1]. Московские люди со своей стороны взяли тридцать три человека немцев в плен. В расспросе эти немцы сказали: "ругодивцы изменили государю, отпустили послов к царю, а сами потом просили мейстера, чтоб он их не выдавал, а мейстер прислал князьца колыванскаго (командора), с ним 1.700 человек, тысяча конных и семьсот пеших, и все ругодивцы целовали промеж себя крест, чтоб им не сдаваться царю и великому князю". Однако, на самом деле прибывшие в Нарву воины не слишком много могли подавать надежды. Предводитель ревельцев, Вульф фон-Страсбург, рассудил за благо уклониться от опасности и 3-го мая ушел в Ревель. За ним последовали подчиненные ему офицеры, трубачи и барабанщики.

После стычки с отрядом Зеегафена и после обратного отвода стражи за реку 11-го мая, в Нарве сделался пожар. Загорелось у цирульника; назывался он Кордт Фолькен; варил он пиво. По русским известиям у него были тогда новоприбывшие рижане. Они увидели русскую икону Богородицы; икона была оставлена русскими купцами, которые когда-то квартировали у хозяина. Они были лютеране, и, подгуляв, стали над иконой глумиться. "Этот болван, — сказал немец, — поставлен ради русских купцов; теперь его не нужно; истребим его. Немец снял икону со стены и бросил в огонь. Вдруг пламя поднялось из-под котла кверху и потолок загорелся. Воздух для того времени был чист и тих, а как сделался пожар, поднялся ветер, и пламя понеслось в разные стороны по городу. Предводитель рижских кнехтов,

[1] Русская летопись уверяет, будто немцев, напавших на них, было человек тысячу, но это, как кажется, ошибка.

Вольф Зингегоф, отправил двоих из своих подчиненных в лагерь к ревельскому и феллинскому командорам. "Спешите", наказывал он им: "не жалейте лошадей; пусть господа командоры немедленно со своими воинами прибудут выручать город; а то враги, как увидят свою выгоду в нашем пожаре, то спать не станут". Часть кнехтов между тем поставили у вирских ворот, а остальных в боевом порядке на рыночной площади. Строение в Нарве было большей частью деревянное и огонь распространился быстро. Народ — вместо того, чтобы по приказанию кнехтов бежать за водой и тушить пожар — схватывал свои пожитки и толпами спасался в замок. Скоро в замке стало тесно. Тогда Зингегоф поставил две роты кнехтов, чтобы не пускать более народа в замок. Неуспевшие туда вбежать расположились во рву около стен замка. Часов в 10 город был объят пламенем, и все кнехты, стоявшие на площади, убежали в замок. Из Иван-города русские увидели пожар в Нарве и бросились через реку, кто в лодке, кто на доске; иные ворота от дворов отвесили, сели на них и стали переправляться; а между тем из Иван-города в предместье Нарвы пустили в изобилии каменные ядра и пули. Из нарвского замка также стали было отстреливаться, но на беду немцам часть орудий оставлена была на городских стенах, отрезанных от замка пожаром в городе, а из восьми орудий, находившихся в замке, повредились две пушки, стоявшие на башне, носившей название Длинного Германа; одну из них разорвало, а другую от разрыва первой сбило с лафета. Русские выперли железные городские ворота и посыпали в город. Горожане, уже и без того сбитые с толку внезапным пожаром, не отражали неприятеля и притаились во рву; другие просили у победителей пощады. Видя, что отпора давать некому, русские стали тушить пожар. Говорят, тогда русские нашли образ Николы чудотворца: он лежал лицом к огню и оставался неповрежденным, и как только подняли его — пожар стал утихать сам собой[1].

Между тем, получивши известие от Зингегофа, Зеегафен послал передовой отряд к Нарве и вслед за ним двинулся сам. Время было послеобеденное. Тут некоторые из гаррийских и вирландских дворян стали останавливать предводителя и подавали такой совет: "смотрите, как бы это не хитрость неприятеля: нас с умыслом хотят выманить из лагеря, а потом ударить на нас из нарочно устроенной засады". Некоторые из них уверяли, что знают хорошо местность, и говорили, что она удобна для

[1] Курбский, I, 73. Львова летоп., 217.

такой засады. По их совету решились не идти далее и выдумали себе отговорку, что скоро наступит ночь. Между тем отряд, посланный Зеегафеном вперед, дошел за полмили от города и поворотил назад с утешительной вестью: пожар уже прекратился и опасность миновала для Нарвы. Они действительно заметили издали, что огонь в городе потух, но не узнали отчего потух он и не догадались, что его потушили русские.

Вышло таким образом, что отправленные на выручку Нарвы покинули ее на погибель в решительную минуту; те же, которые заперлись в замке, продолжали отстреливаться от русских в надежде, что к ним придет помощь. Московские люди стали напирать на ворота, не допуская немцам сделать вылазки: кнехты, защищавшие ворота, не могли отстоять их и спрятались в замке. Московские люди овладели пушками на воротах и стали палить по немцам. И стрелы обильно летели в замок. Осажденные сначала подкрепляли себя молитвами, которые им читал нарвский предикант Зунен; несколько времени все еще думали они держаться и надеялись: авось к ним придут на выручку. Но вот явился на воротах один из нарвских горожан, Бартольд Вестерман, и сказал: "меня послали русские воеводы; они предлагают вам сдать замок и обещают выпустить фогта с его слугами и лошадьми, и всех ландскнехтов с их женами, с детьми, и с имуществами; а которые горожане пожелают остаться на своих местах, тем царь обещает построить из своей казны дома лучше тех, что у них сгорели".

Гарнизон все еще не сдавался, и ожидал с минуты на минуту помощи. Вестерману отвечали:

— Воеводы поступают несправедливо; перемирие заключено и послы наши в Москве; а они напали на нас, пользуясь случившеюся с нами бедою.

Вестерман ушел и, снова воротившись, сказал:

— Воеводы велели вам объяснить, что Бог вас покарал за ваши грехи; Божья воля над вами свершилась; сам Бог отдал вас нам. Принимайте милость, когда ее дают вам, а то, коли не примете теперь, так в другое время она вам не дастся.

Предводители просили дать им время до утра подумать. Кто-то с башни Длинного Германа закричал: "наши рыцари идут!" Но то была ошибка. Ему показались рыцари, а в самом деле то были московские люди. Воеводы никак не хотели дать немцам срока до утра и позволять им думать. Они приказали, напротив, сильнее палить в замок, и потом выслали опять Вестермана.

— Воеводы, — сказал Вестерман, — велели вам объявить, что они вам не дадут ни минуты покоя. Если замок возьмут

русские силою, то всех вас за собою в плен поведут. Не полагайтесь на ваших рыцарей, — прибавил он от себя, — между ними и вами русския силы стоят. Рыцари не могут к вам подоспеть на выручку.

"Попроси воевод хоть немного дать нам отдыха — мы сейчас дадим ответ".

Между тем, они все еще не теряли надежды — авось придут рыцари.

Стали осажденные советоваться, а московские люди не переставали стрелять в замок, чтоб совет у немцев шел поскорее.

— У нас мало запасов, — стали рассуждать на военном совете в замке: — немного ржаной муки, сала и масла, да бочки три пива. А пороху так мало, что если хорошенько пострелять час-другой, так и ничего не останется. Вдобавок в замке теснота от народа; а множество бедных горожан укрываются во рву: они отданы на произвол врагов. Московитяне уже овладели городом, будут во что бы то ни стало добывать замок, а из Иван-города палить станут без-устали; на рыцарей же плоха надежда. Какая польза будет всему краю, когда мы станем защищать замок? — Защитить его не сможем, а только пропадем все!

Бриф-маршалок[1] заметил: — Кто же нам поручится, что мы останемся целы, если сдадимся? Русские не сдержат обещания и всех нас побьют!

— Если уж наша такая судьба, — возразили ему, — если нам так или иначе, а все-таки приходится погибать, то лучше в поле, чем в этом замке.

Не успели окончить своего совещания осажденные, как Вестерман опять явился на воротах за ответом.

"Мы по крайней мере хотим быть уверены, что нас не побьют, если сдадимся!" — сказали ему.

— Вышлите на переговоры двоих из рыцарей и двоих из бюргеров, — сказал Вестерман; — один из воевод сам выедет к воротам.

Осажденные так и сделали. Из высланных на переговоры был Зингегоф, передавший рассказ об этих событиях. Русские не думали прекращать пальбы до тех пор, пока немцы не дадут согласия, и не считали перемирием времени, назначенного для переговоров. Когда спустили подъемный мост через ров, окружавший замок, за плечами у парламентеров из Иван-города был застрелен провожавший их горожанин. Свидание происходило в галерее, окружавшей один из немногих уцелевших от огня домов.

---

[1] Чиновник по поручениям в орденском управлении.

На этом свидании постановили, что все кнехты, составляющие гарнизон, выйдут свободно с имуществами и с оружием, но тяжелое оружие, то есть пушки, должно остаться в замке. Жителям тоже дозволено было выйти с семействами, но покинув в городе свои имущества; те же, которые добьют челом государю, сохранят невозбранно свое достояние. Русские будут провожать вышедших, чтобы своевольные толпы из московского войска на них не напали.

Уже было поздно, когда переговоры окончились. Воевода приказал принести образ, омыл себе руки и поцеловал образ во уверение, что сдержит обещание. Он сказал, что не дозволит ни одному русскому войти в замок, пока из него немцы не выберутся. Воевода немцам дал двух заложников и взял от них в заложники двух нарвских горожан.

Осажденные вышли из замка в ту же ночь, и когда проходили толпами через московский лагерь, уже было утро.

12-го мая, около полудня, выпущенные из Нарвы достигли рыцарского лагеря. Рыцари не знали, что Нарва уже взята, не зарекались помогать ей, когда найдут, что это будет нужно, и, вышедши из лагеря, стояли в боевом порядке, а между тем позади них, у них в лагере, сделался пожар. Среди этой-то суматохи пришли к ним выпущенные из Нарвы и вместе с ними спасали лагерь от истребления, чтобы себе самим найти в нем отдых после мучительного дня. За кнехтами бежали горожане; бежали женщины: многие из последних больные и беременные, другие с младенцами на руках. О! какой плачь! какой вопль поднялся тогда! — говорит современник. Было от чего плакать. Несчастные горожане разом лишились всего достояния, нажитого трудами многих лет, за избавление себя и своего потомства от несчастья быть рабами московского царя, который представлялся воображению немцев чуть не диким чудовищем.

Тогда фон-Зеегафен и Кетлер рассудили, что Нарве помогать уже нечего; они двинулись со своим войском к Везенбергу; за ними пошел и выпущенный из Нарвы гарнизон. В Везенберге присланные от гермейстера послы стали разбирать: кто виноват в сдаче Нарвы. Кнехты, сдавшие замок, жаловались на рыцарей, что они им не помогли в минуты опасности, а рыцари сказали, что, получив известие о пожаре в Нарве, они поспешили было, но тут прислал к ним нарвский бюргермейстер Герман-Шу-дер-Мэлен поселянина с письмом; извещал, что опасность миновалась, пожар потушили, а неприятель не думает вовсе нападать на них. Неизвестно, правду ли говорили рыцари, а если было так, то несомненно, что в Нарве существовала партия сторонников московского владычества, и такое письмо писано было чело-

веком этой партии. Недолго оставалось рыцарство в Везенберге; и его покинули на произвол судьбы, как Нарву.

Ободренные успехом, московские воеводы через несколько дней двинулись дальше, и 25-го мая осадили Сыренск (Нейшлот). Замок был укреплен. Воеводы не надеялись сладить с ним одни; они стали от него за пять верст и послали во Псков к боярам и в Новгород к наместнику, князю Федору Троекурову, просить, чтоб они приходили туда же с войском, а меж тем вперед послали отряд засечь дорогу из Ревеля, на случай, если оттуда вздумают подавать немцам помощь. В ожидании свежих сил из Новгорода и Пскова, воеводы обставили город с двух сторон турами; по окнам в турах поместили стрельцов, которые должны были стрелять из пищалей, а промеж турами уставили пушки. Июня пятого пришел к ним Троекуров, и они открыли разом пальбу; на другой день фогт нейшлотский (князец сыренский) просил остановить нападение, дозволить сдать город и выйти. Воеводы согласились, но с тем, что все, кто будет уходить, оставят в городе и свое оружие, и свое имущество. Фогт и его ратные люди таким образом вышли из города. Нейшлот был занят московскими людьми. Тогда черные люди изо всего околотка, по происхождению чухны, являлись толпами в московский лагерь и просили принять их в подданство. Они вовсе не питали сочувствия к немцам и не находили для себя полезным стоять за Орден. Даже и многие из тех, кто были немцами по происхождению, добровольно учинялись тогда в холопстве у государя, по выражению летописи. Еще легче было взять другой, дальнейший город Адеж (Тольсбург?). Фогт Генрих фон-Келленбах ушел оттуда,не дождавшись неприятеля. Отсюда воеводы послали четырех голов со стрельцами и детьми боярскими, которые взяли Раковор (Везенберг), и тамошний фогт, по имени Гердт Гюен фон-Анстерит, ушел. За ним последовали все жители и оставили Везенберг совсем пустым. Они ушли в Данию и утешали себя надеждой, что датский король за них заступится и отнимет у московитян завоеванное. Отряженные воеводами головы переписали весь народ и запас. И сюда приходили черные люди из околотка и добровольно отдавались во власть государя.

Таким образом пространство от Чудского озера до моря, берега озера и полоса, соприкасавшаяся течению Наровы, присоединились к Московскому государству. Царь получал веселые известия за известиями о блестящих успехах своих войск; он велел по всему своему царству петь молебны с колокольным звоном, а воеводам в Ливонии приказывал завоеванные города очищать от латинской и лютеранской прелести и строить там православные церкви. В городе Нарве начали строить церковь

пречистой Богородицы и в замке церковь Воскресения. По приказанию царя, архиепископ новгородский посылал туда юрьевского архимандрида заложить эти церкви и освятить город обхождением вокруг него с крестом и образами. В Сыренске построена царковь Троицы. Разрушенные укрепления городов были снова поправляемы и в них оставлялись гарнизоны из детей боярских и стрельцов. Так в Везенберге русские разобрали близ лежавшие монастыри и дома употребляли на постройку стен. Весь город обведен был толстой стеной с башнями и бойницами, в стенах и башнях были комнаты, где могли сидеть защитники. Чтобы приласкать народ, царь велел успокаивать его, объявлять, что все останутся на своих местах, и даже приказал возвратить и водворить на месте прежнего жительства всех нарвских пленников. Московское правительство должно было увидеть, что сила царя и бессилие Ордена заключались в черном народе Ливонии; кроме поселян, которые покорялись царю тотчас после взятия тех городов, к которым они прежде тянули, приходили чухны и латыши из других далеких волостей и изъявляли охоту быть в подданстве у московского государя.

Ливонские послы явились с деньгами в Москву в то самое время, когда царь получил уже известие о взятии Нарвы. И притом, явились они с намерением поплатиться сколько возможно менее, тогда как царь, по положению дел, мог с них требовать сколько возможно более.

— Дерптское епископство разорено, — говорили послы, — много лет пройдет, пока мы поправимся; не можем собирать поголовной дани; пусть государь пожалует нас; уже ратные люди взяли в Ливонии больше, чем сколько даже следовало собрать. Мы просим дани с нас не брать поголовно, а согласны заплатить разом определенную сумму за все недоимки.

— Это правда, — отвечали им, — что наши собрали больше, чем сколько с вас следовало; но вам дан был опас, и мы войну приостановили; а ваши после опаса целыя две недели из Ругодива стреляли по Иван-городу и людей наших побивали; за это царь приказал добывать Ругодив, и Бог нам послал свое милосердие: воеводы царевы Ругодив взяли и государь велел воеводам промышлять и над другими городами, сколько Бог поможет. Нельзя вам верить, — вы даете правду и во всем лжете, а если ваш мейстер и все рыцари и бискупы хотят отворотить гнев государя и его ратную силу от Земли своей, пусть сам мейстер и бискупы сделают так, как сделали царь казанский и астраханский: пусть сами явятся к царю и ударят челом всею Ливонскою землею, а потом поступят так, как угодно будет царю.

Впрочем, бояре, кажется, сочли удобным на этот раз сбавить

свой высокий запрос и соглашались принять предлагаемую сумму, но в придачу требовали, чтобы Ливония уступила царю завоеванные его войсками области. Послы не имели полномочия на такие уступки и не дали согласия. Их отпустили с их деньгами.

После того, как русские завоевали северную часть Ливонии, пограничную Руси, другое войско двинулось в ливонский край южнее. Оно пошло из Пскова под главным предводительством князей Петра Ивановича Шуйского и Федора Ивановича Троекурова[1] прямо к Нейгаузу. Гермейстер Фирстенберг стал лагерем близ Киремпе; у него было две тысячи орденского войска и тысяча епископского. Раскинув там шатры, рыцари простояли двадцать четыре дня, мало заботясь о грядущем, гуляли и прохлаждались; не обращали они большого внимания и на то, что в Нейгаузе было только 600 человек воинов, да толпа прибежавших из околотка жителей обоего пола, которые, как всегда бывает в осадах, только увеличивали тяжесть осадного положения, а не помогали военному делу. Нейгауз защищался упорно. Немцы, говорит летопись, засели на смерть. Воеводы обставили город турами и в продолжение трех недель палили в него. Туры, будучи подвижными, приближались все более и более к стенам, наконец дошли до самых стен. Одну башню (стрельницу) сбили с основания пушками, потом сделали пробой в городовой стене, а стрельцы с турами стали у стен так близко, что могли вскочить с тур на стены. Тогда немцы покинули город и заперлись в замке. Русские, овладев городом, со всех сторон окружили замок и стеснили осаждаемых до крайности. Стрельба не прекращалась; люди падали; наконец осажденные потеряли всякую возможность защищаться; и 30 июня русские взяли замок. Начальник нейгаузского гарнизона, Укскиль фон-Паденорм был выпущен воеводами с честью из уважения к его храбрости. Все жители, которые не пожелают присягнуть государю, получили право удалиться. Но едва только они вышли, как напала на них русская шайка и обобрала их. Многие женщины, девицы были лишены одежды и пущены продолжать свой путь нагишом.

Между тем в гермейстеровом лагере при Киремпе происходили совещания, как пособлять делу. В орденской казне, называемой дресель, денег не было, и потому нельзя было думать о найме иноземного войска. Это, однако, не мешало, как видно,

---

[1] "Да в большом же полку со князем Петром Ивановичем воевода Андрей Иванович Шеин, в передовом полку боярин князь Андрей Михайлович Курбский, да воевода Данило Федорович Адашев, в правой руке боярин князь Василий Федорович Серебреной, да Богдан Юрьев сын Сабурова, в левой кн. Петр Щепин-Оболенский, да Вас. Вас. Розладин-Квашнин, в сторожевом полку кн. Григорей Иван. Темкин да кн. Григорей голова Звенигородской". Львова, 229.

ливонским рыцарям, по прежнему обычаю счастливых и богатых лет, пировать в лагере. Гермейстер не знал о состоянии русского войска и не имел верных известий о том, что происходит в Нейгаузе, — у него недоставало ловких людей, чтоб взять на себя труд проведать о неприятеле. В Дерпте также не думали помогать Нейгаузу, хоть и ясно было, что неприятель, как скоро возьмет Нейгауз, тотчас подступит и к Дерпту.

Ливонские депутаты городов в Дерпте держали совет. Прежде надеялись на императора, думали, что этот сильный глава западного мира одним своим словом остановит московское завоевание; но присланные недавно отзывы внушали мало утешительного. Карл V в это время уже оставил империю и удалился в монастырь Юста. Преемник его, Фердинанд, был занят домашними раздорами и опасался турок. Когда в Дерпте начали рассуждать, что делать, один предлагал то, другой иное; каждое предложение тотчас же встречало множество неудобств к исполнению. Не было надежды на внутренние силы. Надобно было пытаться выпросить помощь у соседей; те советовали обратиться к Швеции, другие к Дании, третьи к Польше. Только дерптский бургомистр, Антоний Тиль, человек, как говорит о нем современник, благочестивый и честный, стал посреди собрания, с заплаканными глазами, и говорил:

— Вот уже много дней мы толкуем, как помочь себе, да, к несчастию ничего еще не выдумали. Скажу вам вот что: откуда бы мы ни пригласили себе защитников — с севера или с запада, с северо-востока или с юга — все равно; никто за нас не захочет безкорыстно воевать с москвитянами; так или иначе все-таки придется нам отвечать своими головами. Всего лучше и благоразумнее будет, если мы принесем все наше частное достояние на пользу Земли нашей: все украшения жен наших, все золотыя цепи, браслеты, все, что у нас есть дорогого в запасе, все продадим, — на эти сокровища наймем войска и сами все соберемся на одно место, и пойдем против неприятеля; не станем больше поступать так, как прежде делалось, что, бывало, каждый свой угол берег и враг мог по одиночке всех нас побить; оттого и Земля наша так обезсилела. Если мы на это решимся, то будем честные и храбрые люди.

Советы его не возбудили сочувствия. В лагере при Киремпе даже говорили, что в Дерпте есть изменники, которые хотят сдать город московскому царю, и указывали на какого-то Лустферна, который будто бы тайно посылал в Москву. По этому поводу несколько подозрительных людей было схвачено и подвергнуто пытке. Что они под пыткой высказали, — неизвестно. Дерпт послал было отряд на помощь Нейгаузу, да эти послан-

ные воины, видя, что Нейгауз не может держаться и уже готов сдаться неприятелю, для собственной безопасности поспешили восвояси с распущенными знаменами. Когда их упрекали: зачем они не держались, они отвечали, что Нейгаузу нет большой нужды, а им следует защищать собственный город и его укрепления.

Услышав о взятии Нейгауза, гермейстер поспешно снял лагерь, приказал сам сжечь Киремпе и двинулся на запад. Носился слух, что неприятельское войско хочет догнать гермейстера и вступить с ним в битву. Гермейстер прибавил шагу и совершенно покинул на произвол врагов Дерптскую Землю. Он стал под Валком.

Московские люди, после взятия Нейгауза, пошли прямо к Дерпту. Город Костер, бывший на дороге в Дерпт, сдался без сопротивления. Епископский отряд, расставаясь с войском гермейстера, был настигнут московской ратью за двадцать пять верст от Дерпта. Его гнали до самых предместий Дерпта, взяли телеги с вооружениями, порохом и со всеми военными запасами; двадцать семь немцев попалось в плен.

Епископ заперся в Дерпте. Дошедши почти до города, воеводы воротились назад и взяли Курславль — за десять верст от Киремпе. В этом городке оставлено было ими двое голов с гарнизоном. И здесь черные люди с околотка приходили к воеводам и добровольно отдавались в подданство царю. Воеводы приводили их всех к правде. С этим народом, туземцами в Ливонской земле, московские люди обходились милостиво, но с немцами были жестоки: мужчинам отсекали руки, женщинам вырезали сосцы и ноздри.

Готовясь осадить Дерпт, воеводы послали отряд проведать, где гермейстер; надо было взять предосторожности и не дать напасть на себя врасплох. Пока этот отряд был в командировке, воеводы стояли у Киремпе. Шуйский послал в Дерпт предложение сдаться на милость царя и присягнуть ему на подданство, иначе грозил жестоким разорением. Бреднебах говорит, что при этом посланы были в Дерпт искалеченные немцы и немки, чтобы горожане могли сообразить, какая их ожидает беда, если станут упрямиться. Для страха немцам русские распускали слух, будто у них войска тысяч триста, в самом же деле, как показывает современник, у них было тысяч с тридцать московских и татарских сил, и тысяч двенадцать стрельцов. В Дерпте заперлись вооруженные дворяне епископского удела; к ним пристали на помощь охотники. Предложение Шуйского отвергли; думали защититься. Запасов у них было много и стало бы на долгое время. Надеялись, что гермейстер поправится и явится им на выручку. Через несколько дней возвратился в московский лагерь послан-

ный отряд и привел языков: они извещали, что гермейстер ушел в Кесь (Венден), а войско от него разбегается. Московские люди двинулись к Дерпту.

А между тем, в виду неприятеля, в городе продолжались прежние религиозные распри и несогласия между протестантами и католиками. Дерптские граждане протестанты насильно заперли собор, запрещали служить обедню и грозили за это казнями. Католики вопили, что все настоящее бедствие постигает Ливонию за отпадение от отеческой веры, что отщепенцы в своей слепоте сами отвергают последнюю надежду спасения — молитву по уставам Церкви. Вот начали появляться передовые отряды русских. Храбрость и самонадеянность стали оставлять немцев, когда не только уже слышали о враге, но увидели его с городских стен. Большая часть епископских дворян ночью ушла из города и покинула своего епископа. Канцлер Гольцшур и несколько оставшихся дворян лютеранского исповедания и полковников изъявили готовность сделать вылазку на неприятеля; но только что им отворили ворота, как они поворотили туда же, куда и первые, и пошли за ними к Риге. За ними вслед толпами бежали граждане. — Такова-то *их* вера лютеранская, — восклицает современный историк-католик, — она им позволяет оставлять отечество, родных, друзей, сограждан, святыню и дома.

11-го июля на заре появилось, в виду Дерпта, целое московское войско. Много было с ним тяжелых осадных орудий, телеги тянулись обозом с порохом и свинцом и съестными припасами. Видно было, что московские люди пришли с тем, чтоб не уходить, не покончив с Дерптом.

Дерпт заволновался, не знали, что начать; — те говорили одно, другие противное; религиозная вражда не только не утихала, но разгоралась более и более. Оставшиеся дворяне католического исповедания вышли на мятежную площадь и стали уговаривать граждан: "не унывайте духом", восклицали они, "мужественно стойте за себя, за ваших жен, детей, за отечество против исконнаго врага христианскаго имени; вы прогоните его, если единодушно обратите на него ваши силы и оружие". Бюргеры-католики ободряли их решимость.

Но тогда откликнулся один ратман, строгий протестант: "мы будем защищать город; пусть же епископ Герман и католики отрекутся от папистических заблуждений и примут евангелическую истину".

— Мало ли на вас бед, — говорили католики, — еще больших хотите! Да не с тех ли пор и постигло вас московское разорение, как вы переменили веру и приняли учение лютерово?

Были и такие, которые старались примирить, хоть на это

важное время, враждующие стороны. Они говорили: "теперь ли спорить о вере? Пусть остается каждый в том исповедании, в каком был. Не за веру, а за отечество, за родных и детей надобно биться. Соединимся же дружно; присягнем не сдавать русским города во что бы то ни стало и будем сражаться до последняго издыхания за нашу судьбу".

Слишком очевидна показалась тогда польза таких советов. Положили прекратить религиозные споры и сражаться.

Московские люди осадили город. Главные силы их были сосредоточены у ворот св. Андрея. Здесь они насыпали большой вал и стреляли с него. Палили днем; настала ночь; — московские люди продолжали палить. Немцы им отвечали выстрелами. Ночь была чрезвычайно темная; не видно было, куда направлять орудия. Следующий за тем день был туманен. Охотники выходили два раза из ворот драться и возвращались, ничего не сделав. В среду, 13-го июля, туман не расчищался. Досадно было немцам. Они только по грому московских орудий да по шуму в неприятельском войске соображали, куда им палить; и потому их выстрелы, направляясь на широкое поле, были не так опасны русским, как немцам московские выстрелы, которые, обращаясь к городу, направлялись на меньшее и теснейшее пространство. Еще попробовали было немцы сделать вылазку и воротились без успеха да еще с ранеными. Тогда городской совет отправил к епископу депутацию.

Она говорила:

— Гермейстер ушел прочь. Дворянство нас покинуло и оставило в беде епископа. Мы слишком слабы, чтобы оборонять такую большую крепость. Знаете вы сами, что у нас недавно свирепствовала болезнь и много перемерло из наших солдат, которых у нас было двести. Измучили нас ночные и дневные караулы. Рады мы вас защищать, как верные подданные, да пришлось нам очень тяжело; напишите к гермейстеру; уведомите его, что город наш в крайнем положении и просит выручки, а иначе постигнет его скоро горестная перемена. Мы наняли двух мужиков; берутся доставить письмо гермейстеру, — они сядут в лодку и вверх по реке поплывут через лес.

— Любезные мои, верные мои, — отвечал епископ, — я знаю вашу верность; я соболезную, что мое дворянство меня оставило, и вижу сам, что мы слабы, не в состоянии давать неприятелю отпор денно и нощно. Да, это будет хорошо, если дадим знать гермейстеру и пошлем к нему два письма, одно за другим, одинаковаго содержания. Чем скорее вы это сделаете, тем лучше будет.

Гонцы были отправлены один за другим с письмами; второй отправился через три часа после первого.

Настал четверг. Московские люди успели уже насыпать такие высокие валы, что с них стрелять можно было уже не по стенам, а брать выше: ядра падали на крыши домов в городе. Деревянные кровли и стены обваливались и убивали детей, женщин, всех, кто оставался в домах. Целый день и целую ночь после того не умолкала пальба — гром был такой, что один у другого не мог речей расслышать. В пятницу Шуйский прислал опять предложение сдать город, обещал пощаду, в противном случае грозил бедой; как бы в подтверждение слов воеводы, часу в девятом утра открыли ужасную пальбу на весь город со всех сторон. Женщины вопили и возбуждали всеобщее отчаяние. Тут разнесся слух, что гонец воротился с письмом от гермейстера.

Ратманы отправились к епископу. Епископ приказал прочитать им полученное письмо.

Гермейстер писал:

"Очень сожалеем о печальном состоянии города Дерпта, а равно и о том, что дворяне и ландзассы покинули своего господина, епископа: это не делает им чести. Постоянство епископа и почтеннаго гражданства очень похвально. Желательно, чтоб все остальные исполнились такого же геройскаго духа и защищали бы город мужественно. Я бы очень желал оказать городу помощь, но из всех сведений мне известно, что у неприятеля большая сила в поле, и потому я не в состоянии вступить с ним вскорости в битву. Остается мне усердно молиться за вас Богу и помышлять денно и нощно об умножении своего войска".

Такой ответ поверг в отчаяние многих граждан. Они вопили: "гермейстер отказывает в помощи; нам нет надежды; мы не в силах никаким способом держаться. Мы сдадимся".

— Помыслите, — увещевал их епископ, — что ожидает нас. Вы знаете, какие варвары эти московиты; и вера у них такая, что только Богу и святым хула: от всей Церкви божией и от всего света отринута! Со скотами христиане не обращаются так жестоко, как с людьми обращаются московиты. Что они делали у нас с христианскими женщинами и девицами? То же всех нас ожидает, если мы отдадимся жестокому тирану во власть!

Утешения было мало. Неприятель опять принялся палить. Стены города начали разрушаться. Тогда в двенадцать часов дня совет послал к Шуйскому двух своих членов, спросить: на каких условиях желает он сдачи. Шуйский прислал условия, которые показались выгодными. Совет опять обратился к епископу. Ему представляли, что предложения, которые делает московский воевода, очень мягки; Шуйский — сам человек честный и добрый; и можно будет сдать город, если Шуйский поручится, что соблюдутся в точности все пункты, на которых последует сдача города.

Епископу трудно было их убеждать в противном. Епископ должен был согласиться и послал Шуйскому просьбу о перемирии.

Шуйский дал два дня на размышление и не приказал беспокоить город в продолжение этого времени.

Собрался городской совет; собралась и вся городская община, которая обыкновенно сходилась в двух гильдейских камерах: одна камера была для чинов, другая для купечества. Собрались и духовные обоих вероисповеданий. Поднялась разноголосица; наступил раздор.

Каноники были против сдачи. По их влиянию, граждане католики разделяли то же настроение. Напротив, лютеране соглашались на мировую.

— Мы, — говорили католики, — еще не в самом крайнем положении, стены еще целы; запасов у нас довольно; а войска хотя немного, да зато оно таково, что может оборонять город, лишь бы у него стало решимости; лучше испустить дыхание, чем сдать город и с ним потерять свободу. Вся наша беда исходит от членов лютеранскаго сената: недавно перешли они от католичества в лютеранство, а теперь хотят перейти в московское варварство и безбожие.

Лютеране, со своей стороны, порицали католиков. Лютеранские пасторы не были против сдачи города и только обращались к совету с такой просьбой: "мы просим достопочтенный совет позаботиться, чтоб наши церкви и школы и вся наша чистая вера были ограждены на будущия времена". Совет обещал действовать по их желанию и благодарил их.

Из гильдейских камер волнение пошло по улицам. Католики кричали, что лучше пролить последнюю каплю крови, чем потерять отечество и религию. Лютеране доказывали, что уже от гермейстера ждать нечего; слава Богу, что Шуйский дает выгодные условия; ими пренебрегать не следует, чтобы не было после хуже. Наконец, и самые начальники войска, несмотря на увещания католиков, должны были сознаться, что у них людей очень мало и нет возможности долго держаться.

Шуйский, услышав, что в городе разноголосица и смятение, прислал сказать, что он никого не принуждает насильно принимать подданство царю. Всем дается добрая воля. Те, которые не захотят, могут безопасно выйти из города и удалиться в Германию. Московские войска не станут их задерживать. Те же, которые отдадутся в подданство царю, останутся на месте со своими имуществами.

Это еще более расположило граждан к сдаче. В воскресенье собрался вновь совет; и сам епископ уже согласился сдаться, и

других убеждал к сдаче. Упорные каноники все еще протестовали; из членов совета бургомистр Антоний Тиль, тот самый, который подавал решительное мнение против всякой сделки с московитами, так теперь говорил:

— Светлейший, честнейший князь и господин! мы дожили до печальнаго времени. Мы, бедные люди, видим и ощущаем, как добрые христиане добровольно отдаются в рабство. Во избежание такой беды мы покидаем наши дома, дворы, все наше благосостояние и предпочитаем изгнание с женами и детьми, сами не зная, где каждый из нас окончит жизнь от тесноты и скорби. Не хотим потерять драгоценнейшаго на свете сокровища — чести, чтоб нас поcле не поносили и не порицали; будут еще думать, что мы участвовали в сдаче города Дерпта; а мы готовы были защищать его, жертвуя нашею жизнью. Поэтому я и, вероятно, со мною все те, кто подобно мне думает, что Дерпт защищать оружием еще можно, просим светлость вашу письменно объявить, кто подал повод к сдаче города? Ваша ли милость, или рыцарство, или капитулы, или достойно уважаемый совет, или я, Антоний Тиль, — чтоб мне можно было от напраснаго обвинения оправдаться и сохранить мое доброе имя.

С согласия епископа, совета и капитула, некто ответил ему так.

— Честнейший и мудрейший господин! нельзя никого упрекать и поставить кому бы то ни было в укор сдачу города. Никакое честное лицо не может принять на себя вины. Это случилось по крайней, неизбежной беде. Засвидетельствовать об этом его светлость может не только вашей мудрости, но и всякому другому, кто имеет в этом необходимость.

Были составлены условия для предложения Шуйскому; одни от епископа, другие от городского совета. Первый хлопотал прежде всего о себе, а потом о католичестве и о тех, которые останутся в его диэцезии. Себе просил он во владение монастырь Фалькенау (Муку) в двух милях от Дерпта на Эмбахе, со всеми землями, людьми и судом, со всем, что исстари принадлежало к этой местности и составляло владельческий доход, да с прибавкой еще земель поблизости к монастырю. Там он желал пребывать до конца дней своих с тем, чтоб его никогда не выводили из Ливонии в Московию, в самом городе Дерпте просил он себе дом, свободный от постоя московских войск, да еще сад и рощу на Двине. Он просил, чтоб в случае, когда нужда будет ему послать в Москву, или сам туда поедет, чтобы ему и его гонцам давались подводы. Монастырь, который он себе выпрашивал, должен был оставаться в недре римско-католической Церкви; все члены ее будут исповедовать эту религию и не должны подлежать иному суду, кроме епископского. Для дворянства, кото-

рое находится под епископской юрисдикцией, епископ просил спокойного пребывания в Ливонии при своих имениях.

Городской совет просил сохранить ауксбургское исповедание или так называемую лютеранскую веру, с тем, чтоб ни в каком случае не принуждали ее последователей переменять исповедания, просил оставить совет в прежнем виде и составе, сохранить все городские доходы и школы, подтвердить и признать действительность старых привилегий, прежних протоколов, книг как счетных, так и наследных, освободить всех горожан, как немцев, так и не немцев от русского суда и держать их под судом городового фогта, оставить в употреблении прежние меры, весы, дозволить гражданам по-прежнему выбирать из своей среды должностных лиц, собираться в гильдейских камерах, сочетаться браком в Немецкой земле, отдавать туда детей на воспитание и принимать к себе оттуда прихожих, отъезжать за границу и выдавать отъезжающим паспорты, принимать новых членов в городское общество с тем, чтоб они давали присягу царю и совету, - просил права суда и апелляции к городу Риге по старине, права свободного винокурения, медоварения и пивоварения без всякого акциза, кроме того, какой назначен будет городским советом, просил неприкосновенности лиц и их имуществ с тем, чтоб граждан не выводить в Москву на жительство, и свободы от военного постоя. Относительно торговли просили, чтоб дерптские купцы могли выезжать повсюду по торговым делам, чужеземные купцы могли бы торговать в Дерпте и привозить туда иноземные товары — по рассуждению Совета; наследство умерших чужеземцев должно оставаться неприкосновенно собственностью наследников; просили дозволить в известное время собираться ярмаркам, как было прежде, русским купцам приезжать в Дерпт с платежом установленных исстари весовых пошлин, а дерптским ездить и торговать в Руси беспошлинно, и чтоб так называемой компании черноголовых, — торговому обществу иностранных купцов, торговавшему в Ливонии, — были невозбранно оставлены прежние права торговли. Относительно тех, которые не пожелают оставаться в Дерпте под царской властью, городской совет просил, чтоб им дозволено было взять свои имущества с собой, а чего не могут взять, оставить у ближних и после получить; если же они передумают и захотят после возвратиться, то дозволить им такой возврат.

Уполномоченные от епископа, от городского Совета и от городского общества отправились с этими условиями к князю Петру Ивановичу Шуйскому; они просили утвердить их золотой печатью великого государя московского и обещали на другой же день отворить ворота Дерпта.

— Мы просим, — сказали они, — ради наших жен и детей пощадить дома наши от военнаго занятия: наши не привыкли к чужому войску.

Князь Петр Петрович обещал и сказал, что он строго прикажет отнюдь не касаться домов обывателей.

Принесенные условия прочитаны были по-немецки, и так как воеводы не знали этого языка, то им переводили их словесно по-русски.

— Я не могу так скоро всего смекнуть сразу и удержать в памяти, — сказал Шуйский, — надобно их переложить на русский язык и переписать. Тогда я посмотрю: коли что-нибудь найдется сомнительное, то я поговорю об этом; может статься, нужно будет переправить их так, чтоб мне можно было принять; а если найду я все как следует, то надеюсь, что государь на все соизволит и прикажет приложить печать. Я в милости у государя и надеюсь все сдержать, что вам пообещаю.

Немцы дали со своей стороны переводчика, и воевода поручил с ним работу своим, знающим по-немецки.

Пока переводили пункты, воевода считал во всяком случае дело оконченным и объявил депутатам:

— Скажите епископу и всем, которые с ним захотят уехать: пусть они соберутся скорее. Я пошлю в город царских бояр проводить епископа с его людьми в Муку (Фалькенау). Другим всем гражданам, которые выйдут из города, дам стражу, чтоб им не сделали как-нибудь оскорбления московские ратные люди, пока будут стоять под городом. — Эта стража, разумеется, была столько же для почета и охранения, сколько и для надзора за действиями епископа и вышедших граждан.

За епископским поездом начали выезжать бюргеры со своими семьями в нагруженных повозках; за ними выходили военные люди с оружием. К ним сейчас, по распоряжению Шуйского, примкнули конные дети боярские под начальством воевод. Войско московское и татарское расступалось и давало им дорогу. Когда они все уже отдалились от города, князь приказал, чтоб к нему приехал бюргермейстер, ратманы и выборные от городской общины, провожать его самого в город.

По этому призыву явилось несколько лиц и вместе с ними два члена дерптской капитулы, представителя римско-католического духовенства. Главный воевода ласково подавал им руку в знак мировой и обнадежил царскими милостями. Он пригласил их посидеть у него в шатре, пока не пошлет передовых в Дерпт. Таким образом, впереди всех поехал один воевода с мирным знаменем и приглашал граждан оставаться спокойно и ничего не бояться. Потом другой воевода отправился с отрядом

детей боярских занять замок, а затем поехал третий воевода со стрельцами; он расставил их на караул на рынке и по улицам. Когда все было готово и дано знать о том Шуйскому, главный воевода сказал: "теперь проводите меня в замок".

Он поехал. Член капитулы, ратманы и выборные от городской общины ехали впереди его. Они, как хозяева, показывали Шуйскому дорогу и отдавали в его лице московскому царю город, завоеванный царскими войсками.

Как только Шуйский расположился в замке, тотчас через бирючей приказал оповестить по городу запрещение под смертной казнью московским ратным людям причинять какое-либо насилие жителям: а граждане, для избежания несчастных случаев, отнюдь не должны были продавать ратным московским людям вина. Ратные люди помещались в замке, в домах, принадлежавших капитуле, и в домах тех граждан, которые добровольно покинули город; все, что принадлежало бискупу, получившему за то от государя другое местопребывание, и все, что составляло собственность убежавших из отечества, было отписано на государя. Но ратным людям не позволяли помещаться в домах тех граждан, которые предпочли оставаться на своих местах, понадеясь на обещания воеводы, и поддались царю.

Городской Совет и общины прислали новому своему начальнику в подарок короб вина, отличного пива, свежей рыбы и зелени. Шуйский принял этот гостинец с благодарностью и сказал:

— Если кто-нибудь, хотя самый наименьший из граждан, будет иметь повод жаловаться на московских ратных людей, — мои покои и мои уши всегда для него открыты; я накажу виновного и оборону каждого.

Через несколько дней главный воевода пригласил в замок на обед членов Совета, общины, альдерманов и вообще знатных граждан. Угощение было роскошное.

К удовольствию граждан, Шуйский скоро показал, что обещание свое умеет держать. Некоторые ратные люди стали было своевольничать; предводитель приказал их бить палками самым постыдным образом. Беспрестанно московские дворяне разъезжали по городу, спрашивали, нет ли обид, и всех, кто только вел себя непристойно, сажали в тюрьму. Это справедливое обращение с жителями оказало на них благотворное влияние. Граждане, — говорит летописец, — начали утешаться в своем злополучии, как будто бы и не было над ними никакого нападения и насилия. Все свободно могли сидеть в своих домах; купцы торговали; все, как и прежде, могли собираться, гуляли, пили, веселились. Никто из московитян не смел взять с них насильно

и нитки. Впрочем, и без этого московские войска не остались без поживы. Строгий Шуйский не дозволял ратному своевольно грабить богатого бюргера; зато ратные, которые квартировали в домах, оставленных вышедшими из города хозяевами, находили не мало хорошего в своих квартирах. Некоторые из покинувших отечество, затрудняясь брать свое достояние с собой, замуровывали серебро и золото в церковных стенах и клали под надгробные камни. Они надеялись со временем придти и взять спрятанное обратно, но русские каким-то образом об этом пронюхали и рыскали сокровища. Таким образом, от одного ливонского дворянина Фабиана Тизенгауза московитянам досталось на восемьдесят тысяч талеров. Московские люди, по замечанию современника, вообще набрали тогда в оставленных домах так много, что этим с избытком можно было бы заплатить московскому государю и тем избавиться от разорения, или же на такую сумму снарядить войско для войны с Москвой. Прежде говорили немцы так: "лучше нам потратить сто талеров на войну с Московиею, чем заплатить один талер дани московскому государю", а вышло на деле, что дани не заплатили и войну пришлось вести; на войну никто ничего не дал, а потеряли гораздо более.

Кроме всего имущества и домов, отписанных в казну, в Дерпте взяли пятьсот пятьдесят две пушки и большой запас пороха и свинца.

Вышедшие из Дерпта шли под прикрытием московского войска. Татары как только завидели, что едут люди безоружные и притом с имуществом, не утерпели по своей натуре и бросились на немцев, однако, московские ратные люди оборонили их. Впоследствии рассказывали, будто немцев тогда спасло чудотворное заступление: был день ясный; как только татары бросились на них, вдруг раздался гром и татары со страху разбежались. Благополучно сохраненные от татар, некоторые изгнанники, однако, не вынесли тяжелого пути, летнего зноя, пыли и тесноты, и заболели; иные и померли. Когда, наконец, толпа вступила на землю, еще не занятую русскими и была уже безопасна от своевольства ратных людей, московские провожатые ее оставили; но тут-то и постигло многих разорение. Их ограбили свои же рыцари. Сам гермейстер приказал обирать тех, о которых сделалось ему известно, что они захватили общественные деньги.

Гермейстер Фирстенберг со своим орденским войском находился под Валком. Здесь на собрании признали, что он стар и неспособен. Избрали в гермейстеры Готгардта Кетлера. Рассуждали о средствах; увидали, что Орден в безвыходном положении. Уже многие орденские имения были заложены; в последние военные действия страна пострадала от разорения;

нельзя было поправлять финансы поборами. Надежда на императора всем уже казалась напрасной. Император, получив жалобу от Ливонии, обращался к московскому правительству, а московское правительство отвечало ему в таком смысле: "издавна было в ливонских городах дозволено строить русския церкви, где бы русские купцы могли слушать свое богослужение, и при этих церквах дозволено было содержать места и дома, где бы можно было хранить и продавать привозимые товары; сверх того, гермейстер, архиепископ рижский, епископ дерптский и совет города Дерпта дали обещание не только письменным актом, но и с клятвою выплатить в три года надлежащую царю дань. Ливонцы забыли свои договоры и обещания. Русския церкви превратили в казармы, шинки и непристойныя места, сожигали и оскверняли иконы Спасителя, апостолов и св. мучеников; отняли у русских купцов их амбары и свободную торговлю, нарушили их старыя права и преимущества. Мы несколько раз увещевали их и письмами, и посылками, — все наши увещания они презрели, не хотели сами себе добра и, подобно Фараону, пребывали в упорстве; и потому-то мы принуждены были послать нашу военную силу искать своей правды, чтоб заставить их опомниться; и если теперь они страдают от меча и от огня, то вина в том лежит на них самих".

Император извещал Ливонию, что ему очень прискорбно слышать о нападении московитян на Ливонский край, но империя, занятая войнами с турками, не в силах защищать христианство на всех пунктах. Император указывал, что они могут просить помощи у государей, у которых владения по соседству с Московией: они должны предупредить усиление Москвы ради собственной безопасности.

В этом положении дел на собрании рассуждали, у кого просить помощи: у поляков, у датчан, у шведов или у всех разом. Среди рассуждения о том, как и куда посылать посольство с просьбой о помощи, приходит известие, что Дерпт уже в руках московских людей. Все собрание разбежалось; одни спешили запираться в крепких местах, другие — бежать за границу.

Фогты бросали свои города. Бюргеры кидали свои имущества и что успели захватить, с тем бежали, куда глаза глядят. Московские воеводы с двух пунктов, из Нарвы и из Дерпта, которому возвратили тотчас древнее русское название (Юрьев), посылали отряды во все стороны, и города были забираемы почти без сопротивления. Так из Везенберга отряды ходили до самого Ревеля, за десять верст от него опустошили страну. Около моря Репниным взяты были города Пайдус (Paddis), Потушин (Poddis), Торячбор (Торлсборг). Вейсенштейн имел

странную судьбу: тамошний фогт со страха убежал; за ним навострили лыжи все жители, — город оказался пуст и беззащитен. Пришли в пустой город немецкие кнехты, что вышли из Дерпта, вытащили из погребов бочки с вином и пивом, попили несколько дней и ушли. Московские люди не догадались занять его тогда. Но тут пришел с отрядом Каспар фон-Ольденбокен, молодой, храбрый дворянин. Он захватил город, и когда московские люди до него добрались, дал им отпор, и город оставался долго не взятым.

Зато другие города не так удачно отстояли себя. Лаис был взят Павлом Заболоцким; фогт был из него выпущен. Во всем уезде черные люди присягнули государю. Сдались: Оберпален, Пиркель, Кавелехт, Ринген. Эти города были взяты без всяких потерь; фогты их покинули, жители разбежались; московские люди спокойно овладели оставшимися имуществами и большими запасами пива и вина. Колычев взял Говью (Gaujenes) — Ацель и Голбин (Gulbenes) — Шваненбург. До октября взято было в Ливонии всего двадцать городов с их волостями. Везде черные люди, т.е. туземцы — эсты и ливы, охотно присягали государю. Воеводы, овладевшие городами, ставили в них гарнизоны. Тогда же строили там православные церкви, чтоб утвердить в стране благочестие, потому что считали эту страну древним достоянием Руси.

Скоро после взятия Дерпта Шуйский написал в Ревель и в Ригу приглашения — покориться государю, подобно Дерпту, отдаться добровольно в его власть, обнадеживал жителей царскими милостями, уверял, что царь не только сохранит ненарушимыми их имущества, дома и все угодья, но пожалует их еще большей свободой и лучшими привилегиями, чем они имели; а в противном случае он пугал их царским гневом.

Ревель чуть было не попал в датское владение. Командор Франц фон-Ацель сдал и замок, и город датскому полковнику Христофору фон-Мокингаузену, и вслед затем город Ревель и дворянство Гаррии отправили депутацию к датскому королю, отдавались со всей провинцией ему во владение и просили защиты. Когда пришло предложение Шуйского, Совет, еще не зная, что скажет датский король, и надеясь на его помощь, не допустил русского посла до города, принял его в загородном дворе, принадлежавшем Совету, и дал такой ответ: "мы будем оставаться верны нашему законному господину гермейстеру по нашей присяге и обязанности, и не уподобимся тем легкомысленным, которые поступили вероломно и сдали свой город. Надеемся на помощь Всемогущаго".

Когда посол уехал с угрозами, ревельцы с часу на час ожи-

дали посещения неприятелей и принялись деятельно за укрепления: все граждане — старые и молодые, и хозяева, и работники — стали работать и день, и ночь. Московские люди несколькими отрядами подбегали к Ревелю и, видя, что город крепок, отходили назад. Воеводы не решались нападать на него. Для этого нужно было им сосредоточить силы; показалось им лучше занять те городки, которые сами давались в руки. При всей судорожной деятельности своей ревельцы, однако, не были чужды страха: некоторые выслали за границу жен своих и детей и увозили свои драгоценности.

Между тем город Дерпт получил в сентябре[1] жалованную грамоту от царя. Это было подтверждение того, чего просили жители Дерпта, но с изменениями. О многом, чего хотели побежденные, в грамоте вовсе не упоминалось: так например, они просили позволить подавать апелляции в Ригу; позволения этого нет в грамоте, напротив, показано, что наместник будет иметь право наказывать и наблюдать за сохранением силы грамоты: этим самым уже грамота парализовывала независимость суда, какой хотели граждане. В самом суде должен был находиться поверенный (Drost), ради тех русских, которые будут судиться с немцами; но ни он, ни наместник не должны препятствовать процедуре суда между немцами. По старым обычаям, по просьбе города, предоставлено гражданам и иностранцам, живущим в городе, свободно оставлять место своего жительства и выселяться, но прибавлено, что в таком случае с имущества выбывшего платится в казну десятая часть. Имение осужденных доставалось казне, то-есть государю, а казна принимала на себя обязанность платить их долги; также, если кто убежит из города и захватит с собой имущество, то все остающееся, и движимое и недвижимое, доставалось казне, и кредиторы теряли иски свои: они должны были прежде с разбором давать деньги. Позволяя немцам торговать и селиться в России, царь допускал не только торговать русским в Дерпте, но и селиться там на житье, — этим показывалось уже намерение провести в новоприобретенную страну господствующую народную русскую стихию. Вообще, по этой грамоте московские начальники имели уже повод налегать на жителей; например, запрещено было приходящим не немецким уроженцам ночевать в доме дерптского гражданина, запрещено ходить вечером и ночью без фонаря, запрещено гражданам продавать вино московским ратникам. При всех этих мерах предосторожности, воеводы всегда могли придираться к

[1] Подписано 6-го сентября.

жителям, поверять — соблюдают ли они правила. Грамота эта была нарушена с московской стороны тотчас же в самом важнейшем праве: в ней обещано не выводить дерптских жителей из мест жительства; но вслед за утверждением грамоты самого епископа потребовали в Москву. Он уже не воротился в свое Фалькенау; царь дал ему в Московской земле до смерти город с волостью[1]. По известиям современника, его содержали в милости. В Ливонии и во всей Европе его подозревали, как изменника: говорили, что он для своего спокойствия пожертвовал независимостью дерптского края, находившегося в его управлении.

Осенью Шуйский уехал к царю, а в Дерпт прибыл начальником князь Димитрий Курлятев с новыми воеводами, которые должны были разделить между собой надзор за городом по воротам, т.е. по частям, прилегающим к разным воротам[2].

Новый гермейстер сведал, что московские силы ушли, понадеялся, что оставшихся немного и потому с ними сладить можно. Он хотел показать русским, что дела в Ливонии переменились с отставкой старого гермейстера. Он успел приобрести денег: заложил прусскому герцогу один замок и взял сорок тысяч талеров; один рижанин дал ему взаймы 30.000 марок, да вдобавок и те деньги, что возили в Москву и назад привезли, гермейстер обратил в собственность орденской казны; на все эти деньги собралось у него войско; пристал к нему отряд рижского архиепископа, и с этой силой он пошел к Рингену. Намерение у него было взять этот город, где был московский гарнизон, а потом думали они идти на Дерпт. Московские воеводы стали подозревать, что дерптские граждане с ним сносились и что они-то убедили его выступить, чтоб их выручить. В Рингене был поставлен сын боярский Русин Игнатьев; у него было не более девяноста человек[3]. Такой ничтожный гарнизон не мог выдержать осады. Воеводы в Дерпте, узнав о приближении гермейстера, сейчас дали знать в Москву, между тем нескольких подозрительных граждан наскоро повезли во Псков и разместили по домам у тамошних жителей. Царь приказал спешить против гермейстера ратным людям из разных пограничных городов и волостей и в том числе из Пскова и из Шелонской пятины. Но пока эти силы

---

[1] "Дан ему был удел до живота его, сиречь град един с великою властию." Курбский, 176.

[2] Львова лет., V, 242. "... боярина князя Дмитрея Ивановича Курлятева, да окольничево Вас. Дмитр. Данилова, да со князем Дмитрием же воевод князя Петра Щепина, да Михаилу Петрова Головина, Федора Ивановича Бутурлина, князя Антона Ромодановскаго, и велел государь князю Дмитрею ворота разделити, и беречь своего дела и земскаго..."

[3] Львова, V, 264... "40 детей боярских да 50 стрельцов"...

собрались, прошло шесть недель: Русин Игнатьев храбро отбивался, пока наконец в городе не стало пороха и немцы не пробили стены. Ринген был взят. Во время стояния самого гермейстера под Рингеном немецкие отряды вырвались в Псковскую землю и опустошали ее; они отомщали за то, что делалось русскими в Ливонии. Таким образом они сожгли посад у Красного и разорили несколько волостей. Один из таких отрядов под начальством брата самого Кетлера был разбит князем Репниным.

По взятии Рингена, гермейстер пошел было на этого князя, имел с ним стычку, но далее не продолжал войны. Он не решился осаждать Дерпта. Подходило русское войско; против него еще не осмелился Кетлер со своими силами выступить на бой; притом же приближалась зима; воевать было трудно. Гермейстер и командор рижского архиепископского отряда довольны были и тем, что с большим усилием отняли один из многих своих городов, так легко покорившихся русским. Не удержали они, однако, Рингена за собой.

Как только услышали в Дерпте, что немецкие войска ушли назад, Курлятев велел перевести дерптских жителей на свои места к их детям и женам. Последним, по замечанию Ниенстета, в отсутствие их не было никакого оскорбления.

Москва не простила этого покушения на отнятие своего приобретения, не простила и разорений, которые наделали немцы в Псковской области. В январе 1559 года опять ворвалось в Ливонию такое же истребительное полчище, как в прошлом году[1]. Но прежде, чем оно начало свое путешествие, Курлятев, по царскому приказанию, в декабре писал к гермейстеру и приглашал его бить государю челом и исправиться, чтоб не лилась напрасно христианская кровь. Отписки от гермейстера не последовало, и под главным начальством князя Микулинского Пункова московское войско пошло разорять Ливонию.В нем были и татары, и черемисы, и пятигорские черкесы. Они прошли до самой Риги, воевали, говорит русский летописец, в длину в шестьсот верст, а в ширину на полтораста, а инде и на двести верст и взяли

---

[1] "Отпустил государь на ливонских немец войною царевича Тахтамыша, для бояр своих и воевод по полком, в большом полку бояра и воеводы кн. Сем. Иван. Микулинский Пунков, Петр Васильевич Морозов, в передовом боярин и воевода князь Василий Семенович Серебряной, да воевода Никита Романович Юрьев, да в правой руке бояре и воеводы кн. Юр. Ив. Кашин, да Иван Васильевич Шереметев Меншой, в левой боярин и воевода князь Петр Семенович Серебряной, да воевода Иван Андреевич Бутурлин, а в сторожевом полку боярин и воевода Михайло Яковлич Морозов, да воевода Федор Игнатьевич Салтыков, а с ними дети боярския многия Московския земли и Новгородския и Татарове Казанские, и Городецкие, а князем Черкаским государь велел быти в передовом же полку, а князь Михайлу Петровичу Репнину с товарищи велел быти со князем Семеном же"... (Львов., V, 271).

одиннадцать городков: немцы эти городки покинули, а русские, взяв, не удерживали. Так опустошены были оба побережья Западной Двины; отряды достигали до морского берега, разорили там семь городков и сожгли под самой Ригой корабли. Этот поход продолжался целый месяц, с 15 января по 17 февраля, почти без всякого отпора со стороны немцев; на всех нашел страх; все бежали, куда глаза глядят. Только под городком Чесминым хотели было немцы остановить разорительную рать, но были разбиты и потеряли четыреста человек. Немецкий современник описывает в мрачных красках варварство московитян. Ни у турок, — говорит он, — ни у каких-либо язычников не найдешь в истории таких отвратительных злодейств; когда московитяне ушли, то повсюду валялось множество детских трупов; иные были взоткнуты на заборы; члены и старых и молодых всюду были раскиданы по дорогам и полям, — где голова, где лядвея; и видно было, что их мучили зверским, бесчеловечным образом.

Но тут явились ходатаи за Ливонию от соседних государей. По завоевании Дерпта город Ревель и дворяне провинций Гарии и Вирланда, как выше сказано, отправили посольство к датскому королю с предложением подданства, ссылаясь на то, что эти земли издавна принадлежали датской короне. Но в то же время орденские послы указывали на принадлежность этих провинций Ордену и просили отдачи ревельского замка, преданного командором в руки датского полковника, а в свою очередь просили у Дании помощи против московитян. Король первым отвечал, что он уже стар и вовсе не желает расширения своих владений, а орденскому посольству объявил, что он не в силах отважиться на разорительную войну с Московией, во всяком случае скорбит о судьбе Ливонии, и потому станет ходатайствовать у царя и будет просить прекратить разорение страны.

Орден отправил посольство и в Швецию. Сначала обратились к сыну шведского короля, правившему отдельно Финляндией, принцу герцогу Иоанну, просили у него денег и предлагали в залог города и замки в Ливонии. Сам Иоанн был готов исполнить просьбу, но отец, осторожный и наученный уже неудачной войной с Московским государством, король Густав Ваза, был против этого. Города, взятые в залог, по его мнению, нужно будет поддерживать своими средствами и они обойдутся дороже, чем сами стоят. Опасно казалось ему вмешаться в Ливонию, когда она признавала издавна верховную власть Немецкой империи, а теперь в одно и то же время обращается и к Дании, и к Польше. Швеция могла попадать в неизбежные столкновения с этими государствами, да и без того распря с Московским

государством казалась ей непосильным предприятием. В 1559 году ливонцы решились отправить посольство к самому королю в Стокгольм. Послы рисовали королю возможность образовать целый союз соседей против москвитян и указывали на польского короля. Густав припомнил, что этот король обнадеживал его уже один раз взаимным союзом и побудил шведов начать неприязненные действия против москвитян, а когда понадобилось выходить в поле, то шведы сами должны были рассчитываться, и к ним не явилось ни одного поляка, ни одного литовца. Разом зацепил он и Ливонию, припомнил, что в то же время и рыцари оставили своих союзников без помощи, и Швеция должна была заключить с Московией невыгодный для себя мир. Ливонские послы могли выпросить у шведского короля только обещание ходатайствовать перед царем об успокоении Ливонии.

Зимой, после рингенского похода, начал сношения с Польшей и Литвой коадъютор рижского архиепископа и ссылался на позвольский договор 1557 года, по которому король обязывался выручить Ливонию из беды, если придет необходимость.

По этим-то просьбам со стороны Ливонии в 1559 году в Москву явились посольства: датское, шведское и литовское.

Литовский посол Тишкевич приехал в Москву в марте 1559 года. По обыкновению, начались с ним толки о границах. Повторялась нескончаемая песня о присоединении к Москве Киева, Полоцка, Смоленска; от этого давно уже не бывало между Москвой и Литвой прочного мира, только перемирия заключались, хотя и та и другая сторона часто чувствовала потребность не только мира, но и взаимного оборонительного союза. И на этот раз крымские дела очень побуждали Москву желать соединить свои силы с литовскими на общих врагов христианства. Но помешала Ливония, как и прежде случалось много раз, что миру помешает что-нибудь. Когда посол заикнулся о Ливонии, Адашев отвечал ему, что Ливония — Земля царская, и царь наказывает своих строптивых подданных.

Шведские послы, из осторожности, просили от имени короля пощады Ливонии, как будто не для себя, а для императора, но бояре осмеяли их. "Мы думали", сказали они от имени государя, "что ты, король, хлопочешь за ливонцев оттого, что тебе они надобны, а если ты хлопочешь для империи и тебе они ненадобны, то ты бы и не посылал к ливонцам; пусть бы они сами били мне челом".

Датское посольство было счастливее всех. Правда, послам короля Фридриха II (только что вступившего после Христиана), на их замечание, что Колыван и вообще Гаррия и Вирляндия — древнее достояние Дании, заметили, что король безлепо

называет Колыван и Вирляндию своей Землей: это древнее достояние Ярослава, который основал Юрьев. Вместе с тем выставили предлог к войне самый благовидный — защиту веры, исчисляли, что в Риге церковь св. Николая отдали литовцам, в Дерпте церковь св. Николая обратили в конюшню, и везде притесняли русских купцов. Но затем согласились дать перемирие Ливонии на шесть месяцев, от мая до ноября, с тем, чтоб гермейстер сам приехал или присылал послов бить челом государю о своей вине. Послам дали и опасную грамоту для гермейстера на проезд его в Москву.

Но Готгардт Кетлер не думал ехать в Москву. Покориться варварам казалось ужасным; представлялась еще надежда подвинуть на них союзные силы христианских держав. Рижский архиепископ и его коадъютор завязали дело с Сигизмундом-Августом. В мае 1559 года архиепископ отправил к Сигизмунду посольство, умолять о помощи, и соглашался, в случае нужды, отдаться под власть его, платить известную дань, лишь бы, однако, вместе с тем состоять в Немецкой империи. Николай Радзивилл, виленский воевода, которому король поручил вести переговоры, требовал отдачи Риги.

Маркграф бранденбургский Альбрехт, отдавшийся Сигизмунду-Августу, склонял архиепископа отдаться польскому королю, лишь бы обеспечить рижское архиепископство и город Ригу в сохранении самоуправления и в ненарушимости прежних прав и обычаев.

По приговору ливонского сейма Готгардт Кетлер отправился в Вильну и там 3-го сентября заключил договор, подписанный 15-м числом. Король обещал помогать и защищать Ливонию от московитян, а Орден и архиепископство должны оставить у него в залоге пространство близ литовских пределов от Друи по течению Двины до Ушерада и самый Ашерад с его волостью; на этом пространстве польскому королю отдавались укрепленные замки Роситен, Сельбург, Динабург, Люцен и сверх того замок Бавско, с волостью и со всеми доходами, но с сохранением прав и привилегий, как религиозных, так и гражданских, жителям областей, отданных в залог. Орден имеет право возвратить заложенные земли в свое владение, выплатив 600.000 гульденов (считая в гульдене 24 литовских гроша). Подобный договор был заключен с рижским архиепископом, и окончательно утвержден в феврале 1561 года. Архиепископ заложил королю замки: Ленверден и Мариенгаузен и дворы Бирсен и Лобан, с правом для себя и своих преемников возвратить их себе, заплатив 100.000 злотых, считая также каждый в 24 литовских гроша. Король уступал ему Ленверден в пожизненное пользование. Король при-

нял на себя обязанность охранять Ливонию против московского государя, но прежде послать в Москву приглашение прекратить нападение на Ливонию.

Отправили Георга Зиберга, командора дюнебургского, в Германию. Этот посол на аугсбургском сейме изложил положение Ливонии и так тронул членов, что ему предлагали 100.000 дукатов, но это показалось ему мало и он не взял; за это его не поблагодарили в Ливонии. Кроме этого денежного пособия, аугсбургский сейм определил написать к московскому государю от имени императора увещание.

Когда Готгардт Кетлер воротился из Литвы в Ливонию, надежда на время оживила рыцарей; они признавали гермейстера законным господином страны и ее избавителем. Не смели и подумать просить московского царя; надеялись отмстить ему вдесятеро за все, что он причинил Ливонии. Но денег в Литве гермейстер не получил; надобно было их доставать другими путями. Он заложил Ревелю замок Кегель за 30.000 гульденов.

За деньги, полученные под залог замка, пригласили наемное войско и стали приготовляться к отнятию Дерпта и всех покоренных москвитянами замков. В Москву сейчас дали знать об этом, и из Москвы последовало приказание собраться в поход воеводам, расположенным со своими ратными силами в пограничных городах.

В октябре высланный вперед с отрядом для проведывания воевода Захарий Плещеев поймал немецких языков; они объявили, что гермейстер стал воевать по наущению дерптских граждан, которые подсылали к нему своих агентов. Много узнал он от языков тайного и важного; неизвестно, насколько там было верного: быть может, на дерптских граждан нарочно, с досады, наговаривали. Но Плещеев не узнал самого главного: что гермейстер и коадъютор со своими силами недалеко. Воеводы, по словам летописи, стояли оплошно; не было у них ни подъездчиков, ни сторожей; они ждали помощи от своих; но погода была дурная: невозможно было ехать ни в санях, ни верхом; и вдруг, когда они не ожидали, напали на них немцы и поразили наголову; пало тысячу человек боярских людей, семьдесят человек детей боярских; раненых много; и пленных много наловили, и в том числе поймали одного из воевод; весь лагерь и орудия достались победителям. Плещеев едва сам ушел. Сам гермейстер, а вместе с ним и коадъютор рижского архиепископа, герцог Христофор Мекленбургский, осадили Дерпт. Плещеев изъявил подозрение на некоторых знатнейших дерптских граждан; их засадили в замок.

Князя Курлятева не было уже в городе, на место его воеводой

был князь Андрей Иванович Ростовский. Московские люди защищались упорно, и стрельбой не допускали немцев к городу ближе, чем на версту; немцы не решались на приступ, стояли под Дерптом пятьдесят дней, во время осады потеряли человек со сто, а у московских людей убили до сорока, наконец сняли осаду и двинулись к Лаису. Если бы, говорит современник, немцы поступали благоразумнее, то Бог бы мог дать иную судьбу городу Дерпту.

В Лаисе московских людей было человек триста (сто детей боярских да 200 стрельцов). Когда немцы отошли от Дерпта, то князь Ростовский успел послать туда еще сто стрельцов под начальством головы Андрея Кошкарева. Немцы окопались около Лаиса, поставили туры, взмостили на них пушки и принялись стрелять. С города им отвечали бодро. Уже немцы успели разбить в одном месте на пятнадцать саженей в ширину стену и два дня приступали к этому пролому. Но неприятель, говорит ливонский историк, показывал такую храбрость и такое мужество, что наши ничего не могли сделать с ним. Много храбрых рижских и ревельских воинов было убито. Между ними один капитан. Московские выстрелы разбили немцам их две пушки, и наконец немцы отправились от Лаиса к Оберпалену со стыдом и срамом, по единословному выражению и русских и немецких историй. Там войско потребовало жалованья, роптало на погоду и готово было поднять бунт. Сначала начальники его уговаривали, потом принуждены были отступить на зимние квартиры, а всю артиллерию отправили в Феллин.

Ливонцы так же скоро утешались какой-нибудь надеждой, как и теряли дух при опасности. К старому гермейстеру заехал тогда императорский посол, ехавший в Москву с ходатайством за Ливонию от императора. Сейчас дали знать Готгардту Кетлеру, и он приехал. В довершение удовольствия прибыли послы из Польши в Ригу. Тогда рыцари говорили: целы у нас еще два главные города — Ревель и Рига; мы еще собьем спесь дерзкому врагу.

Но не то ожидало Ливонию. В начале 1560 года приезжал в Москву императорский гонец и привозил письмо от Фердинанда I. Император припомнил царю и доказывал, что Ливония — часть Немецкой империи, и нельзя потерпеть, чтоб эта часть насильственно от ней отторгалась; а потому просил царя перестать воевать Ливонию и возвратить все отнятые у нее места. Император предлагал свое посредство и обещал во всяком случае поступать так, как только может быть выгодно для царя. Московский царь отпустил гонца без решительного ответа, отлагая его до того времени, когда император пришлет послов поважнее.

В январе 1560 года приезжал и от польского короля Мартин Володкович с грамотой от короля. Сигизмунд-Август предъявлял свои права вмешиваться в ливонские дела на том основании, что Ливония — Земля, подданная императору, а император поверил ее защиту ему. Притязания московского государя, заявленные прежнему королевскому послу, Тишкевичу, король опровергал тем, что предки царя не называли ее своей Землей, и сам царь не вмешивался в ее дела, когда Сигизмунд-Август, помогая рижскому архиепископу, посылал войско на гермейстера Фирстенберга. На это бояре твердили одно и то же, что Ливония от прародителей принадлежит Руси, и показали послам грамоту, в которой дерптский епископ и гермейстер обязывались платить дань.

Таким образом посторонние заступничества, которым было так обрадовались в Ливонии, не повели покамест ни к чему утешительному.

А между тем за посещение Дерпта московские люди не оставили ливонцев без благодарности. Опять московские войска пошли разгуливать по Ливонии. Воеводы: князья Шуйский, Серебряный и Мстиславский опустошали села и деревни в областях веденской и вольмарской, потом осадили Мариенбург (Алист). Когда русские пробили стену в этом городе, командор его Каспар фон-Сиберг сдался и был выпущен с гарнизоном. Его обвинили в измене, и гермейстер посадил его в крепость Кирхгольм, там он и умер. Вслед за Мариенбургом сдались еще несколько замков. По уверению немецких историков, командоры сами их сдали от малодушия и страха; всех тогда поразило общее оцепенение. Московские люди ворвались в область рижского архиепископства, разоряли ее, истребили дотла местечко Смильтен, врывались даже в Курляндию, нигде им не было препятствий и отпора.

Положение Ордена казалось с часу-на-час безвыходнее; войско бунтовало, требовало платы; денег недоставало; несколько отрядов ушло с распущенными знаменами. Готгардт Кетлер занял у прусского герцога еще новую сумму и заложил курландские города: Гольдинген, Виндау и Гробин. Ясно было, что с такими способами защиты нельзя думать о сохранении самостоятельности; желая напрасно спастись от московитян, Ливония, таким образом, могла вся заложиться и потом продаться соседям, как имение несостоятельного должника. Разложение пошло со всех концов. Епископы, думая прежде о себе, хотели схватить в свою пользу, что им попадется в руки во всеобщем разрушении, и улизнуть по-добру по-здорову. Эзельский и пильтенский епископ, Иоган Фон-Меннигаузен, уступил свое епископство

брату датского короля, герцогу Магнусу, призвал его в Аренсбург, а сам, получив за свою уступку 20.000 талеров, ушел в Германию. Его примеру последовал и ревельский епископ, Мавриций Врангель: он продал свое епископство тому же Магнусу и также ушел в Германию. За ним сделал то же фогт в Синебурге и сдал город ему же. Многие дворяне и ревельские знатные бюргеры увидели тут единственное спасение и бежали к Магнусу, по пословице: утопающий хватается за соломинку. Готгардт Кетлер, пораженный этим новым явлением, приехал в Ревель и послал к Магнусу депутатов. Магнус обещал именем своего брата, короля, защищать Ливонию, если Дании уступят земли, принадлежавшие епископам, отрекшимся от своих владений. Не могли быть по душе эти выходки гермейстеру, который хотел сохранить целость страны: ей предлагали помощь на счет ее разложения.

В это время прибыли в Ревель к гермейстеру послы шведского короля, Густава Вазы. Старый король получил от императора Фердинанда I ходатайство о помощи Ливонии. Густав отказывался пособлять ей оружием, но убеждал ливонцев оставаться в верности гермейстеру, обещал со своей стороны городу Ревелю военные снаряды и предлагал ревельцам, в случае будет угрожать им от московитян осада, перевезти их семейства в Финляндию с имуществами. Гермейстер отправил посольство в Швецию; с ним поехал поляк Христофор Конарский побуждать шведское правительство на взаимную с Польшей и Литвой защиту Ливонии против московского государя.

Находясь в Ревеле, гермейстер вдруг услышал, что московская рать идет на него. Он собрался с войском и пошел ей на встречу. На этот раз предводительствовал московским войском Андрей Михайлович князь Курбский, бывший до того времени в сторожевых полках. Теперь, по уверению его самого, царь Иван Васильевич призвал его и говорил: "после бегства моих воевод я принужден сам идти на Ливонию, или тебя, моего любимаго, послать, чтоб мое войско охрабрилось при помощи Божией; иди, послужи мне". Курбский говорит при этом, что тогда русские силы отвлечены были нападениями крымцев, и потому посылали в Ливонию воевод мало искусных, так что они несколько раз поражены были немцами и, великие числом, бегали от малочисленных. Это могло относиться только к последним неудачам; нельзя сказать, чтоб дела вообще шли очень плохо в Ливонии, и, кажется, Курбский, если не сочиняет, то прикрашивает несколько свое значение и подвиги.

Курбский пошел на Вейсенштейн, называемый им в переводе "Белый Камень". Страна эта, по замечанию его, была очень богата. Под самым городом московские люди поразили немец-

кий подъезд и узнали от языков, что гермейстер ушел из Ревеля и стоит верст за пятьдесят оттуда, среди болот.

Курбский отпустил пленников в Дерпт, а сам пошел на гермейстера; пришлось переправляться через болото, — в такой переправе московские люди провели целый день. Если бы в это время, рассказывает сам военачальник, немцы встретились с нами и напали на нас, то хоть бы у нас войска втрое было, чем у них, они поразили бы нас; а у меня тогда было всего тысяч пять. Немцы стояли на широком поле, верст за пятнадцать от московской рати; у гермейстера было четыре пеших и пять конных полков. Уже солнце зашло; настала ясная ночь. По замечанию Курбского, в этих приморских странах ночи бывают особенно ярки. Ночью Курбский дошел до немецкого войска. Между передними завязалась битва; она длилась полтора часа. Немцы палили из орудий, а московские люди отделывались более стрелами и попадали метко. Курбский дожидал помощи от Большого полка, и помощь пришла кстати. Завязалось полное сражение; схватились враги в рукопашный бой и вслед затем немцы пустились бежать, а московские люди за ними пустились в погоню; немцы добежали до большой реки и как стали переходить через мост, под ними обломился мост, и множество их погибло в воде. До конца погибли, говорит Курбский. Когда солнце взошло, уже войска не было; кто остался жив, тот бежал; везде — по полю, в хлебах и в траве прятались кнехты; московские люди бегали за ними и отыскивали. Одних воинов знатных (дворян) взяли сто семьдесят; русских детей боярских убито было только шестнадцать, кроме простых ратных людей.

Эта блистательная победа, происходившая около Троицына дня, парализовала и дух, и силы Ливонии. Московские отряды вторгались в Гаррию, разоряли край; черный народ просил пощады, отрекался от немцев добровольно и просил принять его в подданство царю. Тогда сдался крепкий замок Фегефюер (Кировило чух.) и был сожжен. Пылали дворцы дворян. В одном месте при Неуенгофе в приходе Кошкуль дворяне, пользуясь туманной погодой, напали было на русских, но, когда разъяснилось, были разбиты. Сам Курбский воротился в Дерпт. Русские отряды вышли из Гаррии, возмутив крестьян. Ненавидя издавна немцев, своих господ, последние рады были случаю подняться на них. "С чего нам терпеть за них", кричали на сходках пробудившиеся чухны, — "дворяне берут с нас большие оброки, мучат нас барщинами, а как неприятель пришел, так они прячутся, а нас на зарез отдают". Они соединялись в шайки, начали разорять и жечь дворянские усадьбы, убивать владельцев. Некоторые из знатных особ были захвачены врасплох и умерщвлены. Кресть-

яне послали в Ревель депутата, приглашали мещан содействовать себе и предлагали им дружбу, уверяя, что они не хотят служить дворянам, которые должны быть истреблены, но с горожанами желают они жить в мире.

Как обыкновенно бывает, первая энергическая удачная мера укрощения охлаждает ревность и пыл подобных восстаний. Так было и здесь. Сильная крестьянская шайка осадила дворянскую усадьбу Лоде, куда, пользуясь укреплением, сбежались преследуемые дворяне. Когда крестьяне трудились над ней, вдруг напал на них сзади Христофор фон-Менникгузен с отрядом дворовых людей и рейтар. Застигнутые врасплох, крестьяне были разбиты, и главные их коноводы попались в плен: их примерно казнили, — одних на месте, других повезли в Ревель. Бунт утих.

Между тем, в Дерпт пришло большое войско и от царя приказание идти на Феллин, где был тогда старый гермейстер Фирстенберг. Он узнал уже о поражении Готгардта Кетлера, собирался уходить сам и отправил в Гапсаль тяжелые орудия, которые, после снятия с него гермейстерского достоинства, оставались под его ведением. Московским воеводам донесли об этом. Они отправили на перехват их конвоя двенадцатитысячный отряд. За ним все войско двинулось с решительным намерением взять Феллин, крепость сильную в Ливонии. Всего войска было сорок тысяч; из них тридцать конного, а десять тысяч стрельцов и козаков. Пушек с ним было больших сорок, а меньших пятьдесят. Этой огромной для Ливонии силой начальствовали князья Шуйский, Мстиславский и Курбский. Они вышли из Дерпта после Ильина дня. Пушки погнали вверх по реке Эмбаху. Близ города Эрмса сказали московским воеводам, что на них готовится нападение. Ландмаршал Филипп Бель[1] и с ним одиннадцать комтуров, узнав, что идет московское войско, устроили засаду; но они не знали, как велико неприятельское войско: от тех, которые, прослышав о приближении неприятеля, бежали в осаду в Эрмс, ландмаршал получил неверные известия и думал, что русские идут таким же небольшим отрядом, какие до сих пор ходили по Ливонии разорять волости; он надеялся побить их, напав на них внезапно. У него, по известию Курбского, было не более как человек пятьсот конных, да столько же пеших. Вдобавок, это было днем, а немцы, по замечанию Курбского, днем бывали тогда редко трезвы. И вот перед полуднем московское войско расположилось опочивать. Стояла сторожа. Это время казалось благоприятным. Фон-Бель ударил на сторожу, потом

[1] В Псковс. летописи: Ламошка, немецкой воевода.

на конницу. Но московские воеводы предвидели все и, как оказалось, когда ландмаршал готовил русским засаду, русские приготовили ее для него; — нашлись добрые вожи, которые провели московский отряд через лес вкось и, как только схватились немцы с передовыми, сзади на немцев обрушилась из леса нежданная русская сила и огорнула их со всех сторон. Они пустились врассыпную; и слишком мало было счастливцев, что успели спастись. Самого предводителя поймал холоп Алексея Адашева; взяли в плен одиннадцать комтуров и сто двадцать дворян живьем, кроме множества простых.

Воеводам привели пленного ландмаршала, последнего защитника и надежду ливонского народа, по замечанию Курбского.

Хоть он был и пленник, но с ним обращались почтительно, уважали в нем и знатное происхождение, и храбрость. Сидя за обедом с воеводами, рассказывал он им историю ливонского Ордена и приписывал бедствие своего отечества перемене старых обычаев и веры. "Как только", говорил он, "мы отступили от веры церковной, дерзко опровергли законы и уставы святые, приняли новоизобретенную веру, а потом вдались на широкий и пространный путь, ведущий на погибель, Господь явственно обличал грехи наши. Теперь казнит Он нас за беззакония наши и предал нас в руки врагам нашим. И вот прародители наши построили высокие и крепкие города, палаты, богатые дворы, а вы без труда, без издержек, вошли в них, будете пользоваться садами, которых не садили, и домашним хозяйством, котораго не заводили. Вы мечом нас побороли, а другие без меча, нимало не трудясь, захватили наше достояние, обещая нам помощь и оборону. Но не думайте, что одолели нас вы силою своею: Бог за преступления наши предал нас в руки врагам нашим".

Эти размышления понравились благочестивым боярам. Пленник плакал; прослезились победители. Не меньше тронуло их и то, когда, отирая слезы, пленник с радостным лицом сказал: "благодарю Бога и радуюсь, что стражду за свое отечество; пусть постигнет меня смерть за него, она будет мне любезна". Бояре удивлялись его разуму и словесству.

В августе 1560 года московские люди осадили Феллин, где сидел бывший гермейстер, покопали валы, поставили на них пушки и палили в город. Так проходили три недели. В это время пришло известие, что новый ландмаршал идет от Вендена, что литовцы пришли в Ливонию под начальством Ходкевича и посылают на московских людей силу, чтоб выручить Феллин. Воеводы решили напасть на врагов прежде, чем нападут они на воевод. Отрядили Курбского с товарищами. Курбский исполнил дело блистательно: он разбил нового ландмаршала под

Вольмаром, потом напал на отряд Полубенцкого, посланный Ходкевичем, рассеял его и воротился к Феллину. 20 августа от Корнилия, игумена печерского, славившегося своей святой жизнью, признаваемого за чудотворца, прибыл к осаждающим старец Феоктист с просфорой и святой водой. На другой день, 21 августа, стали по обычаю прежних дней палить в Феллин; одно ядро попало в яблоко на церкви, другие падали в иные места, — город загорелся; русские усилили стрельбу. Тогда Фирстенберг послал просить пощады, отдавал город и выговаривал вольный проезд себе и всем, находившимся в замке, с их имуществами. Но воеводы видели, что он ни в каком случае держаться более не может, и объявили так: "войско и жителей всех выпустим и с их животами, а тебя не выпустим; только обещаем тебе милость от царя; все тебе возвратим; и царь пожалует тебе город на Москве до твоего живота". Фирстенберг не мог противиться, потому что все жители, стесненные и огнем, и неприятельскими ядрами, требовали скорее сдачи. Так сдался Феллин, и русские бросились тушить огонь. Когда, по известию Курбского, воеводы вошли в него и увидели тройную каменную стену и глубокие рвы, выведенные гладкими камнями, толстые свинцовые кровли на церкви, строениях и стенах, когда забрали в городе восемнадцать стенобитных пушек да четыреста пятьдесят малых орудий, когда увидели, что и запасов военных и съестных было большое изобилие, то удивлялись, как это немцы с такими силами могли сдаться. Воеводы приписывали эту победу благословению св. Корнилия и прислали в дар его монастырю колокол из Феллина.

Взятые в плен предводители отправлены в Москву. Царь не так великодушно, как его воеводы, обошелся с ними. Напрасно воеводы, посылая пленников, просили царя быть к ним милостивым, представляли, что вся Ливонская Земля уважает Филиппа фон-Беля и ласковый прием этого пленника расположит к царю покоренную страну. Когда их привели к царю, Филипп фон-Бель не боялся сказать ему: "ты хочешь покорить наше отечество неправдою и кровопийством; ты поступаешь не так, как христианский государь". Иван разъярился. Бель и с ним четыре ливонские рыцаря (брат его Вернер Шаль фон-Бель, комтур гольдингенский, Генрих фон-Гален, фогт баушенбургский, Христов Зиброк, фогт кандавский, и Рейнгольд Зассу) ради потехи проведены были по московским улицам; их погоняли бичами; потом им отрубили головы и бросили их тела на съедение собакам. Дерптский епископ, который из пленных немцев один только был в чести у царя, молился над телами соотечественников и выпросил позволение похоронить их.

Фирстенберга также водили на поругание по Москве, но не убили, а посадили в тюрьму; двое слуг добровольно остались при нем разделять его заключение. Немецкие историки говорят, что во время торжественного провода рыцарей по улицам Москвы двое лишенных престолов царей, казанский и астраханский, плюнули на них и сказали: "вот вам, немцы, поделом; вы сами дали великому князю кнут, которым он и вас и нас бьет". Они намекали на то, что ливонцы привозили к московитянам военные запасы. Почти наверное можно сказать, что этот анекдот выдуман ливонцами.

Постоянные неуспехи в войне с московитянами должны были вполне убедить Ливонию в невозможности бороться за свою независимость. Воевать можно было только с чужеземной помощью. Эту помощь надо было покупать. Уже город за городом отданы были в залоги для приобретения денег, чтоб на них нанимать войско; неприятель не оставлял своих покушений и чувствовал, что постоянно берет верх в борьбе, которую ведет. При том же современники сознавали, что наемные войска, приведенные из Германии в Ливонию, были до того своевольны, что обращались с краем, куда приведены, мало чем лучше врагов.

Для Ливонии было все равно, что с усилиями бороться против Московии и потом лишиться независимости и достаться чужим, что, избегая дальнейших усилий и разорений, отдаться кому-нибудь заранее добровольно. Империя уже оставила ее на произвол судьбы. В Германии сочувствие к Ливонии до того не оказывалось всеобщим и сильным, что города Любек, Гамбург и другие не стеснялись племенным родством с ливонскими немцами настолько, чтоб для него пожертвовать собственными выгодами, и доставляли в Иван-город оружие и снаряды, нужные русским для войны с Ливонией. Трое соседей: Польша, Дания и Швеция предлагали ей помощь, но тут ясны были своекорыстные виды овладеть несчастной страной, искавшей у чужих спасения. Географическое соседство решало выбор. Гермейстер склонялся к мысли отдаться Польше и Литве; к нему приставали дворяне южной Ливонии; край их не был огражден от Литвы ничем; можно было страшиться, что если не отдаться Литве, то не только не получишь от нее помощи, но еще наживешь себе в ней врага; Литве стоит только захотеть овладеть этой частью Ливонии и войти относительно другой в сделку с Москвою. Видно было, чего хотят в Литве, заключив оборонительный союз. Сигизмунд-Август не начал войны, а объявил, что до истечения перемирия в 1562 году не может ее начать. Все дела в Ливонии он препоручил вести виленскому воеводе Радзивиллу. Радзивилл весной 1560 года занял все заложенные Литве замки и

волости. Рижский архиепископ еще боялся довериться полякам. Сигизмунд-Август настаивал, чтоб он допустил в принадлежащие архиепископству места польские гарнизоны под предлогом охранения края от московитян. Архиепископ сообразил, что в самом деле московитяне скоро доберутся до Риги, принужден был не только согласиться, но в апреле 1560 года сам просил и умолял поставить в его владениях гарнизоны и передал литовцам все принадлежащие ему замки и укрепления, пушки и все запасы. Однако, долго и напрасно просила Ливония у Сигизмунда действительной помощи. Московские люди брали город за городом, уничтожали последние орденские силы, а Польша и Литва ограничивались только забиранием в свои руки замков. Ясно было, что дожидаются того времени, когда Ливония, доведенная до последней крайности, сама отречется от независимости.

Северная часть Ливонии, Ревель и провинции Гаррия и Ервен были более наклонны к Швеции, чем к Польше и Литве, как по близости, так и по торговым своим выгодам, ибо морское плавание было для них источником благосостояния. После феллинской победы московские люди стали еще смелее, и снова вторгались в Гаррию, а отряды их доходили до самого Ревеля, угрожали пригородным дачам, и уводили скот в виду города. Эти события располагали ревельцев быть решительнее. В сентябре они отправили посольство в Швецию просить денег взаймы и обещания приюта в Швеции, потому что московские люди ясно угрожали напасть на Ревель.

Послы прибыли в Стокгольм, когда старый король видимо угасал. На Михайлов день (8 ноября) он скончался. После обычных торжеств погребения наследник Густава, Эрик показал себя не так великодушным и бесстрастным, каким был для Ливонии отец его. Съехались послы от Сигизмунда-Августа и от гермейстера; приехал и московский посол. Эрик принял последнего ласково и оказывал почести этой грубой квадратной фигуре, как отзывается о нем современный немецкий историк. Такой прием раздосадовал польского гонца Конарского. "Как можно", — говорил он шведскому секретарю, "ставить на одну доску христианскаго помазанника с варварской крови собакой, которая притом не король, а только великий князь". Эрик показал ливонцам, что не намерен действовать в их пользу заодно с польским королем для охранения их независимости, и что у него свои особые виды. Гермейстеровы послы, бывшие разом с ревельскими, просили взаймы денег. Эрик согласился дать 60.000 талеров не иначе, как под залог города Пернова; а когда послы гермейстера объявили, что их послали просить денег, а не уполномо-

чили давать под эти деньги залоги, то король предъявил жалобу, что гермейстер захватил в Финском заливе некоторые суда, принадлежащие шведам. Он требовал вознаграждения непременно к Пасхе следующего года, иначе грозил употребить свои меры. Такое домогательство получить деньги с тех, которые приехали просить денег, могло показать послам гермейстера, куда метил король. Отпустив их с такими угрозами, Эрик задержал ревельских послов до нового 1561 года, и после праздника Богоявления дал им такое решение: "ваш город Ревель в большой опасности, ему нет ни откуда спасения. Московитяне вас завоюют: тогда Швеция будет иметь опаснаго и сильнаго соседа. Поэтому, не из жадности, не из желания приобретать земли, а ради христианской любви и избежания соседства с Московиею, мы готовы исполнить вашу просьбу и дать городу Ревелю не только денег, но оружия, пороху, свинца, запасов, однако, с тем, чтоб Ревель отдался добровольно под власть шведской короны, а мы сохраним и утвердим все его прежние права и обычаи". Послы отвечали: "мы не имеем на это уполномочия, а доложим совету и общине".

Ревельцы пригласили на совет дворянство Гаррии, как это делалось в подобных важных случаях, и порешили отправить к гермейстеру депутацию с тем, что если он не подаст им помощи, то они станут сами промышлять себе средства. Гермейстер, как бы исполняя их требование о помощи, прислал к ним литовский отряд. Но поляков и литовцев не терпели в немецком городе; поспешили их обдарить и отослать прочь. Граждане роптали на гермейстера. "Он, — говорили они, — хочет нас отдать полякам, да мы не хотим этого вовсе".

К довершению возникшего неудовольствия против гермейстера случилось такое обстоятельство. Кетлер, не будучи в состоянии заплатить жалованья наемным немецким кнехтам, заложил им ревельский замок; вместе с ним пошел в залог монастырь Падис, лежащий недалеко от Ревеля. Когда дела начали склоняться к тому, что ревельцы, как говорится, руками и ногами отбивались от присоединения к Польше и Литве, и напротив, более готовы были отдаться шведам, против желания гермейстера, — тогда он замыслил хитростью прибрать в свои руки ревельский замок и выжить оттуда кнехтов. Он пригласил к себе начальника отряда кнехтов Иоганна Пльате. Кнехты не догадались, зачем его зовут, и отпустили, да еще поручили ему хлопотать о скорейшей уплате их жалованья. Отозвав таким образом командира кнехтов, Кетлер поручил своему наместнику над замком ревельским, Каспару фон-Ольденбокену, спровадить из замка немцев и ввести туда литовский гарнизон. При

посредстве какого-то доктора Матфея Фрайнера и какого-то Вильгельма Вейферлинга, он ввел в замок литовцев, а за ними везли в ящиках и сундуках оружие. Немцы не догадались, что к ним везут, пока литовцы, достав оружие, не стали их выгонять. Кнехты должны были уступить и вышли из замка. После того приехал в Ревель их командир от гермейстера и сказал, что гермейстер не показывает охоты заплатить им жалованье, а если они желают получить деньги, то пусть обращаются к польскому королю, потому что сам гермейстер уже не господин над Ливонской Землей. "Что же это?" — кричали кнехты, - "нам и денег не платят, и залог отняли!" Они стали было пытаться выгонять из замка литовцев, но горожане успокоили обе стороны, устроив между ними перемирие на четырнадцать дней. Еще не был получен ответ от гермейстера на тот запрос, который ему сделали после того, что им объявил шведский король.

Желаемого ответа от гермейстера все еще не получали, как от шведского короля явились в Ревель комиссары: Они объявили, что посланы к гермейстеру решительно требовать уплаты вознаграждения за оскорбления, причиненные шведским судам в Финском заливе, и если он по-прежнему станет отделываться утешительными словами и не заплатит к Пасхе, то король станет взыскивать свое на его подданных и на его владениях.

Это была вместе с тем угроза Ревелю. Город должен был понять, что ему остается поскорее отречься от гермейстера и отдаться Швеции; иначе шведы придут, из вражды к гермейстеру, разорят Ревель и его край, как гермейстерские владения. Как бы в подтверждение того, что комиссары говорят не пустяки, в Финляндию послан был десант с приказанием быть готовым для высадки в Эстонию, как скоро коммиссары, отправленные в Ревель, этого потребуют.

Комиссары отправили королевское требование к гермейстеру и звали его в Ревель, а сами остались в городе дожидаться его прибытия. Гермейстер, твердо решаясь уже отдаться Сигизмунду-Августу, не думал спешить в Ревель по приказанию шведского короля и отвечал, что не может дать ответа ранее дня св. Иоанна (24 июня).

После этого медлить было нечего ревельцам. Приходилось или присягнуть шведскому королю на подданство, или ожидать его войска. Большинство в Ревеле склонялось к Швеции. — "От Римскаго императора", — рассуждали тогда, — "нет нам ни помощи, ни утешения; гермейстер никак не в силах нам пособить, хоть бы и захотел. Какая выгода соединиться нам с Польшею и Литвою, чего ему так хочется? Польша и Литва нам не под руку; да и народ там другого языка, другой веры, других обы-

чаев. Иное дело рижане; те хоть торговлею связаны с Польшею и Литвою поблизости — получают оттуда хлеб; а нам нет ровно никакой выгоды туда отдаваться; одна погибель нам из этого будет! Шведы с нами одной веры; страна их от нас близко, и торговля у нас со Швециею постоянная; нам подручно пристать к Швеции; можно оттуда и помощь получить!" — Город пригласил на съезд дворянство эстляндское к 4-му мая 1561 года. На этом съезде дворяне повели себя во всем согласно с городом. — "Мы", говорили они, "никогда и прежде не отставали от вас ни в чем, и теперь не отстанем. Мы соглашаемся отдаться Швеции". Немногие, которые были не расположены к этому, не смели слишком резко сопротивляться. Отправили к гермейстеру посольство с отказом подданства и повиновения. 6-го июня ревельцы и дворяне эстляндские присягнули на подданство шведскому королю перед шведскими комиссарами, которые, по уполномочию от своего государя, дали его именем обещание утвердить на вечные времена все прежние права и привилегии городу и дворянству. Замок, находившийся в руках Каспара фон-Ольденбокена, которому доверил его гермейстер, передан был от города шведам, но гарнизон сопротивлялся и шесть недель отстреливался от шведов. Он сдался 24 июня по причине скудости провианта и военных запасов.

13-го июля отправлено было посольство к шведскому королю от города и от дворянства. Король принял его ласково, подтвердил все, постановленное его комиссарами в Ревеле, и обещал охранить взаимным договором с московским царем ту часть Ливонии, которая присоединилась к Швеции. Эрик привязал к себе новопоступивших в подданство щедростью. Он заплатил Ревелю сумму, которую Ревель дал взаймы Готгардту Кетлеру под залог замка Кегеля, и конечно Ревель иначе не мог бы получить этой суммы от пришедшего в разорение Ордена. Многие из дворян и бюргеров поехали в Стокгольм, и все воротились с какими-нибудь знаками милости и внимания: кому денег дали, кому землю; всему дворянству были утверждены и даже расширены прежние привилегии. Наконец, отдавшаяся Швеции часть могла иметь сколько-нибудь надежду на спокойствие со стороны московитян; Эрик отправил к царю Ивану посольство с предложением мира и покидал остальную Ливонию на произвол судьбы; с другой стороны, Сигизмунд-Август через посланника своего Тенского изъявлял желание взаимного союза со шведским королем против московитян со взаимными уступками друг другу в Ливонии. В том и другом случае — помирилась ли бы Москва со Швецией, или же Польша и Литва стали дружно воевать против Москвы при пособии Швеции — Ревелю и Эстляндии

предстояла надежда иметь более ручательства на безопасность и спокойствие, чем тогда, когда бы эта страна, думая сохранить невозможную независимость, сделалась сценой нападений соседей с разных сторон, ищущих каждый своей выгоды в крае разоренном и лишенном собственных способов защиты.

Отдача Ревеля и Эстляндии шведскому королю ускорила развязку с Польшей. Уже договор 1559 года фактически отдал часть Ливонии Речи Посполитой; оставалось только признать отданное не заложенным, а уступленным во владение или присоединенным к Литве. Взяв в залог ливонские земли, поставив гарнизоны в ливонских городах, поступивших в залог, Сигизмунд-Август в пользу Ливонии только тем и ограничился: правда, поставление гарнизонов имело вид как бы защиты края; но ливонцы видели в этом факте только то, что польский король употребляет такую меру более для того, чтобы залоги не ускользнули из его рук. Николай Радзивилл Черный, виленский воевода, главный двигатель польских видов на Ливонию, в переговорах с гермейстером выражался ясно, что Ливония более будет иметь права на защиту от Литвы, если отдастся ей в подданство. Заложение земель вело неминуемо к этому подданству. Только то фактически и было охранено королем, что находилось у него в залоге; остальной Ливонии помощи не было. Следовательно, орденскому правительству оставалось или отдать королю всю Ливонию, или истребовать назад заложенное и уничтожить договор с королем. Но последнее было невозможно. Разоренная, обессиленная до крайности Ливония не смела рассердить Литвы и Польши и нажить себе еще нового врага; избегая подданства Сигизмунду-Августу надобно было выбирать либо Швецию, либо Московию. Если же не хотеть ни той, ни другой, то неминуемо оставалось отдаваться Польше и Литве. Уж если неизбежно было кого-нибудь да выбирать, то рыцарство, как аристократический элемент, конечно, должно было предпочесть последнюю дорогу. Высшее сословие в Ливонии собственно выигрывало от этого, потому что, вступая в состав Речи Посполитой, могло получить для себя огромные права, которыми пользовалось высшее сословие в последней стране. Что же касается до защиты страны, то, казалось, ни с кем другим она не могла быть более безопасна. Речь Посполитая не только казалась сильной для того, чтобы противоставить оплот забирательной московской политике, но и географическое положение делало ее подручной для защиты Ливонии. Отдача Ливонии кому бы то ни было влекла за собой необходимость сложения духовного звания рыцарями. Составлять Орден Ливония могла только будучи независимым краем. Об этом еще в

1560 году было рассуждаемо и решено. В апреле месяце этого года на собрании составлен был акт по этому вопросу. В нем рыцари сознавались, что Бог карает их по грехам, что страна в крайнем положении; потому они предоставляют своему гермейстеру употребить последние усилия и просьбы к соседям о помощи, и позволяли ему, если нужно окажется, вступить в брак, коль скоро этот брак повлечет за собой выгодные связи и даст возможность облегчения несчастной стране. После новых несчастий, испытанных Ливонией от московитян потребность эта еще более уяснилась. Радзивилл продолжал указывать гермейстеру и орденским сановникам на присоединение к Польше и Литве, как на единственный исход. В сентябре 1561 года рыцари на сейме составили другой акт, где заявили, что считают совершенно невозможным дальнейшее существование Ордена. Они признавали свою безженную жизнь грешной, навлекающей на них гнев и гибель от Бога. Решено сложить с себя духовное звание и отдаться Польше и Литве с тем, чтобы Готгардт был наследственным правителем края и чтобы на будущие времена там всегда оставался удельный владетель немецкого происхождения.

Упорство показал город Рига. Гермейстер выигрывал при отдаче Ливонии: он делался наследственным государем. Рыцари также выигрывали: они могли сделаться наследственными владетелями имений, которыми до того управляли в качестве орденских сановников. Но город Рига дорожил своими средневековыми привилегиями; они давали ей большие права и монополии, невыгодные для других, но выгодные для нее: их подтверждали все гермейстеры один за другим; Риге было выгодно находиться в орденском владении. При этом же протестантство побаивалось католической Польши. Тем не менее, однако, было слишком ясно, что Рига не может одна действовать в разрез со всей Ливонией. Отвергать присоединение — значило бы разойтись с Орденом и потом наверное погибнуть в перестрельном огне.

Осенью 1561 года Радзивилл въехал в город Ригу великолепно, с большой толпой шляхты, как посол могущественного и вместе великодушного монарха. Он объявил гражданам положительно, что гермейстер и архиепископ отдаются Литве, и потому город должен со своей стороны выбирать депутатов и послать их в Польшу для отдачи своего города Сигизмунду-Августу вместе со всей Ливонской землей. За ним в город приехали гермейстер и архиепископ. Стали потом съезжаться рыцари. Члены совета собрали всю городскую общину (ganssen gemen). Гермейстер и архиепископ стали уговаривать рижан; те сильно возражали, но скоро увидели, что дело зашло далеко; невозможен стал возврат назад; им самим уже некуда было деться. Радзи-

вилл уверял рижан, что Рига останется со своими древними правами и преимуществами, что Сигизмунд-Август принимает рижан, как свой собственный любезный народ. 8-го сентября Радзивилл дал Риге от себя письменное удостоверение в том, что все им обещанное утвердит король. 12-го сентября все дворянство имело свое собрание. Там были и городские депутаты. Тогда было решено отдаться в подданство польскому королю и великому князю литовскому, Сигизмунду-Августу, с тем, чтоб король утвердил новоприсоединяемым провинциям невозбранно на вечные времена свободу аугсбургского вероисповедания и оставил неприкосновенными права и обычаи страны. Вместе с тем положено просить о расширении некоторых прав для благоденствия края. В этом смысле давалось полномочие избранным послам, которые должны были ехать в Вильно[1].

Ливонские послы прибыли в Вильно 15-го октября. Через четыре дня после их прибытия назначен им прием. Гермейстер с дворянами и архиепископ с духовенством, а с ними и городские депутаты представились королю в два часа пополудни. Произнесена была латинская речь от лица всей Ливонии. Король обнадеживал их своей готовностью принять страну под свое покровительство и защищать ее всеми силами, и объявил, что поручает своим советникам договориться с ними. После этой вступительной аудиенции ливонцы представлялись королеве и королевским сестрам.

Потом началось составление договора. Тогда возникли недоразумения. И было от чего. — Послам дан был на собрании в Риге наказ отдать Ливонию в ее цельности. А Радзивилл, заправлявший всем делом, предложил, напротив, со стороны Польши и Великого Княжества Литовского принять только те области, которые отдавались добровольно, а не те, которые не хотели или не могли так же поступить, ибо часть Ливонии уже отдалась Швеции, а другая Дании, третья же была завоевана московитянами. Возможно было брать только то, что оставалось никем не взятым. Патриотизм ливонцев этим оскорблялся. Им хотелось сохранить в целости свою страну, и если приходилось жертвовать независимостью, то, по крайней мере, эта жертва должна была окупиться единством государственной связи. Рижские послы и здесь показали свое упорство. Они спорили с па-

---

[1] Тогда поехали в Вильно: Рёймперт Гильесгейм доктор прав, Георг Франкен, Генрих Пляттерн, Иоганн Медель, Фабиан фон дер-Бург. От города Риги посланы: Юрген Аддель, Генрих Улленброк бюргермейстер, Стефан Шонебах медик, Мелгер Керктоф, Иоганн Том-Берге, Иост Льоман, Берент фон-Дортмунде — старейшины (olderlude) от большой камеры: Урбан Россендаль, а от малой: Лаврентий Меке (Monum. Liv., IV, 126. Ziegenhorn, Beil. 50).

нами, которым было поручено сговориться с ними, не доверяли им, писали свои предложения, несколько раз получали письменные предложения со стороны панов и никак не могли сойтись ни на чем. Их, как и некоторых других ливонцев, смущало то, что Ливония считалась прежде в зависимости у императора; они соглашались отдаваться Сигизмунду-Августу только с тем, если он у императора испросит разрешение от присяги, которой предки ливонцев были связаны столько веков с империей. Заходила речь и о том, что будет с Ливонией, в случае если Польша, связанная тогда с Литвой, разойдется с ней, и рижане хотели выговорить для своего города такое условие, что он в таком случае должен оставаться свободен от всякой обязанности соединения как с Литвой, так и с Польшей. Паны, как природные литвины, хотели решить этот вопрос, напротив, тем, что Ливония должна тогда оставаться с одной Литвой. Но когда тянулись эти споры, и рижане более и более находили предлогов к толкам, вдруг гермейстер, а за ним и дворяне согласились на все. К ним пристали послы городов Вольмара и Вендена. Они прекратили недоразумения, объявив, что отдаются не Польше и не Литве, а одному Сигизмунду-Августу и признают его господином. Рижские депутаты остались одни, — и без них был заключен договор подданства Ливонии.

Но хотя страна отдавалась личности Сигизмунда-Августа, избегая как будто прямого отношения как к Польше, так и к Литве, однако, на самом деле нельзя было обойтись без согласия с той и другой, потому что Ливония жертвовала своей независимостью ради защиты, а защищать ее не в силах был Сигизмунд-Август лично, — нужны были силы и Польши, и Литвы. Договор, заключенный в Вильне, мог иметь действительную силу только тогда, когда будет утвержден на сейме обоих народов; поэтому постановлено, что в случае если бы Польша отказалась принять Ливонию и обязаться защищать ее, одна Литва, без Польши, примет ее. Чтоб отдача Ливонии и тем самым ее отделение от Римской империи не легли на совести рыцарей, как измена, Сигизмунд-Август брал на себя обязанность ходатайствовать за Ливонию перед императором и всеми имперскими чинами, и убедить их отказаться от власти над землей бывшего Ордена. Король обещал сохранить ненарушимо аугсбургское исповедание во всем его размере, все права, преимущества как личные, так и по имениям духовных и мирских, все законы, весь прежний порядок управления, все старые обычаи, допускать к занятию должностей в Ливонии только природных уроженцев — в земстве из дворян, а в городах из горожан, — но с правом апелляции к королю или к тому наместнику, который от него

будет назначен. Гермейстер, изъявив согласие снять с себя духовное рыцарское звание, получал княжеский титул на подобие прусского князя, также точно оставившего звание гермейстера Немецкого Ордена. Готгардту Кетлеру отдавались в потомственное владение Курляндия и Семигаллия, т.е. вся часть Ливонии на запад от Двины. Эта страна должна быть в ленной зависимости от польского короля и великого князя Литовского. Двина должна составлять ее границу, и подданным новообразовавшегося княжества предоставлялась свобода рыболовства в этой реке. Во внимание к тому, что шестилетняя война сильно истощила силы края, земли, долженствовавшие войти в это ленное владение, освобождались на время от повинностей войны; предоставлялось князю и его дворянству давать то, что пожелают сами давать, но на будущие времена эти земли подчинялись такому же положению, в каком находилось прусское княжество. Остальная Ливония поступала в непосредственное владение польского короля и великого князя Литовского, и гермейстер назначался временным наместником, а город Дюнамине отдавался ему в пожизненное владение. Гермейстер отрекался от власти над Ригой и обязывался передать уполномоченному короля все дипломы, документы и привилегии города, и король обязывал рижан признать свою власть и обещал сохранение всех прав, издревле данных городу от немецких императоров. Гермейстер назначался от руки короля временным наместником города Риги; на будущее время начальники должны быть непременно из немцев. Замок рижский должен был оставаться в руках правительства. Остальные города и замки передавались во власть польского короля с подтверждением городских прав и обычаев. Везде управление должно быть из природных немцев, но в пограничных замках дозволялось держать польско-литовские гарнизоны и не из немцев, до окончания войны, но без нарушения прав жителей, предоставляя начальникам этих гарнизонов только то, что необходимо для защиты замков от неприятеля.

Польский король и великий князь Литовский принимал на себя выкуп замков, заложенных прусскому герцогу, и вообще ограждение бывшего гермейстера от долговых требований Риги и Данцига таким способом, что король или заплатит долг, или обеспечит гермейстера от притязаний до того времени, пока тот не будет в состоянии очиститься от долга. Городам: Вендену, Вольмару и Пернову король обещал облегчить их долги выгодными для них распоряжениями по предмету хлебного ввоза и вообще торговли. Новый потомственный князь получал право бить свою монету, весом и достоинством равную литовской, для

того, чтоб она могла ходить и в Литве, как в Ливонии, но с тем условием, чтоб на одной стороне ее находилось изображение князя, а на другой короля. Евреям воспрещалось торговать в Ливонии. Взятое русскими и датчанами король обещал возвратить к Ливонии оружием, и возвращенные земли отдать во владение ливонским дворянам, и отбитый у неприятеля край ливонский должен будет пользоваться такими же правами, как и та часть, которая теперь отдавалась в подданство. Епископство Курляндское, которое отдалось уже Магнусу, должно быть возвращено к Курляндии и отдано новому князю; а Магнусу предоставлялось во владение: Леаль, Гапсаль и Сонненбург. Сообразно этому договору ливонское дворянство испросило себе привилегию; в ней предоставлялась дворянам свобода аугсбургского исповедания, право строить в своих имениях женские монастыри для приюта вдов и беспомощных дочерей убитых на войне, а также и мужские для приюта стариков, право управляться своими законами и обычаями и, между прочим, сохранялись обычаи наследства мужеского пола. Дворяне выпросили, чтоб их, для избежания неудобства поездок, не звали на апелляцию в Литву, а чтобы учрежден был в Риге верховный суд из сенаторов, выбранных всем ливонским дворянством и утвержденных в своей должности королем. За их сословием оставлялись прежние права свободного варения пива, право охоты (wildwerk) и право лесное (waldwerk), т.е. право рубить деревья во всех лесах Ливонии; затем ему утверждалась власть и суд над своими крестьянами. Дворяне особенно верили тогда в крепость документов и принимали все меры к их целости; так было постановлено в договоре, что если у кого во время войны пропадет документ, король должен выдать новый, а до выдачи никто не смеет беспокоить владельца. С обеих сторон договор был утвержден присягой. Сигизмунд-Август присягал охранить права и обычаи новоприсоединяемого края, и стараться о воссоединении части, захваченной другими, а ливонские послы от лица всех командоров, дворян, вассалов и горожан присягали признавать польского короля и литовского великого князя своим законным и наследственным государем и оставаться ему в верности, не заключать без позволения своего государя и его наследников никаких договоров с чужестранными государствами и препятствовать всему, что бы оказалось ко вреду государя и преемников его.

Архиепископ не последовал за гермейстером и дворянами и не стал присягать; он отговаривался тем, что чины польские, в соединении с Литвой, не изъявили еще желания принять Ливонию; край, таким образом, оставался присоединяемым только к одной Литве; он на это решиться не может без согласия остав-

шихся в Ливонии дворян и горожан; обязательство это прежде не предвиделось и послам ничего не было наказано от страны по такому вопросу.

Послы города Риги также не хотели присягать, ссылаясь на то, что они не смеют приступить к такому важному делу, и так же, как архиепископ, отговаривались тем непредвиденным прежде обстоятельством, что польские паны не изъявили желания о принятии Ливонии и о готовности своей защищать ее. Горожане откладывали это дело до будущего польско-литовского сейма, а между тем хотели посоветоваться дома со своим городом. Король приказал их отпустить, взяв с них обещание, что они дадут решительный ответ, когда приедет в Ригу королевский наместник.

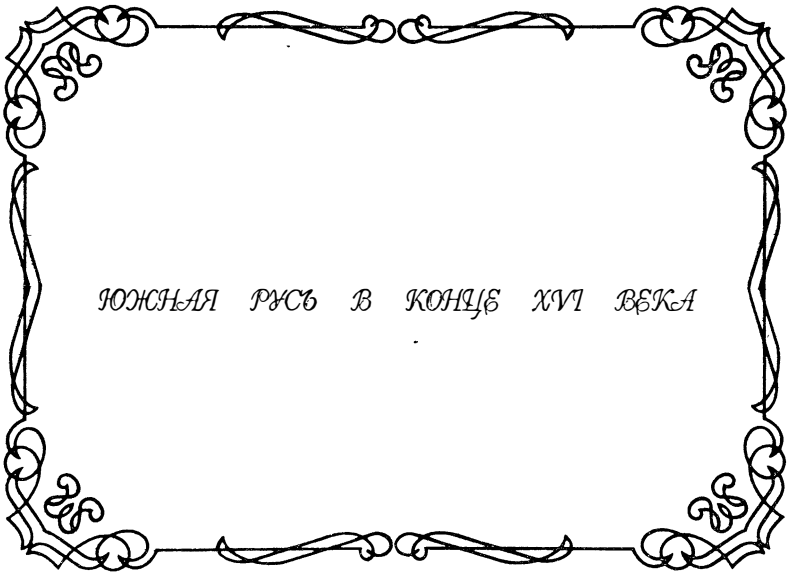
28-го января 1562 года прибыл в Ригу Радзивилл, назначенный от короля наместником в Ливонию. 3-го марта Кетлер объявил, что он освобождает Ригу и всю Ливонию от своей власти. 5-го марта гермейстер в собрании всех командоров и многих рыцарей передал Радзивиллу ключи от замков рижского, дюнаминдского, керкгольмского и других, ключи от ворот города Риги и печать Ордена. После того он снял с себя рыцарский крест и мантию. За ним то же сделали все рыцари в знак сложения с себя духовного звания. Рыцари заплакали. Как ни мало они дорожили этим званием, как напротив, ни тяготились они им, но чувство уважения к старине зашевелилось у них в сердце в эту решительную минуту. Взамен Радзивилл провозгласил Готгардта Кетлера наследственным князем Курляндии и Семигаллии и объявил, что жители этих провинций должны присягнуть ему в верности. На другой день с обычной церемонией Радзивилл передал снова Кетлеру полученные им от него вчера ключи и наименовал правителем Ливонии от руки польского короля и литовского великого князя. Архиепископ и принадлежавшие к его ведомству колебались до 11-го марта и, наконец, согласились. Тогда дана была архиепископству и дворянству привилегия. Радзивилл дал уверительную грамоту от имени короля, что архиепископскому владению подтверждаются все прежние права и преимущества, неприкосновенность духовных, монастырских и мирских имений, вольное избрание капитулы, собственный суд из двенадцати выборных судей с правом апелляции на него в верховный королевский суд или сенат, который будет учрежден в Ливонии. Дворянство, жившее в архиепископском владении, освобождалось лично от всех налогов, кроме тех, которые будут установлены своим сословием для определенных им же целей; оно имело право свободного выезда за границу и право свободной торговли произведениями из своих имений.

Рига все еще сопротивлялась и отговаривалась тем, что Поль-

ша не приняла, вместе с Литвой, Ливонии и не обязалась защищать ее. Радзивилл доказывал, что это отнюдь не должно служить затруднением; Рига может, равно как и дворянство, присягать не Польше и Литве, а королю и великому князю Сигизмунду-Августу. "До будущаго сейма", говорили рижане, "мы не можем согласиться на это; тогда узнаем, возьмется ли Польша с Литвою защищать нас и утвердит ли все наши права и привилегии". Так спор тянулся целые двадцать четыре дня. Но Риге одной нельзя было устоять против общего согласия; нельзя было ей оставаться в независимости и отделить свою судьбу от остальной Ливонии. При посредстве Кетлера Рига, наконец, согласилась: рижане произнесли требуемую присягу, но с условием, что если настоящий король не оставит по себе прямого наследника и Литва с Польшей не согласится в выборе одного короля, то Рига имеет право признать другого государя. Сверх того, рижане оговорились, что подданство их и в настоящее время действительно только тогда, когда сейм, долженствующий собраться в Пиотркове, утвердит их права и согласится на условия договора, заключенного Ливонией с королем. Только с этим условием отдавалась Рига. Радзивилл дал городу поручительства (cautio), подтверждающее все древние обычаи и свободу городского управления.

Так совершилось падение Ливонского Ордена. Не захотел поддаться Сигизмунду-Августу один коадъютор рижского архиепископа Христоф. Он уехал к императору жаловаться на Кетлера и на ливонцев, называл отдачу Ливонии Сигизмунду-Августу делом беззаконным и просил помощи. Не получив ее, он обратился к шведскому королю Эрику. Он думал: авось не удастся ли ему тем или иным способом приобресть кусок Ливонии. Но этого не удалось ему никак и нигде.

В племенном вопросе ливонская история кончена тем, чем начата: славяне завладели туземцами; немцы отняли их у славян; теперь опять немцы сами отдавали край славянам. Одни коренные хозяева страны и теперь, как и прежде, были безгласны и должны были покорно нести ту судьбу, которую положат им на шею другие.



ЮЖНАЯ РУСЬ В КОНЦЕ XVI ВЕКА

I

ПОДГОТОВКА ЦЕРКОВНОЙ УНИИ

С тех времен как исторические судьбы повлекли русские земли к сближению, а наконец, к соединению с Польшею, выступает в них наявь борьба между греческим и римским богослужением; на стороне первого было большинство народонаселения и привычки старины, на стороне другого — пособия правительственных личностей и орудия западной образованности. Борьба эта то ослабевала и почти угасала, то оживала снова. Папское всевластие ни на шаг не оставляло своих привычных стремлений подчинить себе русскую церковь и не пренебрегало мирскими обстоятельствами, если они по своему стечению наклонялись ему в пользу. По прекращении дома Романовичей в Червоной Руси и на Волыни овладел Червоною Русью мазовецкий князь Болеслав Тройденович и тотчас стал вводить латинскую веру; известно, что он скоро заплатил жизнью за эту попытку и вообще за предпочтение, какое оказывал в Русской земле иноземцам и иноверцам. После него Казимир, польский король, присоединил Червоную Русь к своим владениям и тотчас стал думать о введении в ней католичества. Он был благоразумен и понимал, что в делах такого рода не следует поступать быстро и резко, а

потому он не объявил себя открыто врагом греческой веры, напротив, подтвердил грамотою ее неприкосновенность и целость в Русской земле, но тут же позволял себе делать распоряжения, которые клонились к ущербу этой веры. Так, желая распространить латинский обряд в русском крае и приманить русских к его принятию, он не только строил новые костелы, но даже обращал в костелы русские церкви под предлогом, что в Руси поселено много иноверцев, а надобно же им дать свободу веры. Латинская пропаганда, однако, в его время не сделала успехов между русскими; оно хоть и казалось на вид, что католичество распространялось в русском крае, а число католиков увеличивалось, но это не оттого, чтобы русские люди принимали западную веру, а оттого, что у них в крае селилось все больше да больше иноземцев; особенно много было немцев; им Казимир благоприятствовал.

Большей опасности подверглось православие при Людовике Венгерском. Этот король приобрел себе особую благосклонность римского двора и в свое время всеобщую знаменитость тем, что насильно обращал в католичество православных славян в своем венгерском королевстве и делал притеснения православному духовенству. "Ты уже преследовал схизму (писал к нему папа), теперь иди снова на дело преследования". Это новое дело Людовик должен был совершить в Червоной Руси. Обладатель огромного пространства западной славянщины, Людовик, король венгерский и польский, не мог управиться везде сам и отдал Червоную Русь в управление силезскому князю Владиславу Опольскому, внучатному племяннику Казимира Великого. Вот этот онемеченный князек принялся за дело обращения русских так ревностно, как никто еще не принимался за это дело. Ему служили для этого францискане, а они ради проповеди уже давно вели кочевую жизнь по Руси. По его старанию папа учредил в Галиче латинское архиепископство и три епископства: в Холме, Перемышле и Владимире (хотя последний город не принадлежал к управлению Владислава Опольского и находился во власти князя Любарта Гедиминовича, князя православной веры и ничем не показавшего охоты поступать в угоду папам; а потому на епископа владимирского следует смотреть только как на титулярного). В Червоной Руси все православные архиереи были свержены и изгнаны. Только при сильной помощи иноземцев возможно было совершать такие дела. Владислав раздал иноземцам (немцам и венграм) все уряды, наделил их недвижимыми имениями; много немцев построились в городах русских; толпы немецких поселян поселились на землях русских и получили особые важные льготы перед туземцами. Немецкое и венгерское войско составляло военную силу князя. При таких средствах дело дошло до того, что русские тысячами принимали

католичество. Людовик и Владислав могли тогда вдоволь величаться своими апостольскими подвигами. Это было такое горькое время для русского православия, какого оно ни прежде, ни после не испытывало до XVII века. К счастью, время это продолжалось недолго. Владислав, поапостольствовавши таким образом несколько лет, отказался от власти над Червоной Русью; несмотря на успехи, он понял, что чем дальше, тем будет труднее, а не легче. И в самом деле, после него на короткое время Людовик занял Червоную Русь венгерскими войсками и продолжал посредством военной силы дело обращения, но в 1382 г. он умер, а потом литовцы и русские заняли Червоную Русь и все, сделанное Владиславом и Людовиком, пошло прахом. Новообращенные русские опять возвратились к православию; имения, данные Владиславом католическим епископам, были отняты; римско-католическое духовенство разошлось; даже были тогда из этого духовенства такие, что пристали к православию.

С принятия католичества Ягеллом, устроившим посредством своего бракосочетания с Ядвигой соединение Польши с Литвою, католический обряд стал внедряться в русские края. В 1413 году на Городленском сейме, где совершился первый акт соединения обеих стран, постановлено распространить права, которыми пользовалась польская шляхта, на Русь, но вместе с тем допускать к должностям только таких лиц, которые не отрекаются от послушания апостольскому престолу. На этом сейме было заявлено, что разноверие признается вредным для цельности и безопасности государства. Тогда многие, получившие звание шляхты, приняли католичество и увлекли свои фамилии на будущие времена в чужую веру и чужую народность. Впрочем, это произошло более собственно с литовцами. Что касается до Руси, то это грозное предпочтение католичества и исключение русских от прав едва ли только не на бумаге существовало: все, что входило в область Литовского княжества, было отдано удельной власти Витовта, а этот благоразумный князь, всю жизнь стремившийся устроить независимость русско-литовского государства, понимал, что отдельность Руси от Польши в религиозном отношении способствует его политическим видам. При нем, в 1415 году, церковь русская в иерархическом отношении отделилась от московской избранием особого киевского митрополита. В землях южнорусских, принадлежавших Польше при Ягелле, католичество успешнее делало шаги к господству, но более чрез увеличение массы иноземцев, получавших в стране должности, а не чрез обращения русских. Сам Ягелло не был фанатиком; и где приходилось ему действовать в исключительную угоду католичеству, там он поступал по требованию окружавшей его среды, а не по собственному побуждению. Папы побуждали его, как и Витовта, обращать православных в като-

личество. Король действительно строил католические церкви в русских землях, давал там земли и староства природным полякам, но все-таки сделал мало существенного в этом вопросе. В одной грамоте к католическому епископу в Червоной Руси он поручает ему не обращать русских в католиков, а католиков не допускать крестить детей по обряду восточной церкви. Это служит доказательством, что переселение иноземцев в русские края не удовлетворяло в XIV и в XV веках намерениям окатоличить русскую страну, и что, напротив, поселенцы, составлявшие меньшинство народонаселения, уступали влиянию большинства. Притом в XV веке вообще не все сильные мира сего были расположены смотреть неприязненными глазами на восточное православие. Тогда католичество потрясал опасный враг — чешское гуситство, находившее себе сочувствие в владениях короля Ягелла. Опасно было раздражать православных, чтобы не загнать их толпами в ряды таборитов, особенно после того, как один из литовских князьков с толпою удальцов, в которой было очень много, а может быть, более всего русских, под знаменем гуситства покушался уже вырвать из императорских рук чешскую корону. Конечно, с намерением отклонить от себя дружбу русских с гуситами император Сигизмунд, приехавши в Луцк, торжественно заявлял в присутствии русских, что православная вера в святости своих догматов не уступает римско-католической и православные от католиков в сущности отличаются только бородами да женами священников. Голос императора в то время значил много.

Наследник Ягелла Владислав II уничтожил всякое стеснение греческой религии и дал равные права ее исповедникам с последователями римской. Тогда совершилась первая уния на Флорентийском соборе. Митрополит Исидор, изгнанный из Москвы, провозгласил унию в литовских владениях; католическое правительство не могло этому не благоприятствовать, но православные люди приняли нововведение дурно. Исидору неудобно оказалось жить в Южной Руси, и он должен был удалиться в Рим. Митрополитом после Исидора был Григорий в продолжение тридцати лет. К сожалению, мало известна внутренняя история Южнорусского края в те времена, и нельзя решить, в какой степени были успешны усилия католичества и в каком размере противодействовал им народ. Во всяком случае нельзя думать, чтоб католичество могло одержать верх в Южной Руси тогда, когда ею правил Свидригелло, ревностный покровитель православной веры. Впоследствии униаты и католики, желая дать унии, введенной в конце XVI века, авторитет древности, представляли церковные дела XV века в таком виде, как будто бы тогда господствовала уже уния. Они с этой целью толковали разные привилегии великих князей литовских, данные право-

славной греческой церкви, так, как будто они относятся исключительно к той части этой церкви, которая признавала над собою главенство папы. За митрополитом Григорием следовали; с 1474 по 1477 г. Михаил, потом, с 1477 по 1482 г. Симеон, с 1482 по 1490 Иона Глезна. Католические духовные конца XVI и начала XVII века называют последних двух униатами: одного на том основании, что в его время было к папе посольство, а другого потому, что тогда цареградский патриарх, которому подчинялась русская церковь, принял унию. Следовавшего за ним Макария, причисленного к лику святых и почивающего в храме св. Софии в Киеве, также признавали униатом. Вообще униатство этих владык очень сомнительно, потому что мы не имеем о том известий беспристрастнее тех, которые явно хотят для своих видов представить их униатами, хоть бы и с натяжками. Более правдоподобным, по-видимому, кажется известие о митрополите Иосифе Солтане, следовавшем за Макарием. Когда римские епископы стали склонять его к соединению, он послал в Цареград спросить об этом у патриарха Нифонта, а тот растолковал ему, что церковь греческая давно соединена с римскою. Впоследствии сторонники унии приводили письмо патриарха в свою пользу, напирали особенно на то, что московитяне называли митрополита Иосифа латинником, и этим думали униаты доказать, что митрополит Иосиф убедился объяснением патриарха и признал, что единство русской церкви с католическою совершилось прежде; уже то самое, что русский митрополит не знал об этом и вследствие своего неведения посылал к патриарху по тому случаю, что к нему обратились римско-католические духовные, — не показывает ли, как мало в то время занимал умы этот вопрос, как мало было известно на Руси флорентийское дело? Следовательно, уния XV века более существовала в воображении немногих, чем в религиозной жизни и церковном управлении. Великий князь Казимир Ягеллонович в своих привилегиях не делал разницы между последователями греческой церкви, признающими и не признающими унию. Сын его Александр, на которого Иван Московский пошел войною под благовидным предлогом защиты веры, дал привилегию на свободное отправление богослужения греческой веры и так же, как отец его, не делал и не сознавал различия между признавшими и отвергавшими единство восточной церкви с западною. Без сомнения, признавать его и не признавать было все равно в то время.

При обоих Сигизмундах все вероисповедания пользовались равенством прав и безусловною свободою. Защитники унии, говоря об этих двух царствованиях, не в силах уже никак натянуть и вести свою унию далее и сознаются, что она исчезла.

Тогда в Польше, а особенно в Литве распространилось реформатство; оно год от году более и более угрожало ниспровер-

жением католической религии. В Польше нашло приют и свободу учение, повсюду гонимое, отвергавшее троичность божества и видевшее в Иисусе Христе не бога, а только учителя и благодетеля человечества, избранного промыслом возвестителя вечных истин; такое учение называли арианством. Эта секта завела школы в Ракове, Киселине и грозила не только католичеству, но и православию. Арианское сочинение Симона Будного было переведено по-русски, и не только светские, но и духовные хвалили его. С другой стороны, подобную ересь занесли в литовскую Русь выходцы из Московщины, последователи бродивших в разных формах остатков древнего новгородского и псковского вольнодумства. Правительство все терпело, ничему не мешало, ничего не преследовало. Дворяне-католики, оставаясь верными своей религии, не поднимали голоса против свободы мышления, потому что считали ее драгоценнейшим правом своего сословия. Самые католические духовные не смели вопиять против общего направления и старались только об удержании своих материальных выгод. Для некоторых было все равно — хоть бы вся Речь Посполитая отпала от католичества, лишь бы не отнимались имения, приписанные к духовным должностям. Так, по кончине Сигизмунда Августа куявский епископ на конвокационном сейме предложил утвердить постановлением полную свободу религиозных мнений и равенство прав последователей каких бы то ни было толков; себе взамен снисходительный иерарх требовал укрепления за духовенством церковных имуществ. Предложение его было принято и многими духовными, и большинством светских. 6 января 1573 г. последовало постановление о свободе вероисповеданий и равенстве прав их последователей. Это было сделано для того, чтобы обязать будущих королей идти по следам Ягеллонов. Новый король Генрих присягнул в соблюдении такого закона. После его бегства из Польши в следующее затем бескоролевье государственные чины повторили прежнее постановление, обязавшись клятвою за себя и за своих потомков хранить и защищать на вечные времена свободу мысли и убеждений. Стефан Баторий, протестант, принявший католичество, при вступлении на престол присягнул в смысле такого закона и обязался хранить его свято во все царствование. В 1589 году вступил на польско-литовский престол Сигизмунд Ваза, католик тем более ревностный, что с мыслью о протестантстве у него соединялись тяжелые воспоминания о семейных несчастиях и несправедливостях, понесенных отцом его. Но сделаться польским королем он не мог иначе как произнеся, подобно своему предшественнику, присягу сохранять свободу мысли и веры.

Польша гордилась и имела право гордиться, что нет в мире страны, где бы так ценилась свобода совести, мысли, слова и дела. Но всегда почти бывало в истории, что свобода, достигши

высшей степени развития, уничтожив всякие границы, губит себя, допуская такие стихии, которые, пользуясь слабыми сторонами общественного строя, берут верх над всем и потом господствуют уже насильно. Так вышло и в Польше. Безграничная свобода, которою так гордилось шляхетское сословие, воспитала против себя в своем недре враждебное свободе начало. Сигизмунд Август по ходатайству кардинала Гозиуса допустил ввести во владениях Речи Посполитой орден иезуитов. Король поступал последовательно. Приняв за правило оказывать терпимость всякому толку, всякому религиозному товариществу в государстве, нельзя было отказать в законном покровительстве обществу, действовавшему в пользу той церкви, которую исповедовал сам король пред лицом всего света. Гозиус (иначе Гозен; он был немецкого происхождения) был одним из ученейших, способнейших и деятельнейших борцов за потрясенный свободою мысли древний авторитет верования и предания. Он был епископом в Пруссии, боролся там с возраставшею реформациею и, наконец, чтобы остановить ее успехи, увидел единственное средство призвать иезуитов. О степени его разборчивости в средствах к достижению цели можно судить из того, что, по уверению его биографа Гресциуса, он советовал королю Генриху Валуа не стесняться данною им присягою в пользу разноверцев, представлял в пример Давида, которому не поставлено в грех, когда он, неосторожно поклявшись, нарушил клятву; кардинал доказывал королю, что король именно тем и согрешил, что дал неосторожно присягу, какой не следовало давать: и теперь, чтобы загладить свое прегрешение, должен эту присягу нарушить, подобно Давиду. Сначала иезуиты вступили исключительно в Пруссию, но в 1564 г. вошли в Великую Польшу, призванные туда познанским епископом Конарским, и водворились в Брунсберге; потом, в 1570 г., вошли в Литву и явились в Вильне, вслед за тем при Стефане Батории в Полоцке, а потом проникли и в Южную Русь. Баторий оказывал им покровительство не с целью содействовать их задушевной мысли — истреблять все некатолическое, а потому, что считал их способными к воспитанию юношества. Иезуиты твердили, что их единственная цель — распространение просвещения. Они повсюду заводили школы и ничего не брали за ученье. Впрочем, при такой бессребренной раздаче умственных даров они не оставались в накладе; они брали от родителей учившихся у них детей в виде подарков и приношений хлеб, рыбу, овощи, мед, полотно, сукна, сосуды и проч. и получали, таким образом, столько, сколько бы им не могла дать определенная плата за ученье, а между тем эта видимая бесплатность их школ поддерживала доброе о них мнение в народе. Они искусно подделывались к духу господствующих понятий. Большинство уважало и любило их, хотя проницательные люди очень

скоро поняли настоящее их направление и предвидели, что они принесут больше вреда, чем пользы. Цель их была подчинить Речь Посполитую власти апостольского престола в церковном отношении и вывести из нее несогласные с католичеством учения. Сначала, пока они еще не укрепились на польской почве, чтобы не подать на себя подозрения, они, заманив детей протестантов в свои школы, выпускали их протестантами и уверяли, что, заботясь единственно о просвещении, иезуиты не хотят обращать никого в католичество; но когда получили довольно силы, начали дело обращения быстро, стараясь толковать так, как будто собственно не они виною обращения, а их ученики сами, получивши образование, узнавши истину, додумались, отреклись от заблуждений и возвратились к лону истинной церкви. Но потом сами иезуиты возбуждали в обращенных фанатизм и даже подстрекали к насилиям. Так же действовали они против православия, и сначала приступили к нему еще мягче, чем к протестантству. Они не только не показывали неуважения к греческой церкви, напротив, доказывали, что обряды ее и догматы, установленные боговдохновенными мужами, святы и достойны уважения, но для греческой церкви необходимо было бы вступить в древнее единство с римскою. Идея сама по себе не была противна православной церкви, которая постоянно просит бога о соединении церквей. Ревностнейшие православные не отвращались от мысли о таком соединении, тем более что видели в нем средство к улучшению церковного устройства и благолепия и к просвещению своего духовенства.

Князь Константин Острожский, по своему влиянию, происхождению, богатству бывший важнейшим лицом в Южной Руси, разделял эту мысль и дружелюбно толковал с иезуитами о соединении церквей. Петр Скарга, написавши свою книгу о единстве веры, посвятил ее Острожскому: по его свидетельству, дети этого православного вельможи — дочь Екатерина и сын Януш были уже в царствование Степана расположены к латинству. Завлекая вообще церковь в соединение с латинством, иезуиты старались вместе с тем, пока духовенство не поддастся на их уловки, отрывать от церкви ее последователей поодиночно и, таким образом, бросать рознь и смуту между русскими. Тот же Скарга в том же своем сочинении дает такое нравоучение светскому человеку греко-русской веры: "Если сами духовные не хотят церковной любви — отступись от них, ибо они сами отступились от папы; считай их людьми иной веры, упрямцами, отщепенцами, вошедшими в духовный сан воровством, мимо ключей св. Петра; у них нет права отпускать грехи; от них не получишь спасения; если же тебе нравятся греческие обряды, можешь их соблюдать по булле папы Александра VI с дозволения твоего исповедника; безопаснее, однако, для тебя принять латинские обряды, исполненные большего величия, сердечного и духовного благочестия". Православному ду-

ховенству они представляли выгоды и всеобщее уважение, какими оно будет пользоваться наравне с католическими духовными, если соединится с римскою церковью, изображали в черных красках унижение, в каком, по их толкованию, находилась православная церковь, признавая над собою верховную власть константинопольского патриарха, раба турецкого султана, и через то самое подчиняясь воле неверных. Между тем они внушениями незаметно подготовляли людей, способных занять важные духовные места в православной церкви, чтобы потом посредством их достичь предположенной цели. Так вели свое дело иезуиты во времена Батория. Но при этом короле невозможно было приступить к какому-нибудь явному, всеобщему насилию. Баторий ласкал иезуитов, но в то же время был очень далек от введения унии. Когда ему представляли выгоды соединения русской веры с католической для политической целости и крепости Речи Посполитой, Баторий с редким благоразумием не поддался на эту ловушку и выразился так: "Мы хвалим бога, что, прибывши в Польское королевство, нашли русский народ великий и могучий в согласии с народами польским и литовским. У них один промысел, у них одно равенство, они уважают друг друга. Между ними нет зачатков вражды. В римских костелах и греко-русских церквах отправляется богослужение равно спокойно и беспрепятственно. Мы радуемся этому согласию и не считаем нужным принуждать к соединению с римской церковью русскую церковь. Мы не знаем, что из этого может выйти и что вырастет впоследствии, но думаем и предвидим, что вместо единства и согласия водворим раздор и вражду между Польшею и Русью и поведем их обеих к беспрерывным несчастиям, к упадку и окончательной погибели".

Ян Замойский, заправлявший при Стефане всеми делами, говорил диссидентам: "Я католик, и отдал бы половину жизни за то, чтобы и вы были католики, но отдам всю свою жизнь за ваши права и свободу, если б вас стали насиловать и принуждать быть католиками". Когда вступил на престол Сигизмунд III, иезуитам стало гораздо удобнее: Скарга был духовником короля. Иезуитское внушение побуждало короля приобресть венец бессмертия на небеси и вечную славу в истории совершением спасительного подвига соединения христиан во единое стадо. Иезуиты убеждали политических людей в выгодности церковного соединения для целости государства, ибо тогда Русь, составляющая в Речи Посполитой особую народность, может слиться с Польшею, и уничтожится нравственно-духовная связь, соединяющая с Москвою русские области Речи Посполитой, связь, которую уже тогда дальновидные люди находили опасною в будущем для государственной прочности.

Плану иезуитов способствовали тогдашние отношения рус-

ской церкви к константинопольскому патриарху. Отправляясь из Греции в Москву, тогдашний патриарх Иеремия испросил у короля Сигизмунда III дозволения употребить в дело свое право судить и рядить по церковному управлению; и низложил киевского митрополита Онисифора Дивочку, потому что он до своего посвящения, находясь в светском звании, был женат на второй жене; а посвящать двоеженцев было противно церковным правилам. Вместе с тем митрополита обвиняли в нерадении к делам церкви. Вместо него патриарх по желанию некоторых панов, особенно Скумина-Тишкевича, посвятил в сан митрополита минского архимандрита Михаила Рагозу, креатуру иезуитов, тайно расположенного к унии, но искусно принимавшего личину ревностного православного и даже простачка. Проницательному патриарху не совсем понравился этот новый митрополит, но он не стал противиться желанию просивших за него и, посвящая его, сказал: если он достоин, то пусть будет по вашему слову достоин, а если он недостоин, а вы его представляете за достойного, то сами знаете, а я чист. Укоряя русское духовенство в беспорядочной жизни, в уклонениях от церковного благочиния, патриарх грозил по своем возвращении из Москвы учинить розыск и сделать то же с другими церковными сановниками, что он сделал с митрополитом Онисифором, а пока, для примера, патриарх лишил чина архимандрита супрасльского Тимофея Злобу, которого обвиняли в убийстве.

Иеремия ознаменовал проезд свой через Южную Русь утверждением львовского братства; это было явление новое и чрезвычайно важное. Мысль о братствах перешла к русским от западной церкви, где в обычае было составлять добровольные корпорации на религиозных началах. Иезуиты особенно любили учреждать братства, которых цель ограничивалась чтением известных молитв, соблюдением таких или иных правил благочестия и воздержания; к этому обязывали себя вступившие в братство, которые давали при вступлении известный положенный вклад, в потом ежегодно жертвовали в общую кружку. Подобно тому завелись братства и в православной церкви, но приняли здесь значение высокое. Львовское братство завелось при церкви Успения Богородицы и монастыре св. Онуфрия в 1586 г. по благословению антиохийского патриарха Иоакима. Членом этого общества мог быть всякий православный, плативший ежегодно в общую кружку шесть грошей. Из этих вкладов и из добровольных пожертвований образовалась сумма, которую употреблять следовало на вспоможение тем из братий, которые пришли бы в состояние, требующее поддержки. Эти братья сходились в определенное время, выбирали каждогодно четырех начальников всего братства, обязывались помогать друг другу. Братство львовское по воле благословившего его учреж-

дение патриарха антиохийского присвоило себе надзор над благочинием и порядком всей русской церкви. Братья обязаны были всюду наблюдать и следить за порядком церковного, религиозного и нравственного быта, все узнавать и обо всем доносить своему собранию. Живет ли не по закону священнослужитель или причетник — члены братства обличали его пред епископом; но если братство находило, что и епископ ведет себя не так, как следует, или поступает несправедливо, то имело право обличать его и в случае неисправления не признавать его власти, противиться ему, как врагу истины. Братство смотрело также за нравственностью мирян, особенно обязывало себя преследовать волшебников и чаровниц и передавать их епископскому суду. Епископ не смел противиться постановлениям братства. Епископ после призвания над ним св. Духа был бессилен перед приговором толпы, состоявшей, кроме духовных и дворян, из мещан, пекарей, чеботарей, воскобойников и другого рода ремесленников и торгашей. Это не могло нравиться епископам. Патриарх Иеремия не только утвердил устройство, данное братству Иоакимом, но еще расширил права его. Он постановил, чтобы братство находилось вне всякой зависимости от местного епископа или от какого-нибудь другого иерарха, кроме патриарха константинопольского, и во Львове дал ему монополию воспитания; там не дозволялось быть иному православному училищу, кроме братского, где предположено учить детей св. писанию, а также славянскому и греческому языку, если для этого найдутся учители. Частный человек мог иметь у себя учителя для своих детей, но не должен был брать чужих детей, и никакому священнику в своем доме не дозволялось учить более одного или двух детей. Вместе с тем братство получило право печатать священные и церковные книги и ученые: грамматику, риторику, пиитику и философию. Патриарх не дозволил, однако, братству судить никого вместо епископа, но это все-таки ставило епископа со своим судом в зависимость от братства, ибо над судом его братство имело надзор. Патриарх поощрял заводить такие же братства повсюду, но оставил первенство между братствами за львовским. Таким образом заведено было Троицкое братство в Вильне, а за ним и многие другие в городах православного края.

Понятна цель, какую имел патриарх. Такое общество, завися исключительно от власти патриарха, давало ему возможность знать все, что происходит на Руси, и держать в руках русскую церковь. Каких бы доверенных лиц ни поставил патриарх на епископских местах, — живучи вдали, он всегда мог опасаться, что эти лица увлекутся своими личными и местными интересами в ущерб церкви, тогда как разнородное общество с правом надзора над епископами станет крепко держаться воли вдалеке пре-

бывающего патриарха, как ради независимости от ближайших властей, так и потому, что для братств не было иного пути проводить свои намерения и предположения, как через покровительство патриарха.

По возвращении из Московского государства патриарх остановился в Замостье. Патриарх был человек ученый и умный; его знали в Европе, и знаменитые профессора протестантской Европы с уважением к его сану входили с ним в состязание, пытаясь: нельзя ли отпадшим от западного католичества сойтись с восточною церковью; ученый патриарх указал существенные различия, которые не дозволяли православию сойтись с протестантством в том виде, в каком последнее остановилось, сбросив с себя власть римского первосвященника. Неудивительно, что со своей ученостью Иеремия зажился у Яна Замойского, великого гетмана и канцлера. Он понравился Замойскому, который, будучи тогдашним государственным человеком, обладал обширным ученым образованием. Живучи у Замойского, патриарх поручил митрополиту созвать синод для следствия над поведением духовных лиц, обличаемых братством. Митрополит медлил, проволакивал дело, боялся чтобы на этом синоде не было доносов и на него самого. Владыки чувствовали за собой грехи и также просили митрополита не созывать собора. Говорят, что по тайному приказанию луцкого владыки посланный патриархом к митрополиту в Вильно писарь митрополичий Григорий был ограблен в пинских лесах; у него взяли патриаршие письма, которые, таким образом, не доходили до митрополита. Тут, не дожидаясь собора, явился к патриарху в Замостье львовский епископ Гедеон Балабан, обвиненный также братством, и доносил в свою очередь на луцкого епископа Кирилла Терлецкого, что его в народе обвиняют в наездах, буйстве, разврате, делании фальшивой монеты. Гедеон вообще хотел настроить патриарха так, чтобы тот обратил в дурную сторону все, что услышит о луцком владыке; но патриарх вместо того, чтобы в свое время воспользоваться известиями, сообщенными Гедеоном, и получить предубеждение против Кирилла, как хотелось Гедеону Балабану, потребовал к себе Кирилла и свел его с глазу на глаз с Гедеоном. Тогда Гедеон не стал обвинять Кирилла, а уверял, что все, что говорят о нем в народе, — клевета, восхвалял святую жизнь луцкого епископа и в присутствии патриарха обращался с ним по-братски, дружелюбно. Патриарх отпустил Кирилла милостиво. Гедеон после того, пользуясь тем, что патриарх не умеет читать и писать по-русски и по-польски, подсунул ему к подписи бумагу, где заключалось обвинение на Кирилла. Патриарх подписал, а потом, узнавши, что его обманули, составил Кириллу оправдательную грамоту, где повелевалось не верить тому, что прежде написано было на Кирилла Терлецкого; в знак своего особого бла-

говоления он нарек луцкого епископа своим экзархом, или наместником, на предстоящий собор, которого он долго ждать не решался. Само собою разумеется, что это сделано в ущерб достоинству митрополита. Собор под председательством нареченного экзарха мог судить всех владык и самого митрополита. Кажется, патриарх, заметив хитрость над собою, последовал здесь известному правилу: divide et impera и, кроме братства, зависевшего от него, хотел еще иметь в руках непосредственно одного из епископов, который бы по особым личным к нему отношениям, мимо официального порядка, вел с ним сношения о делах церкви. Гедеона, на которого восстало львовское братство, патриарх оставил под запрещением до покаяния. Тогда Гедеон отправился к львовскому католическому епископу Соликовскому, кланялся ему, объяснял, что патриарх притесняет владык, желая с них что-нибудь сорвать, советовался о средствах избавить русскую церковь от неволи и тут же высказал мысль, как бы хорошо было подчинить русскую церковь папе; она бы избавилась на будущее время от произвола константинопольских иерархов.

Патриарх уехал, не открывши собора. Отъезжая, он послал к митрополиту своего епископа грека Дионисия и просил у митрополита 15 000 аспр, что составляло незначительную сумму 250 тал., за издержки на посвящение. "Если бы твоя милость, — говорил Дионисий митрополиту от лица патриарха, — поехал сам к патриарху, то стало бы дороже. Патриарх должен был содержаться на твоем хлебе и потому справедливо возвратить ему, что он издержал. У патриарха нет фольварков, ни сел, ни маетностей". Митрополит, как выражается современное повествование, рассудил, что уже теперь не нужно пастыря, когда он сам сделался пастырем, и отвечал, что он не обязан ничего давать. Русские духовные говорили, что патриарх затевал розыски над поведением духовных только для того, чтоб иметь возможность придираться и брать поборы. Находясь под властью Турции, патриархи и вообще греческие духовные были поневоле в таком положении, что нуждались в подаянии, собираемом преимущественно в независимых православных странах. "Мы были у них такими овцами, — говорит один современник, — которых они только доили да стригли, а не кормили". Православный Восток терял к себе уважение по мере того как духовные чины, носившие звание архимандритов, игуменов и даже епископов, блуждали по Литве и Руси, собирали милостыню, выпрашивали себе у правительства и у знатных вельмож места к ущербу туземцев и часто затевали смуты и несогласия. Заведение братств, не зависимых от епископов, русские иерархи считали для себя оскорблением и вообще унижением духовных властей. Между тем иезуиты указывали на все это русским духовным и доказы-

вали, что присоединение к римской церкви есть единственное средство избавиться от зависимости патриарху, рабу неверных.

Время, когда происходили эти события, было время перелома общественного жизненного строя. Польша тянула к Западу и стремилась впитать в себя и переработать по-своему образованность романских и немецких народов. Русь тянула за Польшею. Русь почуяла недостаток своей старой жизни: жажда обновления захватила ее — Русь хотела просвещения. В ее положении при соединении с Польшею для нее возможно было только такое просвещение, которое бы согласовалось с привычками, обстановкою быта, нравами и предрассудками высшего класса. В темной громаде народа не было и зародыша стремления к иному образу быта, к иным понятиям, к иному воспитанию. Общество делилось на "урожоных и подлых"; между ними были подразделения: как из урожоных были такие, которые стояли выше своих собратий привилегированного сословия, так и из подлых были подлейшие и менее подлые. Просвещение стало потребностью только человека урожоного, потому что только человек урожоный имел возможность расширить круг своей деятельности до знакомства с более образованным миром понятий и действий; только человек урожоный, участвуя в делах политических и общественных, мог ощутить необходимость знать и понимать более, чем знал и понимал до тех пор, и жить сообразно расширенному кругозору понятий. Без просвещения его происхождение стало терять свое достоинство; его гербы и грамоты могли сделаться предметом смеха; при всей его знатности, при всех его богатствах он не мог играть видной роли; ему нельзя было доверять чего-нибудь значительного; он не мог дать доброго совета в общественном собрании; его чуждались и в дружеских беседах, потому что он не умел ни держать себя, ни говорить с образованными людьми. Польша была образованнее Руси, а Русь была соединена с Польшею: естественно было Руси стремиться к равной образованности с Польшею, и вот Польша вскоре охватила Русь своим влиянием нравственным и умственным. Польша побеждала Русь своей цивилизацией. Короли Ягелловой крови, будучи чужеродцами в Польше, подчинились перевесу последней. Еще Сигизмунд I, по свидетельству стариков, с умилением вспоминавших о нем чрез долгие времена после его смерти, верен был литовско-русскому происхождению своих предков, немцев не терпел, как собак, ляхов не любил за их хитрости, но любил зато сердечно Русь и Литву. Не такого отзыва заслужил от тех же стариков сын его Сигизмунд Август. "Его, — говорили они, — и между добрыми людьми считать не нужно. Он полюбил неметчину более нас; что наши старые короли собрали, то новые — и он первый между ними — немцам раздали!" Недовольные присоединением южнорусских земель к

Короне, ревнители старины говорили о Сигизмунде Августе: он погубил Волынь и Подлясье, называя сам себя ляхом. Что возбуждало в стариках XVI века недобрые отзывы о Сигизмунде Августе, то составляло общие черты детей и внуков этих стариков. Русское дворянство из потребности просвещения стало изо всех сил стараться быть похожим на польское и вместе с ним, в известных, однако, отношениях, — на немцев, т. е. вообще на западных европейцев. Поляки почуяли, что для них в Руси настает время играть роль цивилизаторов, и толпами стремились в страну, гостеприимную для них настолько, насколько Польша была гостеприимною для западных европейцев. Можно сказать, что если поляки, при влиянии на них Западной Европы, не подпадали, однако, этому влиянию до раболепства, то этому помогла, кроме свободного образа правления, связь с Русью: здесь поляки считали себя выше других, а в народе более всего поддерживает национальность возможность оказывать влияние на другую народность, ко скоро войдет в сознание мысль, что эта другая ниже своей по развитию. Лях для русского стал существом высшим, да и лях начал считать себя таким. Богатые паны — литовские и русские — завели у себя во дворах притоны для пришедших ляхов-цивилизаторов одни служили у них в качестве *дворян*, или оршака, другие — в низшем качестве слуг, или *борвы*. Но слуга лях далеко был не то, что слуга русин или литвин. "Давай ему, — говорит приверженец старины, — фалендышевскую сукню: корми его жирно и не спрашивай с него никакой службы: только и дела у него, что убравшись пестро, на высоких каблучках скачет около девок да трубит в большой кубок с вином. Пан за стол, и слуга себе за стол; пан за борщ, а слуга за толстый кусок мяса; пан за бутылку, а слуга за другую, а коли плохо ее держит, то из рук вырвет. А когда пан из дому, то, гляди, и к жене приласкается". В домашней жизни, в приемах обращения, в нравах — все составлявшее признаки русской старины, становилось, по современным тогдашним понятиям, признаками грубости и невежества; все польское и западное служило вывескою образованности и хорошего обращения. Старинные русские однорядки и корзины показались безобразными и неудобными; их стали заменять вычурные наряды, заимствованные поляками из Германии, Венгрии, Испании и Италии, под названиями цуг, кабатов, страдеток, делий, китлей и проч. нарядов, до чрезвычайности разнообразных по вкусу и прихоти каждого, то длинных до земли, то коротких немного ниже пояса, то совсем без воротников, то с такими огромными воротниками, что трудно было разобрать: воротник пришит к платью или платье к воротнику — нарядов со множеством разновидных строчек и пуговок, вышивок, нашивок, кистей, бахромы, лент, плетениц, шнурков... кто где что подметил, тот и наряжал себя так.

У всех народов были национальные одежды, говорит современник, только у поляков их не стало, и кто-то рисуя народные уборы, не нашел ничего уместнее для польского убора, как нарисовать поляка с куском ткани. Это разнообразие нарядов, поражавшее всякого, кто посещал Речь Посполитую в XVI веке, как нельзя более соответствовало внутреннему строю польских понятий, верований, воспитания и нравов. Трудно было сказать в то время — какая господствующая вера в Польше, потому что там терпимы были и развивались всевозможнейшие учения и толки; трудно было произнесть приговор о степени образованности этой страны, ибо там можно было встречать образцы самой обширной учености и самого полудикого невежества, самой мягкой кротости и человеколюбия и самого резкого варварства, самых высоких понятий о свободе и правах человеческой личности и самого грубого самовластия, самого раболепного подражания иноземщине и самой гордой и сознательной поддержки своесторонщины. Наружность всегда бывает выражением того, что внутри, и польская одежда справедливо была вывескою внутренней жизни края. Эта-то пестрота заменила в Руси тогда однообразие и простоту древней русской одежды. Напрасно добрые старички уверяли, что старые наряды и покойнее, и красивее новых; их длинные балахоны, их дикорастущие волосы и бороды на смех подымали щеголи с подбритыми головами и с искусно подстриженными бородками и эспаньолками, и старички сами остерегались являться в обществе в прадедовском виде; они наряжались только по желанию у себя дома, называли это: *убраться по-домовому*, и утешались тем, что если молодежь смеется над стариною, то, по крайней мере, их добрые старухи жены натешиться и насмотреться не могут, когда они наденут одежду, напоминающую им времена молодости. Непристойными для дворянского звания стали казаться старинные помещения русских панов: то были деревянные дома, покрытые дубовою гонтою, с огромными сенями посредине и с светлицами по обе стороны сеней, где по белым стенам не было других украшений, кроме образов, где стояла зеленая поливаная печь, и не было иной мебели, кроме лавок вокруг стен и простых некрашеных столов, покрытых цветными коврами. Старики любили жить просторно, но просто; у иного было на дворе несколько небольших домиков, но все они блистали только опрятностью, а не богатством. И вот стали возвышаться пышные палацы, построенные и убранные во всевозможнейших вкусах Европы. Уже не довольствовались русские дворяне угощать своих гостей борщом да кашами. У них на пирах появились вычурные выделки львов, слонов, людей, деревьев, приготовленные со всею хитростью западноевропейской поварни, чрезвычайно пестрые, раскрашенные, раззолоченные и нездоровые, тем более что, по замечанию

современника, что готовилось в пятницу, то подавалось на стол в воскресенье. Заветные наливки на туземных ягодах и прадедовские меды уступили место венгерским и испанским винам. Для панских выездов начали служить роскошные мудреные коляски, лектики, брошки с богатыми цветистыми коврами, с вышитыми бархатными подушками. Женщины, как всегда бывает в такие времена, с увлечением кидались на новизну, оставляли простым мещанкам донашивать неуклюжие русские летники и опашни и стали прельщать сердца итальянскими и испанскими биретами, феретами, фалбанами, фордыгалами; по западному обычаю знатные русские пани стали ходить с длинными хвостами, которые несли за ними мальчики. Сначала это возбуждало смех, но потом помирились и с этим русские, объясняя себе, что того требуют хороший тон и образованность. Женщины стали падки к ляхам-цивилизаторам, и не один муж поплатился семейным счастьем этим просветителям земли своей.

Вся эта наружная пестрота была, как мы сказали, вывескою внутреннего переворота. Дворянская Русь чувствовала потребность воспитания. Чтобы получить образование, нужно было или отдать детей в польское заведение, или держать в доме учителей из поляков и иностранцев. В обоих случаях молодой русин воспитывался в ущерб своей народности. Все, что составляло круг образованности: понятия о гражданственности, о праве, о литературе, о науке, все принималось и все становилось в противоречие с русским житьем-бытьем. Язык южнорусский подвергся сильному влиянию польского, и ему грозила впереди неминуемая гибель, так как уже в конце XVI века самые ревностные русские говорили и писали по-польски больше и охотнее, чем на своем языке. Этому способствовали браки; где только входила полька в русский дом, за нею входил в семью и получал господство польский язык. Тогда был обычай у поляков: по окончании учения в отечестве ездить для высшего образования на несколько лет за границу, слушать курсы в заграничных университетах и присматриваться к быту образованных народов. Это сделалось до того всеобщим обычаем, что не было в Польше почти никого, кто бы принадлежал по рождению к знатному и богатому дому и не посещал в молодости разных европейских государств, преимущественно Италии и Франции. Немцев (германцев) вообще не любили поляки, сохраняя к ним общую славянскому племени вражду, и с отвращением отвергали все, что считали немецкой выдумкой. Русские паны последовали тому же примеру, но разница была та, что поляки с запасом разностороннего, по тогдашнему времени, образования, возвращались домой часто более поляками, чем были бы тогда, когда переняли бы иноземщину от посещавших их край чужестранцев; для русских же такие путешествия были дальнейшим средством к утрате своей народ-

ности, потому что они, первоначально воспитанные по-польски, отправлялись за границу уже не русскими, а поляками.

Воспитываемы иностранцами, получив просвещение не в своеобразной форме, русские привыкли скоро видеть во всем, что составляло сущность их старой умственной жизни, противоположность просвещению. Покинуты были родные обычаи, русский образ домашней жизни; изменялся и забывался родной язык. Оставалась затем своя русская православная вера. По стечению обстоятельств и она не сильна была устоять против рокового напора чужой цивилизации, ломавшей все русское, особенно если на нее покусится какая-нибудь из западных вер — будь это католичество или протестантство. В те времена новые языки еще не получили господства в науке. Еще существовало везде понятие, что наука должна быть излагаема на языке отжившем, языке с неизменяемыми формами и притом на языке общем для ученых всех стран, каким был латинский, а не на живых наречиях, унижаемых вульгарною речью черни, известных только в одном каком-нибудь крае. Православная Русь в сущности и прежде держалась того же начала: все, что имело в ней признак умственного труда и мысли, выражалось не на обычном вседневном, а на богослужебном ученом языке славянском. Это был для нее язык учености, умственного труда. Когда Русь столкнулась лицом к лицу с европейской западной образованностью и ученый язык Руси — славяноцерковный язык — столкнулся с языком науки на Западе, с латинским, то латинский язык с его богатою письменностью, с роскошными воспоминаниями античного мира оказался слишком великим пред языком славянским. Латынь поражала своим величием, уничтожала в прах бедное славянство своим видимым превосходством. Ученые презрительно улыбались, когда им заикались о литературе славянского языка; иезуит Скарга громил его, называл источником и причиною темноты и невежества русского. "Еще не было, — говорит он в своем сочинении, — на свете академии, где бы философия, богословие, логика и другие свободные науки преподавались по-славянски. С таким языком нельзя сделаться ученым. Да и что это за язык, когда теперь никто не понимает и не разумеет писанного на нем? На нем нет ни грамматики, ни риторики и быть не может. Попы русские на нем отправляют богослужение, а сами не в силах объяснить, что они в церкви читают, и даже принуждены бывают у других спрашивать объяснений по-польски. У них с славянским языком и вся наука в том, чтобы выучиться читать кое-как: в этом их все духовное совершенство. Вот откуда и невежество и заблуждения; с этим языком выходит, что слепой слепого ведет".

Славянский язык со своими архаизмами делался предметом смеха и для самих русских. И православные ревнители не могли

в защиту его сказать ничего такого, что примиряло бы с ним возникшую потребность научного просвещения. "По диавольскому навождению, — говорит один монах того времени, — славянский язык *обмерзел* многим; его не любят и хулят; но он есть плодоноснейший и любимейший Богом язык человеческий именно за то, что нет на нем ни грамматики, ни риторики, ни диалектики, ни прочих коварств диавольского тщеславия: этот язык приводит к Богу простым прилежным чтением без всяких ухищрений: он созидает в нас простоту и смирение". Западное просвещение щеголяло тогда изобилием умственного развития и смеялось над скудостью славянства, а православие не запиралось в этом, но в свою очередь указывало на литературу и науку как на греховное дело. "Соблюдайте, — говорит тот же монах, — соблюдайте ваших детей от яда. Истинно вам говорю: кто с духом любви прильнет к этим поганым мечтательным догматам, тот наверное погрешит в вере и отпадет от благочестия; что с нами и делается, как только вы начали лакомиться на латинскую мерзкую прелесть! Не лучше ли тебе изучить часословец, псалтырь, октоих, апостол, евангелие и другие церковные книги и быть простым богоугодником и приобресть вечную жизнь, чем постигнуть Аристотеля, Платона и прослыть в сей жизни мудрым философом, а потом отойти в геенну? Рассуди сам: лучше ни аза не знать, да к Христу достигнуть, а Христос любит блаженную простоту и в ней обитель себе творит и упокоевается". Если православные духовные, увлекаясь требованиями века, обращались к западной науке, — тотчас встречали обличение сторонников старины: "вот, — вопияли они, — вместо евангельской проповеди и апостольской науки водворяются поганые учители: Аристотели да Платоны и другие подобные им машкарники и комедийники".

Эта черта тогдашних понятий показывает, что русская национальность с ее главнейшим признаком, православием, становилась в противоречие с требованиями века. Наука западная все еще вращалась около богословия; то были времена борьбы и господства то тех, то других вероисповедных понятий. Люди мыслящие делились по вероучительным толкам; они назывались: католики, лютеране, кальвины, ариане; по этим названиям судили, каковы должны быть их убеждения и поступки во всех отраслях человеческого знания и человеческой умственной и нравственной деятельности. Всякая наука становилась тогда под какое-нибудь вероисповедное знамя. Православие не могло распустить никакого знамени. Просвещение тогда было панское; только человек высшего происхождения считал за собою право чувствовать потребность быть образованным: образованность соединялась с блеском, роскошью, богатством, со всем тем, чем мог выказаться пан. Западная нравственность не была строга к

мирским сладостям, как нравственность восточная; церковь западная гордилась признаками земной власти, силы и величия. "Вот, — говорили латинники, — посмотрите на нас: если б наша церковь не была истинная, мы бы не были так многочисленны и св. отец не обладал бы такою силою; могучие цари и великие народы покоряются воле папы. Богатства стекаются к тем, которые исповедуют нашу веру". Католическая Испания изумляла тогда мир неисчерпаемыми сокровищами и неизмеримыми землями Нового Света. Расширение ее владений было расширением католической веры. Успехи обращения туземцев Америки представлялись Европе в исполинских образах. Потери, которые понесло католичество от протестантства в Европе, казались ничтожными в сравнении с тем, что оно приобретало в Америке и в Азии. Эти успехи, это земное могущество служили католичеству свидетельством благодати, почивающей на западной церкви. При таком воззрении понятно, что католичество вполне уживалось со всеми признаками панства, величия и господства. Если протестантство не могло гордиться такими победами, то по духу своей догматики еще более льстило земному благоденствию человека. Протестантство разрешало человечество от тех уз воздержания, поста, духовного труда, молитвы, усмирения разума, которые католичество только ослабило по снисхождению, но не дозволяло отрешиться от них вовсе. Как ни были разнообразны виды протестантства, они были согласны между собою только в том, что тянули к земле... Одна восточная церковь оставалась путем к неземному; она не величалась ни многознанием и педантством протестантства, ни земным могуществом, как римская церковь; это была церковь смирения, молчания, духовного уничижения, блаженного нищедушия. Монашество православное на Руси не походило на западное. Уже по своей одежде, похожей на мешок, русский монах казался пугалом; его клобук, его длинные волосы, нерасчесанная борода чересчур делали его непохожим на польского ксендза с выбритым подбородком, опрятно и щегольски одетого в красивый сутан. Наружный вид последнего более сходился с видом тогдашних светских щеголей в красивых магирках с перьями. Невытертые, намазанные дегтем чеботища русского духовного лица стучали чересчур резко для ушей тех, которые привыкли ходить в шелковых башмаках на тоненьких подошвах с высокими звонкими подковками. Но еще более отвращал светских уровень образования тогдашнего русского монаха или попа. "Русский духовный, — говорили они, — тот же хлоп; не умеет держать себя в хорошем обществе; и поговорить с ним не о чем!" Зато православный монах раздражался против мирской прелести, когда светские люди смеялись над его невытертыми черевиками и чеботищами. Он в свою очередь говорил: "Я на своем чеботище твердо стою, а ты, кривоногий башмачник, на своих

тоненьких подошвах переваливаешься с бока на бок, а особенно когда перед паном стоишь: оттого, что у тебя в носках, загнутых кверху, бес сидит. Инок с тобою не умеет беседовать, потому что не о чем: ты добродетели учился у прелестницы, благочестию навыкал у шинкарки; что ты слышать мог умного от дудки и от скрипки? С кем ты мог вести разговоры о духе и о духовных предметах? с трубачом, сурмачом, пищальником, шамайником, органистом, регалистом, инструменталистом или бубенистом? Кто тебя учил богословию? охотники — собачьи пастухи, или скакуны, или повара да пирожники?

Правда, большая часть духовных, и черных, и белых, не отличалась на деле тою постническою строгостью, какую одобряли по книгам. Монахи, как люди, поддавались искушениям — к соблазну светских, которые, подмечая что-нибудь хоть малое, не пропускали случая рассказать подмеченное с возможною черностью. "Монахи корыстолюбцы, — вопияли светские, — они дают нам взаймы деньги и берут большой рост. Они нам про пост твердят, а сами в монастырях учреждают пиры и попойки и напиваются до упаду, а иные по корчмам шатаются".

— Что же, — отвечали им иноки, — бывает и с нами грех; случаются и пиры и пьянство; да зато не бывает у нас проклятой музыки; притом если инок когда-нибудь напьется, то не разбирает и не привередничает, горькое или сладкое попадется ему, пиво ли мед... все равно, лишь бы хмельно и весело было, а бывает это разве в большие праздники, зато в посты проживают очень воздержно, вкушают капусту и редьку, пищу покаяния достойную, а у вас — что среда — то *рождество* вашему чреву, что пятница — то *велик день*, веселие, празднование жидовское совершаете. По старосветски собравшись в беседу, поесть, попить, повеселиться — это еще половина греха: дедовская простота соблюдается; человек не пристращается к земному; — а вот как выдумывать способы веселья и насыщения — вот первый грех. — Или не знаешь, — говорит православный хранитель старины светскому любителю роскоши, — в твоих серых, красных, белых поливках и юшках, в твоих дорогих венгерских винах, аликантах, мушкателях, малвазиях, ревулах, медах, пивах разнородных — конец благочестию и погибель душе.

Ревнители православия в то время соболезновали о состоянии церкви, сознавали недостаточность ее управления и не находили возможности обновить ее влиянием Востока. Между тем высшие духовные сановники русской церкви, находясь в стране, соединенной политически с католическою страною, принимали такие черты, которые были обычны в средневековой истории западной церкви, но чужды и соблазнительны для православия. Происходя из дворянских фамилий, они не отличались смирением и простотою древних русских пастырей и сохранили под архиерейскою одеж-

дою мирские привычки. Вместо того, чтобы, сообразно православным обычаям, проходить в монастыре долговременную школу воздержания и поста, они получали места не по испытании, а по связям и покровительству сильных, часто посредством подкупа расположив к себе королевских придворных. По правилам святых отцов, епископы при избрании должны были представлять свидетельство о своей достойности. "А за вас кто свидетельствовал? — восклицает современный обличитель. — Свидетельствовали о вас румяные червонцы да белые большие талеры, да полуталеры, да орты, да четвертаки, да потройники, что вы давали знатнейшим секретарям и референдариям, льстецам и тайным шутам его королевского величества, и они свидетельствовали, что вы достойны панствовать и своевольствовать над имениями и селами, принадлежащими к епископским местам... Завернете в бумажки червончики; тому в руки сунете, другому сунете;... мешочки с талерами тому, другому, третьему... кому поважнее;... а писари не гнушаются и потройниками да грошами — берут и дерут: вот ваши ходатаи!" Архиереи вступали в духовное звание только для приличия и тотчас же производились в звание иерархов, управляли церковными имениями со всеми правами и проявлениями светского суда и светского произвола; подобно старостам держали у себя толпы слуг и вооруженные отряды и нередко делали на соседей наезды, по обычаю светских владетелей, которые в случае ссор дозволяли себе самоуправства. Нравственность их не внушала уважения. Поступки Гедеона Балабана, приведенные выше, дают о нем невыгодное мнение; впоследствии он выказался полнее. Кирилл Терлецкий не пользовался в свое время доброю славою. До нас дошло несколько жалоб, обвиняющих его в отвратительных преступлениях, напр., в изнасиловании проезжавшей через его имение девушки; соседние с его церковными владельцы во Владимирском повете жаловались на буйство. Семейство Сышевских жаловалось, будто Кирилл с толпою человек до двухсот, вооруженных гаковницами, полгаками, ручницами и сагайдаками, да с крестьянами своими, взятыми от плуга, напал и захватил чужую землю. Другой сосед, Ян Жоравицкий, в своей просьбе, поданной на епископа в суд, рассказывает, что велебный отец напал на него со своей дворовою челядью, состоящей из угров, сербов, волохов, с пушками, ружьями и секирами. Правда, ни по одной жалобе не обвинили Терлецкого, а один священник, подавший на него жалобу, впоследствии сознался, что епископ поступил с ним хотя сурово, но справедливо по вине его; однако возможность многих подобного рода жалоб на духовного сановника показывает, что епископ не отличался такими достоинствами, которые по духу православной церкви ставили пастырей выше земных страстей. Хотя Кирилл и остался прав

пред польским судом, но это его не освобождает от подозрений по суду истории, потому что польские суды не отличались строгим беспристрастием, коль скоро касались споров сильных со слабыми. Сами современные поляки это резко высказывали. Пусть, говорит Рей, придут в суд один в бараньем тулупе, другой в лисьей, третий в собольей шубе; лисица всегда получает первенство над бараном, а соболь над лисицей. Православные недруги Кирилла обвинили его в тайных убийствах. "Пощупай только свою лысую голову, пане ксенже бискупе Луцкий, — говорит в своем обличительном послании к тогдашнему духовенству Иоанн из Вишни, — сколько ты отослал к Богу живых людей во время твоего священнодейства; тех секирою, других водотоплением, а иных изгнал из сей жизни огнепальною смертью. Припомни и Филиппа, маляра многоденежного; где делись его румяные червонцы после его невольного отхода из мира сего? В какой темнице сидят они?"

У владык и архимандритов были дети, братья, племянники, которым они раздавали церковные имения, и вообще владыки смотрели на свои епархии и монастыри, как смотрели светские люди на каштелянства и староства: считали их для себя доходными статьями. Были примеры, что знатные дворяне испрашивали себе у короля епископские и игуменские места и оставались непосвященными много лет, пользуясь невозбранно церковным хлебом, как тогда говорилось. "Правила святых отец, — замечает современник, — запрещают принимать и посвящать в иереи моложе тридцати лет от роду, а у нас допускали много пятнадцатилетнего. Всякий знает, что тогда случалось, у него молоко на губах не обсохло, а уж его пастырем величают! Он еще по складам читать не может, а уж его посылают слово Божие проповедовать, он своим домом не управлял, а ему церковный порядок поручают!" Понятно, что при таких правителях в церкви повсеместно совершались беспорядки. Так, вместо неразрывности брака, которую признает православная церковь, нигде не было такого множества разводов, как на Руси, и, к соблазну благочестивых, часто можно было встретить, что у иного две и три живых жены сошлись с другими мужчинами, а сам он живет с четвертою женщиною. Уже давно укоренился в православной церкви обычай, что архиереи посвящались из монашествующих лиц; в польских владениях этот обычай нарушался: холмский епископ Дионисий Збируйский, пинский Леонитий Пелчицкий жили с женами, перемышльского епископа Михаила Копыстенского возвели в епископский сан, когда у него была жена, — говорит извет львовского братства на русских архиереев, поданный в 1592 году константинопольскому патриарху Иеремеи. Вопреки церковным правилам священники были двоеженцы, а иногда вовсе не женились и жили с наложницами. Игумены монастырей открыто жили с любовницами, не таясь, имели и вос-

питывали детей, и у них в монастырях чаще можно было встретить пьянство и шумные оргии, чем подвижничество.

Роскошное житье, которое себе дозволяли духовные по своему дворянскому происхождению, заставляло их извлекать побольше доходов из своих церковных имений, а это вело к утеснениям подданных. "Ваши милости, — говорит тот же Иоанн из Вишни русским архиереям, архимандритам и игуменам, — отнимаете волов и лошадей из обор бедных поселян, выдираете от них денежные дани, дани пота и труда, лупите их, мучите, гоните до комяг и шкут зимою и летом в непогодное время, а сами, как идолы, сидите на одном месте, а если и случится ваши идолотворенные трупы перенести с одного места на другое, то переносите их в колясках, и во время дороги вам — как дома, а бедные подданные день и ночь на вас трудятся и страдают; высасывая из них кровь, вы одеваете фалендышами, утрофимами и каразиями своих приставников и слуг, любуетесь их убором, а у бедных подданных и сермяжки порядочной нет, чем бы прикрыть наготу свою".

Беспорядки в церковном строе увеличивались от произвольного вмешательства светских лиц. До чего доходило своевольство старост, может служить образчиком вражда Кириллы Терлецкого с луцким старостою. Поссорившись с епископом, староста не пускал его служить в соборную церковь, стоявшую в замке, в великие дни страстной субботы и пасхи, для потехи завел музыку в церковных притворах, а своевольные гайдуки его стреляли в церковный купол.

Состояние низшего духовенства было плачевно. Владыки обращались с ним грубо, облагали налогами в свою пользу, наказывали тюремным заключением и побоями, не давая никому отчета. Из монастырей, приписанных к архиерейским кафедрам, владыки поделали себе хутора и содержали там псарни. Духовные терпели от произвола старост и владельцев тех имений, где были их приходы. Пан заставляет приходского священника ехать с подводами, берет в услужение его сына, забавляется над ним и над его семьею и по произволу угнетает налогами наравне со своим хлопом. В особенности состояние духовных было подвержено лишениям там, где пан был католик или протестант. Там помещики облагали самое богослужение пошлинами; так, священники должны были платить по 2 и по 4 (если он протопоп) злотых. Этого, говорит современник, не несли ни жидовские синагоги, ни татарские мечети. Иной русский, обратившись в протестантство, из фанатизма уничтожал церковь вовсе, а здание, где она находилась, обращал в хлев. Православные при своей холодности не заступались за своих единоверцев.

Негде было священникам приобретать воспитание, приличное их званию; они оставались в крайнем невежестве, и не могло

быть речи о поучении народа. До такого презрения дошло звание пресвитера, говорит православный писатель Захария Копыстенский, что честный человек стыдился вступать в него, и трудно было сказать, где чаще бывал пресвитер: в церкви или в корчме. Неудивительно, что даже самое богослужение от неведения искажалось, так что не стало в обрядах единообразия. Большею частью духовные не имели ровно ничего священного, кроме одежды во время богослужения да сноровки кое-как с грехом пополам отслужить обедню, в которой ничего не понимали, ибо славянскому языку им негде было выучиться, и священник невольно еретическим образом объяснял непонятные слова писания. Один из современников выражается в таких чертах о невежестве духовенства, как высшего, так и низшего: Некоторые из наших пастырей разумного стада Христова едва достойны быть пастухами ослов! Не пастыри они, а волки хищные, не вожди их начальники, а львы голодные, пожирающие овец своих. О, несчастное стадо! Как может быть учителем такой пастырь, который сам ничему не учился и не знает, чем он обязан богу и ближнему, когда он с детских лет занимался не изучением св. писания, а не свойственными духовному званию занятиями: кто из корчмы, кто из панского двора, кто из войска, кто проводил время в праздности, а когда не стало на что есть и во что одеться и нужда ему шею согнула, отогда он начинает благовествовать, а сам не смыслит, что такое благовествование и как за него взяться. Церковь наша наполнена на духовных местах мальчишками, недоростками, грубиянами, нахалами, гуляками, обжорами, подлипалами, ненасытными сластолюбцами, святопродавцами, несправедливыми судьями, обманщиками, фарисеями, коварными иудами!

Мудрено ли, что в век всеобщего прозелитства такие ловкие на диалектику проповедники, какими были иезуиты, не встречали себе достойного отпора, а обращаемых ими из православия некому было поддерживать в отеческой вере? "Из духовных греко-русской веры, — говорит современник, — не нашлось бы десятка во всей Руси, чтобы умели объяснить: что такое таинство, чистилище, папская власть и пр., а когда владыки и игумены порывались показать свое просвещение, то возбуждали смех, когда какую-нибудь просто народную польскую или русскую поговорку приписывали какому-нибудь Солону или Пифагору".

При таком состоянии духовенства простой народ только по имени был христианским; а были такие, что без крещения оставались во всю жизнь. Народ жил своею старою жизнью, нераздельно от природы, без первоначальных понятий о сущности христианской религии. Как предки его за восемьсот лет — этот народ в XVI веке измерял время года и свою обыденную жизнь по языческим празднествам, и они были ближе его сердцу, чем христианские. Праздник рождества для него был празднеством

колядок; новый год он праздновал языческим щедрым вечером; обряды с пирогами, похожие на древнее языческое богослужение Святовита, были ему знакомее и ближе к сердцу, чем водоосвящение церковное в крещение; на маслянице Русь праздновала языческого козла — встречу весны; пасха Христова была народу дорога не воскресением Спасителя, а шумным *волочинням* (теперь уже почти пропавшим): "выволочите это проклятое волочиння из ваших сел, — говорит монах-обличитель, — не хочет Христос, чтобы в дни его славного воскресения были смех и диавольское ругание"; на Георгиев вешний день народ отправлял шумное, веселое языческое празднество в полях с плясками, песнями, играми, к прискорбию св. великомученика и к утехе диавольской, по выражению благочестивых; троицын праздник знали только по завиванию венков; в день рождества Иоанна Предтечи Русь тешилась языческим скаканием через огонь, на Петра и Павла — качелями, которые благочестивые люди честили названием виселиц; по окончании жатвы отправлялись языческие обжинки. Свадьба, по народному понятию, утверждалась не венчанием в храме божием, а заветными свадебными обрядами и песнями; память покойников почиталась не церковными за них молениями, а поставлением на могиле пирогов и яиц, шумными оргиями на кладбищах — остатками языческой тризны. Везде во всем еще господствовал языческий строй понятий и верований. Понятия о душе и загробной жизни сохранялись от времен отдаленных и почти чужды были христианского рая и ада. Русский поселянин воображал, что души умерших летают по деревьям, превращаются в деревья, в птиц, в зверей, блуждают по лесам, болотам и полям, а потом уходят в отдаленную страну где-то на востоке солнца; духовный мир населялся не христианскими ангелами и бесплотными духами, а теми безразличными существами языческого миросозерцания, которые назывались лесовиками, домовиками, болотяниками. Божество рисовалось в неопределенном образе верховной силы, без ясного сознания: является ли эта сила в одном или во множестве образов.

В дворянстве греческой веры развилась холодность к отцовской религии, переходившая часто и скоро в убеждение о превосходстве над нею других христианских вероисповеданий: православная церковь беспрестанно теряла своих членов дворянского происхождения. Во время Сигизмунда Августа, когда в Польше и Литве распространялась реформация, многие покидали веру отцов и принимали кальвинство или арианство, другие хотя явно не переходили в иноверство, но оставались без всякой сердечной и нравственной связи со своею верою и почти так же были ей чужды, как и перешедшие в другую; коль скоро русский шляхтич получил воспитание или даже только воображал себя воспитанным, — у него понятия и чувства обращались к иному

миру, и он старался быть чуждым православию. С тех пор как иезуиты накинули на Речь Посполитую свою католическую сеть, русские стали переходить преимущественно в католичество. Но прежде чем иезуиты не взяли господства над протестантством, последнее для православия было опаснее католичества.

В Южной Руси отцу семейства невозможно было найти учителя, который бы преподавал закон божий и первоначальные сведения, и родители поневоле поручали воспитание детей иноверцам, а те, по духу прозелитизма, общему тогда всем толкам, старались воспитанникам внушить предпочтение чужой вере. Такими учителями часто были кальвины, потому что пользовались добрым мнением о их нравственной деятельности. Князь Острожский с уважением отзывался о деятельности протестантов, у которых были школы, типографии, богадельни, больницы при молитвенных домах, а пасторы их отличались христианским добронравием; с сердечною болью князь противопоставлял им упадок церковного благочиния в русской церкви, невежество священников, материальное своеволие архипастырей, леность и равнодушие мирян к делам веры. "Мы к вере охладели, — говорил он, — правила и уставы нашей церкви в презрении у всех иноверцев, а наши не только не могут постоять за Божию церковь, но сами смеются над нею. Нет учителей, нет проповедников Божьего слова, повсюду глад слышания слова Божия, отступление от веры; ничто не утешает нас; приходится сказать с пророком: кто даст воду главе моей и источник слез очам моим".

Но эти слезные возгласы о запустении православной церкви не препятствовали, однако, тому же Острожскому в одном из писем к своему внуку Радзивилу назвать кальвинов последователями истинного закона Христова (wyznawcy prawdziwego zakonu Chrystusowego). Ясно, что самый ревностнейший поборник православия мало надежды мог подавать на себя, когда произносил такие противные духу православия суждения об исповедании, которое, напротив, с точки православной должно было почитаться мерзкою ересью.

Острожский завел у себя школу, типографию, всех православных дворян побуждал делать то же. Но мало было охотников следовать его примеру, да и трудно было. Учителей негде было набирать на всю Русь. Своих нет; с Востока также получить нельзя было; в Московщине то же невежество; а приглашать иноверцев — значило губить веру. Естественно было поддаваться иезуитским внушениям и приходить невольно к мысли о соединении с римскою церковью; иначе протестантство разъело бы до костей православную Русь.

Митрополит в 1590 г. (а по некоторым в 1591) созвал в Бресте синод для совета об улучшениях в церкви. Он жаловался, что константинопольская кафедра занимается по произволу ту-

рецкой власти, указывал на тягость зависимости от патриарха. С ним совещались: Кирилл Терлецкий, уже давно расположенный к латинству и настроенный, как кажется, краковским епископом Бернатом Мацеевским, пинский епископ Леонтий Пелчицкий, холмский Дионисий Збируйский и львовский Гедеон Балабан. Все нашли, что было бы полезно для церкви исполнить ее древнее желание — соединения с западной. Тогда епископы, но без митрополита, составили запись, где изложили, что, по своему долгу заботясь о приведении своих порученных им богом овец к христианскому согласию, они желают признать власть римского первосвященника, если только божественная служба и весь церковный устав восточной церкви останутся ненарушимыми вовеки. Это было первое и исходное дело унии.

Митрополит уклонился от составления записи, давши епископам косвенно побуждения к ней; он показывал вид, будто ничего не знает, а когда ему сообщили, он стал играть роль упорного православного, которого надобно уговорить. Его наставники и руководители иезуиты писали к нему такое тайное нравоучение: "Велика будет честь вашей милости, когда вы воссядете рядом с примасом католического духовенства в сенате, яко первопрестольник Восточной Церкви; а это возможно только тогда, когда вы перестанете признавать власть патриарха, находящегося под влиянием неверных; иначе это было бы противно чести короля и коронным уставам. У вашей милости есть королевская привилегия, в Короне и Литве связи, родство, приятели; — вся католическая церковь станет за вас горою и никто не поколеблет вашего седалища. По примеру западных епископов и прелатов вы можете избрать себе коадъютора с тем, чтобы сделать его своим преемником. Ему будет готова привилегия его величества, лишь бы он пошел по следам вашим. Не смотрите, ваша милость, на ваше духовенство и на глупое упрямство неразумной черни. С духовенством вашей милости легко сладить. Заместите все вакансии людьми незнатными, чтобы они не кичились, — людьми простыми, которые бы от вашей милости во всем зависели, а упрямых, непослушных и противящихся вам лишите должностей и на их место назначьте достойных. Берите с каждого поборы, чтобы они не разжирели; подозрительных тотчас отсылайте в другие места. Недурно также иных под видом почести отправлять в далекие путешествия и посольства на их собственный счет. Вообще на попов наваливайте побольше налогов под предлогом общей пользы церкви; остерегайтесь, чтобы они не делали сходок и не собирали складчин без воли вашей милости; а тех, кто преступил это приказание, — запирайте в тюрьму. Со светскими и особенно с чернью ваша милость вели дело благоразумнейшим образом; так и вперед ведите и старайтесь, чтобы не было ни малейшего повода проникнуть ва-

ши намерения, между тем передовые головы следует всевозможными средствами заманить и привязать к себе или лично, или через посредников, либо оказавши им какую-нибудь услугу, либо расположивши к себе подарками. Не вводите новых обрядов в церковь; обряды постепенно изменятся сами собою. Позволяйте себе диспуты и споры против западной церкви, чтобы таким образом затереть следы своего предприятия и не только черни, но и шляхте глаза залепить. Для их молодежи пусть будут особые школы; лишь бы они не запрещали детям своим посещать костелы и получать последующее высшее воспитание в школах наших отцов. Слово уния должно быть изгнано; нетрудно выдумать другое слово сноснее для человеческих ушей. Недаром остерегаются носить красное платье те, которые около слонов ходят, как рассказывают".

Послание это поручает митрополиту отвлекать православных от общения с протестантами. Оно оканчивается такими полными надежд выражениями: "Положимся на Бога, на бдительность его величества, от которого зависит раздача церковных имений, положимся на ревность коронных чинов, которые, владея правом патронатства над церквами в своих имениях, станут допускать к отправлению богослужения одних униатов. Будем надеяться, что наш благочестивый и богобоязненный государь и преданный католической вере сенат станут стеснять отступников от католической веры в судах и на сеймах, и таким образом упорнейшие русские схизматики поневоле покорятся власти св. отца, а мы все законники (т. е. принадлежащие к ордену иезуитов) будем помогать не только молитвами, но и трудами".

Так и действовал митрополит до конца своего предприятия. Между тем установленные патриархами братства расширялись и грозили епископам правом общественного мнения. Находясь под ведением патриарха исключительно, эти братства могли разрастись до того, что вся Русь находилась бы под непосредственною зависимостью и влиянием константинопольского патриарха. Владыки потеряли бы всякую тень самостоятельности; положение их было шаткое; по всякому доносу братств патриархи бы сменяли их; и потому они поневоле должны были находиться в самой непосредственной подчиненности патриарху и стараться делать все ему угодное. Это учреждение беспрерывно оскорбляло их, унижало их сан и значение епископов. "Как, — говорили они, — сходке пекарей, швецов, крамарей, седельников, кожемяк, неучам, не знающим ничего в делах богословских, дают право пересуживать суд посвященных церковью властей и делать постановления о церкви Божией!" Это казалось нарушением коренных оснований церкви, чистым протестантством.

В 1593 г. умер владимирский владыка Мелетий Хребтович-Богуринский, которого, как видно, не склонили к принятию

унии. Тогда король поручил митрополиту посвятить на его место Адама Поцея, брестского кастеляна. Это было лицо совсем уже готовое для унии и теперь получившее епископский сан исключительно с целью вводить ее. Он происходил из знатной фамилии. Папский нунций Коммендони обратил его из православия в католичество; потом, настроенный иезуитами, он снова обратился в православие с намерением посвятить себя делу унии. Чтобы заявить себя истинным православным, он в прошлом перед тем году заложил сам православное братство в Бресте, наподобие львовского. Король приказывал рукоположить его немедленно, уверял митрополита в учености и благочестии Поцея и избавлял от труда поверять королевскую рекомендацию. Права и обычаи церкви пренебрегались на этот раз, как уже не раз делалось. Бывши в марте месяце брестским кастеляном, находясь, таким образом, не только в светской, но даже в военной должности, в апреле Адам Поцей, нареченный в монашестве Ипатием, произведен в отцы велебные.

Православные, ненавидя его, рассказывали впоследствии, что когда его постригали в монахи и, по обычаю, вели в церковь в одной рубахе, то вдруг подул ветер и заворотил ему заднюю часть рубахи на голову. Это служило (так рассказывали, объясняли) предзнаменованием, что при этом срамовидном архиерее церковь божия испытает смуты и гонения.

Подобно митрополиту Рагозе, Поцей по возведении своем в сан епископа и прототрония (титул владимирского владыки) сначала не показывал явно, что думает об унии, и ожидал, пока обстоятельства дозволят ему высказаться гласно, а между тем пытался расположить к этому делу Острожского. Согласие магната, имевшего силу в Южной Руси, столько же способствовало успеху, как несогласие могло вредить предприятию. Некоторые говорят, что Поцей был по жене родственник князя Острожского, и король, подставляя его на епископское место, имел, между прочим, в виду и это обстоятельство, но другие отвергают это известие. Как бы то ни было, Поцей был известен и близок Острожскому. Князь уважал его за хорошую нравственность, ученость и благочестие.

Поцей вступил с ним в переписку и задумал вести дело так, чтобы, не зачиная речи об унии, Острожский сам высказался прежде об этом и пожелал унии, чтобы впоследствии можно было владыкам показывать вид, что не они сами замыслили унию, а пристали к желанию других светских панов. Способ этот сначала удался. Острожский, в своих письмах беседуя с Поцеем о мерах, посредством которых можно исправить церковный порядок, остановился на соединении восточной церкви с западною. Но уния в планах Острожского была не такова, какую готовили Руси иезуиты и их пособники. Острожский признавал право-

славную церковь вселенскою, а не национальною, не исключительно церковью Руси, соединенной с Польшею. Острожский считал правильным соединение церквей только в таком случае, если бы к этому соединению приступили и в других православных странах. Поэтому он предлагал владимирскому епископу прежде всего отправиться в Москву поговорить с тамошним патриархом и с московским государем, а львовскому епископу ехать к волохам. Самое соединение с римскою церковью, по убеждению Острожского, должно совершиться с таким условием, чтобы не только восточная церковь оставалась при всех существующих обрядах, но для ограждения ее на будущее время надлежало постановить: отнюдь не принимать из греческой веры в римскую и не допускать приневоливать к принятию католичества, как это, по замечанию князя, случалось при браках. Острожский высказывал, что в его видах главная цель предполагаемого соединения есть основание школ, образование проповедников и вообще распространение просвещения между православными. Вместе с тем Острожский высказал, что на него оказали влияние протестанты; в письме к Поцею, где изложены были все эти предположения об условиях, на которых, по мнению князя, могло бы совершиться соединение церквей, было замечено, что следует также многое исправить и изменить в церковном устройстве, обрядах, кое-что относительно св. таин и отделить от церкви человеческие вымыслы. Поцей, получив такое письмо, сейчас обратил внимание на это неправославное замечание и особенно на то, что касалось св. таин; он отвечал Острожскому: "Церковь восточная совершает таинства правильно; ни осуждать, ни исправлять в ней нечего. Он, таким образом, становился охранителем благочестия. Что касается до унии, то Поцей показывал вид, что принимает пока холодно желание других и именно Острожского. "Это великое дело, — писал он, — невозможно и не нашему веку суждено его исполнить; я не смею говорить об этом митрополиту, знаю, что он не расположен; а в Москву я ни за что не поеду; с таким посольством под кнут попадешь, а лучше ваша милость, как первый человек в нашей вере, старайтесь об этом сами у короля".

Владимирский владыка, давно посвятивший себя унии, в это время хитрил не только пред Острожским, но даже перед своими товарищами, притворялся, будто не знает ничего о том, что они совещались о соединении с римскою церковью, и встретившись с луцким епископом, как услышал от него об этих совещаниях, то показал вид, будто слышит что-то новое, поразившее его своею необычностью. Не он других склонял, а его самого приходилось убеждать, и луцкий владыка уговаривал его так: "Патриархам дорога отворена в Московщину; для великой милостыни они будут часто туда ездить, а едучи туда и оттуда и нас не минут; а как у

них есть привилегии от покойного короля Стефана и от нынешнего господаря, то не забудут показывать над нами свою власть и станут нас возмущать: вот уже одного митрополита отставил, а другого поставил, обесчестил первого, да еще и братства установил; а братства будут гонители на владык; хоть чего и не будет за ними, они выдумают и обвинят; а, сохрани Бог, когонибудь и отрешат из нас... Какое это бесчестие! Сам посуди! Господарь король дает должности до смерти и не отбирает их за какую-нибудь маловажную вину, разве когда кто смертной казни заслужит, а патриарх по оговору обесчестит и отнимет уряд! Какова эта неволя... Сам посуди!.."

И владимирский владыка, как будто невольно и мало-помалу, поддавался представлениям луцкого.

И львовский владыка также хитрил. Замечая, что русское дворянство не слишком показывает охоту к римской церкви, когда стали носиться слухи о том, что епископы подумывают об унии и что, съезжаясь в 1590 г., они составили какое-то письменное определение об этом предмете, Гедеон говорил, что не знает не ведает ничего, — его товарищи давали ему подписывать какие-то чистые пергаментные листы: он подписал, а что там пишется — он не знает.

Таким образом, благоразумный владыка оставлял для себя лазейку заранее, чтобы в случае неуспеха дела об унии на других вину свалить, а себя очистить.

В 1594 году митрополит с целью толковать о предполагаемом соединении назначил собор в Бресте к 24 июня, но примас королевства, управлявший делами в отсутствие Сигизмунда, который тогда уезжал в Швецию, запретил этот съезд на том основании, что сеймовою конституциею не дозволялось в отсутствие короля заводить такого рода собраний. Так как впоследствии оказалось, что Сигизмунд хотел, чтобы уния совершилась без собора и тем избежать споров, то, вероятно, и примас тогда поступил по воле короля, тем более, что Острожский хотел собора, а король рассчитывал, что участие Острожского и светских лиц на соборе не допустит повести дело так, как хотелось ему и иезуитам. Приехавши в Брест, митрополит застал там одного Поцея. Здесь, по совету с последним, он изрек приговор запрещения на Гедеона Балабана под предлогом несправедливостей, которые он причинил львовскому братству, по жалобе, поданной львовскими мещанами, членами этого братства. Кажется, что митрополит сердился на него, подозревая, что он станет противиться его затеям. Но когда митрополит поражал Гедеона в Бресте, Гедеон поехал в Сокаль и там 27 июня съехался с владыками луцким, холмским и перемышльским: они совещались об унии. В декабре того же года представлено было королю два предложения: одно от митрополита, другое от вла-

дык, съезжавшихся в Сокале. Из них видно, что прежде положительного согласия на подчинение папе они хотели получить от короля побольше выгод для себя, и обеспечить свое положение на будущее время. На первом плане ставилось сохранение уставов и богослужебных обрядов восточной церкви; затем иерархи хотели получить места в сенате наравне с римскими епископами, домогались, чтобы сделано было постановление посвящать по смерти епископа преемника ему по благословению папы, чтобы угрозы патриарха и проклятия, которых можно было ожидать, не имели силы, чтобы не дозволялось по Руси разъезжать греческому духовенству и волновать народ против русских архиереев и, наконец, чтобы была уничтожена самостоятельность братств и независимость их от епархиальных властей.

Узнал Гедеон о декрете, произнесенном на него митрополитом в Бресте, и подал в суд протестацию; он обвинял митрополита в незаконности его поступков, как за намерение созвать собор вопреки сеймовому определению, так и за декрет против него. Но потом Гедеон нашел, что лучше ему во что бы ни стало помириться с митрополитом, потому что у него был сильный домашний враг — братство львовское, которое ненавидело, обличало его и преследовало. Гедеон должен был где-нибудь искать опоры.

В январе 1595 года пригласили во Львов несколько архимандритов и игуменов и в том числе печерского Никифора Тура, супрасльского Илариона Мосальского и дерманского Геннадия, да несколько особ белого духовенства. Они толковали об унии и положили просить митрополита привести к концу желанное дело. Митрополит был так доволен этим, что пригласил Гедеона к себе на свидание в Слуцк, восстановил его в достоинстве и написал к Острожскому, что львовский владыка известил его, что владыки предпринимают что-то недоброе против православия; по этому поводу он, митрополит, прежде низложивши Гедеона, опять возвел его в прежний сан во уважение к его преданности православной вере и в надежде, что он будет наблюдать над замыслами изменников и доносить ему обо всем.

Светским людям трудно было распознать правду в этой путанице. Где-то была опасность, измена, но где — неизвестно; владыки друг друга подозревают, каждый себя оправдывает, каждый порознь — блюститель православия, и каждый другого боится. Казалось, можно ли было чему-нибудь составиться в таком хаосе!

Вслед за тем митрополит назначает опять владыкам съезд в Кобрине, а между тем сам медлит: он ожидает, какой ответ произнесет король на предложения, представленные в декабре, он следит — какое положение принимает в этом деле канцлер Ян Замойский, которому он писал и просил покровительства,

притом митрополит хотел как можно дороже продать правительству и латинству свою услугу. Поцей, ожидая его в Кобрине, писал к нему в таких выражениях: "Ваша милость сами подвинули нас на это дело, а теперь оставляете: если вы не приедете к нам в Брест, то отдадите нас на бойню; но знайте, что, погубивши нас, не воскреснете и сами". Митрополит, не дождавшись от короля ответа, должен был ехать в Брест. 12 июня неизвестно где составлено владыками письмо к папе с предложением унии; оно вручено было Поцею и Терлецкому; их избрали послами в Рим. На письме к папе были подписи Поцея, Терлецкого, Балабана, Збируйского, Копыстенского, пинского епископа Пельчицкого и кобринского архимандрита Ионы Гоголя; последний подписался на одном и том же письме два раза кобринским архимандритом и нареченным пинским епископом. Заподозревается даже историческая действительность этого съезда на следующих основаниях: 1) Иона Гоголь подписался вдвойне архимандритом кобринским и нареченным епископом пинским, когда жив был Леонтий Пельчицкий и подписался на том же акте; 2) есть письмо митрополита к Скумину-Тишкевичу из Новогрудка от 14 июня; следовательно, митрополиту едва ли возможно было повидаться 12 июня в Кобрине или Бресте. Но на первое можно возразить, что Пельчицкий при жизни своей еще прочил Иону себе в преемники, и последний, желая удержать за собою вперед поступление в сан, подписался нареченным епископом. Второе же легко объясняется тем, что митрополит, как показывает его письмо к Скумину, желал перед этим паном скрыть свое участие в деле унии и написал, что не был на соборе, куда звали его, а потому письмо его подписано из Новогрудка, когда в самом деле его самого там не было. Напротив, письмо к нему Поцея из Кобрина, которое вызывало митрополита, показывает, что владыка без него не мог тогда окончить своего дела, а когда то дело, за которым его звали, было окончено с его подписью, то без сомнения, что и он был на соборе.

Владыки увидели необходимость во что бы то ни стало еще раз попытаться расположить к делу важнейших панов. Митрополит обратился к литовскому пану Федору Скумину-Тишкевичу, а Поцей к южнорусскому, Константину Острожскому. Митрополит отправил к Скумину-Тишкевичу копию с согласия епископов, где не было его имени; и прикидывался православным и неповинным, поставил, как сказано, на письме ложно *из Новогрудка*, жаловался, что все это настроил Кирилл Терлецкий, которому хочется быть митрополитом, и уверял, что сам он, митрополит, не приступит ни к чему решительному без воли и согласия пана воеводы.

Поцей, снова взявши на себя склонить Острожского, поступал с ним так же, как митрополит со Скуминым-Тишкевичем:

начал с того, что выставлял себя православнее своих товарищей, роптал, что на него сочиняют небылицы — будто он хочет ввести в православное богослужение римские опресноки, и вообще перетолковывают в дурную сторону съезды епископов. Он прислал князю копию с предложения об унии и припомнил, что Острожский еще прежде духовных особ подавал мысль о соединении церквей, и если кто первый поднял речь об унии, так это он сам.

Не обманул митрополит Скумина. Тот отвечал ему: "Вы пишете мне, что это начинается от владык, мимо вашего соизволения. Но ко мне пришло известие, что у короля были послы от всего нашего духовенства, и прежде всего королю показывали на письме соизволение ваше. Я тому не верил; но ко мне прислана уже копия со статей о том, как быть этому соединению, утвержденных королем и отправленных назад от короля. А теперь вы моего совета требуете! Трудно советовать после того, как сговорятся и королю поднесут предложение, а король его утвердит. Мой совет теперь был бы напрасен, разве на смех".

Острожский отвечал Поцею суровее, чем Скумин митрополиту: замечал, что Поцей недостоин быть пастырем церкви, но присовокупил, что он, Острожский, сам и теперь, как прежде, не прочь от соединения церквей, только не иначе как посредством собора. Рассерженный на митрополита и владык за их хитрости, Острожский еще до получения известия о соборе, но уже зная, конечно, о сношении с королем, написал от 16 июня знаменитое послание ко всем христианам, где называл епископов волками и злодеями и возбуждал единоверцев стоять непоколебимо в отеческой вере. Острожский хотел в такое время помирить львовское братство с Балабаном, потому что только от львовского епископа ожидал отпора затеям других иерархов. Тогда Балабан, увидевши, что Острожский и вообще знатные и сильные дворяне не склоняются к унии, счел за лучшее еще раз и уже окончательно попятиться назад и оговорить товарищей открыто, юридически в том, о чем он прежде только распускал слухи, приготовляя себе на случай отступление.

1 июля 1596 г. Гедеон во владимирском градском суде подал в присутствии Острожского и многих русских дворян протестацию: в ней рассказывалось, что 24 июня 1590 г. Гедеон и с ним епископы пинский и холмский избрали из среды своей луцкого епископа ходатаем пред правительством по церковным делам и вручили ему четыре бланковых листа с подписью рук своих и с приложением печатей от каждого епископа. Луцкий епископ получил от них уполномочие написать и представить королю и чинам Речи Посполитой жалобу на утеснения, какие терпят последователи греческой веры в городах и селениях от католиков, которые часто не дают им отправлять праздничные обряды по уставам православной церкви; вместе с тем он должен был от

имени всего русского духовенства изложить просьбу о сохранении прав и преимуществ, какими пользовалась издревле православная церковь в краях Речи Посполитой. После того, в 1594 г. июня 27 числа (рассказывается в той же протестации) владыки львовский, перемышльский (Михаил Копыстенский), луцкий и холмский собрались в городе Сокале. На епископов был тогда недоволен митрополит по наговору некоторых лиц; они посоветовались о своих делах и поручили снова луцкому епископу ходатайствовать за всех перед отцом митрополитом и просить его благосклонности и благословения, а вместе с тем дали ему снова четыре бланковых листа (четырех мамрамов) под своими печатями и с подписями рук своих "не на иншую жадную потребу одно абы на них писати до его королевской милости пана милостивого и до их милости панов сенаторов яко духовных, так и свецких о кривды и долеглости многие, которые ся деют з многих станов и особ законови и церквам светым релии грецеское". Гедеон извещал, что потом до него дошло, будто луцкий владыка написал на данных ему *мамрамах* совсем не то, чего они хотели, а что-то нарушающее законы, права и преимущества церкви, и отправил написанное к королю и к духовным особам римско-католической религии; поэтому он, Гедеон, протестует против таких самовольных поступков луцкого владыки; со своей стороны, он ни луцкому епископу, ни другому кому бы то ни было отнюдь не доверял ничего такого, что бы могло клониться к нарушению древних постановлений церкви, и признает, что ни митрополит, ни епископы не имеют права без позволения старейшины своего, константинопольского патриарха, и без согласия собора, составленного не только из лиц духовного звания, но также из лиц мирского звания греко-русской религии, приступать к каким-нибудь изменениям и нововведениям.

Гедеон, как показывают эти поступки, обеим сторонам угождал разом и обеим сторонам вредил. Перед сторонниками папской власти он имел право указывать на свою подпись в числе других епископов и выставлять себя участником соединения церкви русской с римскою; перед православными он мог указывать на свою протестацию и выхваляться своею верностью отеческой церкви. Та или другая сторона выиграет, — Гедеон спешил дать себе такое положение, чтобы во всяком случае выиграть самому, оставив себе возможность стать на торжествующей стороне.

Острожский, вооружая своими посланиями Русь против замышляемой унии, грозил даже употребить силу, если б нужно было, а у него была в распоряжении вооруженная сила; могло дойти до междоусобной войны: на стороне Острожского было политическое право; не только православные, но и дворяне других вер могли обвинять способ действия владык, потому что решать важные дела церковные, гражданские и политические

можно было только общим согласием. Поцей видел крайнюю необходимость сойтись с могучим князем и остаться с ним в дружелюбных отношениях, по крайней мере до тех пор пока посольство не будет отправлено в Рим; не следовало подавать повода стране слишком резко и ощутительно заявить свое нежелание принимать церковное главенство папы, прежде чем епископы русские явятся пред лицом папы от имени всей Руси с желанием подчиниться ему. Поцей прибегнул к посредничеству князя Заславского и через него устроил с Острожским свидание в Люблине. Поцей не говорил Острожскому ни о существовании прежнего предположения об унии в 1590 году, ни о письме к папе, составленном недавно с подписями владык; он показал ему только предположение, составленное епископами в 1594 г. в Сокале, о котором и писал перед тем, и которое, как видно, написано было не так резко и решительно. Поцей клялся в своей искренней преданности православию и говорил: "ваша милость подали нам сами эту мысль; мы без вашей милости не думаем ничего делать; все в воле вашей милости; сами вы начали дело, сами его теперь и оканчивайте, а мы станем поступать по вашему указанию. Теперь вы можете это все сжечь; как прикажете, ваша милость, так мы и будем делать".

Эти слова сопровождались слезами и поклонами; старый вельможа стал ласковее и говорил:

"Надобно стараться у его королевской милости, чтобы собран был собор; на этом соборе будем все стараться привести дело наше к окончанию, для славы Божией и для блага всего христианства".

Владыка владимирский расстался с князем дружелюбно и с его согласия поехал вместе с Терлецким к королю Сигизмунду III в Краков, как будто бы только для того, чтобы просить дозволения открыть собор.

Между тем, еще до приезда Поцея в Краков, король, узнавши, что все епископы подписали письмо к папе, издал универсал от 31 июля, извещающий о правах и преимуществах русских иерархов; кроме подтверждения старых прав в нем предоставлялось русскому духовенству пользоваться такими же знаками уважения, какие составляли отличие римско-католического духовенства в Речи Посполитой; учреждались при владыках капитулы, подобно как они находились при римско-католических епископах, запрещалось всем светским властям вмешиваться в церковные суды и церковное управление и повелевалось светским властям оказывать епископам всякое содействие по их востребованию. Король был уверен, что после подписи епископов дело слажено. Но когда Поцей и Терлецкий явились к королю и известили его, что Острожский слышать не хочет об унии иначе как при посредстве собора, и притом такого собора, где бы на-

равне с духовными имели голоса и светские, то Сигизмунд пришел в раздумье. С одной стороны, дозволить делу совершаться без собора — значило раздражить Острожского, а за ним и все южнорусское дворянство, на которое Острожский имел громадное влияние: подан был бы чрез то повод к ропоту на стеснение прав свободы убеждений, которыми еще так дорожило все шляхетское сословие; это могло бы поставить против унии не одних православных, но и все вообще шляхетство, даже горячих католиков, потому что и те были столько же католики, сколько свободные граждане польской Речи Посполитой. С другой стороны, дозволить собраться собору — значило дозволить светским обсуждать дело унии, а это значило подвергнуть дело это неизбежному разрыву: тогда начались бы нескончаемые толки; они бы отдаляли только возможность окончания; надобно было ожидать, что Острожский потребует, чтобы прежде сношений с папой снестись с восточными патриархами и с московским, а это могло бы пробудить усыпленные временем недоумения; к церковным вопросам примешались бы и политические, и вместо соединения произошли бы новые раздоры.

Таким образом, хоть так, хоть иначе, а Сигизмунду в обоих случаях было опасно; приходилось ему отложить дело еще на неопределенное время и оставить вопрос в таком положении, в каком он находился до тех пор.

Но Острожский сам дал повод Сигизмунду выйти из затруднения. Готовясь к созванию собора, Острожский отправил своего дворянина Лушковского в Торн на протестантский собор пригласить диссидентов к совместному противодействию католичеству. Послание, которое повез от князя Лушковский, написано в духе чрезвычайно благосклонном к протестантству и чрезвычайно враждебном к католичеству. Православный князь выразился так: "Все признающие Отца, Сына и Св. Духа, люди одной веры. Если б у людей было больше терпимости друг к другу, если б люди с уважением смотрели, как их собратия славят Бога каждый по своей совести, то меньше было бы сект и толков на свете!"

Он призывал диссидентов к общению с православными во имя свободы убеждений и совести. "Мы должны сойтись со всеми, кто только отдаляется от римлян и сочувствует нашим страданиям; идет дело о том, чтобы защищаться всем христианским исповеданиям против римских папежников, назвавших себя неправильно похищенным у нас титулом *католиков*".

Острожский даже не пренебрегал указывать в случае нужды и на возможность действовать оружием. "Если мы будем дружно сопротивляться и упираться, — писал он, — то его королевское величество не захочет допустить нападать на нас, потому что у нас самих может явиться двадцать и, по меньшей мере,

пятнадцать тысяч вооруженных людей, а я не думаю, чтобы гг. папежники могли выставить столько же; если они могут превзойти нас в числе, то разве множеством кухарок, которых ксендзы держат у себя вместо жен. С нами сойдется много дворян из литовских, перемышльских, львовских, киевских, польских, белорусских земель; везде братья наши пришли в большую тревогу: идет теперь дело не об имениях, не о делах, а о душах и о вечном спасении. Из мастерских и цехов люди также явятся".

Князь роптал, что король держит сторону папистов и не расположен к своим подданным других вероисповеданий; в письме к протестантам были такого рода выражения: "Его королевское величество, почтеннейший и благочестивейший государь наш не велит нам составлять с вами конфедераций, говорит: за это нам грех. Напротив, гораздо больше греха не держать присяги; не только христианские, но и неверные государи ее держат, коль скоро произнесут перед Богом. Монарх отвечает за нее жизнью или утратою короны. В Швеции, своем наследственном королевстве, его величество ничего не мог сделать, даром что папский легат венчал его на царство; а в нашей Короне люди более свободны, чем в Швеции... Его величество обязан держать присягу, данную им при своем вступлении на престол".

В то же время Острожский отправил посла своего по имени Грабкович к королю просить дозволения открыть собор. Но случилось, что содержание письма к протестантам сделалось уже известно королю. Предлог был благовидный отделаться от собора. Теперь во всяком случае королю должно было казаться невозможным согласиться на собор, когда светские члены этого собора готовятся явиться туда с вооруженным войском; это значило допустить в государстве междоусобие. Сигизмунд приказал (вероятно, подканцлеру) написать Острожскому, что король очень оскорблен его возмутительным посланием к еретикам, что Острожскому неприлично отзываться так дерзко и оскорбительно о короле и о вере, которую исповедует король. Замечено было, что и намек на кухарок также не понравился королю. Острожскому написали в том же письме, что его величество король сам готовился было собрать собор и уже хотел было дать знать князю о своем желании через пана Каменецкого, но после оскорбительного письма он не допустит этого, тем более что письмо Острожского к еретикам не показывает ни малейшей склонности к соединению вер, напротив, дышит упорством в отщепенстве. Вместо собора король выдал универсал от 21 сентября ко всему русскому духовенству и народу. Он был писан, как в нем и объяснено, для того чтобы те, которые желают соединения церквей, радовались вместе с королем, а те, которые не выразили еще такого желания, дополнили бы радость короля, последовав примеру своих пастырей. Извещая о поездке иерархов

в Рим, король напомнил, чтобы никто не объяснял этого в дурную сторону и не затруднял бы дела неправильными толкованиями. Но митрополит первый толковал неправильно это дело. Он по-прежнему не решался еще высказаться в истинном виде; напротив, когда уже повсеместно знали, что он отступник, явилось его универсальное послание от 1 сентября, где он ропщет, что на него возводят клевету: будто он намеревается вводить какие-то небывалые обычаи в русскую церковь, — а он на самом деле об этом не помышляет и ни за что не хочет пренебрегать патриаршим рукоположением. Спустя месяц после того Рагоза писал Острожскому, что хоть епископы и уехали в Рим, но он их от этого удерживал и уговаривал не предпринимать ничего без согласия со светскими.

II

БУНТЫ КОСИНСКОГО И НАЛИВАЙКА

Между тем, когда православное шляхетство с сильным запасом внутренней слабости собиралось оказать противодействие католическому и королевскому произволу, в Южной Руси все более и более разверзалась под самим шляхетством пропасть, которая грозила со временем поглотить его. Казацкие своевольства делались чаще и шире. Надобно заметить, что произвол вообще в Польше начинал господствовать, когда после прекращения дома Ягеллонов утвердилось в Польше избирательное правление. С тех пор Польша начала расползаться. Явились вмешательства иноземных держав; при избрании нового короля иноземные послы старались, чтобы поляки выбрали короля из того дома, которого они были представителями, или, по крайней мере, домогались вытребовать от Польши выгод для своих государств. Это производило между панами партии; распри стали неизбежны в каждое бескоролевье. В описываемое время Польша пережила уже три бескоролевья, и партии под руководством важнейших панов становились друг против друга вооруженною силою. Времена бескоролевья давали возможность разнуздаться всяким страстям, всякому удалому порыву. Когда сменялись обычные суды, тогда все приходило в движение, вопросы волновали край, собирались *копы* то одна, то другая, иногда поддерживали такую безурядицу в стране, выходившей из обычной колеи, в продолжение нескольких месяцев, приучали широкую свободу превращаться в своеволие: "можновладство" брало силу, стремилось к господству; шляхетство, хотя по правам равное с князьями и знатными панами, на деле падало в зависимость от них; толпы шляхтичей проживали по дворам знатных панов и служили им в надворных командах; паны жили между собой

несогласно, и кто только из них чувствовал за собой силу, тот порывался показать ее при первом случае. Поссорится пан с паном, собирает свою команду из шляхты и людей, делает наезд на имение соперника, грабит, увозит драгоценности, угоняет скот; нередко достается крестьянам, живущим в имении пана-соперника; своевольная команда, делая набег, не спускает молодицам и девчатам, иногда сожигает села; "паны скублись, а у людей чубы болили", говорит поговорка об этом старом времени.

Шляхетство сходилось с можновладством, иногда и косилось на него. Но против знатного панства и шляхетства равно становилось враждебно казачество со своим товарищественным устройством, со своим равенством и со своим несочувствием к писанным постановлениям и актам, не признающее никаких прав, кроме вольной рады (старого веча), словом, с воскресшими и преобразившимися в иных формах, но в прежнем духе, вечевыми признаками старинной Руси — казачество грозило охватить своими началами всю Южную Русь. Его ядро продолжало находиться на Запорожье, но население Запорожья поддерживалось и увеличивалось побегами. Ограничение в Украйне казачества реестрами не достигалось; кроме реестровых было повсюду множество называвших себя казаками. Это поддерживали сами паны-можновладцы, потому что держали у себя вооруженные толпы тоже под названием казаков. Тогда кроме запорожцев было три рода казаков: панские, реестровые (под начальством гетмана запорожского, имевшего официальную власть и над Запорожьем, которое, однако, слушало его только до тех пор, пока хотело) и, наконец, нереестровые — вольные, нигде не записанные, те, что в Московском государстве, где одновременно с Польшею и Литвою также возрастало казачество, назывались часто воровскими казаками, люди, в Польше преследуемые ревнителями порядка под именем своевольных людей: они наполняли и приднепровские степи, и Запорожье, и по Украйне бродили вольными "купами". Шляхетство, хотя по сословному духу противное казачеству, поодиночно сближалось с ним: в толпы казацкие бежали шляхтичи, коль скоро были недовольны жизнью у пана или вообще не уживались в своем шляхетском земстве; и они тогда жертвовали своим происхождением казацкому равенству и братству. Люди политические много раз твердили, что расширение казачества опасно и для внешней безопасности, и для внутреннего спокойствия. Казаки нападали на турецкие пределы и, ведя беспрерывные драки с крымцами, которые считались данниками Турции, возбуждали притязания со стороны Турции против Польши. Во время бескоролевья пред избранием Сигизмунда III среди распрей панов, готовых вступить один с другим в междоусобное сражение, принесли на сейм

известие, что казаки самовольно взяли Очаков и разорили Козлов; Турция ропщет, жалуется на Польшу и грозит войною.

В сентябре 1589 года ворвались в Южную Русь полчища татарские, передовые полки турецкой завоевательной силы; их вел и указывал им дорогу поляк, шляхтич Белецкий; при Стефане Батории он уехал в Турцию и там ему по душе пришлось мусульманство, но тем не менее он все-таки хотел оставаться поляком и вернулся на родину в надежде, что свобода убеждений и совести дозволит ему почитать Мухамеда посреди христиан. Действительно, Стефан Баторий поступил с ним сообразно польскому свободомыслию. Король даже счел, что он будет полезный человек для государства, ибо знает по-турецки и по-татарски, соединен с мусульманами верою и обычаями и может с успехом быть употреблен в сношениях с Востоком. Король не только дозволил ему жить во владениях Речи Посполитой, но дал ему имение на Подоле. Однако явление это чересчур было исключительным; паны не потерпели, чтобы отщепенец от Христа (что было тогда несказанным злодеянием) жил между ними — и прогнали его. Белецкий ушел к своим единоверцам и теперь вел их на свое отечество. Сигизмунда не было тогда в Польше; он уехал в Ревель для свидания с отцом, шведским королем. Татары пустились опустошать Червоную Русь. Их нашествие было стремительно и неожиданно, так что шляхта и не успела собраться с духом, с силами, чтобы отразить врагов. Кварцяное войско стояло по квартирам в разных местах и собралось не прежде как тогда, когда татары уже порядочно разорили русский край. Сверх того, воеводы киевский и брацлавский, собравшись каждый со своим ополчением, ссорились между собою и не хотели соединиться вместе. Передовой отряд польского войска сразился с неприятелем под Баворовым, был разбит; много было взято пленных и в их числе были люди знатной породы. Особое перед другими счастье послужило тогда одному из них, пану Корыцинскому. Белецкий знал его прежде и по старой памяти выпустил.

Казаки расправились с татарами удачнее шляхты. Когда вслед за баворовской победой татары шли, раздробившись загонами, казаки один загон разбили в прах. Но едва они успели покончить с этим загоном, как на них нахлынула многочисленная орда. Казаки увидели, что нельзя справиться с неприятелем в поле; по своему обыкновению сейчас образовали укрепление из запряженных возов, связанных вместе, принялись стрелять, отбили приступы татар, которые потеряли в битве с ними много людей. Но это были только цветики. Услыхали поляки, что вслед за тем переправляется через Дунай сильное турецкое войско под начальством беглербега. Тогда Замойский (гетман и канцлер) отправился во Львов, поспешно приказал укреплять

город, собирал и побуждал к вооружению панов русского воеводства, отправил гонцов в другие воеводства с убеждениями вооружаться и поспешить на помощь в русское воеводство, а католического львовского епископа Соликовского послал к архиепископу гнезненскому в Великую Польшу просить собрать тамошнее дворянство на конвокацию и уставить особый денежный сбор на составление войска, наконец, отправил к королю посланца и просил поскорее воротиться в Польшу. В письме к королю Замойский описывал плачевное положение Русской земли. Между тем к Замойскому прибыл Юрий Мнишек, воевода сандомирский. За Мнишком пришли его родные, Стадницкие; прибегала шляхта из русского воеводства. В Каменец послал Замойский гарнизон под начальством Язловецкого. Собравши несколько войска, Замойский пустил вести, будто у него войска чрезвычайное множество. Эти вести должны были по его распоряжению дойти до турок: в то же время Замойский отправил к беглербегу предложение приостановить военные действия, пока от короля и Речи Посполитой не прибудет посол для заключения мирного договора; и так как главный повод к вражде со стороны Турции были казацкие набеги, то Замойский тогда же послал обещание, что Речь Посполитая будет удерживать казаков от походов на Черное море. Беглербег, обманутый слухом об огромности польского войска, не пошел далее и приостановился. Нужно было поскорее воротить в Польшу короля, но с королем не скоро сладили. Отец не пускал его из Ревеля, как ни просили поляки. Отец хотел при своей жизни венчать сына на царство в Швеции, чтобы обеспечить за ним шведский престол. Поляки догадывались, что Сигизмунд — иностранец для Польши и подобно Генриху французскому чувствует, как тяжело ладить с вольными привычками поляков, а поэтому хочет улизнуть от престола. В самом деле, не привыкшему еще к польскому строю, недавно избранному королю шведского происхождения было душно в новой атмосфере; он рассчитывал, что гораздо лучше обеспечить себе корону отцов своих, чем бояться потерять ее и остаться в таком государстве, где королевская воля чересчур была ограничена. Сигизмунд и тогда, как несколько лет потом, думал уступить польскую корону австрийскому дому за выгодные условия для Швеции. В это пребывание его в Ревеле сенаторы, убеждая его воротиться, грозили, что иначе поляки приступят к новому выбору и, по всем вероятиям, выберут московского государя, а тогда соединение Московии с Польшею будет небезопасно для Швеции. Отнимется у ней не только Эстония, но и Финляндия. Сигизмунд и после этих представлений не хотел было возвращаться, ссылаясь на волю родителя, который хотел непременно взять его с собою в Швецию; он сдался только тогда, когда шведские сенаторы рассудили, что в са-

мом деле плохо будет для их отечества, если поляки выберут в короли московского государя, и решились просить своего короля отпустить сына в Польшу. Как мало избранному королю в то время ложились на сердце опасности его нового королевства, доказывает лучше всего, что он, получив весть о татарах не в Ревеле, а еще на дороге в Ревель — в Вильне, не только не воротился назад, как бы требовалось от польского короля, но еще не стыдился просить денег на свое путешествие в Ревель. По возвращении Сигизмунда тотчас отправили в Константинополь послом Уханского. Сломав себе ногу на дороге, этот посол не мог ехать скоро и пролежал больной во Львове; только 22 ноября доехал он до Силистрии и там виделся с беглербегом. Турки и татары не останавливали военных действий, хотя не решались идти на Замойского; они сожгли и разорили Снятин, напавши на него во время торга. Сам беглербег не был заклятый враг поляков и в разговоре с Уханским выразился, что главная причина несогласия одни казаки; пусть только Речь Посполитая укротит их, не допустит более делать морских набегов, тогда твердый мир последует. Больной Уханский продолжал через силу следовать в Константинополь и как только приехал туда, тотчас и умер, 1 декабря. Оставшиеся его товарищи, Чижовский, Лащ и Мышковский, не имели от своего правительства полномочия продолжать посольство. Визирем был тогда Синанпаша, фанатический враг христианства вообще, а на Польшу за казаков был зол особенно. Он объявил им такой приговор: "Выберите одного из вас и пошлите в Польшу; пусть что-нибудь одно выбирают поляки, либо через сорок дней пригонят нам сто коней, навьюченных серебром, и будут давать каждый год такую же дань, либо все пусть примут мусульманскую веру. А если не будет ни того, ни другого, так мы вас сотрем и землю вашу пустою сделаем; уже мы примирились с персами и государь их послал нашему в залог своего племянника; испанцы умоляют нас о мире; немецкий цесарь платит нам дань и теперь должен заплатить за три года разом все, что не уплатил прежде. Такова наша вера, чтобы все псы гяуры либо нам дань платили, либо нашей веры были! Ты, Чижовский, ступай в Польшу: ты не жирен; тебе легко скоро туда съездить!" Послы вздумали было сослаться на прежний мирный договор и просили послать от имени падишаха к королю и Речи Посполитой Чауша, но визирь свирепо закричал: "Вы, псы, нарушили договор; теперь либо дань платите, либо все в нашу веру поступайте". Поляки просили, чтобы им дали более продолжительный срок, сначала просили год, потом полгода; но им объявлено от имени государя: "Нет вам иного срока, только сорок дней. Есть ли у вас ум? Кто может со мной бороться? Персы меня боятся, венециане трепещут, испанец умоляет о пощаде, немец должен дать все,

что я прикажу. Я на вас пошлю все татарские орды, молдаван, волохов, пашу будинского, темешварского, беглербега из Силистрии с двумястами тысяч войска. Сам пойду с войском, с тремястами тысяч. А вы еще думаете мне сопротивляться! Свет трепещет предо мною!" Опечатали имущество поляков, самих окружили стражею, и когда они осмелились сделать представление против такого нарушения посольского права, то им сказали: не противьтесь, иначе половина вас повиснет на крюке, а половина будет работать на галерах!

Чижовский был отпущен вперед и прискакал в Польшу в начале 1590 года, когда там начался сейм.

Сообщенное Чижовским донесение сделало ужасный переполох во всей Речи Посполитой. Постановили собрать поголовную подать со всех жителей Речи Посполитой, начиная от важнейших лиц — примаса, гетмана, воевод, до последнего хлопа, соразмерно состоянию и средствам каждого, так что высшая сумма приходилась на примаса — 600 злотых, на гетмана и воевод — по сто злотых, и кончая одним грошем с бедных женщин и детей. Сколько с кого надлежало взять, было расписано на сейме без местной оценки имуществ. Тогда же постановлено было собрать посполитое рушенье со всех воеводств. Казаки в числе двадцати тысяч были подняты на ноги. Так как для содержания этих сил недоставало ни поголовной подати, ни обычных поборов, то постановили еще сделать заем. А между тем, желая испробовать еще раз счастья, послали секретаря королевского, Замойского, родственника канцлера, в Турцию с предложением мира.

Замойскому в Турции помогло, во-первых, то, что ненавистник поляков Синан-паша был лишен визирства и на его место поставлен Фергет-паша, который был согласнее на примирение, и, во-вторых, то, что случился тогда в Константинополе английский посланник, который сходился с турецким двором по поводу взаимной вражды — как Англии, так и Турции — к Испании. Этот посол уладил дело между визирем и Замойским. Постановили по-прежнему быть миру между Польшей и Турцией; Польша должна была заплатить сто сороков соболей за вред, который нанесли Оттоманской Порте казаки своими набегами. Таким образом отделались поляки от тучи, собиравшейся над их отечеством. Она тем казалась грознее, что поголовная подать и посполитое рушенье еще прежде войны производили всеобщее неудовольствие.

После такой передряги естественно было принять более строгие меры к укрощению казаков. В 1590 году правительство принуждено было построить на Днепре город и поместить в нем вооруженный гарнизон для того чтобы прерывать сообщение Украйны с Запорожьем, чтобы, с одной стороны, украинские беглецы не увеличивали запорожской вольницы, нападавшей

беспрестанно на турецкие пределы и подававшей повод к недоразумениям и вражде с Турцией; с другой стороны, чтобы из низовых степей не делали набегов на южнорусские земли, находившиеся во власти шляхетства. Начальником над этим гарнизоном поставлен был Николай из Бучача Язловецкий, староста снятинский; набрать гарнизон следовало из жителей разных держав (владений), находящихся при Днепре; соседи обязаны были давать этому гарнизону содержание по четверику муки с каждого двора.

Вообще о казацком устройстве состоялось на сейме такое строгое постановление. Казаки ограничиваются шеститысячным числом реестровых и находятся в зависимости от коронного гетмана. Их начальники и сотники должны быть непременно из шляхты. Без позволения гетмана они не смеют переходить через границы королевства ни водою, ни землею, не должны принимать в свое товарищество никого без воли своею старшого, а их старшой без воли коронного гетмана, а если б казак оставил службу, то другой на его место может поступать только тогда, когда старшой сообщит об этой перемене коронного гетмана, у которого должен находиться письменный реестр всех казаков. Не следует принимать в казаки ни в каком случае людей осужденных и к смерти приговоренных. Казаки не должны быть допускаемы в местечки иначе как с позволения старшого или сотника и притом с письменным от него свидетельством. Чтобы преградить путь своевольным людям наполнять казацкие ряды и составлять шайки постановлено, чтобы старосты и державцы (т. е. князья и паны в своих родовых имениях) имели урядников, которых бы должность состояла в том, чтобы не допускать никого из городов и местечек и сел на низ и за границу, и если кто убежит и возвратится с добычею, у того добычу отнимать, а самого бродягу казнить; следует им наблюдать, чтобы никто из казаков никому не продавал пороха, селитры, оружия и живности без позволения старшого, а добычи отнюдь. Непослушные и нестарательные урядники подвергаются наказанию наравне с своевольниками; также и владельцы, если бы против воли гетманской ходили в поле с войском, делали набеги на соседние земли и нарушали мир с соседями, подвергаются наказанию. Сейм учреждал дозорцев, двух числом, которые каждый в своем участке должны наблюдать, чтобы не начиналось какого-либо своевольства, о низовых казаках доносить гетману, а о тех, которые жительствуют в панских владениях, уведомлять владельцев, и паны без всяких проволочек должны карать смертью как своих подданных, так и безземельную шляхту, состоящую у них на службе.

Эти меры не укротили казачества, а только раздражили и тем самым расширяли его. Казаки после того вздумали было идти на Молдавию. Нашелся какой-то самозванец, который назывался сыном бывшего господаря Ивонии; толпы казаков го-

товы были вести его на воеводство. Но Язловецкий стал с ними переговариваться и убедил выдать самозванца. Выданный казаками, он был послан в заточенье в Мальборк (Мариенбург). Тем не менее никогда до того времени не выказывали казаки своей противности королевству и дворянству в такой степени, как это случилось после сурового сеймового постановления. Лишение казаков возможности вырываться вне государства обратило их удаль внутрь этого самого государства. Казаки, во-первых, были военное общество, а во-вторых, всегда, когда им представлялась возможность воевать, вольница наполняла ряды казацкие. Казачество расширялось прежде и было занято внешней войною, но коль скоро дорога к внешней войне была пресечена, то это вольное общество, естественно ища свободы своей деятельности, стало расширяться внутрь, стремилось захватить для себя возможно более поля в королевстве и сломить противоположные себе начала шляхетского строя. Казачество ударилось на шляхетство и панство, на государственно-аристократический строй Польши, потому что эти начала ему мешали жить, так как оно им мешало жить своим ростом. Еще недавно умный и проницательный Стефан Баторий предсказывал, что из этих юнаков казаков будет самобытная речь посполитая. Теперь они именно к этому и стали выказывать стремление.

В 1593 г. явился у казаков гетманом Криштоф Косинский. Родом он был шляхтич русской веры из Подлясья. Как он попал в казачество — мы не знаем; ровно неизвестно, какого рода казаками он первоначально начальствовал. Он кликнул клич, и к нему обратилась разнородная вольница Украины. Явилось много предводителей шаек и признало его предводителем. Как бы его ополчение ни составилось — оно считало себя и называлось казацким. Восстание распространилось разом по трем воеводствам южнорусским: киевскому, брацлавскому. Старосты в киевском воеводстве послали против своевольных казаков отряд, но казаки разбили его. Казаки нападали на панские и шляхетские дворы. Вместе с золотом и серебром они забирали непременно пергаменные документы дворян и истребляли их; казаки всегда были враги всякого писаного закона, всякого исторического и родового права. На то у них вольность, равенство, общий приговор; они ненавидели то, что поддерживалось привилегиями,— происхождение и право дворянской власти над людьми. В панских имениях и староствах рабы, почуяв, что можно сбросить с себя ярмо, помогали казакам нападать на панов.

В начале 1592 г. король, слыша, что восстание охватило всю Русь, выдал универсал, которым назначил особых комиссаров для розыска причин: откуда истекают эти страшные своевольства, какие люди волнуют народ; урядники городские и земские должны были помогать сыщикам доставлять сведения о беспокойных людях и самих их предавать суду, а отсутствующих за-

писывать и преследовать после. Эта комиссия ничего не сделала. Косинский в тот же год овладел Киевом, потом Белою Церковью: там укрепления были в небрежении. Острожский, на попечении которого лежала эта обязанность, оправдывался тем, что доходы для поправки были недостаточны. Замечательно, что в долгое воеводство Острожского крепость киевская постоянно находилась в небрежении, и еще давно Сигизмунд Август укорял его за это. В Киеве Косинский взял порох и все огнестрельное оружие, какое там было приготовлено. За Киевом и Белою Церковью покорились Косинскому другие городки. После занятия украинских городов Косинский стал выказывать умысел отторжения Руси от Польши. Казаки не только разоряли панские дворы, но брали и королевские замки и города и принуждали к присяге на свое имя; противников убивали и мучили. Шляхта воеводства волынского, собравшись в Луцке и Владимире в январе 1593 года, постановила: ввиду угрожающей не только им, но всей Речи Посполитой опасности прекратить все свои тяжбы и споры и ополчиться. Король оповещал всем вообще лицам шляхетского сословия воеводств киевского, брацлавского и волынского, чтобы все шли на сбор под Константинов для укрощения своевольства. В королевском универсале говорилось, что Косинский не только грабит и убивает, — всего важнее, он принуждает к присяге и послушанию себе людей шляхетского и мещанского звания, ополчается, таким образом, на достоинство короля и на всеобщее спокойствие государства. Дворяне спешили защищать и свои маетности, и свои шляхетские преимущества. Сам Косинский с пятью тысячами вторгся в имения Острожского и опустошил их. Старик Острожский соединил под Константиновым прибывшую к нему шляхту, поручил идти на Косинского сыну своему Янушу. Историк Лубенский говорит, что у Януша была толпа мужиков и, сверх того, только шестьсот человек отборного войска — конных копейщиков, или гусар. У них на Волыни произошло несколько стычек с казаками; одолевали казаки. Теперь Косинский осаждал город Пяток и там напал на него Януш Острожский. Сначала и на этот раз повезло было Косинскому: казаки разогнали острожан, но Януш двинул на них своих копейщиков на крепких конях, с длинными копьями. Они врезались в казацкие ряды и смешали их. Был тогда глубокий снег; казацкие кони были слабее шляхетских. Казаки не могли скоро бежать; их разбили. Говорят, что погибло их около 3000 и взяли у них двадцать пушек. Потом казаки предложили мир. Острожский объявил, что им дарует мир, но они должны сменить Косинского с гетманства. Составлен был договор. По этому договору казаки принесли повинную князю Острожскому, сознавали, что он всегда был благосклонен к их войску, а они, забывши эти благодеяния, наделали ему много

зла и неприятностей, обязывались сменить Косинского и в продолжение четырех недель поставить нового предводителя, не делать более разорений в державах и маетностях князей Острожских, в имении князя Александра Вишневецкого и других панов, находившихся в ополчении Острожских, выдавать беглых слуг этих панов, возвратить вещи, взятые в их имениях, также возвратить орудия, забранные в замках, кроме Триполья, отпустить от себя челядь обоего пола, которая находилась у казаков, и пребывать в милости у этих панов. В исполнении этих условий присягнул Косинский 10 марта. Достойно замечания, что волынские паны, победившие его, постановили мирный договор с казаками только по отношению к себе, то есть к тем лицам, которые против казаков находились в битве, а не обязывали казаков воздерживаться от неприязненных поступков с другими панами. Следовательно, паны смотрели на ссору с казаками не так, как король, не так, как на государственное дело, а как на домашнюю распрю. Вероятно, проигрыш казаков не был очень велик, и они мирились с панами, чувствуя еще свою силу; иначе Косинского бы не выпустили живым.

Косинский, возвратившись в Украину, не хотел, по условию, отречься от начальства и замышлял снова набеги, думал проучить тех, которые подавали Острожскому помощь, и злился особенно на старосту черкасского Вишневецкого. Но Вишневецкого предупредили впору. Косинский вошел в Черкассы с четырьмястами, а по другим известиям, с тремястамипятидесятью человеками своих единомышленников; он думал овладеть Черкассами и ожидал, что к нему прибудет больше казаков. Но люди Вишневецкого убили его пьяного в том доме, куда он пристал. Весь отряд его перебили. Восстание Косинского повлекло новые стеснительные меры со стороны правительства. Сеймовою конституциею было объявлено, что те люди, которые осмелятся собираться самовольно в купы, чтобы делать наезды на чужие государства или производить бесчинства внутри своего королевства, считаются заранее врагами отечества; кварцяное войско может без особого предписания или судебного приговора укрощать их оружием, а старосты и державцы (вотчинники) имеют право громить и уничтожать их в видах охранения своих маетностей и не отвечают отнюдь за убитых. Сверх того, было поставлено, что всякий, поймавший беглого слугу или холопа, имел право оковать его и приневолить к своей работе, с тем чтобы когда пан этого беглого потребует, то передержчик обязан возвратить, получив от пана 12 грошей. Эти постановления давали чересчур широкие поводы ко всевозможнейшему произволу и не только не могли прекращать своевольств, но умножали их. Одни наполняли ряды казаков сверх реестра; другие скрывались в днепровских пустынях, готовые на первый клич мятежа явиться в Украине; третьи составляли своевольные шайки в Украине.

На Угрию напали турки. Император Рудольф, чтобы отвлечь силы своих неприятелей, подослал к казакам возбуждать их напасть на турецкие владения. Агентом императора в этом случае был некто Хлопицкий; прежде он служил у короля Стефана Батория коморником, потом перешел к запорожцам, сделался у них полковником; и неизвестно, по желанию ли запорожского коша или по собственному побуждению, отправился к императору Рудольфу, представил ему об охоте казаков служить императору, а потом от имени императора привез в Сечь знамя, цесарскую грамоту и деньги 8000 червонцев.

Казацкий гетман Григорий Лобода повел казаков на Дунай и разорил Джурджево, где происходила большая ярмарка, знаменитая в оное время на юго-востоке Европы. Казацкие загоны рассеялись по окрестностям и разоряли селения. Уловка Рудольфа клонилась к тому, чтобы запутать Польшу волею-неволею в войну с Турциею, в союз с империею. По этому поводу он отправил посольство к Речи Посполитой и просил не пропускать татар чрез польские владения в Угрию и предлагал союз против Турции. В то же время прибыл и турецкий чауш, просил пропустить татар через земли Речи Посполитой, жаловался на казаков и требовал не допускать их делать вред турецким областям. Тогда еще король не воротился из Швеции, куда уехал по смерти отца. Примас и сенаторы воспользовались предлогом, что короля, главы государства, нет в государстве, сказали ни то ни се обоим враждебным между собою посольствам, а императору поставили на вид, что Речь Посполитая очень недовольна за то, что он поднимает казаков против Турции и хочет против собственной воли Польши втянуть ее в войну; Польша вовсе не хочет нарушить мира с Турциею и мешаться в чужие распри; что касается до пропуска татар, то Польша по той же причине не позволит им проходить, тем более что они стали бы разорять ее собственные области.

Чаушу дали ответ самый миролюбивый, уверяли, что Польша желает сохранить навсегда соседственное дружество с Оттоманской империей, но отклоняли требование пропускать татар; о казаках сказали, что правительство прикажет пограничным старостам надзирать над спокойствием края и не пропускать казаков в турецкие владения; но это народ своевольный: трудно за него поручиться. При этом поляки заметили, что татары делали нападения и опустошения в землях Речи Посполитой: этим хотели показать, что если турки имеют право жаловаться на своевольство Лободы, то Польша могла роптать на своевольства татар, и, таким образом, взаимные равные притязания уничтожают взаимно одно другое. Но этим не удовольствовались мусульмане. Синан-паша, бывший визирь, повел войско в Угрию, разбил эрцгерцога Маттиаса на переправе через Дунай, взял

Яворин, потом Паппу и в конце октября осадил Коморну. Загоны татарские опустошали край до Вейскирхена близко Вены; на жителей Австрии, Моравии, Чехии напал такой страх, что думали — приходит всем конец. В это лето татары вошли в Волощину: казаки было погнались за ними, да не догнали. Из Волощины татары ворвались в польские владения в Покутье, взяли Снятин, Жуков, Тлумач, Цецибисы, Тисьменицу. Галицкий замок защитил воевода бельзский, Влодек. Татарские загоны сожигали села, убивали тех, кого не хотели брать, и брали в неволю женщин и девушек. Ту девицу ведут привязавши к коню, другую привязавши к возу (живописует такой набег народная песня). Та плачет и кричит: Боже мой, коса моя, коса моя желтенькая! не матушка тебя расчесывает — татарин бичом растрепывает! Другая плачет и кричит: Боже мой, ножки мои! не матушка их моет: песок пальцы разъедает, кровь пучки обливает!

Паны были виноваты в этом неожиданном несчастии. Замойский предостерегал всех; можно было ожидать, что не простят неверные похода Лободы; а на границе не было поставлено войска, не взято мер к обороне. Замойский выступил против татар тогда, когда они уже успели наделать бед в Червоной Руси. К Замойскому присоединились брацлавский воевода Януш Збаражский, сандомирский воевода Юрий Мнишек со своими ополчениями. Татары взяли Калюжу и Долину и приблизились к Самбору, владению Мнишка. Поляки остановились под Самбором; Замойский велел окопаться и намеревался здесь удерживать татар и отбиваться от них, пока не подойдет войско под начальством польного гетмана Станислава Жолкевского. Татары наткнулись на поляков и также окопались, но только для того чтобы обмануть поляков; они довольно уже ограбили польские владения, через которые проходили только мимоходом, не хотели вступить в сражение и думали, как бы уйти из польских владений. Цель их была Угрия. Они натыкали значков по окопам, побросали хромых лошадей в окопах: полякам могло показаться, что окопы остаются заняты, а сами татары тихо ушли к угорской границе. Поляки целые сутки не узнали, что врагов нет, а узнавши, что их нет в окопах, не тотчас проведали, по какому пути они отправились, наконец, осведомились, что татары выбрали путь самый тесный и неудобный, через Бескиды на Густов. Замойский погнался за ними, но не догнал; русские пленники-хлопы прочищали татарскому полчищу дорогу: за это некоторых татары отпустили, а других изрубили в благодарность за труды. Польские войска по следам татар перешли через Бескиды и очутились на Семигородской земле. Замойский, положивши не мешаться в дела Угрии, не счел уместным преследовать татар на чужом поле и воротился.

Это происходило летом 1594 года, а в следующую за летом

осень, как выше было сказано, турки встрясли Угрию: татары, проходившие через польские владения, помогли туркам опустошить Угорский край.

Проводивши от себя татар, поляки вновь должны были ожидать этих гостей. Татарам приходилось ворочаться тем же путем, а потому полякам нужно было принимать меры, чтобы их побить на повороте. Мир с Турциею был нарушен. Польша хоть и не вступила с императором в союз, как бы хотелось последнему, но все-таки он заставил ее действовать ему в угоду, ибо теперь Польша имела одних с ним врагов. Ожидая, что татары пойдут назад через Червоную Русь, паны южнорусские: Острожские (отец, старик Константин с меньшим сыном Александром, воеводою волынским), князь Збаражский, воевода брацлавский; князь Заславский, воевода подляский, Юрий Мнишек, воевода сандомирский (защищавшие в Южной Руси свои имения) стали у Бескидов, с тем чтобы перерезать татарам путь и наказать их за опустошение Руси. С другой стороны, Язловецкий, которого король в 1590 г. поставил начальником новопостроенного Кременчуга, подал правительству мысль напасть на Крым и сам взялся исполнить ее, а для этого пригласил казаков. Таким образом, когда Замойский готовился поражать татар у подошвы Карпат, Язловецкий собирался их громить в самом их гнезде. Но татары, бывшие в Угрии, не пошли назад через польские владения, а возвратились через Волощину прямо. Замойский с панами, собравшимися к нему, стоял на границе всю осень и часть зимы и воротился уже в конце декабря. Язловецкому еще менее удалось отличиться: казаки пошли было с ним; но они на дороге отстали от Язловецкого и самовольно пошли в Волощину. И на этот раз подстрекательство к ним было, как прежде, от императора Рудольфа. Казаки сожгли Тегинь (Бендеры), не могли, однако, сладить с крепким замком в этом городе, рассеялись загонами по Молдавии, обратили в пепел более пятисот поселений, взяли в полон до четырех тысяч татарского и турецкого населения обоего пола и ворочались домой. Но на переправе молдавский господарь с 7000 своего войска соединился с татарами; на переправе отгромили у казаков всю добычу. "Смотрите же, — кричали молдаванам казаки, — мы сделаем вам пакость; даем вам рыцарское слово и сдержим его!" Они соединились с самим гетманом Лободою, снова ворвались в Молдавию, догнали молдавского господаря и сдержали свое рыцарское слово: разбили его и потом воротились в Русь. Язловецкий после отхода от него казаков не мог продолжать своего предприятия. Он воротился, и ему было очень стыдно и досадно после того как он так самонадеянно собирался в поход; и эта неудача так его потрясла, что он скоро умер от скорби.

Полчище казаков после молдавского похода стало в Брацлавщине. То было осенью 1594 года. Начальствовал им Северин Наливайко. Он был предводителем вольницы, а не реестровых казаков, но был в ладах с Лободою, гетманом реестровых, как показывает их совместный поход в Молдавию. По современным известиям, родной брат его Дамиан был попом в Остроге; с ним жила мать его, сестра и брат. Служа у князя Острожского, он воевал против Косинского и бывших с ним казаков. Но после смерти последнего помирился с запорожцами, отдавши им на мировую целый табун отбитых им у татар лошадей. У него уже была заклятая ненависть к панам, возбужденная семейным делом. У отца его был грунт (поземельное владение). Пан Калиновский в Гусятине отнял имение Наливайкова отца и самого хозяина так отколотил по ребрам, что тот умер от побоев. Наливайко, ожесточенный против панского произвола, задумал продолжать дело Косинского и поднять восстание против шляхетского строя Польши. Мещане брацлавские сочувствовали ему и впустили казаков в город. Казаки стали собирать стацию, т. е. лошадей для подвод, да волов и коров для пропитания себе. Брацлав был отнят у старосты Струся и передан во власть казацкого гетмана Лободы; от всех окольных владельцев потребовали стацию. Шляхтичи, полагая, что казаков немного, храбрились и через посланного Цурковского такой ответ послали: мы не станем давать стации, чтобы нас не причли к вашим пособникам. Цурковский имел поручение — мещан отвернуть от казаков; но казаки задержали его. Был тогда октябрь месяц. Приходило время отправлять *судовые рочки*: шляхта съезжалась в свой поветовый город для решения тяжеб и для рассуждения вообще о своих делах. Шляхта поэтому была в сборе и должна была ехать в Брацлав. Не дождавшись своего посланца Цурковского, собрание шляхтичей, ехавшее на рочки, двинулось к Брацлаву и остановилось неподалеку ночевать на земле брацлавского хорунжего. Вдруг мещане города Брацлава со своими выборными городовыми чинами — войт, бурмистр, райцы — все, что составляло законное правительство в городе, нападают на дворян, а с мещанами — и Наливайко со своей шайкой; захваченных врасплох бьют, мучат; одного из них до смерти истязали, других ранили, того острием оружия укололи, того дубиной огрели; всех разогнали; имущества их забрали себе.

В эту осень Лобода женился и притом по-казацки. У некоего Оборского жила в доме родственница жены его, сирота. Она приглянулась Лободе, и родственники-воспитатели против ее воли отдали девицу насильно за казацкого гетмана. Не надеялись знавшие близко Лободу никакого счастья из этого брака, да и самое положение казацкого вождя не представляло тогда ничего прочного. После своей женитьбы Лобода отправил-

ся в Волощину. И Наливайковы казаки вышли из Брацлава; одни говорили тогда: пошли они к волохам, другие — к черкесам. "Куда бы они ни ушли, лишь бы от нас подальше были", — писал о них Константин Острожский своему зятю.

Казаки пограбили Волощину и воротились в Украину. Наливайко со своею шайкою отправился в Семигородскую землю. В придунайских краях завязывалась тогда путаница. По наущению Сигизмунда Батория, семигородского князя, сторонника и родственника Габсбургов, молдавский и валахский господари покусились освободиться от вассальной зависимости Турции. Этим союзом руководила Австрия, которой было в то время выгодно и подручно поднять против Турции врагов около себя как можно поболее. Двое союзников послали послов своих на польский сейм 1595 г. Но Замойский неохотно погнался за этим предприятием. Постоянный противник союза с Австрией, Замойский не видел, чтобы силы Речи Посполитой были достаточны для решительной борьбы с оттоманским могуществом. Прежде надобно было устроиться и приготовиться. Но главное, что, по мнению Замойского, тогда нужно было прежде всего сделать, это — укротить казацкие своевольства и лишить казаков возможности нападать на соседей и бесчинствовать в государстве. Замойский не терпел их и при всяком случае твердил о необходимости держать их в строгости. Сеймовые послы также неохотно поддались на убеждения и не согласились наложить на шляхту большие поборы, каких бы потребовало ведение войны. Но во всяком случае, нельзя было оставить дела придунайского княжества без всякого внимания по отношению к Польше. Замыслы румынских господарей должны были произвести перевороты слишком близко к ее границам. Можно было предвидеть, что в неравной борьбе румынов с Турцией победителями останутся турки; Замойский считал опасным, если турки покорят Валахию и Молдавию и уничтожат их автономию.

До сих пор эти два княжества по крайней мере не давали сходиться непосредственным турецким границам с польскими. Молдавия считалась в вассальной зависимости от Польши и, по всей справедливости, не следовало смотреть на ее судьбу равнодушно. Сверх того, если война начнется в придунайских княжествах, то надобно было ожидать, что пойдет туда орда и может снова зацепить пределы Речи Посполитой. Поэтому Замойский счел нужным идти с войском на границу, чтобы не допускать хана. Он приглашал было идти к нему с войском Лободу. Казацкий гетман сначала показывал вид, будто хочет того же. Весною он писал Острожскому, что казаки пойдут заодно с молдавским господарем против врага Христова.

Но когда Замойский потребовал его к коронному войску не для того чтобы тотчас начать войну, а только для того чтобы оберегать границу, то Лобода не захотел. "Так я приказы-

ваю, — сказал Замойский казацким посланцам, — не смейте, казаки, беспокоить Турции. Я вам это запрещаю".

Когда Замойский дошел до молдавской границы, в Молдавии произошел переворот.

У молдавского господаря Аарона был угорский полк, а над ним начальником был Розван; отец его был цыган, мать валашка. Стакавшись с семигорским князем, Розван изменнически схватил Аарона с женою и детьми и отослал к семигорскому князю, себе захватил его богатства, провозгласил господарем Сигизмунда Батория, а сам стал властвовать в Молдавии как его наместник. И семигорский князь, и Розван просили Замойского помогать им против турок. Замойский отказал обоим. Вслед за тем молдавские бояре, не желая повиноваться Розвану и страшась турок, просили Замойского дать им господаря от руки польского короля. Тогда Замойский вошел в Молдавию и по желанию молдавских бояр посадил в Яссах господарем Иеремию Могилу из знатных бояр молдавских.

Был октябрь 1595 г.

Находили татары. Замойский окопался при Пруте, у Цецоры, и приготовился встречать татар боем, если нужно будет. Но когда подошли неприятели, то он предложил турецкому санджаку, бывшему с ханом, войти в переговоры с Польшею за Турцию, отдельно от хана. Турок согласился, и тогда заключен был очень выгодный для Польши договор.

Турки оставляли молдавским господарем того, кого поставил Замойский, и татары должны были выйти из Молдавии. Причиною такого удачного дела было то, что хан с ордою поспешил в Молдавию прежде, чем мог соединиться с турками.

Турки не принялись как следует за это дело, потому что у них в Диване была рознь. Хан с ордою не решался на войну с Замойским в чужой земле; подходила осень, и татары могли лишиться продовольствия; у татар притом было в обычае на зиму уходить в свои жилища. При договоре была речь о казаках. Турки извиняли набеги татар на королевство тем, что на турецкие владения нападают казаки, и требовали укротить их, чтоб не было более поводов к войнам. "Казаки, — отвечал Замойский, — поступают не по королевскому повелению; они люди своевольные, делают много зла и королевским подданным. Король не станет более их терпеть и пошлет на них своих людей".

Замойский воротился зимою в отечество и застал там казацкое возмущение в разгаре. Наливайко возвратился из Семигорья осенью 1595 г. и открыто пошел против Польской короны. Его возмущение принимало уже религиозный оттенок, хотя в слабой степени. То было время, когда владыки собирались ехать в Рим и по Руси распространились слухи о подчинении русской церкви папе; некоторые были за нововведение, другие горячо

восставали; читалось послание Острожского и возбуждалось православное благочестие. Злоба казаков к знатным и богатым привлекала к ним все мелкое и угнетенное — теперь они могли надеяться на большое народное сочувствие, когда прикрывали свои своевольства знаменем веры. Есть вероятие, что сам Острожский если не покровительствовал явно мятежу, то смотрел на него сквозь пальцы, по крайней мере насколько своевольники могли пугать отщепенцев православной веры. Наливайко вступил на Волынь, напал на Луцк и ограбил его так, что впоследствии Сигизмунд по просьбе луцких мещан, в уважение к разорениям, понесенным от казаков, простил им годовую плату чопового.

Луцк был епископский город; здесь были сторонники и слуги епископа Кирилла Терлецкого, и на них особенно обратилась казацкая злоба. И в Луцке, как и в других городах, Наливайко находил себе друзей. Посещение казацкое подняло в городе и в окрестностях дух своеволия. Наливайко зазывал к себе охотников в казаки; составлялись сотни, избирались сотники и атаманы. Кто не хотел потакать казачеству, того грабили. Сам Наливайко отправился на север в Белоруссию. И там восстание находило себе сочувствие; панские слуги и крестьяне сбегались в казацкое полчище.

Наливайко напал на Слуцк так неожиданно, что тогдашний владелец Слуцка, Гиероним Ходкевич, каштелян виленский, не успел принять мер к обороне. Наливайко взял город и замок и наложил на мещан пять тысяч коп литовских в свою пользу. Узнавши о казацком нападении, гетман литовский Криштоф Радзивилл оповестил по литовским поветам, чтобы шляхетство собиралось для изгнания и укрощения мятежников. Наливайко не дождался прибытия шляхетской силы в Слуцке, взял в слуцком замке восемьдесят гаковниц и семьдесят ружей, роздал своим, ушел из Слуцка и напал на Добрушку. За ним гналась пехота литовского гетмана и слуги Ходкевича; несколько казаков, вероятно, отсталых от войска, было убито. Наливайко повернул к Могилеву. Там о казаках уже слышали и приготовились к обороне; казакам дали отпор, да не выдержали: 30 ноября казаки взяли город приступом и много людей перебили. Литовский гетман пошел на Могилев с войском и некоторыми панами, у которых были ополчения, набранные из волостей. Они осадили казаков в Могилеве. По словам самого Наливайка, паны зажгли Могилев, чтобы в нем погубить казаков; по известию Бельского, его зажгли сами могилевские мещане, чтобы не допустить Наливайка защищаться в стенах города и заставить его поскорее убраться в чистое поле. Казаки хотели погасить огонь, но никак не могли.

Наливайко должен был вступить в легкую стычку с передовым отрядом литовского войска; он не дожидался Радзивилла, у которого было тысяч четырнадцать, и поспешно пошел к Во-

лыни. Остановившись в Речице, Наливайко отправил королю письмо, оправдывал себя и представлял дело свое так, как будто казаки, воротившись из Угрии (где они не хотели более помогать семигорскому князю, услышав, что он поставил себя в неприязненное отношение к Замойскому, находившемуся тогда в Молдавии), хотели отдохнуть и поесть хлеба на обычном казакам днепровском пути и прошли через литовские земли, но паны напали на них и хотели погубить. Вместе с тем Наливайко предлагал королю отвести казакам землю для поселения между Бугом и Днестром на шляху татарском и турецком, между Тегинем и Очаковом, на пространстве двадцати миль от Брацлава, где от сотворения мира никто не обитал; пусть-де казаки там построят город и замок и живут себе; затем уже никому не должно, кроме реестровых и запорожцев, называться казаками; а хлопам следует обрезывать за своеволие уши и носы; над поселенными в этой пустыне казаками будет начальствовать гетман, который никак не должен сам ездить по королевству и посылать кого-нибудь от себя собирать стации, но может посылать для покупок за деньги, и то непременно водой, а не сухопутьем. Король пусть дает казакам сукна и деньги; себе Наливайко просил награды, если условия понравятся королю: хотел, чтобы отдавалось ему то, что давалось татарам. Казаки за это обязываются помогать Речи Посполитой против неверных и против князя московского, добывать языки и исправлять караулы на свое иждивение.

Народ повсюду начинал более сочувствовать Наливайку. Даже шляхтичи, недовольные почему-либо окружавшим их порядком вещей, приставали к казакам. Наливайко, возвращаясь из Белоруссии, напал на Пинск, и тут вместе с ним заодно был один из шляхтичей, фамилии Гедройтов.

В Пинске владыка луцкий, отъезжая в Рим, спрятал, через посредство своего брата Яроша, у мещанина Григория Крупы свою собственную ризницу с дорогими принадлежностями епископского служения и два пергаментные документа, которым давал большую важность, — на них были подписи луцких священников и некоторых светских особ. Вероятно, это были приговоры согласия на унию. Казаки наехали на дом Крупы, разграбили его и взяли епископские вещи и документы. Потом Наливайко с флорианом Гедройтом напал на имения брата Кириллова, Яроша, и двор Отовчичи; ограбили панские дворы и забрали золото, серебро, лошадей и также пергаментные листы, из которых некоторые заключали права на разные имения. Казаки и теперь, как всегда, любили особенно похищать письменные *права*, чтобы уничтожать их. "Это, — говорит в своей жалобе Терлецкий, — они мстили брату моему епископу за то, что он в Рим поехал". Казакам помогали пристававшие к ним пинские земяне, и один из них, Кмита, указывал Наливайку путь на дворы Терлецкого.

На Волыни держали сторону мятежников некоторые дворяне; между прочим, князь Януш Вороницкий давал в своем имении Омельнике притон сподвижникам Наливайка; другой сообщник был из значительной в то время фамилии Гулевичей, именем Александр. Как в Пинском повете мстили за возникавшую унию на имениях епископа луцкого, так в Луцком доставалось старосте Александру Семашке, также одному из руководителей унии. Семашко через своих урядников судебным порядком жаловался на атаманов новопоставленных шаек и на брата Наливайка, попа острожского Дамиана, будто они нападали на его имения Коростешин и Тучин, грабили дворы, уводили у людей лошадей, коров, брали платье, обувь, орудия, возы, упряжь, съестное; многих женщин казаки изнасиловали и двенадцати человекам резали уши. До смерти не убивали никого.

Подозрение падало и на самого Острожского. Поп Дамиан жил у него в имении. Служебник урядника тучинского ездил с возным в Острог. Возный показывал, что тогда у попа Дамиана оказались лошади с пятном хозяина — Семашки, захваченные в Тучине, что поп Дамиан начал ему *около губ кивать* и схватился было за кий, а Боровицкий, острожский урядник, сказал им: "уезжайте отсюда, а то беда вам будет". О справедливости этих показаний можно сомневаться; впоследствии были казнены многие преступники, но не видно, чтобы тогда был подвергнут суду поп Дамиан. Острожский в своих письмах к зятю Радзивиллу жаловался, что на него клевещут, будто он потакает мятежникам, и свидетельствовался богом в своей невинности. Он писал: "Говорят, будто я Наливайка в Угрию посылал и Савулу в Белорусь; говорят, что с моего ведома Лобода Украину опустошил... а если кому, то мне более всех эти разбойники допекли! Я поручаю себя Господу Богу! Надеюсь, что Он, спасающий невинных, и меня не забудет!" В самом деле, нет основания утверждать, чтобы старик преклонных лет решился так нагло лгать, употребляя в дело такие средства, тем более что когда мятеж только что вспыхивал, еще в 1594 г., Острожский предостерегал панов насчет украинского "гультайства", жаловался, что своевольники разоряют его маетности, и советовал Речи Посполитой не пренебрегать этим и гасить пожар поскорее, а то он может разгореться впоследствии так, что не утушишь ничем.

В феврале 1596 г., когда на Волыни именем гетмана Лободы составлялись шайки, выбирались атаманы, сам Наливайко остановился в Чернаве близ Остроголя и принимал приходившие к нему отряды, чтобы, увеличив свое войско, решиться на широкое восстание. Но король вызвал уже для укрощения его войско, оставленное Замойским в Молдавии под начальством польского гетмана Жолкевского. Войско это шло поспешно и в конце февраля дошло до Кременца. Отправленный из него передовой от-

ряд в несколько рот 28 февраля напал в селе Мациеовичах, между Острополем и Константиновым, на две сборные сотни, которые, образовавшись, шли к Наливайку: их было там человек пятьсот; атаманами над ними были Марко Дурный и Татаринец. Казаки засели в хатах и во дворах. "Но им, — говорит Острожский в своем письме, — помешала горелка: они выпили ее целую бочку у арендаря". Поляки подложили огонь в селе, и мятежники все до единого погибли. Наливайко, услышавши об этом несчастии, ушел из Чернавы и направился в Острополь.

Жолкевский погнался за ним и дошел до Острополя. Но там уже не было Наливайка. Он ушел в Пиков.

Наступила ночь. Надобно было Жолкевскому дать отдохнуть и людям, и лошадям. Рано до света Жолкевский пустился снова в погоню и дошел до Пикова, но там сказали ему, что Наливайко за два часа перед тем ушел к Прилукам.

Гетман дал отдохнуть людям и лошадям на короткое время и опять погнался. Дошли поляки до Прилук; Наливайка не было в Прилуках.

Поляки пошли далее и недалеко за Прилуками нагнали казаков. Они шли укрепленным табором: у них было до двадцати пушек и много гаковниц; уже вечерело. Казацкий табор остановился на отдых в густой заросли. Тут напали на него поляки; три раза возобновлялась перестрелка, пока стемнело. Тогда прекратили стрельбу.

Гетман провел ночь на месте, а утром увидел, что уже неприятеля не было. Пленники уверяли, что Наливайко ушел к Брацлаву, надеясь, что там все население встанет за него. Гетман пошел туда, но казацкий предводитель вместо пути на Брацлав повернул влево и перешел реку Собь. За нею в те времена была дикая уманская степь.

Может быть, рассчитывая на горячность, с какою преследовал его Жолкевский, Наливайко надеялся, что он и туда за ним погонится; тогда успех был бы на стороне казаков. Польскому войску было бы страшно войти в безлюдную пустыню зимою, без продовольствия; казакам степь была ведома, и они приучены были терпеть такие лишения, на какие неспособно было никакое другое войско; полякам же, изнуренным переходами от деревни до деревни, было бы гибельно начать переходы из яра в яр, из дебри в дебрь. Там бы не убегал Наливайко, а сам принудил бы поляков биться с ним, и Жолкевский со всем войском мог остаться в снегах на поталу зверям. Казаки не знали намерений предводителя; он имел обычай не объявлять никому, что у него на уме, и через то подчиненные верили ему и уважали его.

Однако Жолкевский был не из таких, чтобы можно было его провесть; он не решился следовать за казаками в снежную пустыню, а разместил свое войско в селениях, лежащих на границе

степи, и распустил слух, что скоро выступит, а пока ожидает свежих сил. Войско это до такой степени своевольствовало и бесчинствовало там, где стояло или где только проходило, что Острожский в письме своем говорил, что бедные поселяне страдали от неистовства жолнеров больше, чем от казаков. Сам гетман стоял в Пикове. Казаки стали за Синими Водами в пустыне: лошадей кормили прутьями и прошлогодней травой из-под тающего снега, а сами продовольствовались конским мясом. Наливайко послал гонца к Струсю, старосте брацлавскому, просить, чтобы он помирил казачество с гетманом и правительством. Жолкевский не хотел входить с Наливайком в переговоры, потому что Наливайко пред польским правительством не имел никакого значения старейшины над казацким сословием. Наливайко был только атаман случайно сложившейся толпы. Поэтому Жолкевский, оставив без ответа обращение к себе Наливайка, отправил гонца к Лободе, как признанному верховною властью гетману казацкого войска. Но Лобода был и прежде, и теперь заодно с Наливайком в борьбе с шляхетством; и когда Наливайко работал на Волыни и в Белоруси, Лобода разгонял панов и шляхту из Киевщины, а в то время как Жолкевский гнался за Наливайком, находился в Погребище. Тут застал его гонец от коронного гетмана. Лобода сообщил об этом казацкой раде, а рада присудила отпустить посланца без ответа.

Наливайко завязал сношения со Струсем только для того, чтобы скрыть свое движение, и в то же время со своим войском прошел через степь в украинские селения и дошел до Днепра у Триполья. Поляки не знали долго, где он находится. Лобода, отправивши гонца Жолкевского, также двинулся со своим войском на восток к Киеву.

Услышав о его движении, Жолкевский послал за ним вслед князя Рожинского, только что прибывшего с отрядом в коронное войско. Рожинский стал в Паволочи. У него было до тысячи человек. К нему приставали выгнанные и ограбленные казаками украинские шляхтичи. В Паволочи Рожинский занялся расправою над мятежниками и казнил нескольких атаманов своевольных шаек. Когда весть об этом пришла в табор Лободы, казаки в отмщение послали атамана Шашку с трехтысячным отрядом разорить имения Рожинского. Шашка прибыл в Фастов и отправил триста молодцов в передней стороже узнать о силе неприятеля, вошедшего в казацкую Украину. Рожинский вышел из Паволочи и разбил эту переднюю стражу. Шашка убежал в Киев, — Рожинский подвинулся еще далее, занял Белую Церковь и приглашал Жолкевского поспешить к нему. По расчету Жолкевского надобно было дожидаться весны, чтобы предпринять далекий поход в глубь Украины; надобно было прежде усилить свое войско новыми силами; но когда уже Рожинский

далеко зашел, то и Жолкевский должен был двинуться вперед раньше, чем предполагал.

Когда Шашка принес казакам известие о Рожинском, Наливайко со своим войском поспешил к Белой Церкви; к нему пристал предводитель другой казацкой шайки, Савула, ходивший только что перед тем по Литве.

Вечером 2 апреля подошли казаки к Белой Церкви и заложили свой табор против одной из брам белоцерковских. Рожинский в следующую же ночь намеревался сделать вылазку на казацкий табор. Но белоцерковские мещане держались заодно с казаками, дали знать Наливайку, и ночью, когда поляки вышли из одной брамы на казацкий табор, мещане отворили другую, противоположную браму, и впустили Наливайка. Ночь была тогда темная и бурная. Поляки выходили с зажженными факелами, играли на трубах; офицеры беспрестанно кричали как можно громче, чтобы жолнеры не смешались и не стали бить своих вместо чужих. Для большего всполоха неприятелю Рожинский приказал выпалить залпом из нескольких пушек, и вслед за тем войско его кинулось на казацкий табор. Но в таборе уже не было никого. Савула, который там остался тогда, когда вышел Наливайко, выступил со своим отрядом из табора к реке Рудавке. Поляки, не нашедши никого в таборе, бросились далее, махали саблями и стреляли попусту, вообразив, что враги обратились в бегство, а они за ними гонятся. Савула же со своими казаками пропустил поляков через табор, сделал оборот и вошел снова в свой табор. Тем временем Наливайковы казаки ограбили все помещения поляков в городе, и только двадцать угров охраняли помещение своего капитана Леншени, который начальствовал королевскою пехотою. Покончив свое дело, казаки вышли из Белой Церкви, с тем чтобы напасть на вышедших в поле поляков.

Стало светать. Поляки увидели, что они ошиблись. Табор был занят казаками, выступавшими из города, который они оставили в своем владении. Казаки поляков готовились прижать с двух сторон в тиски. Но Рожинский сбил в тесную кучу свое войско, с отчаянным натиском пробился сквозь казаков и вломился снова в белоцерковский замок. Там он заперся.

Гетман Жолкевский был уже недалеко, верст за двадцать, и спешил на помощь Рожинскому. Наливайко и Савула, из Трилис заслышав о его приближении, двинулись своим табором. Казаки не прошли одной мили, как Жолкевский нагнал их. Здесь произошла битва. Коронное войско понесло урон. Наших — говорит современник — погибло всех до трехсот, а одних товарищей шестьдесят. В одной роте убиты были ротмистр, поручик и хорунжий вместе с одиннадцатью товарищами. Биться перестали, когда уже наступила ночь; пользуясь темнотой, Наливайко ушел к Триполью.

Это, по всем соображениям, есть та самая битва, которая в летописях малорусских ошибочно помещается под Чигирином и в которой казаки считали себя победителями.

Польский историк говорит, что казаки были недовольны Наливайком за эту битву и сменили его, а своим начальником избрали Лободу. Это значит, что Наливайково ополчение, которое до сих пор считало себя отдельным и независимым от казацкого гетмана, признало его своим верховным начальником, наравне с другими казаками. Действительно, могло быть, что казаки, не бывшие на белоцерковской битве, считали за своей победой гораздо больше значения, чем сколько она имела на самом деле, и негодовали на Наливайка за то, что он не воспользовался ею, чтобы разбить Жолкевского окончательно; но тоже вероятно, что ополчение соединилось для того чтобы отбиваться лучше от врага.

Жолкевский скоро поправился от неудачи под Белою Церковью; к нему привел свежие силы Потоцкий, староста каменецкий, и принес еще известие, что и литовское войско, в отмщение за набеги Наливайка и Савулы, вступило в Украину. Из литовского войска прибыл к нему с отрядом Карл Ходкевич, будущий гетман, еще тогда молодой человек. Жолкевский послал Ходкевича вперед; с ним отправились роты князей Рожинского, Михаила Вишневецкого, Темрюка, Блинструба и Бекеши. Они двинулись к Каневу; на первый день пасхи, 11 апреля, напали они в Каневе неожиданно на казацкий полк полковника Кремпского: в сече пало до четырехсот казаков, а прочие бежали и потонули в Днепре. Ходкевич принес Жолкевскому известие, что казаки хотят переплыть на другой берег. Надобно было идти за ними, — и Жолкевский двинул свое войско в Киев.

Но казаки предупредили его, успели переправиться на левый берег, а за собой сожгли и истребили все лодки и плоты. Жолкевский, подошедши к Киеву, должен был дожидаться, пока изготовят все для переправы, и расположился табором у Печерского монастыря. Послали собирать лодки на Припять и на другие реки, впадающие в Днепр, а между тем жители Киева, частию поневоле, а частию для того чтобы умилостивить гетмана, работали плоты и лодки. Лобода стоял на другом берегу Днепра в виду польского обоза. Казаки поставили у самого берега пушки и зорко следили за движениями неприятелей за рекою, чтобы не дать им переправляться, когда они начнут. Между тем казаки ожидали себе свежей подмоги снизу из Запорожья. Но Жолкевский заранее узнал о том, что к ним будет подмога, и расставил по берегу Днепра пушки. Атаман Подвысоцкий плыл к своим на помощь; у него было более сотни чаек. Уже звук сурм и бой котлов разносился по окрестным горам. Вдруг подул противный верховой ветер. Поляки стали стрелять по ним из пушек. Казакам трудно было управлять веслами против волны, они не успели проплыть

под неприятельскими выстрелами. Передняя их чайка была разбита; за ней несколько других были пробиты и потонули; Подвысоцкий должен был поворотить назад.

Тогда (было это в день субботний) Лобода приказал пустить по Днепру колоду, на которой было воткнуто письмо. Жолкевский приказал достать ее: в письме казаки просили мира. На другой день явился к польскому гетману сотник казацкий Козловский также с грамотою от казацкого войска такого же содержания. Жолкевский отвечал, что пошлет к казакам условия с нарочным своим посланцем. Этот посланец повез такого рода условия: отдайте всю армату (артиллерию) и знамена, которые вам прислали чужие власти, выдайте Наливайка и других зачинщиков.

В понедельник приехали в польский обоз двое казацких есаулов; они объявили, что казаки не соглашаются на это и просят, чтобы с ними обходились ласковее. Тогда Жолкевский рассчитал или, может быть, узнал, что у казаков в Переяславе оставлены семьи, перевезенные из жительств их на правой стороне Днепра, и послал старосту каменецкого Потоцкого переправиться пониже Киева. Нарочно в полдень, чтобы все казаки видели, снаряжен был ряд возов, а на возы наложили лодки. Явились тогда в казацкий табор перебежчики и рассказывали, что Жолкевский отправляет часть войска к Триполью, чтобы там переправиться через Днепр и напасть на Переяслав. Казаки всполошились, не хотели оставаться на берегу Днепра против Киева и порывались бежать, чтобы защищать переправу у Триполья. Жолкевский, задержав есаулов, послал требовать, чтобы казаки выдали тех двух пахолков, которые к ним убежали. Но казаки не выдали их, а отрубили им головы и показывали полякам. Вероятно, казаки догадались, что эти требуемые поляками перебежчики были на самом деле подосланы умышленно.

Вслед за тем казаки стали уходить одни за другими к Переяславу. Остался Наливайко с Лободою и с ними не более как сто пятьдесят казаков. Тогда Лобода изъявил желание лично переговорить с поляками. На середине Днепра выплыл он на челне, а к нему приплыл с противоположного берега Струсь. Они поговорили, ни на чем не сошлись и разошлись; неизвестно, что они говорили. После того и остальные казаки, а за ними сами предводители ушли из-под Киева в Переяслав. Берег днепровский опустел. Войско начало переправляться свободно во вторник, а в четверг оно было уже все на левой стороне Днепра.

Казаки поспешно взяли в Переяславе своих жен и детей, угнали с собой скот и решились удалиться в степи, на восток; они думали, что туда Жолкевский не погонится за ними. Их было тогда до десяти тысяч. Они потянулись к Лубнам. Жолкевский пошел к Переяславу, соединился на дороге с отрядом Богдана

Огинского, пришедшего к нему из литовского войска, потом соединился с отрядом Потоцкого, старосты каменецкого, который, будучи отправлен, как сказано, к Триполью, там переправился через Днепр; но тогда уже казаки ушли из Переяслава. Заставши Переяслав пустым, Жолкевский последовал к Лубнам. Вперед были посланы: Струсь, князь Михаил Вишневецкий и князь Рожинский. С частью войска этот отряд дошел до реки Сулы в Горошине: там нашли рыбачьих лодок немного, и потому войско переправилось через Сулу по татарскому обычаю на плотах из связанного тростника. Счастливо перешедши реку, Струсь с товарищами зашел за Лубны и стал в тылу казацкого войска, так что казаки этого не знали. Жолкевский ускорил свой путь и пошел прямо. Казаки завидели, что приближаются поляки, и стали ломать мост через Сулу, но начальник передовой сторожи коронного войска Белецкий дал по ним залп, и они отбежали от моста. Белецкий ворвался по мосту в город; за ним спешило все войско Жолкевского. Казаки ушли из города и стали верст за семь от Лубен на урочище Солонице. Струсь стоял в тылу у них и послал двух вестников к Жолкевскому дать ему знать, что у него все уже готово. У них было прежде условие: как только Струсь услышит выстрел, тотчас выскочит на казаков. Жолкевский, переправившись через мост, пошел прямо на казацкий табор и, еще не доходя до него, приказал выпалить из пушки. Отряд Струся, услышав выстрел, поскакал на казацкий табор. Тогда казаки увидели, что их приняли в два огня, и стали рассуждать на раде, что им делать: бежать ли далее в степи или здесь на месте отбиваться; решились остаться на месте и попытаться: нельзя ли войти в переговоры и окончить войну мирно. Лобода послал к Струсю просьбу не нападать и начать переговоры; но тут подошел Жолкевский; и как увидали перед собою казаки большое неприятельское войско, то хоть бы и захотели бежать, да некуда было: коронное войско окружило казацкий табор с трех сторон, а с четвертой было большое болото. Казаки огородились табором из возов в четыре ряда, весь табор окопали валом; вырыли ров; в вале сделаны были ворота, а в воротах горки, а на горках поставили орудия.

В средине табора были построены деревянные срубы, насыпанные внутри землею, на которых поставлены также пушки, а с них стреляли по польскому войску; в продолжение двух недель поляки несколько раз делали приступы, но неудачно, и видели, что взять казаков невозможно; оставалось только их выморить голодом. Казаки должны были выходить из своих валов пасти лошадей и скот, и тут-то происходили беспрестанные драки, но тогда осаждающим доставалось не меньше, как и осажденным. Выскочивши ночью, казаки копали в поле ямы и заседали там пешие с ружьями; при случае они выскакивали из ям и стреляли в своих врагов.

28 мая, пополудни, толпа казаков напала на обоз Струся; с обеих сторон было довольно раненых и убитых. Поляки поймали в плен двух казаков и, в виду неприятеля, одного из пленных посадили на кол, другого четвертовали. Так были они разъярены на казаков за их упорство. Казаки не давали им отдыха ни днем, ни ночью: всегда надо было держаться наготове; того гляди, что выскочат из обоза и нападут.

В казацком таборе чувствовался недостаток, но и в польском он начинался. Особенно пить нечего было жолнерам: пили теплую и мутную воду. Шло дело о том, какая сторона способна была долее терпеть. Продолжительная осада и для тех и для других была возможна; но в казацком обозе к недостатку прибавились раздоры. Наливайко не ладил с Лободою; по его наущению, наконец взбунтовались казаки против своего гетмана, обвиняли его, что он расположен к коронному войску, лишили гетманства, а потом отрубили голову. На место его выбрали в гетманы не Наливайка, а Кремпского, каневского полковника.

После нового выбора казаки еще чаще и отчаяннее стали делать вылазки; чуть не каждый час, ночью и днем, они беспокоили поляков. Между тем продолжались у них в обозе раздоры. Наливайко со своим отрядом хотел убежать. Это узнали поляки и придвинулись теснее к табору. "Целую неделю, — говорит современный польский историк, — они не слезали с лошадей, день и ночь стерегли движения врагов, а между тем, видя, что с теми силами, какие были налицо, нельзя было взять табора, Жолкевский послал в Киев за пушками.4 июня привезли из Киева большие пушки и поставили на высоких курганах, сделанных для этого со стороны лагеря, а на другой стороне стояли полевые пушки. Два дня палили из пушек беспрестанно в табор; ядра убивали казацких жен и детей в виду мужей и отцов; такие зрелища хуже голода отнимали и храбрость, и крепость духа. Вдобавок казакам трудно было выходить: не стало у них ни воды, ни травы лошадям".

После таких томительных двух дней, в которые убито было в казацком таборе до двухсот человек, казаки заволновались. Рано на заре 7 июня они собрались на раду, кричали, что им всем приходит последний час, решились отдать полякам Наливайка и других начальников, лишь бы поляки выпустили остальных на волю. Наливайко собрал своих сторонников и хотел бежать, но выскочить было невозможно. Целый день шло смятение в таборе, наконец, к вечеру сделалось междоусобие. Наливайко отстреливался от своих собратий, защищая свою жизнь. Шум достиг до поляков. Они, узнавши в чем дело, пошли на приступ... вдруг казаки дают знать, что все будет, как они хотят. Наливайка одолели, схватили и привели связанного к Жолкевскому. Но коронный гетман этим не удовольствовался: он по-

требовал, чтобы привели и других зачинщиков, предводителей шаек, чтобы отдали пушки и знамена. Казаки обещали все сделать завтра, а взамен просили, чтобы гетман обещал пустить остальное войско свободно. Гетман и на это не согласился. "Между вами есть панские подданные; пусть каждый пан возьмет своего подданного". На это казаки не согласились: это значило половину табора отдать на жестокую расправу панам. Гетман упорно стоял на своем. "Мы лучше все здесь пропадем до единого, — говорили казацкие посланцы, — а будем обороняться". "Обороняйтесь!" — сказал им коронный гетман. Он отпустил посланцев. Вслед за тем поляки ударили снова из пушек и сделали сильный натиск так стремительно и так неожиданно, что казаки не поспевали схватить оружие или зарядить ружья; сразу перебили их так много, что, по выражению польского историка, труп лежал на трупе. Тогда, во всеобщей суматохе, выбранный после смерти Лободы Кремпский бежал; за ним толпами пустились казаки; но поляки остановили часть их... Только полторы тысячи успели убежать с Кремпским и благополучно ушли в Сечь. Остальные, уцелевшие от убийств, бросали оружие, просили пощады... выдали остальных предводителей числом шестерых, в числе их Савулу. Поляки забрали весь табор, взяли двадцать четыре пушки и множество ружей. Достались победителям серебряные литавры, трубы и знамена, и в числе их те, что были присланы императором немецким, когда он подущал их на турок. Паны могли взять всех своих подданных и наказывать их как хотели. Но казакам гетман объявил пощаду с условием, чтобы вперед они не смели собираться самовольно и вооружаться без воли коронного гетмана.

Наливайка с прочими предводителями Жолкевский отправил немедленно в Варшаву во свидетельство укрощения казацкого своевольства. Присланных предводителей, кроме Наливайка, тотчас же казнили смертью. Что же касается до Наливайка, то паны были слишком злы на этого врага панского сословия, чтобы казнить его скоро. Его засадили в тюрьму и истязали вычурным образом: подле него стояло двое литаврщиков, и когда ему хотелось спать, они били в литавры и таким образом мучили его, не давая заснуть. Подобными пытками истязали его до времени собрания сейма, и только тогда казнили. О казни его рассказывают разно. Бельский говорит, что ему отрубили голову, потом четвертовали тело и развесили члена на показ и поругание. Другой современник, Янчинский, рассказывает, что его посадили верхом на раскаленного железного коня и увенчали раскаленным железным обручем. Третье, самое распространенное сказание говорит, будто его бросили в нарочно сделанную из меди фигуру быка; этого быка поджигали медленным огнем и слышен был крик Наливайка; потом пламя охватило всю фигуру; а когда

огонь потушили и отворили медного быка, — тело Наливайка превратилось в пепел. Это известие перешло в малорусские летописи и сделалось народным преданием.

III

УНИЯ

Русские архиереи со спутниками из духовных лиц прибыли в Рим через шесть недель после выезда из Кракова: 15 ноября представились папе. Клемент VIII принял их не только благосклонно, но радушно. "Делом займемся после, — сказал он, — а теперь отдохните после долгого пути". Им отвели для помещения палаццо возле Ватикана, убранный великолепно. Там жили они в добре и холе шесть недель, наконец, 23 декабря по их просьбе допустили их к делу. Епископов ввели в залу, где обыкновенно принимались князья-государи. Первосвященник сидел на престоле в своем облачении; около него собраны были кардиналы, архиепископы, множество знатного духовенства, светские папские синьоры и знатные путешественники, на то время посетившие Рим. Русские епископы, вошедши в залу и увидев вдали св. отца, пали на землю и не прежде поднялись, как их пригласили подойти к св. отцу. Они поцеловали ему ногу и подали письмо, подписанное епископами, и статьи, составленные, как было в них сказано, 1595 года 2 декабря.

Находившийся при этом посольстве русский священник Евстафий Волович читал то и другое для формы по-русски, но епископы заметили сверх ожидания, что в зале были лица, понимавшие читанное. "Мы поручаем, — сказано было в письме к папе, — от нас, митрополита и всех русских епископов, двум из братий наших: епископу владимирскому и берестейскому и епископу луцкому и острожскому, принести достодолжное повиновение вашему святейшеству, если ваше святейшество благоволите, за себя и за своих преемников, утвердить ненарушимость отправления таинств и богослужебных обрядов по уставу нашей греческой церкви в том виде, в каком они находятся в настоящее время". По окончании русского чтения то же было прочитано по-латыни. Папский кубикулярий Сильвий Антониан в ответ им от имени св. отца прочитал похвалы митрополиту и всем русским духовным за то, что они, оставив древние заблуждения, обращаются к лону истинной католической церкви, без которой невозможно спасение. Св. отец надеется — присовокупил он — что по их примеру и другие их соотечественники изыдут изо тьмы к свету. Потом Ипатий прочитал исповедание веры с прибавлением "от Сына", причем делалось пояснение, что такая прибавка учинена по правилу Флорентийского собора, принявшего ее на том основании, что если Сын, имеющий Духа Святого, рожден от Отца

предвечно. то, следовательно, и Дух предвечно пребывал в Сыне, а, следовательно, от него, равно как от Отца, предвечно исходит; принималось, что таинство евхаристии в смысле транссубстанциации, или вещественного претворения хлеба и вина в тело и кровь Христа, одинаково действительно совершается как в опресночном, так и в квасном хлебе; принималось, что по смерти земной праведные души, не осквернившие себя после крещения или очистившие себя совершенно покаянием, переходят прямо в царствие небесное; умирающие в грехах идут в ад; а те, которые умерли с покаянием, но не успели еще принести плодов, достойных покаяния, поступают в муки чистилища, и тогда их страдания облегчаются на земле молитвами, приношениями, задушными обеднями, милостынею и благочестивыми добрыми делами. За папским престолом и за римским первосвященником признавалось первенство надо всею вселенной, самого же папу признавали наследником св. Петра и наместником господа Иисуса Христа, главою всей церкви, отцем и учителем всех христиан, получивших от самого Христа во св. Петре, своем предшественнике, право властвовать и управлять Христовою церковью, утвержденное деяниями вселенских соборов и церковными постановлениями; принималось все, что предписано и утверждено вселенским Тридентинским собором, все апостольские и церковные правила и предания, принятые римско-католическою церковью; допускалось справедливым и истинным только такое толкование св. писания, какое дает римско-католическая церковь, одна имеющая право рассуждать и толковать писание; признавалась власть индульгенций и раздача даров спасения от церкви; римская церковь именовалась матерью всех церквей; наконец, предавалось анафеме все еретическое, все схизматическое, проклятое и отвергаемое римско-католическою церковью. Поцей, прочитав это исповедание, подписал его. Вслед за тем Поцей подписал переведенное по-русски и произнес присягу на русском языке. Потом Кирилл, луцкий епископ, прочитал это исповедание по-русски, подписал его и произнес по-русски присягу на евангелии; после того был им прочитан латинский текст исповедания, подписан и произнесена была присяга на латинском языке.

По окончании чтений и присяги оба епископа поклонились св. отцу в ноги. Папа говорил им речь таким тихим голосом, что слышать его могли только те, которые стояли близко; он в восторженных выражениях восхвалял митрополита и русских епископов, поучал пребывать в смирении и в послушании, представлял в пример несчастную Грецию, наказанную за свое непокорство. "И вас, зде сущих и прочих отсутствующих благословляем отеческим благословением". Так сказал св. отец при конце речи.

Когда епископы писали в отечество о событиях этого дня, то знали, что там понравилось бы, если бы папа высказал им какой-ни-

будь особый знак уважения, и потому писали, что папа сказал им: "Не хочу я властвовать над вами, но буду носить тяготы и немощи ваши на себе". Не известно точно, так ли говорил им св. отец, который всегда хотел властвовать и всегда стоял за свою власть.

На другой день, в канун праздника рождества Христова, епископов пригласили к вечерне, которую совершал сам первосвященник с кардиналами. Епископы с самодовольством рассказывали после, что им тогда дозволили в присутствии главы церкви находиться в своих украшенных золотом митрах, так как все иерархи пред лицом св. отца должны были являться только в белых шапочках без украшений. В день рождества Христова Ипатий служил обедню в греческой церкви, а товарищ его Кирилл священнодействовал там же на третий день праздника. С удовольствием заметили они, что в этой церкви, построенной для униатов, не допускалось ни малейшего изменения в обрядах, и богослужение совершалось с большим благочинием, чем на Руси, а грек епископ с пятидесятью духовными особами проживал при церкви в полном довольстве. "Лучше, — писал русский епископ к Гедеону Балабану, — быть нам под единым пастырем, чем под пятью или шестью: и церковное благочиние и безопасность нашей церкви от этого выиграет".

В память присоединения русской церкви в Риме выбита медаль: на одной стороне изображен папа, сидящий на своем престоле и рукою благословляющий стоящего на коленах со сложенными на грудь крестообразно руками русского епископа, склонившего голову; позади него два стоящих лица, а на фасаде алтарь с распятием. На другой стороне медали портрет Климента VII с надписью вокруг: "Rutenis receptis".

По возвращении из Рима иерархи наши застали уже волнение. В виленском братстве образовалась среда противодействия унии для Литвы и Белоруси. Стефан Зизаний, писавший еще прежде против католичества, напечатал сочинение "Кириллова книга об антихристе", направленное против папства; в нем доказывалось, что папа есть сам антихрист и время унии есть время его царства. Книга эта расходилась и с жадностью читалась духовенством и грамотными людьми. Попы громили митрополита и епископов, согласившихся на унию, называли изменниками и предателями. Король, когда до него дошли слухи о таком волнении, приказывал митрополиту осудить возмутителей своею духовною властью, потом предавать гражданскому суду, а от виленского братства велел взять алтарь и передать главному собору, дабы подорвать и разрушить братство.

В Южной Руси противодействовал унии Острожский; его послания возбуждали дворян и мещан против митрополита и его товарищей; наконец, князь позвал митрополита к суду, но король защитил последнего, запретивши должностным лицам

киевского уряда входить в разбирательство таких дел, которые подлежат духовной юрисдикции. Король надеялся, что как скоро святейший отец утвердит постановленное русскими епископами, то дело кончится успешнее; народ русский примет соединение, и все пойдет хорошо. Король ожидал возврата послов, и когда они воротились, то приказал созвать собор. Тогда уже для короля собор не представлялся таким страшилищем, как прежде, — что бы там ни толковали. Уже дело казалось ему покончeнным; изменять его было невозможно; не рассуждать приходилось на этом соборе, а принимать то, что прежде изготовлено и теперь предлагалось.

На 6 октября назначен был съезд в Брест. Король приглашал туда не только духовных, но князей, панов, кастелянов, старост и вообще православное дворянство.

Со своей стороны Острожский извещал патриарха о предстоящем съезде, и патриарх поручил вместо своей особы председательствовать на соборе своему протосинкелу, по имени Никифор. Этот протосинкел (сан очень важный в восточной иерархии — наместник патриарха в важнейших делах) был человек глубокой учености; некогда он был в Падуе ректором, и многие из польских панов, там воспитывавшиеся, помнили его; потом он был в Венеции проповедником греческой церкви св. Марка; по возвращении из Италии он произведен был в сан патриаршего протосинкела и уже два раза заведовал патриаршеством во время отсутствия патриарха. Кроме него александрийский патриарх Мелетий прислал в Русскую землю своего протосинкела, по имени Кирилл. Таким образом, в то самое время как русские епископы хотели уклониться от сношений с Востоком, неожиданно явились два представителя восточной церкви, напоминая им единство православия, при котором незаконно было без согласия восточной церкви делать важные перемены в русской. Протосинкелы прибыли к Острожскому, и князь проводил их на собор сам лично с вооруженною дружиною, а это придавало участию светских особ воинственный вид. С Острожским разом прибыло в Брест до двухсот дворян православной веры. Из православных духовных архиерейского сана, кроме означенных греков, прибыл сербский митрополит Лука, а из русских явились двое — Михаил Копыстенский, вообще остающийся в тени во всей этой драме, и Гедеон Балабан; последний, столько раз согласный на унию, теперь остался православным; он видел, что сильный Острожский, множество дворян и весь народ против унии. Он надеялся теперь выиграть путем преданности к старине, тогда как его товарищи хотели выиграть путем нововведения в угоду папе и польскому королю. Гедеон клялся, что не знает ничего о предварительных совещаниях, и объяснил свою подпись историею о бланкетах. Самые православные того времени мало верили истине слов его; но по крайней

мере, желая оправдать Гедеона против улик со стороны униатов, они говорили, что если б и в самом деле Гедеон прежде уклонился в унию, то все-таки хорошо сделал, что отстал от нее. Такое оправдание доказывает, что сделать его совершенно чистым и непричастным к делу унии было чересчур трудно. Чтобы еще более очернить врагов своих и выказать свои подвиги за отеческую веру, Гедеон рассказывал, что Ипатий Поцей прислал ему из Рима письмо, которое, прежде чем дошло до него, попалось в руки его брата Григория. Когда Григорий Балабан распечатал его, то вдруг почувствовал на себе действие какой-то отвратительной пыли, насыпанной в письме; он уверял, что то был ядовитый порошок; он слышал, что в Италии в обычае посылать через письма таким образом яд в порошке. Не представив, конечно, доказательств в справедливости такого обвинения, Гедеон прежде всего уличал самого себя в единомышлении с униатами, когда представил письмо в городской суд; такое дружелюбное письмо могло быть писано только к человеку одинаких убеждений. Зная прежние проделки Гедеона с патриархом Иеремиею и съезд во Львове 1594 года, нельзя сомневаться, что Гедеон знал, что подписывал, когда писал на листах, где излагалось согласие на унию, если б даже и в самом деле эти листы исписывались после того как были подписаны; по всему то же надобно полагать и о Копыстенском, потому что на прежних съездах, где он участвовал, говорилось об унии.

Из архимандритов были там двое приехавших с Востока: святогорский Макарий, св. Пантелеймона Моисей, туземные: печерский (Никифор Тур), дерманский, супрасльский, пинский, дорогобужский, пересопницкий, степанский, около двенадцати человек протоиереев, несколько иеромонахов и духовенство Бреста; некоторые из этого духовенства, особенно архимандриты, были на съезде во Львове у Балабана и подобно ему прежде соглашались на унию, а теперь отступались от нее.

Еще до приезда своего в Брест протосинкел Никифор писал к митрополиту увещательное письмо и не получил ответа. Когда православные съехались в Брест, митрополит с униатами епископами был уже там и дожидался королевских послов, чтобы начать соборное совещание.

Православные послали к митрополиту и к прочим, просили приехать предварительно посоветоваться с ними: в какой церкви лучше будет устроить место для соборных заседаний. Но митрополит отвечал посланцам словесно: "размыслим и приедем, если окажется нужным".

После такого ответа православные стали заниматься устройством порядка для собора. Вместо церкви выбрали они большой каменный дом, принадлежавший хозяину по имени Райский. Они предвидели, что без тревог не обойдется, и на соборе произойдут сцены, неприличные для святыни божия храма. Избрали двух

наблюдателей благочиния (примитариев), поставили на средине аналой с евангелием и крестом, расположили места для духовных особ сообразно важности звания каждого из них; против них были места полукругом для особ светского звания. Духовные греки, не понимавшие по-русски и по-польски, должны были объясняться через переводчиков.

В первое заседание возвысил голос львовский епископ и укорял митрополита и епископов за то, что они не явились к протосинкелу по его требованию, как к своему начальнику. Протосинкел одобрил это мнение и предложил последовать примеру древних соборов: послать к митрополиту и епископам троекратное приглашение — парагностик. Если же бы они после третьего парагностика не явились, то следовало их признать виновными.

С первым парагностиком послали семь духовных особ: на челе их был киево-печерский архимандрит Никифор Тур. Митрополит сказал им: "Мы прежде посоветуемся с епископами римско-католической церкви: львовским, луцким и холмским".

Такой ответ уже указывал, что митрополит и владыки отступили от православия. На следующий день православные послали второй парагностик с шестью духовными. Посланцы ожидали доступа к митрополиту до вечерен и не дождались. Так как он за день перед тем сказал, что посоветуется с римско-католическими епископами, то они отправились ко львовскому католическому епископу и объяснили ему, что сам митрополит назначил время съезда на собор: они съехались именно по его приглашению, а теперь он не является открывать собор. Это обращение к римско-католическому епископу было сделано для того, чтоб заранее оправдать себя в обвинении митрополита. Они искали митрополита в церкви и там не нашли; наконец, вручили второй парагностик пинскому владыке для передачи митрополиту, чтобы, таким образом, митрополит никак не мог отговариваться тем, что не получал его.

На третий день православные уже все признавали и заявляли, что двоекратное непослушание патриаршему наместнику обвиняет митрополита. "Очевидно, — говорил тогда протосинкел Никифор, — митрополит до сих пор притворялся, боясь, чтобы весть об его отступничестве не дошла до нас в Грецию и не нашлись бы люди, которые бы могли победить его словом; он думал, что сообщение с Востоком опасно и трудно; он не надеялся, чтобы мы сюда приехали, а между русским духовенством он не встретил бы слишком ученых особ".

Отправили к митрополиту третий парагностик с теми лицами, которые ходили к нему с первым. В третьем парагностике в последний раз требовали, чтобы митрополит явился и дал ответ. Митрополит отвечал посланцам:

— Справедливо или несправедливо мы поступили — только мы отдались западной церкви.

Получив такой решительный ответ, протосинкел доказывал, что соединение церквей не может совершиться на каком-нибудь местном синоде; такое важное дело требует собрания ученых со всего света, людей богословных: потом он обратился к светскому кругу, похвалил сидящих в нем за верность, но вместе с тем укорял тех из их собратий, которые ради земных почестей и богатств или из боязни изменили отеческой вере, и в заключение советовал вообще всем православным построже следить за собою. "Капля пробивает камень, а дурные обычаи заражают добрых людей", — сказал он.

В этой речи было что-то пророческое для дворян, которые теперь так горячо бросились защищать православие, нося в себе много такого, что располагало их к измене православию.

В этот самый день Скарга вызвал Острожского из соборного заседания и долго говорил с ним наедине. По поводу этого свидания протосинкел сказал: "Гораздо приличнее отцу Скарге явиться перед нами и препираться с учеными людьми, а не убеждать светских людей, не ведущих в богословии".

После того члены собора занялись рассмотрением прошений, поданных на собор. Они были поданы от всех городов и земель Волынской земли, а также из Киева, Переяславля, Пинска и разных мест Литвы. Эти прошения как нельзя более согласовались с духом и намерениями собора. В них просили не изменять древнего богослужения и не приступать к соединению с римскою церковью без согласия восточных патриархов, не вводить никакой новизны и отрешить от должности отпавших от православия духовных сановников. В обличение лицемерства митрополита Рагозы представлены были на собор его собственноручные письма к разным особам, где он уверял, что не помышляет об отщепенстве.

На четвертый день соборных заседаний митрополит и владыка обвинены были: 1) в пренебрежении к власти константинопольского патриарха, которому они при своем вступлении в сан присягали быть в послушании; 2) в том, что они относились в чуждую римскую епархию, когда были подчинены константинопольской, и тем нарушили правила вселенских соборов (второго — пр. 2, четвертого — 18 и шестого — пр. 36), где признается равенство константинопольского патриаршего престола с римским; 3) наконец, в том, что одобрили отличия западной церкви, не признаваемые восточною (именно: прибавление к символу веры, совершение евхаристии на опресноках, чистилище, пост в субботний день, безбрачие священников). За это собор отрешил от сана митрополита Михаила и единомышленников его, епископов: владимирского Ипатия, луцкого Кирилла, полоцкого Германа, холмского Дионисия и пинского Иону, лишил их права управлять духовенством, творить суд над ним и пользоваться доходами с имений, приписанных к должностям, которые они занимали. Собор отправил архимандрита печерского Никифора

Тура в сопровождении нескольких особ духовных и светских объявить об этом митрополиту. Посланец должен был подать митрополиту и епископам соборный приговор, написанный такими словами: "Знайте, что за ваше новомыслие, отступничество и непокорность божественным и святым правилам вы лишаетесь всякого достоинства. Десятого октября 1596 года".

Никифор Тур застал митрополита во дворе владимирского владыки; с ним находились и другие архиереи; они ждали королевских послов. Печерский архимандрит подал митрополиту записку молча. Сторонники унии говорят, что эта записка не была никем подписана, и митрополит тогда же заметил это. Но в книге Ekthesis, где излагается история этих дней, говорится, что на приговоре были подписи; может быть, митрополиту послали тогда неподписанную копию. Никифор Тур ограничился ответом, что он принес эту записку для известия о том, что собор постановляет. Митрополит приказал сделать список с этой записки.

В это самое время прибыли туда же ожидаемые епископами королевские послы и, узнавши, в чем дело, обратились к печерскому архимандриту и сказали:

— Поступать таким образом с митрополитом — значит оказывать непослушание королю.

Тогда королевские послы отправили к князю Острожскому трех посланцев: Претвица, Шуйского и Каминского. Они думали, что тут всем заправляет Острожский. Посланные сказали Острожскому:

— Королевские послы оскорбляются тем, что от вашей милости посылаются митрополиту ответы и декреты, не доставивши предварительно написанного им, послам. Так как они присланы от Его Королевского Величества, то никакое постановление не должно состояться без участия их милостей.

— Не знаю, чем они оскорбляются, — сказал Острожский, — скорее нам следует оскорбляться; потому что мы терпим обиды от изменников, которые все это заварили, и от тех, которые им потакают; мы возлагаем упование на Бога; а я при своем стою и стоять буду.

Тут выступил пан Гулевич, избранный светскими членами собора маршалком кола, и сказал: "Не его милость князь, а мы все посылали к митрополиту, князь только единая особа — сам по себе; если их милостям королевским послам нужно это писание, — мы пошлем им".

Гулевича подозревали в протестантстве, и посланцы королевских послов сказали ему:

— Не с вами речь ведем. Мы присланы к их милостям князьям, а с новокрещенными и евангеликами не имеем дел; где они будут, там не может состояться справедливого постановления.

— Да я вас не прошу, — сказал Гулевич, — я без их милостей и сам не хочу толковать с вами.

После этого отправлены были от собора четыре посланца к королевским послам узнать королевскую волю, которую они должны были сообщить собору.

Эти королевские послы были: князь Криштоф Радзивилл, троцкий воевода; Лев Сапега — виленский; литовский подскарбий Димитрий Халецкий. Они известили, что королевская воля такова, чтобы они склонились к соединению с римскою церковью. Вместе с тем они заметили, что протосинкел Никифор не имеет никакого права вмешиваться в дела, называли его турецким шпионом и прибавили, что правительству об этом сообщил молдавский воевода.

Православные объявили, что они со своей стороны пошлют послов к королю.

9 октября выбрали из среды своей двух светских особ: Малиновского и Древинского. В инструкции, данной им, православные паны, рады, дигнитары, урядники, рыцарство (релие грецкое с короны из Великого князства Литовского) поручали благодарить короля за доброе и отцовское напоминание о соединении церквей. Мы (говорилось в инструкции) были бы очень рады этому, но видим из истории, что это священное соединение уже не раз составлялось, но также не раз и разрывалось, потому что не были отстранены все препятствия; мы теперь не хотим строить непрочное здание, а помыслим об основательном и крепком. Представлено королю несколько важных причин, почему они не могут теперь приступить к соединению: 1) они составляют только часть восточной церкви сообразно древнему порядку и более шестисот лет находятся в послушании у константинопольского патриарха. Они считали, что не смеют принять на себя права делать такие важные постановления на поместном соборе, тем более что назад тому сто лет с лишком константинопольский патриарх, приглашенный на Флорентийский собор для подобного дела соединения церквей, не оставил без внимания русского народа, хотя ему было прилично и противное, как верховной особе. Русские заявили, что они боятся навлечь на себя нарекания в неблагодарности и безрассудном отступлении от восточной церкви, а тем самым подать турецкому тирану повод к причинению больших оскорблений патриархам и вообще всем сынам восточной церкви; 2) они не доверяли владыкам, которым поручать такого важного дела не дозволяли их самовольные поступки; 3) им нельзя приступить в настоящее время к соединению, потому что римская церковь полагает соединение только в одном повиновении папе яко всеобщему пастырю церкви, тогда как они никого не признают всеобщим пастырем, кроме господа Иисуса Христа, его же св. Петр нарек пастырем пастырей; да кроме того, есть много статей, не сходных с учением и уставами отца папы. Эти различия не могут быть улажены на частном соборе; и потому они теперь боятся приступить к сое-

динению, чтобы со временем не нарушили не сходных с римскою церковью статей и обрядов восточной церкви и не последовало лишения прав, данных в землях короля греческой вере. В заключение православные просили короля низложить митрополита Михаила Рагозу и епископов, лишить их прав на церковные имущества и отдать эти имущества тем лицам, какие будут избраны на основании конституций годов 1575, 1576, 1589.

Наконец, при закрытии своих заседаний православные паны отправили на предстоящие сеймики в русские воеводства протестации и просили приготовить жалобы, которые бы могли быть поданы на будущем сейме, чтобы сопротивляться введению унии. Они по вере, совести и чести обещались своим братьям дворянам не признавать митрополита и епископов в их достоинствах, не допускать их до какой-либо юрисдикции, но, соединившись со всеми, не признающими власти и первенства папы, противодействовать всяким насилиям.

Вслед за тем униатские владыки со своей стороны подвергли лишению сана владык львовского и перемышльского, архимандрита Никифора Тура и всех вообще духовных, находившихся на православном соборе, за непослушание власти митрополита и за участие в сходке, собранной самовольно, не в церкви, как бы следовало, а в непристойном доме, где обыкновенно собираются еретические сходки и произносятся богохульные речи. От имени митрополита, первопрестольника и правителя русской церкви послан был им всем поодиночке приговор с таким заключением: "Кто тебя, от нас проклятого, будет считать епископом (игуменом или пресвитером, смотря по лицу), тот сам пусть проклят будет от Отца, Сына и Св. Духа". Униатский собор признал, что протосинкел Никифор не имеет отнюдь никакого права председательствовать на соборе, что он самозванец, и притом сам лично — человек, известный своим дурным поведением.

Именем короля Никифор был арестован и приведен перед поветовый суд. Там перед маршалком его обвиняли, что он турецкий шпион, говорили, будто поймали посланного им гонца в Турцию с письмами враждебного Речи Посполитой содержания. Но князь Острожский заступился за него и доказывал, что его нельзя судить в таком суде, что он слишком важная особа, и если он обвинится в государственном деле, то его дело может разобраться только в сенате. Отложили суд над Никифором до открытия сейма в 1597 году. Острожский взял его к себе. По требованию короля Острожский прибыл с ним в Варшаву. По правилам суда назначили ему обвинителя-инстигатора и защитника-прокуратора, назначили комиссию из нескольких духовных и светских сенаторов и нескольких послов Короны польской и Великого княжества Литовского. Обвинителем его явился тогда и сам гетман и канцлер Замойский, тогда бывший во вражде с Острожским. Был пойман волох, посланец князя Острожского,

отправленный в Волощину для покупки лошадей. С ним были деньги и письма от какого-то греческого чернеца Пафнутия, из Замостья уехавшего в Москву. В этих письмах, писанных греком к своей сестре, были такие известия: "Хищные волки, псы ляхи приневоливают нашей веры христиан на католическую веру и бьются между собою; уже их более двадцати тысяч полегло". Последнее было преувеличенное известие о возмущении Наливайка. Придрались за то к Никифору; протосинкел, не зная по-польски, отвечал на суде по-итальянски, уверял, что он не писал этого, не знает об этом, и это не должно касаться его. Посланец объявил на суде, что он не получал никаких писем и поручений от Никифора. В этом деле невозможно было его не только уличить, но даже сделать прикосновенным к делу. Тогда гетман Замойский припомнил, что во время последней молдавской войны Никифор был посредником между турками и Замойским, держал явно сторону турок, требовал, чтобы поставленный в Молдавии Иеремия признал турецкую власть и дал в залог сына своего султану, и вообще показывал свое расположение к Турции. "У меня, — сказал Никифор, — есть письма господаря Иеремии и молдавских бояр: они просили меня взять посредничество, и я по их просьбе вмешался в это дело; и что ж я худого сделал? Если б мое посредничество было неправое и лукавое, то оно не имело бы таких последствий. А то вышло, что обе стороны стали довольны... Татары и Синан-паша ушли со своими войсками; а пан гетман посадил на воеводство Иеремию". И здесь Никифор был совершенно прав, да это обстоятельство предметом суда и разбирательства не могло быть. Недовольные этим, враги начали обвинять его в разных преступлениях, говорили, что он чернокнижник и вошел чернокнижеством в милость к султану через сестру свою, которая находится в гареме султанском, что он убил в Константинополе какого-то мальчика. По одним известиям, на него показывали, что он в любовной связи с матерью султана. Никифор отвергал все это как выдумку врагов и, очищая свою честь от клеветы, заметил, однако, так: "Все это ложь; но если бы даже правда была, то и тогда не ваше дело судить то, что делается в чужой земле; и вы отнюдь не имеете права меня наказывать". Более видимых юридических доказательств поляки могли найти в том, что он, по их мнению, не имел права открывать собора. На это напирали обвинители. "Патриарха в Константинополе нет, а ты ни от кого не послан и низлагать владык не имеешь никакой власти, не взявши дозволения от короля присутствовать на соборе". Протосинкел отвечал: "Вот моя привилегия, данная мне вселенским патриархом на пергамене с висячею оловянною печатью: из нее вы увидите, что я имею право посвящать и низлагать не только владык, но и митрополитов, и созывать поместные соборы. Святой памяти Иеремия скончался; но теперь учинился патриархом

Мелетий, человек достойный и ученый. Да не только от константинопольского патриарха, но и от прочих трех патриархов я — протосинкел, и дана мне такая власть, что в каждой из их диэцезий вольно мне созывать синоды, наблюдать над порядком, лишать дурных сана и поставлять достойных. Если не верите моим письменным документам, — пошлите в Константинополь: там узнаете — правда ли то, что на меня наговаривают мои враги". Многие из сенаторов не поняли его речи, потому что не знали итальянского языка; из тех, которые понимали, были враги его, потому что желали совершения унии, чему мешал Никифор. Некоторые сказали: "Сплетни разбирать не королю и не Речи Посполитой, а то важно, что он синод собирал и низлагал митрополита и епископов". Сторонники Острожского говорили: "Все это делает зависть пана гетмана к пану киевскому воеводе; а владыкам то на руку, чтобы Никифора изменником и шпионом объявили, чтобы недействителен был приговор, который он изрек на них".

В это время в комнату, где находился Острожский с сенаторами, вошел король. Старик Острожский, глубоко оскорбленный, не вытерпел и — по известию современного рассказа — сказал ему сильную обличительную речь. Он напомнил ему прежних королей: Сигизмунда I, Сигизмунда Августа, Генриха и Стефана, службу своих предков и свою собственную этим королям, свое старание об избрании Сигизмунда в короли, жаловался на Замойского и потом сказал так: "Ваша королевская милость, вопреки справедливым доводам нашим и предстательству послов земских, не хотите оставлять нас при наших правах в нашей православной вере, вместо отступников дать нам иных пастырей; напротив, допускаете отступникам делать насилия и проливать кровь, грабить, выгонять из маетностей и даже из земли своей тех, которые не хотят приставать к их отступничеству. Ваша королевская милость посягаете на право нашей веры, стесняете наши вольности, насилуете нашу совесть и сами нарушаете присягу свою. Я, сенатор, не только терплю оскорбление, но вижу, что дело идет к окончательной погибели всей Короны польской; после этого уже никто не обеспечен в своем праве и свободе... Скоро наступит великая смута; дай Бог, чтобы до чего-нибудь иного не додумались... Предки наши, принося государю верность, послушание и подданство, получали взаимно от государя милость, справедливость и оборону; так одни другим присягали. Опомнитесь, ваше величество, и послушайте доброго совета! Я сильно оскорблен вами; на старости лет у меня отнимают то, что для меня всего милее: совесть и православную веру; я уже в преклонных летах и — надеюсь — скоро расстанусь с этим светом; прощаясь с вашим величеством, я напоминаю вам, чтобы вы опомнились! Поручаю вам эту духовную особу; Бог взыщет за кровь его на страшном суде; а я прошу Бога: да не даст Он моим

очам более видеть нарушения прав наших, но сподобит меня на старости лет услышать о добром здоровье вашего величества и о лучшем состоянии ваших государств и наших прав!"

Старик отвернулся: приятель взял его под руку; подошли двое служебников, чтобы вести князя: ему от дряхлости и волнения, видно, было трудно самому идти; приятель его заметил: не подождет ли он королевского ответа. "Не хочу ждать!" — сказал взволнованный князь. Король, увидевши, что он уходит, послал за ним зятя его Криштофа Радзивилла. "Воротитесь, — сказал Радзивилл, — я вас уверяю, что король тронут вашею горестью, и Никифор будет свободен". — "Нехай же соби и Никифора зъисть!" — сказал в досаде князь и вышел прочь.

Никифора отправили в Мальборк (Мариенбург) в заточение. Острожский помирился с Замойским.

Насильственное введение унии вооружило против католичества русское дворянство, которое хоть уже и не отличалось верностью отеческой религии и само, ополячившись, имело в себе много задатков решительной измены всему, что составляло народность предков, но теперь оскорбилось нарушением прав своих; его огорчало то, как смели духовные делать важные постановления без совета со светскими чинами. Это чувство досады повлекло их к сближению с протестантами. Недаром глава православного движения Острожский был в родстве с Криштофом Радзивиллом, тогда бывшим главою протестантской партии; последний был женат на дочери Константина Острожского. В 1599 году православные и диссиденты съехались в Вильне на общее совещание. Из греческих духовных был там белгородский сербский митрополит Лука и один игумен да диакон; ни Гедеон Балабан, ни Михаил Копыстенский не явились, вероятно, чтобы не подать соблазна своим общением с еретиками. На этом съезде составилась конфедерация двух вероисповеданий. Сообразно древнему праву свободы совести в Речи Посполитой дворяне обоих вероисповеданий постановили — охранять всеми средствами свободу своего богослужения, неприкосновенность церквей и их имуществ, находящихся в маетностях панов, участвующих в конфедерации, и помогать всякому, принадлежащему к греческой вере и к протестантским церквам. Они избрали из среды себя генеральных провизоров, из числа которых было шесть сенаторов, а другие были из рыцарства, — всего 120 человек; в числе провизоров были паны знатных и богатых родов: Острожские, Вишневецкие, Корыцкие, Зеновичи, Горские, Пузыны, Радзивиллы, Сапеги, Рожинские и проч. Всякий, кто будет оскорблен по поводу религии, должен обращаться к кому-нибудь из провизоров, а тот должен защищать своего клиента и помогать ему или же поручить его своему товарищу, другому провизору. Положено было собирать синоды по делам веры не иначе как совместные, так что если диссиденты собирают свой синод,

то приглашают к участию на нем православных, а православные, со своей стороны, приглашают на свои синоды диссидентов.

Ничто так не доказывает несостоятельности тогдашнего русского дворянства в деле обороны своей веры, как эта странная конфедерация; тут не шло дело только о гражданском взаимодействии для охранения того и другого вероисповедания; а тут было обязательство собирать синоды по делам веры не иначе как допуская на них последователей и того и другого учения. Православные дворяне оказали здесь по отношению к протестантству склонность к тому, на что покушались архиереи по отношению к католичеству: в виду была уния православия с протестантством, в противность изготовленной уже унии православия с католичеством. Но уния с католичеством представляла множество затруднений; уния с протестантством была совершенною нелепостью. Самая мысль об этом могла произойти только оттого, что некоторые из признававших себя официально православными были проникнуты протестантством, а другие были круглые невежды в предметах веры, им могло казаться возможным то, что для знающего дело было положительною невозможностью. Только таким путем можно объяснить эту конфедерацию. Неудивительно, что протестанты, которые тогда были несравненно образованнее православных, увидели после того возможность набросить на русское православие такую же сеть, какую набрасывали на него иезуиты с братиею. Тотчас после этой конфедерации диссиденты подали своему патрону Криштофу Радзивиллу проект о соединении с православием; это, впрочем, в переводе на язык диссидентского смысла, значило обращение православных. "Мы думаем (сказано было в этом проекте), что сойдемся с духовными греческой веры: пусть только св. писание будет основою нашей веры и судьею наших споров". На таком важном основании они думали стать воедино с православными, потом собрать разные церковные вопросы, где православие, расходясь с католичеством, сходилось с протестантством; тут были вопросы о единстве церковного главы, об отвержении чистилища, о браке священников, о причащении под двумя видами. Для удобства споров советовали предложить православным составить свое исповедание, а диссиденты представят им свое, составленное на сандомирском съезде. Смущало их тогда различие толкований об исхождении св. духа, но они находили, что в сущности спор здесь касается, более выражений, чем предмета. Самое важное препятствие к соединению было, конечно, призывание святых, почитание икон и употребление множества обрядов. Протестанты хотели непременно убедить православных оставить призывание святых, потому что, по их понятию, это было крайнее суеверие; соглашались оставить православным обряды и иконы, но с надеждою, что через частые синоды их пасторы успеют довести православных священников до того, что те даже согласятся слу-

жить на опресноках. Надобно прежде всего устроить так (говорили диссиденты), чтобы мы могли без зазрения совести ходить в их церкви, а они бы не гнушались нашего богослужения; тогда может случиться, что к ним пристанет несколько наших евангеликов; зато несравненно большее число их перейдет в нашу веру.

В век всеобщего прозелитства и борьбы вероучений естественно было, что диссиденты возымели этот замысел, тем более когда сильный враг — иезуитство — грозил низвергнуть и православие и диссидентство разом. Это побратимство православных с диссидентами давало врагам только силу и повод укорять не признающих власти св. отца и доказывать, что без соединения с католичеством греческая церковь погибнет и восторжествует ересь. Православные, бывшие на виленском съезде, должны были скоро стать в такое положение, что им приходилось ради православия отрекаться от своих новых союзников. Так и сделал один львовянин, Юрий Рогатинец; когда Ипатий Поцей укорял православных в общении с еретиками, то он писал: "Мы не держим дружбы с еретиками и вообще с отщепенцами, всякими, отступившими от восточной церкви, начавши от Ария до Формоза, папы римского, и отлучаемся от всех их наследников".

Уния 1596 г. была утверждена в конце 1596 г. королевским универсалом. Она открыла в Речи Посполитой путь к своевольствам и вследствие своевольств — к бесчисленным процессам в судах. В Речи Посполитой уже было в обычае самоуправство; кто на кого имел неудовольствия и чувствовал за собою силу, тот старался наделать сопернику пакостей насилием; теперь естественно вышло, что как скоро одни нашли поступок архиереев похвальным и признали унию, а другие осуждали его, то одни против других начали оказывать всевозможнейшее своевольство. Ипатий Поцей еще раз попробовал было склонить Острожского к унии и написал ему пространное послание; в ответ ему по поручению Острожского написан был неизвестным клириком из Острога ответ; в нем православный человек укоряет устроивших соединение, что они внесли этим поступком не мир и спокойствие, а раздоры и смуты. "Мы терпим, — говорил он, — поругания, пощечины, оплевания, убийства, наезды на домы, на школы и на церкви, осквернение женщин" и пр. Тогда у пишущих была склонность риторически преувеличивать и живописать самыми яркими красками несправедливости враждебной стороны; а потому вообще на описания угнетений, причиняемых православным, следует смотреть критически; несомненно только, что фанатизм торжествующей стороны проявлялся. Так, в Вильне (и конечно, в других городах) мещане католической веры и униаты (вообще признававшие власть папы и оттого честимые папежниками) отстраняли от участия в общественных делах православных людей; отступившие от веры архиереи лишали мест священников, не хотевших признать унии, а за проти-

водействие преследовали их гражданские власти. Королевская канцелярия объявила мятежными сходбищами братства, которые были особенно предметом вражды и ненависти всех папежников; в Вильне иезуитские ученики, подущаемые своими наставниками, сделали в 1599 году нападение на братскую церковь в день Светлого воскресения; подобные события случались и в других местах. Во Львове католики-мещане мешали православным мещанам торговать, заниматься ремеслами и учить детей по-русски. Сторонники унии считали последователями церкви греческой только принявших соединение с римскою сообразно примеру и наставлению своих архипастырей; остальные же православные в глазах их были отщепенцы от греческой церкви, непослушные своим пастырям и потому мятежники против законной, признаваемой веками духовной власти. Православные со своей стороны пытались юридически доказать, что архиереи, принявшие унию, без согласия со светскими, без вселенского собора решившиеся на введение такой важной новизны, поступили беззаконно и должны подвергнуться лишению своего сана. В 1598 году была подана православными на сейм жалоба на митрополита и епископов, принявших унию; но отступники, пользуясь покровительством короля, сделали так, что разбирательство их дела приостановили (отволокли). В 1600 году умер Рагоза. Захарий Копыстенский в своем историческом сочинении "Палинодия" говорит, что в последние дни своей жизни он сожалел о том, что принял унию, и мучился совестью за свое отступничество; но, соображаясь с прежним характером этого двуличного человека, можно предположить, что он до конца жизни пребыл верным и достойным слугою иезуитов, а только продолжал хитрить, подделываясь по мере надобности к противной стороне, чтобы тем удобнее проводить свое дело. На его место избран и утвержден от короля в сан митрополита Ипатий Поцей. Тогда послы воеводств киевского и волынского снова подали на сейм жалобу на Ипатия Поцея и Кирилла Терлецкого как на главных зачинщиков, ездивших в Рим, и в силу этой жалобы происходило замечательное состязание, описанное в современном сочинении "Пересторога", отнесенное, однако, ошибочно к раннему времени.

Говорят, что Кирилла Терлецкого обвиняли сверх того в подущении к убийству посланного от князя Острожского в луцкий монастырь св. Спаса священника Стефана Добрынского, который был утоплен напавшими на него людьми.

Нам сообщают защиту униатов только по церковному делу. Речь держал Ипатий и сказал: "Нас призывает к суду речь посполитая народа русского, как будто бы мы были уже людьми светскими и лишенными сана, как будто мы удерживаем наши достоинства и церковные маетности ко вреду и оскорблению их всех. Вот, милостивый господарь, неслыханное дело: на пастыря

овцы жалуются, а напротив, пастырь должен на них жаловаться как на непослушных верховному господину, который должен непослушных и строптивых карать и приводить к послушанию, по словам ап. Павла: "невежду страхом спасать".

Не ваше ли королевское величество дали мне епископство владимирское по ходатайству воеводы киевского, который со слезами просил меня принять его, когда я этого не хотел? Не ваше ли королевское величество изволили дать мне сан митрополита по смерти митрополита Михаила? Кто же у нас в государстве без справедливой причины отнимает должности?" Поцею удобно было защищаться последним аргументом, потому что в Речи Посполитой давались должности пожизненно; трудно было лишить кого-нибудь должности, когда есть у занимавшего ее сторонники и связи. Свое отступление от патриархов он оправдывал таким образом: "Мы от патриархов не видели ни науки, ни порядка. Они ездили к нам, овцам своим, только за шерстью и молоком и вместо мира вносили раздор и меч посреди детей. Они простым людям дали братства, учреждение новое, неслыханное и законам противное; избавили их от власти епископской; даровали им самим такую власть, какая только принадлежит епископам в их диэцезии. И вот, хлопство в своей простоте присваивает себе такое господство, что ни епископов, ни панов своих слушаться не хочет: происходят раздоры, драки, кровопролития. Мы не новое дело затеяли. Предок мой, полтораста лет тому назад прибывши из русских краев на Флорентийский собор, признал римского первосвященника вселенским пастырем и отдал ему послушание. Притом польские короли дали права и вольности тогда еще, когда неверный не держал в руках своих и самого патриарха, и греческого царства. А теперь, когда и светское государство, и царская власть уже в руках его, и патриархи вступают в свой сан по его желанию, — не должны ли мы бежать от такого пастыря, который и сам в неволе и нам подать избавления не может?"

Один из членов львовского братства отвечал на речь Поцея. Он опровергал обвинение, будто патриархи не заботились о порядке, и напомнил, как Иеремия низвергал недостойных пастырей, припоминал, как патриархи-греки заложили школу во Львове, как митрополит элассонский Арсений учил во Львове два года сам; а насчет основания братства заметил: "Что же? и Христос так же поступил: обличил архиереев и, собравши к себе народ и учеников, выбрал из среды их учителей". Широко распространился он (если верить известию "Перестороги") о Флорентийском соборе и доказывал его несостоятельность. То же известие говорит, будто этот православный оратор тогда же сообщил о некоторых необыкновенных явлениях, которые признавал за знамения, указывавшие божеский гнев к униатам. "Гром небесный поражает ваше дело, огнем палит, — и страшные зна-

мения показываются в церквах, как случилось в Рогатине и в Галиче, о чем свидетельствуют показания и урядовые записи. В Бресте, в соборной церкви, где вы служили с папежниками литургию первый раз после унии, вино в потире превратилось в воду, и вы, наливши другого вина, докончили ваше богослужение; в Грубешове, где вы собрались служить в церкви вместе с папежниками, закричала на вас с великим укором христолюбивая женщина; вы в половине обедни приказали ее бить до крови по губам, и сами после великого выхода ушли из церкви; потир, оставленный на престоле, лопнул, и вино разлилось на облачение ваше; тогда священник той церкви из алтаря закричал народу, показывая такое чудо; народ бросился на вас, хотел вас погубить, но ваши многочисленные сторонники и замковое начальство оборонили вас; и вы, поймавши этого попа, приказали заключить его в другом городе на несколько месяцев, чтобы он не рассказывал перед людьми о том, что случилось". Сомнительно, чтобы это говорилось на самом деле в то время на сейме перед королем, так как вся речь православного оратора, приводимая "Пересторогою", пахнет сочиненною риторикою; но по крайней мере эти легенды любопытны, показывая, какие вести распускались в то время против папежников. Несомненно то, что оправдания Поцея (в подлинности которых нельзя сомневаться, если не во всех выражениях, то по смыслу, передаваемому "Пересторогою") показались полновеснее обличений против униатов. Сеймовым декретом постановлено, что духовные, принявшие соединение с римскою церковью, этим поступком не сделали оскорбления народным правам и потому должны оставаться в своих достоинствах. Король злобствовал на Острожского и умышленно делал ему разные неприятности; так, напр., был подан на него извет, что он не платил от своих имений подымного с каждого двора, подати, наложенной со времен Люблинской унии вместо прежних повинностей на жителей Волынской земли; вообще насчитывали на него 4000 коп, и король грозил: если старик не явится к ответу в суд, то недоимку станут собирать от его имений посредством войска, несмотря ни на что. Жалуясь на это, Острожский в письме своем к зятю своему Криштофу Радзивиллу замечает, что этого не бывало при прежних королях, а теперь такое стеснение постигает все русское дворянство. Острожского этим не обратили. Напрасно пытался к нему писать сам папа, убеждая его признать унию. Он отвечал в вежливых выражениях, что желает сам соединения церквей, но только тогда, когда отцы патриархи восточные приступят к этому соединению, и представил, что самовольные поступки архиереев, без воли народа покусившихся на такое дело, наделали того, что теперь больше русских людей обратилось к ереси, чем к апостольской столице. В 1605 году снова потребовали к ответу митрополита Ипатия Поцея, но судный декрет освободил его от

обвинений. Вопреки свободе убеждений и слова, которым Польша так гордилась, король думал опираться на большинстве ревнителей католицизма и вообще на силу этого вероисповедания, стал преследовать своею властью врагов унии. Так Стефан Куколь (в ученом переводе Зизаний), автор книги Кирилла, за резкие речи против унии и вообще римской церкви еще до Брестского собора подвергнувшийся проклятию от митрополита и владык, его пособников, подвергся преследованию короля. Так же поступлено с двумя виленскими попами братства — Василием и Герасимом, проклятыми от архиереев за противодействие унии. Король объявлял их банитами, приказывал своею грамотою не иметь с ними сношений, не передерживать их в домах, а градским и мещанским и вообще всем начальствующим лицам поставлялось в обязанность задержать их и посадить в тюрьму. Современное известие говорит, что Зизаний, учитель и защитник православия, спасся только тем, что вылез из своего помещения через дымовую трубу.

Через несколько времени он опять явился в Вильне, был принят троицким настоятелем и снова начал проповедовать против унии и порицать католичество. Король опять выдал против него грамоту виленским мещанам, приказывал находиться в послушании у митрополита и отнюдь не допускать произносить проповеди тех, на которых наложено проклятие. К этому обязывались мещане под опасением пени трех тысяч коп грошей, из которых половина должна идти в королевскую казну, а другая митрополиту. Несмотря на такое грозное приказание не послушался проповедник ни мещан, ни королевского приказания, и продолжал проповедовать; наконец, по приказанию митрополита Поцея была запечатана самая церковь, осквернённая, как говорил он, богохульными словами. Подобным образом поступил король с архимандритом Супрасльского монастыря Иларионом Масальским: в 1602 г. он не хотел принимать унии и повиноваться митрополиту, за это Ипатий проклял его, а король издал грамоту, запрещавшую подданным иметь с ним всякое общение.

В 1606 году Острожский скончался в глубокой старости, почти ста лет от роду. Потеря была незаменимая; она сказалась после. Но после него дворянство еще несколько времени проникалось его духом, продолжало искать управы на отступников и требовать возвращения старых прав греческой церкви.

В 1607 году в успокоение смут выдана была сеймовая конституция, подобно прежним старым обеспечившая права и преимущества греческой церкви в землях Речи Посполитой, но в ней не сказано было о раздвоении, происшедшем в этой церкви; и каждую строку в ней униаты и неуниаты могли толковать исключительно в свою пользу. Униаты говорили, что древнюю церковь греческую составляют они, и доказывали, что в древние времена папа имел власть над всею христианскою церковью;

православные ссылались на то, что греческая церковь в польских владениях не признавала папской власти, а потому новая конституция, будучи повторением прежних, данных в те времена, относится к той церкви, в которой все остается по-старому. Между тем в той же конституции поставлено не допускать двух бенифиций на одну и ту же должность, что означало невозможность иметь двух епископов в одной и той же епархии с правом пользоваться преимуществами и средствами епископского сана; следовательно, закон не признавал возможности существования двух церквей с греческими обрядами, и, таким образом, оставил в недоразумении обе враждебные стороны. Сигизмунд и правительственные лица клонились к тому, чтобы разуметь под греческою верою униатскую. Тогда, с легкой руки Поцея, униаты единогласно стали проводить учение о том, что греческая церковь издревле была соединена с римскою; в X веке, когда Русь приняла св. крещение, еще не было разделения церквей — следовательно, русская церковь в самом начале была уже в соединении с римскою, а потому древнейшая русская церковь — униатская. На этом основании униаты захватывали церковные имения и таким образом в руках своих сосредоточивали материальные средства. Не хотевшие признать унии духовные, находясь под гнетом архиереев, должны были или пропадать без средств, или делать угодное пастырям; только дворянство, не хотевшее еще изменить вере, поддерживало их в своих имениях; там священники находились уже без духовного начальства; но после смерти с трудом могли быть заменены другими, потому что местных епископов не было. Тогда по вопросам о свободе вероисповедания и о принадлежности церковных имуществ возникло множество тяжб; светские трибуналы, куда поступали просьбы, часто решали тяжбы в пользу православных даже и тогда, когда в числе судей были католики, потому что в те времена иезуиты еще не успели разлить повсеместного фанатизма; поляки продолжали считать свободу совести важным основанием строя Речи Посполитой и во имя этой свободы склонялись на сторону православных. Так точно и на сеймиках дворяне-католики брали сторону православных дворян и говорили: оскорбления, которые терпят братья наши греческой веры, касаются не только их, но и всех нас, принадлежащих к русскому народу; мы должны стоять за права наши.

В 1609 году новая конституция пояснила двусмысленность предшествовавшей и постановила, чтобы обе стороны, как принявшая унию, так и не принявшая, оставались в покое, а в случае споров следует судиться смешанным судом, т. е. перед судьями, принадлежащими к той и другой стороне. Это было согласно с духом польской свободы и равенства прав; да и по общим юридическим понятиям спорные дела между равноправными судятся перед судьями, избираемыми с обеих сторон; но униаты

тотчас перетолковали эту конституцию в свою пользу и доказывали, что духовные дела должны разбираться только духовными лицами, а как в то время епархии были замещены униатами, то и все дела по суду оставались в руках одной стороны.

Уния сама по себе не могла бы скоро взять верх; свобода польская не должна была допускать насилие совести; вышло бы только две веры с греческими обрядами; одна с признанием папы, другая под властью константинопольского патриарха; а так как прежние льготы должны были по праву принадлежать не признающим папы, потому что даны были тогда еще, когда унии не было, то очевидно, что материальная сила оставалась бы на стороне православия. Но иезуиты совершили свое заветное дело распространения папской власти и здесь, как во многих странах. Иезуиты, как люди практические, всегда пользовались слабою стороною в том крае, где хотели властвовать. В Речи Посполитой они нашли всемогущество дворянского сословия и поняли, что какой дух будет в дворянстве, таков будет и строй государства. Свобода убеждений и совести тогда, как и всегда, была, так сказать, обоюдоострый меч; она столько же препятствовала, сколько и помогала иезуитам. Дух нации был против них, когда они вступили на польскую и литовско-русскую почву; многие считали их положительно вредными, но признавали необходимым допустить их, как все вредное следовало допускать по началу свободы в надежде, что доброе возьмет верх.

Иезуиты занялись воспитанием и скоро успели переменить о себе мнение, потому что хотя воспитание, даваемое ими, и было поверхностное, зато скоро и широко распространялось. Иезуиты в своем взгляде на просвещение держались того мнения, что лучше пусть в крае как можно больше будет образованных людей, хоть бы со слабым образованием, чем немногие приобретут знание и основательное образование, а громада останется в совершенной тьме. Иезуитские школы росли как грибы. В первой половине XVII века они имели более тридцати школ и академию в Вильне. В Южной Руси у них уже в конце XVI века были школы в Ярославле и Львове; в 1609 г. основали они в Луцке школу, в 1610 — в Баре и Каменце, в Перемышле, в 1620 — в Киеве, в 1624 — в Остроге; на левую сторону Днепра они проникли уже в царствование Сигизмунда, сына Владислава. Шляхетство отдавало к ним детей затем, что распространилась о них молва, что у них скоро учат и выпускают хороших латинщиков; а знание латыни тогда считалось главною вывескою учености и воспитания. По прежнему обычаю иезуиты ничего не брали за воспитание и вознаграждали себя добровольным приношением, и оттого в их школы поступало много детей небогатой шляхты, видевшей у них дешевый способ воспитания; деньги тогда были дороги, а съестного изобилие; следовательно, привозить в школу мяса, овощей, хлеба — не считалось большою тратою.

Как попадался к ним православный мальчик, обыкновенно ничего не знающий в своей вере, они его скоро обделывали по-своему: они вели учение свое так, что в силу сцепления понятий, передаваемых знанием, у воспитанников являлась скоро любовь к католичеству и отвращение ко всему некатолическому и в том числе к православию. Иезуиты обладали изумительным искусством привязывать к себе детей и внушать на всю жизнь приверженность к своему ордену; поэтому они старались, чтобы детям у них было чрезвычайно приятно; они рассчитывали, что воспоминания детства на целую жизнь оставляют незаменимую прелесть, что полученные в детстве привязанности и антипатии крепче всего в человеке; но между тем они также знали, что старость, особенно малоразвитая, любит строгость над молодостью; поэтому, прочтя их устав, могло казаться, как будто бы в их школах господствует самая суровая дисциплина, самая строгая нравственность: старикам-отцам это очень нравилось, и отцы тем охотнее отдавали детей в иезуитские школы. Детей, напротив, в те времена иезуиты баловали, отнюдь не томили частым учением, а большую часть времени дети у них проводили в забавах. Вообще подчинение церкви было исходным пунктом иезуитами проповедываемой нравственности; но чтобы это подчинение отнюдь не казалось суровым, иезуиты были снисходительны к человеческим слабостям; они не ставили в грех веселой жизни, лишь бы только всегда помнить о боге и о повиновении церкви. У них в школах было праздников более, чем обыкновенно; праздновали с особенною важностью дни разных святых, отличившихся ревностью к католичеству, а особенно святых иезуитского ордена: Игнатия Лойолы, Франциска Ксаверия. Самые детские забавы устраивались так, чтобы дети, играя, привязывались к религии. Они нашли, что детскому возрасту никакие забавы не могли столько нравиться, как забавы в сценическом роде, и по праздникам устраивали у себя в школах сочиненные ими нарочно драматические представления, которые бы внедряли в сердца и воображение детей католическое благочестие и привязанность к иезуитам. Было, между прочим, в ходу аллегорическое представление, где изображалась борьба иезуитского ордена с ересью. Ересь с адскими фуриями, ложью, развратом и роскошью овладевает европейскими монархами и подвигает их против истинной католической веры. Европа страдает от своих государей; призывается на помощь вере иезуитский орден; являются иезуиты, как борцы правды. Государи сознают свое заблуждение, приносят покаяние иезуитам; ересь поражается небесными громами — Европа очищена. Церковь поет хвалебное торжество иезуитскому ордену. А вот другое представление: сцены происходят в Новом Свете и Азии; там борьба ведется с древним язычеством — везде иезуиты, везде они победители, небо и земля величают их. Зрелище оканчива-

ется великолепною апофеозою иезуитского ордена. Такими представлениями потешали своих воспитанников иезуиты и привязывали их к своему ордену. С постоянною проповедью благонравия иезуиты смотрели сквозь пальцы на шалости учеников; бывали между учениками и игра в кости, и пьянство, и распутство... учители как будто не замечали этого, когда находили нужным не замечать, заботились только, чтобы это не было гласно и соблазнительно (clam tamen et secluso scandalo), а к своевольству и буйству нередко сами приучали учеников; захотят ли иезуиты наделать пакостей иноверцам — подущают учеников своей школы помешать некатолическому богослужению в церкви или процессии на улице: толпа учеников кидает грязью, каменьями, бьет палками, свищет, кричит; иногда на кого-нибудь разозлятся отцы иезуиты, — и ученики нападут на его дом или же на улице встретят и зададут трезвона: начнутся позывы в суд; тогда отцы иезуиты представляют это дело как детскую шалость; и дело часто оканчивается только тем, что им же предоставят наказать своих учеников за шалость школьным образом. Заставляя всех воспитанников равным образом повиноваться, иезуиты, однако, не развивали в них дружеского товарищества; напротив, проводили такое учение, что человек не должен прилепляться слишком к человеку, а иметь другом одного бога; не следует дружиться до того, чтобы доверяться приятелю совершенно и быть готовым жертвовать для него всем, чтобы, таким образом, не сделать в угоду человеку чего-нибудь такого, что противно богу. Иезуиты потакали тоже предрассудкам породы и нигде до такой степени не поддерживали этих предрассудков, как в польской Руси, потому что здесь нужно было для успеха распространения папизма как можно более отделять дворянство от народа и представлять, что дворянину стыдно было хлопской веры. Кроме школьного образования иезуиты занимали должности воспитателей детей в дворянских домах и там, действуя на воспитанника, умели приобретать нередко расположение родителей и домашних. В такой должности иезуит делался другом семьи, необходимым человеком; он оживлял домашний круг своим остроумием, он и исполнял поручения хозяина дома, умел ему быть полезным и по хозяйству, и по делам, и незаметно вел семью, где поселялся, к своим целям. С чрезвычайною ловкостью иезуиты умели овладевать женщинами и направлять их: когда русский женился на польке-католичке, в дом входил к нему иезуит в качестве духовника, советника пани; и тогда мать под влиянием иезуита неизбежно настраивала детей своих, нередко и своего мужа к принятию вместе с польским языком католической веры. Такими способами иезуиты в течение каких-нибудь тридцати лет переделали все русское дворянство. Большая часть его перешла в католичество. Провизоры, некогда столь грозно восставшие за православие, перемерли; из них в

1622 г. остался уже только один, да и тот был безвреден для врагов православия. Но гораздо ранее этого времени, именно в 1610 году, т. е. через четырнадцать лет после введения унии, Мелетий Смотрицкий под именем Ортолога в книге "Плач восточной церкви" жалуется на потерю важнейших фамилий. "Где дом Острожских, — восклицает он, — славный пред всеми другими блеском древней веры? Где роды князей Слуцких, Заславских, Вишневецких, Сангушек, Черторыжских, Пронских, Рожинских, Соломерицких, Головчинских, Крашинских, Мосальских, Горских, Соколинских, Лукомских, Пузин и другие, которых сосчитать трудно? Где славные, сильные, во всем свете ведомые мужеством и доблестью Ходкевичи, Глебовичи, Кишки, Сапеги, Дорогостайские, Хмелецкие, Войки, Воловичи, Зеновичи, Тышкевичи, Пацы, Скумины, Корсаки, Хребтовичи, Тризны, Горностаи, Мышки, Гойские, Семашки, Гулевичи, Ярмолинские, Чолганские, Калиновские, Кирдеи, Загоровские, Мелешки, Боговитины, Павловичи, Сосновские, Поцеи? Злодеи отняли у меня эту драгоценную одежду (говорилось в этом сочинении от лица церкви) и теперь ругаются над моим бедным телом, из которого все вышли!"

Даже униаты скорбели о том, что дворянство русское отступило в латинство: "Уже унии со свечой приходится искать русского шляхтича, не то что сенатора" — говорит униат в начале третьего десятилетия XVII века.

Таким образом, все дворянство отпадало от веры народности: в Руси исчезал деятельный, свободный класс, который мог путем законным и правильным постоять за святыню старины своей. Мещане знатнейших городов шли за дворянством: число униатов в городах увеличивалось, число православных уменьшалось; и чем их меньше становилось, тем труднее им было бороться с громадою противников, которая угнетала их при помощи и правительственной, и общественной силы. Порабощенный сельский народ умел только терпеть и страдал, пока какая-нибудь новая сила не извлечет его из отупения. Вообще состояние русского простолюдина становилось хуже по мере того, как русские паны теряли веру — единую связь духовного равенства с народом. Русская вера стала преимущественно (только с немногими исключениями) верою хлопскою и не могла найти никакой поддержки внутри русского края; ее знамя взяли казаки. Неудивительно, если после такого беззакония, какое испытало это древнее вероисповедание, более чем какое-нибудь другое в христианском мире чтившее законность, строгий порядок и древность предания, оно не нашло в земле Речи Посполитой других защитников, кроме таких, которые шли на ниспровержение всякой законности, порядка и преданий в той стране, где начинали понимать и чувствовать свободу, но не умели сохранить ее ни в духовном, ни в политическом, ни в обще-

ственном отношении! Немудрено, если православию явились и литературные защитники, так сказать, в казацком духе, каким был Христофор Бронский, написавший знаменитую в свое время книгу "Апокрозис", где вопреки строгому подчинению духовным властям в делах веры, чего требовала издавна православная церковь, дозволял равное и свободное участие мысли светским людям наравне с духовными, а учение о безусловном повиновении церкви называл жидовством (посмотремо у отцы святии, смотремо; як тии учат, чтобы светским людем з страны веры на духовные до конца ся спущати, а самым о ней ся не пытаючи без разсудка их не следовати и слухати завсегда в том разказуют? Боже уховай! Наука то и росказанье не христианских, але жидовских докторов: рабины и рабасы, которые в Талмуте незличоную речь спросных, глупых и брыдливых, Божему прироженому и писанному праву противных, фалшов и кламств написавши, под потоплениям тому всему своим жидам верити росказали, оже бы ся до обаченья приходити не могли); а на том основании, что в церкви выбирали священнослужительных лиц светские, он давал светским право по своему усмотрению не слушаться их и низлагать. (Посполитный люд, послушный будучи заповедям господин и Бога ся боячи, от злаго преложеного отлучитися повинен, и ни ся до святокродцы иерея офер мещати; кгдыж он наиболее мает моц албо оберати годных иереи, албо ся негодных хоронити; што теж само видимо з Божией поваги походити, же иерей при бытности люду посполитого перед всех очима выбиран и годный и способный посполитым розсудком и сведецством утверждено бывает, абы, при бытности люду посполитаго, албо злых поступки открыти, албо добрых заслуги означимены были). Некоторые видят в этом авторе тайного протестанта; но очень возможно было православному человеку в то время путем логического сцепления идей дойти до таких умствований после того как православная иерархия оступила от веры.

СОДЕРЖАНИЕ

Мысли о федеративном начале в древней Руси 5

Две русские народности 41

Черты народной южнорусской истории 84

Мистическая повесть о Нифонте. (Памятник русской литературы XIII - го века)..... 196

Легенда о кровосмесителе 219

О значении великого Новгорода в русской истории 239

Должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостного права? 259

Великорусские религиозные вольнодумцы в XVI веке. Матвей Башкин и его соучастники. — Феодосий Косой. .. 283

Иван Сусанин (Историческое исследование) 313

Бунт Стеньки Разина 330

Куликовская битва 441

Ливонская война 468

Южная Русь в конце XVI века 547

Литературно-художественное издание

Н.И.Костомаров.

Бунт Стеньки Разина и др. соч.
Исторические монографии и исследования.

Редактор П.Ульяшов
Художник В.Бобров

Сдано в набор 28.II.94. Подписано в печать 5.IV.94.
Формат 84 x 108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура Академическая. Печ. л. 20.
Усл. печ. л. 33,6. Тираж 75 000 экз. Заказ 697.
Цена договорная.

Фирма «Чарли».
113035, Москва, ул. Пятницкая, 20.

Отпечатано с готовых диапозитивов.

Рыбинский Дом печати
Комитета Российской Федерации по печати
151901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Откуда пошло и кто у кого "украл" название Русь?
Как закладывалась у самых истоков федерация русских народов?
Чем отличается по своему менталитету южнорусская и великорусская народности, в прошлом "составлявшие одно тело"?
Как и почему центр из Киева сместился к восточным русским землям?
Каковы истоки бесконечных междоусобий на российском пространстве, дающих знать о себе и сегодня?
Когда и по каким причинам возникает Смутное время на Руси?
Кто был Стенька Разин — народный заступник или жестокий разбойник, вор, как говорили в старину?
Совершал ли свой подвиг Иван Сусанин?
Как русские еще до Петра пытались "прорубить окно" в Европу?
Был ли знаменитый разбойник Кудеяр братом Ивана Грозного?
Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа: как оценивать эти личности в истории взаимоотношений России и Украины?
Скольких усилий стоило России преодоление векового враждебного окружения, угрожавшего ее существованию?
Кто и когда ввел на Руси крепостное право?
Как проходил и чем закончился исторический спор между Россией и Польшей за главенство в славянском мире?
Чем закончилась история Ливонского Ордена?
Когда в последний раз татары сожгли Москву?
Чем завершилось следственное дело по поводу убиения царевича Димитрия?
Кто такие казаки, как они появились и какую роль сыграли в истории России и Украины?
Раскол: по какой линии проходил он в православной церкви и в обществе?
Чем отличается восточная церковь от западной?
Что помешало России пойти по пути "народоправства", то есть демократического развития, если у нее уже был опыт вечевого правления в Новгородской республике?
Как жили в быту, веселились, пели и торговали на Руси?
Какие уроки мы можем извлечь из исторического опыта наших предков?

На эти и другие вопросы нашего прошлого и дня сегодняшнего вам помогут ответить труды выдающегося русского и украинского историка Николая ИвановичаКостомарова. Современному русскому читателю доступна лишь незначительная часть его работ — большинство из них не переиздавались с начала века. Впервые после Октября в нашей стране выходит практически полное собрание исторических и художественных сочинений Н. И. Костомарова в 14 книгах. В его основу легло санкт-петербургское издание 1903-1906 г. г. "Материалов и исследований" историка, только существенно дополненное.

Читайте в 1994 году

выпущенные издательством "Чарли"

в серии "Актуальная история России" (АИР)

следующие книги сочинений Н.И.Костомарова:

"Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. 1604-1613"
"Богдан Хмельницкий"
"Кудеяр" (том исторической прозы)
"Бунт Стеньки Разина"
"Русские нравы" (в том входит одна из наиболее интересных работ историка "Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа" и другие сочинения)
"Раскол" (в том входят "История раскола у раскольников", а также "Личность царя Ивана Грозного", "Екатерина I", "Самодержавный отрок" и другие сочинения)
"Руина. Мазепа и мазепинцы"
"Казаки" (в том входят работы о казаках, "Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание царя Михаила" и другие сочинения)
"Русская республика" (История Новгорода, Пскова и Вятки)
"Старый спор" ("Последние годы Речи Посполитой")
"Русь крещеная" ("Господство дома Св. Владимира")
"Государи и бунтари" ("Господство дома Романовых от Михаила Федоровича до Петра I")
"Окно в Европу"("Господство дома Романовых от Петра Великого до Екатерины Великой")
"Черниговка. Роман. Рассказы И.Богучарова. Автобиография."

По вопросам приобретения и реализации книг и подписки на собрание сочинений Н.И.Костомарова обращаться по адресу:

113035, Москва, ул.Пятницкая, д.20, стр.3.
Фирма и издательство "Чарли".

Контактный телефон: 233-08-07.